Партия шагает в революцию



Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и **вести весь народ** к социализму...

В. И ЛЕНИН

Партия шагает в революцию

РАССКАЗЫ О СОРАТНИКАХ В. И. ЛЕНИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1964

Составитель
Л. ДАВЫДОВ

Редактор
В. СВЕТЦОВ

Художник
Н. СИМАГИН

Елена Стасова

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Здравствуй, дорогой друг!

Мне на девяносто первом году своей жизни приятно воспользоваться случаем и пожелать тебе здоровья и счастья!

Не меньшее удовольствие доставляет мне и то, что большой коллектив видных писателей страны вот уже во второй раз предлагает вниманию нашего читателя подлинно народную книгу рассказов о ближайших друзьях и соратниках Владимира Ильича Ленина. Она предназначена всем, без различия возраста, и интересна, на мой взгляд, для каждого советского человека.

Да и не только советского. Убеждена: такие книги станут настольными и у граждан братских стран народной демократии, и всюду за рубежом, где хотят знать правду о В. И. Ленине и его когорте единомышленников, дерзнувших первыми пойти на решительный штурм самодержавия и капитализма ради завоевания народом полной свободы.

Когда в прошлом году готовился первый сборник — «У истоков партии», куда вошло сорок художественных, мастерски исполненных биографий, некоторым казалось, что на этом число близких друзей Ильича почти исчерпано и

едва ли можно будет выполнить мое пожелание, выраженное в предисловии,— пожелание и просьбу от имени старых большевиков — продолжить творческую работу литераторов над портретами соратников нашего великого вождя и учителя.

Теперь выходит в свет второй сборник — еще сорок рассказов. Следовательно, уже имеется восемьдесят биографий, но совершенно ясно: за пределами обеих книг осталось немало биографий выдающихся сынов и дочерей большевистской партии, судьбы которых связаны тысячами нитей с Владимиром Ильичем и судьбой нашей социалистической Отчизны.

Вот почему я глубоко убеждена, что и эта, вторая книга — не последняя. Просто нельзя, невозможно нашим художникам пера остановиться на полпути.

Второй сборник назван точно и емко: «Партия шагает в революцию». В нем концентрируется наибольшее внимание на времени от кануна III съезда до свершения Октября.

Тебе, дорогой читатель, предстоят волнующие и незабываемые встречи. С любимцем донецких шахтеров Артемом. С вожаками российского Манчестера — нашего Иванова, бывшего до революции центром текстильщиков, где поднялись во весь рост такие богатыри, как Михаил Фрунзе и Павел Постышев. С комиссарами легендарной Бакинской коммуны Алешей Джапаридзе и Мешади Азизбековым. С железным по отношению к врагам революции и очень добрым, душевным к трудовым людям Феликсом Дзержинским. С неистовым организатором и главарем индустрии Серго Орджоникидзе. С пламенным трибуном партии Сергеем Кировым, которого ленинградцы уважительно и нежно звали «наш Мироныч».

Встретится читатель и с семейным кругом Ильичей — Дмитрием, Марией и Анной Ульяновыми. И со старейшими революционерами России — А. А. Ванеевым и П. К. Запорожцем, так мало прожившими на свете, загубленными в расцвете лет царскими жандармами и тюремщиками.

Во всех очерках использованы и архивные материалы; порой авторы сами становятся следопытами истории партии и находят новые, весьма важные документы и сведения, записывают воспоминания современников, восстанавливают правду о тех, кто был в период культа личности оклеветан или несправедливо осужден, чьи имена длительное время замалчивались и, казалось, канули в Лету.

Каждый новый факт, любая подробность дорисовывают, проясняют не только биографию того, кому посвящен очерк. Прибавляется штришок, неизвестная раньше деталь, дошлифовывается еще какая-то грань в коллективном портрете гения человечества Владимира Ленина.

Отрадно, что расширен круг авторов. По сравнению с первым сборником, в котором принимали участие исключительно литераторы-москвичи, во второй привлечены писатели из национальных республик — Украинской, Грузинской, Латвийской, Армянской. В дальнейшем, надеюсь, еще больше расширится этот интернациональный коллектив, создающий своеобразную Лениниану в художественной прозе.

Дорого и то, что многие литераторы вторично и плодотворно поработали над важнейшей темой современности,— значит, для них история партии становится живым родником творчества.

Уверена, дорогой читатель, что ты по достоинству оценишь этот замечательный подарок писателей, приуроченный к пятидесятилетию Советской власти.

До новой, столь же счастливой встречи, мой друг!

Николай Строковский

НА ЗОРЬКЕ

Им светят звезды Ленина,
Грядущего заря,
Планеты озаренье —
Сиянье Октября.

А. Поморский

Этот день в Париже — с утра пасмурный, потом с холодным дождем, крупным, зернистым, и мелким, едва различимым, и с тончайшей паутинкой, которая облепляла лицо,— был необыкновенным днем для Федора.

Он метался по городу. Улицы сменялись площадями, бульвары — набережными и парками. Он сидел в кафе, заходил в цветочные магазины, рылся в грудах старых, пахнущих клеем книг, стоя под обвисшим тентом, с которого текли тончайшие струйки. Ему хотелось, чтобы скорее пришло завтра.

Вечером вокруг фонарей, как всегда, сияли радужные кольца.

Он любил Париж в вечерних огнях, под низким пасмурным небом, витрины, за которыми было столько прекрасных, но недоступных ему вещей, и перекличку бликов на мостовых, и людей, спешащих после работы домой, скупой говор на окраинах, движение автобусов, экипажей.

Ему казалось, что он все еще в мире книг, среди образов, которые ожили на улицах, знакомых по романам Золя, Бальзака, Мопассана.

Сорбонна. Пантеон. Узкие мрачные дома на Монпарнасе. Эйфелева башня и площадь Звезды. Кладбище Пер-Лашез. Обагренная кровью лучших сынов Франции Стена коммунаров...

Порой даже трудно было отделить мир видений от мира реального. Казалось, вот эту площадь или это здание, мост через Сену он уже видел когда-то давно, гораздо раньше, и надо было с удивлением сравнивать воображаемое с тем, что открывалось глазам.

Но сегодня, 9 февраля, не это чувство распознавания водило студента Федора Сергеева по городу. Он был взволнован. Был канун встречи, о которой столько говорили в школе, столько мечтал он еще в Москве.

Обойдя друзей и предупредив, чтобы они обязательно явились завтра на лекцию, он прошел мимо Люксембургского дворца к Монпарнасскому вокзалу и сел в поезд. Из-за плохой тяги, а может быть, из-за непогоды паровоз дымил нестерпимо, и черные охвостья тянулись далеко за последним вагоном, распространяя запах курного угля.

Вот и Севр, юго-западный пригород Парижа. Знаменитый Севр... Фарфор, фаянс...

Федор поднялся на взгорок.

Как всегда, на звонок вышла Ольга Николаевна. Федор, стесняясь своего вечернего мальчишеского визита, долго топтался у порога.

— Да заходите же, Федя! Ну, чего вы... Кажется, дождь?

В плотных руках с красноватыми пальцами, знавших и молоток, и резец, и кисти, она держала влажную тряпку. Вытерев руки от глины, Ольга Николаевна, кажется, даже потянула его за лацкан пальто.

— Заходите же! Илья Ильич с минуты на минуту приедет. Прямо в зал. Я сейчас выйду.

Федор положил на подзеркальник фуражку, снял отяжелевшее пальто, несколько раз провел платком по лицу.

В зале горели только два бра. Уменьшенная тенями комната была уютна. Чуть виднелись в золоченых рамах полотна работы Ольги Николаевны. На рояле рядом со стопкой нот лежал бассет-горн, который Ольга Николаевна где-то раздобыла, узнав, что Федя играл на кларнете. Раздобыла и ноты, хотя музыкальной литературы для сольного исполнения на кларнете-альте было маловато.

— Ну вот и я! — весело проговорила хозяйка дома, поправляя волосы.— Заканчивала одну скульптурку. Так...

пустячок... Застали на финале. Покажу в следующий раз, когда придете. А то совсем забыли нас... Какие новости? Есть письма из России?

Федор редко решался приезжать к Мечниковым, хотя Ольга Николаевна и Илья Ильич радушно встречали его, приглашали бывать чаще. Стесняло высокое положение Ильи Ильича, его имя выдающегося ученого, основоположника целых отраслей науки, о которых он, техник, имел весьма смутное представление. Например, об эволюционном направлении в эмбриологии, фагоцитарной теории иммунитета. Стесняло и то, что Илья Ильич не являлся политическим единомышленником социал-демократов, а Федор, убежденный искровец, не мог даже перед Мечниковым поступиться своими взглядами, смягчить суровое отношение к либералам, эсерам, народникам, которые отводили в сторону острие политической борьбы и мешали большому делу, составлявшему для Федора смысл и цель его жизни.

В то же время его влекло к этой семье, тянуло в этот дом — крохотный очаг родины, к людям, с которыми мог говорить, не скрывая своих симпатий. Особенно хорошо Федор чувствовал себя с Ольгой Николаевной, поддерживавшей его в спорах с Ильей Ильичом, по-матерински глубоко понимавшей его мятежную натуру. Через нее он знал о жизни другой близкой ему по духу семьи, жившей в Москве,— о Екатерине Феликсовне, жене брата Ильи Ильича, и о Шурочке, замечательной девушке, революционерке.

— Что же вы молчите? Вы чем-то расстроены, Федя?

— У нас такая новость... такая новость...

Он встречает загоревшиеся любопытством глаза худенькой, подвижной женщины и сразу выпаливает все, с чем носился по Парижу:

— Приехал Ленин!

О возможном приезде Ленина Федя знал еще в январе. Илья Ильич Мечников, почетный президент Высшей русской школы общественных наук в Париже, говорил, что в Лондон послано от имени совета профессоров господину Ильину приглашение прочесть студентам несколько лекций. Ленин изъявил согласие, но потом началась оскорбительная, как представлялось Федору и его друзьям, процедура оформления. Затребовали программу реферата. Затем в дела Высшей русской школы, созданной эмигрантами, вмешалось министерство иностранных дел Франции,— конечно,

под давлением России. Царское правительство просило в весьма недвусмысленной форме отклонить предполагаемое посещение школы эмигрантом, революционером Ульяновым, чье имя в России вызывает вполне определенную, нежелательную реакцию, тем более что Россию и Францию издавна связывают самые тесные узы дружбы, а чтение лекций, направленных к подрыву существующего строя как в России, так и во Франции, не может быть допущено обоими правительствами.



АРТЕМ
Федор Андреевич
СЕРГЕЕВ
(1883—1921)

Но у министерства иностранных дел Франции не нашлось даже формального повода запретить приезд господина Ильина в Париж — столицу свободной республики, наводненную эмигрантами из разных стран.

— Приехал, говорите, господин Ленин?

— Приехал! Все наши так рады... А я... Просто даже сказать не могу, как ждал встречи.

— Воображаю! Будет потасовка между искровцами и народниками!

— И эсерами! Хотя нас немного, а на их стороне почти вся профессура, но с нами Ленин!

— Ну, я очень рада. Обязательно расскажете потом о встрече. Хотите, Федя, чаю?

— Благодарю вас...

— «Благодарю» — да? Или «благодарю» — нет?

— Нет...

— Ну, хорошо, обождем Илью Ильича. Тогда за инструменты?

Федор любил музыку, он действительно играл в оркестре реального училища на малом кларнете, а Ольга Николаевна раздобыла кларнет-альт, очень странный, как бы переломленный посередине, с коробочкой и раструбом на конце. Такого в реальном училище не было. И играть на нем трудней. Но звуки у бассет-горна были глубокие, теплые, выразительные, берущие за сердце, и Федор разучил несколько несложных вещиц, а Ольга Николаевна аккомпанировала на рояле.

— Сыграйте лучше вы.

Она не заставила себя просить — зажгла свечи, раскрыла «Времена года». Федор забрался в угол гостиной, к скульптуре дискобола, изваянной Ольгой Николаевной.

До чего хорошо вот так, вечером, на даче, укрытой старым садом, слушать Чайковского... Чувствовать себя на родине... Как истосковался... Как хотелось домой...

«Январь»... «Февраль»... «Март»... В начале «Апреля» раздался звонок. Федор вышел вслед за Ольгой Николаевной: приехал Илья Ильич.

— Так поздно...— протянула с упреком Ольга Николаевна, помогая мужу снять ватное пальто.— А мы музицируем...

Илья Ильич поцеловал жену в лоб, пожал Федору руку:

— Давненько не были, юноша!

В столовой Ольга Николаевна зажгла лампу под огромным розовым абажуром и ушла готовить чай, а Илья Ильич отправился в ванную. Вскоре он вернулся оттуда с капельками воды на волосах, освеженный, в мягкой куртке, широких брюках, войлочных туфлях.

— Господин Ильин-Ульянов приехал. Вам объявили?

— Да... Завтра читает реферат. Наконец-то дождались... Даже трудно объяснить, что это значит в нашей... в моей жизни...

Илья Ильич устало протер желтой замшей стекла очков в тонкой золотой оправе и, поглядев против света, надел их. Потом несколько раз провел гребешком по темным, еще густым волосам, причесал седые усы, бороду.

— Я не сторонник общественных потрясений, хотя всегда был врагом деспотизма, притеснения личности, мракобесия.

— Есть объективные законы развития общества...

— Объективные законы?

Федор смутился... Слишком уж книжно прозвучала его фраза, но уступать он не собирался, хотя ему трудно, больше того,— просто неудобно было спорить с ученым, чье имя гремело по всему миру. Убежденный материалист, атеист, этот человек вынужден был покинуть Россию в знак протеста против реакционных законов, против действий глупых, тупых чиновников. И значит, также боролся против самодержавия, но совсем другими методами и средствами.

— Я верю, Федя, только в науку. В ее силу изменить человеческое общество.

Мечников остановился против Федора, грузный, немного сутулый, и спокойно смотрел умными, глубоко проникающими в душу глазами, как бы желая увидеть судьбу юноши, начавшего свою жизнь с тюрьмы и эмиграции.

У юноши высокий лоб, волосы стоят мягким ежиком; длинные брови слегка изогнуты у краев; умные серые глаза; большой, красивого рисунка рот; нежный, девичий подбородок. На Федоре зеленая форменная куртка с петлицами, кантами и плотными контрпогонами, на которых возвышаются вензеля. Федор коренастый, сильный, и руки у него широкие, рабочие.

— Вы говорите — объективные законы развития общества... Не знаю, как могут проявить себя объективные законы вне конкретных людей и их взаимоотношений,— продолжал Илья Ильич ровным голосом, как перед большой аудиторией.— В споре между социал-демократами и эсерами мне ближе позиция социал-демократов. Но я не мог бы посвятить свою жизнь партийной, политической борьбе. Надо развивать науки. Технику. Медицину. Биологию. Развивать просвещение. Чем выше развиты науки в данном обществе, тем лучше может быть устроена жизнь. Не просвещенные знанием люди, темные люди, не могут создать удовлетворительных условий существования современному человеку.

— Мы не исключаем науку! — живо, возбужденно ответил Федор.— Мы за науку! За высокую науку и технику! Но не наука является двигателем истории. Надо подходить к явлениям жизни с классовых позиций. В чьих руках находятся средства производства. В том числе в чьих руках наука... Техника... Еще Карл Маркс...

— Вы уже спорите! — перебила Ольга Николаевна, внося маленький никелированный самовар и ставя его на поднос.— Садитесь, пожалуйста, к столу.

Она разлила по очень уж тоненьким, звенящим чашечкам чай, а мужу подала простоквашу и черный хлеб.

Илья Ильич стал рассказывать о работе своей лаборатории, и Федор невольно залюбовался человеком, дела и жизнь которого посвящались людям, их долголетию.

«Как жаль, что он не с нами, не в наших боевых рядах, хотя и он ненавидит царизм, вынужден жить в эмиграции, на чужбине, с чувством постоянной тоски по родине»,— думал Федор, глядя в спокойные глаза этого простого, доступного человека.

— Тебе письмо от брата. А мне от Кати. Пишет, что Шурочка собирается в Париж. Ей грозят неприятности...

— Ох уж эти мне, как говорят в Одессе, бомбисты! Террористы! Подниматели восстаний! — Мечников встал из-за стола, прошелся по комнате и снова сел.— Ну что ж, раз грозят упрятать в кутузку, пусть бежит. Там не постесняются! Напиши, Оля, пусть приезжает к нам. И Катя.

«Нет, он хороший, чуткий. И если б немного раньше познакомился с марксизмом, он не мог бы стоять в стороне от классовой борьбы. Такой человек не может не быть с нами».

После чая Ольга Николаевна села к роялю, а Илья Ильич и Федор слушали игру, по-разному понимая тот мир, который раскрывала перед ними музыка, и по-разному представляя себе назначение человека.

...Когда в аудиторию вошел Ленин, все встали. Искровцы громко аплодировали, и Ленин долго не мог начать лекцию. Он поднимал руку, просил успокоиться и наконец решительно запротестовал.

— Господа! Товарищи... Позвольте же мне приступить к работе.

Он начал немного возбужденным голосом, мысленно вступая в полемику с противниками, которых видел в аудитории и вне ее. Федор Сергеев, словно зачарованный, не сводил глаз с лица, с фигуры Ленина, запоминая каждую черточку в облике человека, который был для него всем: разумом, совестью, волей, мечтой. Могучий лоб мыслителя; с едва приметной косинкой глаза, которые все время излучали ясный, теплый свет; длинные, прямые, без изгиба, брови. Гладкие волосы. Свисающие к остро заточенной бородке усы. На Ленине был жесткий отложной воротничок, черный галстук, черный сюртук.

Ленин...

Нужно было заставить себя поверить, что перед ним, Федором, живой, реальный Ленин, а не мечта, что он слышит голос Ленина, что он — почти рядом, совсем близко, в нескольких шагах.

Ленин...

Это он, стоящий в аудитории, подвижной, порой резкий в жестах, которого Федор видит, чувствует, слышит, написал «Что такое «друзья народа»...», статью «Фридрих Энгельс», «К характеристике экономического романтизма»,

такие фундаментальные работы, как «Развитие капитализма в России», «Что делать?».

Федор раздобыл эти произведения в Париже, штудировал их с карандашом в руках, конспектировал.

И вот он видел, слушал Ленина, не в силах поначалу сосредоточиться от волнения, от всего, что нахлынуло при встрече.

Ленин сказал, что он прочтет четыре лекции на тему «Марксистские взгляды на аграрный вопрос в Европе и в России». Эту работу он недавно закончил и с нею впервые выступает перед слушателями русской высшей школы. Первое занятие посвящается «Общей теории аграрного вопроса».

— Теория Маркса о развитии капиталистического способа производства так же относится к земледелию, как и к промышленности,— четко, выразительно произнес Ленин, стремясь, чтобы каждое слово дошло до сознания слушателей.

И оно дошло... Началось движение...

— Позвольте!.. Мы не согласны с вашим утверждением! — бесцеремонно заявил бородач, бывший студент Московского университета, эсер.

— Не мешайте! — перебил его Федор, красный, готовый полезть в драку.

— Надо вмешаться! Неправильная посылка ведет к неправильному выводу!

Не обращая внимания на поднявшийся шум, Ленин продолжал, голос его звучал еще тверже.

— Не надо смешивать основные черты капитализма и разных форм его в земледелии и промышленности.

— Это другой вопрос!

— Послушаем!

— Потом поспорим!

— Да не мешайте же, господа, лектору! — пробасил Максим Максимович Ковалевский, основатель школы.

Аудитория затихла.

— Разберем, в чем состоят характерные, основные черты и особенные формы процесса, создающего капиталистический строй земледелия...

...Лекция прошла спокойнее, нежели предполагал Федор. Неоспоримое логическое мышление, соединявшее отдельные положения в единую стройную систему, было настолько

убедительно, что ни у студентов, ни у профессуры не нашлось сразу, вот так, в процессе слушания, что-нибудь противопоставить, заслуживающее внимания.

После лекции были вопросы, были высказаны некоторые сомнения, но Ленин спокойно и как бы подчеркивая важность того, с чем пытались выступать оппоненты, отвечал, выдвигая поистине железные, неопровержимые доказательства, отводившие доводы противников.

И эта черта Ленина мгновенно улавливать главное, умение сразу же продлить мысль оппонента до логического ее завершения, найти неотразимый контрдовод с необычайной силой поразила Федора.

Ленин...

Какое счастье, что есть Ленин...

Потом случилось так, что Федор очутился рядом с Лениным в коридоре школы. Владимир Ильич быстро повернул голову, узнал студента, сидевшего перед ним на первой скамье, и чему-то улыбнулся.

— А вы откуда, ухарь-купец?

Федор оторопел...

На нем действительно была белая сатиновая косоворотка, шелковый шнурковый поясок с длинными кистями; на плечо небрежно накинута тужурка. Он не подумал, идя в школу, что вид его может показаться Ленину ухарским.

— Из Екатеринослава... То есть из Москвы...

— Студент Высшего технического училища? — спросил Ленин, глянув на вензеля контрпогон.

— Да...

— Одна из лучших высших технических школ России,— сказал Ленин.— Старейшее учебное заведение. Насколько мне известно, система обучения у вас там стала образцом для Западной Европы и Америки. В Высшем техническом училище, если мне не изменяет память, учился Вацлав Вацлавович Воровский. Слышали о нем?

— Нет...

— Вы на каком курсе?

— На первом. Был... Проучился пять с половиной месяцев...

— Да...

Они оделись и, провожаемые взглядами студентов, вышли на улицу.

— Согласны ли вы с тем, что я читал вам? — поинтересовался Ленин.

— Лекция трудная... На слух не все возьмешь. Но я многое законспектировал. Дома прочту. Вдумаюсь.

— Тема серьезная. Реакция на нее дает возможность определить, кто с нами, а кто против нас. Давно ли вы в Париже?

— Почти пять месяцев.

— О, не много! Говорите ли вы по-французски?

— Кое-что вынес из реального училища, но... Видите ли, Владимир Ильич, я могу задать по-французски любой вопрос, но далеко не любой ответ француза мне понятен...

Ленин улыбнулся:

— У вас наблюдательность! Подобную стадию освоения языка, кажется, проходят все.

Они шли по улице, и Федор, не замечая ничего вокруг себя, видел только Ленина, которому хотел рассказать о всех своих делах, планах — ближайших и дальних.

— Если не заняты, пройдемтесь немного. Погода проясняется. Где бывали, как жили, что делали?

Федор рассказал, что после окончания Екатеринославского реального училища он поступил в Московское высшее техническое училище на механический факультет, что еще в Екатеринославе он встречался с рабочими Брянского металлургического завода, а в Москве сошелся со студентами-искровцами, примкнул к социал-демократической организации.

— Семнадцатого февраля прошлого, девятьсот второго года мы вышли на демонстрацию... То есть было, Владимир Ильич, немного иначе... За несколько дней до этого к нам пришли студенты с Моховой, они бастовали, просили поддержать. Они протестовали против известных «Временных правил». И мы решили поддержать товарищей. И я немного погорячился... Звал товарищей побить инспекторов. И вообще буянил...

— Очень, очень интересно! Однако насчет избиений и буянства... это вы напрасно, батенька!

— Мы читали вашу статью «Отдача в солдаты 183-х студентов». У нас была «Искра» № 2. И там вы говорили, чтобы студент шел на помощь рабочему, а рабочий — на помощь студенту. И чтобы мы протестовали, разбрасывали листки, а где можно, устраивали публичные демонстрации.

— Верно! Только... Как вас? Федор? Товарищ Федор, я не писал, чтобы избивать инспекторов. И буянить на улицах.

— Это я от себя... Погорячился.

Ленин рассмеялся:

— Наше «всемогущее» правительство чувствует себя совершенно непрочно и верит только в силу штыка и нагайки! Но... рассказывайте дальше!

— Ну, мы подготовились, условились с универсантами встретиться у памятника Пушкину, на Тверском бульваре. К двенадцати часам. Была масленица, первый день. Наши стали сходиться, одни с Тверской, другие со стороны Страстного монастыря. А университетских товарищей все нет. Тут пришли рабочие, которых обещал привести один студент, с собачьей кличкой Адикс. Мы обрадовались и поначалу даже не обратили внимания, что у «рабочих» вот такие ряшки... извините... И животы... Мы только прикрепили было к древку красный флаг, построились и двинулись по Тверскому в сторону Никитских ворот, как «рабочие» накинулись на нас, давай загонять в подворотни, хватать за полы, выворачивать руки за спину... И дворники на подмогу... Словом, нас предал провокатор Адикс...

— Знакомая картина.

— Меня и еще одиннадцать товарищей упрятали в Яузский участок. Продержали более двух месяцев. Затем перевели на Новослободскую, в Бутырки. Грозили дать от четырех до шести лет ссылки.

— Как же вам удалось отвертеться?

— Нас разделили на две группы. И знаете, Владимир Ильич, по какому признаку? Кто носил очки, тех сослали в Сибирь, а кто без очков — тех в тюрьму. На шесть месяцев! У меня отличное зрение, и я отделался тюрьмой. Просидел в Воронеже...

Ленин рассмеялся. Это был смех, полный горечи и боли.

— Узнаю царскую Россию! Вы, товарищ Федор, даже представить себе не можете, насколько это типично для самодержавной нашей сатрапии — определять степень виновности человека по очкам!

Ленин снова рассмеялся, но уже не так,— он умел удивительно хорошо смеяться, и Федор, поддавшись, хохотал так громко, что, казалось, под ним сотрясалась земля.

Успокоившись, они некоторое время шли молча. Лицо у Ленина стало строгим, замкнутым, глаза стали задумчивыми.

— Россия... Какая страна! Какой народ! Да если б сбросить проклятый деспотизм, какой скачок сделала б Россия! Где еще такие самородки, таланты, труженики, такие люди,

с которыми можно перевернуть мир? Верите ли вы, товарищ Федор, что наш народ, которого цари, помещики, фабриканты, чиновники держали в темноте, голоде, бесправии, разорвет наконец цепи и выйдет на солнечную дорогу?

— Верю!

— Ну вот, я и хотел это услышать.

Они сидели в сквере, снова шли и пили кофе в скромном ресторанчике и долго глядели, как спокойно текла среди каменных берегов Сена.

— Что же было с вами дальше? — спросил Ленин, задумчиво и, как показалось Федору, печально глядя на воду, по которой плыли, словно парусные ладьи, отражения задымленных облаков.

— Я хотел учиться. Я люблю технику, математику. У меня какое-то особое чутье к механизмам. Я чувствую «душу» даже совсем незнакомых приборов, аппаратов, могу их разобрать, собрать, наладить. У вас исправно идут часы?

Ленин развел руками:

— Как когда... Иногда забегают вперед...

— Это хорошо! — воскликнул Федор.— И у меня забегают! Я не могу думать только о том, что было вчера или что есть сегодня. Я хочу увидеть завтрашний день. Он должен быть для людей прекрасен!

Ленин кинул взгляд на юношу и подумал, что у этого «ухаря-купца», опоясанного шелковым шнурком с длинными кистями, душа бунтаря, искателя правды и что такой человек, раз поверив, не свернет с дороги, не изменит ни себе, ни другим, на такого можно положиться.

Владимир Ильич всегда присматривался к людям, наблюдал, изучал их.

— В воронежской тюрьме я получил хорошую закалку. Лучше узнал людей, жизнь. Школа, конечно, тяжелая, что говорить! С нами в камере сидели «экономисты». Нам передали с воли вашу книгу «Что делать?». Мы вели отчаянные споры. «Экономисты» не верят в силы рабочего класса. Они бродят в потемках. Они бубнят, что нам вообще не нужна самостоятельная партия рабочего класса. Что социализм и коммунизм в России — утопия. Они говорят: дайте русскому народу свободу собраний, слова, совести — и мы сделаем чудеса! Не мешайте нам! Только за нами пойдет народ!

— Тартарены из Тараскона! Жизнь покажет, кто прав.

— После воронежской тюрьмы хотел продолжать учение. Вернулся в Москву. Но меня не восстановили. Уехал

домой. Заработал немного деньжат. Помогла сестрица Дарочка. Я ее очень люблю. И она меня. Старшая моя сестрица, моя нянюшка... У меня есть и младшая сестренка, Надя, и старший брат, Георгий, Егор, но с Дарочкой у нас особенно сердечные отношения. В середине сентября, получив паспорт, я выехал. Побывал в Вене, Женеве. И вот — Париж... Деньги быстро ушли, хотя жил я очень экономно. Подрабатывал на заводе, в порту, одно время работал в столовой...

— А как вы попали в школу?

— Без большого труда. Максим Максимович Ковалевский принял участие. У меня были письма к Илье Ильичу Мечникову от его московских родственников.

— Максима Максимовича я знаю хорошо. Это ученый вполне и окончательно буржуазного направления. Ваш земляк, с Украины, харьковчанин. Помещик. Он стоит одной ногой в реакционном лагере... Но в ранних работах о разложении общинного строя этот профессор придерживается правильных позиций. Признает универсальность матриархата. Фридрих Энгельс отмечает заслуги Максима Максимовича именно в этой области исследования.

— Я, когда увидел его впервые, подумал, что ошибся адресом, что попал не к основателю русской высшей школы общественных наук, а к законоучителю реального училища... Типичный батюшка!..

— А у вас язычок того...— подмигнул Ленин.— Что же вы думаете делать дальше?

Федор задумался.

— Вам могу сказать, Владимир Ильич. Мне тяжело здесь... Политическая мелкотравчатая грызня. Фехтование на словах. А в целом душная, застойная атмосфера. Тянет на родину. К рабочим. Я ведь детство провел среди рабочих, хотя папаша мой из крестьян; ходит в подрядчиках, как дед, строит кабаки и церкви; богател и разорялся. Держал даже одно время кустарный кирпичный заводик. Тянет, Владимир Ильич, на родину. Ох, как тянет... Душно в эмиграции. Хочется настоящей работы, борьбы, отдаться полностью большому революционному делу. Я здесь не выдержу...

— В чем же дело? Раз решили уехать, так и поступайте!

— Еще когда у нас в школе поговаривали о вашем приезде, я решил: увижу вас, послушаю ваши лекции и — на родину...

Ленин склонился над железным парапетом и долго смотрел в воду задумчивыми глазами. Федор ни единым словом или движением не нарушил безмолвия.

...Что, если б человек мог провидеть свое будущее?

В эту первую встречу Ленина с товарищем Артемом, как называли потом в партии Сергеева, ему, верному ученику, соратнику Владимира Ильича, должно было исполниться через месяц двадцать лет, а Ильичу — тридцать три. Тринадцать календарных лет лежало тогда между ними. Но разве только годы?

Первой этой парижской встречей положено было начало многим другим встречам на большом революционном пути, посвященном народу, любимой Отчизне.

После Парижа товарищ Артем встречался с Лениным в апреле 1906 года, на IV съезде РСДРП в Стокгольме; в дни подготовки вооруженного восстания в Петрограде осенью 1917-го; на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918-го; на VII, VIII, IX съездах партии; в июльские дни работы II конгресса Коминтерна 1920 года; на X съезде партии в марте 1921-го. И в последний раз — на III конгрессе Коминтерна в июле 1921-го. По отдельным вызовам ЦК товарищ Артем не раз бывал в Петрограде и в Москве, видел Ленина, говорил с ним. Вся жизнь, вся деятельность Федора Сергеева освещалась гением Ленина, вдохновлялась его учением, его делами.

...Что, если б можно было увидеть будущее, даль своих лет, до последней черты?

Федор увидел бы себя помощником паровозного машиниста на Екатерининской железной дороге, заключенным елисаветградской и николаевской тюрем, участником Петербургской политической стачки рабочих в начале осени 1905 года, руководителем Харьковского вооруженного восстания в ноябре — декабре 1905 года. Увидел бы годы подполья, наполненные борьбой, борьбой и еще раз борьбой, ставшей основным содержанием его жизни.

...И снова тюрьмы... Пермская губернская, «Николаевские роты» Верхне-Турского уезда. Харьковская... 1906, 1907, 1908, 1909-й... Избиения, надругательства, одиночка, карцер, болезни, голод... Адское горнило испытаний, в котором только сердце большевика, пламенного коммуниста могло все перенести, перетерпеть, не разорваться от боли.

А дальше — ссылка, звон кандальный, путь сибирский дальний... Ангара. Село Воробьево, глухомань, тайга. Редкие письма от боевых соратников, от сестренки Дарочки, от харьковской учительницы Ефросинии Васильевны Ивашкевич. Еще более окрепшая дружба с Екатериной Феликсовной, «дорогой тетей», с ее дочерью Александрой, Сашей, Шурой, которая в 1905 году работала в Харькове, в комитете РСДРП, была верной помощницей и преданным другом товарища Артема.

Длиннейшие письма на родину, в которых билась тоска, и жажда творчества, и страстное желание быть среди близких.

Годы... Бегут они порой стремительно, порой еле-еле сбрасывая с календаря листки. И жизнь не останавливается. А человеку нет места на родной земле.

Побег... Ангара, а с ней и Россия, которую любил до самозабвения,— не та, царская, палаческая, тюремная, а Россия народная, измученная, в цепях, бунтарская, гордая, вольнолюбивая,— Ангара и Россия оставались позади. Харбин сменяется Дайреном, Нагасаки — Шанхаем. Белый кули, белый рикша. Но честный труд не унижает человека, он возвышает.

Вот уже и 1911-й... Судьба бросает товарища Артема в Австралию. Шесть лет без малого работает изгнанник на далекой земле, борется вместе с австралийскими рабочими за единое, общее, правое для всех рабочих мира дело.

Наконец, весна 1917-го... Свален романовский трон. Рухнул как подгнившее, источенное язвами, дуплистое дерево. Артем возвращается на родину.

Родина... Сколько не видел ее, не дышал ароматом ее полей, не любовался зорями, не слышал родной речи — дома, на улице, в поезде, всюду, всюду! Снова среди своих.

И снова борьба, фронты гражданской войны, бурлящая жизнь, стройка нового на раскованной земле. Работа в молодой Украинской советской республике. Партийная, советская, военная работа. Ранение, сыпняк. Памятные, неизгладимые отметины на сердце...

...Что, если б человеку дано было провидеть все?

Словно в повернутом обратной стороной бинокле, направленном вдаль, к последней черте, товарищ Артем увидал бы и трагический день 24 июля 1921 года.

...Веселый, увлеченный поездкой, встречами с шахтерами Подмосковного угольного бассейна, он возвращался в

Москву. На 104-м километре, у маленькой станции Свымская, Федор, любящий технику, чувствующий «душу» механизмов, решил доставить гостям, делегатам конгресса Коминтерна и Профинтерна, удовольствие и озорно подмигнул конструктору аэровагона инженеру Абаковскому: прокати, мол, гостей с ветерком!

Вагон мчался по рельсам, подпрыгивая на стыках, легкий, как птица.

И вдруг... тяжелая, давящая на мозг тишина... Вагон будто оторвался от земли и понесся по воздуху... Где-то в глубине сознания последняя вспышка: неотвратимое... Удар... И зеленые молнии в глазах... И страстное, всеохватывающее желание, чтоб ничего этого не было... И все померкло.

Прожить тридцать восемь лет, пройти через огненные круги, чтоб у себя на Родине, на любимой земле, в солнечный июльский день бессмысленно погибнуть...

Нет, может быть, лучше, что человеку не дано прозревать свою жизнь до последней отметины. Пусть завтрашний день и другие, скрывающиеся в безвестной дали, озаряются светом сегодняшнего.

...Они стоят, опершись на металлический ажурный парапет у моста Гренель. Медленно течет Сена, унося закопченные тучи. Блеснула верховодка, выскочив из воды. За ней — другая. А там — третья; серебристая россыпь засверкала над синей, холодной, загустевшей рекой.

Потянуло сыростью. Липкая паутинка цепко, словно в глухом лесу, осела на лицо. Потом уже не паутинка, а лакированные маковые зернышки осели на одежду и радужно замерцали в косых бледных лучах, пробивавшихся в оконца между тучами.

— Уеду, Владимир Ильич, очень скоро уеду. Не могу быть в эмиграции... Засучу рукава и пойду месить глину жизни, формовать ее... Иначе здесь можно помешаться или спиться... Простите мальчишеские слова мои... Я счастлив, что увидел вас...

Ленин опускает руку на рукав пальто Федора.

— Ничего... Понимаю. Вполне понимаю вас. Езжайте! И, засучив рукава, беритесь за работу. Партии нужны сильные, умные, крепкие, горячие, преданные люди. Я верю в вас!

Взволнованный, Федор почему-то вспомнил Илью Ильича Мечникова.

Ленин и Мечников... С какими людьми свела его судьба!

Ленин и Мечников... Два великих человека. Два таких разных человека...

— И знаете, о чем я подумал, товарищ Федор? Тринадцатого числа последняя моя у вас в школе лекция. Затем я должен выступить с рефератом об аграрной программе эсеров и социал-демократов на собрании русских политэмигрантов. Это намечено на восемнадцатое — двадцать первое февраля. Затем, дня через три, я уеду в Лондон. Мы должны с вами еще встретиться. В апреле же мы с Надеждой Константиновной переедем в Женеву: туда переходит издательство «Искры». В Женеве мы, кажется, осядем надолго. Если вы не уедете до апреля, милости просим, навестите нас. Мне будет приятно познакомить вас с Надеждой Константиновной и с Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, нашим, так сказать, талантливейшим организатором, экспедитором, образованнейшим человеком.

— Благодарю! Спасибо, Владимир Ильич!

Уехал он, однако, через месяц — 13 марта, а 15-го был на границе.

Федора встретил жандармский ротмистр и предложил проследовать в железнодорожное отделение. Двадцатилетнего революционера уже боялись, его уже держали охранники в прорези прицела.

15 марта 1903 года в секретном донесении помощник начальника волочисского отделения жандармского управления сообщал: «...имею честь донести департаменту полиции, что сего числа возвратился из-за границы по паспорту, выданному екатеринославским губернатором 12 сентября 1902 года за № 1700, бывший студент Федор Андреев Сергеев и направился в г. Екатеринослав. При тщательном досмотре его багажа ничего предосудительного не обнаружено. Об изложенном мною вместе с сим сообщается начальнику екатеринославского охранного отделения».

Змеи поползли по следам молодого революционера, змеи жалили его целых четырнадцать лет, но не смогли изменить избранный им на зорьке жизни путь, освещенный большим светом служения народу.

Владимир Коваленко

ОНИ ПОБЕДИЛИ

Нам есть по ком ковать сердца
И на кого равняться,
Чтоб коммунистом до конца
При жизни оставаться.

Л. Козырь

Их было двадцать шесть. Двадцать шесть в душном вагоне, под дулами винтовок. И каждый из них понимал: это последний путь.

Капитан армии ее величества Реджинальд Тиг-Джонс то и дело заглядывал в вагон. Большевистские комиссары были спокойны. Встречаясь с их взглядами, Тиг-Джонс не выдерживал, опускал глаза и, громко хлопая дверью, уходил. Снова и снова вспоминался капитану последний разговор с Меллесоном.

— Помните, Тиг-Джонс,— напутствовал его шеф,— здешний народ — порох. А эти комиссары — зажженный фитиль. Надо погасить его так, чтобы ни единой искры не осталось. Иначе все взлетим к черту. Помните, Тиг-Джонс!

Тиг-Джонс помнил. На крышах, на площадках глухо громыхавшего поезда, как мухи, лепились охранники. Они стояли в проходе вагона с винтовками наизготовку. И все-таки Тиг-Джонс нервничал. И опять, в который раз, шел к комиссарам. Если бы ему удалось увидеть на лице хотя бы одного из них тень страха, было бы спокойнее. Но, вглядываясь в лица комиссаров, Тиг-Джонс поражался: эти люди, которым осталось жить не больше трех часов, даже улыбались.

Вон тот, с бородкой, с продолговатым интеллигентным лицом и широким лбом мыслителя, наклонился к Степану Шаумяну. Он, улыбаясь, что-то говорит ему и кивает в сторону Тиг-Джонса. Словно не он, Тиг-Джонс, властен сейчас над их жизнью, а они над его.

Это нелепо, но факт! Тиг-Джонс, громче обычного хлопнув дверью, ушел. «Он улыбается, этот, как его... кажется, Азизбеков,— с глухим раздражением думал Тиг-Джонс.— Но он же знает, знает, что его ждет, что ждет всех их! И он улыбается».

Уже не тревога — страх охватывал капитана. Да, бакинский губернский комиссар Мешади Азизбеков улыбался. Он рассказывал Шаумяну, что английский капитан напомнил ему незадачливого сыщика, которого Мустафа, друг его, когда-то подстерег на улице и избил бараньей головой. На вопрос Мешади: «Почему же, Мустафа, ты бил его бараньей головой?» — Мустафа ответил: «Неужели не понимаешь, Мешади?! Разве может честный пролетарий марать руки о грязную ищейку?»

— Жаль, нет бараньей головы,— закончил Мешади, глядя вслед ретировавшемуся капитану ее величества.

Стучали колеса. За окном плыла ночная пустынная степь. «Дорогой Степан,— растроганно думал Мешади, глядя на друга,— сколько с тобой связано самого светлого, самого дорогого в жизни! Ты всегда был самой крепкой нитью, связывавшей меня с другим человеком. Никогда я не видел его, никогда не разговаривал с ним, но он всегда был рядом. Рядом со мной и с каждым из нас. Имя этого человека — Ленин. Он и сейчас с нами». Так думал бакинский комиссар Мешади Азизбеков в последней своей дороге. Вся жизнь проходила перед ним.

...Хмурое осеннее утро 1897 года. Петербург. Площадь у собора. На площади — тысячи студентов. И среди них он, Мешади Азизбеков, юноша из далекого Баку, приехавший учиться. Студент Технологического института Азизбеков не случайный человек на этой бурлящей гневом и возмущением площади. Он сын Азиза. Сын бакинского каменщика Азиза, погибшего на царской каторге в Сибири. «Твой отец — убийца!» — так говорят люди, на которых его отец работал всю жизнь. «Твой отец — справедливый человек: он убил пристава, издевавшегося над бедняками!» — так говорят люди, за которых заступился Азиз. «Сын в отца»,— говорят те и другие. Поэтому Мешади сегодня на площади, на пани-

хиде по слушательнице Высших женских курсов Марии Ветровой. Ее мучили в одиночке Петропавловской крепости. Не выдержав издевательств, она облила себя керосином и сгорела заживо.



Мешади
АЗИЗБЕКОВ
(1876—1918)

Панихида? Нет, мощный протест!

Вот идет впереди многотысячной толпы студент Мешади Азизбеков. Поет вместе со всеми «Марсельезу». Запружен Невский проспект. Смят один полицейский кордон, смят второй... В дело пущена конная жандармерия. Ей удается остановить «бунтовщиков». Из первых рядов полиция выхватывает зачинщиков. Среди арестованных и студент Мешади Азизбеков.

Одиночка в Крестах. Допросы, бесконечные нудные допросы... «Кто сообщники?», «К какой группе бунтовщиков принадлежите?» В ответ молчание. В ответ спокойствие: мол, не понимаю, о чем речь.

Резюме следователя: «Восточный темперамент. Дикость. Весьма характерно для азиатов».

Мешади не спорит. Пусть так. Надо только вырваться. Его выпускают. Он снова ходит на лекции. Зарабатывает на жизнь уроками. А по ночам в скромных квартирах на Васильевском острове в горячих диспутах о путях освобождения народа от гнета редко, но горячо звучит голос стройного азербайджанца. Он очень молод, порывист и вместе с тем сдержан. Он больше слушает, чем говорит. Дедушка — называют его кружковцы. В 1898 году он вступает в Российскую социал-демократическую партию. Узнав об этом, один из тех, кого считал он своим другом, говорит ему:

— Ты азербайджанец, я азербайджанец. Мы должны создать свою, азербайджанскую партию! Русские — это русские. Мы — это мы. У нас свой язык. У них свой язык. У нас свои песни. У них свои песни. У нас свой путь. У них свой путь. Не к лицу нам петь с чужого голоса, Мешади.

— С чужого голоса? — Мешади в упор посмотрел на того, кого считал он другом.— Запомни: если моя первая мать — Сальминаз, то вторая мать — книга Чернышевского «Что делать?». Обе они меня воспитали и вырастили.

И «друга» не стало. Что ж, с таким ему не по пути.

Мешади слушал лекции. Их читали русские профессора. Мешади слушал страстные споры в кружках. Там в большинстве были русские. Но они говорили об одном, все: грузины и азербайджанцы, белорусы и украинцы, литовцы и поляки, чуваши и татары — все народы страны, раскинувшейся от Балтийского моря до Тихого океана, должны одолеть одного общего врага — самодержавие.

В театрах и на художественных выставках, на литературных вечерах и в концертах часто видели стройного бакинца. Он впитывал в себя великую культуру народа, давшего миру Ломоносова и Пушкина, Лермонтова и Некрасова, Белинского и Добролюбова, Гоголя и Островского.

Дедушка руководил марксистским кружком студентов-кавказцев. Нес им не только азбуку политической борьбы — страстно призывал их изучать русскую культуру.

— Только таким путем можно подготовиться к общественной деятельности и принести пользу своему народу,— не уставал повторять Мешади.

Конечно, его выследила охранка. Пришлось скрываться. За два года он переменил двадцать с лишним адресов. И все-таки его арестовали. Вторично в Кресты. Но вынуждены освободить «за недостатком улик». Что ж, недаром проходил Мешади школу у лучших подпольщиков партии.

В 1904 году в связи с началом русско-японской войны Технологический институт закрыли. Мешади вернулся на родину, в Баку. Здесь ждали его мать, молодая жена, товарищи по борьбе: Алеша Джапаридзе, Мамшед Мамедьяров, Иван Вацек, Петр Монтин — большевики-ленинцы, возглавлявшие Бакинский комитет РСДРП. На первой же встрече они охладили пыл Мешади, рвавшегося в самую гущу нараставших революционных событий.

— Ты должен быть вне подозрений, Мешади,— сказал ему на заседании комитета Алеша Джапаридзе.— Ты ведь первый азербайджанец с инженерным образованием. Бакинские воротилы наперебой предлагают тебе должности на своих фабриках и нефтяных промыслах. Этим надо воспользоваться.

И Азизбеков вступает в должность инженера на Баиловской электростанции. Квартира Мешади на Азиатской улице становится явкой и складом оружия, местом собраний, подпольной типографией.

Несколько месяцев спустя на столе начальника Бакинской охранки появляется первое донесение агентов: инженер Азизбеков — в числе руководителей организации «Гуммет», объединяющей бунтарски настроенных лиц азербайджанского происхождения.

Но сделать обыск у господина инженера неудобно. Он принят в лучших домах Баку. С ним заигрывают местные миллионеры. Еще одно донесение — и «щепетильность» охранки испаряется.

В доме Азизбекова обыск. Пюста-ханум, жена Азизбекова, едва оправилась после родов. В ее спальне под подушкой спрятаны два револьвера и патроны. За ними должны были прийти — не успели. Мешади слышит голос матери:

— Здесь роженица! Сюда нельзя!

Но шаги полицейских все ближе.

— Ты возьмешь то, что под подушкой, и вынесешь под чадрой из комнаты,— шепчет Мешади жене. Он уверен: полицейские не посмеют обыскивать женщину.

И впервые со дня своего замужества Пюста-ханум набрасывает чадру, прячет под нее револьверы и патроны, идет к двери. Проходит мимо полицейских в комнаты, где уже все перевернуто вверх дном. Слышит властный голос мужа:

— Господа, я вынужден буду самым решительным образом протестовать!

Несколько минут спустя обескураженные полицейские покидают дом инженера Азизбекова. Дом, в тщательно замаскированном подвале которого еще прошлой ночью ритмично вздыхал печатный станок. Дом, откуда тысячи листовок с призывом к всеобщей политической стачке шли на фабрики и промыслы города нефти.

...Вокруг губернаторской коляски возбужденная толпа. Губернатор Накшидзе лениво роняет:

— Во всяком случае дома не поджигайте и женщин не трогайте...

Мешади Азизбеков хорошо знает, что стоит за этими словами. Сегодня с утра он побывал в армянских кварталах города. Темные личности распускают провокационные слухи: азербайджанцы точат ножи на армян. И вот сейчас губернатор сам натравливает на армян азербайджанцев. Мешади не выдерживает:

— Кто послушает осла, тот сам станет ослом! — летит над толпой его гневный голос.— Он лжет!

Губернатор грузно валится на сиденье, пропуская оскорбление мимо ушей. Кучер трогает лошадей. Друг Азизбекова Мустафа, с самого утра неотступно сопровождавший Мешади, тянет его за рукав:

— Нельзя так...— шепчет он.

Мешади и сам понимает: нельзя. Злится на себя. Не выдержал, сорвался. Ведь кругом кочи и маузеристы — наемные убийцы. Он не волен распоряжаться своей жизнью. Сегодня активисты «Гуммета» всюду ведут контрпропаганду, стремясь во что бы то ни стало предотвратить кровопролитие. Удастся ли? Национальная вражда, разжигаемая десятилетиями, может обернуться сегодня-завтра сотнями погубленных жизней.

Вечером раздаются первые выстрелы. Первые жертвы наемных убийц окрасили кровью мостовые. Началась общая резня.

Ночью Мешади и его товарищи вывели из армянских кварталов несколько сотен семей. Их спрятали в домах азербайджанцев, в его доме. И это было все, что можно сделать. Власти не мешали резне. Только на третий день, напуганные начавшимися грабежами магазинов и складов, поджогами, буржуа потребовали от губернатора мер к прекращению резни, выступили с призывом «ограничиться пролитой кровью». По поручению Бакинского комитета РСДРП на митинге, посвященном памяти жертв резни, выступает Мешади Азизбеков.

— Лжетворители мира, вы ответите за кровь бедноты,— гневно бросает он в адрес тех, кто разжигал шовинистические настроения,— не притворяйтесь народолюбцами. Вы в союзе с Накшидзе подготовили резню и тем самым отвлекли внимание трудящихся Закавказья от общей борьбы рабочих России. Но не забывайте: день мести впереди!

«День мести впереди» — эти слова обрели крылья. Их повторяли в рабочих кварталах, на нефтяных промыслах. Бакинский комитет дает Азизбекову задание организовать боевую дружину из передовых рабочих-азербайджанцев. В короткий срок десятки рабочих-бойцов объединились в дружину, которую они назвали «Знамя свободы». И попрежнему склад оружия, типография находились в доме Азизбекова. В преддверии грозных классовых битв в Баку были созданы десятки боевых дружин. И ни одному из знакомых Азизбекова, из тех, с кем встречался он в так назы-

ваемом свете, даже в голову не приходило, что респектабельный инженер — один из руководителей нараставшего рабочего движения.

Что же касается его выступлений на митинге, а несколько позже — на процессе, где власти пытались создать видимость официального осуждения резни, то бакинские заводчики и фабриканты считали это следствием молодости и горячности инженера Азизбекова.

Охранка относилась по-иному. В доме Азизбекова второй обыск. И опять жандармские ищейки ушли ни с чем. Не смогли найти замаскированный подвал-тайник. Все же Бакинский комитет переносит типографию и оружие в другое место. Заседания комитета на квартире Азизбекова тоже прекращены. А где их проводить? Азизбеков проявил изобретательность и смелость. Заседания собирались в мечети, на квартире его богатого родственника — фабриканта, уехавшего на время из города.

Революционные события нарастали. В декабре 1904 года началась стачка рабочих механических предприятий Баку, в январе 1905 года к ним присоединяются рабочие еще двадцати пяти заводов и фабрик Баку и Бакинской губернии. А в грандиозной майской политической стачке принимали участие уже три четверти рабочих города и нефтяных промыслов. В этой стачке впервые рабочие-азербайджанцы выступили как организованная сила. Деятельность марксистской азербайджанской организации «Гуммет» под руководством Мешади Азизбекова и Алеши Джапаридзе дала свои плоды. Гумметовцы твердо стояли на большевистской, ленинской позиции. На митингах и собраниях, в листовках и прокламациях они клеймили самодержавие, разоблачали меньшевиков и националистов.

И позже, когда революционное движение было подавлено, когда меньшевики истошно вопили о том, что не надо было браться за оружие, гумметовцы били их ленинскими словами: надо было браться за оружие, только более решительно и энергично.

В одном из жандармских донесений 1906 года говорилось: «Социал-демократическая организация «Гуммет» находится под контролем Бакинского комитета. Масса, татарская (т. е. азербайджанская), персидская, лезгинская, прислушивается к голосу этой организации, часто издаются листовки. Во главе «Гуммета» находятся энергичные люди, обладающие большим революционным темпераментом».

Охранка догадывалась о роли Азизбекова, но прямых улик против него не давали ни слежка, ни обыски. Азизбеков был неуловим. Сотни верных товарищей оберегали его.

Биби-Эйбат. Промыслы. Толпа рабочих. Только что выступил один из посланцев Ленина — Виктор Алексеевич Радус-Зенькович. Он появился в Баку вместе с двумя товарищами. И общение с ним, а он уже не раз выступал на митингах — Азизбеков переводил его,— было для Мешади большой школой революционной борьбы. Особенно волновало Азизбекова то обстоятельство, что Виктор Алексеевич не раз лично встречался с Владимиром Ильичем, выполнял его поручения и даже бывал в кругу семьи Ильича, в маленьком домике на берегу Женевского озера.

Из скупых рассказов Виктора Алексеевича Азизбеков вынес свое, особое представление о вожде. То, что он невелик ростом, немного картавит, слегка рыжеват,— все это не задержалось в памяти Мешади. Но неистовая революционная непримиримость Ленина, его умение ориентироваться в самой сложной обстановке, его бесстрашие в борьбе с теми, кто тянул партию в болото реформизма, его вера в силы пролетариата были для Азизбекова тем эталоном, по которому выверял он каждый свой шаг.

Самые, казалось бы, незначительные на первый взгляд детали в рассказах Радуса-Зеньковича о Ленине приобретали для Азизбекова огромный смысл. И вот сейчас, взобравшись на громоздкий ящик, видя перед собой сотни глаз, устремленных на него, Азизбеков говорил, чувствуя, что каждое слово его четко впечатывается в напрягшуюся от внимания толпу. Он знает: этим он во многом обязан человеку, с которым встречался его русский товарищ в маленьком домике на берегу Женевского озера.

— Товарищи,— взволнованно звучит голос Мешади.— Мы понесли временное поражение. Но мы поняли, кто нам друг и кто нам враг. Мы стали организованной силой. Но нам надо удвоить ее: наши братья — крестьяне еще темны и забиты. Они выступают против помещиков и произвола властей разрозненно. Многие из вас — выходцы из деревни. Несите же своим землякам знание того, как стать им силой, перед которой бы трепетали помещики. Учите их классовой борьбе. Если мы поведем за собой беднейшее крестьянство, самодержавию не устоять...

Речь Азизбекова неожиданно прерывают. Рабочие плотной стеной окружают его. Плечом к плечу стали они.

— В толпе убийца. Тебя хочет убить,— коротко бросает ему один из них.— Теперь говори.

...Плотно окружив Азизбекова, провожают его рабочие с собрания. И так было не раз.

Азизбеков знал, на что шел. Еще в 1905 году пал от руки убийцы его лучший друг — большевик Петр Монтин. Он умер на руках матери Азизбекова. А совсем недавно наемные бандиты убили отважнейшего из отважных — слесаря Ханлара...

На очередном заседании комитета Азизбеков получает задание: организовать побег из Баиловской тюрьмы двух товарищей, один из которых приговорен к смертной казни, другой — к долголетней каторге.

— Организовать — не значит самому врываться в тюрьму,— строго предупреждают его комитетчики.— Любая случайность, ведущая к твоему аресту, должна быть исключена, товарищ Азизбеков.

Никогда еще ни один инженерный расчет не был так сложен для него, как расчет тех тридцати минут, которые должен был занять налет на тюрьму.

Он стоял на берегу залива, в трех километрах от тюрьмы. Была ночь. С моря поднимался упругий ветер. Первый выстрел разорвал тишину. Второй, третий... Как медленно тянутся минуты. Там, за тюремными стенами, его дружинники ведут бой за жизнь товарищей. Хотелось, очень хотелось быть с ними. Есть однако суровый закон — партийная дисциплина. Он должен быть здесь и ждать. Как медленно тянутся минуты!

Послышался бешеный цокот копыт. К берегу залива оттуда, от тюрьмы, несется фаэтон. В нем четверо. Один из них на ходу соскакивает, подбегает к Азизбекову.

— Все в порядке. Уходите, товарищ Мешади.

«Любая случайность вашего ареста должна быть исключена»,— звучит в ушах строгий голос товарища из комитета. И он уходит в ночь, не пожав рук самых близких ему людей, потому что есть суровый закон — партийная дисциплина.

А несколько дней спустя на заседании комитета Мешади Азизбеков получает новое задание: использовать все легальные возможности для партийной работы. Главное сейчас для партии — сохранить силы, и не только сохранить, но и умножить их для нового, решающего удара по самодержавию. Это установка большевистского ЦК, установка Ленина.

И снова в гостиных и клубах все чаще появляется инженер Азизбеков. Он хлопочет об открытии вечерних школ для рабочих. Он — один из руководителей культурно-просветительного общества. Он — гласный Бакинской городской думы, представитель той власти, борьбе против которой отдает он все. Его знают и любят рабочие окраин. Их интересы отстаивает он с думской трибуны. Его ненавидят, но вынуждены терпеть буржуа. Охранка сбивается с ног, ища хоть малейшую улику против Азизбекова. Он с вежливой презрительностью улыбается шпикам. А станки, изготовленные в организованной им мастерской, печатают листовки и прокламации в Баку и Тифлисе, в Москве и Петербурге.

Охранка бесится. Ее руководитель, считающий себя великим психологом и «знатоком азиатов», вызывает Азизбекова на разговор, который, по его расчетам, поможет изолировать неуловимого бунтовщика.

— Вы знаете, Мешади-бек, у нас появились весьма интересные для вас сведения. Оказывается, ваш отец отравлен на каторге мерзавцем, подосланным родственниками пристава, которого он убил. На вашем месте я бы задумался. Обычаи вашей страны, освященные веками, требуют от вас действий.

Азизбеков высоко вскинул брови:

— Как, господин полковник считает, что я должен мстить?! О, какое заблуждение! Простите, я не смею отнимать у вас время, столь нужное вам для службы царю и отечеству. Разрешите откланяться, господин полковник.

Полковник побагровел, но сдержался. Если бы его отхлестали по щекам, это было бы не так мучительно и позорно, как разящая «вежливость» Азизбекова. Полковник понимал: этот «азиат» смеется над ним!

Шпики сбивались с ног, а листовки и прокламации регулярно появлялись. Черносотенцы толпами ходили по улицам города, ревели «Боже царя храни», но этим и ограничивались. Знали: горячие руки рабочих-дружинников твердо лежат на рукоятках револьверов, когда идут они по кварталам города.

Все нити, связывающие организованную растущую силу бакинского пролетариата, сходились в Бакинском комитете, одним из руководителей которого был гласный Бакинской городской думы Мешади Азизбеков.

Годы борьбы, повседневной, ежечасной. Тревожные, молящие глаза матери и жены.

— Так надо, дорогие! — отвечал Мешади.

И они знали: так надо. Иначе их Мешади не может. Они хорошо помогали ему. Это удесятеряло силы.

Грозные дни Октября. Губернский бакинский комиссар, заместитель наркома внутренних дел Мешади Азизбеков дни и ночи на нефтяных промыслах, в деревнях губернии. Трудно, но он считает себя самым счастливым человеком на земле. На груди, у сердца, он хранит несколько строк, как бы подводящих итог всей дореволюционной работы — его и товарищей. Это приветствие «Гуммету» от VI съезда РКП(б) — ленинская оценка их работы. «Надеемся, что организация «Гуммет», впервые участвовавшая на нашем съезде, и впредь много раз будет участвовать на наших съездах...

Подлинные мусульманские рабочие вместе со своей организацией в единой братской семье со всем российским пролетариатом, под знаменем революционной Всероссийской Коммунистической партии будут бороться до полной победы пролетариата».

...За окном вагона ночная, пустынная степь. Азизбеков ощущает тепло плеча Шаумяна. Это ему, Степану, телеграфировал Владимир Ильич Ленин вскоре после Октябрьской революции: «Дорогой товарищ Шаумян!.. Мы в восторге от вашей твердой и решительной политики. Сумейте соединить с ней осторожнейшую дипломатию, предпосылаемую безусловно теперешним труднейшим положением,— и мы победим!»

Да, положение было труднейшим. Мусаватисты подняли мятеж против молодой Бакинской коммуны. Мятеж подавили. Но англичане оккупировали Баку. Они, бакинские комиссары, были брошены в тюрьму. Английских оккупантов сменили германо-турецкие.

Накануне вступления в город германо-турецких интервентов Анастас Микоян с группой товарищей сумел освободить Азизбекова, Шаумяна и всех комиссаров из тюрьмы. Казалось, все позади. С борта парохода «Туркмен» для них открылось широкое, родное море — дорога в советскую Астрахань. А там — продолжение борьбы, без которой они не мыслили жить. Но контрреволюционное командование судна взяло курс на Красноводск, занятый англичанами. И они снова очутились в тюрьме.

Сегодня, 20 сентября, в ночь их бросили в этот вагон — вагон смерти. В этом не их вина. Они боролись. Они сделали все, что могли.

...Их было двадцать шесть. Двадцать шесть в душном вагоне, под дулами винтовок.

— Наши товарищи будут бороться до полной победы пролетариата,— тихо проговорил Азизбеков.

Алеша Джапаридзе тронул его за плечо:

— Что ты сказал, Мешади?

— Что я сказал? Я сказал: наши товарищи будут бороться до полной победы пролетариата.

Алеша крепко сжал его руку:

— Мы победим, Мешади!

Они победили...

Александр Тверской

НАРОДНЫЙ ЛЮБИМЕЦ

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
«Братский союз и свобода» —
Вот наш девиз боевой.

Из революционной песни

Рано остался Алексей Бадаев сиротой. С двенадцати лет познал тяжкий крестьянский труд.

Семья Бадаевых была слишком велика, чтобы прокормиться крестьянствованием. Земли было так мало, что, как говорили односельчане, поставишь ноги по краям надела — и штаны не лопнут. Мяса почти не видели. Супы и те — «крупина за крупиною гоняется с дубиною».

Вот и решил Алексей в город податься, на приработки. Зима во двор — Алексей со двора. Все в Брянск хаживал — недалеко от села Юрьева.

А как семнадцать лет сравнялось, совсем из села уехал, в Москву. Пристроиться к делу хотел — не вышло. Тогда в Петербург направился.

Чернорабочим поступил, в Главные вагонные мастерские Николаевской железной дороги. Приглядывался Алексей, как слесарят люди, и вскоре подручным слесаря стал.

Многое услышал деревенский парень от новых своих знакомых. Рабочие рассказывали ему о революционной борьбе, о том, что с хозяевами спорить можно, и не просто спорить, а выиграть спор.

Полюбил Алексей книгу. И когда надоумили его новые друзья поступить в техническую школу, ответил:

— Я и сам о том давненько мечтаю-думаю: как бы учиться пойти. Да не знаю куда... И возьмут ли...

Но помогли земляки.

И вот Алексей Бадаев учится уже в так называемой Смоленской вечерней технической школе. Мрачное четырехэтажное здание школы кажется ему светлым сказочным дворцом. И не только потому, что там получает он технические знания. Учителя в школе какие-то необычные, особенные: каждым и всяким случаем пользуются, чтобы под видом урока о революции потолковать, о том, как рабочий человек за себя стоять должен.

Вот так школа! И удивительно ли, что попал оттуда Алексей на квартиру к знакомому мастеровому, где собравшиеся жадно слушали человека с живыми лучистыми глазами.

— Играют между собою капиталисты в шахматы,— говорил этот человек.— Играют, весь мир разыгрывают, все богатства: фабрики, недра, заводы и водные пространства. Играют. Но поднимется могучий и мозолистый кулак рабочего класса — р-раз! — и нет ни фигур шахматных, ни доски, да и сами игроки под столом валяются. Вот ведь какова наша сила! Только быть нам надо в кулаке. В единении — наша победа. А знаете ли вы, кто такой Ленин?..

Впервые услышал Алексей это имя.

Не знал еще, что с именем этим будет связано в его жизни все самое лучшее, самое значительное, самое верное. Но уже и тогда почувствовал: имя это возвышает и его, молодого рабочего.

— Кто это говорит? — шепотом спросил Алексей соседа.

— Товарищ Абрам,— ответил тот.

Позже узнал Алексей, что это подпольная кличка одного из пламенных пропагандистов-ленинцев — Николая Васильевича Крыленко.

Незаметно для себя самого становился вчерашний пастух передовым рабочим, культурным, революционно настроенным человеком.

В 1904 году, когда исполнился Алексею Бадаеву двадцать один год, стал он большевиком.

За что бы ни брался Алексей, работа так и спорилась у него. Горячее сердце, пытливый ум, рабочая совесть отличали его всюду и всегда. А особенно полюбили его окружающие за отзывчивость и чуткость, за готовность помочь в беде, если надо, поделиться последним куском. Душев-

ная доброта и радушие, обаятельная улыбка и проницательный, ясный взгляд красивых карих глаз привлекали к нему людей. Будучи человеком высокого роста и недюжинной физической силы, Бадаев словно олицетворял могущество родного народа.



Алексей Егорович
БАДАЕВ
(1883—1951)

Где бы он ни появлялся, всюду встречали его приветливо, были рады ему. Со временем имя его стало известно всем рабочим Александровского завода, куда входили вагоноремонтные мастерские. Здесь в октябре 1905 года избрали его в стачечный комитет.

Все знали: раз пришел Бадаев, стало быть, скоро и большевистские листовки появятся или загородная маевка намечается, а то и стачка... Видели в нем защитника от хищных хозяйских лап, верили ему: прямой он человек и смелый, такой не подведет! Когда он говорил, тихо становилось в мастерских.

Ни одно событие в этот бурный год не обошлось без него.

Рабочие решили пригласить к себе Владимира Ильича. Алексею и самому больше всего на свете хотелось увидеть и услышать Ленина. Но ведь жандармы охотились за Ильичем. Бадаев и его товарищи решили принять все меры предосторожности: они объявили, что будет лекция на медицинскую тему.

А на самом деле приехал Ленин.

Когда говорил Владимир Ильич, Алексей Бадаев ни на мгновение не сводил с него глаз. Он был потрясен неопровержимой ленинской логикой, страстностью и зажигательностью ленинской речи, умением Ильича дойти до самого сердца рабочего человека.

Мысленно поклялся Бадаев самому себе: до конца, до последней капли крови быть верным и преданным бойцом ленинской партии, любить рабочий класс, как любит его Ленин, ненавидеть царизм, как ненавидит его Ленин.

Первая встреча с вождем была для Алексея Егоровича присягой партии, революционным боевым крещением.

* *
*

Уродливый избирательный закон, состряпанный царскими прислужниками, фактически отстранял от участия в выборах огромное большинство рабочего класса. Тысячи и тысячи рабочих России получили возможность послать в Думу всего-навсего нескольких депутатов.

В 1912 году во время избирательной кампании по выборам в IV Государственную думу друзья по партии принесли Бадаеву листовку, написанную Лениным.

Алексей Егорович прочел: «...наша партия идет в Думу не для того, чтобы играть там в «реформы», не для того, чтобы «отстаивать конституцию», «убеждать» октябристов или «вытеснять реакцию» из Думы, как говорят обманывающие народ либералы, а для того, чтобы с думской трибуны звать массы к борьбе, разъяснять учение социализма, вскрывать всякий правительственный и либеральный обман, разоблачать монархические предрассудки отсталых слоев народа и классовые корни буржуазных партий,— одним словом, для того, чтобы готовить армию сознательных борцов новой русской революции».

Читая эти строки, Алексей Егорович будто снова слышал голос Ильича, словно видел его опять у себя, на Александровском заводе, хотя со времени первой встречи прошло свыше семи лет. За этот срок рядовой большевик вырос в популярного среди петербургских рабочих партийного организатора. Теперь о деятельности Бадаева знал сам Ленин. И не только знал, но и корректировал и направлял каждый шаг рабочего-революционера. Это делало Бадаева во сто крат сильнее и авторитетнее.

Когда большевики решили выставить кандидатом в Думу от петербургских рабочих Алексея Бадаева, эту кандидатуру единодушно поддержал весь рабочий Петербург. Ленинская «Правда» призвала голосовать за большевистского кандидата Бадаева.

Гордость охватила сердце Алексея Егоровича. Но не только гордость, а еще и чувство высокой ответственности перед рабочим классом столицы, перед партией, перед Лениным.

20 октября 1912 года Алексей Егорович Бадаев был избран депутатом Думы по рабочей курии.

И вот вместе с другими депутатами-большевиками входит слесарь Бадаев в Таврический дворец, в зал заседаний

Думы. Сверкают лорнеты помещиков, поблескивают золотые цепочки на жилетах купцов, насмешливо и презрительно поглядывают на рабочих депутатов выхоленные адвокаты.

— А знакомы ли они с орфографиею?..— бросает какой-то худосочный черносотенец.

— А умеют ли вилку держать?..

— Да ведь они в манишках! О боже! Лошадь — и шелковые чулки! Из хама не сделаешь пана!..

— Господа! Не знаете, давно ли их выдворили из кабака за пьяное свинство?.. Ха-ха-ха!..

Бадаев идет впереди. Он гордо держит голову. Он презрением отвечает на попытки унизить рабочих депутатов. Он не теряется. Он знает: за ним — тысячи рабочих, за ним — партия, за ним — Ленин...

Неспроста злобствуют господа: рабочие будут заседать рядом с ними!

...И вот первая речь Бадаева в Думе.

Бадаев помнит хорошо: Ильич подчеркивал особую важность именно первого выступления депутата-большевика...

Вечернее заседание.

Алексей Егорович поднимается на трибуну. Изнывающие от ничегонеделания жены крупных чиновников пришли в Большой зал Таврического дворца, как в театр. Они наводят бинокли на красивого и статного мужчину не для того, чтобы любоваться им (для них рабочий — не человек): они хотят видеть, как будет держаться этот вчерашний слесарь и землепашец...

— Господа члены Государственной думы! — произносит Бадаев первую, традиционную фразу.

Голос у него уверенный, твердый, могучий.

И многие убеждаются: в голосе его и в осанке, да и в речи самой нет ничего, кроме высокого достоинства человека, пришедшего сюда от имени тех, кто своим трудом, своими руками создает все блага на земле.

Председатель Думы Родзянко настораживается. Он готов в любую минуту прервать речь Бадаева. Его тучная фигура нависает над залом заседаний.

И действительно, как только Бадаев касается полицейского произвола и чудовищной эксплуатации трудящихся, Родзянко грубо перебивает Бадаева. Бадаев продолжает в том же духе, начинается спор с Родзянко, и тот в конце концов лишает Бадаева слова.

Бадаев уходит с трибуны. Рукоплещет весь зал: левые — Бадаеву, правые — Родзянко, учинившему расправу над рабочим депутатом.

Но важно другое: первая речь первого депутата от рабочих, о которой так беспокоился Ленин, не сорвана. Бадаев сказал главное. Черной сотне не удалось заглушить его голос насмешками и председательскими окриками.

Серьезно и дельно, лаконично и страстно, просто и беспощадно говорил рабочий депутат. Положено начало деятельности думцев-большевиков. Доброе начало.

А дальше... Дальше нужно, чтобы все депутаты-большевики все время работали четко и слаженно, как хороший часовой механизм. И Ленин повседневно и ежечасно руководит всей фракцией в целом, каждым депутатом в отдельности. Он требует от депутатов детального отчета. Просит, чтобы они ни в коем случае не ограничивались формальными ответами на его подробные запросы и анкеты.

И все же депутаты — в Петербурге, а Ленин — в Кракове. Необходим личный контакт.

Во время рождественских каникул в Думе, в конце декабря 1912 года, депутаты-большевики нелегально приезжают в Краков на совещание. Город живет своей спокойной, размеренной жизнью. Зазывают седоков извозчики. Падает, кружится тихий снежок. Морозно. В окнах домов видны разноцветные гирлянды, свисающие с елок. Завтра — Новый год...

И завтра должно закончиться Краковское совещание большевиков, начавшееся несколькими днями раньше.

А сегодня, после очередного заседания, Владимир Ильич и Надежда Константиновна пригласили в гости двух депутатов-большевиков, Бадаева и Петровского, и товарища Абрама — Николая Васильевича Крыленко, который тоже приехал в Краков.

Втроем пошли к Ильичу. Вот и район Весола. Разыскивают улицу Любомирского. Трехэтажный серый дом. Николай Васильевич трижды стучит в окно, потом делает паузу и стучит еще два раза.

Открывает Надежда Константиновна.

— Ах вы такие-сякие! — ласково журит она гостей.— Владимир Ильич совсем уже потерял терпение! Что же вы так долго, товарищи дорогие!

— Да не так-то просто найти вас, Надежда Константиновна,— оправдывается Николай Васильевич.

Миновав прихожую, Надежда Константиновна распахивает дверь в комнату, и на пороге радостно встречает гостей Владимир Ильич.

— Прошу, прошу, милости прошу! — словно торопясь, говорит он и приглашает гостей к столу.— У нас елка сегодня, глядите, какая — до самого потолка. И торт! Торт первоклассный, специально для господ депутатов! Произведение Надежды Константиновны. Отличнейший торт! Полагаю, что и сам Михаил Владимирович не отказался бы!

Ленин заразительно смеется.

— Это вы, Владимир Ильич, о каком же Михаиле Владимировиче? — переспрашивает Бадаев.— Уж не о Родзянко ли?

— Так точно. О нем.

— Ну нет,— весело улыбается Алексей Егорович.— Для него у нас иные торты есть, иного свойства...

— Ты слышишь, Надя?.. Где ты? Надя! — зовет он Надежду Константиновну, ушедшую на кухню.

Долго еще смеется Ильич, не умолкают его остроумные слова, шутки.

Но вот лицо его преображается.

— Так вот, товарищи, сегодня мы с вами отметим Новый год, а заодно побеседуем и о вещах серьезных. Вы, батенька Алексей Егорович, говорите, что хотели бы Родзянко по-своему угостить. Это хорошо. Это замечательно. И свидетельствует о подлинно большевистской, ударной направленности вашей мысли и вашей работы. Но нельзя забывать, что и Родзянко не дремлет. И если парламентская деятельность одних приводит их на министерские кресла, то парламентская деятельность других приводит их в тюрьму, в ссылку, на каторгу...

Глаза Ильича сузились, в них засверкал гнев.

Но Бадаев не хотел думать в тот вечер о тюрьме и каторге. Тепло, то особенное тепло, которое испытывал человек при общении с вождем революции, охватило его сердце, его душу, все его существо.

— Мы знаем, Владимир Ильич, что нас ожидает,— сказал он.— Знаем хорошо. Но знаем также, что ведем борьбу за правое дело. И придет время, когда родзянки и пуришкевичи окажутся вне игры.

Твердая убежденность Бадаева, его вера в близкую победу революции понравились Ленину.

— Вы совершенно правы, товарищ Бадаев,— сказал он.— Рабочие депутаты должны использовать думскую трибуну

для агитационных выступлений, для того, чтобы двигать вперед революционное движение в стране путем разоблачения и царского правительства и всей фальши так называемых либеральных партий. Я уже писал об этом, но сегодня хочу еще раз подчеркнуть: рабочего депутата слышит весь рабочий класс России!

Владимир Ильич говорил страстно.

И страстность его слов передавалась товарищам, волновала их. Они слушали, боясь пропустить хоть слово.

— Не следует, однако, ограничиваться одними только думскими выступлениями,— продолжал Ленин.— Депутаты-большевики должны помогать своей партии и другими способами.

И Владимир Ильич разъяснил, что̀ он имеет в виду:

— Находясь в постоянной связи с широкими народными массами, депутаты должны стать застрельщиками создания новых партийных организаций, вести работу в профессиональных союзах.

Об этом тоже уже говорилось на совещании, но Ильич возвратился к этому в личной беседе с Бадаевым и Петровским.

Вообще на них он словно проверял все свои мысли относительно думской фракции. После каждой своей фразы внимательно вглядывался в лица депутатов, улавливая, как они реагируют на то или иное положение. Не только слова, но и чувства депутатов интересовали Ленина.

— Есть и еще одна задача, задача чрезвычайной важности,— сказал Владимир Ильич, глядя на Бадаева.— И задачу эту предполагается возложить на вас, дорогой Алексей Егорович. Вы ведь у нас — Номер первый...

Номер первый — это конспиративная кличка Бадаева.

...и задача — тоже первостепенной важности,— продолжал Ильич.— И состоит она в том, чтобы человек, непосредственно связанный с массой питерских рабочих, взял на себя заботы и хлопоты по изданию нашей «Правды». Необходимо, чтобы все думские речи большевиков — и не в урезанном Родзянко виде, а полностью — печатались в газете, читались рабочими. В широте нашей агитации — великий смысл всей думской работы! И «Правда» должна набрать силу!

Беседа с Ильичем затянулась далеко за полночь. Много говорил он еще о «Правде» и обо всех деталях думской работы.

А Надежда Константиновна радушно потчевала гостей.

Простота Ленина, его стремление передать товарищам всего себя, сообщить им побольше мыслей и советов, использовать короткую встречу с ними для подробнейшего инструктажа решительно по всем делам — большим и малым — вызывали благодарный отклик в сердцах Бадаева, Петровского, Крыленко.

Ленин говорил, просил высказываться собеседников, внимательно выслушивал их вопросы, подробно и обстоятельно отвечал на них.

Владимир Ильич вдруг сделал паузу и положил руку на плечо Бадаева:

— Разрешите мне, дорогой Алексей Егорович, называть вас просто Бадаичем. Так оно проще будет... Можно? Надежда Константиновна тоже просит вас об этом.

Бадаев смутился:

— Пожалуйста, Владимир Ильич. Мне только приятно будет. Кстати, рабочие меня так и называют...

— Рабочие? Вот и хорошо! Значит, угадали мы вашу рабочую кличку! — И добавил еще: — Чрезвычайно важно — не отрываться от рабочих, быть для них своим человеком.

Весь вечер Ильич был как-то особенно весел.

Прощаясь, он сказал:

— Доброго пути, товарищи! В добрый час, Бадаич!..

С тех пор при одной только мысли об Ильиче сердце депутата-большевика охватывали гордость и радость. Становился Бадаев смелее и решительнее.

Когда вспыхнула забастовка в вагонных мастерских Николаевской железной дороги, где Бадаев был и чернорабочим и слесарем, Алексей Егорович обратился к ним через «Правду» с вдохновляющим призывом:

«Дорогие товарищи! Спешу вас от всей души приветствовать по поводу вашего солидарного выступления 4 марта, когда вы настойчиво и смело встали на защиту своих пяти лишенных куска хлеба товарищей, потребовав принять их обратно на работу.

Тяжело живется рабочему, в особенности в вагонных мастерских Николаевской железной дороги.

До избрания меня в Государственную думу я много лет работал в этих мастерских и на своей собственной спине испытал весь гнет администрации: грубое обращение, выбрасывание за ворота не только без предупреждения, но даже без объяснения причин...»

Крепла кровная связь большевика с массами. Снова и снова вспоминал Бадаич слова Ленина о том, что надо быть для рабочих своим человеком. Бадаев вступался за рабочих не раз.

Конечно, ни царские министры, ни Дума не удовлетворяли его депутатских требований. Но, как учил Ленин, выступления депутата-большевика разоблачали ложь и фальшь буржуазно-помещичьей Думы и всей прогнившей политической системы царизма.

Забастовали рабочие Обуховского завода. Жандармы арестовали тридцать семь человек. Рабочие депутаты вынесли на рассмотрение Думы срочный запрос.

Опять зазвучал голос Бадаева с думской трибуны. Опять устроили ему обструкцию правые.

Но Бадаев не растерялся: ни на минуту не забывал он напутствия Ильича. Оно оберегало его от любых неожиданностей.

Когда говорил он о тяжелом, ужасающем положении рабочих, слышался в ответ только злобный вой черносотенцев.

Бадаев бросил им в лицо гневные слова:

— Я не рассчитываю вас пронять описанием тяжелого положения рабочих на Обуховском заводе. Ясно, что бессмысленно прививать оспу телеграфным столбам; не менее бессмысленно говорить о положении рабочих в этой черносотенной помещичьей Думе.

Родзянко пытался прервать речь рабочего депутата, но Бадаев продолжал:

— Господа, ясное дело, что рабочий при таких каторжных условиях не может работать. Вы помните, когда в 1905 году он вам предъявил требования. Он доживет и теперь до того времени, когда он опять их предъявит, иначе он не может, и если, когда, в частности, Обуховский завод эти требования выставляет, вы их не удовлетворяете, то тогда, когда все рабочие всей России требования предъявят, они вас спрашивать не будут и возьмут все от вас: и землю, и всякую свободу.

Впечатление от речи Бадаева было настолько сильно, что правые решили выставить против него свое «тяжелое орудие» — известного погромщика черносотенца Маркова-второго. Мракобес-реакционер сказал:

— Господин Бадаев, вы — молодой человек. Вызов бросают только тогда, когда после вызова нужно драться, а вы еще не деретесь... Вызов министерству не надо смешивать со

здравым смыслом, ибо здравый смысл должен быть самым главным вашим министром...

Но у Бадаева был свой здравый смысл, которого не могли понять ожиревшие депутаты-капиталисты,— борьба в рядах партии большевиков под руководством Ленина за полную победу рабочего класса. И Марков тщетно пытался «доказать», что забастовки и другие революционные выступления нужны не рабочим, а тем, кто их «подстрекает», желая захватить государственную власть.

Много дорог предстояло еще пройти большевистскому депутату Бадаеву в борьбе за народное дело.

Это он произнес в Думе написанную Лениным речь «К вопросу о политике министерства народного просвещения» — знаменитую речь, в которой были такие вошедшие в историю нашей страны дерзкие и бесстрашные слова о царском правительстве: «Не заслуживает ли это правительство того, чтобы народ его выгнал?»

Это его крови, крови верного ленинца, требовали черносотенцы, грозившие ему виселицей. Это он по указанию Ленина был издателем «Правды» в самые трудные ее дни. Это он, вместе с другими депутатами-большевиками, сослан был в Туруханский край, откуда вернулся только после революции и, опять-таки по зову Ленина, возглавил дело снабжения революционного Петрограда продовольствием. Его, Бадаева, называли в то время кормильцем питерских рабочих.

Горький считал его «одним из тех мастеров, которых наш рабочий класс выдвинул от себя вперед для стройки своего государства, для строительства новой истории». Алексей Максимович любил Бадаева, тоже звал его по-рабочему — Бадаичем.

Яркая жизнь Бадаева заслуживает вдохновенной повести. Нет сомнения в том, что она будет создана. В ней, в этой повести, будет отражена вся правда о Бадаеве. И то, как замалчивалось доброе имя народного любимца Бадаича в период культа личности Сталина.

Сердце Алексея Егоровича Бадаева билось по-ленински. А значит, бьется оно и поныне в сердцах нашего поколения, строящего коммунизм.

Владимир Сутырин

РЯДОМ С ЛЕНИНЫМ

Ленин — товарищ мой, как хорошо,
Что я могу вам сказать:
Вы мой товарищ.

Назым Хикмет

— Здесь,— обронила на ходу женщина, слегка прижимая локоть спутника. Державший ее под руку мужчина краем глаза взглянул на парадный подъезд большого многоэтажного дома. Не останавливаясь, продолжая оживленно разговаривать, они миновали дом, прошли еще несколько кварталов, свернули в переулок и тут распрощались.

По паспорту, лежавшему в солидном бумажнике, мужчина именовался Александром Георгиевичем Циммерманом. Но скрывался за этим именем Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, нелегально приехавший в январе девятьсот пятого года из Женевы в Россию.

Владимир Дмитриевич снова вышел на главную улицу. Теперь, оставшись один, он с любопытством разглядывал дома, читал вывески попадавшихся ему по дороге магазинов. Одна из них, огромная и богатая, вызвала улыбку: фамилия владельца магазина была Перебейнос. Владимир Дмитриевич и не подозревал, что это звезда первой величины на харьковском торговом небосклоне. Он вообще не знал Харькова, куда приехал несколько часов назад из Тулы, проведя бессонную ночь в поезде.

Харьков был предпоследним из городов, которые он объезжал по поручению заграничного центра большевиков. Через несколько дней — Ростов. А там обратный путь: Москва, Питер, граница, охраняемая после кровавых событий у Зимнего дворца с особенной тщательностью, и, наконец, Женева... Женева!

Пытаясь справиться с внезапно нахлынувшими чувствами, Бонч-Бруевич остановился у магазина именитого купца. Со стороны могло казаться, что он внимательно рассматривает роскошную витрину. На самом же деле его глаза даже не различали предметов: всеми своими помыслами он был далеко, там, где вот уже больше месяца его ждут с нетерпением и тревогой.

За дела, лежавшие на его плечах в Женеве, он был спокоен: все они на время его отлучки переданы в надежные руки. И уговор свой с Надеждой Константиновной — систематически осведомлять Женеву о своей деятельности здесь, в России,— он выполняет неукоснительно. К тому же он пишет письма непосредственно Владимиру Ильичу, шлет подробные корреспонденции в только что родившуюся большевистскую газету. Словом, Женева теперь знает, что требование немедленного созыва третьего съезда партии, несмотря на яростное сопротивление меньшевиков, встречает горячую поддержку почти повсеместно и делегатов выбирают надежных. И все же нестерпимо захотелось — на день, на час! — очутиться в Женеве. Хотелось — сейчас, сию минуту! — передать товарищам свое непосредственное ощущение этой накаленной российской атмосферы, этого сказочно быстрого накопления электрических зарядов неминуемой и близкой революционной грозы. И еще хотелось — до боли в сердце — обнять истомившуюся жену, вскинуть на руках маленькую дочь.

Владимир Дмитриевич очнулся наконец от этого наваждения. Осторожно оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, но все же казнясь за минутную душевную слабость, он зашагал к дому, на который ему указала недавняя спутница. Здесь в одной из квартир второго этажа ему был приготовлен ночлег.

Квартира, по-видимому, принадлежала адвокату или врачу с хорошей практикой, но жили в ней, несомненно, люди, причастные к социал-демократическому движению,— молодая женщина, оставляя гостя одного в комфортабельном кабинете, приветливо и обыденно сказала:

— Располагайтесь, как дома, товарищ.

Владимир Дмитриевич сел, провалился в глубокое кожаное кресло. Его сразу стало клонить в сон. «Вот и хорошо»,— блаженно подумал он, и в тот же миг готовые закрыться глаза встретились в этой чужой квартире с чем-то знакомым. Это было как внезапный удар.

Напротив кресла, на стене, заключенная в резной багет, висела превосходная литография, копия с известной картины Бёклина «Остров мертвых». В простенках между окнами Владимир Дмитриевич обнаружил еще две литографии — тот же Бёклин. Он порывисто встал, снял «Остров мертвых» со стены, повернул к себе тыльной стороной. Нет, он не ошибся, литография — та самая посылка, которую женевский мелкий транспорт должен был направить для него в Харьков. Он только не знал адреса, по которому она была отослана, и собирался разыскивать ее через комитет. А она как бы сама далась ему в руки. Но если это не случайность, если хозяева квартиры знают, что таится в этих литографиях, зачем эти дорогие резные багеты? Зачем вообще они их развесили?

Мелкий транспорт, одно из любимых его детищ! Это не просто подспорье для транспорта большого, который доставляет в Россию основную массу нелегальной литературы. Большой поневоле работает медленно, иногда тюки с нелегальщиной застревают где-нибудь на перевальном пункте надолго, на недели и даже месяцы. У мелкого своя, особая задача: быстро, за несколько дней, переправить через границу небольшую партию литературы: только что отпечатанный номер газеты, партийные документы, имеющие срочный характер, злободневные брошюры. У него и своя особая техника. Он пересылает материалы, напечатанные на так называемой «библейской» — тончайшей, но прочной — бумаге. Их легко зашить в одежду, спрятать в дорожных вещах.

Когда-то широко пользовались чемоданами с двойным дном. Однако таможенники и жандармы быстро раскусили этот секрет и научились, простукивая, почти безошибочно отличать багаж, так сказать, нормальный от багажа, начиненного взрывчатой литературой, а то и натуральным динамитом. Люди стали проваливаться, надо было придумать что-то другое. Но что?

Совсем недавно удалось найти выход — простой и надежный. Это заслуга Веры Михайловны Величкиной, жены Владимира Дмитриевича, его друга, товарища по партии.



Владимир Дмитриевич
БОНЧ-БРУЕВИЧ
(1873—1955)

Одному из женевских переплетчиков, большому мастеру своего дела, да еще и своему человеку, Вера Михайловна задала нелегкую задачу: найти такой клеевой состав, который прочно соединял бы листы тончайшей бумаги, а потом, при размачивании в теплой воде, позволял бы легко отделять их друг от друга неповрежденными. Переплетчик сумел справиться с задачей, и листы «библейской» бумаги с отпечатанным на них текстом можно было превратить в толстый картон, по прочности мало уступающий фибре. Для обратного же процесса требовались лишь таз с теплой водой и десять — пятнадцать минут ожидания. Удалось найти и другого швейцарского мастера, который из этой «фибры» делал вполне респектабельные чемоданы, коробки для дамских шляп и тому подобные дорожные вещи. Теперь уж ни один таможенник не в состоянии был никаким простукиванием обнаружить нелегальщину. Мог ли он предположить, что сам чемодан, сама шляпная коробка и есть та «зловредная» литература, за которой ему надлежало охотиться? Но изобретательность Веры Михайловны на этом не кончилась.

Для дорожных вещей нужен пассажир, а он далеко не всегда к твоим услугам. Был придуман способ пересылки литературы без верных людей, с помощью обычной почты. Закупались художественные литографии, наклеивались на роскошные толстые паспарту, сделанные из нелегальной литературы, и почта многих швейцарских и французских городов аккуратно доставляла их в Россию по нужным адресам. Пошли в ход целые художественные альбомы, проспекты торговых фирм в толстых картонных переплетах, коробки с конфетами, безделушки, на вид сделанные из папье-маше.

Именно такую литографию и держал сейчас в руках Бонч-Бруевич. Он было хотел тут же потребовать у хозяйки таз с теплой водой, но правила конспирации, да и простая вежливость, удержали: следовало подождать хозяина дома.

Владимир Дмитриевич повесил картину на место, снова сел в кресло. Продолжая глядеть на нее, он улыбнулся своим мыслям: «Теперь-то Владимир Ильич, небось, доволен...» Это Бонч-Бруевичу вспомнилась история почти трехлетней давности, связанная с приемом его и Веры Михайловны в Заграничную лигу русской революционной социал-демократии. Вспомнилась она со всеми деталями.

В девятьсот втором году социал-демократическая организация «Жизнь», в которой они оба с женой работали, подошла к своему естественному распаду. Легальным марксистам, людям анархо-синдикалистского толка, противникам искровцев, сторонникам искровцев — а именно из таких разнородных элементов и состояла эта организация — уже невозможно было жить под одной крышей. Вера Михайловна, с мнением которой Владимир Дмитриевич всегда очень считался, не раз говорила о необходимости порвать с «Жизнью». Да он и сам задумывался над этим. Все решилось сразу же после прочтения только что вышедшей книги Ленина «Что делать?».

Четверть века спустя, в 1928 году, Бонч-Бруевич, вспоминая женевский период своей жизни, очень точно определил значение этой книги для судеб людей, участвовавших тогда в социал-демократическом движении. Он писал: «Кто продумал и прочувствовал «Что делать?», кто принял это истинно революционное, марксистское миро- и жизнепонимание, тот остался с В. И. Лениным раз и навсегда, пройдя через все бури внутрипартийной борьбы. А кто был недоволен «Что делать?», кто критиковал эту книгу, кто не согласился с ней, тот, несмотря на долгие годы дружбы и совместной работы с Владимиром Ильичем в ту пору или иную полосу жизни, отошел от него, хотя одно время и казалось, что организация «Искры» была действительно монолитна».

Бончи́, как называли в Женеве Веру Михайловну и Владимира Дмитриевича товарищи по партии, приняли книгу Ленина сразу, оба они до конца жизни были с Лениным рядом, какие бы бури внутрипартийной борьбы ни бушевали вокруг них.

Вступая в Заграничную лигу русской революционной социал-демократии, Бонч-Бруевич намеревался передать ей ту транспортную организацию, которая была им создана для литературы, издававшейся «Жизнью», но из этого, к его удивлению, ничего не вышло. Позже, когда Владимир Дмитриевич уже близко сошелся с Лениным, ему стало ясно, что

не только искровцы, ведавшие транспортными делами, скептически отнеслись к этому «приданому» Бонча́ — Ленин тоже не верил в дееспособность транспортной группы «Жизни». Вот почему, глядя на картину Бёклина, висящую в харьковском доме, Бонч-Бруевич улыбался: теперь-то Ильич знает его умение налаживать партийную технику...

Вернувшись в Женеву из своей нелегальной поездки по России — это было в последних числах апреля, когда в Лондоне уже кончал свою работу третий съезд,— Владимир Дмитриевич, при общем смехе собравшихся у него друзей, картинно изобразил хозяина харьковской квартиры, который в каком-то оцепенении смотрел на свежие номера газеты «Вперед», на брошюры Ленина, Галерки (Ольминского), Рядового (Богданова), разложенные для просушки по всему его кабинету.

Вера Михайловна слушала эту историю уже второй раз, и радостная улыбка на ее лице была вызвана не столько успехами мелкого транспорта, сколько тем, что ее маленькая семья снова вся в сборе. Она спешила насытиться этим счастьем — предугадывала, что оно недолгое, и не ошиблась: через несколько месяцев бурные события девятьсот пятого года разлучили ее и с мужем и с дочерью. Сама она, арестованная на заседании Петербургского Совета рабочих депутатов, оказалась в тюрьме. Ее полуторагодовалую дочь приютили какие-то питерские знакомые. Владимир Дмитриевич все еще оставался в Женеве, ликвидируя по поручению Центрального Комитета женевские предприятия партии. Наконец и он, получив новое задание ЦК, двинулся в Россию. На этот раз ему предстояло на себе, под обычной на вид одеждой, доставить в Питер для боевых отрядов большевиков полтора пуда динамита.

Шутливое повествование об этом можно найти в книжке Бонч-Бруевича «На славном посту», посвященной памяти Воровского, хотя дело, конечно, было совсем не шуточное. Попробуйте-ка, нафаршировав свою одежду двадцатью пятью килограммами динамита, выслушав дружеские напутствия: «Не упадите, оберегайтесь от ударов — можно взорваться», целую неделю, ни на секунду не освобождаясь от груза, забываясь лишь в коротком тревожном сне, таскаться по поездам, отелям, пароходам и разыгрывать на глазах у французских, датских, шведских, финских полицейских, русских жандармов роль тучного, флегматичного туриста.

Партийные поручения, подобные этому и еще более рискованные, значатся в «послужном списке» многих большевиков-подпольщиков. К тому же совсем иные по своему характеру заслуги поставили имя Бонч-Бруевича в список выдающихся деятелей нашей партии. Но читатель, надеюсь, из дальнейшего поймет, почему я все же упомянул о динамитном эпизоде и почему это надо было сделать до рассказа о том, как я познакомился с Владимиром Дмитриевичем в доме его дочери, Елены Владимировны, куда он забежал проведать прихворнувшего внука.

Знал я о нем тогда, в двадцать пятом году, не так уж много: старый большевик, один из ближайших соратников Ленина еще в годы эмиграции, был рядом с Лениным в решающие дни Октября. Знал, что в первые месяцы Советской власти ему кроме организации аппарата Совнаркома приходилось заниматься другими важными государственными делами. И это долгое тесное сотрудничество с Лениным в период создания большевистской партии, этот ленинский выбор — именно Бонч-Бруевича поставить управляющим делами первого в истории рабоче-крестьянского правительства, эта причастность ко всей вообще работе по организации новой государственной власти — все это вызывало в моем представлении образ человека практической складки, энергичного, размашистого в планах и одновременно ухватистого, быть может, даже с тяжелой рукой и не чурающегося крутых мер при случае... Бог мой, как я заблуждался!

Стареющий человек — ему тогда было за пятьдесят,— вяло пожавший мою руку, более всего походил на кабинетного деятеля. Он сутулился, как почти всякий, кому много приходится работать за письменным столом. Усталые глаза со слегка воспаленными веками тоже наводили на мысль о книжности его занятий. Во всей его мешковатой фигуре, как и в покрое костюма, в очках, которые он носил по близорукости, сквозило что-то старомодное. На старинный манер были подстрижены негустые усы и борода. И эта легкая, отнюдь не карикатурная архаичность как бы свидетельствовала, что человек не придает значения своей внешности и вообще ему милее всего сидеть среди книг в обжитом кабинете, за окном которого пусть себе несется наше быстрое время.

Обманувшись в своих ожиданиях, я, вероятно, присматривался к Владимиру Дмитриевичу с таким любопытством, которое не прошло мимо его дочери, и она, едва закрылась за ним дверь, спросила не без лукавства:

— Ну? Как тебе показался Бонч?

Уловив эту интонацию, я предпочел не отвечать, спросил в свою очередь:

— Что он теперь делает?

— Спроси лучше, чего он не делает! — Словно боясь что-то пропустить, она стала перечислять, загибая пальцы: — Председатель правления кооперативного издательства «Жизнь и знание», заместитель председателя правления Госиздата, директор показательного совхоза «Лесные поляны», член комиссии...

— Погоди, погоди! При чем тут «Лесные поляны»? Разве Бонч что-нибудь смыслит в сельском хозяйстве?

Елена Владимировна на секунду задумалась, потом, уже без тени шутливости, сказала:

— Видишь ли, Бонч (она именно так чаще всего называла отца) — прирожденный организатор, и всякое дело, которое он затевает, а он вечно что-нибудь затевает, умеет крепко держать в своей хозяйской руке. «Лесные поляны» он организовал еще при Ленине, работая в Совнаркоме, и Ленин не возражал, чтобы Бонч нагрузился еще и этим делом. Про «Лесные поляны», если захочешь, он тебе сам с удовольствием расскажет, даже свезет туда. А вот...— Она снова задумалась.— Ты что-нибудь знаешь, как Бонч перевозил нашу столицу из Питера в Москву?

— Именно Бонч?

Елена Владимировна подошла к книжной полке, взяла тоненькую брошюрку.

— Только что вышла. Прочти, и отец, думаю, откроется тебе с неожиданной стороны.

С брошюркой в кармане — девятнадцать страниц малого формата — я шел по летней вечерней Москве и думал приблизительно следующее: «Конечно, внешность бывает иногда очень обманчива, что-то в этом Бонче́ кроется, чего не разглядеть с первого взгляда. Не мог же Ленин столь долго работать с человеком, который плохо, или хотя бы посредственно, справлялся с порученной ему работой?»

Дома я немедленно взялся за брошюру, проглотил ее залпом за какие-нибудь двадцать — тридцать минут. Тут же стал читать сызнова, уже смакуя каждую деталь этого драгоценного и красочного рассказа. Черт возьми, действительно, «перевозил столицу» Бонч. Он писал: «Всю организацию дела переезда Советского правительства из Петрограда в Москву, охрану его в пути, устройство в Москве,

Владимир Ильич лично возложил на меня». А дело-то, оказывается, было огромное, сложное и, что особенно важно, до крайности опасное. И читая, как оно, направляемое руками Владимира Дмитриевича, шло по заранее намеченному руслу и пришло к благополучному завершению, я действительно увидел Бонча с неожиданной стороны.

Прежде всего, выяснилось, что этот «кабинетный деятель» с мешковатой фигурой и мягкими манерами был не только управляющим делами Совнаркома, но одновременно вершителем дел 75-й комнаты Смольного. Так в быстро сложившемся смольнинском обиходе кратко именовался Петроградский комитет по борьбе с погромами, грабежами, контрреволюцией, преступностью и саботажем.

Бонч-Бруевич, как председатель комитета, имел проверенные агентурные данные о намерениях правых эсеров во что бы то ни стало взорвать правительственный поезд (впоследствии их боевики это подтвердили на судебном процессе). Он доложил об этом Ленину.

«Владимир Ильич, как всегда, отнесся совершенно спокойно ко всему мною сообщенному и лишь спросил:

— И что же, мы все-таки поедем?

— Конечно,— ответил я ему.

— Гарантируете вы нам благополучный проезд?

— Предполагаю, что проедем спокойно, так как я целой системой мер и действий думаю совершенно парализовать террористические замыслы эсеров».

Ленин подробно ознакомился с этой системой мер и действий, согласился, и Владимир Дмитриевич стал готовить переезд.

Он начал с того, чему учил его опыт старого подпольщика,— с ложных шагов, обманывающих противника. Воспользовавшись случаем, он даже устроил целый спектакль.

Как раз в эти дни к нему в Совнарком по откровенно пустячным делам явилась делегация от Викжеля — меньшевистско-эсеровской профсоюзной организации железнодорожников, которая тогда забрала большую власть на железных дорогах страны. Поговорив о том, о сем, викжелевцы вдруг спросили:

— Правда, что правительство бежит в Москву?

Бонч-Бруевич сделал вид, что не заметил оскорбительной формы вопроса, и, прикинувшись простачком, ответил:

— Чепуха! Решено переезжать на Волгу... Там, знаете, посытней, да и от немцев подальше.

Затем, переходя на особо доверительный тон и прося сохранить эту важную государственную тайну, поинтересовался: не могли ли бы они разработать план переезда? Ведь железнодорожникам в таком случае и карты в руки. Да и времени достаточно, раньше чем через полтора — два месяца переезд организовать немыслимо. Одураченные викжелевцы соглашаются. Еще бы! Вот ведь какая удача: Советская власть сама далась им в руки. И они начинают ходить к Бонч-Бруевичу то с одним, то с другим вариантом плана. А он, не теряя времени, скрытно готовит переезд.

Отыскивается отдаленный участок пригородных путей с заброшенной платформой Цветочная площадка. Туда незаметно, по одному, загоняют разнокалиберные, по внешности потрепанные вагоны — они в последнюю минуту приобретут вполне приличный вид. Весь этот район берется под наблюдение агентов 75-й комнаты. Тщательно, из абсолютно верных людей комплектуется поездная бригада. В строжайшей тайне держится подлинный день отъезда. Его знает только один человек — Бонч-Бруевич. Одновременно с особой парадностью организуется отъезд членов ВЦИК в Москву. Их отправляют в двух роскошных царских поездах. Они едут в Москву, как об этом широко оповещалось, чтобы делать доклады московским рабочим и готовиться к съезду Советов. Депутатов рассаживают так, что в первых вагонах обоих поездов оказываются главным образом меньшевики и правые эсеры. Свердлов на глазах людей, толпившихся на перроне, входит в первый состав, а затем незаметно пересаживается во второй — в нем он и поедет. Наконец поезда, сопровождаемые охраной, отходят от Николаевского вокзала. Через несколько дней здесь же быстро формируются еще два состава (это тоже делается открыто). В них поедут работники наркоматов, повезут имущество, архивы учреждений. Между этими двумя составами, с необходимым интервалом, пойдет правительственный поезд...

И вот 10 марта 1918 года внезапно сформированный на Цветочной площадке поезд быстро загружается багажом, принимает в свои вагоны Ленина, Крупскую, членов правительства и в ночной тьме без единого фонаря, не считая фонарей паровоза, отправляется в путь. Москва еще не знает, что через сутки снова станет столичным градом, от нее тоже все держалось в тайне, хотя для приезжающих уже приготовлены квартиры, а для правительственных учреждений намечены здания Кремля.

Так впервые открылся передо мною этот своеобразный талант организатора практических дел. Дела могли быть самые разные, но обязательно с одним общим свойством: — они должны были быть необходимыми партии. Это мне стало ясно впоследствии не только из рассказов самого Владимира Дмитриевича, но и из письменных свидетельств близких ему по партийной работе товарищей.

По словам П. Н. Лепешинского, Владимир Дмитриевич был «великолепный практик, которому можно было давать сложные организационно-конструктивные задания с уверенностью, что он их выполнит... Благодаря ему мы развили свое партийное фракционное издательство в меру наших литературных сил и возможностей, мы смогли выпускать в свет «Вперед» и «Пролетарий», смогли издать брошюру Ленина «Шаг вперед, два шага назад», брошюры Галерки, Рядового и пр., смогли, наконец, выпускать в свет «Протоколы III съезда», и если бы кто мог гордо сказать про себя: «Я сделал, что мог; пусть другие сделают лучше»,— так это именно В. Д. Бонч-Бруевич, которого в данном отношении решительно некем было заменить».

Н. К. Крупская, имея в виду дни, когда начала выходить газета «Вперед», вспоминала: «Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, заведовавший всей хозяйственной частью, непрерывно сиял, строил разные грандиозные планы, возился с типографией».

Лебедев-Полянский оставил нам рассказ о том, как возник и был утвержден проект национализации произведений русских классиков. Однажды ночью в середине ноября 1917 года — отнеситесь с вниманием к этой дате, читатель,— Лебедев-Полянский во дворе Смольного изложил этот проект Ленину. Владимир Ильич решительно одобрил его и поинтересовался:

«— А кто подал мысль?

— Кажется, Владимир Дмитриевич,— отвечаю я.

— Бонч?

— Да.

— Вот выдумщик. Разрабатывайте и вносите, но сговоритесь с товарищем Свердловым, скажите, что я — «за»».

Заметьте, не «фантазер» или что-либо иное, но в том же роде, а «выдумщик».

В голове у Владимира Дмитриевича всю жизнь роились планы всевозможных предприятий. Но вот что очень важно: все они были реальными, практически возможными, даже те

из них, которые в известном смысле можно назвать, памятуя слова Крупской, грандиозными. Таков, например, был план издания газеты «Вперед».

К осени 1904 года идея создания самостоятельной большевистской газеты, противостоящей «Искре», которую захватили меньшевики, носилась, можно сказать, в воздухе. Естественно, острее всех чувствовал эту необходимость Ленин. Но, вспоминает Бонч-Бруевич, в то время издание такой газеты казалось Владимиру Ильичу несбыточной мечтой: большевистская казна была беднеи церковной мыши.

Упорно думал о газете и «выдумщик» Бонч. Советовался с товарищами, особенно подробно толковал с Воровским. Даже название было придумано — «Вперед». Однако к Ленину с этим не шел. Он уже хорошо знал ленинскую манеру работы: Владимир Ильич немедленно учинит допрос с пристрастием, начнет с карандашом проверять каждую цифру, из-за любой мелочи можешь шлепнуться в лужу и уйти высмеянным. И Бонч тщательно разрабатывает план. Каждый раздел его — потребное количество бумаги, типографские расходы, экспедирование, первоначальный тираж и расчеты его реальности, источники и условия кредита — записан на отдельном листочке. Теперь можно идти и смело говорить.

«— Газету? — вскочил Владимир Ильич.

— Да, газету...

— Легко сказать!.. А где деньги! Где литературные силы?..

— И то и другое у нас есть, и даже в изобилии,— ответил я ему.

— Гм-гм...— произнес свое любимое словечко Владимир Ильич,— сомневаюсь, чтоб...»

Начался допрос с пристрастием. Ленинский карандаш прошелся по всем цифрам, ленинский глаз прочитал все официальные письма фирм, согласившихся кредитовать издание газеты. Ленин забросал Бонча сотней вопросов и, получив удовлетворившие его ответы, наконец сдался. Довольный, сияющий, благословил Владимира Дмитриевича браться за дело.

22 декабря вышел первый номер газеты. «Собственные капиталы» издательства в этот момент исчислялись... десятью франками, но кредит и его погашение были так сбалансированы, что газета выходила без каких-либо задержек, выполняя свою громадную революционную задачу.

Бонч-Бруевич на своем веку создал такое большое количество издательских предприятий, что простое их перечисление отняло бы много места,— он только-только перешагнул за двадцать лет, когда началась его издательская деятельность. «В 1898 году,— отмечается в полицейском документе,— он поступил на службу в Москве в книжный магазин известного богача Прянишникова, собственника издательской фирмы «Народная библиотека». Успев в скорости же овладеть доверием Прянишникова, Бруевич стал фактически во главе фирмы и направил деятельность последней на издание произведений печати исключительно тенденциозного характера». И если задуматься над долгой жизнью этого соратника Ленина, над его заслугами перед партией, несомненно, самой значительной окажется его деятельность партийного издателя в самом широком смысле этого слова. Ведь он был не просто создатель и хозяйственный руководитель того или иного издательского предприятия, которое по заданиям партии печатало и распространяло большевистскую литературу. Любое из этих предприятий — и по составу работников, и по духу своему, и по характеру работы — было звеном, неотъемлемой и существенной частью аппарата партии. Например, петроградское издательство «Вперед» не только издавало и распространяло литературу, но одновременно являлось одним из конспиративных партийных центров. Да и в собственно издательской работе Владимир Дмитриевич отнюдь не удовлетворялся ролью организатора техники, финансов. Ему было свойственно заботиться и об авторских кадрах, и о характере издательского портфеля, он много времени и сил отдавал редактированию рукописей. Наконец, он и сам был автором, и автором плодовитым.

В большом литературном наследстве Бонч-Бруевича солидное место занимают мемуары. Можно даже сказать, что Владимир Дмитриевич как литератор был прежде всего мемуаристом. Даже в научных его работах, посвященных истории религиозно-общественных движений в России, можно найти следы его пристрастия к мемуарному жанру, а в одной из своих книг («Большевистские издательские дела в 1905—1907 гг.») он сам в этом признавался и объяснил эту свою склонность. Существенной чертой его мемуаристики было то, что она опиралась не только на исключительную память автора, но и на богатейший документальный материал, сосредоточенный в его домашнем архиве.

Если не ошибаюсь, летом тридцать пятого года у Горького, на подмосковной даче, случайно зашел разговор о Бонч-Бруевиче. Один из присутствующих назвал Владимира Дмитриевича «ходячей историей партии».

Алексей Максимович опустил голову, посмотрел поверх очков на говорившего. Ему, очевидно, было непонятно, что стояло за произнесенными словами — уважение или замаскированная насмешка.

— Вот ведь какая штука,— сказал он, все так же глядя поверх очков.— Старых большевиков с крепкой памятью ходит по земле, слава богу, еще изрядное количество. А Бонч — совсем другое дело. Удивительнейший человек! Без преувеличения... Я с ним впервые сошелся еще в пятом году. Изволите ли видеть, пятый год, большевизм, можно сказать, только-только народился, а Бонч уже тогда заботился о его истории. Ведь это его идея,— пояснил Горький,— организовать в Женеве архив партии и библиотеку. А его личный архив?..

Горький стал с увлечением рассказывать о редкостном богатстве этого архива, о том, с какой любовью собирает в своем кабинете Владимир Дмитриевич все, что имеет хоть малейшее значение для истории партии и, особенно, для биографии Ленина.

Запомнилась мне такая деталь рассказа. Летом 1918 года Ленин с Крупской и Бончи жили вместе на даче под Москвой. Хозяйство у обоих семей было общее, но Владимир Ильич потребовал, чтобы Бонч-Бруевич вел точную запись, до последней копейки, тех расходов, которые падали на долю его и Надежды Константиновны. Владимир Дмитриевич попытался отшутиться, но Ленин настоял на своем. Так появилась записная книжечка, в которой рука Бонча методически проставляла соответствующие цифры. Эту книжечку, сказал Горький, Владимир Дмитриевич тоже сохранил.

Совсем недавно я нашел подтверждение этих слов Алексея Максимовича в «Записках отдела рукописей» Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина: «В одной из книжек 1918 г. Бонч-Бруевич вел запись расходов В. И. Ленина и Н. К. Крупской. К этой записной книжке Бонч-Бруевичем сделаны очень интересные примечания, по размеру и содержанию приобретающие значение самостоятельных воспоминаний».

И еще несколько строк (из тех же «Записок») для характеристики архивной деятельности Бонч-Бруевича:

«Это было не равнодушное коллекционирование, а глубоко партийная деятельность, вызванная твердым убеждением в необходимости создать документированную историю великого дела коммунизма.

Именно этим качествам В. Д. Бонч-Бруевича мы обязаны сохранением и пополнением архива даже в годы культа личности Сталина, когда безвозвратно погибло так много ценных документов в личных архивах деятелей того времени».

В середине жизни, длившейся более восьмидесяти лет, Владимира Дмитриевича потрясли одно за другим два несчастья такой силы, какая могла бы сломить человека иного душевного склада.

Сентябрьской ночью 1918 года от «испанки» умерла Вера Михайловна Величкина. Смерть любимой жены, с которой прожито двадцать лет,— тяжкое горе, но для Владимира Дмитриевича эта утрата была неизмеримо большей. Вера Михайловна играла в его жизни роль исключительную: она была не только отзывчивым другом, товарищем по революционной борьбе, но и человеком, который существенно влиял на формирование его политического мировоззрения и вообще всего интеллекта. Будучи старше на пять лет, обладая острым, развитым умом, сильным характером, она ускорила процесс его превращения в последовательного марксиста, беззаветно шедшего за Лениным работника партии. И личная дружба его с Владимиром Ильичем, с Крупской, с сестрами, матерью Ленина возникла не без участия Веры Михайловны. Ленин всегда ценил ее как крупного работника и яркую человеческую личность. Узнав о ее смерти, он написал следующее письмо:

«Дорогой Владимир Дмитриевич! Только сегодня утром мне передали ужасную весть. Я не могу поехать в Москву, но хотя бы в письме хочется пожать Вам крепко, крепко руку, чтобы выразить любовь мою и всех нас к Вере Михайловне и поддержать Вас немного, поскольку это может сделать человек, в Вашем ужасном горе. Заботьтесь хорошенько о здоровье дочки. Еще раз крепко, крепко жму руку. Ваш В. Ленин».

«Дорогие Владимир Дмитриевич и Леленька,— написала Крупская,— не знаю, что и сказать. Берегите друг друга. Крепко, крепко жму руку. Как-то ужасно трудно верится. Ваша Н. К. Ульянова».

Ровно месяц назад Вера Михайловна, врач по образованию, была одной из первых, кто оказывал раненому Ильичу медицинскую помощь — и вот Веры Михайловны нет...

Не прошло и пяти лет, Владимир Дмитриевич хоронил Ленина. Он был назначен членом комиссии ВЦИК по организации похорон и увековечению памяти вождя партии. Впервые он выполнял партийное поручение в каком-то отупении, из последних сил. Через год он написал: «...знать, что его, нашего родного, любимого, близкого более всех близких, нашего Владимира Ильича, более нет, и нет навсегда,— это ничем не описуемо, это ужасно, и более чем ужасно!

Не говорить, не писать, а только сосредоточенно думать о нем,— так требует личное горе, личные переживания...»

Но есть еще долг большевика, он сильней личного горя. Миллионы людей требуют от каждого, кто близко стоял к Ильичу: расскажите о Ленине все, что вы знаете.

«И надо забыть о себе, надо скрепиться, надо взять сердце в руки и помнить только о нем; и говорить и писать о нем, все, что знаешь, все, что помнишь. Это надо для них, для его истинных, самых близких друзей, рабочих и крестьян, всех наций, всех народов, всех стран...»

Владимир Дмитриевич не любил громких слов, и только что приведенные его слова не были пустой риторикой. Верный Ленину, он до конца своих дней писал о нем воспоминания, кропотливо собирал все, что имело хоть малейшую ценность для изучения его жизни и деятельности.

Петр Корзинкин

ГВАРДЕЙЦЕМ СТАНОВЯТСЯ В БОЮ

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.

С. Есенин

Когда партия узнала о Бубнове?

Это было давно. Над Российской империей занималась заря XX века. Вот тогда и ступил на революционный путь семнадцатилетний иваново-вознесенский реалист Андрей Бубнов. Он сын заметного в городе человека, Сергея Ефремовича Бубнова, который управляет ситценабивной фабрикой своего дяди — Варсонофия Бубнова, бывшего крепостного графа Шереметева. На Первой Борисовской улице у Сергея Ефремовича собственный дом с мезонином. Человек деловой и суровый, он мечтает о том, чтобы и своих сыновей — Владимира, Михаила, Ивана, Андрея и Николая — тоже «пристроить к делу».

Но Андрей выбирает свою дорогу: уже в 1900 году он идет в рабочие кварталы. Сначала сходки, нелегальные массовки, затем рабочие кружки. И вот уже Андрей «вгрызается в марксизм», тайком приносит домой «Капитал». В 1903 году Андрей Бубнов становится членом РСДРП и после II съезда партии примыкает к большевикам: его мировоззрение сложилось под воздействием ленинской «Искры».

Жизнь под отчим кровом делается невыносимой. Отец не мирится с вольнодумством сына, и тот все чаще убегает из дому, ночует у ткачей, завязывает с ними дружбу.

Выглядит Андрей очень молодо. Высок, статен, красив. Бледное продолговатое лицо, ясные голубые глаза, как-то особенно внимательно смотрящие на мир, выделяют его. Но он быстро овладевает основами конспирации и ловко сбивает с толку соглядатаев.

Уже втянувшись в революционное подполье, Андрей не оставляет мысли об учебе и в 1904 году поступает в Московский сельскохозяйственный институт. Ведя кочевую жизнь, часто без «настоящего» паспорта, ежеминутно ожидая ареста, Бубнов умудряется сдавать экзамены и переходить с курса на курс — выручают сильная воля и большие способности.

Так добрался он до четвертого курса. И тут его исключили — «ввиду неблагонадежности». Да, для царского строя он был весьма неблагонадежен!

Иваново-Вознесенск — один из крупнейших пролетарских центров дореволюционной России. 1905 год был здесь особенно бурным. Весною на «летучках» иваново-вознесенских ткачей стал все чаще выступать молодой оратор в студенческой тужурке. Лишь посвященные знали его партийную кличку — Химик, и совсем немногие настоящее имя — Андрей Бубнов. Вместе с ним выступали и другие большевики, хорошо знакомые рабочим,— Федор Афанасьев, Павел Постышев, Исидор Любимов.

В те тревожные майские дни Бубнов впервые встретился с Фрунзе. Афанасьев заранее предупредил Андрея о предстоящем приезде нового работника. Прямо с вокзала Фрунзе отправился по указанному адресу. Войдя во двор, он вызвал Андрея. Тот быстро сбежал с крыльца и увидел молодого белокурого крепыша, в фуражке с темно-зеленым околышем. Светлые глаза Фрунзе смотрели спокойно и уверенно. Студент Петербургского политехнического института, в ноябре 1904 года вступивший в партию, Фрунзе уже успел побывать под арестом, был выслан из столицы, поработал среди шуйских текстильщиков и теперь по поручению Московского комитета партии приехал на помощь иваново-вознесенским подпольщикам.

— Трифоныч,— назвал Фрунзе свое партийное имя.

Бубнов повел его на квартиру знакомого рабочего. Фрунзе шел не спеша, чуть развалистой походкой. Андрей внимательно приглядывался к новому знакомому. Так произошла эта встреча молодых большевиков, на всю жизнь связавшая их братскими узами.

В мае началась всеобщая стачка. Она охватила почти весь иваново-вознесенский промышленный район. Стачка длилась семьдесят два дня и, как писал Ленин, «показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих». В эти дни родился прообраз Советской власти — один из первых в России Советов рабочих депутатов, которых в Иваново-Вознесенске называли «уполномоченными».

Совет рабочих уполномоченных создал свою милицию. Возникла и боевая дружина. Ею руководил Фрунзе. Рабочие стали хозяевами положения. На берегах Талки шли беспрерывные митинги, собиравшие до тридцати тысяч человек, раздавались смелые речи и революционные песни, по ночам горели костры. Столичные газеты со злобой писали о «красной республике», требуя ее уничтожения.

И вот в город текстильщиков прибыли астраханские казаки... Полицмейстер Кожеловский сразу перешел в наступление. Начались обыски и аресты. 3 июня казаки с гиком и свистом напали на рабочий митинг, полосуя людей нагайками. Загремели выстрелы, трава обагрилась кровью... Но рабочие не испугались кровавой расправы. Борьба продолжалась. В те дни Андрей почти не бывал дома: подъем революционной волны захлестнул его.

В июле казаки арестовали Бубнова. Это был его первый арест. Пройдя «боевое крещение», Андрей становится во главе Пропагандистской коллегии. А в сентябре его ввели в состав Иваново-Вознесенского комитета партии. Так стал он партийным кадровиком.

Вечером 29 октября Бубнов, Фрунзе и рабочий Петр Волков возвращались из леса с конспиративного собрания. Уже дошли до фабрики Витовых, и тут — казачий разъезд. Обыск... Найдя листовки и оружие, казаки пришли в ярость. Пленников избили, приарканили к седлам и заставили всю дорогу бежать за лошадьми. В тюрьме — допрос, избиения.

Выйдя из тюрьмы, Бубнов и Фрунзе вместе с уцелевшими подпольщиками с еще большей энергией берутся за восстановление организации. Скрываясь от полиции, Бубнов нелегально поселился в Кохме, в восьми верстах от Иваново-Вознесенска, и ежедневно ходил в город пешком.

И все же полиция выследила его на квартире рабочего Григория Королева, где Бубнов вел кружок. По трем тюрьмам мытарили его, но «за отсутствием вещественных доказательств» вынуждены были освободить под надзор полиции. Впрочем, на сей раз надзор был недолгим: на другой день по

выходе из тюрьмы Бубнов вместе с Арсением (одна из подпольных кличек Фрунзе) выехали делегатами от ивановских большевиков на IV съезд РСДРП.

В жизни Бубнова открывалась новая страница. Предстояла поездка за границу, встреча с Лениным...

Съезд открылся 10 апреля 1906 года в Стокгольме.



Андрей Сергеевич
БУБНОВ
(1883—1940)

Лавина впечатлений обрушилась на Бубнова. Как и другие делегаты, впервые приехавшие на съезд, он очень ждал встречи с Владимиром Ильичем. Думалось, что это человек особенный, титан, громовержец... А Ленин оказался житейски простым, среднего роста, с выпуклым лбом и быстрым, очень внимательным взглядом. Он был подвижен, чуть-чуть картавил. Но что действительно поражало в нем — это умение сразу завладеть беседой, умение расспрашивать людей и выслушивать их. И как-то само собой получилось, что первый же разговор с Владимиром Ильичем превратился в оживленную дружескую беседу о самом важном.

Интересной показалась и заграничная жизнь. Съезд проходил в Народном доме — обширном шестиэтажном здании.

— У нас в Иваново-Вознесенске и дома-то ни одного такого нет,— не без зависти сказал Бубнов Фрунзе.— А здесь, поди ты, рабочий дом! Европа...

Но скоро он уже удивлялся другому. Неприятно поражала «благочинность» «европейской демократии» — все эти сладкоголосые певческие общества, «партийные» трактирщики и «марксистские» пивные. Уж очень странно выглядело это после того, что пережил он недавно в Иваново-Вознесенске!

В списках делегатов Бубнов значился под фамилией Ретортин. Держался он, как всегда, скромно, больше слушал, чем говорил и голосовал так, как голосовал Ленин. Так же голосовал и Арсеньев — Фрунзе: пролетарский Иваново-Вознесенск, в котором насчитывалось уже около девятисот членов партии, был надежной большевистской цитаделью!

Бубнов не спускал глаз с Владимира Ильича. Жадно наблюдал он, как тот разговаривает с делегатами, зорко

подмечает их способности и свойства, как, чутко прислушиваясь к мнениям товарищей, вникая в их доводы, вместе с тем настойчиво направляет беседу в нужное русло.

Домой Андрей вернулся полный энергии и неизгладимых впечатлений: он видел Ленина, говорил с ним и теперь еще отчетливее знал что и как делать дальше. На съезде, получившем название Объединительного, был избран Центральный Комитет. В него вошло семь меньшевиков и только три большевика. Но меньшевистский ЦК не нашел поддержки в России: большинство социал-демократических организаций выразило недоверие его политической линии. Раздавались требования о созыве нового съезда. И одной из первых за это высказалась иваново-вознесенская партийная организация.

В августе 1906 года Бубнов в Шуе. Шуйские большевики высказываются за созыв нового съезда. Эта поездка в Шую сыграла большую роль в личной жизни Бубнова.

На одной из конспиративных квартир он встретился с Марией Константиновной Мясниковой, членом партии с 1904 года. Она приехала в Шую недавно из казанской организации и почти никого еще не знала. Как-то в комнату, где она находилась, вошел, как ей показалось, очень юный товарищ, с очень острыми глазами, что-то поискал, нашел и вышел.

— Был какой-то юноша,— сказала она пришедшим вскоре товарищам.

Те засмеялись:

— Что ты! Это партийный товарищ, революционер-профессионал, делегат Стокгольмского съезда. Ленина видел!

Сильно удивилась Мария Мясникова: очень уж молодым для профессионального революционера показался ей тогда Бубнов.

Потом подпольщики собирались на окраине города, в кирпичном сарае. Приходил туда и Андрей Сергеевич. Они познакомились.

Впоследствии Мария Константиновна стала женой Бубнова. В ноябре 1908 года у них родился сын. Мать оставила его в Чистополе, у бабушки: двум профессиональным революционерам невозможно было растить и воспитывать ребенка.

На V съезд партии иваново-вознесенцы послали также Бубнова. Но теперь делегатов было уже не двое, а девять, и все — большевики! Только вот Фрунзе отсутствовал:

в марте 1907 года его арестовали... Зато были друзья-подпольщики — Костя Гандурин, Исидор Любимов, Иван Коротков, Голубев, Скороходов и другие боевые товарищи.

Ехали с приключениями. Из финского порта Ханко отправились пароходом в Данию, где, по договоренности с датскими социал-демократами, был назначен съезд. Однако из Дании под угрозой высылки пришлось немедленно перебираться в Швецию. Пересекли пролив и оказались в Мальмё. Но и здесь не повезло: надвигалась ночь, а у Народного дома, где шведские социал-демократы обещали организовать ночлег, стояла свора полицейских. Делегатов в здание не пустили. Было уже около двух часов ночи. Усталые и голодные, «путешественники» еле держались на ногах.

После долгих переговоров власти разрешили владельцам отелей разместить делегатов небольшими группами, но ограничили пребывание в стране тремя днями. В конце концов решено было ехать в Лондон. И это в то время, когда у большинства делегатов не было и гроша в кармане!

«Путешествующий съезд» открылся в Лондоне 30 апреля 1907 года. Заседал он в церкви Братства, на Саутгейт-род, предоставленной религиозной общиной на все дни, кроме воскресений.

На этот раз среди делегатов было 105 большевиков, а меньшевиков только 97. Большевиков еще поддерживали многие польские и латышские социал-демократы.

Бой начался с обсуждения повестки дня. Спорили долго и упорно. Меньшевики стремились снять с обсуждения наиболее животрепещущие вопросы. Как и на IV съезде, ивановские делегаты с жгучим вниманием слушали речи большевиков и дружно голосовали. Но в спорах по повестке дня Бубнов попросил слова. Он выступил против Мартова, предложившего устранить из порядка дня пункт о подготовке восстания, предложенный большевиками.

На съезде присутствовал Максим Горький. Бубнов хорошо знал многие его рассказы и стихи, часто читал их товарищам. Все три недели, которые длился съезд, Горький был вместе с Лениным, много беседовал с ним, слушал его выступления, не раз, по приглашению Владимира Ильича, присутствовал на заседаниях большевистской фракции. Именно Горький помог достать деньги, необходимые для продолжения работы съезда. Однажды, выслушав речь Ленина, Горький сказал, обращаясь к партийной молодежи:

— Вот никогда не думал, что о самых сложных политических вопросах можно говорить так просто и воодушевленно, так ясно...

Бубнов, слышавший эти слова, думал точно так же.

Съезд избрал новый ЦК, в котором сторонники Ленина получили большинство. В последний раз, уже после закрытия съезда, собралась фракция большевиков. По просьбе делегатов выступил Владимир Ильич.

— Главное достижение,— заключил он свой краткий обзор,— состоит в том, что съезд закончился победой большевиков по всем принципиальным вопросам над оппортунистами-меньшевиками. Необходимо теперь на местах еще усиленнее развернуть работу и непримиримо драться с меньшевиками за влияние на рабочие массы.

На этом заседании был создан Большевистский центр во главе с В. И. Лениным.

Домой Бубнов возвращался через Або. Благополучно проехали Финляндию. И вот уже Петербург. Вокзал. Бубнов первым выходит из вагона и наметанным глазом определяет шпиков. Позади спокойно идет Гандурин. Чуть в стороне, поправляя соломенную шляпу, шагает Голубев. Сквозь строй шпиков и жандармов, липкими взглядами ощупывающих лица и багаж пассажиров, делегаты неузнанными переходят площадь и сейчас же сворачивают в первый попавшийся трактир. Пронесло!

А теперь — за новую работу!

И опять подполье, кочевая жизнь, явки, пароли, конспиративные собрания — обычный революционный быт... Вернувшись из Лондона, Бубнов много колесит по округе, выступает в Иваново-Вознесенке, Шуе, Тейкове... Партии понадобилось — и он перебирается в Москву, где осенью 1907 года его вводят в состав Московского областного бюро РСДРП. Затем он — агент ЦК по Центральному промышленному району.

Аресты, тюрьмы, высылки... В 1909 году, отсидев почти год в тюрьме, Андрей Сергеевич пишет жене и, называя себя «плохим отцом», просит ее приехать с сыном в Москву.

— Помню,— рассказывает Мария Константиновна Бубнова,— приехали мы тогда с сыном в Москву. Условлено было, что остановлюсь сначала в гостинице на Домниковке. Явилась я с ребенком на руках. Жду Андрея. А меня, должно быть, приняли за покинутую женщину и предупреждают: «Смотрите, сударыня, чтобы у нас без скандалов». Андрей

приехал, забрал нас к себе, цветы принес. Жили мы тогда на Остоженке, возле нынешнего бассейна «Москва». Но через несколько дней муж пришел встревоженный, сказал, что за ним следят и необходимо срочно скрыться...

Недолгим было счастье!

Мария Константиновна вспоминает:

— Очень любил Андрей книги. Как-то сказал: «Когда же будут у нас свои книжные шкафы?» Я грустно усмехнулась — жизнь все время была на колесах. А он утверждал: «Все-таки будут».

Его письма из тюрьмы всегда дышали бодростью: «чувствую себя прилично», «занимаюсь охотно и много», «посылайте книги, материалы — разрешили». Времени в тюрьме напрасно не терял — учился. А сидел он часто и много.

В 1910 году по предложению Ленина Бубнова кооптировали в состав Большевистского центра, созданного в России. Но вскоре жандармы снова выследили Бубнова и арестовали. В конце 1910 года — суд. Приговор: год заключения.

Отсидев срок в нижегородской тюрьме, Бубнов выходит на волю. И опять подполье, новые друзья, новые места — Нижний Новгород, Канавино, Сормово...

На Пражской конференции РСДРП Бубнова заочно избирают кандидатом в члены ЦК партии. Он переезжает в Петербург, входит в состав редколлегии «Правды», много пишет и, руководствуясь указаниями Ленина, направляет работу думской фракции большевиков.

Затем очередной арест, высылка в Харьков. В годы первой мировой войны Бубнов громит социал-шовинистов, занимает последовательную интернационалистическую позицию. В 1915 году, живя в Самаре, фактически руководит большевистской работой всего Поволжья. В октябре 1916 года охранка выследила и арестовала вожаков самарской большевистской организации — Бубнова, Куйбышева, Андронникова и других. Это уже тринадцатый арест Бубнова! На сей раз — пять лет ссылки в Туруханский край.

...Когда этапная партия прошагала по укатанному тракту добрых двести пятьдесят верст от Красноярска, ее догнала весть о том, что империя Романовых рухнула. Арестованные, находившиеся в этапной избе, встали и запели «Марсельезу». Бубнов произнес речь. Он говорил всего три минуты, но так горячо, от сердца, что В. В. Куйбышев, находившийся тут же, свидетельствует:

— Это была такая речь, которой я больше никогда не слыхал.

Явочным порядком Бубнов возвратился в Самару и вскоре был уже в Москве. Московские большевики послали его на Апрельскую конференцию, где он снова встретился с Лениным. После этой встречи, разъясняя и пропагандируя Апрельские тезисы Ильича, Андрей Сергеевич выступает в родном Иванове, Кинешме и еще многих рабочих центрах страны, энергично и решительно отстаивая ленинскую линию.

На VI съезде партии Бубнов был среди делегатов уже не новичком, а закаленным партийным руководителем. Он верно предугадывает ход событий и правильнее многих других оценивает положение.

Как и на предыдущих съездах, дискуссия была очень острой. Бубнов несколько раз берет слово. Сначала отчитывается о работе партийной организации Центрального промышленного района. Затем отстаивает ленинскую постановку вопроса о необходимости временного снятия лозунга «Вся власть Советам!».

— Наши разногласия гораздо глубже, чем это может казаться товарищам,— начинает он свою речь.

Некоторые тогда и в самом деле считали, что разногласия временные, случайные и непринципиальные. Бубнов доказал обратное. Выступая на десятом заседании съезда, он сказал:

— Советы не имеют теперь никакой власти, они гниют, на этот счет не должно быть никаких иллюзий... Контрреволюция развивается, и неизбежно произойдет столкновение двух сил. И если раньше мы говорили о *переходе* власти, то теперь этот термин устарел, надо накапливать силы для решительного боя, для *захвата* власти.

Не все думали так. Вспомним: Ленина на съезде не было, он руководил его работой из глубокого подполья. А Сталин, выступая по вопросу о явке Ленина в буржуазный суд, заявил:

— В данный момент все еще не ясно, в чьих руках власть.

Начав с этого, Сталин закончил тем, что при наличии гарантии демократической организации буржуазного суда Ленин должен отдать себя в его руки. Доклад о политическом положении Сталин также закончил довольно странно:

— Впредь для нас немыслим блок с оборонцами. Оборонческие партии связали свою судьбу с буржуазией, и идея

блока от социал-революционеров до большевиков потерпела крушение.

Но идеи такого блока Ленин никогда и не выдвигал. Это неправильная трактовка лозунга «Вся власть Советам!». И уже на съезде делегаты указали на нечеткость формулы Сталина.

А Бубнов по-партийному страстно отстаивал ленинскую точку зрения. И съезд оценил это: его избрали членом ЦК.

VI съезд нацелил партию на вооруженное восстание. Бубнов — один из тех, кому предстояло воплотить это решение в жизнь. Представитель ЦК в Петроградском комитете партии, в Бюро военных организаций большевиков, он становится в Октябрьские дни одним из организаторов вооруженного восстания. Избранный членом Политбюро и Военно-революционного центра ЦК по руководству восстанием, Бубнов все дни великого штурма находился рядом с Лениным и был одним из ближайших его соратников.

В своей «Анкете участника Октябрьского переворота», заполненной в 1927 году, А. С. Бубнов оставил несколько колоритных зарисовок тех исторических дней.

«В ночь на 25 октября,— пишет он,— находился в Смольном; принимал участие в решении вопроса о Зимнем, Петропавловской крепости и т. д... В первые дни после восстания ЦК и Военно-революционный комитет находились в Смольном — там заседали, туда приезжали с сообщениями, тут же и спали. В ночь на 25 октября весь ЦК, Ильич в том числе, ночевали в комнате № 14 в Смольном (на полу). Ильич очень торопил с взятием Зимнего и ругался весьма здорово, когда не было сообщений о ходе наступления».

В дни Октября Ленин был центром, к которому сходились все нити восстания. Он все знал, вовремя замечал опасность и вовремя указывал, как устранить ее. Он был настоящим главнокомандующим масс. О его титанической организационной работе Бубнов писал в той же анкете:

«Ильич тогда был воплощением великой воли этих масс победить во что бы то ни стало. На заседаниях ЦК он громил колеблющихся, беспощадно отбрасывал их в сторону; в своем кабинете, как вождь восстания, он спокойно учитывал складывающиеся обстоятельства и твердо направлял дело к победе. Во время отдыха, прогуливаясь по коридору, он оживленно беседовал с товарищами, крепко закладывая руки за спину. Ильич в эти дни великого переворота был оживлен, весел, светился весь изнутри каким-то особенным

светом, был непоколебим, уверен и тверд, как сотня гранитных скал».

Так было в Смольном, в штабе Октября. О том, что происходило в Зимнем, как чувствовали себя на последней территории Временного правительства его министры, потомству поведал министр юстиции П. Малянтович:

«В огромной мышеловке бродили, изредка сходясь все вместе или отдельными группами на короткие беседы, обреченные люди, одинокие, всеми оставленные...

Вокруг нас была пустота, внутри нас — пустота, и в ней вырастала бездумная решимость равнодушного безразличия».

Какой разительный контраст! Две картины. Два мира: класс восходящий и класс уходящий в историческое небытие!

О своей работе в штабе Октября Бубнов сообщает скромно: «Выполнял поручения по части железных дорог». Что кроется за этими словами? Огромное напряжение, масса обязанностей. Надо было захватить петроградские вокзалы, назначить комиссаров, ликвидировать саботаж, обеспечить перевозки войск к фронту, наладить связь с провинцией... Как жаль, что он не рассказал подробнее обо всем этом!

Разгорается борьба на Украине, и Ленин посылает своего верного помощника туда. Бубнов — член Советского правительства Украины, руководитель партизанского движения, организатор подполья. В марте 1919 года его избирают членом Политбюро ЦК КП(б)У, а затем назначают членом Реввоенсовета Украинского фронта...

Бубнов был преданным сыном партии. Что характеризует его как большевика, партийного работника? Лучшую характеристику дал ему Ленин, который видел в нем «опытного партийного товарища». Вот это и было основным в Бубнове — опытный партийный товарищ, человек, которому партия доверяла, выдвигая его на самые ответственные посты в самые ответственные для жизни страны моменты.

Как и многим, Бубнову случалось ошибаться. В период борьбы за Брестский мир он примыкал к «левым коммунистам». Позже входил в оппортунистическую группу «демократического централизма», а в 1923 году подписал фракционное «заявление 46-ти». Все эти ошибки были еще при жизни Ленина, и Владимир Ильич сурово критиковал за них Бубнова.

Осознав и честно признав свои ошибки, Андрей Сергеевич остался верным ленинцем до конца своих дней.

Вступив в партию на заре революции, А. С. Бубнов вырос в крупного политического и государственного деятеля. Еще при Ленине он заведовал Агитпропом ЦК РКП(б). Позже он был начальником Политического управления Красной Армии, членом Реввоенсовета СССР, секретарем ЦК партии, а затем наркомом просвещения РСФСР.

Бубнов был талантливым публицистом и видным историком партии. Он ставил перед собой очень актуальную цель: беспощадно бороться с попытками фальсифицировать историю партии.

Наступил 1937 год... Бубнов тяжело переживал арест Тухачевского, Якира, Эйдемана. Дошла очередь и до него.

По «делу Бубнова» было арестовано восемьдесят два человека. Он, конечно, знал об этом. О, какое это ужасное чувство — знать, что за тебя безвинно страдают другие! «Утратить жизнь и с нею честь, друзей с собой на плаху весть...» Андрей Сергеевич Бубнов испил эту чашу до дна!

Он погиб в заключении в январе 1940 года.

...И вот осень 1963 года. Мы сидим в квартире дочери Бубнова Елены Андреевны. Она только что пришла с работы. На руках у нее — маленький Андрюшка. У него точно такие же, как у деда, ясные голубые глаза, как-то особенно внимательно смотрящие на мир.

Трава, помятая безжалостным сапогом, выпрямилась, окрепла и снова буйно зеленеет, тянется к солнцу. Жизнь неистребима. Так же, как и правда!

Время летит быстро, очень быстро... Вырастет маленький Андрюшка, так удивительно похожий на своего деда.

Вырастет и узнает, что свое имя он получил в честь Андрея Бубнова — стойкого воина ленинской гвардии, вся жизнь которого прошла в бою.

Сергей Сартаков

ДЕЛО ВСЕГДА ОТЗОВЕТСЯ

И пока твоя правда жива,
И пока твоя совесть жива,
Не боюсь за себя, за других
На дорогах эпохи крутых!

В. Цыбин

Густо дымя, пароход «Святой Николай» уходил все дальше и дальше вверх по течению Енисея, за черное ожерелье смоленых баркасов паромной переправы, за крутые излучины Посадного и Пашенного островов. Вот он уже втянулся под высокие пролеты железнодорожного моста и сам сделался только чуть видимым облачком дыма. Давно растеклась толпа провожавших пароход. Ввязавшись в горячий спор с полицмейстером, бок о бок с ним поднялся в гору и Юлий Цедербаум, а Ванеев в глубокой думе по-прежнему стоял, облокотясь на перила широкой, открытой баржи, служившей пристанью, и поглаживал мягкую, коротко подстриженную бородку.

С реки тянуло резвым ветерком, там и сям на берегу белели нерастаявшие льдины. Ванеев поеживался, изредка подносил руку к губам, сдержанно кашлял. И все не мог оторвать глаза от голубой речной дали. В ушах еще звучали слова:

— Анатолий Александрович, не грустите, вы остаетесь не один; революционер не может быть один, с вами всегда будут друзья. Мы станем переписываться, мы встретимся. И скоро. Да, да, непременно встретимся!

Дорогой друг, спасибо тебе за эти полные твердой веры слова. Конечно, мы станем переписываться. И мы встретимся снова, непременно встретимся. Я ведь знаю, как тебя потрясло известие о том, что мы окажемся в ссылке не вместе, что мне придется ехать в сырой, болотный Туруханск — место, губительнее которого для больного человека и не сыскать. Дорогой Владимир Ильич, конечно, мы встретимся, и один я не буду. Революционер без друзей — не революционер. А там приедет и Доминика, свет мой, мое солнышко. Но пока мне все же очень тоскливо. И страшен этот неведомый Туруханск с его ледяными ветрами. Ведь правый-то бок все болит, болит, не переставая...

Пора уходить от реки. Пора возвращаться домой.

Да, сегодня еще домой, к милой, сердечной Клавдии Гавриловне, так заботливо принимающей всех «политиков», сегодня и завтра — домой, а послезавтра — снова в тюрьму.

Из-под ног сыпалась мелкая галька. Сильно наклонясь вперед, Ванеев поднимался по крутому косогору. Три-четыре шага и надо постоять, давит одышка. Раньше она не так донимала. Правда, в тесной тюремной камере много не разгуляешься, но свежий воздух — что ж, разве свежий воздух не делает чудеса? Он усмехнулся: так ведь всего только одна неделя на свежем воздухе после полутора лет тюрьмы! Не слишком ли большого чуда ты ожидаешь, больной человек? И может быть, безнадежно больной.

Ванееву припомнился недавний разговор в канцелярии енисейского губернатора. Чиновник, худой, жилистый, держал на столе обе руки ладонями вверх, как бы подчеркивая этим, что у него от посетителя нет никаких секретов, что он действует совершенно открыто, честно и беспристрастно.

— Вот вы, господин Ванеев, хлопотали перед департаментом полиции о задержании вашей высылки из Красноярска до открытия навигации, разумея при этом возможность добраться к месту назначения не по этапу, сиречь на частном пароходе. Ответ из Петербурга получен,— чиновник разом перевернул кисти рук ладонями вниз и слабо улыбнулся: — Ответ получен.

— Дано просимое разрешение? — тоже улыбаясь, спросил Ванеев.

— Рекомендовано обратиться с ходатайством к иркутскому генерал-губернатору,— и затряс головой: — Нет, нет, можете не трудиться. Наш губернатор от себя уже сделал необходимый запрос генерал-губернатору.

— Боже, какое внимание! — сказал Ванеев.— Примите мою искреннюю благодарность. А результат?

Чиновник забрал в кулачок конец рукава, пополировал им пуговицы на своем мундире.

— Сообразуясь с вашими желаниями следовать к месту ссылки не по этапу, за свой счет, генерал-губернатор предписывает вас немедленно выдворить из Красноярска. Почтовые обозы идут по тракту в Енисейск каждый день. Стоимость проезда — примерно пятьдесят рублей.

— Пятьдесят рублей! Только до Енисейска? Где же я возьму такие деньги? И как потом буду добираться дальше, в Туруханск?

— Н-ну, посидите месяц — полтора в енисейской тюрьме, пока закончится ледоход у Туруханска. Другого пути, кроме водного, туда не имеется.

Ванеев глядел на чиновника ошеломленно.

— Позвольте, какой же тогда смысл мне ехать на свой счет до Енисейска, тратить баснословные деньги?

Чиновник еще раз пополировал пуговицы на мундире.

— Согласен с вами: нет решительно никакого смысла. Вдобавок на дорогах сейчас распутица, обозы идут медленно, ночевки неважные, да и сидеть в енисейской тюрьме, право же, гораздо хуже, чем в красноярской.

— Д-да... Прелести даже красноярской тюрьмы мне достаточно известны, я безмерно счастлив, что здесь могу жить на частной квартире. Итак, я вынужденно остаюсь до навигации.

— Как вам угодно. Однако обязан вас предупредить, что при отказе немедленно выехать в Енисейск вам снова, и не позднее среды, придется вернуться в нашу тюрьму. Ждать навигации вам должно в тюрьме. Таково распоряжение генерал-губернатора.

Это было похоже на шутку, на очень злую шутку, но чиновник говорил вполне серьезно, и в голосе его чувствовалась уже досада: чего еще хочет от него этот чахлый, бледный юноша?

— Почему же я снова должен садиться в тюрьму! — закричал Ванеев.— Я не уголовный преступник, я политический ссыльный и прибыл в назначенное мне место ссылки — Восточную Сибирь.

— Генерал-губернатором место вашей ссылки уточнено: не вообще Восточная Сибирь, а город Туруханск,— сухо сказал чиновник.— И пока вы не прибудете в Туруханск — вы

в пути, вы на этапе, этапным же полагаются не частные, а казенные квартиры. Сиречь тюрьма. Вас выпустили на некоторое время в предположении, что вы будете следовать дальше на собственный счет. Вы отказались. Следовательно, в силу вступают общие правила.

— Послушайте, это же дикость! — волнуясь, сказал Ванеев.— Сесть в красноярскую тюрьму, потом ехать в Енисейск по бездорожью за собственный счет, чтобы там снова оказаться в тюрьме!



Анатолий Александрович ВАНЕЕВ (1872—1899)

Чиновник покачал головой:

— Если говорить о цене, так это только цена вашего преступления перед отечеством.

— Поймите, я болен, тяжело болен, мне нужен свежий воздух, у меня плеврит.

— Весьма сожалею, но болезнь свою вы приобрели не на государственной службе, а на противоправительственной деятельности. На что же вы жалуетесь?

— Могу я хотя бы проводить своих друзей? Ульянова, Кржижановского, Старкова. Они именно в среду отплывают на «Святом Николае» в Минусинск.

— Сиречь побыть еще на свободе вопреки указаниям из Иркутска. Это не доставит приятных минут ни мне, ни господину губернатору, когда станет известным генерал-губернатору. Но хорошо, провожайте. Только извольте затем сразу же явиться в тюрьму,— чиновник встал, давая этим понять, что разговор закончен.— Не поймите меня превратно, но, право же, лучше иметь дело с уголовными, чем с политическими. Вы постоянно требуете для себя каких-то исключений, а между тем вы опасны для государства более уголовных. Следовательно, оправдана ли по отношению к вам излишняя гуманность?

Он наклонил голову, на полвершка, не более, и сделал жест рукой: ступайте. От двери Ванеев с подчеркнутой вежливостью все же ответил ему:

— Не считайте себя слишком щедрым. В конечном счете вы нас просто боитесь. Нашей силы. Представьте себе, силы! Да.

Припоминая этот разговор и тяжело вышагивая в гору, Ванеев тихо посмеивался. Ему нравилось задираться со следователями, тюремным начальством, вообще с властями предержащими,— задираться вежливо, деликатно, но ядовито, и в спорах всегда оставлять за собой последнее слово. Эти свойства характера, конечно, не облегчали его судьбы, но зато и не давали торжествовать победительно тем, кто распоряжался его судьбой. Ванеев уже знал: стоит человеку один раз покорно склонить голову и трудно, дьявольски трудно потом снова ее приподнять. Мелодия песни, которую политические ссыльные пели в арестантском вагоне на длинном пути сюда, зазвучала у него в ушах:

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!
Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых —
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых...

Вот-вот, во имя этого и стоит жить. Необходимо жить! Немало уже людей сложило свои головы в борьбе за свободу. Пусть палачи трепещут перед «поколениями живых». Вспоминая о трагедии народовольцев, ах, как правильно всегда говорит Володя Ульянов: «Мы пойдем другим путем!» Не одиночки-террористы — могучая, спаянная организация революционеров, ведущая за собой пролетариат,— вот этот другой путь. Кому-кому, а Владимиру Ильичу, пережившему казнь брата Александра, как не видеть отчетливо этого. Создан «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», положено начало организации революционеров. И вот Союз разгромлен, развеян по диким и глухим углам Сибири. Так думает правительство. И ликует. А «дело всегда отзовется на поколеньях живых». И будет Ульянов, и будет Кржижановский, и будет Старков, и он, Ванеев, и все, все будут продолжать начатую борьбу. Ничто не разрушено, ничто не погибло, просто сложилась новая обстановка, новые условия, в которых надо жить и бороться. Туруханск? Пусть Туруханск. Не все дороги ведут только туда, есть дороги, которые ведут и оттуда. Не болел бы только так дьявольски правый бок...

Он не заметил как дошел до дому, по невысокой лестнице поднялся на второй этаж. Приятно пахло свежевымытыми

полами, легкий сквознячок гулял по дощатым сеням. Одолевая последние ступеньки лестницы, Ванеев вдруг почувствовал, как сильно он устал, словно чугунными сделались ноги.

«Фу ты, стыд какой,— подумалось ему.— И это в двадцать пять лет! Нет, дорогой Анатолий, так не годится».

— Проводили? — навстречу шла хозяйка с блюдом крупно нарезанного пшеничного хлеба.— Как раз и обед у меня готов. Что это вы такой бледный?

Ванеев потер ладонями щеки.

— Проводил, Клавдия Гавриловна, проводил. Сейчас они далеко уже, плывут...

Он стал описывать подробности: какая сутолока была на пристани, как выглядит каюта, в которой разместились его друзья, как грустно сразу сделалось на сердце, когда пароход отвалил от причала.

Клавдия Гавриловна между тем собрала на стол закуску.

— Кушайте, Анатолий Александрович, пожалуйста, рыбка хорошая, копченая,— убеждала она, с тревогой оглядывая Ванеева и видя, что тот к столу подсел неохотно, вяло жует сочный нельмовый балык.— Господи, да вовсе нет у вас никакого аппетита! Пельмешки сейчас спущу...

И побежала на кухню. Широкая в кости, прямая, осанистая и удивительно легкая. Ванеев залюбовался ею. Клавдия Гавриловна вообще была кумиром всех своих временных постояльцев, все знали, что даже самой малой доли хозяйской выгоды от забот своих о заезжих людях она не имеет, ладно еще, если сводит концы с концами.

— Анатолий Александрович, вас, может, очень мучает дума о Туруханске? Опять же, о тюрьме этой проклятой? — ласково говорила она, возвратясь и накладывая в тарелку Ванееву дымящиеся пельмени.— Так вы не бойтесь Туруханска. Одно, что даль и глушь очень большая, да по здоровью не знаю как это вам, а люди ведь и там живут хорошие. Народ и там трудовой. А что в тюрьму вас здесь сажают — так подло это, очень подло.— Она нахмурилась, пощипала нижнюю губу.— Владимир Ильич страсть как негодовал. Еще когда на вокзал с Глебом встречать вас ходили, а полицейские шашками, шашками от вагона вашего их отогнали. Пришел, от гнева дрожит: «Трусы, ничтожные,— говорит он,— боятся чего? Слов бы не было между нами сказано! Нет,— говорит,— господа душители, все, все слова будут сказаны, через любые решетки, через сабельный

строй!» И сразу же отбил в Петербург телеграмму. А тут снова, с этой новой подлостью, что в Туруханск вас отправляют и в тюрьму сейчас. Вы, может, даже сами не знаете, как опять Владимир Ильич волновался: «Анатолий должен быть с нами!» Правду сказать, за двадцать шесть лет много хорошего народу у меня перебывало, а такого, как Владимир Ильич, не запомню. Огонь-человек. Светлый. Никогда о себе, все о других. Вы друзья с ним давние?

— Да как вам сказать, Клавдия Гавриловна, по нашему счету очень давние. Четвертый год. Из этого времени — полтора года за решетками. В одну ночь, только на разных квартирах, и арестовали нас. Вот и в Сибирь вместе попали. Про Туруханск вы мне, Клавдия Гавриловна, говорите утешительные слова. Буду там не без людей, знаю. И знаю тоже: буду без Владимира, без Глеба, без Василия. А дело у нас у всех одно, общее. Когда мы все вместе, мы бы во сто крат больше сделали.

— Потому и разбивают так, всех порознь,— вздохнула Клавдия Гавриловна.— Власти это тоже понимают. Да кушайте, пожалуйста, пока горячее, заговорила я вас. А мое слово попомните: соберетесь все вместе. В людях привыкла я разбираться, сразу вижу, кто только сам за себя, а кто раньше всего за друга.

— Спасибо, Клавдия Гавриловна, за добрые пожелания. И вообще за все. Не знаю, когда теперь мы еще встретимся. Но к вам у меня есть одна преогромнейшая просьба. Позвольте мне дать ваш адрес одному моему... одной... словом, моей невесте. Зовут ее Доминика Васильевна. По фамилии Труховская. Она решила поехать вслед за мной в ссылку. Позвольте ей остановиться у вас на пути в Туруханск.

— Да миленький,— Клавдия Гавриловна стиснула руки у груди,— да как вам не совестно: спрашивать позволения! Пусть себе едет, гостит здесь сколько надо, приму с душой и на пароход провожу.— Она помялась немного.— Простите, Анатолий Александрович, вот я опять любопытствую: что ж пожениться-то вы не успели? До тюрьмы то есть.

Ванеев прихлебывал горячий, крепкий чай. Брусничное варенье было остренько-кислое и в то же время очень нежное на вкус.

— Ника стала моей невестой, когда я сидел в одиночке,— ответил он тихо.— А теперь... теперь, Клавдия Гавриловна, мы уже никогда не расстанемся. На самом ли краю света или даже за краем света.

— Ну что это вы говорите! Вам надо еще жить да жить.

Разговор оборвался. Хозяйка собрала посуду, ушла. Ванеев прилег на диван — все еще томила тяжесть в ногах. Лежал с открытыми глазами, думал. «Жить да жить»,— сказала Клавдия Гавриловна. Не так она его поняла, неточно он выразился. Из этого мира, наполненного счастьем борьбы, ясной и благородной, уходить он и не собирается. «За краем света» — просто за пределом обычного, на той грани, когда человек способен свершить, казалось бы, вовсе невозможное.

Он скользнул взглядом по низкому потолку, по узкому простенку, где над столом висело большое зеркало с желтым пятном посредине — след керосиновой лампы,— Владимир Ильич, случалось, просиживал за работой ночь напролет. Вот у кого ни одной потерянной зря минуты. Способен ли он, Ванеев, на это?

Чередой пробежали воспоминания. Закончено образование. Нижегородское уездное училище. Учиться бы, учиться еще. Но отец в семье единственный работник, а семья из пяти человек. Надо поступать на службу.

...Писец в нотариальном суде, мертвящая душу работа. Даже само помещение словно бы вовсе без света, без воздуха. Бумаги, скрепляемые гербовой государственной печатью, каждодневно свидетельствуют: кое-кому живется весьма хорошо, даже хорошо через меру. А рядом другие бумаги, в которых что ни буква — горькая слеза, что ни строчка — тяжкая крестьянская или рабочая доля.

...И вот случайная встреча с рижским студентом Власовым, сосланным в Нижний за участие в марксистских кружках. Что это такое — марксистский?

...А по Владимирке между тем гонят и гонят в Сибирь одну за другой вереницы закованных в кандалы арестантов, тех, кто сердцем стремится к свободе и не знает к ней верных путей.

...Особенно душной и глухой кажется судейская канцелярия. Надо учиться, надо знать хорошо историю, литературу, экономику, философию. Без понимания законов развития общества победоносная революция невозможна. Стихийный бунт, может быть, и способен смести прочь с лица земли опостылевшую тиранию, но этого мало — новым государством, народным государством, надо уметь управлять. Безумно тягуче служебное время и коротки ночи. Только ночами удается читать, готовиться к экзаменам в высшее учеб-

ное заведение. И надо успеть побывать на беседах в марксистском кружке. И надо помогать Григорьеву, Скворцову создавать новые кружки среди молодежи и среди рабочих. В этом, в этом надежные пути к революции.

...Петербург. Сданы экзамены сразу и в Технологический и в Горный институты. Кружится голова от счастья. Экзаменаторы расточают похвалы: «Удивительные способности!» Леня Красин советует: «Иди к нам, в Технологический. У нас самый сильный кружок». Да, конечно, только туда. Горячие споры. Хорошие друзья. Степан Иванович Радченко, Глеб Кржижановский, Василь Старков, Петро Запорожец, Миша Сильвин...

...И опять не хватает ни дней, ни ночей. Помимо всего, нет денег. Приходится давать уроки на дому тупоголовым юнцам из барских семей, писать десятистрочные заметки в «Русскую жизнь» и думать нередко: «А где бы сегодня всетаки пообедать?» Но это в конце концов чепуха, главное — набраться знаний и эти знания отдать народу, революционной борьбе.

...Вторая петербургская осень. Туманы, дожди, постоянно промокшие ноги. Ходить приходится на Васильевский остров, на Выборгскую сторону. Там его, ванеевские, рабочие кружки. С какой жадностью слушают люди! Как это им необходимо! Расходясь поздно ночью, провожают, заботливо берегут — не выследили бы шпики.

...Жаркая схватка в кружке студентов-технологов. И тут появляется в первый раз Владимир Ульянов. Вот сила мысли, вот дивный дар слова! Как подружились мы тогда чуть не с первой встречи, даже теперь непонятно. Володя, Владимир Ильич, друг дорогой! Дней и ночей все равно не хватает, но, работая вместе с тобой, видишь, каким огромным может стать каждый день.

...«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Эта брошюра потрясла всех. Фальшивая суть народничества открылась во всей неприглядности. Быстрее, быстрее нужно дать ее читателям. А бдительное око полиции следит.

...Ну что же, неплохо все тогда удалось. Хорошо помогал Миша Сильвин. Раз за разом в течение полугода выпустили четыре издания этой книги. Полиция бесилась.

...Тогда, вот тогда и стала все больше зреть мысль о создании крепкой организации революционеров. Раздробленные рабочие кружки — этого мало.

...Позапрошлый год был самым бурливым. Владимир уехал за границу, и нужно было посылать ему тайно статьи и заметки о рабочем движении. В общем, получалось недурно, ни одна строчка не попала в лапы полиции. Не достался ей и целый чемодан нелегальной литературы, с которой вернулся Владимир из-за границы. Право, Анатолий, ты был отличным конспиратором!

...Все шло блестяще. Марксистские кружки объединились в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». И вот уже первые результаты: вихри листовок, грандиозная забастовка на фабрике Лаферма. Владимир Ильич созывает центральную группу «Союза борьбы». Он оживлен: «Отлично, теперь нам нужно архибыстро готовить выпуск рабочей газеты». Опрашивает по очереди Цедербаума, Кржижановского, Старкова, что они дадут в первый номер. Передовую оставляет за собой. Говорит: газету назовем «Рабочее дело».

...Ночь на 9 декабря. Еще раз перечитаны все материалы первого номера. Великолепный получится выпуск! В подпольной типографии ожидают наборщики. Резкий, прохватывающий душу насквозь, стук в дверь...

...А потом — бесконечная нравственная пытка. Допрос за допросом. Угрозы и уговоры. Сырая, мрачная одиночка, и всего лишь на полчаса в день прогулка.

...Кашель и кашель, тяжелый озноб по ночам. Нестерпимая боль в правом богу. Грустная встреча Нового года.

...И вот: «Ванеев, на свидание! Невеста пришла». Милая Доминика, как неловко было с тобой, совсем незнакомой, в первый раз говорить, называть нежными именами, на глазах у тюремщиков ласково пожимать пальцы!

...Золотая моя! Когда пришло оно, уже не наигранное объяснение? Я не посмел высказать вслух свою просьбу, ты, Ника, первая сказала: «Все равно, где бы ты ни был теперь, я всегда буду с тобой вместе, примчусь к тебе как легкий листочек!»

...А мы все еще не вместе. Тысячи глухих верст разделяют нас. И я могу любоваться твоим милым личиком только на фотографической карточке, моя чернявочка, моя смугляночка, радость моя.

Ванеев рывком приподнялся. День близится к вечеру. Остались единственные сутки свободы здесь, в Красноярске. Надо сделать так много, а он валяется на диване. Скорее, скорее! Надо успеть написать и отправить письма Доминике, родителям в Нижний, младшему брату Василию, верней-

шему другу Ниночке Рукавишниковой, так блестяще в тюремной переписке исполнявшей роль кузины. Надо сходить под Афонтову гору в библиотеку купца Юдина, сделать там из доброго десятка статистических сборников выписки, которые не успел закончить Владимир Ильич, и тоже снести их на почту. Прочь хандру, прочь усталость, прочь надоедливую боль в правом боку!

Он торопливо оделся и сбежал по лестнице вниз, шагая через ступеньку.

Он сделал заказ: держать себя все эти дни в железной узде до той поры, пока не ступит на туруханскую землю, пока не будет знать: хотя ты и в ссылке, но здесь наконец ты волен распоряжаться собой. Он сделал себе этот заказ, но не выдержал. Когда снова с железным визгом захлопнулась за его спиной тюремная дверь и рядом с ним потянулись по бесконечному коридору кандальники с наполовину обритыми головами, серые, изможденные, Ванеев припал головой к стене и тихо заплакал. Не от бессилия своего, а от жалости, сострадания к людям.

Двенадцать суток провел он в тоске, боролся с нею и никак не мог справиться. Бессмысленность этого тюремного заключения потрясала его. «Ну для чего? Для чего?» — допытывался он у мелкого тюремного начальства, бренчавшего связками ключей. Те только равнодушно пожимали плечами. Припоминался Некрасов: «Чтоб человек не баловался...» Идиоты, тупые идиоты! Человек будет все равно баловаться!

Перемучившись в эти дни, он взошел на палубу парохода уже успокоенный. Теперь недолго. Прощай, Красноярск! Здравствуй, Туруханск, «Туруру» — злое комариное болото летом, метельная равнина зимой!

Держалась высокая вешняя вода, и пароход стремительно шел вниз по течению. Берега были все в белом цвету черемухи. Величаво высились желтые обомшелые скалы близ могучего Казачинского порога. Курились веселые дымки над трубами добротно срубленных домов не очень-то частых здесь деревень.

Было безветренно, и солнце припекало так, что нестерпимо хотелось сойти на берег и поваляться где-нибудь в тени цветущих черемух. Ванеев не уходил с палубы, глядел и не мог наглядеться на светлую даль свободного Енисея. А в

груди теснило, посвистывали «соловьи», и кашель бил все время, влажный и затяжной.

В Енисейск пришли на рассвете. Вернее, это была белая ночь. Над рекой струились серые змейки тумана. Все спали. Ванеев беспокойно ворочался на жесткой койке. Кто-то потянул его за плечо, окликнул:

— Эй, к капитану!

В капитанской каюте, судорожно позевывая, сидел хорошо одетый мужчина. «Из местной интеллигенции»,— определил Ванеев.

— Врач городской больницы Лошкарев,— действительно отрекомендовался тот.— По телеграфному распоряжению генерал-губернатора я имею честь вас освидетельствовать.

И сердце Ванеева радостно екнуло: друзья помогли.

— Н-да, голубчик,— протянул доктор, закончив осмотр,— вы не пугайтесь, но дело ваше такое... В общем, мое заключение: в Туруханск вам ехать нельзя ни в коем случае. Останетесь в Енисейске. Собирайте вещички.

Через два дня воспрянувший духом Ванеев вдохновенно писал своей «кузине» Ниночке Рукавишниковой: «...ничего лучше я и сам бы не придумал, ведь Енисейск — лучший город в губернии после Красноярска. Я не соглашусь теперь променять его даже на Минусинский округ... Да что Минусинский — я отказался бы и от Вологодской или Архангельской губернии!..» Перо легко бежало по бумаге: «До сих пор еще не могу войти в старую колею, не могу достаточно надышаться свежим воздухом после своей коптилки. Работать можно будет чудесно. Ввиду столь приятных перспектив настроение у меня самое радужное».

Ему казалось, что для полноты счастья теперь только недостает Доминики. Но ведь и она обещала тоже вскоре приехать.

Обещала... Но месяцы шли, а Доминика не ехала. Тысяча разных препятствий задерживала ее. Приходили лишь письма да телеграммы, отменяющие одна другую. Похоже, она тоже под следствием.

И все-таки хорошо жить ожиданиями. Тем более, когда в городе отличная библиотека, а квартира тихая, спокойная.

Правда, нет хороших друзей, ссыльные народовольцы — их тут немало — смирились со своей судьбой. Хуже того, подчинились укладу местной жизни, постепенно превратились и сами в обывателей, ищущих только личного благо-

получия. Одна отрада — беседовать с грузчиками на пристани, с рабочими маленького кожевенного завода. Не зная при этом, что бдительное око жандармерии здесь тоже начеку и в положенное время иркутскому генерал-губернатору регулярно посылаются рапорты, в которых с неистовой злобой непременно первым называется имя Ванеева, как вреднейшего и опасного смутьяна, не прекратившего даже в ссылке своей противоправительственной деятельности.

Наконец принесли телеграмму, самую верную, точную: Доминика уже в Красноярске у Клавдии Гавриловны Поповой и выедет ближайшим пароходом.

Ванеев всю ночь провел на берегу Енисея, бродил по хрустящему галечнику, не сводя глаз с крутой излучины реки.

А пароход прибыл только во второй половине дня. Сияющий белизной, шумно рубя тяжелыми плицами воду, он выписал на Енисее огромный круг и стал швартоваться к пристани. Торговки жареной рыбой, медом, кедровыми шишками, всевозможной таежной ягодой метнулись к пароходу толпой, оттеснили Ванеева. Но он сквозь шум и галдеж, обычный на пристанях, все равно расслышал голос Доминики:

— Толенька! Толя! Я здесь.

Потом они сидели в своей квартире, празднично прибранной, держались за руки, по-детски дурашливо хохотали и все говорили, говорили, наперебой рассказывали всяк свои новости.

— Ника, милая, ты привезла мне жизнь, здоровье, силу,— без конца повторял Ванеев.— Теперь я способен любую гору свернуть.

— Толенька, вот когда мы с тобой действительно вместе,— счастливая, шептала и Доминика.— Железные решетки не стоят больше между нами. И я уже не «невеста» — я жена твоя.

Они не думали в тот час о формальностях.

Но прошло всего несколько дней, и оказалось, что без соблюдения необходимых формальностей Доминика не имеет права поселиться в квартире Ванеева.

— Как? Чтобы всякие там городские сплетницы чесали на твой счет языки! — ужаснулся он, когда узнал об этом.— Ника, милая, мы непременно должны обвенчаться. И вообще, мало ли что со мной может случиться. Будет сын...

На свадьбе, кроме положенных по обряду свидетелей, не было никого. Вернувшись из церкви домой и вертя на пальцах обручальные кольца, они шутили:

— Ну вот, наручники на нас уже надели. Что же, теперь снова очередь за тюрьмой?

Шутка вдруг обернулась суровой действительностью.

Холодным ноябрьским днем, когда над стылыми улицами города металась колючая пурга, в дом к Ванеевым явился полицейский. Специальной повесткой госпожа Труховская вызывалась в суд. Доминике очень нездоровилось, и Анатолий пошел ее проводить.

— Мы скоро вернемся,— сказал он хозяйке дома.

Но в суде огласили пересланный из Петербурга по делу «Союза борьбы» приговор, согласно которому Д. В. Труховская за распространение листовок и воззваний к рабочим подвергалась трехмесячному тюремному заключению, а затем еще на два года отдавалась под гласный надзор полиции. Прямо из здания суда под штыками Доминику отвели в тюрьму.

— Послушайте, да послушайте вы,— негодовал Ванеев, изо дня в день обходя все канцелярии енисейского начальства,— где же логика, где справедливость? Сажать человека в тюрьму, когда он сам, добровольно последовал в ссылку! Ведь это же дико! Бесчеловечно!

— Приговор подлежит исполнению. А что мадам Труховская добровольно последовала в ссылку — это ее личное дело.

Телеграммы в Иркутск, в Петербург, в высшие инстанции, знакомым, друзьям. Ванеев изнемогал в тяжелой борьбе за судьбу жены. Он по себе знал, как страшно разрушает здоровье тюрьма, и еще знал, что енисейская тюрьма намного хуже тех, в которых приходилось томиться ему самому. А Доминику взяли под стражу уже больной.

В эти долгие месяцы глухого, беспокойного одиночества Ванеев с особой остротой почувствовал свою оторванность от друзей. Письма из Нижнего, из Москвы, Петербурга добирались в Енисейск зимой месяцами, немногим короче оказывались сроки для корреспонденции, идущей из Минусинского округа. А как хотелось бы теперь, в особенности теперь, находиться поблизости от Владимира Ильича! Там, в Шушенском, Тесинском, Ермаковском, кипит работа. Борьба против самодержавия продолжается. Нет, нет, во что бы то ни стало нужно добиваться перевода туда, к друзьям!

Только бы вышла скорей из тюрьмы Доминика, только бы не подкосила снова болезнь.

От Ульянова приходили хорошие вести, там хлопочут: «Анатолий Александрович, я твердо верю, мы добьемся успеха. Глеб и Базиль подняли на ноги кого только можно».

Упорствовал иркутский генерал-губернатор. От него зависело очень многое. Петербургское начальство не находило нужным навязывать ему свои решения, а генерал-губернатор был тверд как скала. И не мог же знать Анатолий, что определенное настроение генерал-губернатору во многом создавал своими злобными рапортами енисейский жандармский ротмистр, теперь возводивший поклеп еще и в том, будто Ванеев совершенно здоров и больным хитро прикидывается.

Маленькая победа все же была одержана: Доминику выпустили из тюрьмы на месяц раньше срока. Но и это радовало безмерно. Снова можно вместе ходить в библиотеку, делать выписки для себя и для Владимира Ильича. В свободные часы Ванеев готовил рецензии, статьи для местных газет. Успешно продвигался главный труд: изучение рабочего движения в России и на Западе. Очень помогала «кузина» присылкой редких книг. Добрая половина из них переправлялась в Шушенское — Владимиру Ильичу.

Так миновала зима. И весна. Наступили самые длинные дни. Буйно выметывались травы, все кругом цвело. Трудно было усидеть дома. Тянуло в лес, к реке.

— Ника, срок моей ссылки истекает двадцать девятого января тысяча девятисотого года. Канет в Лету тиранический девятнадцатый век. Неужели еще и двадцатый век не станет Новым веком?

Доминика гладила его мягкие волосы.

— Толенька, а почему Новый век не может начаться уже с последних лет девятнадцатого века?

И Ванеев глядел на нее изумленно.

— Дорогая, умница моя! Но ведь он же, Новый век, действительно уже начался! Разве мы — не Новый век?

В этот день они долго бродили по окрестностям Енисейска, собирали щавель, грибы, ягоды. Доминике нравилось делать вареники с голубицей.

Ночью кто-то легонько, осторожно постучался. Ванеев поднялся с постели, распахнул створки окна. В неверном свете летней луны он разглядел человека, по одежде не то рыбака, не то плотогона. На улице стояла мертвая тишина.

— Ванеев? — зашептал незнакомец, перегибаясь через подоконник.— Извините, пожалуйста. Моя фамилия — Махновец. Товарищи дали мне ваш адрес. Бегу из ссылки, с Севера. От Усть-Пита шел пешком. Измотался до крайней степени. Укройте меня. На сутки-двое, не больше. Потом я пойду дальше, лесными тропами. На пароходе опасно.

Ванеев потер лоб: Махновец — фамилия знакомая, он слышал ее в Бутырской тюрьме. Тоже участник подпольных кружков, но лично встречаться с ним не приходилось. Что-то такое говорили о нем: ершистый человек, сварливый, ни с кем не согласный...

— Входите, сейчас я открою дверь,— сказал Ванеев.— Ника, встань, дорогая, надо товарища покормить. А лампу не зажигай. Так обойдемся.

Махновец, как и обещал, ушел на второй день. Ванеевы снабдили его на дорогу всяческой снедью, парой белья. И долго потом вспоминали нечаянного гостя, дивились его мужеству, выносливости. Анатолий шутливо предлагал и им последовать примеру Махновца. Доминика, смеясь, поддерживала: «Бежим!» А сама с тревогой вглядывалась в темные круги под глазами Анатолия.

Остаток лета прошел в дружной и напряженной работе над рукописью о положении рабочего класса. Анатолий ликовал:

— Когда мы соберемся все вместе и Владимир Ильич увидит мои записи, он поразится: как, это сделано в Енисейске!

Но работа вдруг оборвалась, далеко не законченная. Вернувшись однажды морозным ноябрьским вечером из библиотеки, Ванеев почувствовал сильнейшее недомогание. Стены качались, к горлу ползла мучительная тошнота.

Доминика бросилась к врачу, уже знакомому им Лошкареву. Тот явился без промедления, коротко определил: тиф. А уходя, опечаленно сказал Доминике:

— Сердце у Анатолия Александровича совсем слабое, возможны тяжелые осложнения. Притом еще и давний легочный процесс. Голубушка, очень берегите его. Чуть встанет, увозите к югу. Не знаю, как в вашем положении, но увозите.

Начались новые хлопоты. Они безуспешно тянулись до самого января, когда Анатолий, бледный, исхудавший до крайности, понемногу все же стал подниматься с постели. И вдруг Доминику вызвали: из Иркутска пришел приказ

генерал-губернатора. Что такое? «Ванеева А. А. перевести из Енисейска на север, в село Анциферово, с продлением срока ссылки на два года за оказание помощи в побеге ссыльному Махновцу». Доминика охнула и всплеснула руками: вот когда и как страшно отозвалось посещение — доброго ли? — ночного гостя.

Тут же побежала она к жандармскому ротмистру. Кричала, умоляла, плакала. Ротмистр покручивал усы.

— Хорошо, хорошо, о состоянии здоровья вашего мужа, о вашей просьбе перевести на юг я непременно доложу генерал-губернатору. Но, тем не менее,— он многозначительно поднял палец,— к выезду в Анциферово готовьтесь. «Смерть, смерть там»,— вы говорите. Мадам, а где нет смерти? Все люди смертны.

Анатолию не было лучше. Едва он поднимался с постели, открывалось тяжелое кровохарканье. Перепуганная Доминика звала Лошкарева. Тот выписывал какие-то порошки, микстуры. Но Доминика понимала: лекарства эти все равно не помогут. Если что и поможет, так только солнце, тепло. Нужен юг. Когда же, когда ответит наконец генерал-губернатор?

Ответ пришел. Ротмистр показал орленую бумагу. Довольный, усмехнулся:

— Могу порадовать, мадам. Просимое вами разрешение о переводе вашего мужа на юг дано. Можете немедленно следовать в Тунку.

— А где это? — растерянно спросила Доминика. И схватилась рукой за сердце, под ним шевельнулся ребенок.

— О! Это на юг от Байкала, у самой монгольской границы. Отличное место, сухие песчаные степи, ветерок...

Это звучало как самое неприкрытое издевательство. Больного чахоткой, у которого кровь идет горлом, отправить в пыльные, безлесные степи, многие сотни верст провезти на тряских подводах по бездорожью!

— Господин ротмистр, но мы ведь просили перевода на юг в Минусинский округ. Здесь сравнительно близко. Добраться туда по весне можно и на пароходе. У нас там хорошие друзья.

— Друзья найдутся и в Тунке. А здоровье...

Глаза Доминики наполнились гневными слезами:

— Почему вы не хотите считаться с мнением врача? Я хочу, я требую... Освидетельствуйте Анатолия Александ-

ровича... Пошлите медицинское заключение генерал-губернатору.

— Мадам, не учите меня. Медицинское освидетельствование будет сделано тогда, когда это будет сочтено нужным.

Месяц, целый месяц понадобился потом, чтобы все же добиться распоряжения генерал-губернатора о медицинском освидетельствовании больного. На дворе уже стоял март 1899 года, девятнадцатый век приближался к концу.

Опять пришел Лошкарев. С ним и еще врач. Генерал-губернатор сомневается: должен быть проведен консилиум.

Доминика беспокойно следила, как два врача поочередно выстукивают, выслушивают Анатолия, считают пульс. И хмурятся все больше. А он сидит безвольный, безучастный, длинными иссохшими пальцами приглаживает непослушные волосы.

— Что-то плохо у меня с сердцем,— виновато говорит он.— А дышу я как будто свободнее.

— Да, да,— торопливо подтверждают врачи.— Дела ваши идут отлично. В легких опасности совершенно никакой, сердце теперь тоже быстро наладится. Уедете на юг, и наладится.

Старший из них, Лошкарев, в конце дня докладывает жандармскому ротмистру о результатах обследования. Тот, покручивая ус, внимательно вслушивается.

— Так, так, господин Лошкарев. Понятно. Понятно. Думаю, теперь генерал-губернатор с вашим мнением согласится. Ну, что же... Меня интересует, однако, еще, на что в данном своем состоянии способен будет на юге, предположительно в селе Ермаковском, ссыльный Ванеев?

— Он способен только доехать до Минусинска. И лишь в сопровождении жены. За большее я уже не ручаюсь.

Ротмистр снова задумчиво крутит ус:

— Благодарю вас. Вы свободны, господин Лошкарев.

Врач немного ошибся. Ванеев доехал до Ермаковского.

Больше того, навестил в Шушенском Владимира Ильича.

Больше того, хотя и лежа в постели с высокой температурой, принял затем у себя на квартире всех своих друзей. Они собрались здесь для того, чтобы выразить свой «Протест семнадцати ссыльных социал-демократов» против оппортунистического «Кредо» группы «экономистов», пытавшихся идейно разоружить рабочих в борьбе за свои полити-

ческие права, превратить революционную партию в партию реформистов. Анатолий Александрович вслед за выступлением Владимира Ильича первым произнес пламенную речь в поддержку его доклада, одним из первых подписался под резолюцией. Было это в середине августа.

А в начале сентября в сосновом бору за селом товарищи Ванеева насыпали невысокий холмик земли.

Еще немного спустя на этом холмике появилась чугунная плита со словами: «Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 года 27 лет от роду. Мир праху твоему, Товарищ».

Эти слова продиктовал мастеру-литейщику Владимир Ильич.

Борис Костюковский

С МЕЧТОЙ О СЧАСТЬЕ

Послушно время, если человека
Мечта о счастье подняла в поход.
А. Сурков

«В дверях показывается В. И. Ленин; увидя Северова, быстро направляется к нему, протягивает руку.

Ленин. Наконец-то нашел... Искал вас по всему городу.

Северов. А я тоже собрался идти к вам... Есть какое-нибудь дело?

Ленин. Архисерьезное... (Внимательно и серьезно смотрит на Северова.) Вы знаете о событиях в Одессе? О «Потемкине», о забастовке и тому подобное?..

Северов. Только что узнал.

Ленин. В одесских событиях есть еще черты старого бунта, но всенародное вооруженное восстание зреет и организуется на наших глазах.

Северов. Сумеем ли мы только использовать «Потемкина»?..

Ленин. Абсолютно правильные опасения... Одесские товарищи могут недооценить события или даже растеряться.

Северов. Что же делать?..

Ленин. Нужно послать в Одессу уполномоченного ЦК. Мы остановились на вашей кандидатуре.

Северов (обрадованно). Владимир Ильич! Неужели?.. А мне так хотелось быть там...

Ленин. Знаю, что вы рветесь в Россию... Сейчас нужно выяснить, когда вы можете выехать. Сделать это нужно как можно скорее. Вы сами понимаете, товарищ Северов...

Северов. Готов ехать хоть сегодня!

Ленин. Сегодня, конечно, не удастся... Могли бы послезавтра?..

Северов. Тогда завтра. Непременно завтра!.. Боюсь опоздать.

Ленин. Превосходно! Если успеете собраться, поезжайте завтра...»

Это отрывок из пьесы. Но она написана не драматургом, а известным русским революционером. Сцена происходит в Женеве, где Владимир Ильич действительно вел точно такую же беседу. Изменена лишь фамилия ее участника: не Северов, а Южин.

Пьеса документальна и автобиографична. К сожалению, она не увидела свет и сейчас читается как дневник.

А вот короткое предисловие к настоящему дневнику: «У каждого старого большевика в его большой жизни так много событий, что я остановлюсь на главнейших этапах моей революционной деятельности. Когда я описал только один год крупных революционных дел, в которых принимал участие, получилась книжка на двести страниц!..» В самом деле, как коротко рассказать о большой человеческой жизни, до предела насыщенной активной партийной деятельностью? Вот и приходится выбирать главное.

Основными этапами своей жизни Михаил Иванович Васильев-Южин считал, пожалуй, три. Первый — знакомство с Лениным, второй — организация и проведение в Москве вооруженного восстания 1905 года и третий — руководство Октябрьским переворотом 1917 года в Саратове.

Умница и интеллигент, знал несколько языков и имел физико-математическое и юридическое образование, хотя и был выходцем из «низов». По семейному преданию, дед Васильева в один из набегов на кабардинский аул взял в плен восьмилетнюю девочку. Она выросла в семье и впоследствии дед женил на ней своего старшего сына Ивана.

Михаил унаследовал жгучие огромные глаза своей матери — кабардинки, да и вообще был по-восточному смуглым, подвижным, вспыльчивым.

Отец — солдат, дослужился до унтера и стал дворником. Мать — прислуга и прачка. С трудом определив сына в прогимназию, старый солдат говорил: «Давай, утрем нос ба-

рам...» Вскоре вышел циркуляр о «кухаркиных детях». Потребовали платы за ученье. Но Михаила оставили в гимназии бесплатно: уж очень он хорошо успевал. За гимназией последовал Московский университет, физико-математический факультет.



Михаил Иванович
ВАСИЛЬЕВ-ЮЖИН
(1876—1937)

На первом же курсе Михаил увлекся политикой. Как раз тогда появился первый марксистский журнал, разгоралась полемика с народниками, возникли марксистские кружки.

Увы! В среду юных марксистов попали ненадежные люди, и Михаил вскоре оказался в Таганской тюрьме. Дорогой ценой поплатился юноша за свои убеждения. В тюрьме его так жестоко избили, что он потом всю жизнь чувствовал эти побои и «в память» о сырой камере получил туберкулез...

Избитым, усталым физически, после боевого большевистского крещения стоял Михаил Васильев на пороге своей уходящей юности. Впереди открывался трудный и счастливый путь революционера.

* *
*

С Владимиром Ильичем он впервые встретился на знаменитой Каружке, как называли русские политические эмигранты маленькую улицу в Женеве. Через пограничные заслоны в возе с сеном пробрался он сюда из южного Баку. Легко сказать — пробрался,— это была целая эпопея...

Началась она с того, что Михаил Иванович, опасаясь ареста, тщательно загримировался и бежал из Баку в рыбацкой шхуне. Это был первый шаг к эмиграции.

Взяв несколько партийных поручений, он отправился в сторону Женевы. Знакомые контрабандисты переправили его за границу, но уже немецкие жандармы не дали взять билет до Берлина и повезли под досмотром в Остров, где зло и тщательно обыскали. Вспарывали на одежде каждый шов, изъяли документы и схему центральной организации, отняли письмо к Бебелю.

С трудом, после многих мытарств удалось добраться до Берлина, а там — до швейцарского города Махлиц.

И вот наконец Женева...

К этому времени Михаил Иванович уже стоял на позициях большевизма. Однако, по его собственному выражению, твердокаменным ленинцем он стал только здесь, в Женеве, в этой своеобразной высшей школе большевистских идей.

Двух встреч особенно ждал он в этом красивом швейцарском городе. Правда, одну из них Васильев ожидал с опаской. Он знал о неожиданной для многих социал-демократов позиции, занятой на II съезде Георгием Валентиновичем Плехановым. И все же хотелось встретиться с ним, поблагодарить за все, что он сделал для развития марксизма в России, сказать простое и такое дорогое партийное слово — «товарищ».

Нет, этого слова Южин Плеханову так и не сказал. Назавтра по приезде в Женеву он был у Ленина, а после этой встречи он уже не захотел видеться с Плехановым.

Какой же была встреча с Лениным?

Кто он, каков из себя этот человек, «еще мало знакомый, но странно привлекательный, мощно притягивающий к себе своей энергией, революционной страстностью, огромным умом и безграничной верой в рабочий класс»,— рассуждал с самим собой Михаил Иванович.

В Женеве Южин увидел многих известных революционеров. В первый же день после приезда он познакомился в «большевистской столовой» с Ольминским (Галеркой), он был очарован Бонч-Бруевичем и его обаятельной супругой В. Величкиной. Здесь он встретился с Луначарским, Воровским, Кнунянцем (Радиным), Ильиным, Бранденбургским. Нужно ли говорить, сколько волнения таило в себе каждое из этих интересных знакомств!

И все-таки наибольшее впечатление произвела встреча с Ильичем. Этот человек («Хитрый мужик»,— первое, что подумал о нем Васильев) обладал колоссальной притягательной силой. Заключалась она в огромной вере в дело, которому он посвятил свою жизнь, в удивительной деловитости и, главное, бескомпромиссной честности и безграничной преданности рабочему классу.

Владимир Ильич сразу же потребовал подробного рассказа о положении в Баку и на Кавказе вообще. Выслушав Васильева внимательным образом, Ленин сказал:

— Извольте писать!

Михаил Иванович стал сотрудником газеты «Вперед». На первых порах он занимался периодическим обзором стачечного и революционного движения в России. Потом писал по разным вопросам. И подписывался по совету Ленина литературным псевдонимом — Южин.

— Васильевых, батенька, на Руси не перечтешь,— объяснял Владимир Ильич во время одного из разговоров,— а вот Южиных не так уж много. Извольте-ка носить двойную фамилию.— И, потирая руки, довольно рассмеялся.— Вы как-то рассказывали мне, что происходите от отца-рабочего и матери-прачки. А фамилия у вас вполне аристократическая. Васильев-Южин!

Тогда же в одной из бесед Владимир Ильич попросил:

— Вам, Михаил Иванович, надо бы пренепременно сделать доклад о бакинских событиях. Сначала в нашей эмигрантской колонии. Затем в других городах Швейцарии...

И вот Южин перед эмигрантами и русскими студентами. Он рассказывает о раскольнической, предательской деятельности бакинских меньшевистских лидеров во главе с братьями Шендриковыми.

Меньшевики-эмигранты шипели, свистели, и кое-кто начал грозить Васильеву кулаками, но это не смутило докладчика: он уже знал цену фракционным истерикам.

А Владимира Ильича забеспокоила эта обструкция. Не смутит ли она Васильева? Не откажется ли он от других докладов? Ленин постарался немедленно встретиться с ним, успокоить его.

Но Михаил Иванович рассказывал о случившемся настолько спокойно и с таким юмором, что Владимир Ильич расхохотался — заразительно, звонко, молодо.

— Значит, не испугали вас господа меньшевики?

— Мне с ними встречаться не впервой.

Доклады Васильева в Цюрихе и Берне прошли уже без всяких эксцессов, без осложнений. Русские социал-демократы, находившиеся в эмиграции, с интересом знакомились с ростом революционного движения на юге России, в нефтеносном районе старинного Баку.

Неимоверно долгими кажутся дни вдали от родины. В России вскипала революция. А обывательски тихая Женева раздражала своим благополучным очарованием — хотелось домой, в гущу борьбы. И Южин просится в Россию.

К счастью, такая возможность вскоре представилась ему. Но прежде — еще несколько слов о Женеве.

Всю свою жизнь Михаил Иванович стремился к знаниям. Нелегко было ему получить высшее специальное образование. Однако путь марксиста-революционера требовал все новых и новых знаний, более широкой эрудиции во многих отраслях науки, особенно общественных.

Как-то, еще в Баку, в споре с одним из меньшевиков Васильев почувствовал, что ему недостает знаний в юриспруденции и правовых науках. Позднее, между двумя ссылками, в 1910 году, он отправился в Юрьевский университет и за полгода экстерном его закончил, получив степень кандидата наук. Конечно, это свидетельствует о необыкновенных способностях Васильева, но ведь это и подвиг — во имя дела, которому он верно служил.

Кстати говоря, в еще более сложных условиях Михаил Иванович овладевал иностранными языками. Немецкий и французский он изучил сидя в тюрьме.

В Женеве Васильеву представилась возможность повысить марксистские знания. Большевистская читальня на Каружке имела немало политической литературы. Михаил Иванович, с присущей ему жадностью к знаниям, набросился на нее.

А в редкие часы досуга, сидя за небольшим квадратным столиком, Южин сражался с Владимиром Ильичем в шахматы. Ленин, по свидетельству специалистов, играл в силу нынешнего первого разряда, а Михаил Иванович, должно быть, не хуже, ибо частенько выигрывал.

Как ни тихо было в ту пору в Женеве, все же и здесь происходили значительные события. Через Женеву в Лондон проезжали делегаты III съезда РСДРП. Землячка, Богданов и многие другие привозили важные вести из России, из самых различных ее уголков. И это имело большое революционизирующее значение для русской эмиграции.

Глубокое впечатление произвело на Васильева празднование дня международной пролетарской солидарности 1 Мая. Это было свободное шествие людей разных национальностей, борющихся под единым священным лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ведь в России все происходило иначе: подполье, шпики, полиция, беспрерывные преследования, аресты, расстрелы...

В этот памятный первомайский день на долю Михаила Ивановича Васильева выпала большая честь: на собрании

русских социал-демократов, где присутствовали также меньшевики и бундовцы, ему было поручено выступить от имени большевистской фракции.

Вдруг до далекой заграничной Женевы донеслась весть о восстании на броненосце «Потемкин». Это был важный революционный сигнал. Он прозвучал, как набатный колокол, как властный призыв, как неопровержимое доказательство правильности линии большевиков.

Михаил Иванович немедленно собрался к Владимиру Ильичу с просьбой послать его в Россию, туда, где уже полыхает пламя восстания.

И в этот самый момент к Васильеву-Южину постучали. Короткая фраза, но такая важная, такая желанная:

— Вас разыскивает Ильич...

С этого эпизода, вошедшего в пролог пьесы «Начало», мы и приступили к своему рассказу о Васильеве-Южине.

Южин был в Женеве больше трех месяцев и почти ежедневно он виделся с Лениным, вместе с ним работал в первых большевистских газетах — «Вперед» и «Пролетарий», которые основал и редактировал Владимир Ильич. Южин привык и к чистоте ленинских идей, и к удивительной смелости и подчас неожиданности его крутых решений.

Но сейчас особенно поразило Михаила Ивановича указание Ильича о захвате всего Черноморского флота.

— Я уверен,— говорил Ленин,— что большинство судов примкнет к «Потемкину». Нужно только действовать решительно, смело и быстро. Тогда немедленно присылайте за мной миноносец. Я выеду в Румынию.

— Вы серьезно считаете это возможным?

— Разумеется, да. Нужно только действовать решительно и быстро. Но конечно, сообразуясь с положением.

Южин видел уверенные, строгие глаза вождя, полные убежденности и вселяющие убежденность.

И когда Васильев прощался с Лениным перед отъездом в Россию, он обещал аккуратно сообщать о ходе событий и прислать не только миноносец, но даже крейсер, если восстание окажется победоносным...

Увы, оно, как известно, не оказалось победоносным. Как ни торопился Южин, но приехал поздно.

Меньше всего зависело это от его женевских товарищей. В те памятные дни по заданию ЦК многие солдаты революции разъезжались по своим боевым постам. Уехал в Россию Радин, направился в Ригу Бранденбургский. Курьер-

ский поезд мчал через Австрию в Россию Васильева-Южина. В его кармане лежал заграничный паспорт на имя какого-то генеральского сынка, а для прописки в России — фальшивка на имя рыбинского мещанина с довольно распространенной русской фамилией (кажется, Конкин).

Одесса. Темная южная ночь, заурядная гостиница.

Первая же встреча с одесской организацией РСДРП подтвердила худшее: Васильев-Южин опоздал.

Во время восстания на «Потемкине» Одесский комитет РСДРП поступал нерешительно, вяло. Было много речей и споров, но не было главного, на что ориентировал Южина Владимир Ильич,— решительных действий. Не были использованы для этой цели ни похороны матроса Вакулинчука, ни огневая мощь орудий броненосца. Он ушел в море. А в городе растерянностью воспользовались черносотенцы, и возник пьяный бандитский погром.

Оказался прав Владимир Ильич и в том смысле, что восстание потемкинцев вызвало глубокое сочувствие у матросской массы Черноморского флота. Когда царские адмиралы приказали открыть по революционному броненосцу огонь, «Георгий Победоносец» не выполнил приказа и перешел на сторону революционных матросов.

Об этом Васильев-Южин узнал уже позднее, и это еще раз подтвердило мудрость ленинского предвидения...

Положение, в которое попал Михаил Иванович в Одессе, оказалось чрезвычайно трудным. Куда ушел «Потемкин»? Было бы разумным, если бы он направился в Батум, туда, где сильны пролетарские силы, где достаточно одного залпа «Потемкина», чтобы вспыхнуть пожару... Южин хорошо знал революционный дух батумских рабочих и поэтому считал курс «Потемкина» на Кавказ самым разумным.

Узнав в комитете РСДРП пароль для того, чтобы попасть на броненосец, Васильев кинулся догонять мятежный корабль, ушедший к Черноморскому побережью Кавказа. Но и эта попытка оказалась тщетной. «Потемкин» избрал совсем другой курс...

И Южину не оставалось ничего более, как написать Владимиру Ильичу о постигшей его неудаче, а самому направиться туда, где должен был вспыхнуть новый пожар революционного восстания. Это была Москва.

Москва 1905 года.

* * *

Какой же была Москва в эту пору, когда рабочее движение набирало силу? Еще не было Московского Совета рабочих депутатов — он появился позднее. А пока — различные союзы: железнодорожный, учителей, адвокатов, инженеров и даже объединяющий — союз союзов...

Правда, после того как началась забастовка полиграфистов и рабочих булочной Филиппова, возник стачечный комитет. Но он оказался весьма ненадежным.

Вот тогда в противовес стачечному комитету и сформировался в Москве Совет рабочих депутатов. В декабре 1905 года Южин писал в газете «Борьба» о роли Советов: «...в целом ряде городов создались промежуточные боевые организации — советы рабочих депутатов. Цель Советов рабочих депутатов — помочь объединению и руководству политической и экономической борьбы пролетариата».

Все силы прилагал Васильев-Южин, чтобы превратить Московский Совет именно в такую боевую организацию. Михаил Иванович вместе с Шанцером (Маратом) входил в состав Московского комитета РСДРП, отдавал делу всю силу своей убежденности.

Трудное это было время. Вот как вспоминает о нем Михаил Иванович: «Каждый из немногочисленных ответственных партийцев поневоле нагружался бесконечным рядом обязанностей и поручений. Припоминаю для примера о своих обязанностях. Я был членом Московского комитета, членом его исполнительной комиссии, членом Федеративного комитета, членом исполнительного комитета и президиума Совета рабочих депутатов, заведовал агитацией, назначен был ответственным редактором газеты Московского комитета «Вперед»... Представительствовал от имени Московского комитета в ответственных собраниях (например, на ноябрьском съезде Крестьянского союза), писал или редактировал прокламации, выступал в качестве агитатора на рабочих собраниях и т. д. и т. п.».

Справиться со всеми задачами, которые легли на плечи большевиков, было поистине выше человеческих сил. Михаил Иванович вспоминает, что приходилось иногда работать сутками, без сна и отдыха. Но большевики достигли своего: они откололи от бездействующего стачечного комитета почти все пролетарские организации. Это придало еще больший вес и авторитет Совету рабочих депутатов.

Много раздумий связывал Южин с войсками, с армией. Никогда не забыть Михаилу Ивановичу ленинских слов о Черноморском флоте. Вот почему он не соглашался с мнением Троцкого, который, находясь в Петербургском Совете, потребовал увести царские войска на 25 верст от столицы. Не уводить войска, а бороться за них, привлечь их на свою сторону — именно такой, ленинской позиции придерживался Васильев-Южин.

Южин пошел к солдатам артиллерийского полка. Артиллеристы встретили большевистского агитатора холодным молчанием. Что они ответят, эти люди с оружием в руках, считающиеся верными слугами царя? Поймут его, одобрят или, может быть, арестуют, расстреляют?..

Они не торопились с ответом, а только внимательно, изучающе смотрели на этого совсем не военного человека, в мешковатой штатской одежде, с чуть сгорбленной фигурой и овальными очками в металлической оправе... Они ждали.

Ждал и Южин. И вот наконец ответ: если убедимся, что победа обеспечена, выступим на вашей стороне.

Что ж, это еще не все, но это уже много. И большевики стали более активно действовать в войсках. Ростовский полк, саперный батальон... В этих частях все увереннее побеждали революционные настроения...

Революционный подъем нарастал с каждым днем. Неотвратимо близилось вооруженное восстание. Его знамя первыми подняли московские рабочие.

7 декабря тревожно и гордо зазвучали заводские гудки: началось! Вся Москва поднялась на восстание. Только Николаевская железная дорога — из Петербурга в Москву — оставалась «не нашей», не участвовала в забастовке. По ней-то и прибыли войска из царской столицы.

Эту страшную весть принес в Совет рабочих депутатов либеральный представитель профсоюза железнодорожников Переверзев. Но мало этого... Он привел у себя «на хвосте» шпиков царской охранки.

Тринадцать дней шли тяжелые бои, и восстание было подавлено. Штаб его во главе с Шанцером (Маратом) и Южиным, плененный в самом начале, был отправлен в тюрьму. Борцы остались без центра, без руководства, и это способствовало поражению.

...Нет для революционера ничего тяжелее периода, идущего за поражением. Раскаяние, и поиск ошибок, и непременное предательство малодушных и подлецов. Чудовищное

предательство, цена которому — многие жизни самых честных, самых лучших борцов. И мрачная пора ссылок, тюрем, побегов. Голодная, тяжелая жизнь в местах заключения. Все это испытал и Южин. Одиннадцать арестов!

А однажды в Астрахани в 1912 году после резкого антиправительственного выступления в суде был арестован не только Васильев-Южин, но и его жена Мария Андреевна — тоже профессиональная революционерка. Жандармы не посчитались даже с тем, что в колыбели надрывался ее грудной двухнедельный ребенок. Случайно проходя мимо, Р. С. Землячка услыхала плач и унесла к себе девочку.

Об этом случае немедленно узнали политические заключенные астраханской тюрьмы. В знак протеста они объявили голодовку, и через три недели Мария Андреевна была освобождена.

Эта спасенная девочка, дочь Васильевых-Южиных Валентина Михайловна,— ныне журналистка. Она бережно сохранила многие документы тех дней, бесценные строки истории русской революции.

...Баку и Тамбов, Ростов и Тифлис, Сухум, Астрахань. Наконец, Саратов. Тюрьмы всех этих городов хорошо знал Васильев-Южин.

* * *

Отбыв свой нелегкий срок в астраханской ссылке, Южин прибыл в Саратов. Сразу же активно включился в агитационную и пропагандистскую работу. Каждую неделю он выступал перед рабочими с лекциями. Вот что вспоминает о них А. Л. Банквицер: «...лекции задавали тон всей нашей агитационно-пропагандистской работе в предоктябрьские дни, в Саратове. Популярность Васильева-Южина среди солдат и рабочих в эти дни была необычайно велика...»

Особенно яростной и непримиримой была его идейная борьба с меньшевиками, со всякого рода эсеровскими настроениями, например на гвоздильном заводе «Этна». Вот на завод пришел Васильев-Южин. Он произносит пламенную, убеждающую речь, и до рабочих доходит ленинская правда, которую он им принес... Когда говорил, перед глазами стоял Владимир Ильич, уничтожающий меньшевистские измышления Мартова. И это вдохновляло Южина, придавало его словам убежденность и силу.

Но более широкое поле революционной деятельности открылось для Михаила Ивановича в 1917 году. Здесь с новой

силой проявился его талант организатора, оратора, бойца. Не зря он называл Саратов своей революционной родиной.

Весть о штурме Зимнего дошла до Саратова на другой день, и сразу же, 26-го, начались решающие выступления контрреволюции. Сначала на словах, потом на деле. Были захвачены склады с оружием и даже квартиры большевиков-руководителей, в том числе Южина. Были сооружены баррикады, и большевикам пришлось обороняться: выставить орудия и пулеметы, навести их на здание Думы, где сосредоточились к моменту Октябрьского взрыва все контрреволюционные силы города. Случались в эти трудные дни и забавные эпизоды. Одна из баррикад врагов революции была сложена из мешков... с сушеной айвой. Большевики разгромили «сладкую баррикаду». По рядам бойцов разнеслась веселая шутка: вражеское заграждение съедено.

Офицерье местного гарнизона и юнкера военной школы организовали «комитет спасения революции». Но солдаты гарнизона не поверили в это «спасение». Они прочно стали на сторону большевиков — немалая заслуга в этом принадлежала Васильеву-Южину. Каждый день он бывал в казармах, беседовал с солдатами, заводил с ними дружбу. Когда офицеры увидели власть большевистского агитатора над солдатскими сердцами, спохватились, но было поздно!

Гарнизон в Саратове стоял большой — шестьдесят тысяч солдат. Они выступили на стороне революции. Товарищи, знавшие Южина по тем незабываемым дням, вспоминают, как люди любили слушать Михаила Ивановича, как верили каждому его слову, которое до конца разъясняло и убеждало. Очевидцы рассказывают, что, когда Южин в решающий час восстания приехал в полк, все стали срывать царские погоны. А на другой день группа офицеров с полковником во главе, привязав на палки белые полотенца, отправилась к своим солдатам, бросая по дороге оружие. Весь путь «полководцев» оказался усеянным этим оружием.

Михаил Иванович обладал, как и подобает настоящему революционеру, огромным мужеством.

До сих пор старожилы-саратовцы помнят, как разъяренные солдаты пытались расправиться самосудом с пленными юнкерами и офицерами.

Но появился Васильев-Южин:

— Товарищи! — воскликнул он.— Вы революционные солдаты. Помните об этом! Мы не допустим наказывать без суда.

— А им можно? — дико заорали из толпы.

— Виновных будем судить революционным судом. Посмотрите, здесь же много несмышленых юнцов. Если вы будете стрелять по ним, то убьете прежде всего меня.

Михаил Иванович повел пленных к бывшему губернаторскому дому. Толпа расступилась.

Большевики Саратова являли собой крепкий, сплоченный коллектив единомышленников и борцов ленинской закалки. Это помогало им побеждать и позже, в самую трудную пору, когда на Царицын двигались деникинцы, за Волгой стояли казацкие банды, а среди рабочих из-за голода началось недовольство. Всегда на всякий трудный вопрос, как поступить, как выйти из положения, профессиональный революционер Васильев-Южин отвечал так, как ответил бы Ленин. Это был неизменный критерий во всей его деятельности.

Друзья Южина с уважением и болью вспоминают, как в трудные годы в Саратове ему, тяжело больному туберкулезом, губпродком на основании специального решения президиума горисполкома выделил по требованию врачей один килограмм масла. Он категорически отказался. Ему казалось, что это может поставить его в привилегированное положение.

Это тоже было очень по-ленински.

Скромный труженик революции — таким он оставался всегда: и в семнадцатом году, когда стал одним из руководителей вооруженного восстания в Саратове, и позже, когда был членом коллегии Наркомата внутренних дел и когда находился на большой работе в Верховном суде СССР.

Умер Михаил Иванович внезапно в 1937 году.

Кто знает, может, в последнюю минуту в его угасающем сознании промелькнули встречи с Владимиром Ильичем, беседы с ним о самом главном, самом сокровенном...

Михаил Иванович был доверенным Ильича, когда исполнял его прямые поручения и когда сам принимал решения, смелые и честные, в духе ленинских идей. Он был доверенным Ильича в большом и малом: и в своей повседневной жизни, и в великих, трудных буднях истории революции — той истории, которую создавал вместе с другими ленинцами.

Анатолий Медников

В ПЕРЕДОВОЙ ЦЕПИ

И вечный бой!
Покой нам только
снится.
А. Блок

Дверь домика, притулившегося у самого полотна железной дороги, медленно отворилась, из нее вышел молодой человек в форменном кителе студента Технологического института. Он закурил и осмотрелся. Вблизи на пустынных путях не было никого.

Вслед за ним из домика вышли еще двое, подождали, пока рассеется клубящееся, горячее облако пара, которым окутал домик прогремевший мимо паровоз, а затем все трое двинулись по шпалам.

Тот, кто шел немного впереди, был невысокого роста, коренастый, с крупным несколько продолговатым лицом, на котором блестели черные живые глаза. У него были темные густые усы, подбородок и щеки окаймляла борода широким, слегка вьющимся клином. Хотя это придавало лицу солидность и внешне несколько старило, но не могло скрыть цветущей молодости этого человека, едва ли достигшего двадцати четырех лет.

Поравнявшиеся со «студентом» спутники запросто заговорили с ним, называя его Яном.

— Значит, ты едешь в Москву, Ян? Возможно, увидишь Ленина? — не без доброй зависти в голосе спросил его шагавший справа и, взглянув на Яна, улыбнулся ему.

— Да, Микола, еду. А вам...— Ян понизил голос,— вам поручается губернская партийная конференция. Ну, а прежде — забастовка.

И Ян оглянулся: не идет ли кто сзади, поискал глазами невзрачный деревянный домик, уже с трудом различимый вдали среди массивных строений депо, водонапорных башен и эстакад привокзальных путей.

Там, в этом домике, только что закончилось совещание партийного комитета одесских железнодорожников, которое проводили он, Ян Гамарник, секретарь подпольного губкома, и два члена губкома — Микола Голубенко и Исаак Крейсберг. Товарищ Косиор, руководивший киевским подпольем, сообщил им о решении подготовить всеукраинскую забастовку железнодорожников.

Немцы оккупировали Украину с весны 1918 года; они спешно вывозили в Германию хлеб и руду, мясо и мануфактуру. Кто должен был помешать им грабить страну? Большевики!

Министры Павла Скоропадского верноподданнически гнули свои спины в Берлине, готовые продавать Украину оптом и в розницу, член «украинского посольства» Свенцицкий уже привез ратификационные грамоты мирного договора Украины с Германией, подписанные императором Вильгельмом.

Мир нужен и России и Украине. Но Украине социалистической. Большевики не будут укреплять власть Скоропадского и его шайки. Железнодорожное сообщение Киева с Доном было уже прервано.

Вчера Ян встретился в условленном месте на набережной с токарем-большевиком Величко, работавшим на фабрике Попова. Сейчас он поедет связным в Киев, к товарищу Косиору. Ян дал ему пароль и адрес явки, которая помещается на Трехсвятительской улице.

— Величко уедет сегодня,— негромко сказал Ян,— он расскажет Косиору, как мы готовимся к забастовке.

— Это надежный человек,— кивнул Крейсберг.— Послушай, Ян, а как быть с листовками для Крыма?

— Надо их доставлять из Одессы в Севастополь,— ответил Ян.— Я знаю, это трудно, товарищи. Но ни в Симферополе, ни в Севастополе нет своих подпольных типографий. Крым — это наша забота,— добавил он.

— О нем заботится и Скоропадский,— усмехнулся Крейсберг.— «Имею честь сообщить вам, что правительство

Украинского государства считает очень нужным, чтобы Крымский полуостров был включен в состав Украинского государства...»

Ян коротко посмеялся, когда Крейсберг на память процитировал начало ноты, которую министр Дорошенко направил немецкому наместнику на Украине фон Мумму.

— Крым будет нашим, большевистским, а Вильгельму и Скоропадскому — вот! — и Микола Голубенко состроил кукиш из крупных пальцев большой рабочей руки.

— Тише, Микола, мы тут не одни,— остановил его Крейсберг.

Чем ближе они подходили к вокзалу, тем зорче смотрели по сторонам и замолкали, едва к ним приближался кто-либо из путевых рабочих.

— Берегите, друзья, «Голос пролетария»,— сказал Ян после паузы. Он имел в виду газету, орган подпольного губкома.

— Будь спокоен, Ян, все сохраним: и газету, и явки, и связи с нашими товарищами,— пообещал Голубенко и крепко обнял Гамарника за плечи, как бы в подтверждение своих слов. Они подходили к перрону.

— Какой у тебя вагон? — спросил Яна Крейсберг.

— Одиннадцатый, в хвосте.

— Тем лучше, меньше публики... и вот этих!...— Крейсберг показал глазами на группу немецких офицеров. В начищенных сапогах, с бренькающими палашами, они важно прогуливались вдоль вагонов.

— Будь осторожен! — шепнул Яну Крейсберг.— Наших делегатов на съезд вдогонку за тобою начнем переправлять через границу.

— Хорошо, мы встретим их в Москве,— тихо произнес Ян.

Проводы на вокзале имеют одну особенность: здесь люди целуются без стеснения. Так на виду у немецких патрулей прощались с бородатым «студентом» два товарища, крепко обнимая его, а уезжающий в Москву с серьезным лицом, должно быть расчувствовавшись, долго махал друзьям рукою, высунувшись из открытого окна вагона.

Несколько дней пути. Позади Украина, оккупированная немцами. В ней назревает восстание, но большевики там еще в подполье. И вот поезд, везущий Яна Гамарника, вкатывается под стеклянный шатер Брянского, ныне Киевского, вокзала.

Здравствуй, Москва, новая, советская!

Ян Гамарник, волнуясь, вышел на широкую площадь, малолюдную, несмотря на ясный июньский день. Заметил: народ одет бедно и много на улицах военных — солдат и вооруженных рабочих.

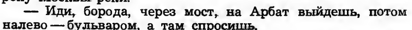
У вокзала на площади не отыщешь извозчика. Трамваи ходят редко, а те, что еле-еле движутся с громким дребезжанием, облеплены пассажирами.

Ян спросил у прохожего-железнодорожника, как добраться до Тверской.

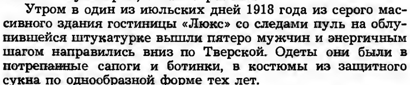
Тот покосился на студенческую тужурку Яна, махнул рукою в сторону Москвы-реки.



Ян Борисович
ГАМАРНИК
(1894—1937)



— Иди, борода, через мост, на Арбат выйдешь, потом налево — бульваром, а там спросишь.



Утром в один из июльских дней 1918 года из серого массивного здания гостиницы «Люкс» со следами пуль на облупившейся штукатурке вышли пятеро мужчин и энергичным шагом направились вниз по Тверской. Одеты они были в потрепанные сапоги и ботинки, в костюмы из защитного сукна по однообразной форме тех лет.

Дойдя до Охотного ряда, они пересекли его и поднялись затем к Красной площади. Здесь у газетного киоска человек с бородой поотстал, покупая «Правду» и «Известия». Он развернул газетные полосы с кипучим потоком новостей этих грозных дней первого года Советской власти.

«Чего добиваются англо-французские капиталисты, устраивая чехословацкие мятежи, высаживая на Севере десанты? — спрашивала «Правда» крупными буквами на первой странице.— Они хотят втянуть войска Вильгельма в глубь России. Они стремятся внести к нам голод и разорение. Они хотят вновь надеть на нас ярмо рабства, сброшенное героизмом рабочего класса и крестьянской бедноты».

Ян Гамарник с особым вниманием просмотрел заметки, напечатанные под рубрикой «Вести с Украины». Там, в Кремле, наверняка разговор зайдет о положении на Украине, о задачах I съезда Коммунистической партии большевиков

Украины, который должен открыться на днях. Пятеро коммунистов, идущих в Кремль, и представляют собою часть руководящего Организационного бюро съезда.

Секретарь попросила Квиринга, Затонского, Скрыпника, Буценко и Гамарника немного подождать. Владимир Ильич занят, но скоро выйдет к ним, а пока она проводила украинских делегатов в зал заседаний Совета Народных Комиссаров.

Ян Гамарник оглядел небольшую комнату с рядами стульев вдоль стен, с покрытым красным сукном столом для заседаний и небольшим столом Председателя Совнаркома в глубине комнаты, у книжного шкафа и окна.

Вскоре к украинским делегатам вышел Ленин. Он пожал всем руки и, подойдя к своему столу, постоял там немного в знакомой всем характерной для Ильича позе: несколько расставив ноги, наклонив голову чуть вбок, заложив большие пальцы рук за проймы жилета.

— Давайте-ка рассаживаться поплотнее,— предложил Владимир Ильич, затем и сам пододвинул свой стул поближе к делегатам. Теперь они все сидели как бы маленьким, тесным кружком вокруг Ленина.— Ну-с, начнем,— сказал улыбаясь.

Ян Гамарник впервые видел Ленина не на портретах, а живого, так близко около себя. И именно потому, что он видел впервые вождя партии, долго не мог успокоиться. Ему казалось, что Ленин чаще всего посматривает именно на него, к нему мысленно обращается, задавая вопросы делегатам.

Первым Владимиру Ильичу докладывал старший среди украинских делегатов — Скрыпник.

— Восстановление партийных ячеек на Украине идет успешно, Владимир Ильич,— сказал Скрыпник,— и, хотя условия созыва съезда были невероятно трудными, ничто не может остановить революционного движения на Украине. Возьмите такой факт: немцы пришли к нам за хлебом, крестьянство им хлеба не дало.

— Это хорошо,—кивнул Владимир Ильич.

Ян Гамарник заметил, как в глазах Ленина то зажигались, то гасли веселые искорки — знак живого интереса к рассказам украинских большевиков.

— Наш съезд обсудит политическое положение и задачи партии,— продолжал Скрыпник.— КП(б)У войдет в единую Российскую коммунистическую партию, сейчас ставя для

себя главной задачей организацию всеобщего восстания на Украине.

Выслушав делегатов, Владимир Ильич заговорил о трудностях переживаемого момента, о голоде в стране, разрухе, о V Всероссийском съезде Советов, который открывается сегодня в Большом театре. Съезд примет Конституцию Советской республики, создаст Красную Армию.

— Вот мы сейчас пришли в Кремль, к вам, Владимир Ильич,— сказал Скрыпник,— а на нашей батьковщине коммунисты еще в подполье. Москва для нас маяк революции! Мы гуляем по советской Москве с чувством, которое даже трудно выразить...

— Зависти,— подсказал кто-то из делегатов.

Ленин усмехнулся.

— Ну что ж, завидовать революции не так уж плохо,— подхватил Скрыпник.— Мы учимся на опыте революционной России.

— Будет Советская власть на Украине, и скоро будет, товарищи! — сказал Владимир Ильич.

Он призвал делегатов к активной работе в массах, внимательно ознакомился с тем, как Оргбюро подготовилось к съезду, расспросил о проектах важнейших резолюций и одобрил их.

Уже более получаса продолжалась беседа Ленина с украинскими делегатами. И все чаще Владимир Ильич украдкой посматривал на часы. Потом извинился за краткость разговора, его ждали в Большом театре.

— Помните, товарищи,— сказал Ленин на прощание,— мы с вами должны возглавить повстанческую борьбу масс на Украине и ни в коем случае не допустить срыва Брестского мира. Успеха вашему съезду!..

Когда делегаты вернулись из Кремля в гостиницу, Ян все еще находился под впечатлением этой встречи с Лениным, переживал взволновавшие его минуты. Хотя там, в Кремле, никто из делегатов не рассказывал о себе, все они, казалось Яну, держали отчет перед Ильичем. И, оглядываясь на пройденный путь, требовательно оценивали всю свою жизнь революционеров, коммунистов.

...Ян Гамарник рано пришел в революцию. События 1905 года в Одессе он встретил одиннадцатилетним гимназистом. Но отец, конторский служащий, берет с собой маленького Яна на политические митинги. Вблизи от дома, где жили Гамарники, внезапно вырастают баррикады. На глазах

у Яна происходят столкновения восставших рабочих с царскими охранниками и черносотенцами. И мальчик становится свидетелем того, как полиция стреляет в рабочих, как льется на мостовые их кровь, стонут раненые и проклинают царских палачей.

Неизгладимые впечатления детства и вместе с тем первые уроки классовой борьбы.

Уже в четырнадцать лет Ян зачитывается Чернышевским, Белинским, Добролюбовым, впервые берет в свои руки «Капитал» Маркса. Он чувствует в себе душу, отзывчивую к народным бедствиям, много читает, думает. А летом, во время каникул, его тянет в деревню, поближе узнать жизнь народа. Приезжает к отцу, который служит на конном заводе.

Юноша любит лошадей и верховую езду. Помогает объезжать молодых рысаков, не предполагая тогда, конечно, что пройдет несколько лет и кавалерийские навыки так пригодятся ему в гражданскую войну.

С репутацией вольнодумца заканчивает Ян одесскую гимназию и едет в Петроград, чтобы продолжить учебу в Психоневрологическом институте.

Однако врачебная карьера не увлекала Яна. Его захватывает революционная работа. Он переводится на юридический факультет Киевского университета, где активно действуют студенческие организации. Встречается с рабочими, с вожаками украинского большевистского подполья Косиором, Скрыпником, которые оказывают на него сильное влияние.

В 1916 году Ян вступает в ряды социал-демократической рабочей партии, и с этого момента начинается его жизнь большевика-подпольщика.

Молодого талантливого организатора, страстного пропагандиста ленинских идей быстро замечают в партии. Проходит только год, грядет революция, а Ян Гамарник уже один из руководителей Октябрьского переворота в Киеве.

Незабываемые дни! Революция в Петербурге отозвалась мощным эхом в Киеве, народные массы вышли на улицы и площади.

Секретарь Киевского партийного комитета и член Военно-революционного комитета — худощавый, стройный, подвижной, с приметной бородкой — в гуще событий. На заводах, на митингах яростно сражается с эсеровскими и меньшевистскими ораторами.

Штаб Военно-революционного комитета располагается на Мариинской площади. Здесь и днем и ночью делегации от заводов могут застать Яна Гамарника, Исаака Крейсберга, Ивана Кулика, Андрея Иванова, Владимира Затонского — руководителей восстания. Но киевские улицы забиты патрулями юнкеров, всюду шныряют казачьи сотни, они постепенно окружают площадь, где находится здание Ревкома. Казаки врываются в штаб комитета с приказом министров Временного правительства. Ян Гамарник, Иван Кулик, Исаак Крейсберг взяты под стражу.

— Вырастила бандита-большевика. К утру мы их всех перевешаем! — заявляет казачий генерал матери Яна Гамарника, когда она приходит в комендатуру вымолить хотя бы на несколько минут свидание с сыном.

В комнате, где сидели арестованные члены Ревкома, Ян увидел заплаканное лицо своей мамы. Он пытался успокоить ее и двух сестер, которые пришли на свидание с ним.

Боялся ли он смерти? Ведь и сам он и товарищи были тогда уверены, что эта ночь — последняя в их жизни. Утром их поведут к виселицам.

Мать плакала, слыша, как за дверью, в комендатуре, беснуются казаки и юнкера, требуя расстрела ревкомовцев.

Да, умирать не хотелось. Обидно умереть таким молодым. Но никто из ревкомовцев не собирался вымаливать жизнь у казаков. Революционная честь и долг дороже жизни. Рядом, за стенами комендатуры, большевики продолжали дело революции. Только бы вырваться к ним, стать в ряды восставших — вот о чем думал в эти минуты Ян Гамарник.

И когда мать стала умолять генерала-коменданта о снисхождении, Ян сказал ей:

— Перестань плакать перед этой белой сволочью, мама! Не забывай, что ты — мать большевика!

Казачий генерал просчитался тогда. Не на виселицу, а на свободу вышли наутро члены Ревкома. Их освободили восставшие рабочие завода «Арсенал» и других предприятий.

Сестры на рассвете уже отправились искать труп своего брата, как вдруг увидели на машине, опоясанной красным кумачом, среди вооруженных рабочих человека с всклокоченной темной шевелюрой, бородкой, в кожаной потертой куртке... И узнали брата. Из тюрьмы, не заезжая домой, он ехал проводить рабочий митинг.

А вскоре после Октября — II съезд Советов Украины. Ян вместе с Н. Скрыпником, А. Ивановым, Ф. Сергеевым (Артемом) возглавляет бюро фракции коммунистов. Но уже со съезда многие делегаты не могут легально вернуться к своим избирателям: Украина оккупирована немцами.

Пока снова надо уйти в одесское подполье, а потом тайно пробраться в Москву, чтобы посовещаться с Лениным...

И Ян Гамарник после беседы с вождем, сидя на скамье в сквере, мысленно спрашивал себя: мог ли он с чистой совестью, с чувством нравственного удовлетворения смотреть в глаза Владимиру Ильичу? Да, мог. Он работал для революции неплохо.

Съезд коммунистов Украины проходил в гостинице «Люкс». Яна избрали в президиум съезда. Он всеми силами отстаивает ленинскую линию в вопросах войны и мира.

Перед открытием своего съезда украинские делегаты прочли в газете речь Ленина, которую он произнес в Большом театре, с трибуны V Всероссийского съезда Советов. Ленин говорил о мире.

«...Я думаю, товарищи, что после истекших 3 с половиной месяцев становится совершенно бесспорным, что, несмотря на упреки и обвинения, мы были правы. Мы можем сказать, что пролетариат и крестьяне, которые не эксплуатируют других и не наживаются на народном голоде, все они стоят безусловно за нас и, во всяком случае, против тех неразумных, кто втягивает их в войну и желает разорвать Брестский договор».

Это были дни, когда борьба за мир сливалась с борьбой за революцию. И грозные события ближайших дней подтвердили предвидение Ленина. В Москве было спровоцировано левыми эсерами убийство немецкого посла.

В этот же день Ян Гамарник на очередном заседании огласил эту ошеломляющую весть делегатам I съезда большевиков Украины.

«Все под ружье!» — призывала «Правда». Сапоги немецкой военщины топтали Украину. Теперь левые эсеры хотели привести немецких солдат и в Москву... Все делегаты съезда украинских коммунистов поднялись со своих мест в единодушном порыве гнева и возмущения. Тут же Ян Гамарник и другие члены президиума разослали товарищей в боевые вооруженные отряды. Пытались дозвониться к Дзержинскому, но оказалось, что эсеровские мятежники захватили в Москве телефонную станцию. Кроме того, их вооpу-

женные отряды контролировали небольшую часть Москвы, в районе Мясницкой, Покровских военных казарм и улицы, примыкающие к Курскому вокзалу.

Ленин подписал распоряжение, согласно которому следовало немедленно вооружить боевые рабочие дружины на заводах, раздать оружие всем коммунистам и стянуть отряды к району, где хозяйничали левые эсеры. И отряд украинских коммунистов по приказу Ленина направился к Лубянской площади.

Так началось для Яна Гамарника это июльское грозовое воскресенье. С винтовкой на плече он шагал от Лубянской площади в рядах передового отряда латышских стрелков под командованием товарища Берзина. Левые эсеры держали в плену Дзержинского, Лациса и других видных коммунистов. Их жизни грозила опасность. Сметая заслоны мятежников, с боем отряд Берзина начал пробиваться к особняку в Трехсвятительском переулке (ныне Большой Вузовский), где находился штаб левоэсеровского восстания. Была дорога каждая минута.

Ян Гамарник шел в передовой цепи наступающих. Они вели ружейный огонь залпами по окнам особняка. Но этого было недостаточно... Эсеры укрывались за толстыми каменными стенами. К Трехсвятительскому переулку подъехали орудия, ударившие прямой наводкой. Несколько снарядов разорвалось во внутреннем дворе особняка.

И тотчас паника охватила мятежников. Ян Гамарник видел, как по всем этажам здания забегали, заметались люди. Мятежники начали поспешно отступать, бросая на ходу оружие — винтовки, бомбы, пистолеты...

Мятеж левоэсеровских заговорщиков позорно провалился. Было отдано распоряжение об аресте всех членов ЦК партии левых эсеров. И в тот же день фракция коммунистов V съезда Советов высказалась за террор по отношению к буржуазии и ее прихвостням.

Ян Гамарник вернулся в отель «Люкс» поздно вечером, когда латышские стрелки очистили Москву от левоэсеровских банд. А на следующее утро он снова уже сидел за столом президиума съезда большевиков Украины.

...Прошло некоторое время, партия направляет Гамарника на подпольную работу.

— Надо ехать на Украину, возглавить одесское подполье. ЦК КП(б)У поручает эту работу вам, Ян Борисович,— сказал Гамарнику Косиор.

— Одесса — город моего детства. Я знаю там многих товарищей, опытных подпольщиков. Я ведь и сюда, в Москву, приехал из Одессы.

— Ну, тем лучше, значит, согласны,— кивнул Косиор.— Когда сможете выехать?

— Завтра.

— ЦК поручает вам помогать также большевикам Крыма. Особенно сильная у нас организация в Севастополе. Если будет возможность, съездите туда.

Потом Косиор добавил:

— Имейте в виду, что Владимир Ильич придает большое значение нашему большевистскому подполью на Украине и в Крыму.

— Я понимаю,— ответил Гамарник,— тем больше моя ответственность.

Один из июльских дней восемнадцатого года. На перрон одесского вокзала вышел из вагона молодой человек с бородкой, в форменном кителе студента Технологического института, под которым виднелась белая косоворотка. Он поправил на голове фуражку, с явным удовольствием оглядывая знакомое здание вокзала.

День был солнечный, ветерок приносил свежие запахи моря. Приезжий посмотрел на чистое, без единого облачка небо, вспомнил пушкинскую строчку, посвященную Одессе: «Здесь долго ясны небеса» — и улыбнулся.

Мимо по перрону продефилировали два жандарма в белых свежевыглаженных кителях. Покосились на приезжего, прошли дальше.

— Здравствуй, Одесса! — негромко произнес Ян Гамарник. Он поднял свой чемоданчик и пошел по условленному адресу на явку.

За тысячу километров на севере остались Москва, работа в Оргбюро съезда, бои с эсеровским отребьем и незабываемая встреча с Лениным. А впереди у секретаря Одесского губкома — многие месяцы подполья, со всеми опасностями и тревогами, фронты гражданской войны, борьба с полной отдачей сил за идеи Ленина, за р е в о л ю ц и ю.

* * *

В 1934—1936 годах я вместе со своим отцом комдивом М. Л. Медниковым жил в шестиэтажном сером доме, что и поныне стоит в Москве, в Большом Ржевском переулке.

Военно-строительное управление Наркомата обороны, начальником которого был в те годы мой отец, подчинялось Яну Борисовичу Гамарнику, как заместителю наркома. Ян Борисович был также и начальником Политического управления Красной Армии. В политическое воспитание кадров армии, в ее техническое перевооружение, проводившееся тогда по указанию Центрального Комитета, он вложил немалую долю своей энергии, организаторского таланта и опыта.

Укреплялись наши границы. Военно-строительные войска возводили оборонные сооружения в пограничных округах, в частности на Дальнем Востоке, куда нередко выезжал мой отец. Там он встречался с Гамарником.

Мне доводилось не раз слышать дома телефонный разговор отца с Яном Борисовичем, с Бородою — так по-дружески, шутливо иногда называли Гамарника его товарищи — сослуживцы. По вызову замнаркома отец порой поднимался к нему в квартиру, которая находилась в нашем подъезде.

Частенько по утрам, отправляясь в школу, а позже уже в Военно-инженерную академию, я встречался у подъезда с Яном Борисовичем, видел, как садился в машину невысокий, плотного сложения военный с четырьмя ромбами на петлицах. Высокое звание армейского комиссара первого ранга само по себе внушало мне трепетное любопытство и уважение.

Ян Борисович всегда отличался молодой, энергичной походкой, хотя и был он со слегка уже седеющей бородою и выглядел старше своих лет. На гимнастерке его поблескивали ордена Ленина и Боевого Красного Знамени. На первый взгляд лицо Гамарника выглядело суровым. Но нетрудно было заметить, как быстро теплели и становились добрыми его темные красивые глаза, когда он разговаривал с шофером, адъютантом или же с кем-нибудь из знакомых, живших в нашем доме.

Боевой солдат партии, Ян Борисович пришел в армию из подполья, впервые в 1919 году. Это случилось вскоре после того, как на III съезде большевиков Украины он был избран членом ЦК КП(б)У. И снова партия направила его в Одессу, недавно освобожденную от англо-французских интервентов.

Одесса весной девятнадцатого года. С моря она блокирована эскадрами интервентов. С Дона наступал Деникин. В степях вокруг города метались банды различных «бать-

кив» и петлюровцев. Натиск белых усиливался. Они пытались окружить главные силы 12-й армии, оборонявшей район Херсона и Одессы. На юге Украины создалось угрожающее положение.

Ленин посылает телеграмму украинскому Совету Народных Комиссаров, требуя «закрыть все комиссариаты, кроме военного, путей сообщения и продовольствия. Мобилизовать всех поголовно на военную работу...»

Одесский губком проводит мобилизацию коммунистов: «Все для фронта! Все на борьбу с Деникиным!»

Ян Гамарник, секретарь губкома, становится членом Реввоенсовета Южной группы войск 12-й армии, которой командует Иона Эммануилович Якир.

Знаменитый Южный поход. Двадцатитрехлетний командарм Якир и двадцатипятилетний член Реввоенсовета Гамарник выводят три дивизии из плотного кольца деникинских и петлюровских войск, сомкнувшегося в районе Одессы и Николаева.

Ни Якир, ни Гамарник не заканчивали в прошлом военных академий. Но как уверенно они командуют крупными воинскими соединениями, их железной воле подчиняются и бывший контр-адмирал, а затем начальник штаба Южной группы А. В. Немитц, и опытный офицер Княгинский, и такие храбрецы, как Котовский, Федько.

Южная группа пробивает себе в стане врагов четырехсоткилометровый коридор от Одессы до Житомира. Реввоенсовет приводит три дивизии в район Новозыбкова.

— А теперь мы пойдем на Киев! — заявляют Якир и Гамарник, когда их дивизии соединяются с основными частями 12-й армии. Ударив по Киеву, занятому белогвардейцами, войска освобождают город.

Весь Южный поход высоко оценивается Лениным. Его участникам Владимир Ильич присылает приветствие. Оно зачитывается на митингах в полках и батареях, все бойцы и командиры чувствуют себя счастливыми, считая теплые ленинские слова поздравления высшей для себя наградой.

Южный поход закончен, военный комиссар вновь становится председателем губкома — сначала Одесского, а через год Киевского. В 1922 году Красная Армия очищает от интервентов Дальний Восток, край «дальний, но нашенский», по выражению Ленина, край несметных и не тронутых еще богатств. Владимир Ильич посылает туда Яна Гамарника руководителем дальневосточных коммунистов.

И потом долгие годы, будучи военным работником, Ян Борисович, как член Оргбюро ЦК ВКП(б), остается особоуполномоченным ЦК по Дальнему Востоку. Он много сделал в те годы для усиления Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА), для создания Тихоокеанского военного флота, развития экономики края по десятилетнему плану, разработанному под его руководством.

В начале зимы 1931 года Ян Борисович возвратился после длительной поездки из Владивостока в Хабаровск. Он узнал, что Центральный Комитет и правительство поручают ему выбрать место для будущего города и заводов в нижнем течении Амура. Тут же организует экспедицию по недавно замерзшей реке, колонну автомашин, впереди которой, простукивая лед и осматривая запорошенные снегом промоины, шли саперы.

Примерно на двухсотом километре пути колонну встречает группа местных жителей, предупредивших, что дальше машины не пройдут, утонут. Тогда Ян Борисович добирается до деревни Верхне-Тамбовская,— здесь имеется почтовое отделение, и можно по телефону связаться с командующим ОКДВА Блюхером, запросить самолет.

В то время как самолет совершал посадку прямо на реку, врач, сопровождавший Яна Борисовича, сообщил ему, что у него ведь в тяжелой форме диабет, уже третьи сутки большой процент сахара в крови, который никак не удается сбить до нормы.

— Вот выберем место для города, и все войдет в норму,— ответил Гамарник с улыбкой, чтобы ободрить явно нервничающего врача.

Он сел в самолет и прилетел в село Пермское.

«...В декабре прошлого года приехал из Москвы невысокий бородатый человек с мрачным лицом и добрыми веселыми глазами. Он приказал снарядить самолет на север и, посмотрев планы закладки города, сказал твердо: «Город начнем вот здесь в тайге, на Нижнем Амуре!..» — написал потом в своем романе «На Востоке» Петр Павленко.

Город, который был заложен Яном Борисовичем Гамарником, впоследствии прославился на весь мир героизмом советской молодежи. Имя его — Комсомольск-на-Амуре.

Так в последние свои годы и жил Ян Гамарник — то в Москве, то на берегах Тихого океана, забирался в самые дальние глубинки Дальневосточного края, дважды на небольших судах проходил по Татарскому проливу, выбирая

гавани для флота... И работал, работал, не щадя ни сил своих, ни здоровья.

...В конце мая 1937 года Ян Борисович тяжело заболел. Он лежал в своей квартире, в доме по Большому Ржевскому переулку. В трагический для него день, 31 мая, с утра Ян Борисович был несколько часов в забытьи, днем стало лучше, и, когда к нему пришел маршал Блюхер, врачи разрешили ему посидеть у больного десять минут. Но Блюхер задержался на полчаса. О чем они говорили, соратники и друзья по гражданской войне и Дальнему Востоку? За несколько дней до этой встречи были арестованы их старые боевые товарищи, прославленные маршалы и командармы Тухачевский, Якир, Уборевич и многие другие военачальники, чьими именами гордилась Красная Армия. Немного позже был арестован и Василий Константинович Блюхер, но Гамарнику уже не суждено было узнать о гибели еще одного своего друга.

В тот же день после Блюхера к Гамарнику пришел его заместитель Булин и управляющий делами наркомата Смородинов. Они пробыли у Яна Борисовича недолго. Должно быть, принесли новые тяжкие вести... Шли репрессии, погибали талантливые и честнейшие люди, в чью незыблемую преданность народу и партии верил Ян Борисович. Естественно, он не мог смириться с арестами.

Едва Булин и Смородинов спустились с третьего этажа по лестнице, в квартире Яна Борисовича Гамарника раздался выстрел.

...5 мая 1945 года. В поверженном Берлине мы отмечали традиционный День печати. Над куполом рейхстага развивалось красное знамя. Вся площадь Кенигсплац была заполнена нашими солдатами и офицерами. Почти все писатели и журналисты, в том числе и автор этих строк, участвовавшие в берлинском сражении, собрались в это утро у стен рейхстага.

Мы поднялись по разбитым ступенькам. Громады колонн уходили в небо. Местами они были сильно разрушены и всюду носили следы пуль и осколков. На колоннах много надписей, сделанных карандашом, чернилами и чем-то густым, похожим на тушь,— может быть, танковым мазутом.

В этих надписях по-своему и трогательно отразился великий пафос победы.

Конечно, на стенах рейхстага не было фамилий тех, кто сражался и не дошел до Берлина, и тех красноармейцев, полководцев и ленинских комиссаров, кто в годы гражданской войны стоял у колыбели Красной Армии, принес славу ее знаменам.

Но народ не забыл и не забудет героев. Ушедшие от нас, они делят славу с живыми. Их имена по достоинству могли быть также начертаны на стенах рейхстага.

И одно из них — Ян Борисович Гамарник.

Лев Давыдов

ЖИЗНЬ ЕМКОСТЬЮ В ОКЕАН

Они не грелись под знаменами —
Горели пламенем знамен.

А. Машашвили

— Слушайте! — воскликнул Ленин и дробно постучал карандашом по столу.— Слушайте! — повторил он еще настойчивей и громче. При этом Владимир Ильич всем корпусом подался вперед, перегнулся в ту сторону, где стоял, опираясь на спинку стула, очередной оратор.

Все делегаты съезда притихли, обратив внимание на худощавого, нерослого грузина с очень правильными чертами лица, обрамленного курчавой бородкой. Его черные широкие, чуть изогнутые брови были насуплены, отчего на переносье обозначилась глубокая складка. Говорил он негромко, часто поглаживая густые усы, должно быть желая выглядеть посолиднее, по крайней мере старше своих двадцати пяти лет.

Но глаза и щеки неистово пылали, предательски выдавая и молодость, и южный темперамент, и волнение, которое он не в силах был сдержать.

Еще бы! Впервые ему приходится выступать перед столь необыкновенной аудиторией. Цвет большевизма! Собрались на свой третий съезд испытанные подпольем, тюрьмами, ссылкой, эмиграцией друзья и соратники Иль-

ича. И главное, он сам, Владимир Ильич, вот здесь, среди них, как и подобает ему, на председательском месте.

«Наш Старик»,— называли Ленина агенты ЦК, приезжавшие с его поручениями в Баку. Позвольте, какой же это старик? Не знает устали. Следит за секретарями — протоколистами, чтобы ничего не пропустили в отчете. И сам не пропускает ни слова: ведет дневник съезда. И готовит резолюции, и просматривает доклады товарищей, и направляет прения по определенному руслу, никому не дает отвлечься от существа вопроса. Чутко улавливает любую реплику, оброненное замечание, ответно реагируя на них с поразительной быстротой.

С минуту назад прозвучал его отчетливый высокого баритонального тембра голос:

— Слово принадлежит товарищу Голубину.— И тут же, посмотрев на карманные часы, зажатые в левой руке, Ленин забегал правой рукой по листу, что-то поправляя или дописывая в нем.

Казалось, Владимир Ильич начисто выключился из прений, занят совершенно другим делом. Между тем дебатируется как раз его резолюция о взаимоотношениях рабочих и интеллигентов в партии. Идет спор. Некоторые делегаты против ленинских формулировок. Они считают, что рабочие еще недостаточно подкованы теоретически, не пригодны для роли руководителей. И резолюция преждевременна, не нужна. Не нужно пускать незрелых людей в комитеты.

— Я немного иначе понимал этот вопрос,— скромно и спокойно начинает Голубин, хотя в душе неспокоен и выступает потому, что не может молчать.— Удивляюсь,— продолжает он, выговаривая слова с грузинским акцентом,— как это так могут говорить, что нет рабочих, способных быть комитетчиками? Наоборот...

Ленин, занятый Ленин вдруг перебил оратора и воскликнул:

— Слушайте! Слушайте!..

Отложен в сторону, оставлен лист бумаги, очевидно с недописанной, оборванной на полуслове фразой. И Владимир Ильич весь олицетворение пристального внимания.

— Наоборот,— говорит ободренный Голубин,— рабочих такое количество, что всех нет возможности включить в городской комитет, а приходится вводить их в районные

комитеты, которым поэтому необходимо дать решающий голос. Я настаиваю на том, чтобы принять резолюцию.

Голубина поддержал Михайлов (Д. С. Постоловский), делегат Северо-Западного комитета. Зато резко возразили им Землячка и Квиткин.

Ленин дал ясно понять, на чьей он стороне:

— Я не мог сидеть спокойно, когда говорили, что рабочих, годных в члены комитета, нет. Вопрос оттягивается; очевидно, в партии есть болезнь. Рабочих надо вводить в комитеты...— И посчитал важным подчеркнуть: — Заявления товарищей Голубина и Михайлова в высшей степени ценны.

Тогда, на Лондонском съезде 1905 года, происходившем полулегально в длинной и узкой «банкетной», запасной комнате скромного окраинного ресторана, не велось никаких стенограмм. Секретарствовали сами делегаты по очереди. Записывали как умели и что успевали.

Но Владимир Ильич проявлял постоянную заботу о том, чтобы протоколы полностью отразили ход прений, не имели недомолвок, остались верным отражением живой истории партии. Вот, например, выступление Землячки на съезде (она была под вымышленной фамилией Осипов).

В протоколе: «Осипов. Тов. Голубин сказал, что на Кавказе так много рабочих-комитетчиков, что комитеты не могут всех вместить».

Вставка Ленина добавляет в скобках замечание Голубина: «Я говорил не о комитетчиках, а о рабочих, годных в комитет».

В протоколе: «Осипов. Не так давно я объезжал кавказские комитеты. На комитетском собрании в Баку я был вместе с т. Голубиным, и я удивляюсь, почему в комитетах в таком случае так мало рабочих. В Бакинском комитете в то время был один рабочий».

Ленин добавляет уточнение, сделанное Голубиным: «Два».

О! Совершенно ясна ленинская тенденция: чьими репликами, уточнениями он так дорожит.

А кто же этот Голубин?

Делегат из Баку добрался до Лондона с большим опозданием, попал лишь на восемнадцатое заседание. Накануне его встречал Миха Цхакая, старейшина кавказской делегации. Прямо с вокзала омнибус довез их до угла, за которым приютилась невзрачная пивнушка. Прошли через

малолюдный зал в отдельную комнатку. Там за столом у окна сидел плотный человек с высоким, переходящим в лысину лбом. У него были веселые глаза и скорый говорок с приятной картавинкой. Завидев вошедших, он пошел им навстречу и приветливо протянул руки.



Прокофий Апрасионович ДЖАПАРИДЗЕ (1880—1918)

— Кого еще принесла нелегкая?.. И что бы вы, батенька, сказали, если бы съезд закрылся на семнадцатом заседании? — Шутливый тон Ильича не давал повода обидеться на его колючие вопросы.

— Сказал бы, что стремился на съезд, не в меньшей мере чем на свидание с вами, Владимир Ильич!

— Вот как?.. Из Баку в Лондон на свидание... Не слишком ли накладно? А что привезли? Какие новости?

Миха представил гостя:

— Наш четвертый кавказец. Алеша Джапаридзе!

— Знаю, знаю, хотя мы и не виделись до сих пор, но я почему-то сразу догадался, что передо мной Алеша Балаханский.... Оформляйтесь как полагается и завтра же, если не устали, за работу.

— А что оформлять, у него мандата нет,— вмешался Миха,— у нас было три, мы их предъявили.

— Сколько же человек Кавказ послал на съезд? — спросил Ильич.

— Четырех.

— Как же так, четырех, а мандатов только три? Кому же они принадлежат? Кто получил больше голосов? — допытывался Ленин.

Миха Цхакая искренне возмутился:

— Да разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четырех, а сколько мандатов — неважно.

Ленин весело рассмеялся.

— Хорошо,— сказал он,— доложим съезду, как он решит, так и поступим... А пока присядемте-ка, товарищ Алеша, рассказывайте.

Сколько времени он ждал задушевной беседы с Ильичем, стремился к нему, жаждал встречи. Не знал и не

ведал, где и когда такая встреча произойдет, при каких обстоятельствах, что послужит поводом для их свидания, но готовился к нему и был уверен: это непременно будет.

Труднее всего постичь душевные влечения, ведь они, если верить поэту, род недуга. А все-таки почему у Прокофия Апрасионовича Джапаридзе, сына грузинского дворянина, возникло и окрепло чувство верности и непреклонной дружбы к вождю большевиков Владимиру Ильичу Ленину?

Внешне все разное, как полюса. Прежде всего возраст. Неодолимой пропастью кажутся разделяющие их годы. Алеша на целых десять лет моложе Ильича. И жили они вдалеке друг от друга. Никогда партийные маршруты Ленина не пролегали по местам, где рос, учился, работал Джапаридзе. И не вели они переписки между собой, никаких признаков тесного общения, личных связей...

Но в человеческом обществе сильнее кровного родства, обычной дружбы и даже любви общность партийная, товарищество и дружба борцов, которые не щадят своей жизни во имя идеи, ради высокой и заветной цели.

Секрет, почему Алеша стремился к Ленину, лучше всего раскрывается протоптанной им стежкой в партию.

...Шардомети. Затерянное среди горных хребтов Грузии маленькое село почти достает своими крышами до свисающих лохматых облаков. И в этом было все его величие. Здесь мальчуган Пакия едва успел сделать первые самостоятельные шаги.

Умер отец. Старшие сыновья Апрасиона Хосиевича от первой жены вынудили мачеху уйти с двумя сиротами туда, откуда она пришла.

На этом кончилось дворянство Пакия. Мальчишку взялся воспитывать родной дядя, Семен Бежанович Джапаридзе, который увез Пакия в Кахетию, в село Сацхени.

Нельзя терять верных следов. В детстве формируется сознание, закладывается фундамент личности. Возникают надежды, цели... Пакия с детства очень хотел стать учителем. Почему?

Один из его биографов, Андро Агладзе, выяснил, что целая династия, буквально вся родня мальчика, его дяди Георгий, Малакия, Апрасион, Васо, Котэ и конечно же неофициальный опекун Семен Джапаридзе были народными учителями, сельскими просветителями, ратовали за всеобщую грамоту, знания, национальную культуру.

Прокофий пошел в начальную школу, где кроме грамоты учили ремеслу — столярному, сапожному, шорному. Потом его определили в Тифлисское городское училище при Учительском институте. Вот где Прокофий окончательно понял, каким бы педагогом он ни был, какой бы предмет ни преподавал, все равно будет учить людей главнейшей науке — социалистической революции.

Он в третьем классе городского училища, а уже связался со студентами института и берет у них запрещенные книги, пристрастился к марксистской литературе. И хорошо знает «Коммунистический манифест», при каждом удобном случае наизусть цитирует его на русском и грузинском языке своим однокашникам по пансионату.

Кстати, заметим, что грузинский перевод «Манифеста» сделан группой батумских социал-демократов, в которой был и родич Прокофия Котэ Джапаридзе.

Юноша упорен. На официальную программу училища не возлагает больших надежд. Настойчиво занимается самообразованием. В письме к двоюродному брату просит прислать, «да поскорее», произведения Писарева, Лассаля и, «если возможно, еще какие-либо книги в этом духе».

Выработался в нем и определенный вкус к художественной литературе. Становятся его настольными книгами романы Джованьоли «Спартак» и Войнич «Овод».

С 1896 года он студент. Студенческая пора совпадает с временем широкого распространения в Грузии марксизма. Возникает социал-демократическая организация «Месаме даси» — третье поколение — так называл ее писатель Илья Чавчавадзе.

Начинает шевелиться нелегальная марксистская группа при публичной библиотеке О. В. Кайданова.

Джапаридзе посещает собрания «Месаме даси», входит в состав нелегальной группы при библиотеке, сближается с Ладо Кецховели. Последний помогает молодому студенту систематизировать знания, ведет с ним горячие споры, как равный с равным.

Приходит день, когда Прокофию доверено вести школьный марксистский кружок. В 1898 году этот кружок по инициативе своего руководителя формирует нелегальную библиотеку и приступает к выпуску собственного журнала.

В Тифлисе пользуется определенной популярностью выступающий с «христолюбивыми» проповедями «непротивления злу» протоиерей и черносотенец Восторгов. Набожные

люди слушают и верят ему. На проповедях протоиерея бывает немало молодежи. Надо разоблачить лжеца, ответить ему, развенчать перед народом.

— А как это сделать?

Прокофий пишет прокламацию, размножает ее на гектографе, раздает в церкви прихожанам, расклеивает на афишных тумбах.

Схватила полиция. Последовало исключение из пансионата. Расчет начальства прост: студент, лишенный средств к существованию, оставленный без еды и жилья, несомненно покинет учебное заведение. Однако это нисколько не обескуражило и даже не огорчило Прокофия. Он уже в рядах российской социал-демократии, его специальность ясна: профессиональный революционер.

В начале двадцатого века Алеше исполнилось всего-навсего двадцать. Сейчас это возраст безмятежной комсомолии. А тогда очень рано взрослели, мужали рыцари борьбы за счастье народа. Их поднимала, пестовала возникшая организация рабочего класса, которая тоже была очень молода, кипуча, наливалась соками жизни, росла и крепла, чтобы со временем стать победоносной коммунистической партией.

Сотни тифлисских рабочих тайно пробираются в район Соленого озера. На горных тропах каждого встречает патруль и по паролю сообщает место сбора. Там среди организаторов маевки Алеша.

«...У Соленого озера,— вспоминает старый революционер С. Я. Аллилуев, работавший тогда слесарем токарного цеха железнодорожных мастерских,— в стороне от дороги, ведущей в монастырь, собралось человек пятьсот. Как только солнце, поднявшееся из-за гор, растворило легкую дымку предутреннего тумана, люди оживились и, никем не сдерживаемые, взволнованно заговорили. Многих я узнал. Здесь были рабочие из мастерских депо и других предприятий Тифлиса.

Пламенеющее под солнцем знамя с портретами Маркса и Энгельса и призывными лозунгами взвилось по древку. Вспыхнула «Марсельеза»... Это было новое, заманчиво-прекрасное зрелище! Взволнованные люди украдкой, чтобы не видели соседи, то и дело смахивали невольно навертывавшиеся на глаза слезы радости и торжества».

Трибуну заменило нагромождение камней. Один за другим поднимаются ораторы. Вано Стуруа, Михаил Калинин, Захар Чодришвили, Ипполит Франчески, Миха Бочоридзе.

Они говорят о значении дня международной рабочей солидарности. О тяготах жизни трудового люда.

Вскакивает на камни Алеша:

— Надо бороться за свои права! Протестовать против плохих условий работы, объявлять забастовки!

«Впервые услышали мы так смело и открыто брошенные слова, обращенные к многолюдному собранию,— свидетельствует очевидец,— со всех сторон слышался гул одобрения, отовсюду раздавались возгласы:

— Да здравствует Первое мая! Долой самодержавие!

Возвращались мы с маевки счастливые, полные решимости бороться и победить».

Проходит несколько месяцев. Россию потрясает весть о грандиозной забастовке рабочих Главных железнодорожных мастерских Тифлиса и присоединившихся к ним путейцев. В подготовке ее Алеше принадлежит особая роль. «Он посещал рабочие кружки и занимался с нами по политэкономии. Занимался с несколькими малограмотными товарищами, обучал их грамоте»,— пишет ветеран революции Аракел Окуашвили. Алешу знали рабочие и верили ему, он пользовался среди них заслуженной популярностью и любовью.

Во второй половине июля было устроено нелегальное делегатское собрание. Местом сбора назначили поляну у Лисьего озера, к западу за Сабуртало, между горами. Предстояло разрешить вопрос: надо ли бастовать? Днем делегатов созывать было опасно, их могла обнаружить полиция, и тогда грозил неминуемый провал. Поэтому собрание назначили на одиннадцать часов ночи. Заранее выставили патрулей. Каждый товарищ на учете. Вот уже налицо тридцать пять делегатов. Не хватает двух-трех человек, но ждать их нет смысла, кто знает, почему они задержались и придут ли вообще.

Собрание открывает товарищ Захарий. Докладывает Миха. Он только начал, вдруг неожиданный сигнал патрулей: кто-то идет! Все притихли. Каждый, волнуясь, подумал: кто же это? Неужели оказался среди рабочих провокатор и выдал? Неужели полиция?

Несколько минут напряженного ожидания. Наконец последовал второй сигнал: свои!

Появляется Алеша. Миха продолжает свой доклад. После него высказывает свои соображения Аракел. Вспыхивают прения. Они затягиваются. Есть разные точки зрения.

«Товарищ Алеша, несмотря на его молодость, интеллигентность, поражал нас, рабочих, своими практическими предложениями и доводами. Он высказывался твердо в пользу забастовки. Только к рассвету вопрос баллотировался — огромным большинством забастовка принята.

Лицо Алеши сияло. Он произнес ликуя:

— Товарищи! Начинается эра новой практической борьбы. Будьте стойки до конца!»

Так передает свои впечатления об этой решающей ночи Вано Стуруа.

И вот забастовка объявлена. С утра тревожно загудели гудки в мастерских, засвистели паровозы на железнодорожной станции. Вскоре к бастующим примкнуло тифлисское депо, присоединились ремонтники. На следующий день выразили свою солидарность с тифлисцами рабочие депо Михайловское, на третий день — рабочие Елизаветполя. Число бастующих множилось с каждым часом.

Стачечный комитет, во главе которого стоит Алеша, созывает митинги, разъясняет поставленные цели. Пишутся, печатаются и распространяются прокламации. Провокаторов и штрейкбрехеров встречают как полагается, жестоко расправляются с ними.

Губернатор срочно вызвал войска. Дидубе, Нахаловка, Надзаладеви, Ортачала и вообще все рабочие кварталы окружены казаками, жандармами, полицией. Ведутся поголовные обыски и аресты.

А стачечный комитет, несмотря на полицейский террор, призывает бастующих держаться стойко. Комитет в подполье, шпики сбились с ног, но не могут его обнаружить, напасть на след.

В одном из документов жандармского управления по поводу этой забастовки сделан довольно точный вывод: «...основным источником, будоражащим железнодорожных рабочих, являются уже созданные молодежные кружки, руководителями которых являются студенты Александровского учительского института Прокофий Джапаридзе, Николай Домостроев, Сергеев, Межерин, Гогия и другие...» Но накрыть подпольные кружки, изобличить Джапаридзе и его товарищей — это жандармам не удавалось.

Сперва по настоянию оппортунистического крыла «Месаме даси» были выставлены рабочими только экономические требования. Постепенно забастовка превращается в политическую, в мощный отпор царскому самодержавию.

Все трудовое Закавказье получило наглядный урок стойкости, умения бороться и отстаивать свои права.

Но царский террор с каждым днем свирепеет. Как от него уберечься? Алеша предлагает рабочим уйти в окрестности Тифлиса.

— Разве там мало укромных мест? Авчалы, Коджори, Манглиси...

Две недели забастовщики жили в горах. Все это время комитет находился в самом Тифлисе, собирал средства, организовывал снабжение бастующих и их семей, выпускал листовки и прокламации. Подростки, дети рабочих, помогали поддерживать связь с районами. Юные связные лазили через забор в мастерские и сообщали комитету, не появились ли там штрейкбрехеры.

Нет, все станки были немы и недвижны, печи остыли, котлы не дышали паром.

На шестнадцатый день комитет признал необходимым прервать забастовку. Боевая касса опустела. Рабочие и их семьи голодали. Жандармы усиливали бесчинства. Правительство и хозяева не пожелали вести никаких переговоров, надеясь на силу казачьих сабель и полицейских нагаек.

Свыше пятисот рабочих брошены в тюрьмы. Около трехсот высланы за пределы Кавказа.

У стачечников настроение подавленное. Дальше не продержаться — таково единодушное мнение.

«Вот в этот тяжелый момент товарищ Алеша,— вспоминает Вано Стуруа,— со свойственной ему улыбкой, полной надежды на будущее, произносит:

— Завтра объявим забастовку оконченной. В ней больше победы, чем поражения. Шестнадцатидневная дружная забастовка, влияние организации на тысячные массы — разве это не залог нашей полной победы в недалеком будущем? Мы морально выиграли, заложили прочный фундамент для нашей решительной схватки с самодержавным буржуазным строем, и этого пока достаточно с нас.

Слова товарища Алеши приободрили нас. На другой день были расклеены извещения к рабочим: «Забастовка была начата организованно стачечным комитетом и так же организованно им же прекращается. На работу, товарищи, и готовьтесь к грядущей борьбе!»»

Еще до окончания забастовки охранка нагрянула на квартиру Джапаридзе и после длительного обыска нашла

тайник, а в нем гектограф, химические чернила. Вскоре схватили Алешу и заточили в Метехский замок.

Первое знакомство с тюрьмой. Сырая камера, железная решетка в оконце под потолком. Пусть посидит студентик, поймет, что ему грозит. Иные вот так же храбрились до заточения, а тут сразу пообмякли.

— Знает ли молодой дворянин Прокофий Апрасионович, что ему едва ли удастся доучиться в институте за такие шалости? — спрашивает с легкой ухмылкой следователь.

— Учиться при желании можно и в тюрьме,— отвечает Алеша.— А что? Совсем неплохо. Одиночка, никто не мешает... И на полном пансионе.

— Тогда упрочим ваше здешнее положение,— посуровел следователь и резко, в упор: — Зачем вам понадобился гектограф?

— Вместо сковородки, господин начальник. Удивительно оригинальная кухонная утварь...

— А химические чернила?

— Если стряпать пищу на гектографе, будет кощунством писать меню обыкновенными чернилами.

— Уведите,— зло буркнул часовому тюремщик.

Проходили дни, недели, месяцы. Узник не стал сговорчивее. О соучастниках — ни слова. Зато требует свидания с матерью и сестрой. Настаивает на присылке к нему врача. Заявил, что объявит голодовку, если не дадут ему возможности получать необходимые книги и не разрешат переписки с угодными ему лицами.

Около полугода держали его в каменных стенах Метехи. Выпустили условно, под гласный надзор полиции, с незамедлительным «выдворением из Тифлиса, Баку, Елизаветполя, Батума, Поти, Михайлова».

Но еще в тюрьме Алеша узнает, что в Тифлис приехал Виктор Константинович Курнатовский, который был вместе с В. И. Лениным в минусинской ссылке. Как же не повидаться с таким известным подпольщиком? Алеша достает его адрес и вместе с товарищем по Метехи Артемом Гио тайно приходит в гости. Курнатовский рад встрече с революционной молодежью. Он «выразил свое одобрение и даже восхищение» ее поступками. Долго беседовал с Алешей и Артемом о пагубности «экономизма» в рабочем движении.

Джапаридзе и Гио скрываются от полиции, ведь она должна их поскорее «выдворить». А им, наоборот, хочется

как можно дольше побыть с Курнатовским и возможно подробнее узнать о Ленине.

Курнатовский оказал огромное влияние на Алешу. Вдохнул в него уверенность в близости социальной революции.

Гио, вынужденный эмигрировать за границу, получает от Виктора Константиновича рекомендательное письмо к Ленину. А Джапаридзе переходит на нелегальное положение. Он решает здесь, у себя на родине, раздувать костер борьбы.

Когда жандармы запрещали ему находиться во всех крупных населенных пунктах Кавказа, очевидно, они имели в виду, что таким образом можно избавиться от опасного бунтовщика: студент подастся в Центральную Россию, попытается там закончить образование. Что ж! И там есть жандармерия. Коль зацепило рыбку, не уронит с крючка.

Алеша же уехал в горы, в провинцию Рача, след его затерялся. Вскоре он появляется в Кутаисе и поступает делопроизводителем в местное управление государственных имуществ и земледелия.

Варо Ходжашвили была тогда ученицей старших классов школы. Гуляла с подругами. Познакомились с двумя молодыми людьми — Прокофием Джапаридзе и Николаем Соколовым. Стали встречаться все чаще. Тут Варо заметила, что вокруг Прокофия и Николая образуется кружок, объединяется лучшая часть кутаисской молодежи:

— Среди нас были еще С. Кавтарадзе, П. Сакварелидзе, А. Цулукидзе и другие. Мы с увлечением спорили о прочитанных книгах, изучали политэкономию, Эрфуртскую программу, а кое-кто и «Капитал» Маркса. Неизвестно, каким образом до нас дошла газета «Искра»...

Три года неутомимый подпольщик занят созданием новых социал-демократических организаций в самом городе и в округе. Каждую свою служебную командировку в Чиатуру, Зестофани, Батум, Ткибул, Хони, Рачу он использует для распространения марксистской литературы и расширения сети кружков. Руководит революционным движением в Западной Грузии Миха Цхакая.

«Из всех старых и новых товарищей выделялся, как самый революционный, самый активный, энергичный и преданный, тогда еще молодой Алеша Джапаридзе. Это с его помощью мне удалось организовать парторганизацию в Кутаисе (комитет Имеретии — Мингрелии), в селах Гурии, Рачи и Мингрелии. И что самое главное — начать работу в промышленных центрах Имеретии — Чиатуре и

Ткибуле» — это скажет Миха Цхакая в скорбную годовщину гибели большевика-ленинца Алеши, как бы подводя итог его беззаветному служению партии и народу.

Но не будем в нашем повествовании опережать события.

...21 апреля 1905 года. В отдельной комнате лондонской пивнушки «Краун энд Вуллэк» на Сан-Джон-стрит Ленин беседует с Прокофием Джапаридзе. Рядом с ним присел самый старый делегат третьего съезда партии, которому предоставили почетное право его открыть,— Миха Цхакая.

Владимир Ильич приготовился слушать рассказ Алеши, а тот смущен и счастлив этой встречей и не знает, с чего же начать, что всего важнее. Вмешивается Миха, подсказывает:

— Вот хотя бы о том, как один из членов Имеретино-Мингрельского комитета в прошлом году сколотил боевую дружину и напал на конвой с заключенными...

— Выполнил решение комитета,— скромно сказал Алеша.

А было это так. Дошел слух о том, что в Чиатуре арестованы и осуждены пять революционеров. Их везут в Кутаис. Как освободить товарищей? Комитет решил организовать нападение на конвой по пути с вокзала к тюрьме. Поручили осуществить операцию Алеше. Он вызвал несколько партийцев-крестьян, которых хорошо знал: Ермиле Какабадзе из Кухи, Прокофия Лежаву из Ианети и еще кое-кого. Боевая дружина пошла встречать поезд. Стражники с винтовками наперевес повели государственных преступников. По обочинам следом бежали ребята. На тротуарах собирался народ.

Когда дошли до Казаковского переулка, Лежава прыгнул на середину булыжной мостовой и в упор выстрелил из револьвера в лоб уряднику. Суматоха, крики. Ответная стрельба. Арестованные метнулись в разные стороны, двоим из них удалось бежать.

Алеше тоже опасно оставаться в Кутаисе. Он отбыл незаметно в Тифлис.

— Совсем недавно приехал сюда Джапаридзе, но здесь успели его уже полюбить. Он всех воспламенял своей революционной энергией,— утверждает С. Аллилуев.— Алеша был замечательным оратором. Его слова были взволнованны и прочувствованны. Когда он говорил, горели его черные глаза. Этот человек всегда стремился к чему-то, всегда был в действии.

Вскоре партия направила его в Баку.

— Выполнил решение, вот и все...

— Тогда расскажи, Алеша, про «мазутную конституцию»,— подсказывает Миха.

«Мазутной конституцией» называли бакинские нефтяники первый в России коллективный договор, который им после стачки в декабре 1904 года удалось заключить с хозяевами промыслов.

Это, безусловно, была крупнейшая победа. Ее начал готовить Алеша сразу же по приезде в город нефти. Он возглавляет Бакинский комитет, но одновременно является организатором в Балаханах — районе нефтяников. При его активном участии создается филиальное отделение партии — «Гуммет», объединяющее кавказских мусульман — азербайджанцев, турок, лезгин, персов. Это очень важно, ибо все они, как правило, тартальщики, грузчики и другие чернорабочие и особенно угнетены, эксплуатируются. Налажено несколько подпольных типографий. Выпускаются газеты, листовки на разных языках. Развернута сеть кружков. Установлены крепкие связи с ЦК, с Лениным, и все, кто приезжает на берега Каспия,— посланцы партии или ссыльные из других районов страны — привлекаются Алешей, активно включаются в партийную страду. В эту пору большевики резко размежевались с меньшевиками и вырвали из-под их влияния основную массу трудового Баку.

30 ноября 1904 года уже не первая прокламация призвала пролетариев готовиться к стачке. Еще через две недели большевистские райкомы объявили о начале забастовки. Затихают буровые вышки. Раскрываются ворота нефтеперегонных заводов, и дружно, стройными колоннами рабочие покидают цехи, идут на соседние предприятия и промыслы, чтобы и там приостановить работу. Прекращена погрузка нефти на пароходы. Обрывается телеграфная связь между Баку и Балаханами. Всеобщая забастовка охватывает сперва промыслы и заводы больше чем сорока фирм — Ротшильда, Нобеля, Мирзоева и еще очень многих акционеров, поменьше рангом. Потом останавливается конка. Выходят на улицу типографы. Город остается без газет. Судоремонтники солидарны с нефтяниками. Возникают многотысячные митинги, демонстрации. И вожаками всюду — большевики.

А. М. Стопани спешит сообщить Ленину о бакинских событиях. Рассказывает, с каким успехом, неутомимо высту-

пают Алеша Джапаридзе и Петр Монтин. Резко характеризует жалкую роль меньшевиков — пресловутых шендриковцев, слабо замаскированных зубатовцев.

Вызваны войска из Тифлиса и Грозного. Два стрелковых полка, две казачьи сотни. Спровоцированы столкновения с рабочими. Пролита рабочая кровь. Похороны погибших превращены в могучую политическую демонстрацию. На крышках гробов лежат венки из алых цветов, увитые лентами, на которых написано: «Долой самодержавие!», «Довольно жертв!», «Да здравствует свобода!»

Заводчики, акционеры долго сопротивлялись рабочей воле. Но вынуждены были начать переговоры со стачечным комитетом. 25 декабря комиссия предпринимателей пошла на уступки, согласилась установить девятичасовой рабочий день, оплатить дни забастовки, гарантировать пятьдесят процентов заработка больным в течение полутора месяцев. Некоторым категориям рабочих завоеван восьмичасовой рабочий день. Коллективный договор от имени рабочих подписывает Прокофий Джапаридзе.

Такова «Мазутная конституция». Владимир Ильич, конечно, знал о ней и одобрял поведение бакинских большевиков. Знал он многое и о Джапаридзе. Ведь это он, Ленин, в разное время посылал на Кавказ и Курнатовского, и Красина, и Стопани, и Ногина, и Васильева-Южина с женой, и супругов Бобровских. Однако известно и то, что Ленин не пропускал случая расспросить еще и еще раз какие-либо подробности, детали и за разговором «поразведать» характер собеседника, его способности, какого масштаба партийные дела ему по плечу и по душе.

Ленин был очень чутким и очень зорким к людям. О каждом из них он помнил и заботился. Пройдут годы, больше не доведется Алеше встретиться с Владимиром Ильичем, но вождь партии будет всегда живо интересоваться Алешей. В одном из своих писем к С. Г. Шаумяну Владимир Ильич и Надежда Константиновна с волнением спрашивают: «Что с Алешей, как его здоровье, чем занят?»

Шаумян ответил на конспиративном «наречии»: «Дорогие дядя и тетя!.. Вы спрашивали про Алешу. Он был в Тифлисе, несколько месяцев тому назад заболел, сейчас он выехал лечиться к Авелю. С ним в компании я устроил хорошую пекарню в Тифлисе, которая работает и может оказаться очень прибыльной. Там сейчас работают братья Алеши, хорошие ребята».

Надо ли объяснять, что «пекарня» — это типография, а «братья» — попросту большевики, подготовленные Джапаридзе для выпуска подпольной литературы.

Ленинская школа. Только теперь, с огромной дистанции, можно судить о том, как важен был третий съезд для всей партии и лично для Алеши. В двадцать пять лет он уже обстрелянный и закаленный боец. Даже не боец, а командарм. Еще точнее — один из маршалов Ильича. Он уже изведал и аресты, и тюрьму, и ссылку. Был вожаком и любимцем бакинских пролетариев. Его знал весь Кавказ. В канун съезда благодаря его неистовой энергии, твердости, авторитету большевики сумели прекратить братоубийственную татаро-армянскую резню. Он объединил рабочих разных национальностей в большой и дружный отряд, который прошел по Баку с белыми знаменами умиротворения, с лозунгами, разоблачающими самодержавие — застрельщика национальной розни и погромов.

Да, его мужество, идейная убежденность, верность партии не подлежали сомнению.

А все-таки на съезде он прошел ленинский «университетский курс». Стоит просмотреть протоколы тех заседаний, где он присутствовал и выступал, прочесть его речи и предложения, станет ясным, как он держится ленинской позиции, старается не сойти с нее ни на шаг, ни на йоту.

Съезд окончен. Пора покинуть сырую, дождливую британскую столицу. А Джапаридзе хочется еще раз побыть с Лениным, повидаться с ним, побеседовать. Одному как-то неловко, и он сговаривается с Г. И. Крамольниковым — делегатом из Самары. Вдвоем они идут к площади Холфорд-сквер, пересекают ее и через несколько десятков шагов попадают еще на одну, меньшую площадь — Перси-сиркус, на углу которой, в доме № 16, на верхнем этаже в тесной квартирке живут гостеприимные «Ильичи». Неизвестно, сколько времени длилось чаепитие, непринужденный разговор, какие проблемы были предметом их суждений,— все это, к сожалению, осталось нераскрытой тайной. Но вот Крамольников почувствовал, что все уже обговорено, выяснено и пора уходить. «После беседы с ними (то есть с В. И. Лениным и Н. К. Крупской) надо было уходить, но Алеша медлил. Он смотрел на Ленина влюбленными глазами. И вдруг спросил:

— Владимир Ильич! Мы поедем через Париж. Что вы посоветуете посмотреть там из памятников искусства?

Ильич не считал себя знатоком искусства. И поэтому ему стало весело от вопроса Алеши.

Надежда Константиновна заметила:

— А вот тебе понравилась статуя Родена «Мыслитель».

— Да, да,— подхватил Владимир Ильич,— только я не скажу, почему понравилась. А вот когда я встречусь с вами, то спрошу, что вы нашли в статуе «Мыслитель» Родена?

Мы видели эту статую...»

Но состоялся ли разговор о том, какое впечатление произвела эта скульптура, поделился ли Алеша впоследствии своими мыслями с Лениным? Есть основания полагать, что Джапаридзе получил желанные ленинские уроки и по искусству. Тем более что и Владимир Ильич поехал из Лондона в Женеву через Париж. И еще в Лондоне и после, в Париже, ходил с делегатами съезда по достопримечательным местам обеих столиц. Показывал зоологические сады, Британский исторический музей, мировую сокровищницу живописи — Лувр. Посетили они и могилу Маркса на Хайгетском кладбище и стену коммунаров на Пер-Лашез.

Ленин старался расширить кругозор, повысить знания, пополнить запасы впечатлений особенно тех делегатов, которые до того никогда не были за границей.

...В июле 1917 года Джапаридзе снова посланец бакинских большевиков, уже на шестой съезд партии. Он едет в вагоне «третьего класса» в Питер со своим другом, тоже бакинцем, тоже с мандатом на съезд,— Юсуфом-заде Ага Баба.

Поезд тянется лениво, отдыхает на каждом полустанке. Друзья ведут между собой неторопливую беседу.

— Ты рад, Юсуф, понимаешь куда едем?

— Ай, Алеша, мне больше лет, чем твоим обеим дочерям.

— Дочки. Жалко, мне бы надо их захватить с собой. Познакомил бы с Ильичем. И Варо тоже... Скажу тебе по секрету, почему Варо вышла за меня замуж... Нет, не скажу. Сам догадайся. Как думаешь, почему?

— Деятельный, горячий, джигит... Ай, Алеша, будь я женщиной, ты бы, кажется, и меня пленил.

Оба хохочут. Потом Алеша, желая огорошить друга, выпаливает:

— А полюбила меня Варо все-таки знаешь за что? Была убеждена: из меня в конце концов выйдет... трагический артист.

— Артист? Какой артист?

— Представь себе, Юсуф. Играл на сцене. И не кого-нибудь, а Карла, одного из двух братьев в пьесе «Разбойники» Шиллера. И смотрели меня не родственники, а публика. И билеты были не пригласительные, а платные. Зрители покупали их за деньги. Правда, сборы шли не актерам студенческого кочевого театра, а в пользу нашей организации. Мы ездили из одного города в другой... А однажды после третьего действия «Разбойников» Варо забежала за кулисы, нашла меня, и все стало ясно.

— Преувеличиваешь, Алеша, значение своего артистического дарования,— возразил Юсуф.— Варо стала раньше отважной революционеркой и уже по родству душ — твоей верной спутницей в жизни.

— Вот я и говорю, что дальше мне не было никакого смысла играть на сцене. Чего хотел, сполна добился.

Опять друзья хохочут. А в душе у них кошки скребут. Едут в Питер, на съезд. А состоится ли? На каждом вокзале гремят медные трубы духового оркестра. С помпой и шумом встречают раненых фронтовиков. Экзальтированные дамы и гимназистки в накрахмаленных передниках подхватывают под руки калек. Подозрительные субъекты в котелках произносят патриотические речи: война до победного конца... Революция будто захлебнулась, застряла на полпути.

Полицейские в форме, но без кокард и даже с красными бантами рыщут по перрону, за кем-то следят, кого-то вылавливают.

Поезд, наконец, трогается с места, беседа между друзьями продолжается.

— Знаешь, Юсуф, почему мою старшую зовут Люция?

— Знаю, из какой-нибудь пьесы, наверное, героиня...

— Нет, не знаешь. Совсем не угадал. Мы с Варо сговорились заранее: будет мальчик, назовем его Рево. Родится девочка, назовем ее Люция. А если двойня — значит, и в стране, и в моем доме появится, закричит молодыми голосами Р е в о - Л ю ц и я.

Теперь уже не только они вдвоем — смеются соседи, хохочет весь вагон.

На станции Рязань Юсуф-заде побежал за кипятком, а вернулся с «Социал-демократом» — газетой московских большевиков.

— Вот это да, настоящий кипяточек! — Алеша вслух читает опубликованные материалы. Вот и статья Ленина.

— А кто его видел? Кто знает Ленина в лицо? — спраши-

вает крестьянин, сидящий для верности не на скамье, а на своем тугом мешке.

— Я его видел, знаю,— отвечает Алеша. И захватывает всех своих слушателей в полон рассказом, который длится до самой Москвы.

А если бы путь вдвое, втрое длиннее, начни он беседу о Владимире Ильиче от самого Баку, хватило бы этой темы и до Питера. Виделись они в пятом, а сейчас семнадцатый. Но у Алеши ощущение: разлуки и не было. Помнится ему, на третьем съезде он сказал с упреком о том, что очень мало литературы для крестьян: имеется на русском языке только одна брошюра Ленина. Не успел Джапаридзе, что называется, прийти в себя после съезда, как получил известие: встречайте гостью. Прибыла из Женевы жена Васильева-Южина Мария Андреевна. Передала Алеше подарок от Владимира Ильича: изящную корзинку и в ней... дамский корсет. Оказалось, что он особенный: сшит по последней моде, а под подкладкой имеет литературу, напечатанную на папиросной бумаге...

1908 год. Разгул столыпинской реакции. Джапаридзе во главе бакинского профсоюза нефтяников. По его инициативе начинает действовать Совет уполномоченных от рабочих для предъявления требований хозяевам промыслов. Это был настоящий рабочий парламент. В нем заседали до четырехсот человек. Они открыто развертывали программу-минимум партии. Совету удается поднять нефтяников на массовую стачку. И Владимир Ильич пишет с высокой похвалой о мужестве бакинцев, и эта ленинская похвала в полной мере относится также к Джапаридзе: «В 1908 г. во главе губерний с значительным числом стачек стоит бакинская с 47-тысячами стачечников. Последние могикане массовой политической стачки».

Три примера, их можно приумножить. Где бы ни был Алеша — в ссылке на Дону, или гораздо дальше, в Вологде, или еще дальше, у Енисея,— все равно Владимир Ильич не перестает интересоваться его судьбой и делами. И вот предстоит долгожданная встреча. На первой странице «Социал-демократа» — обращение к делегатам, едущим на съезд, указан и адрес явки: бюро Выборгского райкома.

— Значит, съезд состоится... Красный Выборгский район зовет нас открыто и мужественно к себе,— ликует Алеша.

У него бодрое и радостное настроение. В Москве и Питере он встречает много старых друзей. Тех, с кем довелось ему

в 1907 году в Баку выпускать легальную большевистскую газету «Гудок», которая мощно и призывно гудела на всю Россию. И тех, кто вместе с ним в четырнадцатом в Тифлисе, на горе Давида, призывал народ превратить империалистическую войну в гражданскую. Кто издавал и редактировал с ним «Бакинский рабочий» — любимую газету нефтяников Каспия, боролся за объединение профсоюзов, создавал в Елизаветполе и других городах нелегальные типографии, печатавшие на разных языках сотни тысяч листовок и прокламаций — они распространялись по всему Кавказу и соседним краям.

Его узнают солдаты, встречавшиеся с ним в Трапезунде, где он руководил работой большевиков в действующей армии, создавал партийные организации в каждой воинской части на Эрзерумском и Персидском фронтах.

Делегаты шестого съезда избирают его в мандатную комиссию. Он выступает по важнейшим вопросам и горячо одобряет принятый партией курс на вооруженное восстание.

Лишь заветная его мечта — еще раз увидеться с Лениным — не сбылась. Владимир Ильич вынужден был находиться в глубоком подполье и оттуда руководил работой съезда.

Алеша с горечью и гневом пишет: «На первом легальном съезде партии пролетариата в «свободной» России нет того, который всю свою жизнь посвятил, не щадя ничего, созданию действительно классовой партии пролетариата; нет того, который давно является признанным вождем революционной социал-демократии у нас, а со времен войны — лучшим вождем передового международного пролетариата; нет того, который почти на всех съездах нашей партии был лучшим и искусным руководителем — председателем... Нет Ленина — все чувствуем, что ему принадлежит председательское место, многие не удерживаются и произносят проклятия по адресу виновников его отсутствия».

Да, Алеша по-сыновнему любил Ильича.

Вот он опять возвращается в Баку.

В городе нефти устанавливается Советская власть. Вместе со Степаном Шаумяном, Иваном Фиолетовым, Мешади Азизбековым, Яковом Зевиным и другими большевиками Алеша становится во главе героической Бакинской коммуны. Вместе с Анастасом Микояном создает на Кавказе комсомольскую организацию «Спартак».

Бакинская коммуна, окруженная со всех сторон врагами, жила девяносто восемь дней.

«По картинам и историческим источникам я имел представление о заседаниях Парижской коммуны. Но Бакинская во много раз превосходила ее по бурям и кипению страстей. Я застал коммуну в критические дни. Бригады, посланные в уезды, не добыли продовольствия. Город без хлеба. Свирепствуют преступные элементы, спекулянты. Кто же возглавит в такое время снабжение населения продовольствием? Кому доверит коммуна этот важнейший и решающий пост?

Нужен был человек с кристально чистой совестью и громадной энергией организатора. Человек, способный на чудо!

Когда Степан Шаумян попросил у присутствующих на заседании называть кандидатуры, со всех сторон, как взрыв бомбы, раздался гром голосов:

— Алешу... Алешу... Ему доверяем!

Ничто уже не могло остановить и утихомирить эту разбушевавшуюся стихию. Зал успокоился только тогда, когда на трибуне появился сам Алеша.

Он попросил собрание не возлагать на него этой новой и тяжелой обязанности:

— Я не в состоянии справиться... Перегружен. Руковожу Бакинским Советом. Нарком внутренних дел. Веду большую партийную работу... Не оправдаю доверия, сил не хватит.

Зал загремел в ответ:

— Оправдаешь... Хватит... Другого не хотим...

Наконец он согласился. Очевидно, другого выхода и не было.

Зал ответил раскатами аплодисментов, возгласами одобрения, восторга. В этом хаосе звуков, криков, хлопков одно звучало совершенно явственно и четко: безграничное доверие бакинского пролетариата к нему, Алеше, доверие и надежда, что с ним любая беда может быть преодолена».

Страничкой этого письма, любезно присланного из Тбилиси свидетелем и участником коммуны С. Кавтарадзе, хочется закончить беглый очерк об Алеше — верном ленинце, любимце кавказских рабочих, одном из двадцати шести бакинских комиссаров.

Жизни Прокофия Апрасионовича Джапаридзе будут посвящены поэмы и романы, о ней сложат песни и легенды. Его доблесть и самоотверженность не перестанут приводить в пример грядущим поколениям. Короткая и яркая эта жизнь обладает емкостью океана и потому — неисчерпаема.

Юрий Корольков

РЕВОЛЮЦИИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Юноше,
обдумывающему
житье,
Решающему —
сделать бы жизнь с кого,
Скажу не задумываясь —
«Делай ее
С товарища
Дзержинского».

В. Маяковский

В тюремные камеры гул толпы доносился неясно, словно издалека, он будто просачивался сквозь холодную толщу каменных стен, через наглухо забитые оконные рамы. А толпа бушевала совсем рядом — на улице перед Бутырской тюрьмой. Расплывчатый гул напоминал отдаленный морской прибой, он то нарастал, то начинал стихать, чтобы снова подняться в многоголосом кипении. Заключенные в камерах, привыкшие к томительной тишине, недоуменно прислушивались. Они не знали, что уже третий день как началась Февральская революция.

Потом сквозь рокот человеческого прибоя донеслись голоса:

— Долой самодержавие!.. Открывай!.. Да здравствует революция!!!

Это всколыхнуло камеры, тюрьма ожила, откликнулась неистовым стуком в двери и стены, громкими криками... Растерянные надзиратели ошалело бегали по коридорам, останавливались у дверей, требовали прекратить беспорядок, но их уже никто не слушал.

Толпа продолжала штурмовать тюрьму. К ее высоким стенам на грузовике примчался летучий отряд революцион-

ных солдат. Раздались винтовочные выстрелы, перепуганная охрана распахнула ворота. Люди ворвались во двор, бросились внутрь помещений.

— Отворяй камеры! Товарищи, выходите! Да здравствует свобода!..

Обезоруженные жандармы-ключники дрожащими руками отпирали кованые двери. Лязгали замки, задвижки, распахивались двери, заключенные бросались в объятия к своим освободителям. Вскоре поток людей отхлынул назад, на улицу. Смешавшись с толпой, сотни заключенных исчезали в переулках, уходили все дальше от тюрьмы.

В тот день, 1 марта 1917 года, среди освобожденных узников был и Феликс Дзержинский.

Еще в камере его кто-то стиснул в объятиях и потянул за собой:

— Быстрее, Юзеф! Нельзя медлить...

Дзержинского и других узников-революционеров вынесли из тюремных ворот на руках. Извозчик ждал за углом. Пролетка, громыхая по неровным булыжникам и намерзшему к вечеру льду, покатила к центру. На сиденье поместились двое: Дзержинский и товарищ Василий, третий пристроился в ногах, прямо на кожаном фартуке пролетки. Верх ее был откинут, и Феликс Эдмундович возбужденно оглядывался по сторонам. Смеркалось, на улицах было полно народу.

— Ну, как? — спросил Василий, вглядываясь в исхудавшее лицо Феликса Эдмундовича Дзержинского. Они не встречались лет пять, и Василия поразил болезненный вид «товарища Юзефа».

— Хорошо! Очень хорошо быть на воле!.. Но куда мы едем? — спросил Феликс Эдмундович.

— В Замоскворечье, к вашей сестре. Ее предупредили.

— Подождите, Василий, ведь вы только что сказали — в городской думе сейчас будет митинг. Поедем сначала туда...

Сколь горяч был духовный накал недавнего узника, если он, едва вырвавшись из тюрьмы, мог отправиться прямо на митинг в думу, где заседал только что созданный Московский Совет!

Извозчика оставили в Охотном ряду. Подошли к кирпичному зданию думы. Митинг уже начался. Василий первым протиснулся вперед и шепнул что-то на ухо человеку, который открывал митинг. И тот объявил:

— Слово имеет товарищ Дзержинский. Он только что освобожден из Бутырской тюрьмы...

Сообщение вызвало одобрительный гул. Дзержинский зажал в руке суконную бескозырку каторжника, высоко поднял ее над головой.

— Товарищи!.. Граждане!.. Самодержавие свергнуто! — Он резко опустил руку, словно разрубая воздух...



Феликс Эдмундович
ДЗЕРЖИНСКИЙ
(1877—1926)

В тот же вечер Дзержинского видели выступающим на митинге около дома градоначальника на площади Скобелева, где теперь находится Моссовет; и у Триумфальных ворот на Тверской, и в солдатских казармах...

Поздней ночью явился он к сестре Ядвиге, которая жила в тесной комнатке в глухом переулке Замоскворечья. Ядвига всплеснула руками, она уже перестала ждать брата, думала — не удалось, видно, освободить его из тюрьмы. А Феликс стоял перед ней в тюремном халате, в суконной бескозырке и с красным бантом, приколотым на груди. Глаза его сияли радостью.

— Вот я и вернулся,— сказал он, обнимая сестру.

Каким блаженством было для него в эту первую ночь вытянуться на коротком, старeньком диване, вдыхая чистую свежесть белья, которое Ядвига заботливо приготовила брату. Но заснуть он долго не мог: слишком сильно были напряжены нервы. Лежал и думал, ворошил в памяти недавно пережитое, а мысли цеплялись одна за другую...

Ему нет и сорока лет, а двадцать два года из них он отдал революционной борьбе. Одиннадцать с лишним лет сознательной жизни прошли в тюрьмах, ссылках, на каторге. Таков календарь революционера! Шесть арестов, три побега. Потом снова тюрьма, тоска в одиночке и сырая тишина, в которой слышно даже червя, точащего деревянные нары. Затем снова холщовая сумка каторжника, бубновый туз на арестантском халате... Теперь все это позади, Юзеф снова в жизни, значит, в борьбе.

Вспомнились строки, написанные им когда-то в тюрьме: «Если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как начал». И еще: «Силы духа у меня хватит еще на тысячу лет, а то и больше...» Он, Юзеф, и сейчас готов подписаться под этими строками.

Юзеф... Эта подпольная кличка крепче других закрепилась за ним. Были другие клички — Франек, Яцек, Переплетчик, Астрономек... Они забылись, но Юзеф остался. Юзефом называл его и Владимир Ильич... Когда это было? Лет десять назад, нет, больше — одиннадцать. Время летит стремительно, даже в тюрьме.

Они познакомились на Объединительном съезде в Стокгольме, но и до того знали друг о друге. Ильич и встретил его словами: «Так вот про кого писала «Искра»!..» Поздоровались. У Ильича было крепкое рукопожатие. Юзеф сначала не понял, о чем говорит Ленин, потом вспомнил: в «Искре» писали дважды: о его аресте и о побеге из ссылки.

С этого времени возникла их дружба, основанная на единомыслии, взаимном уважении, личных симпатиях. Потом они встречались еще — в Париже, на совещании. Взаимное доверие все возрастало. Был случай, когда Ильич подписал один документ и за себя и за Юзефа. Так договорились заранее. Юзеф представлял тогда польскую социал-демократию. Как-то после заседания Ильич затащил Юзефа к себе домой, на улицу Мари-Роз. Сидели в кухоньке, пили чай. Говорили, шутили, спорили. Удивительная была у Ленина способность вслушиваться в слова собеседника!

Дни, проведенные в Париже, особенно запали в память. Юзефу пришлось вскоре уехать из Франции: в Кракове ждали неотложные дела. Ильич сам просил его поторопиться. Тогда он увез с собой доклад Владимира Ильича о положении в партии. Тщательно переписывал его целую ночь, до рассвета. Доклад сохранился в надежном месте (жандармам так и не удалось его разыскать). Много раз в статьях для нелегальной печати, в партийных спорах на подпольных собраниях Юзеф возвращался к этому документу. Удивительно, как мысли Ильича соответствовали его настроениям, взглядам, оценке событий!

А «договор» — полушутливая записка Владимира Ильича, написанная им во время одного из совещаний в Париже! Ильич так и озаглавил его: «Договор Ленина с Юзефом». Речь шла о нетерпимом отношении к примиренцам и ликвидаторам в партии. Оба думали одинаково. Их

многое роднило: и любовь к детям, и непримиримость в борьбе. Они легко находили общий язык...

С большой теплотой думал Юзеф о Ленине в ту весеннюю тревожную ночь. Где сейчас Ильич? Как он здесь нужен! Теперь важнее всего собирать силы большевиков...

Сон все не шел к недавнему узнику. Он повернулся, заскрипели пружины. Это почему-то напоминало ему о кандалах. Два года провел он закованным в них. Два года!.. Кандалы сняли всего несколько недель назад. Под ними на теле возникли глубокие раны. Но кандалы тюремщики сняли не поэтому — просто Юзефу они мешали работать на ножной машине в военно-обмундировочной мастерской. А начальству тюрьмы надо было, чтобы он работал. Без кандалов, конечно, легче. Странно, ведь они постоянно впитывают человеческое тепло, а всегда остаются холодными! Будто высасывают душу. И все же не это в тюрьме самое страшное. Страшнее отрыв от жизни, борьбы, партийной работы и разлука с близкими.

Юзеф вспомнил единственную встречу с сыном Ясиком. Жену Зосю арестовали, сын родился в варшавской тюрьме, его отправили в сиротский дом: жена не решилась взять малыша с собой в ссылку. А Юзеф был еще на свободе. Вот тогда под видом дальнего родственника он навестил сына. Конечно, это было рискованно, но желание увидеть ребенка оказалось сильнее. Юзеф до сих пор помнит свои ощущения при встрече с сыном.

Юзеф переживал. Как они, Зося и Ясик, что с ними? Тогда он помог жене бежать из ссылки: в переплете книги переслал фальшивый паспорт. Но вскоре арестовали его самого. Так и не повидались, не встретились. Ясику скоро шесть лет... Они живут где-то в Швейцарии. Там живет и Владимир Ильич.

Юзеф тяжело вздохнул. Тоска, которая так часто навещала его в тюрьме, обрушилась на него и сейчас.

Заснул он, когда в окне забрезжил неясный свет.

А утром заспешил на улицу, в жизнь, в революцию. Вечный скиталец, как называл он себя, добровольно избрал тернистый путь профессионала-революционера. Отказывая себе в личной радости, в крупицах счастья, он шел добывать большое счастье людям.

Особенно ратовал Феликс Эдмундович за то, чтобы объединить усилия рабочего класса Польши с трудящимися России. Он был последовательным и ярым интернационалистом.

«Я хотел бы,— писал Дзержинский,— объять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи...»

Годы тюремных лишений, огромное нервное напряжение подорвали силы Юзефа. Он заболел, и товарищи отправили его в Сокольники на поправку. Однако кипучая натура не позволяла ему оставаться долго на больничной койке. Он снова в кипении революции, в движении, в борьбе.

В Петрограде контрреволюция подняла голову. Ленин вынужден уйти в подполье. Правительство Керенского издало приказ о его аресте. Агенты контрразведки рыскали всюду, чтобы напасть на след Ильича. Их бесило, что в газетах все время появлялись статьи за подписью Ленина.

Где скрывается Владимир Ильич, знал очень ограниченный круг самых доверенных людей — всего несколько человек. Сохранялась строжайшая конспирация. Для встречи с Лениным требовалось специальное решение Центрального Комитета. В то же время продолжались споры: не целесообразно ли Владимиру Ильичу самому явиться к властям, добровольно подвергнуться аресту, чтобы предстать перед судом? Дзержинский вспылил, узнав об этом.

— Как это можно! — негодовал он.— Его убьют, с ним расправятся до суда. Это же ясно!

К Владимиру Ильичу Юзеф поехал вскоре после своего возвращения в Питер. Сопровождать его вызвался Яков Михайлович Свердлов, который бывал уже в Разливе, знал туда дорогу и необходимые пароли. Соблюдая всяческие предосторожности, сели в поезд и сошли на станции Разлив. У небольшого домика их встретила молодая женщина. Она узнала Якова Михайловича, поздоровалась и настороженно оглядела Дзержинского.

— Свои, свои,— успокоил ее Свердлов.— Сам-то дома?

— На покосе... Обещал к вечеру воротиться.

— Тогда мы одни поедем. Ботик дадите?

Женщина проводила их к берегу озера, отомкнула стоявшую на приколе лодку. Дзержинский взялся за весла, Яков Михайлович сел на корму править. Сначала пошли вдоль берега, потом переправились на ту сторону. Лодка мягко врезалась в низкий берег, поросший шершавой осокой.

Из кустарника появился человек в пиджаке и косоворотке.

— Я за вами давно слежу, Яков Михайлович. Сперва не узнал; кто это, думаю, не вовремя едет?.. Пойдемте, Владимир Ильич будет доволен.

Хозяин подпольной явки коммунист Емельянов пошел вперед. Через несколько минут вышли к приземистому шалашу, окруженному густыми кустами. Перед шалашом бесцветным пламенем нежарко пылал костер, на почерневших рогульках висел чугунный котел. Чуть поодаль стоял косарь и сосредоточенно точил косу. Он равнодушно посмотрел на пришедших и отвернулся.

— Вот и пришли...

Дзержинский огляделся: где же Ленин? Недоуменно взглянул на Свердлова. Яков Михайлович весело рассмеялся.

— Отличная конспирация! — воскликнул он, поняв, что Ильич решил подшутить над новичком.

Молчаливый косарь снова повернулся и тоже засмеялся. Только теперь Дзержинский узнал в нем Владимира Ильича. Бритый, без усов и бороды, в парике, он был неузнаваем. Выдавали только сощуренные глаза, в которых горели лукавые огоньки.

— Вот вас-то я и не ожидал, Юзеф!.. Это тем более приятно. Когда прибыли?..

Сидели долго, до самого вечера. Проголодавшись, ели селедку с черным хлебом, которые Ильич принес из шалаша. Потом пили чай из жестяных кружек. Владимир Ильич расспрашивал, слушал, говорил сам и несколько раз возвращался к теме, которая особенно его занимала:

— Теперь мирный путь развития революции уже невозможен... Да, да, уверяю вас! Надо готовить массы к вооруженному восстанию. А оно не за горами...

Когда стемнело, собрались уезжать. Владимир Ильич хотел проводить их до берега, но Емельянов запротестовал: нельзя, могут встретиться посторонние.

Прощались у шалаша. Владимир Ильич передал несколько писем товарищам, записку Надежде Константиновне.

— А вот это нужно обязательно напечатать в газете,— Владимир Ильич протянул пачку мелко исписанных листков, вырванных из блокнота.— Обязательно и немедленно! Это наш ответ на прокурорское расследование июльских событий. Пакостным клеветникам нельзя давать спуску. Их надо сечь при всем честном народе. Сечь, сечь розгами, чтобы не было повадно!..

Статья Владимира Ильича появилась в газете «Рабочий и солдат», которая в те дни только начала выходить вместо

разгромленной большевистской «Правды». Подпись Ленина под статьей вызвала новый приступ бешенства контрреволюции. Ленин где-то здесь, рядом, а невозможно его арестовать!..

Вскоре открылся шестой съезд партии. Одним из первых обсуждали вопрос: нужно ли Ленину являться на суд? На трибуну поднялся Дзержинский.

— Травля против Ленина — это травля против нас, против партии, против революционной демократии... Мы не выдадим Ленина, пока не восторжествует справедливость...

Под справедливостью Дзержинский подразумевал социалистическую революцию.

Партийный съезд высказался за неявку Ленина на суд.

Владимир Ильич продолжал в подполье напряженную работу, руководил всем ходом подготовки к вооруженному восстанию. Близилась социалистическая революция. В начале октября Ильич нелегально вернулся в Петроград и руководил заседанием Центрального Комитета.

Собрались на конспиративной квартире в доме на тихой набережной реки Карповки. Докладывал Ленин. Он говорил о вооруженном восстании, заметно волновался... Заседали до глубокой ночи. Ильич предложил резолюцию, он набросал ее карандашом на разлинованной в клетку бумаге.

Политическая обстановка «ставит на очередь дня вооруженное восстание...» Оно «неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководствоваться этим...»

Резолюция о восстании принята (Каменев и Зиновьев голосовали против нее). Приняли также предложение Дзержинского о создании Бюро для политического руководства во главе с Лениным.

Было холодно и моросил дождь, когда поодиночке расходились из конспиративной квартиры. Дзержинский вышел вместе с Лениным, прошел вперед, осмотрелся: набережная была пустынна. Владимиру Ильичу предстоял неблизкий путь — на Выборгскую сторону, где он скрывался у надежных людей. Одет он был совсем легко. Дзержинский снял с себя плащ и накинул его на плечи Владимира Ильича. Ленин запротестовал, но Дзержинский был непреклонен:

— Никаких отговорок! Извольте надеть плащ, иначе я вас не выпущу... Я буду вашим телохранителем.

— Ну, если так... Но лучше будьте телохранителем революции...

Ленин запахнул плащ. Вдруг он спросил:

— Послушайте, Юзеф, кем бы вы были, если бы жили во времена французской революции?.. Вероятно, якобинцем.

— Скорее всего,— согласился Дзержинский,— если учесть, что Каменев и Зиновьев относились бы к жирондистам...

Оба засмеялись. Ильичу понравилась эта шутка.

— Знаете что,— Владимир Ильич перешел на серьезный тон,— у меня есть идея, как вас использовать. Но об этом после. Давайте поговорим сейчас о чем-нибудь постороннем. Помните, в Париже...

Дзержинский проводил Ильича до самого дома. В подъезде Ленин вернул ему плащ, крепко сжал руку, словно молча благодарил за все: за теплую заботу, за решительную поддержку там, на заседании ЦК.

Дзержинский постоял немного в подъезде, дождался, пока наверху хлопнула входная дверь, и, зябко кутаясь в плащ, вышел на улицу.

Через день утвердили состав Военно-революционного комитета для непосредственного руководства восстанием. В него вошел и Дзержинский. Это была инициатива Ленина.

События назревали. Ленин еще из подполья явился на расширенное заседание ЦК, проходившее совместно с представителями фабрично-заводских комитетов, Петроградского Совета и других революционных организаций. Ильич поставил вопрос о восстании на очередь дня. Зиновьев и Каменев опять яростно сопротивлялись. Они путались под ногами, мешали, и Ленин опасался, как бы эти двое не внесли смуту и растерянность в среду борцов.

Военно-революционный комитет обосновался в Смольном, на третьем этаже. Сюда сходились все нити руководства восстанием. План его разработали на основе ленинского письма, написанного еще в сентябре: «Чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать *штаб* повстанческих отрядов... мы должны мобилизовать вооруженных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу телеграф и телефон...»

ВРК представлял собой именно тот штаб повстанческих отрядов, о котором писал Ленин. Одним из неутомимых руководителей этого штаба стал Феликс Эдмундович Дзержинский. Ему же ЦК поручил организовать захват Главного

телеграфа и телефонной станции. К пяти часам вечера 24 октября задание партии было выполнено.

С воспаленными от бессонных ночей глазами, накинув на плечи шинель, Дзержинский сидел в комнате, заполненной вооруженными людьми. Было тесно, накурено, каждый шел сюда со своим совершенно неотложным делом. И каждое из этих дел касалось Дзержинского.

Пришли моряки с крейсера «Диана», с каких-то других кораблей — пришли за оружием и советом. Вот такие как раз ему и нужны!.. Дзержинский отличался великолепной способностью отбирать, привлекать нужных ему людей. И сразу ставить на место. Павлу Малькову сказал:

— Будешь комендантом Смольного... Да, да, не спорь — некогда... А Железнякова пошлем комиссаром... Справитесь, справитесь!..

Несколько минут он инструктирует коменданта: нужно навести порядок, усилить охрану. В подвалах Смольного живут классные дамы, прислуга — ведь здесь был институт благородных девиц. К ним приходят всякие юнкера, нет никаких пропусков... Потом нужны пулеметы, надо установить круглосуточную охрану... К работе приступить немедленно, все решать самому...

Дзержинский подписывает мандаты революционным комиссарам — в арсенал, в Петропавловскую крепость, в Государственный банк... Комиссарами Военно-революционного комитета назначены слесарь Иван Газа, сапожник Феликс Сенюта, моряки-балтийцы Иван Флеровский, Анатолий Железняков — тот самый Железняк, который потом стал легендарным героем гражданской войны...

Дзержинский пишет распоряжение коменданту Петропавловской крепости: второму балтийскому экипажу выдать два броневика с полным вооружением, революционному морскому комитету — восемьсот винтовок, пять тысяч патронов и пятнадцать револьверов с патронами.

Пролетариат вооружается для восстания.

Вечером 24 октября в Смольном неожиданно появляется Ленин. Не вытерпев, он покинул конспиративную квартиру и, обходя патрули юнкеров, пришел в штаб, чтобы непосредственно возглавить руководство восстанием. Владимира Ильича трудно узнать: он в парике, щека перевязана платком. Ильич, забывшись, снимает кепку, а вместе с ней и парик. Ленина узнают, бурно приветствуют, а он растерянно глядит на парик, потом улыбается, машет рукой:

— Ладно, теперь уже не до конспирации...

Он сует парик вместе с кепкой в карман пальто и проходит в комнату, в дверях которой встал вооруженный морякбалтиец. Дзержинский уже позаботился об охране.

Надев в рукава шинель, нахлобучив солдатскую шапку, сунув наган за пазуху, Дзержинский исчезает куда-то с группой вооруженных красногвардейцев. Пылкая, страстная натура его не выдерживает, он рвется туда, где идет бой: надо знать, что там происходит... Он идет в тревожную темень. Ветер гонит мокрые хлопья дождя, доносит дробный треск выстрелов. Дзержинский забирается в грузовик, полный вооруженных людей, кто-то протягивает ему руку... Здание Смольного светится в октябрьской ночи, как пароход, плывущий по бурному морю...

Вернувшись в Смольный, Дзержинский прошел к Ленину и доложил ему, что происходит в городе.

Теперь донесения стекались отовсюду: в час двадцать пять минут ночи занят почтамт, в два часа захвачены вокзалы. В шесть утра взяли электростанцию, здание Государственного банка... В семь часов у юнкеров отбит последний мост через Неву... К рассвету все основные, важнейшие стратегические пункты столицы в руках восставших. Только Зимний дворец еще не был взят.

Под утро Ленин ушел к Бонч-Бруевичу, не для отдыха — писал первые декреты первого в мире рабоче-крестьянского государства.

Ильич вернулся с готовыми декретами. Он был очень утомлен. Но лицо его сияло радостью.

— С первым днем социалистической революции! — воскликнул он, здороваясь с боевыми друзьями.

Вечером 25 октября грянула пушка «Авроры», начался штурм Зимнего. В четвертом часу утра следующего дня второй Всероссийский съезд Советов заслушал сообщение о взятии Зимнего. Революция победила!

* *
*

Контрреволюция, взбешенная успехами Октябрьского восстания, подняла голову. Вот когда Дзержинскому пришлось стать телохранителем революции!

В одном из петербургских ресторанов под видом повара укрывался главарь российских черносотенцев-мракобесов, создатель погромного «союза Михаила-архангела» господин

Пуришкевич. Он возглавил монархистский заговор. Бдительность рядовых солдат и красногвардейцев помогла раскрыть враждебную сеть. Дзержинский сам руководил ликвидацией заговора. При аресте Пуришкевича и его офицеров захватили много оружия, ядов, подложных документов, тайных писем, которые говорили о связях заговорщиков с царским генералом Калединым.

Свержение только что победившей Советской власти готовилось врагами повсеместно. Военно-революционный комитет раскрыл также «подпольное правительство», «торгово-промышленный комитет», «комитет спасения родины» и другие контрреволюционные организации. Как грибы поганки, появлялись они. На Дзержинского свалилось множество больших и малых дел. То он пишет письмо в Лугу, призывает местный Совет «не пропускать в Петроград эшелоны, которые направляются по повелению низложенного правительства», то занимается розыском ценностей, похищенных из Зимнего дворца, отдает предписание не допускать заседаний распущенной городской думы и находит время разобраться в жалобе посетителя — предлагает возвратить продовольственные карточки жильцам дома на Лиговке. Комиссара Гатчины он просит отремонтировать автомобиль, брошенный Керенским при бегстве из Петрограда...

Дзержинский в самом центре борьбы, он рядом с Лениным, работает под его руководством.

Пройдет еще три года, и Ленин даст наивысшую оценку своему соратнику: рекомендуя Дзержинского в Контрольную комиссию, он просит Феликса Эдмундовича «работать не менее 3-х часов в день в Контрольной комиссии, чтобы действительно сделать ее настоящим органом партийной и пролетарской совести».

Вполне естественно, что, когда возник вопрос о создании органа для борьбы с контрреволюцией и саботажем, Ленин подумал прежде всего о Дзержинском.

— Здесь нужен хороший пролетарский якобинец! — сказал он, может быть вспомнив тот ночной разговор.

А вражеское подполье продолжало действовать. Создавалась все большая угроза существованию Советской власти. «Наша революция в явной опасности,— говорил в те дни Феликс Эдмундович.— Мы должны послать на этот фронт, самый опасный и самый жестокий, решительных, твердых, преданных, на все готовых для защиты завоеваний революции товарищей...»

И еще он сказал о качестве чекистов: это должны быть люди, сознающие «великую свою миссию революционеров, недоступных ни подкупу, ни развращающему влиянию золота».

Через несколько дней после создания ВЧК на Ленина было совершено покушение. Враг целил в самое сердце революции. Это произошло 1 января 1918 года. Машину Владимира Ильича обстреляли на улице. Швейцарец Фриц Платтен, близкий друг Ильича по эмиграции, мгновенно прижал к себе голову Ленина, и пуля ударила в руку Платтена.

Борьба шла жестокая и непримиримая.

В марте восемнадцатого года Советское правительство переехало из Петрограда в Москву, и Дзержинский поселился на Лубянской улице, в доме 11. Здесь он жил и работал, отдавая всего себя делу, которому служил и посвятил всю свою жизнь. Он не был аскетом, этот человек кристально чистой души и высоких идей, но он никогда не допускал по отношению к себе никаких привилегий. Другие живут тяжело, трудно, значит, и он должен жить так же...

Семья Дзержинского — жена и теперь уже семилетний сын — все еще жила в Швейцарии, и это усугубляло неустроенность быта революционера, председателя ВЧК. Он недоедал, недосыпал, бывали случаи, когда от переутомления, казалось, терял последние силы. Железная койка, застланная грубым шерстяным одеялом, стояла тут же, за ширмой, в его кабинете. Здесь он и спал, урывая короткие часы, спал не раздеваясь, чтобы вскоре снова погрузиться в работу...

На столе его обычно стоял недопитый стакан пустого чая и лежал кусочек черного хлеба, оставленный от завтрака к обеду. Паек был скудный, приходилось растягивать, а Феликс Эдмундович настрого запретил выделять его хоть чемнибудь среди других чекистов...

Борьба требовала напряжения всех сил. Разоружение бандитствующей анархистской «черной гвардии» стоило жизни двенадцати сотрудникам ЧК. Но преступность в Москве после этой операции сократилась в пять раз.

Раскрыли и ликвидировали заговор монархистов из «союза защиты родины и свободы», группы спекулянтов, валютчиков. В канун открытия пятого Всероссийского съезда Советов под сценой Большого театра обнаружили бомбу с часовым механизмом. Преступление предотвратили. А на

другой день левые эсеры убили немецкого посла Мирбаха, чтобы спровоцировать войну Советской России с Германией. Дзержинский сам выехал на место преступления и выяснил, что террористы предъявили в посольстве мандат с фиктивной подписью председателя ВЧК Дзержинского, но печать была подлинной. Следы преступников вели в вооруженный отряд, приданный Чрезвычайной комиссии. Дзержинский немедленно поехал туда, к Покровскому бульвару, и... внезапно попал в штаб мятежников. Он потребовал выдать ему убийцу. Его силой разоружили и задержали. Только непревзойденное самообладание, выдержка, смелость спасли Дзержинского и двух его сотрудников.

Решительными мерами мятеж левых эсеров удалось ликвидировать. Разгром заговорщиков в Москве позволил быстрее справиться с контрреволюционными мятежами в Ярославле, Рыбинске, Орле и других городах.

Но враги не складывали оружия. 20 июня террористы убили в Петрограде Володарского, 30 августа — Урицкого, председателя петроградской ЧК. Дзержинский по совету Ленина выехал в Петроград, чтобы лично расследовать дело. Уехал он утром, а вечером произошло покушение на Ленина.

Феликс Эдмундович узнал об этом сразу же по приезде в Петроград и первым же поездом в общем вагоне, переполненном пассажирами, возвратился в Москву.

Прямо с вокзала направился в Кремль. Ильич лежал без сознания, все говорили шепотом, чтобы не потревожить больного. Врачи, собравшиеся на консилиум, были мрачны. С тяжелым сердцем поехал Дзержинский на Лубянку. Там ждали его совершенно неотложные дела: раскрывался новый заговор против республики Советов, во главе которого стоял руководитель британской дипломатической миссии Брюс Локкарт.

Перелом в состоянии здоровья Владимира Ильича произошел через несколько дней. Все облегченно вздохнули. Почувствовав себя лучше, Ильич начал тяготиться вынужденным бездельем. Ему не терпелось скорее узнать новости, он спрашивал о делах, говорил сам. Это тревожило докторов: Ленину требовался абсолютный покой.

Дзержинский каждый день навещал Ленина. Как-то он столкнулся в дверях с доктором, лечившим Ильича. Старый седой доктор был расстроен. На расспросы Дзержинского ответил:

— Ничего не могу поделать... Владимир Ильич все время говорит, расспрашивает, конечно, волнуется. Так все дежурство... Это опасно, он только начал поправляться.

Феликс Эдмундович отвел доктора в сторону.

— Знаете что, сделайте так...— Дзержинский заговорил совсем тихо.

Доктор усмехнулся.

— Да, да! — сказал Дзержинский.— Я знаю его характер.

Доктор решил последовать совету Дзержинского. В следующее дежурство сел в кресло рядом с постелью больного и сделал вид, что устал и начал дремать, потом будто заснул. Владимир Ильич не сразу заметил это, но, взглянув в утомленное лицо старого доктора, мгновенно затих. Он лежал не шелохнувшись, пока тот «спал». Это продолжалось довольно долго, может час, два... И когда кто-то входил в комнату, Ильич предупреждающе поднимал здоровую руку и негромко шептал:

— Тише, доктор устал, пусть отдохнет...

Эта хитрость удавалась каждый раз во время дежурства у кровати больного Ленина...

Расследование заговора разведчиков-дипломатов закончилось их полным разгромом. Большую роль в ликвидации контрреволюционного подполья сыграл Берзин — командир латышских стрелков, несших охрану Кремля. Это был человек «недоступный ни подкупу, ни развращающему влиянию золота». Сделав вид, будто он согласен на подкуп, Берзин взялся за огромную сумму денег выполнить задание заговорщиков. Он встречался с Локкартом, получал от него сотни и сотни тысяч рублей и... передавал их ВЧК — Дзержинскому.

Разоблачение организации Локкарта позволило ликвидировать десятки заговоров, которые внутренняя контрреволюция готовила вместе с агентами Антанты. Самого Локкарта арестовали, потом обменяли на Литвинова, первого советского полпреда в Англии, арестованного там в качестве заложника в связи с делом дипломата-разведчика Локкарта.

Феликс Эдмундович выбрал наконец время, чтобы поехать к семье, подготовить ее переезд на родину. Осенью восемнадцатого года Дзержинский нелегально отбыл в Швейцарию. Перед отъездом он сбрил бороду и усы, изменив таким образом свою внешность.

После многих лет разлуки Феликс Эдмундович увидел жену, сына... Это были короткие, мимолетные дни счастья.

Ни на минуту Дзержинский не расставался со своими родными. Раз, совершая загородную прогулку, Дзержинские подошли к пристани Лугано. Приблизился пароходик. На палубе было всего несколько пассажиров. Среди них, оперевшись на планшир, стоял... Брюс Локкарт, британский разведчик и дипломат, приехавший отдыхать в Швейцарию после своего провала в Советской России.

Бывает же такое стечение обстоятельств!

Пароходик развернулся бортом к берегу и прошел совсем близко вдоль пристани. Дзержинский даже не отвернулся, не выдал себя ни единым движением. Локкарт рассеянно взглянул на бритого элегантного мужчину, стоявшего вместе с ребенком и молодой женщиной. Дзержинский тоже рассеянно посмотрел на него... Локкарт не узнал председателя Чрезвычайной комиссии, который всего месяц назад допрашивал его в московской тюрьме на Лубянке. Да и кто мог подумать, что председатель Всероссийской ЧК дерзнет выехать на капиталистический Запад?!

Через неделю Дзержинский опять сидел в своем кабинете, в доме 11, на Большой Лубянке. Он разбирал бумаги, накопившиеся со времени его отъезда. Потом устало откинулся в кресле, вспомнил сына и светло улыбнулся... Так просидел он минуту-две и вновь принялся за работу.

Ему предстояло много дел — председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Телохранителю октябрьских завоеваний.

Юрий Яковлев

ПРИЗВАНИЕ

Великий путь, единственный, которым
Ходила Революция сама!

А. Прокофьев

Никто не помнил, когда он начал курить свою неизменную трубку и с каких пор его стали называть дядей Костей. Товарищи всегда видели его с трубкой в уголке рта. Эта прокуренная, похожая на знак вопроса трубка была его неотъемлемой частью, верной помощницей. Трубка помогала ему работать, спорить, скрывать волнение, она была своеобразным негасимым огоньком, на который сходились друзья и который располагал к дяде Косте незнакомых людей. Никто не представлял себе его без трубки.

Дядей Костей его называли уже в те времена, когда он еще сам годился в племянники большинству своих соратников. Где пристала к нему эта партийная кличка — в подпольном кружке 107-го полка или в Круглой башне минской тюрьмы, в редакции «Звезды» или на пересылке? Дядей Костей его называли знакомые и незнакомые люди. Так звали его родные в семье. Даже Владимир Ильич за глаза называл его дядей Костей.

А настоящее его имя было Константин Степанович Еремеев.

У него всю жизнь была одна специальность и одно призвание. Специальность — революционер. Призвание — революция. Он умел стрелять из винтовки и писать

острые политические статьи, редактировать газету и командовать войсками, он владел сложной и опасной службой конспиратора и был отличным оратором, поэтом и политработником. И все эти разнообразные проявления его одаренной натуры умещались в одну основную специальность: он был революционером — и в солдатской шинели, и во фраке дипломата, и в арестантском халате...

Кто был однажды в Карелии, тот навсегда запомнил тихую, светлую прелесть утренних озер, в которых отражаются сосны и неторопливо плывут облака. А по берегам, и по лесам, и по полям — всюду разбросаны древние круглолобные валуны. Кажется, на эту землю много лет тому назад обрушился каменный град. На фоне тихого покоя карельских озер особенно резко выделяется кипучий, падающий водосброс водопада Кивач. Этот стремительный поток воды, грохочущий, кидающий на берег хлопья белой пены, выглядит здесь возмущением сил природы, переворотом, непроходящим боем.

А по каменным уступам, по валунам, мокрым от постоянных брызг, карабкаются ловкие и бесстрашные фигурки мальчишек. Им хочется попасть в самое сердце водопада, и, хотя один неверный шаг может стоить жизни, мокрые босоногие мальчишки с горящими глазами лезут и лезут, заставляя взрослых закусывать от волнения губы.

В этих краях родился дядя Костя. И, глядя на мальчишек, штурмующих водопад, невольно думаешь о нем. Он наверняка пропадал здесь целыми днями и наверняка лез в самое пекло седого Кивача. Из родных мест он унес с собой в жизнь не долгий, устойчивый покой озер, а неутомимую энергию обрушивающейся воды, тревогу движения, азарт бойца.

Константин Степанович Еремеев делил свою жизнь на три жизни. Первая жизнь началась близ водопада Кивач в семье заводских крестьян, приписанных к Кончезерскому чугуноплавильному заводу. Потом — городская школа в Петрозаводске. Потом — в руках штурвал рулевого. Потом — винтовка солдата.

Первую жизнь многие люди проживают ровно и одинаково. А когда дороги расходятся, начинается новая, вторая жизнь. Для дяди Кости она была «подпольной революционной работой при многообразных условиях легальной и нелегальной жизни до увиденной воочию начавшейся революции — мечты и цели жизни». Эта вторая жизнь длилась

двадцать лет и уступила место **третьей** — в октябре 1917 года.



Константин Степанович ЕРЕМЕЕВ (1874—1931)

Кроме мечты и цели, которые не давали ему пасть духом и помогали выдержать испытания, которые судьба посылает революционеру, в жизни дяди Кости был человек, стоявший всегда рядом с ним. Он появился задолго до того, как они встретились. Его образ складывался в сознании молодого революционера из рассказов товарищей, из статей, из писем. С каждым годом этот человек становился ближе и понятнее, с каждым годом его образ становился выпуклее и ярче. Незримо присутствующий рядом человек помогал дяде Косте правильно ориентироваться в сложных и опасных лабиринтах революционного подполья, спасал его от одиночества и постоянно наполнял сознанием того, что невидимая армия революционеров велика и сильна. Этим человеком был для дяди Кости Владимир Ильич Ленин.

У каждого революционера своя тюремная география. У дяди Кости она обширна и трудна. Вильна — цитадель, Минск — Круглая башня, Москва — Пугачева башня, Рязань — тюрьма, Арск — этапный пункт... Если расставить на карте флажки в тех местах, где сидел в тюрьмах и отбывал ссылки дядя Костя, то карта будет усеяна ими. Двадцать лет его ежедневно подстерегала опасность. Двадцать лет — тюрьмы, побеги, подполье, эмиграция. Двадцать лет — напряженная, страстная работа революционера.

Неизвестно, выдержал ли бы он, прожил бы до победы свою самую трудную, вторую жизнь, если бы не Владимир Ильич. Ленин был рядом. И каждый раз, когда бесстрашный революционер оказывался на свободе, он снова принимался за свое дело.

По заданию партии Еремеев с Полетаевым выпускают большевистскую газету «Звезда». А когда «звездочка гаснет» — разгромлена полицией,— Еремеев у кормила новой ленинской газеты — «Правды». И снова рядом с ним Ленин. Ни граница, ни расстояние не могут их разлучить.

И вот в Петербурге, на Ивановской улице, дымит приветливая трубочка Еремеева. На ее огонек сходятся рабо-

чие. Они несут заметки в свою газету. И дядя Костя встречает их как самых желанных авторов. Он садится и терпеливо трудится над каждой корявой, малограмотной заметкой, несущей в себе драгоценные крупицы революционной правды. Он знает, с каким интересом будет Ленин читать эту заметку. Он знает, что Ильич особенно любит заметки, написанные рабочим почерком.

Каждый день, приходя в редакцию, дядя Костя в первую очередь спрашивает:

— От Владимира Ильича нет почты?

И если ему протягивают конверт с корреспонденцией Ленина, у дяди Кости становится праздничное настроение: когда в полосе стоит ленинский материал, чувствуешь себя спокойнее за газету.

Еремеев говорил:

— У нашей «Правды» три основных сотрудника: Владимир Ильич Ленин и рабочий корреспондент.

— А кто же третий? — спрашивали его.

И он, раскуривая трубку, отвечал:

— Третий? Невидимый и неуловимый, но легко ощущаемый. Рабочий читатель!

Он приходил в редакцию раньше, а уходил позже других. Он шел по пустынным петербургским улицам, а в боковом кармане пальто у него лежал свежий, пахнущий типографской краской газетный лист.

И ему казалось, что каждый новый номер рабочей газеты приближает его к мечте и цели. Из этих листков в те годы слагалась его вторая жизнь.

Каждый раз он спрашивал себя:

— Доволен ли Владимир Ильич этим номером?

И мысленно, про себя старался оценить коэффициент полезного действия свежего номера. Он умел читать свою газету строгими и требовательными глазами Ильича. Новый номер был не только днем жизни. Это был заряд в орудии революции. И надо было, чтобы выстрел был сильным и метким и чтобы не было холостых выстрелов.

В майский день 1913 года дядя Костя ходил из комнаты в комнату с небольшим листком в руках. Он так волновался, что даже забыл где-то свою трубку, чего с ним еще не случалось.

— Вы послушайте, что пишет Владимир Ильич! — восклицал он и начинал читать письмо, которое знал почти наизусть: — «Сегодня получил, наконец, комплект «Прав-

ды» за последние дни, вернее, за последнюю неделю. Очень благодарю и очень поздравляю с успехом: по-моему, несомненно, газета теперь *встала* на ноги. Улучшение громадное и серьезное,— надо надеяться, прочное и окончательное».

Еремеев широко улыбался. Тряс всем руки и шел в следующую комнату.

Он присутствовал при рождении первого номера «Правды». Он оставался на правдистском посту до разгрома нашей партийной газеты в 1914 году.

Партийная работа была личной жизнью дяди Кости, его увлечением, призванием, вдохновением. Он жил ею и находил в ней свое счастье, оправдание своего бытия. И, как истинный революционер, дядя Костя был полностью лишен тщеславия. Получая от партии новое задание, он никогда не взвешивал — понизили его или повысили. Он был убежден, что для революционера любой пост одинаково важен и почетен. Весь вопрос в том, как лучше и точнее выполнить очередное задание партии.

После «Правды» очередным заданием была агитация на фронте.

Семнадцатый год. На фронте тревожный и трудный момент. На одном участке идут бои. На другом — братание. В каждом полку, в каждой роте внутренняя борьба. Одни за мир, другие за войну до полной победы. Одни за революцию, другие против. Когда агитатор прибывает в часть, он не знает, кто сильней. Он не знает, назовут ли его товарищем или заклеймят предателем России и агентом Вильгельма. Трудно держать речь перед рабочими на заводском дворе, но куда сложнее подняться на трибуну перед людьми, у которых в руках винтовки, заряженные боевыми патронами. Неизвестно, что произойдет после твоей речи: полетят ли в воздух солдатские шапки или прозвучат выстрелы.

Дядя Костя прекрасно понимает, как велик риск агитатора на фронте. Но он старается быть спокойным. Он стоит у подножия трибуны, сооруженной из снарядных ящиков, и слушает выступление оратора. Следующая очередь его, Еремеева. А оратор, ударяя себя в грудь, выкрикивает:

— Большевики — изменники! Они разваливают армию. Они протягивают руку врагам. Их надо выжигать каленым железом!

Дядя Костя курит трубочку. Он старается сохранить присутствие духа. Сейчас очередь за ним. Отступать нельзя.

И вот он поднимается на трибуну и окидывает взглядом солдат. Он видит сотни усталых лиц. Одни стоят, опершись на винтовки, как на большие грозные посохи, другие сидят. Он разглядывает солдат, стараясь прочесть в глазах сочувствие. А солдаты разглядывают его. Они смотрят на него со злым любопытством. Они устали от речей. Им нужны не речи, а мир и земля. И дядя Костя собирается говорить о мире и земле. И о революции.

Когда председатель объявил, что будет выступать большевик Еремеев, в толпе прозвучали выкрики:

— Долой! Большевик! Ступай к Вильгельму!

Дядя Костя, не выпуская из рук трубочки, прислушивался к возгласам. Он определял их силу, как командир определяет плотность вражеского огня. Огонь не плотный. Одиночные выстрелы. Он почувствовал себя спокойнее и заговорил.

Дядя Костя никогда не подделывался под собеседников, не приседал на корточки перед простым солдатом и не тянулся перед ученым человеком. Он оставался самим собой и вместе с тем в разговоре с самыми различными людьми оказывался на той равной ступени, которая исключает всякую позу. Люди понимали это и дарили его своим расположением.

И теперь, окруженный усталыми, озлобленными людьми, которые еще не решили, с кем они, за что они и против чего, дядя Костя начал свою речь естественно и просто.

— Что нужно крестьянину? — спросил он и сам себе ответил: — Землю. Но для того, чтобы эта земля родила хлеб, крестьянин должен пахать ее, а не сидеть в окопах с винтовкой. К земле необходим мир!..

Выступавшие до дяди Кости ораторы говорили о борьбе партий, о верности Временному правительству и о многих других малопонятных для солдата вещах. Еремеев говорил солдатам о том, чем живет крестьянин, и они невольно слушали, и его слова находили сочувствие.

— Кто же даст крестьянам землю и мир? Помещики? Капиталисты? Керенский, который гонит народ на новую бойню? — спрашивал Еремеев и отвечал: — Нет!

Он говорил «нет», и вместе с ним это короткое слово повторяли про себя люди в серых шинелях. Кто-то в толпе попытался было крикнуть: «Долой!», но на него так цыкнули, что он замолчал и потерялся в толпе.

А большевик-агитатор продолжал:

— Мир и землю народу дадут большевики. Потому что большевики — это не помещики, не капиталисты, а рабочий народ.

Он говорил понятные вещи понятным языком. И люди, стоящие вокруг, забыли, что на них шинели, и теперь они опирались на винтовки так, как опираются в минуты отдыха на грабли. И сам агитатор представился им таким же мужиком, для которого нет ничего дороже матушки-земли. И от его трубки пахло горьковатым махорочным дымком.

Он уезжал в следующий полк, оставив каждому солдату частицу своего убеждения, своей страсти, своей веры. И эта частица, помноженная на сотни людей, становилась большой негасимой силой.

Он спешил дальше. И снова в агитатора летели враждебные выкрики, и снова его жизнь была в опасности. Но ничто не могло его остановить, он сеял искры революции, которым скоро суждено было разгореться могучим пламенем.

Октябрьский переворот. Министры Временного правительства арестованы. В России провозглашена Советская власть. Дело сделано быстро.

Но путь к этой победной октябрьской ночи был долгим и трудным для каждого революционера.

Константин Степанович Еремеев начал этот путь за двадцать лет до Октября. Теперь, когда оглядываешься на прошлое, все кажется закономерным и ясным. Так с высокого гребня перевала отчетливо видна узкая извилистая тропка, которая привела тебя к вершине. Но там внизу тропа была видна только на несколько шагов вперед, и когда она пропадала за уступом, то было неизвестно, что тебя там ожидает: отвесная стена или пропасть. Путь революционера можно сравнить разве что с путем бесстрашного альпиниста, который совершает восхождение на высочайшую вершину, куда до него еще не ступала нога человека.

Дядя Костя не знал, сколько времени ему придется идти этим путем, сколько лет продлится его *вторая жизнь*. Он бесстрашно и настойчиво делал свое дело: готовил народ к вооруженному восстанию. Потом его схватывали и сажали в застенок. В эти дни и недели вынужденного бездействия он мог спокойно оценивать свою жизнь и строить планы. Но как ни сложны были его думы, он в конце концов приходил к одному: продолжать борьбу. Шли годы. Зареву Кровавого воскресенья отозвались залпы краснопресненских баррикад. Потом на страну опустилась тюремная

ночь столыпинской реакции. Потом появился просвет, освещенный «Звездой» и «Правдой». Потом началась война. Он не знал, сколько лет будет продолжаться этот трудный путь. Но он ни на минуту не разуверился в нем, не отстал в дороге, как солдат, натерший ногу, не попросил отпуска. Заряд его революционности, вера в победу были так сильны, что их не могли поколебать ни поражения, ни провалы, ни усталость. Он шел к той вершине, которую никогда не упускал из виду. И он пришел к ней.

Наступил октябрь 1917 года. Дядя Костя приехал с фронта в Питер. И его сразу же назначают членом Военно-революционного комитета, которому партия, Ленин дали приказ: готовиться к перевороту.

И вот в столичных казармах появилась знакомая трубочка, изогнутая знаком вопроса. От этой трубочки прикуривали сотни солдатских цигарок. И когда в казарме неожиданно гас свет, а в то время это случалось нередко, то в темноте мигало множество огоньков, целое созвездие солдатских цигарок вокруг большой звезды — трубки революционера Еремеева. Дядя Костя готовил солдат к решающему штурму.

В эти дни он был агитатором и разведчиком. Весь гарнизон Петрограда раскололся на три части: на революционные войска, враждебные и нейтральные. Дядя Костя собирал полки, преданные революции. Днем и ночью он был среди солдат. И только улучив свободную минуту, спешил в Смольный, чтобы доложить обстановку. А вечером 25 октября он повел свои отряды на Зимний.

Дядя Костя не относился к той категории людей, у которых сила и власть выпирают наружу. В нем всегда жило доброе, мягкое начало, любовь и привязанность к людям, и его сила и боевитость были порождением той доброй воли, во имя которой он делал революцию. Именно поэтому он вместе с Подвойским сумел, используя революционную дисциплину, сделать Октябрьский переворот самой гуманной, самой бескровной революцией в истории человечества.

Когда под арку прикатили орудие, дядя Костя разрешил сделать из него только один выстрел. И перед этим сам инструктировал артиллеристов:

— Наводите. Постарайтесь, чтобы снаряд влетел во двор Это сразу снимет их пулеметы. Только не ахните в колонну!

Зимний пал. Его защитники обезоружены и отпущены на все четыре стороны. Министров взяли под стражу.

В городе воцарилась тишина.

«Медленно пошел я по набережной. Нева мирно несла свои сине-свинцовые волны. Две пары рыбачьих лодок работали на плесе вблизи Петропавловки. Кое-где уже проходили ранние прохожие, вероятно рабочие, которые живут далеко от места работ. Этот спокойный вид Невы, эта утренняя пустынность подействовали на меня так, что я почувствовал себя отдохнувшим, как будто после сна. Я направился в Смольный» — так вспоминал это утро Константин Степанович Еремеев в своей автобиографической книге «Пламя».

Двадцатилетний путь был позади. Кончилась вторая жизнь. Начиналась третья, последняя.

Командующий Петроградским военным округом склонился над столом. Перед ним лежат сводки. В них — наличие солдат в частях.

«В Преображенском полку по списку 3789 солдат, налицо 2575. В Егерском полку по списку 4457, налицо 2100. В Московском полку по списку 4586, налицо 2264...»

Командующий отодвигает бумаги и задумывается. Что делать? Старая армия умирала. А новая рождалась медленно и робко. Как рассортировать личный состав? Как оставить в строю революционных, сознательных солдат и освободиться от гнили?

Кто может помочь своим советом, своим авторитетом, своим мудрым предвидением? И Еремеев ясно понимал, что такую помощь несомненно окажет Ленин.

Когда-то, во времена «Звезды» и «Правды», ленинские советы шли медленно, им предстояло проделать большой путь, перебраться через границу. Теперь достаточно было вызвать автомобиль, за тридцать минут домчаться до Смольного — и ты с Лениным.

— Я ненадолго, Владимир Ильич,— говорит дядя Костя и прячет в карман трубку.

Ленин стоит перед ним, слегка откинув голову. Произносит, улыбаясь:

— Докладывайте все обстоятельно...

Такое впечатление, будто Владимир Ильич уже давно ждет приезда дяди Кости. Они садятся. Дядя Костя сокрушается:

— Как наладить дисциплину в войсках? Каждый день, когда приносят сводки, одно огорчение. На сегодня в Московском полку отсутствует половина личного состава.

Владимир Ильич внимательно слушает командующего и вдруг спрашивает:

— А что вы думаете по этому поводу?

— Мне кажется...— Еремеев следит за выражением лица Ленина.— Мне кажется, что надо распустить разложившуюся часть войск, а здоровую оставить.

Теперь Владимир Ильич уже не раздумывает, он говорит сразу:

— Эта здоровая часть так ничтожна, что никакой серьезной силы не представляет. Надо распустить всю старую армию и начать создавать новую.

— Из необученных новобранцев?

— Из революционных рабочих!

— Кто же научит их стрелять?

— Офицеры.

— Но ведь они опасны.

— Чем лучше они обучат стрелять наших рабочих, тем безопаснее будут сами для нашего дела.

От Ленина командующий уезжает с другим настроением. Ленинский план создания новой армии кажется ему исключительно смелым. И снова — в который раз! — дядя Костя поражается ленинскому умению: терпеливо выслушав обстановку, обобщить, найти верный путь.

«Ведь он никогда не держал в руках винтовки,— думает дядя Костя,— а рассуждает как крупный военный специалист. Распустить старую армию до конца и создать новую, из революционных рабочих!»

В эту ночь, отодвинув тревожные сводки из частей, Еремеев начал обдумывать организацию первого корпуса Красной Армии.

Через несколько дней он снова у Ленина. На этот раз он докладывает Ильичу план создания корпуса. Владимир Ильич внимательно слушает и делает какие-то заметки карандашом.

— Очень хорошо! — восклицает Ленин. Его глаза светятся.— Но... Хорошенько обдумайте и семь раз примерьте... Работайте да извещайте меня почаще, как обстоит дело.

Через месяц на столе командующего уже лежали другие сводки. В них районы Петрограда докладывали о ходе вербовки в Красную Армию.

«Нарвский район. Вербовочная комиссия. На заводе Редькина — 600 человек. На фабрике «Скороход» из 5400 отобрано 1000 человек, остальные пока стали на работу...»

Потом он собрал листки сводок в стопку, сколол их скрепкой и достал из стола другой листок. Встал и тихо стал читать:

— «Вступая в семью Рабоче-Крестьянской Красной Армии, добровольно и сознательно принимая на себя свою долю тяжелой и святой борьбы угнетенного и обездоленного народа...— Он читал тихим, но четким голосом. В одной руке у него был листок, другая была опущена.— ...даю обещание перед братьями по оружию, перед всем трудящимся народом и перед революционной совестью своей достойно, без измены, без страха и колебаний бороться за великое дело, которому отдали свою жизнь лучшие дети рабочей и крестьянской семьи, за дело победы Советской власти и торжество социализма».

Константин Степанович Еремеев читал текст первой Присяги Красной Армии. И казалось, что в эту минуту он первый принимал присягу, первым давал клятву молодой Советской республике.

Он не был похож на военного, который, придя домой, вместе с мундиром сбрасывает с себя свои служебные привычки и сразу меняет манеры, походку, голос. И не был похож на политического деятеля, который дома сразу обмякает и уже не интересуется ничем, кроме крепкого чая, домашних туфель и здоровья детей.

Он все время оставался самим собой. На службе он был так же приветлив и улыбчив, как дома, а дома не расставался со своими заботами, тревогами, борьбой. Он был всюду одним и тем же — с начальством и с подчиненными, с домашними и с незнакомыми людьми, всюду оставался самим собой, неизменным дядей Костей с трубкой в уголке рта.

Когда он приходил домой, то казалось, что вместе с ним приходило множество людей, о которых он говорил, думал, продолжал с ними спор и дело. В его разговоре эти люди жили и общались не только с ним, но и с его близкими.

Он был воплощением той революционной демократизации общества, когда всякая иерархия заменялась одним великим равенством — равенством перед революцией.

Третья жизнь не принесла дяде Косте покоя и отдыха. Она началась с боев под Пулковом и Царским Селом. В Гатчине он берет в плен генерала Краснова, а по пути в Москву захватывает бронепоезд Керенского. Во время восстания левых эсеров он охраняет Кремль и берет с боем броневик восставших. Восставшие постановляют: убить Еремеева. Он

знает об этом «приговоре» и знает, что «приговор» должен быть приведен в исполнение при вызове им на допрос захваченных «непримиримых». Но у него хватает твердости продолжать допрос. И об эту большевистскую твердость разбиваются все угрозы.

> И вечный бой.
> Покой нам только снится...

Кажется, эти блоковские строки написаны о нем. Этот человек не переносит покоя. Он берет на себя столько дел, что не хватает двадцати четырех часов. Он сражается с оружием в руках и одновременно редактирует газету «Красная Армия и Флот». Он возглавляет Воронежский укрепрайон и организует партийную школу на Украине. Одно назначение сменяется другим. Он является членом Реввоенсовета Балтийского флота, а затем становится организатором и редактором «Крокодила». И знаменитая трубочка в зубах крокодила — это трубочка дяди Кости.

Он отдавал революции все свои способности и силы. Он не отказывался ни от одного дела и выполнял все задания партии с полной отдачей. Он был настоящим большевиком-ленинцем, для которого не было разницы между своим, личным и общим, партийным. В характерах таких людей, как дядя Костя, вырабатывались, складывались и становились жизнеспособными законы нового общества, записанные в моральном кодексе строителей коммунизма.

...Из рамки старого портрета на меня смотрит человек с умными пристальными глазами, с располагающим лицом, с прядью волос, спадающей на лоб около правой брови, с усами, непременными для каждого питерского рабочего. В руке у него трубка, похожая на знак вопроса. Это дядя Костя — солдат ленинской стойкости, человек, который до конца своих дней не выпускал из рук красного знамени революции.

Мария Прилежаева

ГУЦУЛ

Мы прямо шли,
и нет у нас
Зерна неправды за собою.

Т. Шевченко

Есть на Украине, на Киевщине, Белая Церковь — теперь город, тогда местечко. Там на окраине в белой хате с вишневым садочком, разнояркими мальвами под окнами и знойно-золотыми подсолнухами родился Петр Запорожец. Там прошло его детство до пяти лет. Без отца.

Идут поезда мимо Белой Церкви. В Симферополь, Одессу, Москву... На Сибирь железной дороги нет, туда поезда не идут. В Сибири, на каторге, Кузьма Иванович Запорожец, отец.

— Какой он? Мама, расскажи про отца! — просит мальчик.

Вместо сказок и колыбельных песен мальчик слушает рассказы матери о жестокостях и самодурстве графа Браницкого, польского магната, владельца тысяч десятин украинской земли, о крестьянской недоле и бедах, об отце, неустрашимо поднявшем крестьянский народ против ненавистного пана.

Мальчик любит образ отца — отец представляется ему могучим богатырем. Все свое пятилетнее детство мальчик играет в одну игру: они с матерью едут в Сибирь; лютые морозы в Сибири, бураны; волчья стая вышла из темных

лесов на дорогу, подстерегает неосторожного путника; они с матерью едут...

А мать все годы разлуки добивается у начальства разрешения на выезд к ссыльному мужу. Добилась только на шестой год!

Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя;
Но сталью я одела грудь...

Мария Макаровна Запорожец была неграмотной женщиной, о Некрасове, скорее всего, даже не слышала, не знала о воспетой великим поэтом героической верности жен декабристов. Она была простой украинкой, но в ее характере и судьбе повторилась высокая судьба русских женщин. Котомка с пожитками, мешок с сухарями за спиной да за руку пятилетний сынишка — так молодая женщина отважно пустилась в дорогу, в Сибирь, где отбывал каторгу муж, Кузьма Запорожец.

Далек мой путь, тяжел мой путь...

По берегу Ишима, притока Иртыша, протянулось большое село Ишим. Садов в селе Ишиме нет. Не цветут в палисадниках мальвы. Весной и осенью непролазная грязь. С октября навалит снегу до окон. Глухо, тоскливо.

Но сбылась мечта: Петя Запорожец встретился с отцом. Отец, и верно, оказался богатырем, сильным, несломленным, с веселым взглядом; пышные усы длинно свисали чуть не на грудь.

— Здравствуй! — сказал отец, взял сына, подкинул вверх.— Расти молодцом!

Интересные оказались у отца в Ишиме товарищи — политические ссыльные, все образованные и начитанные люди. После каторги среди своих новых товарищей отец и сам выучился грамоте, пристрастился к чтению, и его первым драгоценным даром шестилетнему сыну была книга.

Товарищи дали отцу совет доживать оставшуюся ссылку в губернском городе Томске, где надо всеми силами добиваться сыну образования. Снабдили Кузьму Ивановича адресами и письмами, и семья Запорожцев отправилась в новый путь.

В Томске строился университет — первый университет в Сибири. Отец нанялся на строительство, а старшего сына

с помощью новых знакомых устроили на бесплатное место в реальное училище. Там мальчик впервые вступил в ученический революционный кружок.



Петр Кузьмич
ЗАПОРОЖЕЦ
(1873—1905)

Среднее образование Петр Запорожец заканчивал уже в Киеве, когда отец после ссылки (с возросшей семьей: появились новые дети) вернулся домой на Киевщину.

В Киевском реальном училище Петр Запорожец уже сам основал марксистский кружок. Юноши читали Маркса и Энгельса, Чернышевского, Шевченко, вели бурные споры о роли рабочего класса, о путях революционной борьбы. Петр Запорожец жил напряженно, интересно: науки, книги, дружбы, мечты, планы на будущее!.. Будущее виделось полным огромного, важного смысла!

И вот Петербург. Северная столица на берегах многоводной Невы. Запорожец стремился сюда всей душой. Не одно лишь учение привлекало пылкого юношу, он жаждал большого революционного действия, общения с профессионалами-революционерами и довольно скоро, поступив в Технологический, наиболее демократичный по составу студентов, институт в Петербурге, вошел в группу марксистов. Студенты института Степан Радченко, Глеб Кржижановский, Василий Старков, Петр Запорожец, Герман Красин были молоды, но их называли «стариками» за верность марксизму, просвещенность и за то, что они были сменой брусневцев, которых разгромила полиция. У них были связи по всему Петербургу с интеллигентами-марксистами — студентом университета Михаилом Сильвиным, курсистками Высших женских курсов сестрами Невзоровыми, учительницей вечерней школы Н. К. Крупской и многими, многими другими. Они знали рабочих. И Запорожец страстно сдружился с новыми товарищами.

Молодые марксисты считали своим первейшим долгом в совершенстве знать теорию. Петр Запорожец и прежде читал Маркса, и немало, но теперь оказалось все недостаточно. Он не умел отдаваться делу наполовину, тем более такому серьезному, и с головой ушел в пристальное изучение

Маркса. Открыто читать Маркса было опасно, Петр читал по ночам. Надо, кроме того, успевать в институте. Надо зарабатывать себе на пропитание. Каждая минута рассчитана. Жизнь бегом. Бессонные ночи. Однако когда же начнется то настоящее, ради чего они изучают теорию? Как начнется?

Петр Запорожец, мечтатель и реалист, все чаще задумывается над вопросами практики революционной борьбы. Кружковцы-марксисты связаны с рабочими, но неширoко. Может быть, они слишком законспирированы, чересчур осторожны?

«Без осторожности нельзя,— думает Петр Запорожец,— но и нельзя только и делать, что изучать теорию Маркса и читать рефераты друг другу да из-за конспирации двумтрем рабочим всего! Так далеко не уедешь».

Не одному Запорожцу приходит в голову мысль о том, что необходим перелом в их деятельности. В это время в Петербург приехал Владимир Ильич. Была осень 1893 года. Знаменательная осень!

В один осенний вечер на 7-й линии Васильевского острова в скромной комнатке сестер-курсисток Зинаиды и Софьи Невзоровых собрались петербургские марксисты. Пришел Владимир Ильич. Молодой, двадцатитрехлетний, подвижной, легкий; какая хорошая улыбка у Владимира Ильича, удивительно располагающая, как оригинально лицо! Владимир Ильич с первых же встреч бесконечно поразил Запорожца. Могучий и решительный ум, прямота, воля, твердое знание того, что нужно именно сейчас делать революционеру, каким путем нужно идти.

— Мы знаем марксизм, но знание без дела бесполезно. Рабочие борются, бастуют, но у них нет знания теории революционной борьбы. Соединение социализма с рабочим движением — вот наш лозунг сегодня. Вооружить рабочих марксизмом — вот наша задача сейчас.

Запорожец слушал, затаив дыхание. Он не запомнил точно слова, но смысл слов понял, простой важный смысл!

Красивый, со спокойными лентами черных бровей и внимательным взглядом темных прекрасных глаз, Запорожец был смел в обращении, а Владимира Ильича застеснялся, даже заговорить с ним не решился в первую встречу. Но Владимир Ильич быстро разгадал Петра Запорожца, оценил его цельный и ясный характер и надежную верность. Владимир Ильич полюбил Запорожца.

Время было непростое. Еще народники не сложили оружия, яростно оспаривая развитие капитализма в России. Были «легальные марксисты», эти говорили: «Капитализм есть в России и будет», но классовую борьбу рабочих, социалистическую революцию, диктатуру пролетариата они отвергали.

Необходимо было разбить тех и других. Ленин боролся с народниками, неопровержимо доказывая, что пора революционного народничества миновала, а теперешние народники 90-х годов — ложные, опасные «друзья народа». Ленин боролся и с «легальным марксизмом», видя его разрушительный вред для дела рабочего класса. Ленину были нужны товарищи, несомневающиеся, глубоко убежденные люди.

Таким был Петр Запорожец. Отныне агитационная работа — его главное и основное занятие. Запорожцу поручено было руководить рабочими кружками в крупнейшем Московско-Нарвском районе. Здесь много заводов и фабрик: Резиновая мануфактура, Новая бумагопрядильная фабрика, фабрика Кенига и на первом месте за Нарвской заставой знаменитый Путиловский завод, завод-гигант с десятками мастерских и цехов — мартеновских, механических, пушечных, сталелитейных, кораблестроительных, паровозных.

Невдалеке от завода, в Огородном переулке, стояли доходные дома, все в два этажа, все в один цвет, с одинаковыми голенастыми тополями под окнами, одинаковыми вдоль заборов сточными канавами. В доходных домах Огородного квартировали путиловцы. В одном из домов, в квартире молодых путиловцев Бори Зиновьева и Пети Карамышева собирался кружок Запорожца. Запорожец не робел перед рабочими. В свои двадцать лет он был образован и сведущ. Рабочие для него, крестьянского сына, были своими ребятами. Он помнил Ишим, каторжан, бредущих на рудники под звон кандалов, помнил Томск, где отец работал на стройке. Запорожец с детских лет знал нравы и нужды рабочих. Он приходил на кружок спокойный, простой, ему не надо было искать подхода и тона для разговора с рабочими. Тон сам нашелся, естественный, как было естественно все в этом красивом живом человеке, наделенном талантом располагать к себе людей. Путиловцы с первого занятия расположились к Петру Запорожцу. Для них он был Василием Федоровичем. Рабочие охотно рассказывали Василию Федоровичу про порядки в цехах, про зверюгу-мастера, замучившего штрафами всех, от мала до стара, про обсчеты, про

упавшего на раскаленную болванку и в мгновение ока обгоревшего до полусмерти рабочего, которого, как стал инвалидом, выгнали за ненадобностью с завода без помощи.

Из рассказов рисовалась мрачная, жестокая картина беззащитности, бесправия, непомерного труда рабочих. Беззащитны и бесправны были не какие-то отвлеченные рабочие, а вот эти, знакомые: Петя Карамышев, Боря Зиновьев, Николай Иванов, Никита Меркулов, Иван Бабушкин и еще многие, уже близкие, уже дорогие Петру Запорожцу его слушатели.

Василий Федорович часами вел занятия в кружках. Никто никогда не видел уставшим Василия Федоровича, голос его никогда не слабел, не угасал пламенный взгляд.

Потом, глухой ночью студент Петр Запорожец энергично шагал пешком на другой конец Петербурга, пряча улыбку в поднятый воротник, низко надвинув шапку на лоб, чтобы шпик или постовой полицейский не удивился оживленному блеску глаз, не запомнил странно счастливого юношу на безлюдном Петергофском шоссе.

Владимир Ильич все больше ценил Запорожца. Сеть марксистских кружков в Петербурге расширялась, распространяясь на другие города. Для руководства была создана центральная группа. Запорожец был ее членом. Разумный, внутренне пылающий и сдержанный внешне, он был одним из первых советчиков и помощников Владимира Ильича.

Необходимо составить программу для занятий кружков. Кого привлечь? Запорожца. Надо срочно написать листовку, распространить прокламации, провести сходку рабочих по поводу невыплаты получки, выработать меры протеста, собрать материал для воззвания, подготовить стачку на фабрике. Запорожец успевал все, работая без отказа и отдыха.

Впрочем, иногда выпадал отдых. Иногда решали: сегодня праздник, будем веселиться! Все товарищи Запорожца, трудом и волей которых создавались зачатки будущей партии, были так молоды! Ленину, старшему, в ту пору шел всего двадцать пятый год! Разве может молодость быть без песни и смеха, без шутки и радости?

Но все же для Запорожца неожиданным было увидеть, как заразительно, от души веселится Владимир Ильич — этот человек необыкновенного ума и таланта. Его нельзя ни с кем сравнить. Конспиративно отпечатанная книга Владимира Ильича «Что такое «друзья народа»...» потрясла Запорожца. Эту удивительную книгу, раскрывающую за-

коны развития русского общества и доказывающую неизбежность коммунистической революции в России, Запорожец читал, холодея и горя от волнения.

И вот он, гениальный Ульянов, сидит в тесном кружке друзей — здесь Кржижановский, Ванеев, Старков, Крупская, сестры Невзоровы — и поет, с упоением поет в общем хоре. И хохочет, и в его чуть сощуренных коричневатых глазах задорно искрится веселье.

— А теперь спойте вы, что-нибудь украинское,— говорит он своим милым картавым голосом.

Запорожец запевает:

За Сибіром сонце сходить...
Хлопці, не зівайте:
Вы на мене, Кармалюка,
Всю надію майте!

Повернувся я з Сибіру,
Та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах,
А все ж не на волі.

У него низкий, глубокий голос. Он поет о революционере, вожде украинских крестьян Кармалюке, о родной Украине, томясь любовью, печалью и какой-то неведомой радостью.

— Хорошо! — растроганно говорит Владимир Ильич. И добавляет: — Расскажите что-нибудь о своих местах.

Хочется рассказать Владимиру Ильичу о родном что-то очень значительное. Петр Запорожец рассказывает о гуцулах, повторяя рассказы отца. Где, от кого слыхивал отец это предание о вольнолюбивом племени карпатских украинцев? Ловкие, выносливые, они живут на склонах Карпат и в ущельях, пася скот на горных пастбищах, сплавляя лес по горным рекам. Они ненавидят власть над собою Австро-Венгерской империи и тоскуют о родине, милой Украине. Множество сказок, песен знают гуцулы. Есть у гуцулов одна заветная сказка — легенда о герое и великане, народном мстителе Довбуше. Настанет время, и Довбуш придет, и гуцулы поднимутся добывать себе волю, горы и родину...

— Хорошо! — повторил Владимир Ильич.

После того товарищи стали называть Петра Запорожца Гуцулом, это стало его партийной кличкой. Он любил свою кличку, ее тайный гордый смысл. Ах, многое любил Гуцул! Он любил музыку так сильно и страстно, что бледнел, слушая.

Послушать музыку иногда удавалось в доме Александры Михайловны Калмыковой. Она была светской дамой, одновременно владелицей книжного склада на Литейном проспекте, одновременно учительницей вечерней школы рабочих и другом петербургских марксистов. Разумеется, власти и шпики не подозревали о связях вдовы сенатора Александры Михайловны Калмыковой с марксистами.

У Калмыковой нередко бывали в гостях музыканты.

...Петр Запорожец приютился в полутемном углу гостиной, стараясь быть незаметным. Он не любил безразличные разговоры, предпочитая молчать. Он пришел услышать знаменитого Римского-Корсакова. Римский-Корсаков сел за рояль. Запорожец жадно, не отрываясь, глядел на композитора, его большой белый лоб и крупные руки с длинными пальцами. Торжественные, величавые, нежные звуки полились из-под пальцев музыканта. Запорожец поставил локти на колени, склонил голову, взял в ладони виски.

Прекрасный мир поэзии, музыки! Настанет ли время, когда этот мир будет доступен всем рабочим, крестьянам?

Да! — отвечал Запорожцу Владимир Ильич своими книгами, всем строем своей деятельности и революционной борьбы. Коммунизм — значит труд, творчество, изобилие, расцвет наук и поэзии!

Запорожец знал: чтобы скорее это сбылось, надо не покладая рук выполнять работу по подготовке и приближению революции. Черновую, будничную, опасную...

Дела прибывало. Все чаще появлялась нужда встречаться с рабочими и между собою для обсуждения практических вопросов революционной борьбы. А охранка между тем искала следы устроителей марксистских кружков. Шпики шныряли по заводам и фабрикам. Но жандармы и шпики уже были не в силах остановить разбуженное движение. Только строже и строже приходилось соблюдать конспирацию. Гуцул был до дерзости изобретательным конспиратором. Никакие ухищрения сыщиков его не страшили. Он верил в непобедимость рабочего дела и свою удачливость. Действительно, удача неизменно сопровождала Гуцула. Надо ли отвезти нелегальную литературу для рабочих кружков в Екатеринослав, организовать и возглавить забастовку в Белостоке, завязать отношения с марксистами Киева — Гуцул без колебания едет, выполняет задание, возвращается бод-

рый, удовлетворенный сознанием выполненного дела. И без промедлений продолжает агитационную работу в Московско-Нарвском районе.

За Московской заставой была фабрика обуви. Условия работы там тяжелейшие. Штрафы, взятки, обсчеты, оскорбления рабочих, особенно работниц, мастерами, неоплаченные переработки и простои были нормой на этой угрюмой фабрике с темными, как в тюрьме, низкими сводами и зарешеченными окнами. Готовилась стачка. Гуцул с головой ушел в ее подготовку. Собирал сведения, точные факты, страшные свидетельства нечеловеческого существования рабочих. Совместно с организаторами стачки намечал ее время. Вырабатывал требования к хозяевам. Составлял листовки (и впоследствии думал написать большую статью о несправедливых законах, вернее, беззакониях в области фабрично-заводского труда).

«...Проснемся же и будем готовиться к великой борьбе с нашими угнетателями!» — лихорадочно писал Запорожец, огромные его глаза возбужденно блестели.

Стачка длилась три дня. Хозяева уступили, победа была за рабочими. Это было и победой Гуцула-Запорожца.

Его пошатывало от усталости и бессонных ночей. Анатолий Ванеев, товарищ Запорожца по институту и революционной работе, вынужденный, как и он, зарабатывать себе на пропитание, жил на даче в Териоках, состоя репетитором детей инженера путей сообщения Н. Г. Михайловского.

— Требуется отдохнуть,— сказал Ванеев, увидев осунувшееся лицо Запорожца.— Треба отдохнуть. Махнем в Териоки,— прибавил он таким решительным тоном, что Гуцул не стал спорить.

Да и соблазнительно подышать морским воздухом, поглядеть, как качают вершинами сосны, и побывать у инженера Михайловского, который был известным писателем Н. Г. Гариным-Михайловским. Терраса с видом на море, цветы, тугая от крахмала, белая скатерть на столе — как далеко все это от нищеты рабочих каморок, мрака фабричных мастерских, грохота станков, над которыми гнутся тощие спины, как далеко, далеко! Вначале Запорожец хмуро молчал, прислушиваясь к беседе писателя с его старым знакомцем Ванеевым. Оказывается, у писателя много знакомых студентов. Оказывается, он отлично знает деревню. И вдруг комфорт обстановки перестал иметь значение. Перед Запорожцем был образованный человек, одержимый идеей, за

которую его невзлюбила инженерная братия, а министерство путей сообщения предложило выйти в отставку. Идея заключалась в том, чтобы покрыть Россию сетью дешевых железных дорог. Писатель Гарин-Михайловский боролся за идею пером, выступая со статьями в журналах и газетах. «Вот как, вот ты какой!» — уже с интересом и симпатией думал Запорожец.

Они поздно уходили от Гарина-Михайловского. Правда, Гуцул, при всем доверии и расположении к автору «Детства Темы», так и не разговорился. Конспиратор прочно сидел в нем. Но воображение его уже буйно работало. Он представлял, как использует узнанное сегодня на занятиях кружка. Он расскажет рабочим, как в Российском самодержавном государстве инженера, построившего десятки железных дорог, выгоняют со службы за то, что он хочет строить дороги дешевле. Бессмыслица? Нет. Подрядчикам и чиновникам соблазнительно хапать из народной казны. И привычно. Вот куда уходят ваш труд, ваши деньги, рабочие!

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», объединявший марксистские кружки на заводах и фабриках, не был еще так назван, но работал все смелее и активнее.

Организованные Запорожцем стачки — в Белостоке, на «Скороходе» в Петербурге — завершились победой рабочих.

Теперь Владимир Ильич поставил вопрос перед товарищами: необходимо издавать нелегальную газету для рабочих. Обсудили. Решение принято. Нашли название: «Рабочее дело». Надо найти, где печатать. У «Союза борьбы» не было своей нелегальной типографии. Такую типографию имела группа народовольцев. Договорились с народовольцами, и началась энергичная подготовка первого номера «Рабочего дела».

Запорожец написал для газеты воззвание «Борьба с правительством», статью о стачке в Белостоке. Он писал: русские, польские, украинские рабочие, объединяйтесь для борьбы с фабрикантами! Молодой Гуцул был интернационалистом, последовательным и глубоко убежденным.

Материалы собраны, номер готов. Подготовленный номер попал Запорожцу для последнего чтения, незадолго до сдачи в набор. Он читал его ночью. Статьи были без подписей, но Петр узнал: написаны Владимиром Ильичем. Их было несколько — Петр безошибочно их отличил по стилю, политической остроте.

— Здóрово, здóрово! — в возбуждении приговаривал Петр, читая статью «О чем думают наши министры?».

Убийственный сарказм, беспощадный анализ противонародных действий министров. Господа министры надеются вечно держать народ в темноте и невежестве?

«Рабочие! Вы видите, как смертельно боятся наши министры соединения знания с рабочим людом! Покажите же всем, что никакая сила не сможет отнять у рабочих сознания! Без знания рабочие — беззащитны, со знанием они — сила!» — писал Владимир Ильич.

«Какой характерный почерк!» — пришла вдруг мысль Запорожцу. Тревога закралась в сердце. Был поздний час, и Петр лег. Не спалось. Почти весь номер состоит из статей Владимира Ильича. А вдруг рукописи захватит полиция? Довольно взглянуть на эти строчки... Разве можно сдавать в типографию подлинники статей Владимира Ильича?.. Запорожец вскочил, зажег лампу и сел переписывать эти статьи. К утру они были все переписаны. Он так и не ложился и утром вышел из дому возбужденный и довольный: сделано важное дело, полезное для «Союза борьбы».

Этот день 6 декабря 1895 года весь был радостным, праздничным. В этот день технологи-кавказцы ежегодно устраивали студенческий бал. Давался концерт как бы в пользу бедных учащихся, на самом же деле товарищи из «Союза борьбы» — сестры Невзоровы, Старков, Запорожец, добившись права торговать на балу в киосках, собирали выручку в кассу «Союза». Запорожец вместе с Софьей Невзоровой продавал в киоске цветы. Как никогда, был он в этот вечер весел и ярок, Софья Невзорова запомнила его добрые шутки, чудесный внутренний свет, каким лучились глаза. «Что-то с ним хорошее, очень счастливое!» — подумала Софья Невзорова.

Пришел Владимир Ильич. У него были назначены в этот вечер конспиративные встречи. Из осторожности, чтобы не навлечь на Гуцула подозрения, он не оглянулся, минуя цветочный киоск.

— Что-то у вас очень хорошее? — спросила Запорожца Софья Невзорова, уловив взгляд, каким он проводил Владимира Ильича.

Запорожец улыбнулся.

Через два дня члены «Союза» собрались окончательно обсудить содержание первого номера газеты «Рабочее дело». Завтра Анатолию Ванееву предстояло отвезти номер

в нелегальную типографию. И уже Владимир Ильич намечал и планировал новые выпуски...

Не все обратили внимание, что статьи Владимира Ильича переписаны другой рукой. Ванеев заметил.

— Ты?

— Нельзя подвергать его риску,— коротко ответил Запорожец.

— Да,— сказал Ванеев.— Ведь у него казнен брат. Это тяжелит виновность, в случае...

Когда расходились, Владимир Ильич пожал Запорожцу на прощание руку и, картавя, сказал:

— Готовьте новую статью. Вы превосходно написали о стачке в Белостоке, все товарищи считают — превосходная статья. И вот что еще: вы интересно ставите важные вопросы об интернационализме.

Утомленный и полный отрадных впечатлений и мыслей, поднимающих душу, Запорожец вернулся домой и быстро уснул. Среди ночи раздался звонок. Еще. Некоторое время Запорожец слушал, не понимая, эти ночные требовательные звонки. Внезапно озноб пробежал по телу. Он понял. Уже стучали в дверь комнаты. Запорожец встал, торопливо оделся. Этой ночью он был арестован.

Захлопнулась тюремная дверь. Каменный пол, узкая койка, откидной железный стол, высоко под потолком зарешеченное тусклое оконце. Скрестив руки, Запорожец ходил взад и вперед по камере и думал: кто арестован, кроме него? Взят ли Ванеев? Если да, значит, взят и весь номер «Рабочего дела», опасная улика!

Гораздо позднее Запорожец узнал, что в ночь с 8 на 9 декабря 1895 года одновременно с ним арестованы были Ульянов, Ванеев, Старков, Кржижановский, Малченко и рабочие Карамышев, Зиновьев, Шелгунов, Полетаев. Были схвачены активнейшие члены «Союза борьбы». Но Гуцул узнал об этом много времени спустя.

Первый допрос — 21 декабря, на тринадцатый день после ареста. Тринадцать дней Запорожец провел в одиночке, в полной безвестности. Никто его не навещал. Свидания с ним запрещены. Никто не посылал передач. Передачи запрещены. Запрещены книги. Отчего? Запорожец пытался добиться объяснения от тюремного начальства. Молчание.

Ожидая допроса, Запорожец обдумывал, как держаться

перед следователем. Как объяснить найденные при аресте программу для собирания сведений о положении рабочих, заметки об устройстве рабочих библиотек с революционными изданиями, брошюры на польском языке, воззвания. Особенно заботили Запорожца отобранные у него при обыске шесть крестьянских паспортов, которые им хранились на случай, если кому-нибудь из товарищей потребуется из конспиративных целей «исчезнуть».

«Объясню, что забыл вернуть паспорта рабочим, когда работал в экспедиции по орошению Кавказа». Он вспомнил эту экспедицию — для заработка выезжал на Кавказ в летние каникулы 1893 года. Он вспомнил южное горячее небо, громады гор с блистающими на солнце снежными вершинами и чувство торжественности и бесконечности жизни, какое испытывал там, в горах. Как хороша ты и заманчива, жизнь!

Его вызвали на допрос в присутствии самого помощника прокурора С.-Петербургской судебной палаты Кичина, верного слуги самодержавия, известного активной реакционностью взглядов и хладнокровной жестокостью. «Зовут меня Петр Кузьмич Запорожец. Я не признаю себя виновным...» Он не признался ни в чем.

В этот же день допрашивался Владимир Ильич. Случайно Запорожец узнал об этом. Он вернулся в камеру, взволнованный, и мысленно разговаривал с ним: «Владимир Ильич, удивительный, необыкновенный Владимир Ильич! Счастье, что я вас знал, дружил с вами и работал во имя великих целей, для коммунистической революции, которая будет!»

И все показалось ему нетрудным, переносимым — одиночество, угрюмость камеры, допросы, ссылка.

Тянулись дни. Почти всех арестованных навещали родные. Запорожца некому навещать. Далеко семья Запорожца!

Товарищи беспокоились о Гуцуле. Ленин в шифрованном письме спрашивал сестру Анну Ильиничну: что Гуцул?

Зинаида Невзорова, не попавшая в декабрьские аресты, добилась наконец разрешения передать Гуцулу немного денег. Книг не разрешали передавать. Петр томился без книг, без свиданий, без вестей из большого мира, из жизни. Невзорова подыскала для свиданий «невесту». Стала приходить «невеста», незнакомая девушка. Говорили при жандарме, через решетку. Настоящего душевного разговора не получалось. «Да. Нет. Все в норме. Здоров». А между тем он был уже не очень здоров. Он плохо спал, плохо ел, стал замкнут,

угрюм. Не знавшая его прежним, «невеста» не подозревала нависшей беды.

Однажды появился проблеск надежды. Гарин-Михайловский, узнав об аресте Анатолия Ванеева, бывшего репетитора детей, и пришедшегося ему по душе Петра Запорожца, обратился с заявлением к директору департамента государственной полиции: «Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство отпустить мне на поруки двух студентов-технологов — Анатолия Александровича Ванеева и Петра Кузьмича Запорожца... лично мне известных, безукоризненных молодых людей со стороны внешнего поведения. Апреля 6 дня 1896 года. Инженер Н. Михайловский».

Ходатайство писателя Гарина-Михайловского было отклонено категорически.

А через несколько дней следствием было предъявлено новое обвинение, объяснившее Запорожцу исключительность примененного к нему тюремного режима. Экспертиза следствия установила почерк Запорожца почти всех статей для «Рабочего дела», отобранных при аресте у Анатолия Ванеева. Автором противоправительственных, «преступных» статей следствие признало Петра Запорожца.

Бледный, худой, с мрачным блеском в глазах, Петр Запорожец лаконично давал показания: «Относительно предъявленных мне рукописей... объясняю, что, вопреки признанию экспертизы, эти рукописи писаны не мною и я их вижу в первый раз».

Сколько ни вызывали его на допросы, ответ неизменен: «Нет. Не виновен. Не знаю».

Следствие продолжалось. На основании полученных данных «Дело о преступных кружках» стало называться «Делом о студенте С.-Петербургского технологического института Петре Кузьмиче Запорожце и других обвиняемых в государственном преступлении».

«Нет. Не виновен. Не знаю!» — повторял на допросах Гуцул. Так отвечали все товарищи. Следствие продолжалось, но не шло вперед. Ничего нового не удавалось открыть. Никаких признаний не удавалось вырвать.

Прокурор Кичин, самолично присутствовавший на всех допросах Владимира Ульянова и Петра Запорожца, так и не распознал истинного вдохновителя и организатора революционного рабочего движения, которое нельзя уже было остановить, как нельзя остановить морскую волну или наступление весны.

После четырнадцати месяцев одиночного заключения обвиняемым был сообщен приговор. Главным преступником был признан Петр Запорожец, автор многих статей, подстрекавших рабочих к борьбе с хозяевами и правительством, основатель тайных кружков, составляющих социал-демократическое общество с целью ниспровержения государственного строя в России. Приговор гласил: выслать под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь Петра Запорожца на пять лет (все остальные высылались на три года).

Три дня на воле в Петербурге. Владимир Ильич использовал время свободы перед высылкой для встреч с членами «Союза борьбы». «Старики» — товарищи Ленина встречаются с «молодыми». Ленин проницательно распознает «новое» веяние среди «молодых» — «экономизм» и непримиримо его осуждает. Дискуссии, встречи, суждения Ленина об «экономизме» были важны, очень важны для развития революционного движения.

В Петербург съехались близкие и родные осужденных. Хоть недолго побыть вместе перед разлукой, пригреть сыновей. Покормить домашней едой, собрать в дальний путь. Только к Запорожцу никто не приехал. За вину сына отец арестован на Киевщине, снова в тюрьме. Мать с детьми без денег. Сестер Невзоровых, его заботливых друзей, тоже нет: они под надзором полиции в Нижнем.

За эти промчавшиеся мгновенно три дня товарищи не успели приглядеться к Гуцулу. Заметили его болезнь, когда перед отправкой по этапу в ссылку оказались на много дней все вместе в общей камере Бутырской тюрьмы.

Зная о близкой дружбе Петра с обеими сестрами Невзоровыми, товарищи вызвали из Нижнего Софью. Нелегко было поднадзорной выбираться в Москву, но Софья приехала. Гуцул ожил с ее приездом, обрадовался. У всех отлегло от души. Но ненадолго.

«Где ты, прежний Гуцул, красивый, умный, великодушный, смелый Гуцул? Что они сделали с тобой?» — печально думала Софья Невзорова.

Он прожил после этого несколько лет. Все эти годы для Петра Запорожца были жестоким мучением.

А враги были все время возле. Даже в Киевской и Винницкой психиатрических лечебницах, куда он был помещен на лечение, с Запорожца не снимался полицейский надзор. В мундире, с шашкой на боку, бесцеремонно стуча сапогами, полицейский входил в больничную палату, чтобы по всем

правилам «гласного надзора» удостовериться, что «политический преступник» на месте. «Политический преступник» лежал на больничной койке, сраженный новым недугом: Запорожца съедал туберкулез.

«Высокоуважаемый г-н надзиратель!..— писала в больницу мать.— Покорнейше прошу вас... напишите мне... о состоянии здоровья моего когда-то самого умного и самого добрейшего в мире любимого сына Петра Запорожца». Что могла она сделать для сына? Чем помочь?

Товарищи не забывали Гуцула. Зинаида Невзорова, выйдя из тюрьмы, пыталась однажды навестить друга. Полиция задержала ее, не пустила к больному. Посылала деньги Гуцулу сестра Ленина Анна Ильинична. «Ужасно жаль Петра Кузьмича! Я только из твоего письма получил известие о нем!» — писал Владимир Ильич матери из Шушенского. Товарищи по «Союзу борьбы» — Кржижановский, Малченко, Старков после сибирской ссылки добились разрешения ежемесячно оказывать Запорожцу материальную помощь. Но спасти его уже было нельзя. Только за месяц до смерти с Петра Запорожца сняли полицейский надзор.

У Владимира Ильича Ленина было много верных друзей, безгранично преданных революционному делу рабочего класса.

Таким другом Владимира Ильича был Петр Кузьмич Запорожец — высокий, статный, с большим умным лбом и чудесными, то задумчивыми, то сверкающими огнем и весельем глазами. Он благородно и мужественно прожил свою недолгую жизнь.

Николай Тихонов

ГЛАШАТАЙ ВЕКА

Глашатай советского века,
Трибуном он, воином был
На снежных предгорьях Казбека,
Во мраке подпольной борьбы.
. . . .
Но всей большевистской душою
Любил он громаду громад
Любовью последней, большою —
Большой трудовой Ленинград.

Ранним июльским утром 1912 года по одной из окраинных улиц Владикавказа шел молодой человек невысокого роста, широкоплечий, с серьезными, почти строгими чертами лица, с густыми волосами, с непокорным вихром на правом виске.

Шел он без шляпы, медленно, в глубокой задумчивости, по улице, поросшей маленькой жесткой травой. Он поднял голову и остановился, невольно пораженный открывшимся ему величественным видом.

В ясном, голубоватом небе перед ним вставали, росли и до края горизонта шли горы. Не впервые видел он их, но сейчас, в эти прохладные утренние часы, черные горы, покрытые, как буркой, буковыми и карагачевыми лесами, были так живописны, таили такие темно-зеленые переливы своих изгибов, что он, не отрываясь, взглядывался в их красоты. Вдоволь насмотревшись на них, он перенес свой взгляд на альпийские светло-серые луга Пастбищного хребта, на плоскую высоту Столовой горы, венчавшую суровые коричневые скалы.

Но как вспыхнул его взор, когда над всем великанским простором хребтов, уже повитых рубчатой пеленой тумана,

легкого и прозрачного, увидел подымающийся до небес и как бы тающий в воздухе ослепительно сверкающий купол Казбека.

Этот купол был близким, манящим и одновременно рисовался, как нечто невозможное и недоступное. Не без гордости смотрел на него молодой человек: как-никак, а он сам ступал по ледяным склонам этого купола, и память навсегда сохранила звон ледоруба и длинный путь через снега, льды и отвесы скал. На вершине Казбека испытал он особое чувство — всевластность человека, победителя природы, творца, искателя, мастера.

С вершины Казбека он видел как бы во все концы света. Земля лежала, полная богатств, которые надо раскрепостить. Она требовала разумного, смелого, революционного труда. Он знал, что не для жадных и корыстных маленьких людей с большим денежным мешком существуют ее богатства...

Сегодня он снова смотрел на эти давно полюбившиеся ему каменные, снежные громады, полный нового ощущения жизни. Эти громады веяли свободой, силой, духом борьбы, дышали отвагой.

С юности он был человеком борьбы, бесстрашным борцом за свободу. В восемнадцать лет — участник большевистского подполья, на руководящей работе в томской партийной организации, отвечает за нелегальную типографию.

Был он по рождению Сергеем Костриковым, уроженцем Уржума. В первый свой приезд на Кавказ стал Сергеем Мироновым. А во второй — приобрел новое имя, которое он пронесет через всю жизнь. Друзья, помогая ему в поисках, листали календарь, полушутя-полусерьезно рекомендуя то одну, то другую партийную кличку. И вдруг из груды имен, звучавших обыкновенно и скучно, блеснуло имя — Кир!

— Буду Кировым! — воскликнул он.— Правда, персидский царь... Но тем лучше для подполья, для солдата революции.

Да, он был солдатом революции. В пятнадцать лет уже читал газету «Искра» и пел «Варшавянку», познакомился со ссыльными революционерами.

Далек его родной маленький Уржум от этих кавказских краев. Но там и тут одни и те же законы царского самовластья, одно и то же угнетение народа, разорение и предельная бедность, так хорошо знакомые ему с детства, когда в холодные, длинные ночи согревали его — юного мечта-

теля — жаркие и тревожные думы: как помочь народу в борьбе против царя, против всех угнетателей?

Нестерпимая жажда знаний владела им. И в Казани, где он учился в механико-техническом училище, и в Томске — на вечерних общеобразовательных курсах выделялся он среди товарищей своей даровитостью, гордостью и независимостью суждений.

Вокруг была безвыходная бедность и нужда. Он сам испытал это в дни, когда даже самая дешевая столовая подчас была ему не по карману. Он получал единовременные пособия или бесплатный обед.



Сергей Миронович
КИРОВ
(1886—1934)

Учителя заметили его бесспорную одаренность и непокорный, резкий нрав. Сергей ждал дня решительных действий. Таким стал для него день 18 января 1905 года.

Большая демонстрация закончилась открытым боем с казаками и полицией. Его друга — печатника Кононова, несшего знамя с надписью: «Долой самодержавие!», казаки убили. Но Кононов успел спрятать знамя на своей груди. Сергей решил спасти знамя во что бы то ни стало. Перелез каменную ограду, уговорил сторожа пустить его в мертвецкую, чтобы, как он объяснил, опознать убитого приятеля. В темноте ощупью он снял с тела мертвого друга окровавленное знамя. Оно еще много раз колыхалось на демонстрациях и в уличных схватках над головами борцов за революцию.

Тогда, в 1905 году, загремели залпы дружинников в ответ на стрельбу полицейских. В передовых цепях студентов и рабочих находился Сергей Костриков, которого не могло ничто запугать. Всем сердцем он слился с партией, с рабочим классом, понимал: предстоит долгая, кровавая борьба с царизмом, и в этой борьбе нет места страху, усталости, унынию.

Сергей Костриков познал аресты, допросы, тюрьмы, прошел свой «тюремный университет», который многому научил молодого партийца. Сменялись места, где проходила работа организатора и агитатора. Томск, станция Тайга, Иркутск.

Четыре раза арестовывали Кострикова. Встречаясь в тюрьме с революционерами, он стремился пополнять свои

теоретические знания, изучал брошюры и книги, внимательно читал произведения Маркса и Энгельса. Но главным его учителем на всю жизнь остался Владимир Ильич Ленин.

Больше всего ценил он написанное Лениным. Память у него была выдающаяся, мог наизусть цитировать целые страницы, например из книги «Развитие капитализма в России».

Когда в 1909 году полиция напала на след подпольной типографии в Томске, он должен был исчезнуть из Иркутска, где тогда работал, и отправиться в дальние южные края. Спрятав на груди ленинское «Что делать?», он добрался до Владикавказа и устроился в редакцию газеты «Терек» под фамилией Миронова.

Два года безуспешно искали его ищейки из томской полиции и, наконец, обнаружили подозрительного Миронова во Владикавказе. Его привезли в Томск. На суде по делу о подпольной типографии вместо рабочего грубого паренька, в косоворотке, с растрепанными волосами, несдержанного в движениях и словах, каким знали Кострикова в Томске, перед приставом, который должен был опознать обвиняемого, предстал франтоватый, чисто выбритый, с вежливыми манерами и независимым видом, уверенный в себе интеллигент. Он удивлялся и возмущенно говорил, что никогда в жизни не был в Томске и о чем речь — не понимает.

Пристав смутился, побагровел от ярости и на строгий вопрос судьи: «Это тот, кого вы арестовывали?» — ответил, запинаясь:

— Нет, нет, это не он!

Миронов возвратился во Владикавказ чуть побледневший, но готовый снова включиться в борьбу.

...Только вчера он нашел новую партийную кличку — Киров!

В этом далеком от центра городке, в этом горном краю, среди разных народов и племен должен был Киров развить самую энергичную революционную деятельность.

За годы своего пребывания на Кавказе он успел довольно хорошо узнать, чем живут люди в горах. Люди были разные, их интересы и отношения — чрезвычайно сложные. Чиновники, офицеры, купцы, иностранные предприниматели, горские князья, богатеи казачьих станиц, кулаки аулов и селений... И совсем другой народ — рабочие заводов и горных разработок, железнодорожники, бедные казаки, иногородние, ремесленники, нищие горцы, пастухи, разоренные крестьяне.

Сложность социальных противоречий не так-то просто поддавалась изучению, потому что проникнуть в горы в те времена было нелегко. Наблюдение велось за каждым подозрительным человеком, искавшим соприкосновения с «туземцами». Но Киров нашел ту тропу, за которой не следили пытливые полицейские шпионы: тропу туриста. Интеллигент с мешком за плечами и с альпенштоком в руке — фигура хоть и редкая, но уже привычная — идет в горы, любуется их вершинами, потоками, лугами.

Киров ходил по горным тропам из селения в селение, поднимался на Казбек и Эльбрус. И зорко вглядывался в жизнь горцев — ничто не ускользало от его внимания. Он изучает их нравы и быт, узнает их горе, нужду, стремления. В 1913 году после так называемых Зольских событий он проникает в верховья Малки, находит партизан у подножия Эльбруса и налаживает с ними постоянную связь. Вот когда он уже предвидел особую важность партизанского движения, так широко организованного им на Кавказе в годы гражданской войны.

Он помогает подпольщикам Минеральных Вод, работает в железнодорожных мастерских, ведет воскресные школы грамоты, сколачивает группы революционных рабочих, крепит дружеские связи с горцами. Скоро имя Кира становится известным в самых дальних селениях. Горцы ищут у Кирова советов и получают их, узнают от него о многом, что им непонятно.

Приближаются решающие времена. К ним надо готовиться, и он подбирает таких же упорных, бесстрашных, каким был сам. Ему ясно, что в грядущих революционных боях племена и народы Северного Кавказа сыграют значительную роль, если они будут умело организованы и вырваны из-под власти и влияния националистов.

...И вот долетели до гор первые раскаты февральской грозы. Свергли царя. Это поначалу внешне мало отразилось на административном устройстве Северного Кавказа. Во внутригородском и горском укладе жизни все закипело, как в котле. Необычайно обострились отношения между разными группами населения. Националисты снова разжигали старую рознь между казаками и чеченцами, ингушами и осетинами, между русскими и горцами. Стремительно возникали разнообразные группы, враждебные друг другу. Начались столкновения, грозившие войной.

Обстановка запутанная и драматически насыщенная.

Большевики во главе с Кировым, Буачидзе, Мамсуровым, Г. Цаголовым сплачивали силы на всем Северном Кавказе. К осени семнадцатого года в крае вспыхнули революционные схватки крестьянской бедноты с помещиками Осетии, Ингушетии, Чечни, Кабарды. Киров командируется в центр и возвращается оттуда с указаниями ЦК партии. Он делает доклад о контрреволюционном Государственном совещании в Москве и корниловском мятеже. Кавказским большевикам удается, несмотря на козни эсеров и меньшевиков, получить преобладающее число депутатских мест в таких Советах, как Владикавказский, Пятигорский, Грозненский. Кирова избирают делегатом на II Всероссийский съезд Советов. Это уже канун Октябрьского вооруженного восстания.

Сергей Миронович с юных лет мечтал о приближении этих дней, решающих судьбу страны. Сам — в гуще событий. Участвует в восстании.

Кипящий муравейник Смольного. Огромный зал полон народу. Горят люстры. II съезд Советов принимает решение о переходе всей власти к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. И вот на трибуне появляется Ленин. Все хотят видеть его, поднимаются с мест, жадно слушают. Никогда еще в мире не было таких декретов: первый из них — о мире, о долгожданном мире, второй — о земле, о той суровой, многострадальной земле крестьянина, которая станет богатой, могучей землей свободных людей.

Первое рабоче-крестьянское правительство начинает действовать. Его заседания происходят там, где жил Ленин,— в Смольном. Маленький письменный стол. Старое, потертое зеленое сукно. Старая лампа, телефон на столе. Круглый столик, за ним диван, по бокам два кресла в чехлах. Все небольшое. Только стены уходят в какую-то особую высоту, так что голову нужно закинуть, чтобы увидеть, где они кончаются. Как будто с неба спускается длинный шнур и на нем маленькая лампочка. У окна небольшой буфет и против него платяной шкаф с зеркалом.

Здесь и днем и ночью, без перерыва работал штаб Великого Октября. Сюда к Владимиру Ильичу приходили крестьянские ходоки и рабочие, фронтовики-солдаты, вонзившие штыки в землю, чтобы не продолжать бессмысленной бойни.

Сюда добирались представители всех народов, населяющих бывшую царскую империю. Тут, в этой комнате, где творилась мировая история, Киров говорил Ленину о судь-

бах народов Северного Кавказа. Передал думы горцев и казаков, поведал, что, по его мнению, надо сделать в дальнейшем.

Это была беседа глубочайшего смысла и значения. Ленин внимательно слушал Кирова. Сказал, что ему надо немедленно вернуться во Владикавказ и, осмотревшись на месте, организовавшись так, чтобы не дать контрреволюционным силам никаких преимуществ, провозгласить Советскую власть на Северном Кавказе.

17 ноября Киров опять во Владикавказе. Рассказывает на заседании Совета о победе рабочих, моряков и солдат Петрограда, об аресте Временного правительства. Депутаты, многочисленные представители трудящихся Владикавказа и горской бедноты принимают резолюцию, в которой Совет «...свидетельствует свою преданность новому пролетарско-крестьянскому правительству, властно взявшему в свои руки дело прекращения четырехлетней бойни, немедленного разрешения земельного вопроса в пользу тружеников земли, дело урегулирования производства, разрушаемого противонародной буржуазией, дело раскрепощения угнетенных народностей».

А Киров уже в пути — в горах, объезжает аулы, говорит с горцами о самом насущном — о земле и мире. Встречается с железнодорожниками, демобилизованными солдатами, казаками, инородцами. Он сеет великую ленинскую правду и разоблачает ложь.

Реакционеры добиваются объявления открытой войны чеченцам и ингушам, хотят вызвать братоубийственную резню под флагом защиты революции. На Моздокском съезде они развели преступную демагогию, потребовали открытого выступления против горцев. В те дни Серго Орджоникидзе писал: «Только благодаря умелой политике наших товарищей, главным образом тт. Кирова и Буачидзе, удалось расстроить казацкую махинацию и не допустить объявления войны горцам!»

И вот наступил Пятигорский съезд, который в жизни народов Северного Кавказа занимает особое место. Свыше пятисот делегатов всех национальностей собралось в здании городского театра. Представители контрреволюционной верхушки казачества, реакционеры и националисты всячески пытаются помешать работе съезда, хотят сорвать его. Они предпринимают все возможное ради раскола, размежевания, жаждут гражданской войны.

Местные князья тайно готовят убийство своего противника — Кирова. Внушают одному молодому горцу, что он должен стрелять в него. Темного, не разбирающегося в политике уверяют, будто Киров призывает уничтожать горцев. И обманутый джигит соглашается стрелять в большевика. Но когда на трибуну вышел Киров и начал свою яркую, вдохновенную речь о тяжкой жизни горцев, о том, что они должны жить лучше, подготовленный князьями убийца все забыл, восторженно аплодирует со всеми. Заговорщики спросили парня, почему он медлит, не стреляет.

— Зачем же стрелять? — удивленно ответил молодой горец. — Киров — хороший человек, хорошо говорил, правду говорил про нас, не надо в такого стрелять!

Киров говорил не только горячо, но и глубоко правдиво, о самом главном, ему невозможно было возражать.

— Если на Моздокском съезде мы мобилизовали наши силы вокруг лозунга защиты Республики рабочих, солдат, крестьян, казаков и горцев, то теперь мы должны сплотить наши силы для еще большего торжества этого лозунга... И если мы безжалостно хотим отбросить все контрреволюционные силы, то мы должны вновь подтвердить наше единение, нашу братскую общность, революционный, я бы сказал, священный союз. Мы должны сказать, что не только красота скрывается в горах Кавказа, но что эта цепь гордых скал явится той могучей преградой, о которую разобьются все силы реакции, что в диких горных ущельях слышен не только вой ветра, но там слышна и революционная песня затаенных надежд истинных сынов демократии.

Участники съезда встретили эти слова бурной овацией.

Многие тогда горячо поддержали Кирова. Представители Кабарды, с молодым Беталом Калмыковым, от имени многих делегаций предложили резолюцию о провозглашении Советской власти на Северном Кавказе. Депутаты ее одобрили. Была торжественно провозглашена Советская власть, образован Терский народный Совет, принят закон о земле. И послана приветственная телеграмма великому вождю революции Ленину.

Сбылась мечта многих лет борьбы: Кавказ свободен. Но Киров понимает, что контрреволюционеры не дремлют. Они попытаются сломить власть рабочих и крестьян, задушить свободу. Сергей Миронович принимает меры к тому, чтобы немедленно перевести съезд для дальнейшей работы во Владикавказ.

Там уже подняло голову офицерье и попробовало захватить город. Красногвардейцы и отряды осетинских коммунистов разгромили офицерские банды. Съезд спокойно закончил работу.

Все же хаос, охвативший Северный Кавказ, был велик. Все национальные споры, старые тяжбы казаков и горцев вспыхнули с новой силой. Крестьянская беднота вооружалась против своих угнетателей. Князья спешно закупали оружие у идущих с фронта солдат и вооружали наемников. Разрубить узлы противоречий одним ударом нельзя. Это помогло бы преступным замыслам черной реакции. Нужно щадить людскую кровь, искать единения сил для защиты революции.

Киров организовал отряды казаков и горцев, железнодорожников и городских рабочих против контрреволюции. Наступили опасные дни.

Отправляя в аулы своих посланцев, Киров уловил тень печали на их лицах. Угроза безымянной смерти в глухих ущельях, бесследное исчезновение смущали горцев, не боявшихся ничего в открытом большом бою.

Сергей Миронович тепло и дружески говорил одному из тех, кто отправлялся с полномочиями новой Советской власти:

— Ехать надо, поезжай, верь, что проедешь благополучно. А убьют, ну что ж, мы же не боимся смерти, я скажу по тебе хорошую речь. Хочешь, скажу сейчас?

— Скажи.

Горец внимательно слушал под свист ветра тихую речь, стоял неподвижно, с лицом как будто окаменевшим. А Киров говорил о сильном воине, храбреце, герое революции. И горец протягивал Кирову сухую, жилистую руку и благодарил:

— Спасибо, я поехал. Очень хорошо ты сказал. За такое дело, как ты сказал, умереть не жалко!

Киров знал, как тронуть сердца неподкупных, живых, готовых на подвиги «мюридов революции». Горцы это чувствовали. Оттого с такой братской преданностью в роковой час сражения Асланбек Шерипов, которого Киров назвал «замечательным орлом, прилетевшим к нам из чеченских ущелий», повел своих чеченцев на выручку красноармейского отряда под слободой Воздвиженской. Оттого они с такой же неукротимой доблестью сражались и в своих родных горах, временно отрезанные от Красной Армии.

Темные силы разжигали вражду ингушей и осетин, чтобы использовать эту вражду в своих целях. Киров встал сам между двух окопов на поле у Базоркино, под пулями, и добился того, что не только примирил враждующих, но породнил их на другом ратном поле, против общих врагов — белогвардейцев.

Все делалось заново. Не хватало оружия, боеприпасов. Киров умел доставать, как из-под земли, винтовки, пулеметы, патроны. Скоро, однако, стало ясно: без помощи Москвы не удержаться Совнаркому Терской республики. Киров срочно едет в столицу, и оттуда прибывает необходимая помощь во Владикавказ. Но самому Кирову попасть обратно не удается. Дороги перерезаны. Он добрался лишь до Астрахани, где тоже наступили тяжелые дни. Сергей Миронович, верно оценив сложившуюся обстановку, возглавляет оборону города.

Город почти окружен. Вражеские полчища угрожают ему с востока, юга и запада. Внутри Астрахани белогвардейские заговорщики поднимают одно восстание за другим. Но каждый раз они подавляются благодаря быстроте удара, распорядительности и силе воли Кирова.

В Астрахани временами нечего есть, кончаются боеприпасы, падает дух его защитников. 11-я армия, таявшая от тифа и переутомления, под ударами превосходящих сил врага была вынуждена отступать через безлюдные морозные степи. Но Киров верит в победу. Он не сводит глаз с Кавказа и с горских отрядов, отражающих набеги белых, которые зверствуют в селениях и аулах.

Киров понимает: если отвлечь конные полки Шкуро и деникинскую пехоту от севера, измотать их долгой бесплодной борьбой в горах Осетии, Чечни, Ингушетии, они не смогут обрушиться на Царицын.

И белые завязли в горах. Напрасно они преследовали горские неуловимые отряды, тщетно пытались истребить партизан в камышах Кизляра. Пришел час, и горские отряды, группы «камышан» ударили с тыла по врагу, поставили его между двух огней, помогая наступлению обновленной 11-й армии.

Киров, находившийся в осажденной Астрахани, помнил о том, что далеко в горах бьются скромные герои, и посылал им боеприпасы, давал советы, держал с ними постоянную связь. Его гонцы проходили пустынные степи и вражеский стан, достигали Дагестана, Ингушетии, где Серго Орджони-

кидзе сколачивал отряды сопротивления. Эти гонцы были людьми, воспитанными на кировском бесстрашии и преданности общему делу, любви к партии, народу, революции.

Киров был бдителен, его нельзя было обмануть или заставить принять неверное решение. Когда Троцкий отдал предательский приказ оставить Астрахань «из стратегических соображений», Киров доложил в Центральный Комитет партии. А Ленин написал на его докладе: «Астрахань защищать до конца». Тогда Сергей Миронович категорически заявил: «...пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье реки Волги было, есть и будет советским».

Один из участников астраханской обороны, встретив Кирова в те дни на улице, с тревогой спросил:

— Мироныч, я слышал, эвакуироваться собираемся?

Киров ответил:

— Что ты, чудак, куда эвакуироваться? Иди подбирай, организуй партизанские отряды.— И похлопал его по плечу.

Этот человек позже признался:

— Я повеселел сразу, такая энергия и решительность были в его словах.

Да, люди веселели при виде Кирова. Он умел вдохнуть энергию в сердца, успокоить, убедить самого усталого бойца, поднять его дух.

— Умереть не так трудно,— сказал однажды Сергей Миронович.— Мы все готовы умереть за революцию, но, если придется умереть для торжества революции, надо свою жизнь продать подороже.

Киров всегда говорил правду в глаза, какой бы суровой она ни была. Тот, кто смотрел на него внимательно, навсегда запоминал его волевое лицо и добрую, лукавую усмешку.

В дни сражений за каждую пядь астраханской земли бойцы видели Кирова на самых опасных участках. Он руководил, организовывал и сплачивал людей, составлял листовки и обращения к населению, обеспечивал победу над врагами революции.

Словно прирожденный военный, готовил Сергей Миронович войска для освобождения Кавказа. С большой радостью в начале декабря 1919 года послал он телеграмму Ленину о том, что белогвардейщина разбита наголову. В телеграмме говорилось: «Передовые части 11-й армии стоят уже на рубеже Терской области и скоро подадут свою мощную братскую руку горящему революционным пламенем Северному Кавказу».

...И вот полки одиннадцатой армии двинулись на Кавказ. Долгий славный путь. Навстречу им вспыхивали восстания против белых, партизаны спустились с гор. Боевой путь армии лег через Ставрополь, Пятигорск, Владикавказ, Грозный, Петровск, Дербент. И — на Баку!

Все силы белых на Тереке были разгромлены. Когда передовые части армии вступили в освобожденную столицу Азербайджана, население красными флагами и цветами встречало освободителей.

В тот же день Киров сам проследил, чтобы годные к плаванию транспорты, наполненные нефтью, срочно отбыли в Астрахань. И послал вдогонку белогвардейцам красных моряков — они настигли белых и отбили у них двенадцать кораблей.

Победоносная армия еще громила врагов, освобождала родную землю, а Киров уже выступает в зале Бакинской оперы, призывая пролетариат нефтяного города, красноармейцев и моряков заняться мирным строительством, восстановлением разрушенного:

— Нужно собирать каждое зернышко нашего хозяйства, заниматься кропотливой работой для того, чтобы продолжать начатое дело.

Киров говорил о нефтяном, драгоценном для нас Баку, разваленном мусаватистским хозяйничаньем, о том, что нам придется взять на себя нелегкий труд по налаживанию добычи нефти.

Борьба продолжалась на два фронта: с бандитскими шайками, последними заговорщиками, националистическими бандами и разрухой. Кругом — вопиющая нужда. В Дагестане, на Тереке — обнищание, голод...

В мае 1920 года Кирову приходится перейти на новое для него поприще — дипломатическое. Он приезжает в меньшевистский Тифлис как полномочный представитель РСФСР в Грузии. Правительство Жордания к этому времени решило ликвидировать Коммунистическую партию. Тюрьмы Грузии заполнились арестованными большевиками.

Но Киров безбоязненно выступает перед жадно слушающей его толпой. Он рассказывает, что происходит в бывшей царской империи: подобно солнцу, освещающему землю, растет революционное движение под руководством коммунистов.

Маленький юркий меньшевик вырывается вперед из толпы и кричит:

— Не забывайте, что бывает ночь, когда солнце не светит.

— Если большевикам нужно будет, чтобы ночью солнце светило, то мы сумеем это сделать,— отвечает Киров.

Грузинский народ решительно встал против угнетателей. Нужно было помочь ему сбросить меньшевистское господство. Но как зимой красноармейским отрядам преодолеть Главный хребет? Военспецы заявили, что это невозможно, подобного похода не знала история. Но Киров знал, что терпение трудового люда там, за хребтом, переполнилось и борьба идет за судьбу народа. Он вспомнил, как умоляли его осетины спасти их от злобы меньшевиков, как грузинские крестьяне поднимались против карательных экспедиций. Надо перейти, взять перевал Мамисон.

— Снежные лавины обрушатся на отряды,— пугали военспецы.— Дорог нет, лошади погибнут, люди не обмундированы для зимнего похода. Понимаете, что такое Мамисон? — объясняли они Сергею Мироновичу.— Это снежная стена в две тысячи восемьсот метров, уходящая в небо. Двинуться туда сейчас невозможно...

Киров на это ответил:

— Теоретически невозможно. Но если подойти к решению задачи по-коммунистически, то возможно.

Отряды Красной Армии перешли Мамисон. Киров сам организовал этот поход, продумал все до последней детали, проверял снаряжение, говорил с бойцами, ходил в разведку с проводниками. Он доказал, что Красная Армия может пройти всюду: по глубочайшему снегу, среди обвалов и лавин. Бойцы одолели кручи, спустились в ущелье Чанчахи. Лошадей скатывали на бурках. Меньшевики в панике бежали в Батум, уплыли навсегда. А Грузия, весь Кавказ — от Аракса до Кубани, от Черного до Каспийского моря — стал советским.

Киров мог с гордостью смотреть на картины мирной жизни обновленных народов, на свободный Кавказ, которому он отдал столько лет своей большой, полной испытаний жизни.

Волей судьбы он, человек, рожденный на севере и там, в Сибири, начавший свой путь революционной борьбы, продолжал его на Урале, затем в горах, в южных краях, о которых он и не думал в юности.

Казалось, после того как умолкли орудия, Сергей Миронович может наконец вернуться на родной север. Но летом 1921 года в Москве состоялось специальное совещание

членов ЦК, посвященное подъему нефтяной промышленности. Кирова решили снова вернуть в Баку.

От прошлого в наследство Баку осталось запущенное нефтяное хозяйство, пришедшее за время междоусобиц в полное запустение. Несколько маленьких заводов готовили мелкий инструмент. Основное оборудование ввозилось из-за границы. Многие месторождения нефти промышленники затаили до «лучших времен».

Будучи механиком по образованию, Киров воочию увидел, что тут не поможешь малыми средствами, надо революционно перестраивать все сверху донизу: и работу и быт.

Опять, как на фронте, наступили суровые дни, бессонные ночи. Опять голос агитатора гремел над замерзшими промыслами. Как раньше в окопы, он шел теперь к рабочим, в их жалкие жилища, на вышки нефтескважин, где привыкли работать вручную и боялись машинных насосов. Собирал специалистов и решал с ними, каким путем всего лучше атаковать море — искать на дне его площади залегания нефти, пропагандировать новые методы и механизмы.

Постепенно, день за днем росла добыча нефти. Улучшались бытовые условия рабочих. Тень голода, висевшая над городом, исчезла.

Годы, проведенные Кировым в Баку, дали замечательный результат. Вращательное бурение, глубинные насосы перестали быть «проблематичными», входили в строй. Поиски новых нефтяных пластов увенчались успехом. Возникла Биби-Эйбатская бухта, ныне бухта Ильича. Вышки поднялись над водой, словно свершилось чудо, в возможность которого раньше никто не верил. Прекратился ввоз заграничного тяжелого оборудования. Советские люди научились его делать на своих заводах.

Дела Кирова были у всех на виду. Но и правдивое пламенное слово ленинца — народного трибуна — производило сильнейшее впечатление. Речи Кирова — драгоценное наше наследие. Большевистская мудрость соединена в них с огромной страстностью любящего свою Советскую Родину патриота. Их меткий, красноречивый язык разит врагов, провозглашает правду жизни, волнует до глубины души. Это великая агитация, и эти речи надо изучать, чтобы так же просто и глубоко говорить с людьми сегодня.

В 1925 году коммунисты Ленинграда отвергли попытку зиновьевской оппозиции противопоставить ленинградскую организацию Центральному Комитету Коммунистической

партии. Сергей Миронович был среди группы делегатов XIV съезда ВКП(б), которая участвовала в рабочих собраниях ленинградцев и разъясняла всю преступность позиции, занятой зиновьевцами. Пленум нового губкома 13 февраля 1926 года избрал Кирова секретарем Ленинградского губкома, а затем и секретарем Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б).

Киров в городе, носящем имя основателя Советского государства. В Смольном свято сохраняется комната, где жил Ленин. Киров входит в Смольный, полный воспоминаний о вожде. Величайшая ответственность легла на его плечи!

Если у царского самодержавия были крепости — опоры его владычества, то у революции имелись тоже крепости, гарнизон которых составляли передовые рабочие, закаленные и смелые духом люди, ставшие под руководством большевистской партии гордостью рабочей гвардии России, славой рабочей гвардии Советского Союза.

Такими крепостями революции можно назвать и замечательные ленинградские заводы, красу и гордость трудового Питера, и среди них знаменитый по всей русской земле Путиловский завод. По его трудовой летописи можно проследить рост отечественной металлургии, революционного сознания поколений. В 1927 году Кирова избрали членом бюро заводской партийной организации «Красного путиловца».

Сергей Миронович подробно знакомится и входит в работу всех предприятий города. Полностью соединяет свою жизнь с жизнью трудового Ленинграда.

Припоминаю такой факт. Однажды, будучи в Москве, Сергей Миронович вдруг заспешил в Ленинград. Его спросили, почему он так торопится. Он ответил, волнуясь:

— Как же не спешить, там у меня наводнение!

Были как раз получены сведения о повышении уровня воды в Неве, которая грозит выйти из берегов.

Киров был требовательным и упорным руководителем, замечал все до мелочей, обладал огромным жизненным опытом. Его знали строгим, но благожелательным и справедливым. Сколько людей обязаны ему тем, что нашли свое место в жизни и применили свои таланты, тем, что сумели увеличить свои знания и поставить их на службу Родине!

В годы первой пятилетки индустриальный Ленинград преобразился. Трудно было отыскать в нем следы дореволюционных времен, изменились трудовые навыки, быт, техника — все вокруг... Справедливо прозвучали слова Кирова:

— Ленинградские рабочие говорят, что в Ленинграде остались старыми только славные революционные традиции петербургских рабочих, все остальное стало новым. И это, товарищи, действительно так!

Впервые в СССР «Красный путиловец» выпустил тракторы. Металлический завод — мощные турбины для новых электростанций. «Электросила» дала Днепрогэсу крупные гидрогенераторы. «Русский дизель» — прекрасные мощные дизели. Ижорцы — свой первый блюминг. Тогда Ленинград освоил около двухсот видов приборов, машин, создал наново текстильное машиностроение, освоил производство синтетического каучука.

Понадобился срочный ремонт ледокола «Красин», чтобы уйти в полярные широты на помощь челюскинцам. Киров следит за ходом ремонта, который закончили за восемнадцать дней, в то время как англичане запросили не меньше двух месяцев и два миллиона рублей золотом.

В городе выросли дома культуры, парки, новые научные институты, театры, школы, больницы, музеи. Киров всюду поспевал, всем интересовался. Его не стесняли расстояния: сланцевые рудники около Гдова, Хибины, где добывают апатиты, раскорчевка пустоши, предназначенной для опытного посева — везде его встречали не гостем, а своим человеком,— завсегдатаем. Его видели и на постройке нового здания районного Совета, и в новых домах рабочих. Он говорил строителям:

— Нужно, чтобы везде: на улицах, на площадях, в театрах — рабочего окружала красота. Не будьте стандартны. Не стройте серых, как казарма, домов!

Он бывал в школах и испытательных институтах, среди пионеров и ученых. Интересовался последними научными изысканиями, совещался с пчеловодами и садоводами об опытах Мичурина... А редкий досуг порой отдавал лесам и болотам — бродил с ружьем. Рассказывал с увлечением, как однажды ему даже выпала радость охотиться с Владимиром Ильичем, как им на ночлеге попался враль-охотник, который, разобрав, с кем имеет дело, пристыженный исчез...

По призыву Кирова молодежь, даже пионеры, начали всюду поиски полезных минералов. В этот поиск включились и самые высокие учреждения — Академия наук, институты, геологи, географы. В области открыли, кроме апатитов, о которых частично знали раньше, железо, молибден, слюду, уголь, вольфрам, свинец, ртуть.

Много труда положил он еще на одно начинание, задуманное в давние-предавние времена: удалось соединить каналом Балтийское и Белое моря. Открылся путь для перевозки пассажиров и грузов там, где вековала глушь, бродили медведи, гремели дикие потоки.

Киров много сделал для оживления пустынного Кольского полуострова, положил основание порту на Ледовитом океане, ратовал за освоение Арктики, сильно подвинул морское строительство: со стапелей непрерывно сходили на воду теплоходы, ледоколы, военные корабли.

И в мирные годы нашего великого строительства в Ленинграде, неустанно следя за ростом вооруженной мощи Красной Армии, Киров заботился о создании сильного морского Балтийского и Северного флотов. На морском параде в Кронштадте он сказал в 1926 году:

— Главные ворота к великому городу Ленина должны быть хорошо защищены, должны иметь крепкие замки, должны охранять спокойствие в стране, чтобы ни одна сила не могла их распахнуть.

И площадь, полная моряков, поднявших вверх винтовки, дружно ответила:

— Мы на страже!

Вещими были его слова, сказанные в январе 1934 года на партконференции:

— Пусть знают все, кто хочет поправлять свои безнадежные дела за счет Советского Союза, что мы сумеем организовать полный разгром противника на фронте!

Неиссякаемое чувство нового жило в Кирове. Как он любил жизнь — широкую, свободную! Как он хотел жить! На XVII съезде партии Киров воскликнул:

— Успехи, действительно, у нас громадны. Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить!

Он входил во все нужды растущего и крепнущего советского общества. Его видели в неустанной борьбе за социализм и горы Кавказа, и степи Казахстана, и леса Карелии, и город Ленина на Неве. Он знал, что живет недаром: каждый день страны, проведенный в работе, каждый новый трактор, новый завод, колхоз, новый канал — это не просто трактор, завод, колхоз, а борьба за лучшее в человеке, за лучшего человека — работника на земле, освобожденной от власти темных сил.

Темные силы ненавидели его, потому что он всю жизнь беспощадно громил их — явных и тайных врагов народа.

1 декабря 1934 года Сергей Миронович Киров был злодейски убит.

Имя его бессмертно в памяти советских людей. Дела его не умрут — они перед нами. В делах этих живет Киров — сын трудового народа, подпольщик, воин, трибун, строитель, ленинской чеканки большевик.

Эпиграф к очерку «Глашатай века» написан автором этого очерка *Николаем Тихоновым.*

Лидия Бать

В НАБЛЮДЕНИИ — «ЖЕЛЕЗНАЯ»

...Сила народа могучая
Непреклонно на приступ идет.

Леся Украинка

Ясный летний день. Нещедрое финское солнце сегодня старается вовсю. По усыпанной гравием дорожке мчатся на велосипеде девочка лет четырнадцати и юноша старше ее года на три. Девочка обгоняет юношу, приободренная возгласом, раздавшимся с веранды большого деревянного дома:

— Быстрей, быстрей! Молодец, Таня, ни разу не упала!

Это крикнул невысокого роста человек в светлом чесучовом пиджаке, лысоватый, с добрым прищуром веселых, острых глаз.

На веранду вышла немолодая худощавая женщина.

— Да они вам велосипеды переломают, Владимир Ильич, избаловали вы их... И воду пора привезти. Эй вы, водовозы! — крикнула она, завидев возвращающихся велосипедистов, которые успели проделать несколько туров по саду.

Разгоряченные, с прилипшими ко лбу взмокшими волосами, они шли теперь пешком, придерживая велосипеды за руль.

— Что ж, пора за работу! — комически вздохнув, сказал Владимир Ильич.— Уж больно вы строгая хозяйка, Лидия Михайловна.

На Владимира Ильича глянули сердитые и одновременно веселые серые глаза.

— Да уж...— ответила она неопределенно.— А вот и Надя... Смотрите, к обеду не опаздывать! Сегодня вкусный...

Когда и где мог быть такой день, такой разговор?

* *
*

Летом 1907 года, вскоре после пятого съезда партии, Ленин, совершенно переутомленный, больной, наконец позволил себе отдохнуть. Он поехал в глубь Финляндии, в рыбачий поселок Сейвесто, и поселился на даче подле маяка Стирсудден у друзей, Книповичей, давно звавших его к себе. Вскоре туда приехала и Надежда Константиновна.

Замечательное свойство гения: Ленин умел не только самозабвенно работать, но и полноценно отдыхать (к сожалению, это удавалось ему очень редко). О том, как он отдыхал в Стирсуддене, можно узнать из письма оттуда: «Я так здесь «впился» в летний отдых и безделье (отдыхаю, как уже несколько лет не отдыхал), что все откладываю все дела и делишки».

И приписка Надежды Константиновны: «...мы теперь «вне общественных интересов», ведем дачную жизнь: купаемся в море, катаемся на велосипеде... Володя играет в шахматы, возит воду...»

Все, казалось бы, хорошо, единственное, что смущало Надежду Константиновну: «Лиде только хлопот с хозяйством много...»

Кто же эта Лида?

Когда в августе 1903 года, на втором съезде, партия раскололась на две группы, в числе твердых, последовательных искровцев находилась Лидия Михайловна Книпович, старый друг Надежды Константиновны. На даче в семье ее брата Николая Михайловича и гостили Ленин и Крупская летом 1907 года.

Ко времени короткого отдыха у маяка Стирсудден, названного Крупской в том же письме «маяком партийных работников», Лидии Михайловне, испытанной революционерке, уже исполнилось пятьдесят лет.

Ей было восемнадцать, когда она ступила на этот путь.

Она принадлежала к тому поколению социал-демократов, которое в большинстве своем начинало революционную деятельность с народовольческих кружков. Это о таких, как она, сказано у Ленина:

«Многие из них начинали революционно мыслить, как на-

родовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали».



Лидия Михайловна
КНИПОВИЧ
(1857—1920)

Дочь военного врача, получившая прекрасное образование, слушательница Гельсингфорсского университета, Лидия Михайловна знала и физический труд. Живя летом в деревне, она и жала, и косила, и доила коров, и садовничала. Море было ее стихией. С бесстрашием заправского моряка боролась она с волнами, управляя непокорным парусником, соревнуясь в ловкости и силе с братьями.

Вольно дышалось на морском просторе, жизнь улыбалась молодой девушке. Но с самых ранних лет она видела всюду вокруг слишком много горя и нужды. Рыбаки, крестьяне, батраки имения, в котором она росла, тяжелым трудом зарабатывали свой хлеб. Они были обездолены и угнетены. В ее добром молодом сердце закипал гнев, протест против несправедливости.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Некрасовские строки волновали Лидию Книпович до слез.

...В Гельсингфорсе, как и повсюду тогда в России, существовал кружок народовольцев. Слова «народная воля» звучали для свободолюбивой девушки как призыв к действию. К одному из народовольческих кружков она и примкнула. Тут и овладела искусством конспирации, которое весьма пригодилось ей в будущем.

Именно это умение «заметать следы» избавило ее от ареста, когда после убийства народовольцами Александра II начали свирепствовать жандармы. Обыск в доме Книповичей был безрезультатным. А привлечение ее к дознанию тоже ничего не дало властям.

* *
*

Дождливая осень. Серые петербургские сумерки. По скользкой незамощенной дороге, приподняв подол длинной юбки, перепрыгивая через лужицы, спешит куда-то невысокая худенькая женщина. На ней скромное темного цвета пальто и маленькая шапочка.

Невская застава. Окраина. В покосившихся домишках с подслеповатыми окнами ютится рабочий люд. Лишь кое-где высятся трехэтажные и даже четырехэтажные дома. В одном из них помещаются Смоленские вечерние классы для рабочих, сюда и спешит на уроки учительница.

Внезапно ее окликнули:

— Лидия Михайловна!

И ее нагнала молодая девушка.

— А, это вы, Надя! — воскликнула та, оглянувшись, и тихо, но резко добавила: — Вы были вчера в театре, и мне известно с кем... Значит, это могут узнать и другие... Так вот, когда работаете вместе, довольно глупо вместе ходить в театр!

Улыбка мгновенно погасла на лице девушки. Как бы отталкивая вмешательство в ее личные дела, она выпрямилась и сказала тоже тихо, но резко:

— Какое вам дело, Лидия Михайловна, с кем я хожу в театр!

Но та, бросив на ходу: «А вы подумайте об этом», уже ушла вперед.

«А ведь она права. Ай, как нехорошо получилось! — подумала Надя.— Плохой я конспиратор. Сегодня же признаю себя виноватой!..» Действительно, театральным спутником Нади был инженер, с которым она встречалась в нелегальном марксистском кружке.

Этот разговор произошел в начале знакомства и совместной работы в вечерней воскресной школе Надежды Константиновны Крупской и Лидии Михайловны Книпович. Знакомство перешло в крепкую дружбу, навсегда соединившую их.

* *
*

Лидия Михайловна, казалось, была создана для педагогической и пропагандистской работы. Ее слушатели открывали перед ней сердца, поверяли ей свои думы.

Прямая и резкая с товарищами в случае принципиальных разногласий, она удивительно терпеливо и мягко беседовала с рабочими, исподволь разъясняла, как бороться с эксплуататорами. Так завоевала она их полное доверие.

Много позже Крупская вспоминала любопытный факт. Среди учеников Книпович был пожилой рабочий, темный человек, смутно представлявший свое социальное положение. Как-то он написал сочинение в защиту царя и православной церкви. И этот же рабочий однажды предупредил свою учительницу: «Вы с тем, черным, поосторожнее, он все в охранку шляется». Подозрение подтвердилось: «черный» оказался провокатором.

«Да, уж если человек, преданный царю и церкви, инстинктивно чувствует, что охранка и полиция — враги, а учительница, несущая знания,— друг, то далеко продвинулась сознательность рабочих»,— думала Лидия Михайловна.

И таких людей становилось все больше...

Был у нее ученик с мятущейся, ищущей душой. Он оттолкнулся от официальной религии, но мысль о боге не покидала его, он стал штундистом, потом перешел в другую секту. Всю жизнь искал правды у бога и вдруг понял, что бога вовсе нет. Написал он как-то Лидии Михайловне об этом: «И так легко мне стало. Потому что нет хуже, как быть рабом божьим, тут тебе податься некуда. Рабом человечьим легче быть, тут борьба».

Такие записки окрыляли. Постоянное общение с рабочими все больше открывало глаза Лидии Михайловне на правильные методы борьбы.

* *
*

Осенью 1893 года по Питеру из рук в руки передавалась согнутая пополам тетрадка. Молодые марксисты были в ту пору чрезвычайно заняты вопросом о рынках — насущнейшей экономической проблемой. Тетрадь и была посвящена этой животрепещущей теме. Раскрывалась тема полемически. На одной половине тетради излагал свои теории студент-технолог Герман Борисович Красин, на другой — приехавший недавно с Волги Владимир Ильич Ульянов. «Половина» Красина, написанная небрежным, колеблющимся почерком, испещренная помарками и вставками, резко отличалась от четких строк Владимира Ильича. Его примечания и возражения вносили ясность, конкретность в сложный

вопрос о рынках, отражали глубокую заинтересованность в судьбе народных масс.

Скоро об Ульянове заговорили все. Брат трагически погибшего народовольца. Сам образованнейший марксист. Человек огромной выдержки и воли. Интересуется всем, что касается жизни рабочих, ведет марксистские кружки, придает большое значение вечерним воскресным школам. Изучает, изучает, изучает... Эти толки западали в память Лидии Михайловны. Ей стало известно, что «волжанин» посетил занятия учительницы их школы Прасковьи Францевны Куделли. Пришел инкогнито, под предлогом у нее поучиться, посидел минут двадцать, внимательно слушая урок, потом, видимо, уяснив что-то главное для себя, тихо ушел.

После этого Владимир Ильич делился с Крупской: «Начала правильно, экономика была, и классы были, а затем как ударилась в эпизоды революции, то забыла о марксистском анализе событий».

И это учла Лидия Михайловна.

* *
*

В воспоминаниях Н. К. Крупской о Лидии Михайловне Книпович есть фраза: «Наконец Лидия стала социал-демократкой».

Сколько за этими короткими словами стоит душевного волнения, пересмотра позиций, проникновения в суть вещей и, наконец, прозрения, которое навсегда осветило Лидии Михайловне путь в грядущее.

...Началось с помощи в печатании большевистских материалов в типографии, организованной народовольцами на Лахте. У Лидии Михайловны было достаточно старых связей, чтобы наладить это дело. Там, помимо многих брошюр, готовилась к печати работа Ленина «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах».

Но типография была раскрыта летом 1896 года.

В жаркий летний день в Нижнем Новгороде, куда Лидия Михайловна приехала на выставку, за ней пришли жандармы. Сердце екнуло и, несмотря на зной, сразу похолодели руки. Не за себя испугалась она — адреса! Адреса могли быть в типографии, адреса тех, к кому отвозили социал-демократическую литературу. Лихорадочно перебирает она в памяти этих людей: кто надежен, кто слаб. Но она-то, она сама!

«Тоже конспираторка!» — гневно думает Лидия Михайловна. Ведь ясно, что нашли там ее адрес, значит, и другие... Там работа Владимира Ильича. Книпович до боли закусывает губы.

Она не знала, что примерно в это же время Крупская в лесу подле дачи, где жили Книповичи, вооружившись лопатой, зарыла в землю ящик с шрифтами и всунутой туда рукописью Владимира Ильича.

Этот арест был первым большим испытанием для Лидии Михайловны, которое закалило ее. И когда вскоре после освобождения она была вновь арестована и сослана на три года в Астраханскую губернию, то поехала туда уже социал-демократкой.

Перед ней стояла великая цель, она твердо знала, что идет к ней верным путем, и сорокалетней женщине казалось, что жизнь только начинается. Как яркий огонек в ночи, светила ей из далекого села Шушенского ленинская мысль. Во время споров с товарищами — а там были люди разных направлений — она старалась представить себе: что бы сказал на это Владимир Ильич?

* *
*

Дяденька, Дедов, Дядин — таковы были партийные клички Книпович. Это тоже один из конспиративных приемов, очень одобрявшихся Владимиром Ильичем, — давать женщинам мужские прозвища и наоборот (Петр Гермогенович Смидович, например, назывался Матрена; Мартын Николаевич Лядов — Русалка; Глеб Максимилианович Кржижановский — Лань).

Все эти прозвища особенно нужны были при переписке для зашифровки лиц, ведущих нелегальную работу.

Лидия Михайловна, находясь в ссылке, умудрилась стать активным агентом «Искры». О, она о многом договорилась с Крупской, когда приехала к ней из Астрахани в Уфу, где Надежда Константиновна заканчивала свой срок ссылки. Приехать ей пришлось тайно, так как хлопоты о переводе в Уфу не увенчались успехом. С тревогой писала Крупская матери Владимира Ильича в дни нетерпеливого ожидания подруги: «В Уфу собирается переехать Лида, подала прошение, не знаю, удастся ли ей перевестись, а очень хотелось бы повидать ее перед отъездом отсюда».

Ничто так не скрепляет дружбу, как общее большое и благородное дело.

Владимир Ильич свой срок уже отбыл и уехал за границу. Сохранилось его письмо к Лидии Михайловне из Мюнхена в Астрахань, где он забрасывает ее организационными вопросами и предложениями по изданию и распространению «Искры» в России.

Трудно обстояло с деньгами в это время, а издание и распространение газеты требовали все больших расходов. Забота о средствах беспрестанно звучит в письмах Крупской к разным людям: «В настоящее время мы очень стеснены в деньгах...», «Недавно мы послали вам 100 мар. именно на транспорт. Если они истреблены на другие расходы, то напрасно: мы дали, что называется, «из последних»...»

Вот когда пригодились конспираторские таланты Лидии Михайловны. Никто из колонии ссыльных даже не подозревал, что Лидия Михайловна связана с «Искрой», а она так ловко вела себя, что однажды ей удалось проехать бесплатно по своим нелегальным делам на пароходе в каюте директора коммерческого предприятия, так называемого Восточного общества.

— Люблю комфорт,— смеясь, говорила она своей спутнице Анне Михайловне Вржосек, ехавшей вполне легально. Ее муж, юрисконсульт этого самого общества, и устроил свою жену и ее подругу в этой каюте.

— Нет, правда,— продолжала Лидия Михайловна,— от прошлого у меня осталось пристрастие к хорошей посуде, хрусталю, тонкому полотну...

Хохот Анны Михайловны не дал ей закончить. Так не вязался аскетический образ жизни, одежда Лидии Михайловны, полная самоотдача делу революции, заботам о товарищах с неожиданным ее заявлением. Обладая большим чувством юмора, рассмеялась и Книпович.

— Впрочем, пустяки все это,— отмахнулась она.— Комфорт, красота прекрасны, когда они для всех.— И подчеркнула: — Для всех!

* *
*

...Тревожно началась зима 1905 года в Одессе, куда забросила Лидию Михайловну партийная судьба.

Февральские злые ветры действовали угнетающе. Сказывалось напряжение острой внутрипартийной борьбы, кото-

рую без отдыха и передышки приходилось вести после второго съезда. С людьми всегда бодрая, словно напруженная, оставаясь наедине с собой, Лидия Михайловна иногда чувствовала безмерную усталость. Особенно удручило ее самоубийство одного товарища, не выдержавшего натиска противоречий. Только близкому другу, Надежде Константиновне, смогла написать она, что теряет веру в свои силы. Но не такова была Лидия Михайловна, чтобы надолго падать духом. Это было в начале января 1905 года, а уже через месяц она горячо принялась за работу. Пост секретаря Одесского комитета партии ко многому ее обязывал. Еще не пришло ответное письмо от Крупской, как Лидия Михайловна писала ей: «Получили литературу с оказией, и у всех дух стал бодрее».

А как приободрило внимание Владимира Ильича, о котором в ответном письме сообщала Крупская: «...он велел тебе написать, что когда ты устанешь очень, чтобы ехала сюда. У нас тут уймища организаторской и всякой другой работы».

От одних только этих слов всю усталость как рукой сняло!

В эти месяцы 1905 года на улицах Одессы часто можно было встретить невысокую худенькую женщину с выразительным строгим лицом и ясными серыми глазами, всегда куда-то спешившую. Кажется, не было такого уголка в городе, где бы не появлялась она в разное время дня и ночи. Нарядная Дерибасовская и шумная Ришельевка, строгая Пушкинская и аристократическая Маразлиевская и многие, многие еще улицы и переулки были исхожены ею... Нужно было наладить явки, проверить адреса, изучить людей. В скольких квартирах — «сносных» и явочных — перебывала она! У зубных врачей, учителей, адвокатов. Сколько литературы перенесла на себе, доставляя ее по адресам! Но чаще всего ее можно было увидеть в рабочих кварталах: на Молдаванке, Пересыпи, Ближних мельницах. Там встречали ее, как родную.

Когда Лидия Михайловна принесла номер газеты «Вперед» со статьей Ленина «Начало революции», написанной в связи с событиями 9 января, рабочие просили распространить статью отдельной листовкой.

— Чтобы каждому попало,— говорили они.

Одно за другим летели письма в Швейцарию к Ленину и Крупской. Только за февраль они получили от нее

двенадцать писем за подписью «Чухна»... Одесский комитет представлял собой в эти и последующие месяцы «большевистскую цитадель», как назвал его рабочий-большевик Александр Сидорович Шаповалов. Но эта цитадель шаталась под натиском дезорганизующих сил.

...В воздухе носилась гроза. Вспышками поднималось восстание. Бастовали рабочие. На многих улицах — Мещанской, Преображенской, Ришельевской — воздвигались баррикады; на Александровском проспекте была сделана попытка разграбить оружейный магазин. Анархист бросил бомбу...

Власти двинули на восставших войска...

В эти же дни началось восстание на броненосце «Потемкин», стоявшем на одесском рейде.

Захваченная жаждой борьбы, надеждой, что победит революция, Лидия Михайловна лихорадочно работала и днем и ночью.

В конце концов силы не выдержали, она заболела. А скорее всего угнетающе подействовала неудача восстания. В ее письме к Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне есть горькие слова о том, что «пропустили время, проиграли момент революции».

Нужно было обладать гениальной прозорливостью Ленина, чтобы сразу оценить явление всесторонне, увидеть его положительные черты. В статье «Революция учит», написанной в июле 1905 года, Ленин говорит: «Тяжел урок одесского восстания, но на почве революционизированного уже настроения он научит теперь революционный пролетариат не только бороться, но и побеждать».

Вскоре Лидия Михайловна с обычным для нее рвением снова отдалась партийной работе. Из Одессы приехала в Петербург. Здесь она опять секретарь комитета. Революция продолжалась... В Питере готовилась железнодорожная забастовка, и конечно Лидия Михайловна была одним из главных ее организаторов.

А там подготовка Таммерфорсской конференции, Стокгольмского (четвертого) съезда партии и работа, работа без конца: сложная пропагандистская и переводческая деятельность, бытовые и хозяйственные заботы об участниках конференции, об их жилье и кормежке... Ничем не пренебрегала Лидия Михайловна Книпович — рядовой солдат революции.

...Летом 1906 года, вскоре после подавления Свеаборгского и Кронштадтского восстаний, Петербургский комитет со-

брался на станции Удельная. Собрание проходило бурно, и за шумом не сразу был услышан стук во входную дверь. Вдруг в комнате появилась бледная хозяйка квартиры.

— Полиция, жандармы,— сказала она растерянно.

В одно мгновение на голове Лидии Михайловны оказался откуда-то взятый платок, повязанный так, как это делают пожилые крестьянки; еще через мгновение она стояла на коленях у печки, куда успела бросить документы, и подталкивала их в огонь большим поленом.

Начался обыск. Лидия Михайловна, чертыхаясь, проходила мимо жандармов, огрызалась на беспорядок, произведенный ими. Схватив недовязанный чулок, стала быстро-быстро, как заправская вязальщица, работать спицами... Жандармы ворчали:

— Вот чертова баба! Под ногами болтается!

В соседней комнате заплакал ребенок. Приговаривая: «Ах ты, господи», Лидия Михайловна поспешила туда и вернулась с ребенком на руках. Укачивая его, она даже запела:

— Баю-баюшки-баю! Сидит Федор на краю.

— Да убирайся отсюда,— прикрикнул один из жандармов.

Лидия Михайловна не заставила себя просить, она вышла на кухню, и больше на нее никто не обращал внимания.

Так она спаслась от ареста.

* *
*

Конспираторские таланты Книпович очень помогли ей в годы реакции. Ей удавалось в течение ряда лет избегать ареста, ведя большую партийную работу. В конце концов ее все же взяли 9 февраля 1911 года, но, не имея достаточно доказательств, лишь выслали в маленький городишко Полтавской губернии под надзор полиции, где она и пробыла до осени 1913 года.

Весьма исчерпывающую и точную характеристику дала ей охранка: «Уполномоченная от ЦК партии, ведет переписку с ЦК и большевистской группой. Хранит деньги, присылаемые от ЦК партии для профессиональных работников партии. Крайне активный работник партии. Исполняет все крайне конспиративные поручения. Явки ЦК партии, переписка с заграницей. Центральное лицо распавшегося Большевистского центра (партийная кличка — «Дяденька», в наблюдении — «Железная»)».

Вот именно — железная. Охранное отделение уловило самую сущность этого характера: железная воля, железная выдержка, железная верность делу. И при этом сердце, открытое для любви к людям.

* *
*

Через всю жизнь Лидии Михайловны прошла дружба с Надеждой Константиновной и Владимиром Ильичем. Это были именно те отношения, которые основываются на спаянности мыслей и чувств, на преданности общему делу.

Эту дружескую связь не могли ослабить ни годы разлуки, ни прерванная по не зависящим от них обстоятельствам переписка. Летом 1917 года Лидия Михайловна в последний раз виделась с Крупской. Она приехала в клокочущий политическими страстями Петроград из Симферополя, где жила последние годы.

О чем только не переговорили они в долгую ночь после стольких лет разлуки! Вспоминали и Невскую заставу далекого времени, и короткие недели отдыха в Стирсуддене... Несмотря на обострившуюся базедову болезнь и прибавившуюся к ней глухоту, Лидии Михайловне снова казалось, что жизнь только начинается. «Вот она, сила народа могучая!.. Идет на приступ и свое возьмет!»

Но впереди еще были годы трудной борьбы. Жестокие потрясения ждали Крым, переходивший из рук в руки.

— Как жаль,— сказала Лидия Михайловна своему давнему соратнику по Одессе Александру Сидоровичу Шаповалову, оказавшемуся в это время в Симферополе,— что я стара и больна, что я не могу больше быть полезной революции. А то я эвакуировалась бы с Красной Армией. Но я уверена, что скоро придут сюда большевики, что победят они белых.

В Симферополе не было, кажется, ни одного сознательного рабочего, который не знал бы Лидию Михайловну. А Шаповалову, находившемуся при белых в глубоком подполье, она помогла незаметно выбраться из Симферополя под носом деникинской охранки. Прощаясь с ним, она сказала:

— Мы увидимся еще... когда на нашей улице будет праздник!

До праздника Лидия Михайловна не дожила, она скончалась в феврале 1920 года; Красная Армия освободила Симферополь в ноябре.

Но ни на одну секунду не теряла Лидия Михайловна Книпович веры в победу. Умирая, она думала только о будущем. И в мыслях об этом будущем постоянно обращалась к Ленину.

В бреду ей чудились выстрелы: «Идут наши...» —лихорадочно бормотала она. И не эта ли мужественная вера в последнее мгновение жизни осветила улыбкой ее лицо?

Петро Панч

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Так не считай, что это просто,—
Прийти и людям дать огонь.

В. Гордиенко

«...На очередном партийном собрании Мерхаливского партизанского отряда решили послать в Киев за инструкциями подпольного комитета надежного партизана Андрея. Правда, он был молодой еще коммунист, но зато хорошо знал город, встречался уже раз с руководителем комитета, с товарищем Борисом, поэтому против его кандидатуры никто не возражал...

...Командир партизанского отряда поручил Андрею выяснить также тактику большевиков в отношении немецкой армии. На это товарищ Борис сказал:

— Армия немецких оккупантов улепетывает. Нам не для чего подставлять лоб под их пули, где можно обойтись без этого, но народное добро вывозить с Украины не давайте. Старайтесь, чтобы немецкие солдаты вывозили не хлеб, не сало, а большевистские идеи. Так и передай своему командиру. Все? Когда ты собираешься обратно, завтра? Ты, кажется, сам из-под Киева?

— Из Мархаливки,— сказал Андрей.— Оттуда и наш командир.

— А жену его знаешь?

— Оксану? — громче, чем нужно, воскликнул Андрей и покраснел.

Товарищ Борис прищурил один глаз, круглый и допытливый, и усмехнулся краешками тонких губ.

— Тогда тебе будет поручение. Партийное. По дороге в отряд зайдешь в Мархаливку к товарищу Оксане и скажешь: «Кланяется вам дядько Сидір».

— Как пароль.

— После этого передай ей записку и небольшую пачку прокламаций, а она уже знает, что с ними делать. Петлюра пытается провести на Киевщине мобилизацию, надо, чтобы люди узнали, против кого их хочет использовать эта самая Директория. Если что случится, записку проглоти, и следа чтобы не осталось, а про Оксану ни слова. И мой адрес забудь!..»

Этот отрывок взят из моей повести «Ранним утром», напечатанной еще в 1936 году.

О том, что под кличкой Борис скрывался Станислав Викентьевич Косиор, не знали ни киевская охранка, ни немецкая контрразведка. Станислав Косиор прибыл на оккупированную Украину для руководства подпольным Правобережным комитетом партии по чужим документам. Эта же кличка сберегла в художественной литературе мою повесть, в которой во времена культа личности был показан образ самоотверженного коммуниста.

Говоря о политически созревшем пролетариате, В. И. Ленин отмечал, что народился «новый тип социал-демократического рабочего, берущего партийные дела в свои руки...» Эти слова можно целиком отнести к Станиславу Викентьевичу Косиору.

Из его биографии мы знаем, что он сын польского крестьянина, ставшего рабочим в Донбассе, и сам рабочий, получивший закалку на украинских заводах. В семье Косиоров были еще дети, и Станислав не имел возможности получить образование выше трех классов техшколы при заводе, а политическому образованию помогли листовки РСДРП, подбрасываемые в ящики рабочим, посещение политического кружка. А в кружке читали произведения Маркса, Энгельса, Владимира Ильича Ленина. Приносил руководитель кружка и газету «Искра». Образование продолжалось и в тюрьмах, в которые жандармы сажали его с семнадцатилетнего возраста. Уж больно красноречив и остер был на язык этот молодой большевик, член партии с 1907 года.

После одного из арестов Станислав Косиор увидел, что ворота завода перед ним закрылись. Около года он работал

в сапожной мастерской, продолжая партийную деятельность.

Его решение посвятить свою жизнь борьбе за счастье народа не было чем-то исключительным.

— Мой жизненный путь,— говорил впоследствии С. В. Косиор,— это путь обычный, я бы сказал, типичный для сознательного рабочего, связавшего свою жизнь с революцией...

Членам семьи Косиоров приходилось работать на разных заводах — сперва на Сулинском, потом на Юрьевском. Молодой революционер постоянно находился среди рабочих, жил их жизнью и пользовался каждым удобным случаем, чтобы разбудить в них классовое сознание, разъяснить партийные лозунги. Его все знают, ему верят, и вскоре он становится одним из руководителей Донецко-Юрьевского заводского подрайонного комитета партии, а затем членом Алмазо-Юрьевского районного комитета.

В то время на политической арене царской России активно выступал монархический «союз русского народа», натравливавший рабочих на инородцев. Станислав Косиор пишет листовку, в которой разъясняет, что у бедняков всех национальностей один враг — буржуазия и царское правительство.

С каждым днем рабочие массы все более революционизировались. Партийные организации РСДРП уже были созданы, и благодаря их работе черносотенный «союз русского народа», широко раскинувший свои лапы, в Донбассе успеха не имел.

Надо думать, что именно эта активность и самоотверженная преданность партийных работников нового типа даже в годы реакции послужили основанием для заявления В. И. Ленина: «Всю, или почти всю, наличную *партийную* работу — особенно на местах — несут на себе теперь большевики».

Несмотря на его молодые годы, жандармерия считала Косиора уже «серьезным деятелем РСДРП» и не оставляла его своим вниманием: арестовывала снова и снова.

Это было так часто, что, когда Станиславу Косиору исполнилось двадцать семь лет, он отбыл уже пять арестов и ссылку в Сибирь.

Из сибирской ссылки Станислава Косиора досрочно освободила Февральская революция. Он едет в Петроград, включается в партийную работу. Косиор с давних пор, с упое-

нием читая труды Ленина, лелеял мечту услышать, ну хотя бы увидеть Владимира Ильича. Этой мечте суждено было сбыться теперь здесь, в Петрограде.



Станислав Викентьевич
КОСИОР
(1889—1939)

Когда разнеслась молва о возвращении в Россию Ленина, мощные демонстрации рабочих потянулись к Финляндскому вокзалу. Тысячи рабочих, революционных солдат и матросов шли приветствовать того, кто создал большевистскую партию. Над головами колыхались алые транспаранты: «Хлеба!», «Долой войну!», «Да здравствует социалистический интернационал!», «Привет Ленину!»

Среди встречавших был и Станислав Косиор. С Невы дул легкий ветерок, а в воздухе чувствовалось приближение бури. Выдвинутый Лениным еще в Швейцарии лозунг: «...*ни тени* доверия и поддержки новому правительству (ни тени доверия Керенскому, Гвоздеву, Чхенкели, Чхеидзе и К°) и *вооруженное выжидание, вооруженная подготовка* более *широкой базы* для более *высокого* этапа» — был знаком многим из тех, кто прибыл на встречу Владимира Ильича.

В. И. Ленин в круглой черной шляпе вышел из «царских комнат» вокзала с букетом живых цветов в руках. Толпа встретила его радостным «ура!». Взобравшись на броневик, освещенный прожекторами, Владимир Ильич произнес взволнованную речь, которая заканчивалась словами: «Да здравствует социалистическая революция!»

Перед Косиором будто отворились ворота в новый мир. Вот тот ответ, которого так ждали после послания Ленина из Швейцарии!

Еще более ясной стала программа деятельности большевиков, когда Ленин в своих исторических Апрельских тезисах изложил план перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Этот план был в центре внимания Всероссийской конференции большевиков, делегатом которой от петроградских рабочих был и Косиор. Лозунг, народившийся в те дни: «Вся власть Советам!», характеризовал новый этап революции.

К этому времени С. В. Косиор уже снискал среди рабочих признание талантливого организатора и пламенного оратора-большевика. На конференции его избирают в состав Петроградского комитета, а также в комиссию по подготовке VI съезда партии.

Вслед за разгромом Временным правительством июльской демонстрации рабочих в Петрограде, после чего В. И. Ленин вынужден уйти в подполье, было объявлено о запрещении всех съездов. Встал вопрос о конспирации VI съезда. Учитывая авторитет Косиора среди рабочих за Нарвской заставой, Я. М. Свердлов обратился к нему с предложением организовать охрану съезда. Охрана была обеспечена. В то же время Косиор, как делегат съезда от петроградской организации, принимал участие в его работе.

Подготовка к восстанию рабочих против Временного правительства стала еще интенсивнее после разгрома корниловщины, готовившей военный переворот. С. В. Косиор организует в своем районе отряды Красной гвардии, снабжает рабочих оружием, налаживает связи с воинскими частями.

Временное правительство тоже готовило силы против большевиков...

И вот 25 октября 1917 года — победа революционного пролетариата. II Всероссийский съезд Советов принял власть в свои руки и создал первое Советское правительство во главе с В. И. Лениным.

Но свергнутое Временное правительство не хотело сдаваться. Собрав остатки верных ему воинских частей в Гатчине, оно повело наступление на пролетарскую революцию.

Вооруженные рабочие твердо встали на защиту своих завоеваний.

Штаб пролетарской революции, руководимый В. И. Лениным, помещался в Смольном.

На третий день боев под Царским Селом Косиора вызвали в Смольный к Ленину. В кабинете Владимира Ильича во всю стену висела карта. Вождь стоял у стола, приложив карандаш к подбородку. Ответив на приветствие, он подошел к карте и, указав на Царское Село, сказал:

— Только что получены сведения: Краснов прорвал наш фронт и приближается к Петрограду, к утру может занять Балтийский вокзал. Нужно немедленно поднять на ноги всех рабочих, собрать всю имеющуюся в районе, на заводах и на складах колючую проволоку, лопаты, кирки и рыть

окопы, чтобы дать бой Краснову на окраинах города и спасти положение.

С. В. Косиор, предложивший поручить организацию рабочих штабу и ревкому, услышал в ответ:

— Вы говорите не то. Тут никакой штаб спасти положение не может. Нужно немедленно поднять на ноги всех рабочих.

Понимая, что дорога каждая минута, Станислав Викентьевич взялся выполнять поручение Ленина. Рабочие горячо откликнулись на зов партии, всю ночь рыли окопы и только под утро, когда стало известно, что враг задержан, с облегчением вздохнули.

30 октября В. И. Ленин от имени Петроградского военно-революционного комитета подписал удостоверение, в котором говорилось: «Предъявитель сего, товарищ Косиор, является представителем Военно-революционного комитета и пользуется правом реквизиции всех предметов, необходимых как для нужд армии, так и для нужд революционного комитета».

С весны 1918 года Станислав Викентьевич работает на Украине. Здесь он принял активное участие по объединению большевистских организаций в Коммунистическую партию (большевиков) Украины. Организационное бюро, членом которого был Косиор, подготовило созыв I съезда украинских коммунистов, проходившего в Москве в июле 1918 года. На этом съезде Станислав Викентьевич Косиор избирается членом ЦК КП(б)У.

Гнев против немецких оккупантов и тех, кто прислуживал им, все больше нарастал в украинском народе. Начали вспыхивать забастовки, восстания. В сентябре 1918 года в Орле под председательством С. В. Косиора состоялся пленум ЦК КП(б)У. Основной вопрос: о руководстве развернувшимся на Украине повстанческим движением. Пленум принял решение, призывавшее, не ограничиваясь ведением партизанской войны, развернуть широкую пропаганду среди трудящихся и солдат оккупационной армии.

По решению ЦК КП(б)У большинство его руководящих работников было послано в тыл врага. Станислав Викентьевич направляется для подпольной деятельности в Киев.

Сложной была обстановка в то время на Украине. Усугублялось положение еще и тем, что среди самих коммунистов не было одинакового подхода к некоторым вопросам, в част-

ности к вопросам о заключении мира с немцами, об отношении к Директории. В этих вопросах и Косиор, как он сам признавался впоследствии, не всегда был на высоте, но «кроме нас, из которых одни леви́ли, другие прави́ли, делали ошибки и т. д., существовали еще ЦК РКП(б) и Владимир Ильич Ленин, который каждый раз, когда мы приезжали на съезд, вызывал руководящую группу к себе и на протяжении нескольких часов выслушивал все наши споры и т. д., и после этого слово РКП(б) в отношении руководства выполнялось и вопрос был кончен».

Еще более тяжелые дни настали на Украине, когда власть захватила Директория, возглавляемая буржуазным националистом Симоном Петлюрой. Как никогда, в Киеве стал свирепствовать террор. Коммунисты были объявлены вне закона. Но Станислав Викентьевич Косиор, секретарь Киевского подпольного комитета, продолжает работать, руководит агитационной работой, выпуском листовок, газетой «Киевский коммунист».

В 1919 году Украину терзают белые армии генерала Деникина. Коммунисты опять вынуждены уйти в подполье.

На III съезде КП(б)У С. В. Косиор вновь избирается в состав ЦК, потом секретарем ЦК КП(б)У. Вся деятельность украинских коммунистов теперь направляется на скорейший разгром белых орд Деникина. Косиор назначается одним из руководителей Зафронтбюро.

Повстанческое, партизанское движение, разгоревшееся в тылу деникинских войск, умело направлялось партией. Оно оказало большую помощь войскам Красной Армии.

Появлявшиеся в печати, в том числе и центральной, заметки, популяризирующие Махно и украинских эсеров-боротьбистов, наносили большой вред, и Косиор вынужден был обратиться 31 октября 1919 года в ЦК РКП(б) со специальным письмом, в котором он протестовал против публикования таких заметок, не соответствующих действительности: «Гораздо важнее для нашей партии принципиальная и политическая сторона этих сообщений, культивирующих Махно и всякие неопетлюровские партии, как УКП (боротьбистов). Нам думалось, что ЦК РКП должен дать директиву нашему партийному органу помещать посылаемые нами сводки информационного отдела КПУ, составленные по сведениям, доставленным нашими курьерами и строго проверенные, популяризировать нашу партию, которая с каж-

дым днем все более овладевает повстанческим движением на Украине».

Письмо Косиора было рассмотрено Оргбюро ЦК РКП(б), которое вынесло решение публиковать в печати сообщения Зафронтбюро. На этом же заседании Оргбюро рассмотрело представленные Косиором списки украинских коммунистов, находившихся в Москве и изъявивших желание работать по заданию Зафронтбюро.

Уже через месяц после начала развертывания работы Зафронтбюро на Украине было создано тринадцать повстанческих штабов и шесть складов оружия и боеприпасов. Повстанцы оказали большую помощь Красной Армии, изгнавшей в конце 1919 — начале 1920 года деникинские полчища с Украины.

Не успели отзвучать выстрелы по уходящим деникинцам, как на Украину вторгаются войска буржуазно-помещичьей Польши и барона Врангеля. Только в конце 1920 года трудящиеся Украины под руководством Коммунистической партии окончательно очистили родную землю от вражеской нечисти, отстояли завоевания социалистической революции.

Немало усилий и труда вложил в победу украинского народа Станислав Викентьевич Косиор — член и секретарь ЦК КП(б)У, руководитель подпольной деятельности партии в тылу врага. Много сделал он и для восстановления разрушенной и ограбленной Украины.

Для полноты характеристики неутомимого Косиора, заслуживающего высокого звания партийного работника нового типа, мы, зная, что это выходит за рамки данного очерка, все-таки, хотя бы кратко, остановимся на его дальнейшем жизненном пути.

С 1928 года С. В. Косиор — генеральный секретарь ЦК КП(б)У. Как один из руководителей Коммунистической партии Украины, он активный участник борьбы за победу социализма.

С именем Косиора связано строительство крупнейших предприятий Украины — Днепрогэса, Краматорского машиностроительного, Харьковского тракторного и других заводов, шахт и рудников, возникновение и развитие первых в стране машинно-тракторных станций, рост и благоустройство городов, в том числе и Киева, куда в 1934 году была переведена столица Украины. Украинские ученые также многим обязаны С. В. Косиору, который не раз заявлял:

— Рабочий класс должен доказать, что он умеет двигать вперед науку гораздо быстрее, чем это было до сих пор.

Во время проведения сплошной коллективизации на местах случались перегибы. Косиор тоже ошибался, но, осознав ошибки, находил смелость сознаваться в этом, исправлял их и от других требовал того же. Он настоятельно напоминал партийным органам о непременной осторожности, чуткости и гибкости в проведении коллективизации, о необходимости «решительно приостановить методы командования в колхозе. Командованием,— говорил Станислав Викентьевич,— мы губим колхозное хозяйство. Работа в среде колхоза должна проводиться на основе активного притягивания к ней всей колхозной массы».

Большой заслугой С. В. Косиора как генерального секретаря ЦК КП(б)У являлось и то, что он внимательно относился к украинской советской культуре. Делалось это не для снискания личной популярности, а в силу глубокого понимания сущности ленинской национальной политики. По инициативе Косиора и при его активном участии ЦК КП(б)У разработал и принял ряд важных постановлений, сыгравших значительную роль в становлении и развитии украинской социалистической культуры. Среди них постановления ЦК КП(б)У «О начальной и средней школе» (1933 год), «О подготовке курса истории Украины» и «О подготовке курса истории украинской литературы» (1935 год).

Те, кто знал Косиора ближе, подчеркивают особенную черту его характера — внимательное и заботливое отношение к людям, скромность во всем. Приведу один пример. Новая тогда пьеса известного украинского драматурга Кочерги вызвала много кривотолков. Это дошло до генерального секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косиора, и он захотел послушать и обсудить пьесу в тесном кругу, для чего пригласил автора пьесы, как и автора этих строк, и еще нескольких писателей не в ЦК, а к себе на квартиру.

И просто обставленные комнаты, и добродушно улыбающийся хозяин сразу приглушили официальный тон. Станислав Викентьевич очень свободно вел разговор и при этом ходил и слушал, и все это как-то естественно заставляло видеть в нем не начальника, а товарища.

После прочтения пьесы перешли к ее обсуждению. Помню, Косиор сделал несколько дельных замечаний, с которыми не мог не согласиться и автор. Когда обсуждение за-

кончилось, нас пригласили к столу, на чашку чая. Станислав Викентьевич, извинившись за отсутствие жены, принялся хозяйничать сам. Простенькая посуда, отсутствие прислуги, радушие и искренность невольно подкупили нас всех. Чаепитие превратилось в непринужденную беседу. Говорили уже не только о прочитанной пьесе, но и на темы дня.

Нельзя не сказать, насколько внимательно относился Косиор к молодежи. Много требуя от нее, он в то же время проявлял необыкновенную чуткость к ее нуждам и требованиям. 20 апреля 1934 года, беседуя с пионерами 1-й и 3-й школ ФЗО Киева — авиамоделистами Левой Гутманом, Борей Свистуновым и другими, Станислав Викентьевич узнал, что на Украине трудно достать бамбук.

— Придется вам, ребята,— сказал он,— летом самим поехать на Кавказ за бамбуком для своих моделей. Не возражаете?

Надо ли говорить, какой восторг вызвало у ребят это предложение!

Немалую заботу проявил Косиор и о создании в Харькове Дворца пионеров. Лучшее здание города, в котором многие годы помещался ЦИК Украины, было отдано детям после переезда украинского правительства в Киев.

Следуя заветам В. И. Ленина, Косиор главным в партийной работе считал постоянную связь с людьми, воспитание их в духе коммунизма. При этом на первое место он ставил воспитание сознательного отношения к труду. «Создание коммунистического общества, создание всеобщего благополучия возможно только одним путем — трудом»,— говорил Станислав Викентьевич. «Трудиться и только трудиться надо для того, чтобы завоевать хорошую жизнь»,— неустанно напоминал он.

Чтобы приучить людей сознательно относиться к труду, он требовал от руководителей самодисциплины, умелой организации трудовых процессов, чуткого отношения к подчиненным.

Станислав Викентьевич Косиор и большинство его товарищей по работе на Украине являлись видными партийными представителями первого советского поколения. Для всех их общей чертой было неуклонное следование ленинским заветам, ленинский стиль в работе, умение сплачивать вокруг себя коллектив способных работников, тесная связь с массами, упорное стремление теоретически обобщать накопленный опыт и внедрять его в жизнь.

В своем очерке я лишь коротко коснулся деятельности Косиора и то лишь на Украине, хотя он с такой же энергией работал и в Москве и в Сибири. По поручению партии Косиор везде и всюду работал с полной отдачей.

Станислав Викентьевич, будучи оклеветанным, погиб в период культа личности. Но до конца дней своих он оставался верным ленинцем. Он жил для революции, боролся за ее победу, за победу социализма в нашей стране.

Евгений Симонов

ПЕРВЫЙ ГЛАВКОМ

Мы победим!
Ни капли колебаний,
Мы победим,—
Вся сила только в нас!..

А. Пришелец

...Человек с усилием вдохнул холодный, словно иссушенный воздух высот и, превозмогая усталость, продолжал путь. Еще десять долгих шагов. Сколько же сил они отняли! И он привалился к воткнутому в снег ледорубу.

— Вставай! — прошептал сам себе.— Ну, вперед, товарищ Абрам!

Почему он вспомнил вдруг эту, главную свою кличку нелегала? Давно уже позади подполье, тюрьмы, скитания. Стал прокурором республики. Но ведь товарищем Абрамом называл его Ильич.

Николай Васильевич продолжает нелегкий подъем. Чертовски трудный! А думает о другом подъеме, который он начинал четверть века назад, став большевиком. Как эти вот плывущие перед глазами облака, набегают картины прошлого... Татры, Альпы, Поронин и Кларан. Сюда ехал он для встречи с Владимиром Ильичем. И кто, как не Ленин, сказал тогда, при восхождении на вершину Рысы, заметив, что спутник выбирает более легкий маршрут: «Не следует избегать трудностей, нужно уметь их преодолевать» — и двинулся по самому крутому гребешку.

Крыленко идет в гору, до высоты шесть тысяч восемьсот пятьдесят метров. Он здесь один. Ослабевшие на подъеме спутники где-то внизу, на склонах. А подступает ночь, безжалостная на таких высотах. И долг руководителя побуж-

дает его поступиться личным восхождением во имя общего дела всей экспедиции.

Вечером в бивачной палатке Николай Васильевич записывает в дневнике: «Август, 1929. Я не взошел на пик Ленина, но я показал дорогу другим».

* *
*

Его путь к Ленину, к революции начинался в предреволюционном, 1904 году.

На первых же лекциях студент историко-филологического факультета Крыленко заставляет прислушаться к себе однокашников.

— Вас, господин Крыленко, родители нарекли Николаем в честь Николая Чудотворца либо кого другого из угодников православной церкви? — осведомляется законоучитель.

— Не совсем так, батюшка. В память Николая Кибальчича.

Все чаще ему приходится бывать на петербургской рабочей окраине, близ огромного завода Семянникова. Николай читает рабочим так называемые просветительские лекции, а после них толкует со своими слушателями о житье-бытье.

Вот разнесся по цеху властный голос:

— А ну, барабанщик, бей сбор!

Схвачены кувалда да ручники. Далеко разлетаются удары в медную лопасть судового винта. Не дожидаясь гудка, высыпал на двор рабочий люд.

Стал, замер весь гигантский завод. Остановлен дружной рабочей рукой. Умолкли и соседние, бастует вся окраина.

Задумывается, шагая по Шлиссельбургскому тракту, студент Крыленко. Сперва казалось ему, что партия эсеров подхватила знамя «Народной воли». Но вскоре стал бывать на заводах, увлекшись сочинениями Маркса и Энгельса и работами нового для него литератора по фамилии Тулин. День ото дня студенту Николаю Крыленко все яснее видно, какая партия встает у руля грядущей революции. Прямой, порывистый, искренний, он не привык отделять мысли от действий и в свои 19 лет сознательно, раз и навсегда вступает в ряды большевиков.

— Чем же привлекли тебя отечественные адепты Маркса? — осведомляются однокашники.

— Своей выдержанной, стойкой и могучей историко-философской системой,— убежденно отвечает он.

Питер вступил в 1905 год. Драгуны в красных бескозырках патрулируют Суворовский проспект — по взводу пехоты и полуэскадрону кавалерии на всех перекрестках близ университета.



Николай Васильевич
КРЫЛЕНКО
(1885—1938)

Крыленко спешит на Караванную, в книжный склад «Вперед». Заведующий складом Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич вызвал Николая срочно получить пачку подпольных брошюр. Но за студентом идет шпик. Как от него увильнуть, скрыться? Бонч придумал оригинальный способ наблюдения... за филером: в стекла собственных очков, не оборачиваясь, по отражению следить за увязавшимся «хвостом». Бонч рассказал об этом своим помощникам, в том числе и Николаю, который, однако, проявил беспечность и не захватил с собой очки.

Чем же их можно заменить? Николай вынужден идти по улицам, словно праздный гуляка, бездельник. Переходит от витрины к витрине до тех пор, пока в этих гигантских «окулярах» перестает мелькать надоедливая фигура сыщика.

А Бонч-Бруевич информировал зашедшего к нему под вечер Владимира Ильича о своих посетителях: вслед за Луначарским и Красиным был молодой, энергичный студент Крыленко.

— А, товарищ Абрам?.. Кажется, слышал о нем...— отозвался Ленин.

— У него более чем выдающиеся ораторские способности и совершенно незаурядный сангвинический темперамент,— продолжал Бонч.

— Нам такие молодцы весьма кстати...

— Кроме того,— убежденно сказал Владимир Дмитриевич,— при весьма юном возрасте у него много серьезных социал-демократических знаний. Свободно поднимал перчатку, брошенную ему на рефератах известными ораторами из числа кадетов и эсеров.

— Из студентов он, батенька мой, а студенчество — самая отзывчивая часть интеллигенции,— как бы подтвердил Владимир Ильич. И деловито напомнил о необходимости в обязательном порядке обучать подпольной технике всех вновь вступающих в партию: — Архиважная, хотя, между

прочим, и очень трудная вещь. Требует наиболее выдержки и наиболее самоотвержения от человека... Отдачи всех сил на наиболее невидную работу.

Все шире круг обязанностей молодого революционера. С заводской окраины, где он вел кружок невских судостроителей, надо спешить на бал в Политехнический институт. Там под звуки оркестра, пока пары кружатся в вальсе, совещаются студенты-большевики. Назавтра из казармы рабочих Александровских мастерских Николай торопится попасть на журфикс либерально настроенной семьи адвоката Караваева.

Забежав под вечер к своим партийным друзьям, он неизменно выпаливал: «Адски некогда», «Зверски голоден», «Дьявольски хочу отоспаться».

Но, посетовав на усталость, быстро, как и все, что он делает, проглотив все, что только поставят перед ним на столе, декламирует обличительные стихи Курочкина и цитирует на языке подлинника Лукреция. Потом с увлечением рассказывает, как человек полетит на Луну. Недаром же носит он то же имя, что и Кибальчич!

Николай неутомим и вездесущ. С явной симпатией к нему вспоминает Н. К. Крупская о том, как он вел большевистскую агитацию даже на собрании сектантов, которые «чуть не поколотили Крыленко, совсем молодого задиристого парня».

Приметный, тщательно обрамленный по углам белой каменной каемкой дом с высоким венецианским окном на углу Тамбовской и Прилукской. Майским вечером девятьсот шестого года сюда, в Народный дом Паниной, спешит Крыленко. Главная аудитория полна. Стоят у стен. Сидят на подоконниках.

С трибуны не спеша, отработанным адвокатским жестом приветствуя публику, сходит кадет Огородников.

— От социал-демократов большевиков слово имеет Карпов.

Гул недоумения. Что еще за Карпов? Но, словно нарастающий издали морской прибой по рядам, особенно там, где сюртуки и вицмундиры уступают место простым пиджакам и косовороткам, проносятся и нарастают возгласы, рукоплескания.

Да никакой же это, товарищи, не Карпов. Ленин! Вот кто.

С минуту Владимир Ильич стоит молча. Очень бледный, и эта бледность волнения делает похожим на мрамор вы-

пуклый его лоб, который Горький назвал сократовским. И словно включается скрытый до этого источник света, и блеск озаряет чуть косящие глаза.

Первое публичное выступление Ленина после приезда с чужбины.

Крыленко слушает и ловит себя на том, что забыл и про приготовленную тетрадку и про зажатый в руке карандаш. Слушателей подхватило, увлекло, унесло течение ленинской мысли. Ильич развертывает свой план наступления рабочей революции.

...В ленинском архиве появилась в 1954 году неизвестная до того «единица хранения»: записная книжка в дерматиновом переплете. Она принадлежала секретарю ЦК Крупской. Надежда Константиновна заносила в свою книжку адреса агентов ЦК РСДРП в 1912—1914 годах. За короткими записями зримо предстает размах связей заграничного Большевистского центра с его периферией.

Листая странички, то и дело встречаешься с неутомимым агентом партии Абрамом: «Внутри для Абрама», «Письма и посылки Абраму». Или еще чаще: «От Ник. Вас.», «От пана Николая, или Николая Васильевича», «Чтобы разыскать Николая Васильевича, ночевка», «Для явки: разыскать (Люблин) Радзивилловская, 3, кв. 20, Ивана Семеновича Петриковского, у него спросить Сергея от Маруси, пароль — «она уехала»». «Адрес для Н. В. (на один раз): Радзивилловская, 5, Евгению Петриковскому для Веры, Люблин».

Все это относится к Крыленко. Он действует. И всегда старается быть поближе к Ленину. Ленин в Кракове, а Крыленко, рукой подать, в Люблине. После тюрьмы, военной службы, упорной большевистской пропаганды среди солдат Крыленко обосновался здесь преподавателем истории. Краков — это Австро-Венгрия, Люблин — Россия.

Крыленко — связной и доверенный Ленина. Ему и надо действовать в непосредственной близости от Ильича. Бороться с влиянием ликвидаторов. Обнаруживать действия провокаторов, засылаемых в партию, устанавливать надежные разветвленные связи.

Переезд Ленина из Парижа в Краков означал, что заграничная часть ЦК перебазируется на передний край революции. Когда в первые дни, шагая по улицам Кракова, Ленин вглядывался в темнеющую на горизонте линию Татранских гор, сердце его радостно билось: «Там же Россия! Каких-нибудь тридцать верст, и ты дома».

По соглашению двух смежных империй достаточно предъявить на пограничном кордоне полупасок — двухнедельный заменитель выездного паспорта, к тому же без фотокарточки, и распропагандированные «паном» Николаем (Крыленко) крестьяне переходят границу, принимают от «пани» Надежды (Крупской) письма и посылки для партии.

Вот к Николаю Васильевичу является Инесса Арманд.

— Я к вам прямиком из Кракова.

— Значит, от самого Ленина?

— Да, необходимо основательно готовиться к выборам в IV Думу, провести от рабочей курии проверенных большевиков. Они прибудут на днях в Люблин. Николай, обеспечьте им гарантированный переход границы.

Крыленко зашагал по тесной комнатке. По привычке отогнул краешек занавески. Прошел сонный фонарщик, загасил фонари. С востока, над Россией, медленная и величавая, занимается алая полоса восхода. А здесь еще мрак ночи. И улыбнулся всему: и полученным вестям, и тому, что уловил в словах Инессы.

Крыленко осторожно оглядывает глухую каменную стену владений князей Любомирских и, сдерживая волнение, поднимается на второй этаж недавно отстроенного доходного дома. Вот уже он жадно вглядывается в чуть прищуренные, светло-карие глаза. По лицу Ленина пробегает улыбка, то добродушная, то насмешливая. Завязывается беседа. Вопросов накопилось множество. Но ни один не застает Ильича врасплох. И не в первый раз примечает Николай, что любая деталь, факт, фактик связываются Владимиром Ильичем в одно целое: мелочи отметаются, значительное становится звеном общей цепи.

— Наш переезд в Краков, дорогой товарищ Абрам, с точки зрения дела полностью окупился. Надя сразу же подметила: здесь нет и в помине парижской эмигрантской толчеи. И Россия под боком, любые пакеты курсируют, батенька мой, без волокиты.— Потом, как бы предваряя важное задание: — Будем еще энергичнее делать дело революции... Восстановлен Питерский комитет... Найдется и для вас в Питере работка, хватит вам сиднем сидеть в своем Люблине...

Пообедали. Надежда Константиновна посмеялась: так по нраву здешнее краковское житье, что даже местную «моцную старку» Володя похваливает. Ленин отшутился. Деловито напомнил:

— Только не возлагайте чрезмерных упований на Думу. Большевистским депутатам наш наказ: изо дня в день напоминать с думской трибуны всем этим черносотенцам, что рабочий класс силен и могуч, что недалек тот день, когда вновь поднимется революция. И изо дня в день клеймить весь царский строй. Это будет действительно то, что должны слышать рабочие от своего депутата.

И крепко пожал на прощание руку.

* *
*

— Горошинка! Сколько лет, сколько зим!

Коренастый офицер с фронтовыми погонами прапорщика обернулся. Так звали его очень немногие товарищи по партии за быструю складную речь: «Как горохом сыплет».

— Антонов!

— Он самый! А ты в Питер делегатом фронтовиков?

— Честь имею: делегат от одиннадцатой армии на съезд фронтовиков.

На перекрестках Невского вместо прежних осанистых городовых студенты с повязками на рукаве. У Елисеевского магазина Крыленко, улыбнувшись, обратил внимание Антонова: та же императрица на памятнике, та же свита ее фаворитов, но теперь в руке императрицы плещется алый стяг революции...

Они шли по шумящему городу, и Крыленко рассказывал про ленинский реферат о войне, услышанный в Кларане, где ему довелось председательствовать. И как же далеко вперед видел Ильич: вот уже и подтвердилось все, что он говорил.

Друзья сели в дребезжащий трамвай, развернули свежий номер «Правды». В газете обратили внимание на статью «Большевизм и «разложение» армии». В ней Ленин приводит одну из прокламаций, написанных на фронте: «Всякий, кто дал себе труд прочесть резолюции нашей партии, не может не видеть, что *суть* их вполне правильно выразил товарищ Крыленко».

Николай забирает у Антонова газету. Еще и еще раз вчитывается в напечатанные на желтоватой бумаге строки.

Через несколько дней он на I съезде Советов. В зале и президиуме не только доморощенные соглашатели, от Керенского до Чхеидзе, но и вызванный из-за границы Вандервельде, который вещает о том «общественном спасении», которое должна принести «чудесная энергия Керенского».

На трибуне Ленин. Он говорит о том, что волнует солдат, рабочих, крестьянство. Растет с каждым днем роль Советов. Складывается новое, Советское государство. А Дума уже изжила себя. Власть должен взять трудовой народ.

Вслед за Лениным берет слово Крыленко. Он смело вступает в спор с премьером и верховным главнокомандующим. Прапорщик или главковерх? Крыленко или Керенский? После каждой фразы «низшего чина» усиливается антивоенное настроение в рядах слушателей. И Владимир Ильич все радостнее поглядывает на говорящего. И все чаще дергается сведенное злобой желтое истеричное лицо премьера.

Теперь ежедневно направляется Николай Васильевич в Смольный. В записках Джона Рида рассказывается о встречах в Военно-революционном комитете. Рид застает в комнатах 75—76 Подвойского, Антонова, Дыбенко, и конечно же то здесь, то в казарме, то рядом с Лениным ему все время попадается на глаза «Крыленко, коренастый, широколицый солдат, с постоянной улыбкой, оживленной жестикуляцией и резкой речью...»

Через несколько дней на тайном совещании на Островах Ленин бросает ставшие достоянием истории слова: «...на очереди то вооруженное восстание, о котором говорится в резолюции Центрального Комитета». Встает представитель Бюро «Военки» Крыленко:

— Настроение в полках поголовно большевистское.

* *
*

Пылали костры, отражаясь тревожными сполохами в окнах Смольного. Наступил победивший Октябрь.

«Было ровно 5 часов 17 минут утра, когда Крыленко, шатаясь от усталости, поднялся на трибуну»,— пишет Джон Рид. Он свидетельствует: Крыленко рассказал о вестях с фронта, о том, что армия приветствует съезд Советов, командование берут на себя военно-революционные комитеты; комиссары Временного правительства подают в отставку. «Началось нечто совершенно неописуемое. Люди плакали и обнимали друг друга... Свершилось!..»

Ленин формирует первое в мировой истории правительство державы рабочих и крестьян. И следом за подписью Ульянова ставит свою подпись под декретами народный комиссар по военным и морским делам Крыленко.

Глубокой ноябрьской ночью автомобиль Ленина притормозил у казенного здания на Дворцовой площади. Блик луны озаряет голову ангела, венчающего колонну. Гулко отдаются над рекой крепостные куранты. Полночь. Ленин быстрой походкой поднимается в аппаратную штаба военного округа:

— Прямой разговор со ставкой. И — незамедлительно!

Нудные переговоры с дежурным генералом. Верховный главнокомандующий Духонин уже почивают. Но Ленин не склонен медлить:

— ...Получена вами радиотелеграмма Совета Народных Комиссаров... и что сделано во исполнение предписания Совета Народных Комиссаров?

Дитерихс увиливает. Ставка, дескать, занята проверкой достоверности приказа о том, чтобы немедленно начать переговоры о мире, сделала запрос...

— Разрешите, Владимир Ильич!

Ленин молча кивает. Крыленко подсаживается к телеграфисту:

— Почему одновременно не был послан этот запрос мне,— мерно отстукивает аппарат,— как народному комиссару по военным делам?.. Политическое руководство деятельностью военного министерства и ответственность за таковую лежит на мне...

Ленин одобрительно кивает. На том конце провода появился наконец Духонин. Снова отговорки, увиливание. Ленин перекидывается несколькими словами с Крыленко — и снова поползла лента.

— ...Ультимативно требуем немедленного и безоговорочного приступа к формальным переговорам о перемирии... Благоволите дать точный ответ.

Духонин ссылается на какую-то «центральную правительственную власть», явно не хочет признать Совнарком.

— Именем правительства Российской республики, по поручению Совета Народных Комиссаров мы увольняем вас от занимаемой вами должности... Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко.

Разрезая густую темноту ночи, увенчанный алыми стягами, локомотив революции мчит на фронт ленинского главковерха...

Жизнь большевика-ленинца Крыленко оборвалась летом 1938 года.

На сессии вновь образованного Верховного Совета страны депутаты слышат с кремлевской трибуны полный провокаторского яда вопрос Багирова:

— Нам нужно все же знать: с кем мы имеем дело в лице товарища Крыленко — с альпинистом или с наркомом юстиции?

Сталин, Ежов, Берия поощрительно аплодируют. Молотов спешит объявить речь «вполне объективной». И ленинского главковерха, ленинского наркома нет больше в составе правительства.

Пять дней дается ему на сдачу дел. В воскресенье на скромной подмосковной даче собрались члены семьи. Николай Васильевич бледен, но внешне спокоен, рассказывает о неожиданном звонке из Кремля:

— Не расстраивайся. Мы тебе доверяем... Продолжай порученную тебе работу над новым сталинским кодексом законов.

А в это время Сталин санкционировал арест Крыленко...

Через полгода Николая Васильевича не стало.

...Прошли десятилетия. Там, где совершал свои восхождения Николай Васильевич, над снежным морем памирских вершин летит самолет. Высокий, смуглый, бородатый человек в полувоенном костюме не отрывается от иллюминатора.

— А где находится пик Ленина? — спрашивает пилота Фидель Кастро. И до боли в глазах вглядывается в гряду хребтов, где расположена вершина. Она стала самым высоким в мире памятником, на пьедестале которого на высоте семь тысяч сто тридцать четыре метра установлен бюст Владимира Ильича.

К северу от пика Ленина — покрытый глубокими снегами отрог. Ему по праву дано имя Крыленко, который с одним только спутником преодолел не хоженный до него участок Заалайского хребта. В своей жизни Николай Васильевич был так же близок к Ленину, как этот примыкающий к пику перевал.

На XXII съезде КПСС среди навечно теперь восстановленных в истории партии был назван и Николай Васильевич Крыленко: видный партийный и государственный деятель, верный ленинец, вся жизнь которого была отдана до последнего дыхания народу.

Владимир Красильщиков

ВЕСЬ БЕЗ ОСТАТКА

> ...Что пожелать? Заразитесь от нас ликующей радостью и действуйте... Будьте бодры и радостны. Жизнь идет. Живи, робята!
>
> *Валериан*

Тысяча девятьсот двадцатый год...

Гражданская война в Средней Азии приближается к развязке. Но войска молодой Советской республики никак не могут овладеть Красноводском. Это прочный бастион интервентов и контрреволюции.

Трудно или просто невозможно развернуть боевые действия в пустыне, предпринять широкий маневр в сплошных движущихся песках, когда ветер выдувает даже насыпь изпод шпал.

Бои завязываются на узенькой полоске вдоль железной дороги Красноводск — Ашхабад. Здесь есть вода и, значит, возможна какая-то жизнь. Жестокие схватки идут за каждый разъезд, за каждую водокачку, за каждый колодец. Небольшая станция Кизыл-Арват уже несколько раз переходила из рук в руки: то она у нас, то ее снова забирают деникинцы.

Красноводск по-прежнему остается у белых.

Чтобы решительно ускорить военные действия, по предложению Фрунзе, командующего Туркестанским фронтом, из Ташкента в Закаспий направляется член Реввоенсовета Куйбышев.

Валериан Владимирович приехал в Кизыл-Арват, недавно отбитый у противника, когда штаб Закаспийского фронта разработал план дерзкой обходной операции.

Решили пройти по пустыне сто километров и занять станцию Айдын. Пройти надо было большой группой войск — с пехотой, с конницей, с артиллерией, чтобы не только перерезать железную дорогу, но и надежно запереть белых на участке между Айдыном и Кизыл-Арватом.

И вот после тщательной подготовки длинный-предлинный караван тронулся на зорьке в путь.

Упираясь в стремена и слегка приподнимаясь в седле, Куйбышев молча смотрит на проходящие мимо роты, эскадроны, батареи, на растянувшийся обоз. В тишине утра не слышны голоса людей — только скрип колес, да изредка громыхнет котелок или лопата. Лица сумрачные, сосредоточенные на чем-то своем, отдельном, и в то же время на общем — на одном...

«Кажется, не забыли ничего? Снаряды, патроны, продукты, медикаменты, перевязочные средства, запас воды. Да! Вода особо. К сожалению, приходится и ее нести с собой — в специальных кожаных мешках на вьюках. Да что вода! Корм для коней, для верблюдов и тот пришлось взять! Нормы питания урезаны до предела, и все же вон какой обозище!..»

Двуколки, телеги, фургоны громыхают и громыхают мимо. И конца-краю им не видно.

«А все же пищи, воды, кормов смогли взять лишь на дорогу туда — лишь на четыре дня. Если не удастся внезапно обрушиться на дивизию, занимающую Айдын, все погибнут. И я. Да, и я погибну. На обратный путь просто не хватит ни воды, ни пищи, ни кормов. Без пищи бы еще куда ни шло, а вот без воды здесь пропадешь».

А телеги все скрипели и скрипели мимо, уходя вперед, вперед, туда, где серое небо сливалось с серыми барханами.

Куйбышев тронул коня и поспешил в голову колонны...

...Хряп, хряп, хряп — мерно скрипит песок под копытами. И в такт ему поскрипывает ссохшееся седло.

Неподвижна вокруг песчаная равнина. Неподвижны, замерли, затаились одинаково нависшие, одинаково пологие барханы — не отличишь один от другого. Затаились впереди — к ветру, затаились сзади — от него, затаились слева и справа. Будто и не было семи часов похода, будто все ты на том же самом месте, только станция с поселком, с корявыми саксаулами, с водокачкой провалилась куда-то в глубь земли.

Солнце палит, нет, не палит, а прожигает заблестевшие

солью спины бойцов, прожигает неотступно. Командир второй батареи, у которого все приборы всегда в полной исправности, говорит, что по Цельсию уже шестьдесят.

Не пьешь — плохо и пьешь — плохо: жажда остается, усталость прибавляется. Но все же хочется пить; пить бы и пить, все равно что: теплую воду, холодную воду, квас, молоко, чай — только бы пить. А на каждого три стакана воды в день. Люди могут воздержаться — лошади не стерпят, им не объяснишь, а их четыре тысячи — лошадей, и каждую надо напоить, иначе не дойти.



Валериан Владимирович
КУЙБЫШЕВ
(1888—1935)

Кажется, от горизонта до горизонта растянулся отряд. Вот бы сейчас припасть к прохладному источнику под березой и пить, пить, пить!..

Но... По-прежнему одинаковы, по-прежнему безлики и неподвижны волны барханов. «Хряп, хряп, хряп»,— скрипит песок под копытами: сыпучий увал, вязкий гребень, пологий спуск навстречу ветру с Каспия. Опять подъем на увал, опять вздох коня на гребне, опять медленный спуск. А впереди, докуда хватит глаз, под неподвижным выгоревшим небом затаившиеся барханы — море барханов. И кажется, ни до чего тебе не дойти, да и нет ничего там, за мглистым пышущим маревом,— ни людей, ни Каспия, ни жизни.

Вот бы встретить прозрачный студеный ключ!.. Но ведь карта ясно говорит, что ничего подобного здесь не встретишь... Мало ли что говорит карта... А вдруг?.. Ну хоть колодец, плохонький, заброшенный колодец с тепленькой водой!.. Хоть ведро воды! Хоть стакан!

Журчит песок под копытами, журчит, струится...

Истомленный зноем всадник вглядывается в расплавленное марево — и вот за колыхнувшимися волнами барханов открывается море. Нет, это не море — это Иртыш. И не Иртыш, а родная Чаглинка — и на берегу ее он, юный Воля Куйбышев, сын воинского начальника в заштатном сибирском городке Кокчетаве, приехавший на побывку воспитанник Омского кадетского корпуса.

С детства мечтал он о далеких походах и славных баталиях. Очень рано любимым его героем стал Суворов.

Мальчик прочитал о нем все, что удалось найти, и старался сделаться похожим на великого полководца: спал на голых досках, обтирался холодной водой, подкладывал под голову шинель. Так что дома его шутя звали «наш Суворов». И вот наконец мечта, казалось бы, начинает сбываться: блестящие успехи в кадетском корпусе, блестящее будущее офицера в перспективе. Но почему все меньше и меньше читающий кадет Валериан Куйбышев думает о карьере Суворова? Почему другие судьбы волнуют сердце, другие герои на уме? Чернышевский, Герцен, Салтыков-Щедрин...

«Кто борется с природою,— прочитал он однажды у Писарева,— тот обогащает и самого себя и всех окружающих людей; кто обирает людей дозволенными и недозволенными средствами, тот разливает вокруг себя бедность и страдание, которые непременно, рано или поздно, тем или другим путем, доберутся и до него самого... Теперь всеми сделанными открытиями пользуется ничтожное меньшинство, но только очень близорукие мыслители могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала».

Может быть, именно эта мысль заставила юношу по-настоящему задуматься, критически оценить окружающее, пересмотреть свое отношение к жизни. Может быть, попав в корпус, он быстро перерос тесные рамки дворянской, кастовой, ограниченности и, как все здоровое, сильное, смелое в поднимающейся России, уже видел дальше, глубже, шире остальных. А может, просто время наступало предгрозовое, и не видел ничего только тот, кто не хотел видеть. Кто знает? Одно можно сказать твердо: «престол и отечество» начинали терять еще одного слугу.

Надежды подполковника Куйбышева на то, что сын пойдет по его пути, не оправдывались: еще не закончив корпус, в тысяча девятьсот четвертом году, шестнадцатилетний Валериан вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию и сразу же примкнул к большевикам-ленинцам.

Наступил новый тысяча девятьсот пятый год.

Всю страну потрясло Кровавое воскресенье — девятое января. И Куйбышев получает от Омской партийной организации первое серьезное задание: ему поручают выступить перед рабочими-железнодорожниками. Он взволнованно говорит о расстреле мирной демонстрации в Петербурге, о том,

что без борьбы ничего не добьешься, по-юношески страстно призывает подписать составленный им протест.

Запомнилась радость первой победы — пусть маленькой, но победы: вот он стоит, совсем еще юный, почти мальчик, и смотрит, как бывалые, тертые нелегкой жизнью люди не очень ловко, но решительно ставят свои подписи...

За первым заданием — второе, третье, еще серьезнее, еще ответственнее. И вот он уже в Петербурге, студент Военно-медицинской академии. Но это лишь внешняя сторона его жизни: Валериан Куйбышев все больше и больше уходит в революционную работу, отдает себя ей.

Год шел тысяча девятьсот пятый — первая русская революция...

Семнадцатилетний юноша развозит по районам нелегальную литературу. В конспиративной квартире он получает ящики с бомбами, приходящие из Финляндии, и переправляет их на центральный склад. Отсюда оружие и боеприпасы расходятся по всей стране, особенно много отправляют в Москву: большевики готовят вооруженное восстание.

Однажды ноябрьским вечером он вместе с курсисткой Агатой Яковлевой должен был перенести два ящика бомб. На квартире рабочего они распаковали эти ящики и увешали себя бомбами. За поясом, на груди, на спине, в карманах — всюду был тяжелый прохладный груз. Часть бомб уложили в портфель, остальные увязали в свертки.

Выйдя на улицу, Агата оглядела Куйбышева с ног до головы и, улыбнувшись, шепнула:

— Вы, кажется, располнели...

— По-моему, у вас нет оснований завидовать мне...

Вскоре он заметил, что позади них идет полицейский. Неужели выследил?

Они свернули в переулок — полицейский за ними.

Портфель и свертки немилосердно оттягивали руки, а перекладывать было нельзя: полицейский мог тут же заинтересоваться: что это за портфель такой тяжелый у молодого человека, что за свертки?

Изменили путь еще раз — полицейский не отстает, снова завернули за угол — снова идет по пятам.

Бомбы давят грудь, ноют оттянутые руки, натруженные плечи; каждый шаг причиняет боль, идти дальше становится не под силу. А полицейский все идет и идет за ними... Что же делать? Руки вот-вот сами разожмутся, и тогда...

Куйбышев опять осторожно оглянулся. Что такое? Полицейского нет. Вон он, зашел в один из домов. А вот и спасение:

— Извозчик! Пожалуйста!..— И Куйбышев назвал адрес.— Уф! Никогда еще не испытывал такого наслаждения от того, что сижу. Но что такое с вами, Агата? Почему вы так мрачны?

— Вы сознаете, что сделали? Ведь вы же громко назвали адрес склада. Теперь полицейский немедленно позвонит по телефону — и провалимся не только мы, но и весь склад!

— Н-да-а... Пожалуй, вы правы... Как же быть? Давайте не повезем бомбы по указанному адресу.

— Нет. Товарищи погибнут. И мы должны с ними погибнуть...

При воспоминании обо всем этом Валериан Владимирович невольно улыбается и, словно очнувшись, оглядывается по сторонам: кругом по-прежнему неподвижные, мертвые барханы. Кто это сказал, что они пересыпаются с места на место? Не может быть. Все так же кажется, что от горизонта до горизонта растянулся темной змейкой на желто-сером песке караван людей, орудий, повозок, верблюдов... Ветер метет в лицо колючие песчинки.

Как давно и как, в сущности, недавно все это было: детство, юность!..

И все еще продолжая оставаться во власти воспоминаний, он вздыхает: «Да, хорошо, что тогда так благополучно все кончилось. А ведь думал — провалил склад. Стреляться даже хотел с отчаяния... Хорошая была вперед наука».

Все так же мерно похрустывает под копытами песок. Все так же идут люди — вперед, вперед, идут навстречу неподвижным барханам, навстречу жизни, а может быть, смерти. Идут и день, и ночь, и второй день, и вот уже вторая ночь пути. Только короткие привалы, короткие передышки — и снова в путь, в путь...

Успех дела в быстроте: если деникинцы обнаружат отряд и подготовятся к обороне, то гибель всех неизбежна.

Поплескивает вода в кожаных мешках на вьюках, фыркают верблюды, всхрапывают кони, изредка слышится ругань: опять кто-то заснул на ходу.

Сон наваливается неотвратимо, как болезнь. Валериан Владимирович встряхивает головой, трет уши, и вот уже как бы сквозь пелену, сначала расплывчато, а потом все яснее, отчетливее встают одна за другой картины.

Вот он видит себя в подпольных кружках Омска, в Каинске, в Барабинске, в Петропавловске. Потом вдруг все исчезает, перебивается: арест на партийной конференции в Омске, тюрьма, суд. Потом снова арест, снова тюрьма, но уже другая, снова суд. Нелегальная работа. Жизнь революционера-профессионала в Тамбове, в Вологде, в Харькове и в Петербурге. Работа в больничной кассе. Избрание в Петербургский комитет большевистской партии — руководство пропагандистской работой. Высылка на три года в Иркутскую губернию. Организация политических ссыльных. Марксистские кружки. Рукописный журнал. Работа среди местных крестьян. Борьба с оборонцами, защита ленинского лозунга превращения империалистической войны в войну гражданскую. Побег. Работа в Самаре на крупнейшем военном заводе под именем Иосифа Андреевича Адамчика...

Вот, чувствуя ладонью луку седла, понимая, что спит и не может ничего поделать, Валериан Владимирович продолжает видеть себя во сне: в девятом году он арестован, а потом заключен в одиночную камеру томской тюрьмы. Рослый и плотный, он с трудом умещается на шатком стульчике, порывисто встает, делает шаг к окну, резко поворачивается, шагает и тут же останавливается — теперь уже перед дверью. Нетерпеливо поводит плечами: так хочется шагать и шагать — размашисто, самозабвенно, мерить землю — всю, а вместо этого...

Нет! Так нельзя! Нельзя жить впустую. Даже здесь! Надо что-то делать. Но что? Что можно здесь делать?

А Ленин?!

Разве можешь ты его представить впавшим в уныние? Или опустившим руки? Как он, говорят, работает! На свободе и в тюрьме, в изгнании и на родине — всюду, всюду одно и то же: зарядка, работа, зарядка. Сколько им сделано уже! Сколько нам еще надо сделать! Ты уже прочитал здесь медицинскую книгу и книгу по астрономии... Да! Надо так же, как всегда. Он раскрыл тетрадь для занятий алгеброй и на странице, исписанной математическими формулами, вывел: «Расписание дня. Вставать в...» — занес руку, но остановил ее, подумал: «Пожалуй, буду в восемь часов», помедлил и черканул: «Полвосьмого»! Так-то оно лучше. Теперь далее: полчаса на умывание, оправку, гимнастику — все это до восьми часов. Затем полчаса на чай. От половины девятого до половины десятого занятия правом. Потом прогулка.

Потом два часа занятия немецким языком. На обед полчаса. На чтение час. Снова прогулка, чай и два часа занятия правом. Два часа чтения. Полчаса на гимнастику, обтирание холодной водой, и в одиннадцать — спать...

— Товарищ член Реввоенсовета! Валериан Владимирович!..— Это подскакал командир первой батареи.

Куйбышев ответил ему, смущенно протер глаза, осмотрелся: уже начинает светать. В сероватой мгле идут и идут люди, едут конные, тянется по барханам обоз...

Хрустит песок — хрустит где-то далеко, далеко внизу — под плывущей спиной коня. Широкая эта спина из темной почему-то становится белой-белой. Да это и не спина — это снежная дорога. И не по пустыне идут бойцы, а по завьюженной дороге сквозь тайгу движется партия политических. Сначала издали, а потом все ближе, все ясней чуть хрипловатый, но все еще звонкий юношеский голос грустно выводит:

Динь-бом, динь-бом —
Слышен звон кандальный,
Динь-бом, динь-бом —
Путь сибирский дальний...

«Дальний,— откликаясь, перекатывается жесткое сухое эхо,— да-альний... да-а-альний...»

В полдень ссыльные остановились отдохнуть. Развели костер; затрещали смоляные ветки, упругое пламя взметнулось прямо вверх — в безветрие, обдавая жаром, наполняя истомой и негой тела сгрудившихся вокруг него людей.

Вдруг... бабах! — точно из пушки ударили рядом.

Все невольно вздрогнули и обернулись. Нет, ничего особенного, все по-прежнему неподвижно в этом седом безмолвии, только снег сухими струями сыплется с вековой сосны. Ссыпался весь — оголил черные разлапистые ветки, и все. Тишина, спокойствие, неподвижность.

— Дерево лопнуло,— со вздохом пояснил зачем-то юркий смуглолицый ссыльный, заросший жиденькой мальчишечьей бородой (это он пел в пути), и зябко закутался в подпаленную шинель.— Не выдержало дерево.

— Морозище! — в тон ему вздохнул кто-то.

— Ох, Сибирь, Сибирь, Сибирь — дивная планета: двенадцать месяцев зима, остальное лето.

— Пропадем мы здесь, хлопцы!

— Все, как есть, пропадем.

— Полно! — Вперед выступил рослый плотный человек. Да, конечно, это был он, он — Валериан Куйбышев. Он был в добротном полушубке, но шапку-ушанку не завязал: чистые румяные щеки его как будто не мерзли. — Полно вам! Я сибиряк и больше всего люблю Сибирь. Да вы знаете, что это за край?! — Говорил он уверенно, убежденно, и его невольно стали слушать. — Это же еще Герцен понял! Драгоценная жемчужина России. Напрасно смеетесь, господин конвойный! Русские цари превратили Сибирь в каторгу, поэтому она пугает. На нее смотрят лишь как на подвал, набитый золотом, мехами и другим добром, но занесенный снегами и абсолютно не пригодный для жизни.

— А что, не так, что ли? — перебил смуглолицый юноша-бородач.

— Нет! Не так. Мертвящее русское правительство все делает палкой — не умеет сообщить тот жизненный толчок, который бы увлек Сибирь вперед со сказочной быстротой. Вот увидите, что здесь будет, когда лучшие сыны народа хлынут сюда... Распашут богатейшие черноземы, настроят дорог, поднимут прямо из тайги города, заводы... Движение, тепло и свет от еще невиданных, небывалых электростанций победят оцепенение, холод, мрак...

— Когда все это будет, Валериан?

— Скоро. Очень скоро! Когда мы отберем Россию у царя.

— Ну, ты там! Полегче!.. Подымайсь!.. Становись!.. Шагом арш!

И снова впереди только завьюженная, прерывающаяся нить дороги, а по сторонам тайга, погребенные под снежными завалами черные деревья — деревья, деревья без конца, без надежды — глухая, все заслонившая, все поглотившая стена.

— Ну-ка, борода, запевай, — Куйбышев толкнул соседа.

Смуглолицый на ходу повернулся, вопросительно поднял блестящие глаза-сливы:

— Опять «Динь-бом»?

— А другие знаешь?

— Другие?.. — Он иронически усмехнулся, дескать по меньшей мере странно ждать от человека в его положении других песен, но тут же насторожился, как бы прислушиваясь к чему-то давно, давно забытому, а быть может, и похороненному. — Другие?!. — внезапно откинулся, распрямился, вывел высоко, звонко, задиристо:

Гей, друзья! Вновь жизнь вскипает.
Слышны всплески здесь и там.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам.
Радость жизни, радость битвы
Пусть умчит унынья след,
Прочь же, робкие молитвы!
Им уж в сердце места нет...

«Откуда он знает мое стихотворение? — взволнованно и удивленно думал Валериан Владимирович, молча шагая рядом с певцом. — Я ж написал это в тюрьме, когда-то, почти забыл...»

А смуглолицый юноша между тем весь отдался песне, шагал и шагал, продолжая с увлечением, самозабвенно:

Будем жить. Любовь? Чудесно!
В бурю любится сильней.
Ярче чувства, сердцу тесно
Биться лишь в груди своей...

Когда он умолк, Куйбышев спросил:

— Откуда ты знаешь эти стихи?

— Ну как же! У нас их все пели — вся организация. Я вот музыку подобрал. Конечно, неважнецкая, зато слова-а!.. Правда?..

«Ссылки, тюрьмы...— уже проснувшись, подумал Валериан Владимирович, уперся в стремена, потянулся и поудобнее уселся в седле.— Сколько их было! И наяву помнятся, и во сне снятся. И еще будут сниться — пока жив, пока есть память. А Сибирь, действительно... Мы еще взбодрим в ней такую цивилизацию, какой земля и не видела. Дайте срок... Странно! Быть может, завтра меня уже не будет, а думаю совсем, совсем не о себе. Странно...» И опять подумал о Сибири.

И опять вспомнилось — на этот раз, как в шестнадцатом году, после побега из ссылки, он работал в самарской партийной организации и поступил на Трубочный завод фрезеровщиком. Пришел он, не умея обращаться со станком, и его учили товарищи-большевики. А через некоторое время они же просили его:

— Ты не очень-то нажимай, а то нам всем из-за тебя норму увеличат — заработок снизят...

Зимой семнадцатого года перед ссылкой Куйбышева в Туруханский край начальник самарской тюрьмы узнал, что

Валериан Владимирович — сын подполковника и даже окончил кадетский корпус. Старый служака покачал головой и вздохнул:

— Жаль, жаль, был бы теперь офицером.

На это один из заключенных, улыбаясь, заметил:

— Ничего! У нас он будет генералом.

Едва ли в то время даже сам шутник подозревал, какая большая доля правды в его шутке. Сразу же после Февральской революции Куйбышев возвращается в Самару и борется здесь за установление Советской власти. От самарской организации он едет на седьмую Всероссийскую конференцию РСДРП(б), на которой впервые встречается с Лениным.

Изо дня в день подвергаясь смертельной опасности, Валериан Владимирович возглавляет борьбу за Советскую власть в Самаре, торжественно провозглашает эту власть, руководит первыми ее шагами в обстановке жесточайшей борьбы и даже покушений. А когда город занимают белогвардейцы, Куйбышев в последний момент уходит с частями Красной Армии. Став политкомиссаром и членом Реввоенсовета Первой и Четвертой армий, он участвует в тяжелых кровопролитных боях, проводит отступление в исключительно сложной обстановке лета тысяча девятьсот восемнадцатого года. Наконец желанная победа вырвана у врага — первая победа!.. Куйбышев и его боевые товарищи тут же телеграфируют Ленину: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара».

«Взятие Симбирска — моего родного города,— отвечает Ленин,— есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и силы. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы».

Председатель Самарского ревкома, член Реввоенсовета Южной группы Восточного фронта, исполняющий обязанности командующего Одиннадцатой армией под Астраханью, член Реввоенсовета армий Туркестанского фронта и член комиссии ВЦИК — Совнаркома РСФСР по делам Туркестана — вот дальнейшие этапы бурной и многогранной работы Куйбышева во время гражданской войны. И теперь он здесь, в трудном походе по пустыне.

«Неловко как-то,— вдруг подумал Валериан Владимирович, оглядывая уже хорошо видных ему при свете только

что взошедшего солнца бойцов.— Неловко: люди идут, а я еду и даже сплю...» Он спрыгнул с коня и пошел рядом с ними.

Что же было потом? Потом... Об этом рассказывает сам Валериан Владимирович:

«...В конце четвертых суток мы очутились около безлесной песчаной горы, за которой находилась станция Айдын. Нам нужно было обойти эту гору и выйти на линию железной дороги.

Была ночь, часов двенадцать. Удар мы решили нанести на рассвете.

Таким образом, у нас оставалась пара часов для передышки. Мы остановились бивуаком, подкрепили свои силы последними остатками воды и пищи и только что начали собираться в последний поход, как вдруг увидели спускавшихся с горы конных разведчиков неприятеля. Их было человек пять. Ничего не подозревая, они спустились до половины горы. Нам ничего не оставалось делать, как отправить им вслед кавалерийскую разведку, которая перехватила бы их и не дала возможности противнику обнаружить нас. Десять лихих разведчиков помчались наперерез разведке неприятеля. Мы с большим напряжением наблюдали в бинокли эту сцену и, к ужасу своему, увидели, что разведка неприятеля заметила погоню и быстро начала удаляться за гору. У них были, конечно, все преимущества: свежие лошади давали им возможность уходить со значительно большей быстротой, чем шла наша погоня. Расстояние между ними росло, и в конце концов разведка неприятеля скрылась из наших глаз.

Настроение отряда сильно поколебалось. Противник не будет уже застигнут врасплох. Он будет иметь возможность подтянуть силы из Красноводска, с одной стороны, с передовых позиций — с другой и дать нам сильный отпор. А это означало нашу гибель. Тем не менее не оставалось другого пути, и первое, что надо было сделать,— это немедленно взорвать путь и телеграфную связь как впереди станции Айдын, так и в тылу. Немедленно две группы разведчиков были направлены для выполнения этих задач. Я поехал с группой разведчиков, которая была направлена в тыл противника. До линии железной дороги мы домчались в течение трех часов. Было совершенно очевидно, что разведка противника, обнаружившая наш отряд, могла достигнуть своего штаба значительно раньше...»

И все же, несмотря ни на что, станция Айдын была взята в срок, а вскоре разгромлена вся Красноводская группировка белых. Валериан Владимирович Куйбышев стал командующим всеми вооруженными силами Туркестана и полпредом РСФСР в Бухаре, несущим мир и ленинскую дружбу народам Средней Азии.

Что бы ни делал этот замечательный человек: готовил первомайскую демонстрацию в Нарыме или вызволял из гибельной ссылки в Максимкин Яр больного Свердлова, спасал незнакомого товарища, не раздумывая отдав ему собственный заграничный паспорт, или смеялся в лицо избившим его жандармам,— все он делал вдохновенно, талантливо, широко, отдавая себя целиком делу, за которое взялся.

...Восьмого марта тысяча девятьсот двадцать первого года с волнением, с чувством гордости за себя, за своих товарищей, за свой народ слушает Валериан Владимирович Ленина:

— ...Мы,— говорит Ильич,— в первый раз собираемся на съезд при таких условиях, когда вражеских войск, поддерживаемых капиталистами и империалистами всего мира, на территории Советской республики нет.

Вместе с большинством делегатов десятого съезда партии Куйбышев проголосовал за важнейшие решения: о замене продразверстки продналогом, о новой экономической политике, о единстве партии. Еще раньше был разработан план ГОЭЛРО — план электрификации России. Все это было переходом к мирному строительству.

И в том же году Валериан Владимирович Куйбышев становится начальником Главэлектро. Он практически руководит строительством первенцев социалистической энергетики — Волховской, Каширской, Кизеловской и Шатурской станций.

Успех за успехом приносит первому в мире государству трудящихся хозяйственное строительство. Все важнее поручения партии Валериану Куйбышеву. Тысяча девятьсот двадцать третий год — он во главе объединенного контрольного органа ЦКК — РКИ, созданного двенадцатым съездом. Тысяча девятьсот двадцать шестой — назначен председателем Высшего совета народного хозяйства СССР. Тысяча девятьсот тридцатый — председатель Госплана СССР.

Пятилетние планы создаются под его руководством. Днепрогэс, Магнитка, первые тракторные заводы, Урало-

Кузнецкий комбинат и другие гиганты Сибири — это воплощение его мечты и его бессонные ночи. Ради них он работает по шестнадцать часов в сутки. Им он отдает все силы души, всю кровь сердца, все здоровье. Нечеловечески загруженный огромной, сверх всяких возможностей работой, он еще выкраивает за счет отдыха по два часа в день, чтобы учиться.

Вот его расписание на очередную неделю занятий: «1-й день — история + беллетр. 2-й день — эк. геогр. + нем. яз. 3-й день — матем. + беллетр. 4-й день — история + + нем. яз. 5-й день — матем. + беллетр. 6-й день — Маркс + + нем. яз.».

С тем же самоотверженным размахом, с таким же самозабвенным увлечением он одновременно работает на постах заместителя председателя Совнаркома СССР, заместителя председателя Совета Труда и Обороны СССР, работает как член Политбюро ЦК ВКП(б), как председатель правительственной комиссии по спасению челюскинцев...— работает, работает, работает...

Как-то в Артеке один пионер спросил его:

— А вы что любите, товарищ Куйбышев?

— Я больше всего люблю пионеров.

— Нет, что вы любите делать?

— Что я люблю делать? Все люблю делать, каждую работу... Вот игру в шахматы люблю... На бильярде играть люблю. И крабов ловить люблю. Все, все люблю!

До конца жизни он был прежде всего работником, беззаветно влюбленным в свое дело, страстно любящим свой труд. Он и умер как труженик — придя с работы.

И, подводя итог его жизни, лучше сказать о нем его же словами:

«Я весь в происходящей борьбе, весь без остатка. Не только приемлю ее всю, с ее грубостью, жестокостью, беспощадностью ко всему, что на пути, не только приемлю, но и сам в ней весь, всем своим существом, всеми помыслами. Все надежды, вера, энтузиазм в ней, в борьбе. Все, что не связано с ней, чуждо мне, я люблю, мне близко то, что с ней слито...»

Александр Големба

НЕ ЩАДЯ СИЛ

...Но счастлив я, что был мной прожит
Торжественнейший день земли.

В. Брюсов

Узкие полоски бумаги. Стремительный почерк Ленина. Характерные подчеркивания и заметки на полях. Речь идет о революционном правосознании, и о волоките с производством плугов системы Фаулера, и о борьбе с волокитой вообще, и о дополнительном параграфе Уголовного кодекса...

Все эти письма и записки адресованы одному лицу — Дмитрию Ивановичу Курскому. Тон их несколько резок, подчас даже суров. Однако за всей строгостью чувствуется вера в деловые качества наркомюста — в его талант, волю и настойчивость, в его глубокие познания, способность действовать «с умом и энергией».

Дмитрий Иванович провел на посту наркомюста целое десятилетие в чрезвычайно сложное время. Это было десятилетие коренной исторической ломки...

Ленин высоко ценил деятельность Курского — великолепного юриста, стойкого большевика с подпольным стажем.

...Существовало в Киеве закрытое среднее учебное заведение — коллегия Павла Галагана. Сугубо привилегированное. Воспитание революционеров в его задачи, естественно,

не входило. Однако именно эту коллегию закончил в начале девяностых годов Дмитрий Курский, сын инженера-технолога. Жизнь его в дальнейшем пошла совсем не по той стезе, которую намечал своим воспитанникам тогдашний директор коллегии — поэт и филолог-классик Иннокентий Федорович Анненский.

Дмитрий ушел в революцию. Отец умер рано, и на плечи студента легло тяжкое бремя материальных забот — он помогал матери и сестре, оставшимся в провинции, в Прилуках. Его взгляды сложились не сразу. Может быть, этому помогло поступление в Московский университет: на Моховой читали видные экономисты Иван Иванович Янжул и Александр Иванович Чупров, замечательный историк, ученый и художник слова Василий Осипович Ключевский. Студент Дмитрий Курский жадно слушал их лекции.

Впрочем, и за пределами университетских аудиторий было в древней столице много, очень много интересного, занятного и интригующего.

В совершенно иной мир литературы и искусства будущего юриста ввел новый знакомый — историк литературы Николай Ильич Стороженко. Свела их случайность. Дмитрий, как и многие его сверстники, подрабатывал репетиторством. Ему подвернулся урок в семействе Стороженко. Их отношения, вначале сухо-официальные, вскоре перешли в доверительные и даже дружеские. Николай Ильич был старше Дмитрия на добрых сорок лет, но он не утратил юношеской восторженности.

В квартире Стороженко случалось Дмитрию видеть и слышать Льва Толстого. Бывали там и замечательные ученые Сеченов, Ковалевский... Вокруг было немало знаменитостей, но студент, пожалуй, не так уж тушевался на их блистательном фоне. Он не боялся поспорить, отстаивал свою точку зрения.

Крупный, с большими светлыми чуть навыкате глазами Дмитрий, как написал о нем впоследствии поэт Андрей Белый, особенно «умел хорошо смеяться». А в тогдашней действительности было что высмеивать. Между тем самому Дмитрию, как говорится, не до смеха.

Судьба его не баловала. Надо учиться, помогать родным, искать средства к существованию. И все это не заслоняет перед ним его общественного долга. Еще не вполне оформивший свою партийную принадлежность, он принимает участие в студенческих волнениях.


Дмитрий Иванович
КУРСКИЙ
(1874—1932)

Первый арест. Бутырки. Не в пример иным интеллигентам, которые после подобного рода боевого крещения поспешно отступались от «заблуждений юности», Дмитрий Курский и не думал отступать.

Вернувшись к обычным занятиям, он теперь уже твердо знал, что любые приобретенные им познания будут полезными для его будущей деятельности в освобожденной России. А то, что борьба за освобождение России обостряется, студент Курский чувствовал. Более того, вскоре он сам участвовал вместе со своими друзьями в баррикадных боях на Пресне.

Еще до этого Дмитрий закончил университет с золотой медалью. Она была не метафорическая, не условная, а самая настоящая, имеющая определенную рыночную стоимость. Дмитрий нагляделся на нее, повертел в руках, погладил, а потом продал за сто рублей — немалые деньги по тем временам. И отправил эту сотню матери, в Прилуки. Тщеславием он не отличался. Но история с медалью на этом не заканчивается. Медалисты должны были быть «оставляемы при факультете для подготовки к ученой деятельности». И Дмитрия Ивановича, конечно, оставили бы при университете, если бы не вмешательство таинственных сил — полиции или охранки... Его признали «политически неблагонадежным».

Выбор сузился: государственная служба либо адвокатура. Дмитрию Курскому удается поступить на службу в так называемый «контроль» — одно из учреждений министерства путей сообщения. Прослужил он там не слишком долго и перекочевал в адвокатуру — помощником одного из крупных московских юристов.

В первопрестольной существовала на заре нового столетия целая группа весьма радикально настроенных молодых адвокатов. Их коньком были так называемые «рабочие», или, в просторечии, «увечные», дела. Что же это за дела? Так именовались процессы, связанные с конфликтами между предпринимателями и рабочими, между капиталом и трудом, то есть дела о компенсации в случае болезни или увечья на производстве.

Не приходится говорить о том, что дела эти имели явно политическую окраску, давали возможность защитнику в своей речи делать далеко идущие обобщения и проводить рискованные аналогии. Такой крамольный оттенок «увечных» дел и привлекал к ним лучших представителей тогдашней радикальной интеллигенции. Впрочем, Дмитрий Курский участвовал в такого рода судебных разбирательствах отнюдь не ради того, чтобы лишний раз напомнить слушателям и суду о гнилости монархической системы. Исход дела занимал его ничуть не меньше. Он энергичнейшим образом защищал интересы тружеников, отстаивал их права. И бывал глубоко удовлетворен, когда разбирательство завершалось в пользу его подопечных.

Но как бы ни были интересны сами по себе (и к тому же *крамольны!*) судебные дела, которым посвятил себя молодой адвокат, они никак не могли заменить ему непосредственного революционного действия.

А в стране назревал революционный подъем.

В канун японской войны Курский вступает в ряды партии большевиков. Едет на фронт — прапорщиком, но за агитацию среди войск увольняется в запас и вынужден вернуться в Москву. У него легкое перо и выдающиеся организаторские способности. Он активно сотрудничает в газетах «Борьба», «Истина», «Наша мысль». Становится членом литературно-лекторской группы при Московском комитете РСДРП. В эту группу входили также М. Н. Покровский, И. И. Скворцов-Степанов и другие большевики.

1905 год. Пресня в огне. Курский в рядах тех, кто вышел на баррикады. Юрист-большевик, отложивший на время тома «Свода законов» и статистические справочники, сражается в районе сада «Аквариум».

«Репетиция» грядущего Октября потоплена в крови. Что ж, надо готовиться к новым классовым боям, а пока продолжать борьбу иным оружием — оружием слова.

И Дмитрий Иванович издает легально, под своей фамилией, три небольшие брошюры: «Французский рабочий», «Американский рабочий», «Английский рабочий». Адресованы они читателю, совсем недавно постигшему премудрость грамоты,— «его величеству пролетарию всероссийскому».

Нельзя сказать, чтобы сочинение этих брошюр шло гладко у адвоката, хотя он к тому времени уже имел известный литературный опыт и тонко знал предмет, о чем пишет,— так называемые «трудовые конфликты». Но разве

можно позволить себе обращаться к рабочей массе на рафинированном судейском жаргоне! Следует писать как-то иначе, но как?

Дмитрий вспомнил Стороженко, Толстого... Однажды он присутствовал на беседе, где речь зашла как раз об этом самом вопросе: каким языком следует писать для народа? Толстой высказался довольно резко против псевдопопуляризаторов и посмеялся над душеспасительными «брошюрками, наполненными всяческими сахарными ласковостями» и, как выразился Лев Николаевич, «обхождением с мужичком».

Вспомнив это, Дмитрий подумал: «А строптивый старик-то был, пожалуй, прав. Простота не в галантерейности обхождения с читателем». И стал писать просто, четко и даже несколько сухо, но зато ясно и по мысли и по изложению.

Вот несколько строк из брошюры «Американский рабочий»: «На рабочем лежит вся тяжесть доказательства ВИНЫ предпринимателя... Положение американского рабочего, получившего увечье, еще больше ухудшается от того, что взыскивать вознаграждение приходится с частных страховых компаний, с которыми борьба труднее, чем с отдельными предпринимателями... Благодаря своим необъятным средствам и недостаточному еще политическому развитию и объединению американских рабочих, тресты захватили в свои руки суды, администрацию, городские управления, законодательство».

После этих сугубо реальных и горьких замечаний в брошюрах Курского шли столь же сугубо оптимистические выводы: наиболее сознательная часть рабочего класса стремится создать свою партию, единую и могучую, «на почве классового самосознания и стремления к социалистическому строю».

В 1907 году Дмитрия Курского избирают членом Московского областного бюро ЦК РСДРП. Он редактирует вместе со Скворцовым-Степановым нелегальную большевистскую газету «Рабочее знамя», затем «Красное знамя».

Но в то же время революционер и подпольщик Курский почти не снимает фрака. Как адвокат, он участвует в крупных политических процессах. Защищает дружинников, устроивших тайные лесные маневры близ Калужского шоссе. На суде группу изловленных приговорили к каторге от восьми до пятнадцати лет. А грозила смертная казнь. Адвокаты, что называется, сами были на волоске. Но зато

как искренне благодарны им люди, спасенные от смерти! Вот, к примеру, письмо рабочего Ивана Степановича Сироткина, относящееся к 1908 году:

«Не знаю какими словами благодарить Вас, дорогой Дмитрий Иванович, за Вашу профессиональную и человеческую помощь нашей семье, а особенно моему бедному брату. Знаю, дорогой Дмитрий Иванович, как Вы сами рисковали, хлопоча и защищая его. И то, что Вы лично, на свои средства поехали в Петербург и выхлопотали ему избавление от смертной казни с заменой пожизненной каторгой. А сейчас и вечная каторга для нас радость, тем более что вечного ничего на свете нет! Ведь приговор был уже утвержден, и, если бы не Ваша помощь, дорогой Дмитрий Иванович, не миновать бы ему петли. И подумать, что Вы это сделали для человека, которого лично в глаза не видели. Мы уже собирались все продать, чтобы нанять адвоката, а тут Вы безвозмездно, во имя идеи человечности так горячо взялись за спасение своего человека и спасли его. Этого никогда не забудет наша семья, не должна забыть и партия. Впрочем, знаю, Дмитрий Иванович, что таких дел за Вами немало, и верю, что когда-нибудь они Вам зачтутся. Ваш Иван Сироткин».

В те годы Дмитрий Курский помимо подпольной политической работы занимался еще и профсоюзной деятельностью. Вернее, это была все та же политическая работа, но в несколько ином аспекте. Он состоял юрисконсультом нескольких профсоюзов — деревообделочников, портных, печатников, торговых служащих. Поскольку его положение было вполне официальным, рабочие могли под видом клиентов приходить к нему на квартиру, устанавливать связи и получать директивы. Чаще других у него бывали столяры Константинов и Головкин, портной Озол, приказчик Щелковцев.

Охранка не дремала. За Курским установили бдительный надзор. Документы, касающиеся результатов этого надзора, сохранились в архиве.

31 июля 1909 года московская охранка предупреждала петербургскую: «В дополнение телеграммы от 27 сего июля за № 778, препровождая при сем копию дневника наблюдения по г. Москве за членом социал-демократической организации, кличка Усатый, уведомляю ваше высокоблагородие, что из числа лиц, упомянутых в приложении, по делам отделения известен присяжный поверенный Дмитрий Ивано-

вич Курский, который в 1896 г., будучи студентом Московского университета, участвовал в студенческих беспорядках, а 15 января сего года обыскан по делу типографии «Рабочего знамени», но за безрезультатностью обыска оставлен на свободе. Кроме того, до апреля месяца сего года он состоял членом межпартийного Красного Креста, а с апреля месяца вошел в состав Московского областного бюро Российской социал-демократической рабочей партии. К изложенному присовокупляю, что вместе с ним мною препровождается дневник наблюдения в департамент полиции».

Прошло две недели, и департамент полиции отвечал начальнику московской охранки: «В департаменте полиции получен агентурным путем нижеследующий адрес явочной квартиры социал-демократической партии: «г. Москва, Институтский пер., д. Рогинского, присяжный поверенный Курский». Названный Курский носит партийную кличку Дик...»

И еще одно агентурное сообщение, от 23 августа 1909 года: «Доношу, что присяжный поверенный Дмитрий Иванович Курский, проживающий в г. Москве, по Александровской улице, в доме Рогинского, известен отделению и наблюдается под кличкой Буланый».

Дмитрий Иванович носил в ту пору пышные золотистые усы. Отсюда кличка Усатый и Буланый, данные филерами. Позже, чтобы попутать филеров, Дмитрий Иванович усы сбрил.

Все же 5 сентября 1909 года Дмитрия Курского арестовали. Его жена, Анна Сергеевна, вспоминает, как полиция пыталась вырвать у него признание в том, что он-то и есть таинственный Дик:

«— Ведь вы Дик? — допытывались полицейские чины.— Ведь это ваша партийная кличка? Признавайтесь, чего уж там!

— Я не могу быть Дик,— преспокойно ответил Дмитрий Иванович своим мягким и внушительным тоном.— «Д», «И», «К» — это первые буквы моего имени, отчества и фамилии. Это, уж простите, был бы совершенно ребяческий шифр, а я давненько вышел из детского возраста!

Его рассуждения показались убедительными, к тому же и обыск, произведенный на квартире, не дал решительно никаких улик. И он вновь на свободе.

В 1912 году профессиональный союз кошелечников, с которым был связан Курский, выдвинул кандидатуру Дмитрия Ивановича выборщиком в IV Государственную думу.

На собраниях по подготовке к выборам в Думу шла борьба с выборщиками от других партий. Упомянутый выше приказчик Щелковцев был намечен в председатели собрания от союза торговых служащих. Он человек разбитной, но не сильно грамотный, и Дмитрий Иванович всячески натаскивал его, советовал поменьше употреблять мудреных слов, учил, как вести собрание. Щелковцев был непоколебимо уверен в себе:

— Не беспокойся, Дмитрий Иванович, не подкачаю. Увидишь, и мои словечки пригодятся!

И впрямь, председательствуя на большом предвыборном собрании в клубе торговых служащих, Щелковцев не подкачал. Держался достойно и независимо. Довольно умело отводил подозрения полицейских, присутствовавших на собрании.

— Прошу левых ораторов не выступать! — сказал Щелковцев. Выдержал паузу, слегка прищурил глаза: — А сейчас слово предоставляю господину Курскому!

И пока пристав разбирался в характере речи оратора, выступление было почти закончено. Рабочие громко рукоплескали: в речи большевика Курского выдвигались насущные лозунги: демократическая республика, восьмичасовой рабочий день, конфискация всей помещичьей земли. Только протесты правых вывели полицейских из дремотного состояния, и собрание было закрыто.

После объявления мобилизации в 1914 году Дмитрия Ивановича, прапорщика запаса, призвали в армию. Всю войну он провел на фронте, прошел с отступающими войсками по дорогам Польши. Февральскую революцию встретил на Румынском фронте.

В начале 1917 года его избирают председателем Совета солдатских депутатов 4-й армии этого фронта. В июне посылают делегатом на I Всероссийский съезд Советов. Со съезда он едет в Одессу, руководит восстанием, становится членом ревкома. А в ноябре возвращается в Москву. Сперва возглавляет правовой отдел Московского Совета, и вскоре назначается по предложению Владимира Ильича Ленина народным комиссаром юстиции РСФСР.

В 1919 году в статье «Пролетарское право» Дмитрий Иванович с гордостью писал: «Пролетариат, завоевавший в Октябрьскую революцию власть в государстве, сломал буржуазный аппарат со всеми его органами: армией, полицией, судом, церковью... На месте сметенного в мусорную корзину

истории буржуазного права пролетариат стал строить новое здание революционного права...»

На IV съезде деятелей советской юстиции в 1922 году Дмитрий Иванович сказал:

— Если мы будем только говорить о революционной законности, а законов не будет, то это будет весьма эффектное слово, но не больше.

И Курский направляет все свои усилия на утверждение новой, социалистической законности. Ее принципы недостаточно было только декретировать. На их основе следовало разработать систему законов, учредить истинно народные судебные органы.

Над созданием нового, коммунистического права народный комиссар юстиции трудился упорно, неустанно. Об этом Анна Сергеевна Курская вспоминает: «Работал Дмитрий Иванович с огромным подъемом, так как чувствовал направляющую руку Ильича. Нередко по ночам Ленин вызывал его к себе на квартиру. С портфелем, наполненным проектами новых законов, отправлялся он к Владимиру Ильичу, волнуясь и спеша. Возвращаясь домой, Дмитрий Иванович часто делился со мной впечатлениями об Ильиче:

— Какая логика, какая светлая голова у этого человека,— говорил он, возбужденно шагая по комнате...»

«Время выдвинуло таких гигантов, как Ленин, и все по нему равняется... Многое хочется осуществить сразу же! Поэтому работаешь, не щадя сил...»

Не щадя сил... Так писал и так поступал в жизни Дмитрий Иванович Курский — ленинский народный комиссар справедливости.

Леонид Смирнов

В ГОЛОВНОМ ОТРЯДЕ

Да, нелегко быть в головном отряде,
Торить тропу и первыми идти,
Всегда в лицо суровой правде глядя
И не страшась превратностей пути.

Я. Хелемский

«Ваша профессия? — Профессиональный революционер. Партработник.

Были ли перерывы, состояли ли в других партиях? — Перерывов не было. Все время принадлежу к большевикам».

Так ответил на вопросы очередной анкеты Георгий Ипполитович Оппоков, он же Ломов, или Жорж, как звали его еще со времени партийного подполья. А началось оно для него очень рано, в тринадцатилетнем возрасте.

До сих пор с доскональной точностью не выяснено, когда именно он впервые встретился с Владимиром Ильичем Лениным. То ли в начале 1916 года в Швейцарии, на берегу Женевского озера, или немногим позже, в апреле 1917-го, в Питере, на VII Всероссийской партийной конференции, в которой Ломов участвовал в качестве делегата ивановских большевиков.

Однако бесспорно, что он стал учеником и единомышленником В. И. Ленина с момента вступления в ряды РСДРП, то есть с 1903 года. Как раз в эту пору, узнав о расколе партии на большевиков и меньшевиков и вникнув в существо разногласий, он говорит запальчиво и убежденно своим друзьям по гимназическому кружку:

— Двух путей к революции нет и быть не может. Есть только один — ленинский. А кроме него — меньшевистское распутье, трясина, из нее не выберешься.

Откуда же у сына управляющего Саратовским отделением госбанка и статского советника бунтарские мысли?

Русская пословица права: с кем поведешься, от того и наберешься. Трое старших братьев Георгия смолоду увлеклись марксистской теорией, революционными веяниями. Очевидно, и отец относился благосклонно и, пожалуй, сочувственно к вольнодумству детей. Во всяком случае, выслушав ультиматум губернатора: или отречься от крамольного сына, или покинуть пост управляющего отделением банка, Ипполит Захарович предпочел последнее.

Влияли на Георгия помимо старших братьев и его друзья по гимназии, и чтение запрещенной литературы, и нелегальные кружки.

Саратов при царизме — «провинция», «глушь», место ссылки революционеров. За сравнительно короткое время, измеряемое примерно десятью — пятнадцатью годами, в городе и близ него жили, работали, «отбывали срок» или приезжали нелегально с заданиями Центрального Комитета и Владимира Ильича такие крупные деятели партии, как Н. Э. Бауман, М. Н. Лядов, А. А. Богданов, М. И. Ульянова, В. П. Ногин, М. С. Ольминский и еще многие и многие.

Общение с этими людьми, конечно, сказалось весьма благотворно на местной молодежи. В автобиографии Георгий признает первоначальным своим наставником Иосифа Петровича Мешковского (Гольденберга), присланного ЦК в Саратов для восстановления организации после очередного разгрома и массовых арестов.

А чем Иосиф Петрович так увлек гимназиста, каким магнитом потянул за собой?

Сопоставляя факты, размышляя над ними, приходишь к выводу: магнитом была сила убежденности большевика-ленинца. Это подтвердил Иван Михайлович Майский, известный советский дипломат и историк:

— Для меня Саратов... не просто географическое наименование: здесь я пережил революцию 1905 года, и притом в качестве ее активного участника. Как член Саратовского комитета РСДРП, я вел в этом городе пропагандистскую работу, выступал на митингах, писал в местной социал-демократической печати, дрался в рядах боевых дружин против черносотенцев... Я знал Саратов не академически, не вообще,

а вполне живо и конкретно — с «Садом Очкина», с «Глебучевым оврагом», с «Провиантской улицей», с «Базаром на Пешке», с «Соколовой горой».

— А не довелось ли вам, Иван Михайлович, в те далекие годы встречаться с Георгием Оппоковым?

— Георгия, или Жоржа, как мы его все звали, помню с 1904 года. Жорж был организатором подпольных социал-демократических кружков среди учащихся. Он и сам занимался несколько месяцев в кружке, которым я руководил по поручению городского комитета.

— А кто стоял во главе комитета?

— Мешковский.

Иван Михайлович охотно и с необыкновенной живостью рисует портрет руководителя саратовских социал-демократов. Иосифу Петровичу на вид было лет тридцать пять, не больше. Высокий, худощавый брюнет, с энергичными красивыми чертами лица.

— Мы знали о нем мало,— говорит Иван Михайлович и объясняет: — В этом нет ничего удивительного, условия конспирации...

Все же было известно, что Мешковский прислан из центра и довольно долго прожил за границей, общался с В. И. Лениным, часто в беседах и в полемике ссылался на произведения Владимира Ильича или на личные беседы с ним. Теоретически Мешковский был хорошо подкован, великолепный оратор интеллигентского стиля. Выступая на митингах, держался большевистской позиции.

— А какой была ваша позиция, Иван Михайлович?

— Меня тогда клонило больше к меньшевикам.

— А Георгия Оппокова, вашего ученика?

— Он был страстный спорщик, ярый большевик... Несмотря на свою молодость, увлекался марксистской теорией...

Иван Михайлович углубляется в прошлое. Пощипывая седую бородку и такие же серебристые усики, он воскрешает в деталях свои встречи с Георгием Оппоковым:

— Жорж был очень умным и сообразительным мальчиком. Иначе его не назовешь, ему исполнилось, вероятно, шестнадцать. Да и все мы были молоды. Мне не больше двадцати, хотя считался профессиональным революционером с приличным стажем... Так и стоит перед моими глазами этот жизнерадостный гимназист, неширокой кости, но спортивного «кроя», крепкий, вдвое выше меня. Среди своих товарищей он пользовался авторитетом. В кружке занималось

около восемнадцати юношей и девушек и, как я замечал, Жорж девушкам очень нравился. Занятия мы вели по разным явочным квартирам. Изучали основы марксистского учения и историю рабочего движения... Какое-то время я руководил и рабочей дружиной. В ней начальником одной из десяток был Ломов... Боевой и смелый мальчик!



Григорий Ипполитович
ЛОМОВ-ОППОКОВ
(1888—1937)

Сказав так, повторив это слово «мальчик» с какой-то отцовской нежностью, Иван Михайлович посчитал нужным сделать оговорку:

— Это я называю Жоржа мальчиком теперь, бросая на прошлое взгляд с колокольни человека, переступившего за восьмой десяток... А тогда наши русские мальчики рано взрослели, стойко сражались на баррикадах.

Россия охвачена пламенем революции 1905 года. Самодержавие бессильно подавить и растущее юношеское движение. Массовые забастовки, митинги, демонстрации. Учащиеся властно заявляют свои политические требования.

В Поволжье созывается съезд учащихся средних школ. Зачинщиками движения, первыми, кто раньше всех других выступил, были саратовские гимназисты старших классов.

Георгий Оппоков ими руководит. Он неутомим. Старается не пропустить ни одной сходки учеников, призывает к борьбе, к активной поддержке революции. Теперь он уже не только печатает на мимеографе и гектографе, с чего начал свое участие в «технике» партии. Он сам составляет большую часть листовок и прокламаций. Кроме того, пишет корреспонденции в «Новую жизнь» о движении среди учащихся Саратова. Кроме того, еще создает боевую дружину учеников — она становится частью рабочей дружины, призванной давать отпор черносотенцам-погромщикам всех мастей. И ведет кружки по изучению политической экономии. И распространяет нелегальную марксистскую литературу. И... успешно учится по всем предметам.

Инспектор Второй мужской гимназии, случайно встретившись с матерью Георгия, сперва с гневным осуждением говорит ей о том, что ее сын не только сам уходит с уроков,

нарушает дисциплину, не боится репрессий, манкирует занятиями, но и уводит за собой других.

— Мы бы его давно исключили,— сознается он под конец,— мешает этому странное обстоятельство... Странное и непостижимое! Как умудряется ваш сынок сдавать экзамены? В кого он уродился?

— Что же, Федор Степанович,— скромно ответила Ольга Семеновна инспектору,— неужели вы сомневаетесь в том, что наши дети могли унаследовать способности от своих родителей?

На самом деле наследование способностей ни при чем. Суть непонятного инспектору «чуда» в другом. Ученики оказались догадливей своих реакционных педагогов. Не посещая уроков, юные забастовщики ходили на квартиру Оппоковых, где была организована «вольная гимназия». Преподавали в ней студенты — старшие братья Георгия, их товарищи. Были налажены взаимная помощь друг другу, проверка знаний.

Для того чтобы обмануть сыщиков, провокаторов, избегнуть провалов, ученики обзавелись целой сетью явочных квартир, где печатали прокламации, листовки, готовили знамена и лозунги к очередному открытому митингу или демонстрации. Нити всех этих явок — у Георгия. Достойно удивления и восхищения то, как он успевает одновременно выполнять всевозможные «малые дела», не чурается ни одного из них и ко всему относится серьезно, с сознанием ответственности. А ведь за каждой малостью, буквально за всем неотступно следила свора сыщиков. Тогда все было сопряжено с большим трудом, упорством, изобретательностью, затратой времени и сил. И подлинным бесстрашием.

А Георгию «школьный плацдарм» мал и тесен. Он все чаще бывает на рабочих окраинах, в заводских цехах, на верфи. Рабочим очень нравится молодой энергичный большевик. Его внимательно выслушивают, с ним советуются, избирают своим представителем в городском партийном комитете, когда волжская судоходная организация численно выросла и была признана отдельным районом.

16 декабря 1905 года Георгий Ломов получает боевое крещение. Он участник политического митинга на Институтской площади, возглавляет одно из подразделений боевой дружины. Первая серьезная схватка с царскими войсками — казаками и жандармами. Площадь обагрена кровью невинных жертв.

Георгий вместе со своими товарищами сражается, прикрывает отход демонстрантов, подбирает раненых, организует санитарную помощь.

На следующую ночь Саратов по указанию Столыпина тщательно прочесывала жандармерия. Обыски и аресты продолжались до утра. Нагрянули и в дом Оппоковых. Филеры и полицейские перерыли все: книги, белье, простукивали стены и полы, осматривали каждую вещицу — ничего компрометирующего не нашли. Пришлось уйти несолоно хлебавши. В последующие годы будет еще много таких полицейских налетов и обысков у Оппоковых. Их станут производить на разных квартирах: и в самом Саратове, и на даче в Пристанном, и в Москве, и в Петербурге — во временном студенческом жилье Виктора, Николая, Евгения и Георгия. А в добавление к этому Георгия еще не раз будут обыскивать при арестах, и «на постое» в архангельской ссылке, и на далекой Качуге в Иркутской губернии.

А результаты все равно окажутся одни и те же. Ни листовок, ни запрещенной литературы, ни типографского оборудования или оружия, ни партийных документов — того, что обычно считается явной уликой и подтверждает принадлежность к подполью,— найдено не будет.

Георгий с первых шагов политической деятельности отличался умелой, «непроницаемой» конспирацией.

Под пулями пьяных казаков, под их рассеянным перекрестным огнем, отступая с Институтской площади к Шелковичной улице, Жорж оказался рядом с Петром Александровичем Лебедевым. По специальности присяжный поверенный, а по призванию профессиональный революционер, Лебедев уже несколько лет был «по высочайшему повелению» подчинен гласному и негласному надзору. Но это не могло утихомирить убежденного в своей правоте ленинца. Петр Александрович продолжал пропаганду большевизма, готовил агитаторские кадры партии из рабочей среды в нелегальной агитшколе, составлял конспекты докладов — их размножали на гектографе и раздавали активу.

— Надо не допустить, чтобы волна революции спала,— сказал Лебедев бежавшему рядом с ним Георгию.

И тут же они договорились о встрече. А через несколько месяцев, в марте 1906 года, вышла в свет новая газета «Волна» — орган Саратовского комитета социал-демократической партии. Одним из ее активнейших сотрудников являлся Жорж Ломов, подписывавший свои корреспонденции

псевдонимом Георгиев. Вскоре, однако, «Волну» закрыли, Лебедева сослали.

1906 год был оселком, на котором проверялся, испытывался характер бойца. Выдержит или сдаст? Именно тогда Георгий Оппоков развернулся, как пружина, почувствовавшая простор, раздолье. Он ощущал какую-то внутреннюю радость от сознания, что всюду нужен, ко всему причастен. Ряды бойцов поредели, многих вырвали из строя, но бой продолжается. И надо во что бы то ни стало разить врага за двоих, за троих, напрячь до предела свою волю, весь запас энергии. Надо работать на полном накале.

Жорж ведет рабочие и школьные кружки, пишет листовки для ремонтников пароходства, готовит забастовку мукомолов, призывает к солидарности с ними соседние предприятия. Одновременно он затевает юношеский журнал «Жизнь и школа», находит для него средства, типографию, официального редактора.

Молодежью Саратова принят журнал с восторгом. Второй номер вышел полуторным тиражом. Третий — удвоенным. А на четвертом... царская цензура очнулась, жандармы всполошились, добродушного, «ничего дурного» не подозревавшего редактора арестовали и посадили за железную решетку одиночной камеры. Но сколько его ни допрашивали, он так и не сказал, кому принадлежат подстрекательские материалы, подписанные загадочным твердым знаком — Ъ или вовсе никем не подписанные. Это были статьи Георгия Оппокова.

Жорж в Петербурге. Студент юридического факультета университета. И становится организатором запрещенных тайных групп на Николаевской железной дороге. Его кооптируют в исполнительную комиссию городского комитета, вводят в редакционную комиссию по составлению и редактированию прокламаций, печатаемых в подпольной типографии.

Он становится популярным в рабочей среде, особенно среди транспортников.

А что, Саратов им забыт? Нисколько. Оппоков поддерживает контакт с опальными земляками, частенько наезжает к ним, и они в него верят — выставляют кандидатом от большевиков на Лондонский V съезд РСДРП.

Вот предстоит наконец встреча с Владимиром Ильичем. Заочно они давно знают и близки друг другу. Жорж распространяет и пропагандирует все ленинские работы, каж-

дую его статью. Ведет партийную жизнь организаций «по Ильичу», твердо отстаивает стратегию и тактику большевиков, с истинно «ленинской хваткой» яростно воюет со всеми проявлениями меньшевизма, соглашательства.

Давно уже за ним ведет охоту полиция. Сыщики сообщают в разные места о скором отъезде делегата саратовцев, посылают его фотографии, описывают приметы. И принимают меры, чтобы сорвать эту поездку.

Сейчас, изучая документы жандармского управления — «Дело царского преступника Георгия Ипполитовича Оппокова», приходишь к определенному выводу: только из-за активного вмешательства тайной агентуры, которой удалось пересажать в Саратове почти всех большевиков, на состоявшихся выборах прошли меньшевистские кандидатуры. Жорж отсутствовал на этих выборах: скрывался от полиции в Москве.

Через несколько лет он избран секретарем Петербургского комитета партии. Устраивает нелегальный переезд члена ЦК, политического ссыльного Виктора Павловича Ногина, бежавшего из города Березово Тобольской губернии, чтобы тайно добраться к Ленину.

— Постарайтесь найти двойника по внешности,— просит Виктор Павлович,— а то, знаете, на границе тщательная проверка...

— Кто же на вас похож? — размышляет Жорж и радостно хлопает себя по лбу: — Вспомнил, мой тезка, Георгий Федотов.

— Может, он, как и я, мещанин из Калязина? — спрашивает Ногин.

— Нет, он дворянин из Саратова...

— Тем лучше, буду, как в пьесе Мольера, мещанином во дворянстве.

Жорж убеждает своего земляка, и тот, взяв заграничный паспорт, отдает его Виктору Павловичу. Ногин отбыл с Финляндского вокзала к пограничной станции Белоостров.

А Георгий Оппоков, провожая товарища, с тоской думает о том, когда же придет его черед поехать на свидание к Владимиру Ильичу, побыть с ним, поработать с ним бок о бок, пройти ленинский университетский курс, насущно необходимый каждому борцу за рабочее дело.

Так сложились обстоятельства — Жорж до первого своего свидания с Ильичем испытал заточение в одиночке саратовской тюрьмы и тусклую камеру Таганского острога

в Москве, был три года ссыльным в Архангельской губернии и около полутора лет — в Сибири.

Правда, между арестом и ссылкой в далекую Иркутскую губернию, на Качуг, выдался просвет. И Жорж, должно быть воспользовавшись этим, прорвался к Владимиру Ильичу на короткий срок за советом, директивами. Вероятно, это было в начале 1916 года, и по укоренившейся привычке подпольщика Жорж сохранил свою поездку в строгой тайне.

Но вот что мы читаем в воспоминаниях Миха Цхакая о его встречах с Лениным как раз в ту же пору, в Женеве. Ленин прочел там реферат о международном положении. А «после реферата мы встретились на улице. Он долго ходил по берегу реки. С нами был еще один молодой эмигрант — товарищ Жорж. Была чудесная лунная ночь. Кругом тишина, покой. Ленин заговорил о близком и волнующем всех нас — о положении дел в России, о вызванных войной затруднениях в связях с подпольем. Ильич сидел рядом со мной на скамье, товарищ Жорж стоял перед нами, облокотясь на перила набережной.

Я спросил Ильича:

— Дождемся ли мы с вами, Ильич, очередной революции в России?

Мой вопрос, очевидно, прервал течение его мысли, и Ильич, слегка удивленно взглянув на меня, не ответил на вопрос прямо, а в свою очередь спросил:

— Сколько вам лет, товарищ Миха?

Я ответил:

— С лишним пятьдесят. А вам?

— Не так далеко от вас, более сорока пяти. — И добавил: — Что ж, если мы не дождемся революции, то вот он, — Ильич указал на товарища Жоржа, — во всяком случае дождется. Мы свое все же будем продолжать, а что не закончим мы, продолжат они, наша молодежь.

Я ответил:

— Дорогой Ильич! Я все-таки думаю, что мы с вами тоже увидим революцию, она может быть скорей, вот увидим...

Он захохотал и прервал меня:

— Товарищ Миха, хорошо, очень рад, что вы в таких условиях себя так хорошо чувствуете...»

К сожалению, Миха Цхакая больше не сообщает никаких подробностей. Но мы знаем, что Жоржу Ломову едва исполнилось тогда двадцать восемь лет, он был почти вдвое моложе Миха Цхакая и на восемнадцать лет моложе Ильича.

...С Апрельской конференции 1917 года, с этого грозового времени, Владимир Ильич более близко узнает верного сына партии, профессионального революционера Ломова. Конечно, они много раз беседовали, и Ленин несомненно узнал, что Жорж сумел экстерном сразу же по возвращении из Архангельска с блеском сдать экзамены и получить в Петербургском университете диплом юриста. О публицистическом даре Георгия Ипполитовича вождь партии знал еще раньше. Вместе с Ногиным, Ольминским, Антоновым и другими Жорж издавал в разгар первой империалистической войны легальную рабочую «Нашу газету». Удалось выпустить всего девять номеров. Но в них свыше пятнадцати материалов Георгия Ломова. Они опубликованы или без подписи, или под ними имеется скромный твердый знак, или одни инициалы — А. Л.

И тут опять-таки сказался его нрав: он не гнался за популярностью, славой, никогда не забывал о строжайшей конспирации, был предельно осторожен и лишь в одном не знал удержу: в пропаганде идей большевизма и стремлении объединить вокруг этих идей как можно большее число борцов.

Партия придавала «Нашей газете» огромное значение. О ней с высокой похвалой отозвался Владимир Ильич. Когда цензура закрыла газету, ее редколлегия составила антивоенный сборник «Под старым знаменем». Получив его и оценив по достоинству, Ленин прислал для второго сборника свою статью. Но жандармы наложили запрет.

Ленин зорко присматривался к своим помощникам, соратникам. Ему, должно быть, импонировало, что Жорж глубоко изучал экономику, обладал страстью исследователя. Даже в архангельской ссылке Ломов сумел принять активное участие в научной экспедиции: обследовал Новую Землю, побывал в поселке Ольгинском, на Крестовой Губе, установил на ней с двумя другими участниками экспедиции первую метеостанцию. Экспедиция провела очень ценные геологические, ботанические и гидрологические наблюдения. А Жорж взял на себя еще одну, негласную нагрузку, партийную. Устремляясь на не изведанную тогда землю, он надеялся завязать дружбу с местным населением — ненцами, объяснить им, кто такие большевики, Ленин, что принесет им революция, которая не за горами.

Ненцев называли оскорбительно — самоедами. С ними обычно встречались только скупщики и спекулянты,

спаивали их спиртом, обманывали, забирали за бесценок собольи меха, всю добычу охотников и рыбаков.

Среди ненцев свирепствовали цинга и другие болезни, смертность была очень большой. Эта маленькая и беспомощная народность, как и другие нацменьшинства, царские власти нещадно угнетали. Не зря царскую Россию считали тюрьмой народов.

Возможно, что под влиянием Георгия Ипполитовича сюда согласились переселиться несколько крестьян Шенкурского уезда. Во всяком случае, известно, что среди друзей, которых Ломов там приобрел, были Яков Зыков, Сметанин, Усов, ненецкий самоучка — художник Тыко Вылко и другие.

На Апрельской конференции Ломов был формально делегатом текстильщиков Иваново-Вознесенска, но по сути представлял и большевиков Москвы. Владимир Ильич слушал выступления москвичей, был полностью в курсе их деятельности. Знал, что Георгий Ипполитович многие годы связан с лефортовцами, был выбран юрисконсультом крупнейшего профсоюза металлистов и ряда других, хорошо известен также и рабочим Иванова, Серпухова, Тулы, выполнял партийные поручения во многих городах Подмосковья.

На VI партийном съезде Георгий Ломов избирается в президиум, участвует в составлении многих резолюций, в обсуждении важнейших вопросов, горячо отстаивает ленинскую позицию на вооруженное восстание. Авторитет этого кристально честного и мужественного большевика высок: его избирают кандидатом в члены Центрального Комитета партии.

Многие товарищи, избранные в ЦК, сидели по тюрьмам, другая часть скрывалась от ищеек Керенского. Поэтому Ломов, войдя в состав ЦК, сразу же после съезда с кипучей энергией бросился в революцию.

Высокий, очень стройный, с карими, светящимися веселой искоркой глазами, с острой, как живописный мазок, бородкой, одетый в синий костюм с белым воротничком, повязанным широким черным бантом,— как одевались революционные демократы девятнадцатого столетия,— таким запомнился Ломов всем, кто видел его в это время в Петрограде, Москве, Туле, Орле, Иванове, на многочисленных митингах и собраниях, впереди демонстраций, среди рабочих и солдат.

Тревожные июльские дни. Враги революции подстрекают к расправе с большевиками. У памятника Пушкину на

Страстной площади возникает митинг. На нем краснобайствуют черносотенцы. Какой-то товарищ пытается им ответить, но они уже готовы расправиться с большевиком. В этот самый момент протискивается к подножию памятника стремительный Ломов.

— Я — большевик! Бейте и меня,— закричал Георгий Ипполитович, вскочил на трибуну, заслонил собою предыдущего оратора. И, не дав черносотенцам опомниться, поднял руку, призывая собравшихся к тишине и порядку.

Бесстрашие и мужество коммуниста подействовали на всех с гипнотической силой. Столпившиеся возле памятника люди со вниманием слушали его речь, и постепенно стали раздаваться возгласы одобрения. Большевистская правда победила и на этот раз.

Ломову выпало редкое счастье быть участником Октябрьского переворота в обеих столицах — Петрограде и Москве. В канун Октября он в штабе революции, в Смольном, вместе с Лениным. А как только окончил свою работу II съезд Советов, провозгласивший рабоче-крестьянскую Советскую власть, Владимир Ильич дает боевое задание Жоржу, и тот на паровозе мчится в Москву.

Несколько строк из воспоминаний очевидца: «...С первой же минуты своего появления в Московском революционном комитете Ломов, наэлектризованный ленинской решительностью, вдохновленный волей к победе, вносит живительную струю, бодрость, энергию. Он сразу стал на сторону тех, кто в противовес колеблющимся настаивал на решительных действиях и немедленном захвате власти... Вся история Октябрьского штурма в Москве, длившегося долгих семь суток, связана с Ломовым. Размах его революционной энергии был великолепен. Он подписывает пропуска комитета, отдает приказ обстрелять телефонную станцию, сопротивлявшуюся дольше всех, и направляет первые шаги московских рабочих, овладевающих государственным аппаратом».

Пока мчал паровоз в Москву Георгия Ипполитовича, Ленин предложил его кандидатуру в состав первого Советского правительства — народным комиссаром юстиции.

Не скроем и горькой правды. В период заключения Брестского мира Ломов оказался среди сторонников позиции «левых коммунистов» и выступал против заключения мира. Однако через несколько месяцев осознал серьезность ошибки и никогда больше в течение всей своей плодотворной жизни не колебался, был верным ленинцем. И Владимир

Ильич ценил в нем крупнейшего организатора народного хозяйства. В годы топливного голода именно ему поручает Ленин возглавить Главтоп, а позже посылает его поднимать разрушенную гражданской войной промышленность Сибири и Урала.

...На XXII съезде КПСС А. Н. Шелепин, рассказывая о многих тяжких преступлениях, совершенных в период культа личности Сталина, привел в пример Ломова, жизнь которого была так злодейски оборвана в самом ее расцвете.

«Он вполне мог быть сегодня среди нас»,— пишет в «Правде» Елена Дмитриевна Стасова, отмечая семидесятипятилетие со дня рождения выдающегося большевика. Партия восстановила его честное имя, и, значит, «память о его славной жизни вновь служит делу, которому сама эта жизнь была отдана до конца».

Елена Дмитриевна удивительно ясно и точно набрасывает портрет Георгия Ломова. Какой бы высокий пост он ни занимал, он прежде всего «всегда оставался настоящим революционером, личностью яркой, беспокойной, ищущей, не чиновником, а творцом. И еще: он всегда понимал, что, по известному определению, высшая должность на земле — это быть человеком. Собственно, Георгий Ипполитович Ломов, наверное, ни разу не размышлял о себе в подобных выражениях, просто человечность была ему внутренне присуща. Она сказывалась в его отношении к людям, светилась во взгляде его живых, внимательных глаз. Его обаяние, исходившее, кажется, даже от самой его ладной, по-спортивному подтянутой фигуры, испытал на себе каждый, кому хоть раз довелось встречаться с ним по работе или беседовать в дружеском кругу. Неизменно сохранялось в нем что-то юношеское, увлекающееся... Был он человеком глубоких познаний, широких многосторонних интересов, страстно любил книги, музыку, театр... Всем своим обликом являл он тип коммуниста, революционера, с которого, говоря словами Маяковского, смело можно «делать жизнь»».

Так утверждает Елена Дмитриевна Стасова, ближайший соратник и друг Ильича. Она хорошо знает тех, кто шел вместе с Лениным в головном отряде революции.

Юрий Смолич

НА АВАНПОСТАХ

Пусть годы идут за годами
И песня прибоями бьет,—
Хранимо людскими сердцами
Орлиное имя твое.

В. Сосюра

Митя, Мефодий, Фома, Ионыч, Иван Безработный, Жан...

О каждом из них сохранилась память на страницах истории революции.

Восемнадцатилетний гимназист Митя, немилосердно пачкая пальцы в гектографических чернилах, усердно тискал листовки, клеймящие позором организаторов кровавого кишиневского погрома и призывающие свергнуть власть мракобесов и тиранов. Автором текста был он сам, Митя, воспитанник провинциальной Острожской гимназии, сын волостного писаря в селе Святец. Обстановка конспиративной типографии склоняла к романтике: типографию устроили в руинах Татарской башни Княжего замка, называемых так с шестнадцатого столетия. Здесь печатал свои книги в исторической Острожской друкарне российский первопечатник Иван Федоров — в конце того же шестнадцатого столетия. Митя начинал двадцатый век: листовки он печатал в девятьсот втором году.

Мефодию исполнилось двадцать лет. Российская империя только что затеяла войну с Японией — шел девятьсот четвертый год. Студента-филолога Мефодия знали на всех факультетах Санкт-Петербургского университета как

неутомимого, прямо-таки одержимого агитатора за демократические вольности, никогда не унывающего пересмешника. Особенно доставалось от него царской камарилье и министерским чинушам. Знали студента Мефодия и на Выборгской стороне — энергичного организатора демонстраций питерских пролетариев против военной авантюры Николая Второго. Мефодий был активным членом окружной организации при Петербургском комитете Российской социал-демократической рабочей партии.

Фома работал в особо трудных условиях большевистского подполья. В девятьсот пятом году партия направила его для революционной работы в Двинск, потом в Кронштадт. Он имел поручение: возобновить и наладить деятельность большевистского подполья, разгромленного после поражения Декабрьского восстания. В среде матросов «ремонтный мастер» Фома завоевал щедрые симпатии благодаря веселому нраву и неистощимому острословию в адрес власть имущих и «матросов дерущих». Фому постоянно видели в матросских кубриках и на летучих митингах на мысе Лисий Нос,— тут он пользовался особой популярностью и безусловным авторитетом. И вот в Кронштадте снова выходят листовки, снова создаются боевые дружины.

В конце лета девятьсот шестого года — вслед за вторичным разгромом кронштадтской организации — в Свеаборге среди матросов гарнизона крепости и на крейсере «Память Азова» вспыхнуло стихийное восстание. Работникам Петербургской военной организации большевиков поручалось организационно укрепить восставших и возглавить их. Товарищу Фоме: захватить арсенал и обеспечить восставших оружием. Арсенал был захвачен, но... оружия в нем не оказалось. Восстание провалилось, руководители снова уходили в подполье.

Но Фоме партия поручила оставаться в Кронштадте: в условиях объявленного в городе военного положения и массовых арестов (схвачено до тысячи человек!) он должен был законспирировать сохранившиеся партийные кадры. Провокатор навел полицию на след Фомы, но рабочие успели укрыть его, и по вызову окружной организации Фома отбыл в Петербург на указанную ему явочную квартиру. Именно здесь и попался он в руки жандармов: явка оказалась проваленной.

Так повис над Фомой смертный приговор — как руководителю восстания.

Однако, чтобы присудить Фому к смерти, нужно было доказать, что он и есть... Фома. И доказательство только одно: кто-либо из принимавших участие в восстании матросов и рабочих должен был опознать его. А как же не опознать, если каждый из тысячи арестованных видел его воочию — в матросских кубриках, на митингах, в боевой операции по овладению арсеналом?.. Тысячу матросов и рабочих выстроили на плацу тюрьмы, и жандармы повели Фому — туда и назад перед фронтом арестантов, туда и назад... Да, две тысячи глаз встречали Фому пристальным взглядом и провожали бодрящей, веселой улыбкой: ни один из тысячи «не узнал» его. Доказательства, таким образом, отсутствовали, и Фома, как личность лишь подозреваемая, отделался осуждением на ссылку.



Дмитрий Захарович
МАНУИЛЬСКИЙ
(1883—1959)

Впрочем, жандармское «узнавание» догнало Фому в вологодской тюрьме, и смертная казнь снова повисла неотвратимой угрозой над Фомушкой. Надо было безотлагательно бежать из тюрьмы, из которой уже десять лет никто не мог убежать.

И Фома бежал. Бежал в тот же день, когда стало известно, что его инкогнито раскрыто. Помогли товарищи — в тюрьме и на воле: Фому, человека не слишком крупной комплекции, уложили... в бельевую корзину и вынесли из тюрьмы под видом вещей переправляемых в другие остроги каторжан.

Так Фома снова появился в Петербурге, и так начался второй круг революционной деятельности Фомы.

Большевик Ионыч действовал совсем в другой части бывшей Российской империи — в столице Украины Киеве. Он начинал среди рабочих-железнодорожников на Соломенке и Демиевке, среди солдат в частях киевского гарнизона, среди студентов в аудиториях университета «святого Владимира». Соломенские и демиевские большевики выбрали его в состав Киевского комитета РСДРП. Круг деятельности Ионыча значительно расширился: в Киеве — заводы и верфи, на окраинах — казармы и лагеря, еще

далее — пригородные села, питавшие рабочей силой и заводы, и железную дорогу, и речную флотилию. Но был это уже тысяча девятьсот седьмой год — год неслыханных дотоле репрессий в стране. Все украинские организации большевиков понесли значительные потери. Среди плененных жандармерией чуть не оказался и Ионыч: полиция гналась за ним из города в город, от села до села. Партия приказала Ионычу на некоторое время скрыться за границей, в эмиграции.

Имя Иван Безработный впервые появилось на страницах газеты «Вперед» осенью девятьсот седьмого года. Имя это принадлежало студенту юридического факультета Сорбонны, которую Иван закончил в тысяча девятьсот десятом году. Тогда Безработный работал в парижском профсоюзе металлистов и в пятой секции социалистической организации Парижа. А по вечерам бакалавра Сорбонны можно было увидеть в залах Национальной библиотеки, склонившегося над кучей книг — не из области юриспруденции, а над томами Маркса и Энгельса. Хорошо знали Ивана и в рабочих кварталах столицы Франции — как ярого застрельщика партийных дискуссий и непременного участника рабочих демонстраций. Откликался он на краткое, приятельское «Жан».

Митя, Мефодий, Фома, Фомушка, Ионыч, Иван, Жан — все это одно лицо, одна особа: Дмитрий Захарович Мануильский, крестьянский сын с украинской Волыни. Путь в революцию он тогда только начинал, чтобы пройти этим путем всю свою жизнь. А жизнь его связана была с жизнью Ленина, с великими ленинскими делами.

Впрочем, первое знакомство с Лениным получилось у Дмитрия Захаровича не из приятных в связи с его, Дмитрия Захаровича, полнейшим расхождением с ленинским призывом максимально использовать легальные формы работы. Он примыкал тогда к группе отзовистов-впередовцев, которые в условиях революционного спада и утомленности масс слепо продолжали звать на баррикады — только на баррикады, к оружию, к восстанию!.. Знакомство состоялось в страстной и гневной дискуссии. До того Мануильский уже не раз встречался с Лениным: на площади Клиши, по которой прошла стотысячная демонстрация парижских пролетариев; на похоронах Поля Лафарга — в окружении ажанов с дубинками в руках. Выступления Ленина слышал Мануильский тоже не раз: в зале на Рю-Дантон и в кафе на авеню де Орлеан — там борьба происходила не против жандармов, но против меньшевиков, требовавших ликвидации нелегальной партии.

Однако разговаривать Ленину и Мануильскому еще не случалось. Первый разговор произошел позже, во время дискуссии в «Кафе де Лион». Мануильский, развивая сектантские позиции впередовцев, требовал отозвать депутатов-большевиков из Государственной думы. А Ленин ему отвечал.

Дмитрий Захарович в своих записках так вспоминает это памятное событие в его жизни:

«После моего выступления Владимир Ильич взял слово и в течение буквально нескольких минут положил меня на обе лопатки...».

Затем Ленин убедительнейшим образом доказал необходимость использования трибуны Государственной думы для агитации и мобилизации масс.

Дмитрий Захарович не мог не признать правоты Ленина, и ему стало грустно и горько: вполне очевидно, что всякие добрые отношения с Лениным — умнейшим, приятнейшим из людей, которых встречал в своей жизни Дмитрий Захарович,— отныне будут исключены... И велики были его удивление и взволнованность, когда тотчас же после окончания дискуссии Надежда Константиновна Крупская вдруг подошла к нему и сказала, что Ленин зовет его к себе домой, на чашку чая, с непременным условием: захватить с собой и тезисы своего отзовистского выступления. Владимир Ильич пообещал сии еретические тезисы обязательно напечатать в большевистской газете «Пролетарий», чтобы в живой дискуссии на страницах партийной печати продемонстрировать всю несостоятельность позиции впередовцев-отзовистов.

Так началось знакомство Мануильского с Лениным. Так было положено и начало доверия Ленина Дмитрию Захаровичу. Ведь позже, в течение многих лет, Владимиру Ильичу пришлось не раз посылать Мануильского на весьма и весьма ответственные участки революционной работы, поручать ему ряд особо важных дел — в своей стране и за пределами родины.

На историческом шестом съезде партии, проходившем в июле — августе 1917 года в Питере, Мануильский — делегат от столичной петроградской партийной организации. Здесь, в Василеостровском районном Совете, он начал работать сразу по возвращении из эмиграции, выступил уже непоколебимым, страстным приверженцем ленинских позиций. Съезд, как известно, утвердил ленинскую установку

на вооруженное восстание против буржуазного Временного правительства.

В бурный семнадцатый год много приходилось брать на себя каждому большевику. Мануильский по решению ЦК был послан вместе с Калининым и Луначарским гласным в Петроградскую городскую думу и тут находился, так сказать, во «фронтовой обстановке», ведя непрекращающиеся боевые действия против гласных — кадетов, эсеров и меньшевиков. Входил Мануильский и в специальную так называемую «муниципальную группу» при ЦК, разрабатывавшую в условиях войны и нарастающей в стране разрухи мероприятия для удовлетворения неотложных нужд трудящихся. Был Мануильский и в числе большевистских кандидатов в члены Учредительного собрания: ЦК рекомендовало тогда Ленина, Свердлова, Калинина, Дзержинского, Луначарского, Крупскую, Мануильского и других. Позже вошел Мануильский в созданный по решению ЦК при Петроградском Совете Военно-революционный комитет для подготовки и организации вооруженного восстания (вместе с Подвойским, Антоновым-Овсеенко, Орджоникидзе, Дзержинским, Бубновым, Аванесовым, Урицким, Коцюбинским и другими).

25 октября гласный Петроградской городской думы Мануильский по поручению и от имени только что провозглашенной рабоче-крестьянской власти закрыл Думу, и отряд матросов по приказанию Дмитрия Захаровича очистил помещение. Дмитрию Захаровичу выпало поставить эту «точку» над городской властью буржуев и «социалистических говорунов».

Когда вслед за тем в Петрограде вспыхнул путч юнкеров и офицеров, а Керенский с генералом Красновым двинули от Царского Села к Гатчине войска, Ленин отправил на фронт — защищать пролетарскую столицу — Орджоникидзе и Мануильского. Там Мануильский стал комиссаром Красного Села. И тотчас же после разгрома контрреволюции под Пулковом Ленин предложил Мануильскому безотлагательно заняться вопросами снабжения трудящихся продуктами питания.

Шел конец семнадцатого года; Советская власть тогда только-только устанавливалась на местах — в центральной части бывшей Российской империи, а по хлебным окраинам страны — на Украине, на Кавказе, за Уралом — ополчались силы контрреволюции. Собственник — помещик и кулак —

зарывал хлеб в землю, а вокруг страны на тысячи километров действовал еще фронт первой мировой войны, пожирал жизни людей и народное достояние. Разруха царила в стране, а по городам и селам шествовал голод. По предложению Ленина Мануильский стал заместителем наркома продовольствия в первом рабоче-крестьянском правительстве.

Да, все это было очень трудно: борьба за власть трудящихся, установление нового строя и порядка, великий труд организации народного хозяйства — нового по самой своей сущности и сооружаемого на развалинах старого мира. Но самым трудным в те годы было дело организации огромных людских масс, совершенно не подготовленных к самостоятельному хозяйствованию в такой огромной стране. И еще, пожалуй, труднее подбор руководителей, организаторов этих неподготовленных масс, которые подспудно представляли, однако, величайшую силу, мощный генератор революционного действия.

И примечательно, волнующе-поразительно: как умел осуществлять великое дело организации масс и подбора их руководителей Владимир Ильич Ленин! Ленину свойственна была эта великолепная человеческая черта: умение обращаться с людьми, дар узнавания человека. Ленин обладал удивительным талантом помочь человеку разобраться в себе самом и всегда направлял человека туда, где он более всего нужен, где наклонности его могут быть использованы наилучшим образом. Примеров тому тысячи, и один из них — Дмитрий Захарович Мануильский.

Ведь знакомство Ленина с Мануильским, как мы знаем, началось при обстоятельствах, никоим образом не благоприятствовавших Дмитрию Захаровичу. Ленин тогда буквально разгромил еретически настроенного отзовиста Мануильского. И победа Ленина была полнейшей: противник отказался от своих домоганий, признал правильность позиций другой стороны и позже сам стал горячим сторонником ленинских идей. И Ленин доверился своему бывшему оппоненту — доверился не когда-то потом, через много лет, после того, как этот оппонент успел уже, так сказать, доказать на деле свою перестройку,— нет! Не потом, а тогда же, в горячие дни подполья и подготовки революции и в первые же дни революционного преобразования мира: ответственнейшие поручения — в этом и была перестройка. Ленин посылал Мануильского на важнейшие участки революционной деятельности

И Ленин не ошибся: славным борцом-строителем прошел свой жизненный путь коммуниста, ведущего за собою массы, Дмитрий Захарович Мануильский.

В России, собственно в центральных губерниях, социалистическая революция одержала победу в славные дни Октября семнадцатого года. Но на окраинах нашей великой многонациональной страны за утверждение власти Советов пришлось бороться еще не один год. Здесь партия шагала в революцию, преодолевая отсталость или инертность масс, подавляя жестокое сопротивление враждебных классов, громя полчища контрреволюции, активно поддерживаемой империалистами. Важнейшим плацдармом длительной и ожесточенной борьбы за утверждение Советской власти была в те годы Украина. Здесь решалась судьба не только украинских трудящихся — решался вопрос дальнейшего существования Советской власти вообще, судьба революции. И воевать за победу Октября на Украине приходилось не только в грозных сечах — оружием, но и силой убеждения — пропагандой нашего дела, и на дипломатическом фронте.

Ленин тогда, в самом начале операций на Украине, снова позвал к себе Мануильского: Председатель Совета Народных Комиссаров предложил Дмитрию Захаровичу стать... дипломатом.

Так по предложению Ленина началась деятельность Мануильского на посту советского дипломата — одного из первых советских дипломатов, воспитанных Лениным.

Первым шагом ленинского дипломата Мануильского были переговоры с буржуазной украинской Центральной радой. Она призвала на Украину немецких оккупантов, стремившихся в ту пору захватить и земли Курской, Воронежской и Орловской губерний, частично заселенных украинцами, и надо было умерить пыл интервентов, выгнать их.

После падения Центральной рады восставший украинский народ с помощью братского русского народа покончил с гетманским режимом. Но тут возникло новое контрреволюционное образование на Украине — петлюровская Директория. И Мануильский возглавляет в переговорах с ней советскую дипломатическую делегацию. Одновременно по специальному предложению Ленина ведет в Двинске переговоры с немецкими солдатскими комитетами об окончательном марше с Украины «нах фатерланд» недобитых немецких захватчиков. Едет во Францию по поводу возвращения на ро-

дину солдат экспедиционного корпуса российской армии, принимавшего участие в героических боях под Верденом. Освобождая российских солдат, Мануильский сам попал под домашний арест. Французское правительство держало советскую миссию около трех месяцев, и только категорический протест Ленина помог нашим дипломатам освободиться от «гостеприимства» французских властей.

Вот тогда, по возвращении в Советскую страну, и настал кратковременный перерыв в дипломатической и международной деятельности Мануильского. Ленин отправлял тогда на Украину коммунистов-украинцев, тесно связанных со своим народом. Отбыли туда Коцюбинский и Примаков, Скрыпник и Косиор, Петровский, Чубарь и многие другие. Пришла очередь и Мануильского.

В Киеве, осажденном с одной стороны деникинцами, а с другой петлюровцами, Дмитрий Захарович возглавил Политический комитет обороны, вместе с Петровским, Косиором и Затонским вошел во Всеукрревком, а затем в Совет Народных Комиссаров УССР. Он ведал делами продовольствия и землеустройства на освобождаемых украинских землях.

Сложной и тяжелой была в те годы на Украине борьба за утверждение Советской власти. Бешеное сопротивление кулачества, махновский бандитизм, петлюровские рейды из-за границы и иноземные интервенции — все это надо было преодолеть. После сокрушения армий белополяков Мануильский по предписанию Ленина договаривается с Польской республикой о прелиминарных условиях мира и подписании мирного договора с нею. По возвращении на Украину Дмитрий Захарович около двух лет выполняет ответственнейшие поручения партии, а в 1921 году избирается первым секретарем Центрального Комитета КП(б)У.

Все перемещения по советской и партийной работе Мануильского проходили в связи с прямыми указаниями Ленина, и всякий раз Владимир Ильич приглашал Дмитрия Захаровича к себе для предварительной беседы. Ленин знал о состоянии здоровья Мануильского, страдавшего с юных лет туберкулезом. И стоило болезни обостриться, тотчас же последовало распоряжение Ленина: «Предлагаю заставить Мануильского пойти к лучшим докторам (послать их к нему) для диагноза и серьезного лечения».

Направляющая мысль Владимира Ильича всегда бережно охраняла первейшие нужды и запросы возрождающегося

к жизни, веками угнетаемого социально и национально украинского народа. Она постоянно касалась и Мануильского лично — во всей его жизни и деятельности. Ленин очень и очень дорожил тем, чтобы Мануильский, как и все другие деятели партии, вышедшие из украинского народа, в борьбе и строительстве новой жизни своего народа был всегда вместе с ним и во главе его.

Но как только жизненный опыт, знания и все другие качества закаленного большевика становились необходимыми на другом поприще революционной деятельности, Ленин тотчас же направлял его туда. Возникала, например, необходимость уделить особое внимание взаимоотношениям с братскими коммунистическими партиями за рубежом — Владимир Ильич вызывал Дмитрия Захаровича и посылал его то во Францию, то в Италию. По предложению Ленина Мануильский вплотную занимается вопросами международного коммунистического движения. Дмитрий Захарович — в Исполкоме Коминтерна. Вскоре он становится секретарем ИККИ.

Ветераны братских коммунистических партий: Кашен (Франция), Тольятти (Италия), Димитров (Болгария), Тельман, Пик и Ульбрихт (Германия) — это все ближайшие товарищи Мануильского по международному рабочему движению. В годы строительства социализма в СССР они вели огромную работу по организации трудящихся всего мира и сплочению коммунистических партий разных стран.

Работа Мануильского в Коминтерне — одухотворенный труд, героическое сражение на наиболее в ту пору простреливаемом участке фронта международной пролетарской солидарности. Дмитрий Захарович этим занят почти двадцать лет — до дня ликвидации Коминтерна.

Дмитрий Захарович Мануильский — революционер, большевик, верный сын своего народа и верный друг народов мира, выдающийся деятель международного рабочего движения, друг и соратник Владимира Ильича — всегда находился на аванпостах борьбы. Жизнь его как песня, из которой слова не выбросишь.

Песня «Вечный революционер» — гимн революционной борьбе, созданный великим украинским писателем Иваном Франко, была любимой песней Дмитрия Захаровича.

Вічний революціонер —
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю...

Он любил слушать ее в хоровом исполнении и охотно запевал сам. С этой песней он не расставался до последних дней своей жизни. Ведь она отражала его жизнь и, кроме того, самое дорогое воспоминание о юности: с этой песней начинал свою революционную работу гимназист Митя, нес ее зажигательные слова и мелодию в рабочие кружки студент Мефодий, запевал на студенческих и рабочих демонстрациях Ионыч — в Киеве, в начале нашего века.

Николай Веленгурин

ПРЯМО К ЦЕЛИ

Быть коммунистом не легко, мой друг.
Служить народу — дело не простое.
Широк больших обязанностей круг,
Упрямо чуждых праздного застоя.

С. Васильев

Если говорить по правде, не было причины волноваться. Обычно Матвей Муранов на слух, по ритму стучащих колес определял приближение станции, быстро доставал из старого кованого сундучка со слесарным инструментом пачку листовок и, прильнув к оконцу паровоза, внимательно всматривался: нет ли на вокзале жандармов? Теперь же он ехал не на паровозе, а в вагоне, без своего неизменного сундучка. Вместо железнодорожной форменной шинели на нем штатское пальто и недавно купленная в Харькове шляпа. И он вроде бы ничем не отличается от многих конторских служащих. Но Муранов чувствовал — волнуется.

Пограничная станция оказалась на редкость шумной. В вокзальное здание ему идти не хотелось, и он направился вместе с группой прибывших пассажиров к пропускному пункту, заранее решив: будь что будет.

Его спутники предъявляли небольшие листочки с множеством печатей. Жандармы, не читая, бегло смотрели пропуска. Муранов решился, выхватил из кармана проштемпелеванный конверт с недавно полученным письмом, сунул русскому, затем австрийскому жандарму и, не выпуская бумагу из рук, быстро шагнул через границу.

Оклика не последовало. Позже Муранов говорил, что в то мгновение он весь напрягся в ожидании строгого, может быть, сердитого или раздражительного и властного окрика человека в мундире стража империи. Но оклика не последовало, и сердце забилось тревожно и радостно: вот и открыт наконец путь...

Конечно, можно было бы исхлопотать пропуск, как это делали другие. В кармане Муранова лежали вполне исправные документы. Только на днях ему выдали бумаги депутата IV Государственной думы. Но кто-кто, а Матвей Муранов знал, чего стоили эти бумаги для жандармов, если в них значилось, что он депутат от рабочей курии.

Стояла глубокая осень. В сизой дымке смутно виднелись вершины Татр. Желтизной просвечивались близкие перелески. Но скоро наступили вечерние сумерки. Только огни Кракова мерцали в темноте.

Пока Муранов разыскивал невдалеке от вокзала улицу Любомирского, а затем, шагая по глухой, немощеной дороге, согласно адреску, который передали ему друзья из Питера, нашел серый трехэтажный дом под цифрой 47, наступил поздний вечер. Хотя окна еще кое-где светились, Муранов задумался: удобно ли сейчас беспокоить людей. Но столь сильным было искушение, что он все-таки постучал. Дверь открыл невысокий мужчина, с крупными чертами лица, с тем приметным прищуром глаз, который свойствен немного близоруким людям, предпочитающим ходить без очков.

Это был Ленин.

Муранов назвал себя. Владимир Ильич взял его руку и, пожимая обеими ладонями и не отпуская, ввел в комнату.

— Дорогой Матвей Константинович! Как хорошо, что вы приехали. Надя! У нас Матвей Константинович Муранов. Собери, пожалуйста, чай! Наш гость продрог, вечера сейчас прохладные!

Владимир Ильич усадил Муранова возле простенького стола, на котором лежали свежие номера «Правды», «Луча», стопки журналов, листы бумаги, испещренные мелким, бисерным почерком — видимо, начатая и не законченная еще работа. Тут же томики стихов Некрасова, «Анна Каренина». Владимир Ильич освободил край стола от газет, внимательно посмотрел на Муранова. Глаза Ильича лучились. Видно, он был очень рад гостю.

— Дорогой Матвей Константинович! Как вы перебрались через границу?

Муранов улыбнулся и рассказал о том, что с ним сегодня произошло. Владимир Ильич всплеснул руками.

— Через границу? Нелегально? Ну, батенька мой, не ожидал от вас.

— Почему же, Владимир Ильич? — удивился Муранов.

— Вы разве не понимаете? Вот был бы скандал, если бы вы провалились! Вы депутат, обладаете неприкосновенностью, ничто не могло бы вам повредить, если бы вы приехали легально.

— Не очень-то я верю в депутатскую неприкосновенность! — сказал Муранов.— Узнали бы жандармы, что я депутат,— наверняка бы арестовали. А так я у вас...

— Ну и конспиратор. Провели жандармов самым примитивным способом! — Ильич откинулся на стуле и искренне, от души рассмеялся.— А вы знаете, ведь мы тоже надуваем жандармов. Снабжаем товарищей полупасками[1], а это почти то же, что ваш проштемпелеванный конверт.

Задорные лучики у глаз Ильича весело подрагивали, и сам он словно светился изнутри — так заразительно смеялся. Муранов чувствовал, что Владимира Ильича охватила та озорная радость, которая приходит как нежданный подарок и ищет выхода. Но постепенно Ленин успокоился, посерьезнел и раздумчиво произнес:

— Де-пу-тат — неприкосновенная личность! Член парламента...

Муранов уловил в этих словах горькую иронию. А Ильич продолжал:

— На Западе некоторые социал-демократы упиваются парламентаризмом, блистают своим краснобайством, вхожестью в буржуазные салоны, деловой ловкостью парламентария и теряют при этом всё более связи с рабочими. Мы не можем, Матвей Константинович, ни следовать, ни подражать им. Депутат рабочих должен использовать трибуну Думы для пропаганды идей социальной революции. И вы, конечно, правы, не особенно доверяя парламентской неприкосновенности депутата. Пока у власти самодержавие и буржуазия, рабочий депутат вынужден использовать Думу и для нелегальной работы.

Владимир Ильич сел поближе к Муранову, положил руку на плечо, спросил:

---

[1] Полупаски — проходные свидетельства, по которым ездили жители приграничной полосы.

— Матвей Константинович, а как харьковские рабочие отнеслись к кандидатам меньшевиков во время выборов в Думу?

Ильич знал — как. Но его интересовали детали. Муранов рассказывал, а сам думал, что никто, пожалуй, так глубоко не вникает в жизнь рабочих, так не чувствует их мысли и настроения, как этот человек, живущий вдалеке от России, но такой близкий рабочим.



Матвей Константинович
МУРАНОВ
(1873—1959)

В ту памятную встречу Муранов поведал Ленину и о своей жизни, и о жизни своих товарищей — рабочих. И о том, каким образом ухитряется распространять листовки и ленинские работы. И как однажды жена Матвея Константиновича понесла прокламации в своей корзинке даже на базар.

Выпили чай, который приготовила Надежда Константиновна, и Муранов заторопился было в гостиницу. Но его оставили, сказали, что никуда он из этой квартиры не уйдет и будет ночевать тут.

Муранов долго не мог уснуть. Мысленно представлял себе все пути-дороги, которыми шел он годами вот к этому дому, к этой беседе с Лениным...

Дороги были прямыми, хотя и пролегали все вблизи заводских застав. На заводе он впервые узнает о Ленине. Здесь же в 1904 году вступает в ряды РСДРП. А в следующем году сражается на баррикадах Харькова. Он еще ни разу не видел Владимира Ильича, но, как один из самых активных рабочих железнодорожного депо Харьков-Сортировочная, читает «Искру» и, конечно, рад опубликованному в этой газете письму Ленина в адрес Харьковского комитета. В нем Ильич благодарил харьковчан за обстоятельный доклад о положении дел и просил почаще присылать такие сообщения.

Муранов внимательно знакомится с работами Ленина, в том числе с его книгой «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Он вообще много читает и даже тайком пишет стихи. Стойкий, инициативный большевик Муранов вскоре становится во главе социал-демократов депо Харьков-Сортировочная.

Полиция забеспокоилась, Муранова арестовывают и высылают в Лозовую. Но он настойчиво стремится к товарищам по работе. Вернувшись в Харьков, Муранов восстанавливает подпольные связи, распространяет «Звезду» и «Правду», проводит забастовку протеста паровозоремонтников против расстрела рабочих Ленских приисков.

Харьковские рабочие превращаются в большую организованную силу, с которой вынуждено считаться самодержавие. Об этом лучше всего свидетельствуют выборы, проведенные в IV Государственную думу. Уже в июле 1912 года собрание большевиков Харькова приняло решение: избирать только «партийцев», но отнюдь не «ликвидаторов».

Начальник Харьковского губернского жандармского управления генерал-майор Рыковский скрепя сердце признается в телеграмме департаменту полиции: «По рабочей курии выборы не социал-демократа маловероятны». На исход выборов не повлияли ни аресты наиболее активных большевиков, ни объявление многих выборных собраний недействительными: рабочие единодушно проголосовали за своего товарища Матвея Константиновича Муранова.

И вот, прежде чем отправиться в Петербург, он решил получить совет Ильича. Ему сообщили, что Ленин перебрался из Парижа в Краков, поближе к России, и живет там уже несколько месяцев. Не раздумывая, Муранов сел в поезд. Так и попал он к Ильичу.

Конечно, Муранов не питал никаких иллюзий насчет думской деятельности и хорошо знал, что его ждет в Думе. Ленин, которому он на следующий день сообщил об этом, согласился с Мурановым.

— Четвертая дума, Матвей Константинович, как вы сами изволили заметить, черносотенная Дума. И никаких законов, облегчающих положение рабочих, черносотенная Дума никогда не примет. Задача рабочего депутата — изо дня в день напоминать с думской трибуны черносотенцам, что рабочий класс силен и могуч, что недалек тот день, когда вновь поднимется революция. Надо клеймить царский строй. Вот это будет действительно то, что должны слышать рабочие от своего депутата.

Они прогуливались по краковскому предместью. В холодном и прозрачном воздухе просматривались Татры, блестящие вершины гор. За ними Австрия, а дальше Швейцария. Владимир Ильич взял за локоть Муранова.

— Вчера вы рассказали забавный случай.— Ильич улыбнулся.— Конверт, который помог вам перейти границу, напомнил мне вот о чем. Когда я жил в Швейцарии,— Ленин кивнул в сторону Татр,— мне сообщили, что там одно почтовое учреждение приходится на восемьсот восемьдесят восемь человек населения, а в России — на десять тысяч. Почему же такая разница? А потому, что Россия — страна неграмотных и деньги тратятся не на просвещение, а на средства порабощения народа. Неграмотные не пишут писем, и почтовых учреждений требуется меньше. Вот вам, Матвей Константинович, тот случай, который должно использовать для разоблачения самодержавного строя при очередном рассмотрении, скажем, сметы расходов Главного управления почт и телеграфов.

Дни, проведенные Мурановым у Ленина, врезались в сознание Матвея Константиновича на всю жизнь. В непринужденной и доверительной беседе перед Мурановым открылась программа его будущей деятельности в Думе. Провожая Муранова на вокзал, Ленин советовал ему держать тесную связь с «Правдой» и Петербургским комитетом, с Русским бюро ЦК.

— И никаких компромиссов с меньшевиками по принципиальным вопросам! — добавил Ильич.

Рассказывая большевистским депутатам Думы о поездке в Краков, Муранов как бы чувствовал, что Ленин в это время находится не за сотни верст, а совсем рядом, в Таврическом дворце. Он читал письма Ильича, его проекты думских выступлений, его анкету из 19 вопросов, и Муранову чудилось, что Ленин словно продолжает незавершенную и откровенную беседу. Иначе разве Муранов и его товарищи смогли бы так стойко в течение десяти дней выдерживать натиск меньшевика Чхеидзе, пытавшегося протащить в социал-демократическую думскую фракцию пепеэсовца Ягелло? Матвей Константинович, борясь за чистоту состава фракции, будто слышал голос Ленина: «Никаких компромиссов с меньшевиками по принципиальным вопросам!»

Несмотря на общее полевение в стране, в поправевшей Думе большевистским депутатам приходилось порой нелегко. Безраздельное большинство в 283 голоса правых и октябристов превращало Думу в послушное орудие самодержавия.

7 декабря 1912 года руководитель погромного Союза Михаила-архангела Пуришкевич потребовал с думской

трибуны введения в стране телесного наказания и розог. Только депутаты-большевики смело и бесстрашно выступили против погромщиков.

Владимир Ильич, узнав об этом от Муранова, подтвердил, что так и надо было действовать.

— Вы, депутаты, должны выступать в Государственной думе смело и решительно, и рабочие ликвидируют у себя боязнь и робость,— сказал Ленин Матвею Константиновичу во время второй встречи с ним.

Эта вторая встреча, известная как Краковское совещание, определила план работы большевистской фракции по многим вопросам. Еще до этого Владимир Ильич в письмах для депутатов Думы, перехваченных полицией, подчеркивал важность выступлений с особым протестом против празднования 300-летия дома Романовых. На совещании был подробно рассмотрен и этот вопрос.

Сразу же из Кракова Муранов заторопился в Харьков, где второй месяц бастовали рабочие паровозостроительного и других предприятий. Там он встретился с рабочими, начал сбор средств для бастующих. А когда узнал, что жандармы арестовали некоторых руководителей забастовки, отправился к харьковскому вице-губернатору и потребовал немедленного их освобождения. Вернувшись в Петербург, Матвей Константинович Муранов выступил в «Правде» со статьей, в которой разоблачил поведение губернских властей и раскрыл пролетариям всей страны правду о харьковских рабочих.

За каждым шагом Матвея Муранова теперь тщательно следила полиция. Он стал известным человеком среди рабочих, к его голосу внимательно прислушивались. Рабочие старались оградить его от слежки. Но все сложнее в этих условиях становилось подполье. Шпики следовали за рабочим депутатом по пятам. 17 января 1913 года харьковский губернатор Катеринич сообщал в департамент полиции о том, что «Муранов явился в мастерские Харьковского городского электрического трамвая, где предлагал находившимся там рабочим, числом до 20 человек, сделать в одну из получек сбор в пользу бастующих рабочих паровозостроительного завода. Кроме того, он рекомендовал рабочим отстаивать восьмичасовой рабочий день».

А на следующий день Муранов снова побывал в тех же мастерских и, несмотря на угрозы заведующего мастерскими Подхалюзина, встретился с кондукторами, советовал

смелее отстаивать свои права. Как и следовало ожидать, «настроение кондукторской бригады трамвая после того было несколько повышенное...» — доносил губернатор.

Позже «Правда» поместила резолюцию кондукторов и вагоновожатых Харьковского трамвая, в которой они горячо протестовали против попыток меньшевистского большинства социал-демократической фракции заставить шестерку депутатов-большевиков сотрудничать в меньшевистской газете «Луч». И Муранов, читая резолюцию, понял, что его встречи и беседы с рабочими Харьковского электрического трамвая не прошли бесследно.

Он внимательно прислушивается к голосу рабочих и ведет с ними обширную переписку, встречается с питерскими пролетариями, выезжает в Финляндию, на Волгу, в Екатеринослав. В мае 1913 года в департамент полиции поступило очередное донесение о том, что «рабочий Краматорского железоделательного завода Томаш Зноек ведет переписку с членом Государственной думы от рабочих Харьковской губернии Мурановым... Полученными от Муранова письмами рабочий Зноек делился с теми служащими на заводе, которые отличаются левым направлением». А затем, как об этом доносит начальник Екатеринославского жандармского управления подполковник Критский, Муранов приехал в Бахмутский уезд, разыскал в поселке Краматорском Томаша Зноека и провел вместе с ним собрание большевистски настроенных рабочих.

Наряду с нелегальной деятельностью Муранов смело использует для пропаганды идей революции думскую трибуну.

Для многих, привыкших к выступлениям от социал-демократической фракции Чхеидзе, Чхенкели, Скобелева, которых депутаты-меньшевики, пользуясь своим большинством, предпочитали выдвигать ораторами в Думе, был неожиданным выход 1 февраля 1913 года на трибуну депутата-большевика Матвея Константиновича Муранова.

Он был невысокого роста и едва возвышался над трибуной. 400 пар внимательных, настороженных, враждебных глаз депутатов было устремлено на него. Что скажет он? Ведь вопрос обсуждался необычный: спешно внесенный министром финансов законопроект об отпуске 484 999 рублей на расходы для проведения празднования 300-летия дома Романовых.

В неожиданно притихшем зале заседания Думы раздался негромкий и в то же время страстный голос Муранова:

— Социал-демократическая фракция, исходя из своих республиканских убеждений и учитывая реакционное значение предстоящих торжеств 21 февраля 1913 года, считает необходимым...

Муранов взглянул в зал — глаза думцев следили за ним.

— ...в полном соответствии с поднимающимся движением рабочего класса и всей демократии вотировать как против участия Думы в этих торжествах, так и против ассигнования на них народных денег.

В зале раздались аплодисменты рабочих депутатов и страшный, нарастающий рев правых. Муранов видел, как злобно стучали пюпитрами Пуришкевич и Марков-второй. Он уже сходил с трибуны, когда председатель Думы Родзянко поспешно схватил дрожащей рукой колокольчик и закричал:

— Член Государственной думы Муранов, я призываю вас к порядку по поводу ваших слов...

О бесстрашном выступлении рабочего депутата в тот же день заговорил весь рабочий Петербург.

Любой повод используют Матвей Константинович Муранов и другие депутаты-большевики для разъяснения с трибуны Думы политики рабочего класса, партии большевиков. Обсуждается спешный запрос по поводу насилий, учиненных над рабочими и студентами в Москве. И Муранов смело говорит о нарастающей революции, о пробуждающемся рабочем классе.

— Рабочий класс после пятилетней вынужденной спячки проснулся, он больше молчать не может. Когда на берегах лазурного Черного моря заколыхались на эшафотах севастопольские матросы, страна дрогнула от негодования, и прежде всего и глубже всего отозвался пролетариат России, отозвалась молодежь, отозвались учащиеся Московского коммерческого института...

Муранов нарисовал яркую картину жестокой расправы с рабочими и студентами, проведенной отрядом генерала Миткевича-Желток, приказавшего «гнать и бить этих негодяев». Справа кто-то торжествующе закричал:

— Правильно! Молодчина генерал! Так и надо!

Председательствовавший на заседании Думы князь Урусов делает вид, что не замечает выпада правых, и, потупив глаза, молча пощипывает ус.

— Нужно положить конец разнузданности сатрапов вроде Миткевича-Желток, позволяющих себе столь гнусные действия...— продолжал Муранов.

За председательский столик садится Родзянко. Он предлагает рабочему депутату говорить только по поводу спешности запроса. А Матвей Константинович продолжает говорить о том, что прежде всего волновало рабочий класс.

Когда обсуждали в Думе сметы расходов министерства внутренних дел по Главному управлению почт и телеграфов, трибун рабочих Муранов развернул потрясающую картину бесправия человека в России, где бюджет министерства народного просвещения не намного выше тюремного, а главой педагогов сделан околоточный надзиратель. В стране, где большую часть средств государство расходует на постройку тюрем, на полицию, сыск, на затемнение масс, заявил Муранов, «грамотность не может процветать, а неграмотные писем не пишут».

Негромкий голос депутата звучал набатом.

— Опыт девятьсот пятого года — славная ноябрьская стачка почтово-телеграфных служащих показала, какой силой обладают они, если будут действовать дружно. Только организованной борьбой можно положить конец теперешнему состоянию.

Сидевший напротив, в самом центре яруса думских кресел, лидер фракции «центра» помещик Крупенский-первый вскочил, закричал:

— Отобрать у него бумаги! Не давать читать!

А Муранов продолжал. Он рассказал, что полиция распечатывает письма и телеграммы, сажает людей в тюрьмы лишь на основании перехваченных писем.

— Наш режим из самого невинного учреждения делает орудие угнетения масс. Только представители черносотенных дворян,— говорил Муранов,— промышленных тузов и трусливой жалкой буржуазии могут давать народные деньги такому правительству, а революционная социал-демократия видит один исход — в организации борьбы за демократическую республику, которая дает рабочему классу возможность идти дальше до полной победы, до победы социализма!

Осенью 1913 года Матвей Константинович снова, как и год назад, перешел границу. Скромный бревенчатый домик крестьянки Терезы Скупень окрестные горцы — гурали

знали хорошо, и Муранов с их помощью без труда добрался до Ильича. Там уже находились Петровский, Бадаев, Самойлов, Шагов, Малиновский (впоследствии оказавшийся провокатором). Прибыли не только депутаты Думы, но и представители партийных организаций с мест. Началось совещание, вошедшее в историю под названием Поронинского. Всех особенно беспокоило, как быть с Федорой — меньшевиками, которые бойкотировали депутатов-большевиков по всем вопросам деятельности думской фракции. Все это до крайности затрудняло использование думской трибуны для революционной агитации в массах. Меньшевики были против нелегальной деятельности депутатов.

Владимир Ильич внимательно выслушал депутатов.

— Семерка рассуждает все время исключительно о думской работе, о думской социал-демократической деятельности! — сказал Ленин.— Вне Таврического дворца для семерки ничего организованного не существует! А крики семерки о единстве напоминают известный анекдот: семеро хотят «объединиться» с шестью, как человек «объединяется» с куском хлеба. Он его съедает. Семеро беспартийных хотят съесть шестерку марксистов и требуют, чтобы это было названо «единством».

Ленин предложил добиваться равноправия шестерки депутатов-большевиков и написал Заявление о единстве социал-демократической думской фракции, принятое участниками Поронинского совещания. Оно помогло депутатам-большевикам развернуть широкую разъяснительную работу в массах по вопросу разногласий внутри социал-демократической думской фракции и вскоре создать самостоятельную Российскую социал-демократическую рабочую фракцию в Думе.

Около месяца провел Муранов в Поронине, ежедневно встречаясь, подолгу беседуя с Ильичем. Ленин интересовался тем, как реагировали различные фракции на выступления Муранова в Думе, как эти же выступления воспринимались рабочими.

— Вам, дорогой Матвей Константинович, надо больше ездить по стране, чаще встречаться с рабочими, надо усиливать нелегальную работу на заводах, активизировать деятельность партийных организаций... Нужно максимально использовать право депутатской неприкосновенности, как бы шатко оно ни было в условиях самодержавия.

Ильич остановился и улыбнулся:

— Это полезнее, чем нелегально переходить границу...

Они были почти ровесники. Ленин чувствовал себя превосходно в пешеходной прогулке, которую они часто совершали в Закопане, по гористой, багряно-желтой местности.

Однажды Владимир Ильич заговорил с Мурановым о предстоящем партийном съезде, основную работу по подготовке которого должны были взять на себя депутаты Думы и Русское бюро ЦК партии.

Ильич сам определил районы поездок депутатов по стране. На долю Муранова достался Урал и Поволжье. Этот партийный маршрут был по-настоящему героическим. Муранов садился в поезд, а в департамент полиции неслись телеграммы с описанием каждого его шага. За ним тщательно следила свора охранников и шпиков. Нужен был блестящий талант не только агитатора и организатора, но и незаурядного конспиратора, чтобы вот так, почти на виду у всего департамента полиции, проводить подготовку к партийному съезду на огромной территории России — от Уфы и Самары до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Уже 4 мая 1914 года Муранов отправляет первое письмо в ЦК РСДРП. Преодолены тысячи километров — поездом и на лошадях, пешком и даже по реке с плотогонами. За это время Муранов познакомился с сотнями рабочих, налаживал нелегальные связи, создавал новые партийные организации.

«...На завод Надеждинский я поехал сам,— писал он,— меня снабдили адресами и явками, но тут я нашел все разгромленным. С большой трудностью удалось созвать ячейку в 11 человек, которая все же решила принять участие в посылке делегата. Удалось их оформить и закрепить, выбраны для явки лицо и секретарь, но добыть какие-нибудь адреса оказалось невозможным. Те же адреса, какие у меня имелись для верхне-турских заводов, оказались непригодными, потому пришлось несколько заводов проминуть и ехать в Екатеринбург. Но закрепленной и оформленной организации не было и здесь, и пришлось заняться сейчас стройкой организации. Положив в основу программный устав, создали Верх-Исетский заводской комитет, который должен был начать строить Екатеринбургский, а дальше, может, и Уральский».

На Лысьвенском заводе этот неистовый большевистский депутат проводит не только собрание рабочих-большевиков, но и массовку, на которую пришло 200 человек и где —

прошу читателей внимательно вчитаться в запись Муранова — «пришлось развить нашу программу, призвать к организации и к революции».

К революции! — звал страстный голос Муранова в Сызрани и на станции Чусовой, в Челябинске и Уфе, в Невьянске и Миньяре.

Завершая задание партии, он из Сызрани пароходом попал в Саратов. Здесь его застала весть о начавшейся мировой войне...

Пока Муранов добирался до Петербурга на внеочередное заседание Государственной думы, до него с газетных страниц уже донеслась волна шовинистического угара. Недавние интернационалисты стали оборонцами, ярыми защитниками своих правительств. Все буржуазные газеты — от черносотенной «Земщины» до либерального «Дня» — захлебывались в общем хоре «патриотического» слюнтяйства.

Только большевики остались верными интернационалистами, бойцами за интересы рабочего класса. Муранов, Петровский, Бадаев, Шагов (Самойлов в это время был за границей) вместе с членами Русского бюро ЦК партии активно выступили против войны. Они выпустили листовку с призывом: «Долой войну! Война войне!» Протест депутатов-большевиков и их решительность настолько были сильны, что поколебали даже некоторых меньшевистских депутатов. Была составлена общая декларация протеста против войны. Оглашенная с трибуны Думы 26 июля 1914 года, она вызвала бешенство правых и «центра». Вся социал-демократическая фракция отказалась голосовать за военные кредиты и в знак протеста покинула Таврический дворец. Царь закрыл Думу до февраля 1915 года.

Дума закрыта, а депутаты-большевики ведут яростную борьбу против империалистической бойни. Их схватывают, сажают в тюрьму, предъявляют обвинение в измене.

Муранов в одиночной камере на Шпалерной. В первый же день допроса он заявляет, что показания давать не будет и пусть господин следователь более себя не утруждает.

— Но ваши товарищи согласились дать показания! — заявил, ухмыляясь, следователь.

Муранов упорен, стоек. Он отказывается подписывать протокол следствия.

Рабочие взволнованы и возмущены арестом своих депутатов. Петербургский комитет партии выпускает листовку, в которой заявляет: «Рабочему классу брошен смертельный

вызов!..» Сановники империи напуганы. Председатель совета министров Горемыкин и министр юстиции Щегловитов требуют передачи дела в военный суд. Но верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич предлагает рассмотреть это дело в гражданском порядке. Он опасается народного негодования.

Проходит еще полтора месяца в одиночке. Муранов узнает: найдена брошенная им в Озерках записная книжка с заметками о поездке по Уралу, а в Харькове обнаружена вторая книжка, у следствия серьезные свидетельства нелегальной деятельности депутатов против самодержавия. Но он, как и его товарищи, держится стойко и во время следствия и на суде. Только Каменев, человек, которому партия поручила руководство фракцией большевистских депутатов, вел себя трусливо и предательски.

Муранов мужественно и смело заявил на суде:

— Я послан народом не для того, чтобы просиживать думское кресло. Когда была распущена Государственная дума, чтобы не терять даром времени, я решил поехать к избирателям. Я считал нужным ехать к ним даже тогда, когда они не звали. Считаю позорным скрывать, что занимался внедумской деятельностью.

Председатель суда Крашенников допрашивает Муранова: а не пропагандировал ли он сам социал-демократическую программу?

— Массовки-то были в лесу,— ответил Муранов и, улыбнувшись, добавил для ясности: — А в лесу свобода слова...

Царское правительство, затевая суд над депутатами, предполагало расколоть ряды рабочего класса. Но оно добилось обратного. Рабочие, слушая витиеватую речь прокурора судебной палаты Ненарокомова, хвалившего и германских социал-демократов, проголосовавших за военные кредиты, и французских и бельгийских социалистов, ставших под знамена «короля-рыцаря», поняли, что только партия большевиков, только депутаты-большевики не изменили рабочему классу и остались до конца верными идеям революции.

Поздно вечером 13 февраля 1915 года при крупном наряде полиции судья объявил приговор: всех депутатов в ссылку на вечное поселение.

Лишь много позже Муранов узнал о той высокой оценке, которую дал Ленин его поведению на суде.

«...Суд развернул невиданную еще в международном социализме картину использования парламентаризма *революционной* социал-демократией...— писал Владимир Ильич в статье «Что доказал суд над РСДР Фракцией?».— Отчет о нелегальной работе Муранова и записки Петровского останутся надолго образцом *той* работы депутатов, которую мы должны были усердно скрывать и в значение которой будут теперь внимательнее и внимательнее вдумываться все сознательные рабочие России... Подняться выше — к званию влиятельного в «обществе» депутата или министра — таков на деле был смысл «европейского» (читай: лакейского) «социалистического» парламентаризма. Спуститься ниже — помочь просветить и объединить эксплуатируемых и угнетенных — вот какой лозунг выдвинут образцами Муранова и Петровского... Кто не понял до сих пор, почему и зачем РСДР Фракция отделилась от социал-демократической фракции, мирившейся с легализмом и оппортунизмом, тот пусть учится теперь на отчете судебного процесса о работе Муранова и Петровского».

Подводя итоги деятельности рабочих депутатов, Ленин подчеркнул: «Правдистские газеты и работа «мурановского типа» создали единство $^4/_5$ сознательных рабочих России».

С этим сознанием исполненного долга Муранов и его товарищи отправлялись в ссылку. В крытых автомобилях их доставили на Николаевский вокзал и тайком поместили в арестантский вагон. Но рабочие об этом узнали и пришли на вокзал, принесли цветы. У окна стоял Муранов. Звякнув кандалами, он поднял руки:

— Прощайте, друзья!

Рабочие взволнованно закричали:

— Не горюйте, товарищи! Держитесь, выручим всех!

Поезд с депутатами медленно двинулся на восток, в далекий Туруханский край.

Отправляя Муранова и его товарищей в глухую Сибирь, царь думал, что он увозит их от революции. В действительности же он их направил прямо к цели — в революцию!..

Гурген Маари

У ИСТОКОВ РУССКОГО ЧУДА

> Он героем был. Пал в большом бою
> На земле моей, где я тихо рос.
> Жизнь ковал в борьбе он в родном краю
> Среди тысяч тех, кто сильнее гроз.
>
> *Г. Сарян*

1.

Город Ростов, город Ростов...

Он расположился на реке Дон, один из красивейших, один из торговых городов России. Тянется главная улица, прямая и стройная, соединяет Нахичеван, где селились армяне,— с Ростовом. Здесь, в Нахичеване, в маленьком одноэтажном домишке жил Федор — мелкий торговец. Здесь в студеное февральское утро 1886 года появился на свет смуглолицый ребенок. Его назвали Александром. Дома — просто Саша, в партии он станет Алешей, еще позже — Александром Федоровичем Мясниковым (Мясникяном).

У Саши были братья и сестры. Не по силам оказалась отцу ноша, не выстоял он перед нуждой и, оставив младенцев на волю судьбы и жены своей, приказал долго жить.

Невеселое, горькое детство. Но вот Саше пошел девятый год, и мать отдала его в духовную школу — пансион при монастыре Сурб хач (Святого креста). Способным учеником оказался Саша, у него был трезвый, здравый ум и острая, все фиксирующая память. С раннего детства он уже понял, какое это удовольствие — читать книги; под подушкой у питомца пансиона всегда можно было обнаружить томики Абовяна, Агаяна, Раффи.

По окончании школы Саша был принят в Новонахичеванскую армянскую духовную семинарию. Учиться здесь тяжело, жалуется Саша в своих письмах, религии и богословию уделяется больше времени, чем армянскому языку и истории.

Но завершена и эта полоса жизни, и Саша уже подумывает о Москве, о дальнейшей учебе. Что до Москвы — она недалеко, рукой подать. Но учиться? Кто его туда примет?

Лето 1904 года. Жара. Городской вокзал. Мать провожает своего 18-летнего сына. К водовороту жизни, в Москву.

— До свиданья, мама, прощай, Ростов!

Москва. Лазаревский институт. Институт восточных языков. Сбылась давняя мечта. Но какая это была выстраданная мечта, сколько ей сопутствовало лишений, сколько лишений!..

В благотворительное общество Нового Нахичевана приходит прошение: «Нахожусь в крайне затруднительном материальном состоянии, нет средств на хлеб насущный, на учебники. Ввиду этого покорнейше прошу Вашу милость, учитывая мое столь безвыходное положение, назначить мне хотя бы 50 рублей пособия».

«Ваша милость»... Саше не был чужд литературный сарказм. Еще в семинарии им была написана драма в четырех действиях, которая называлась: «Семья человека, для которого нет ничего святого» — ни больше, ни меньше.

В благотворительном обществе Нового Нахичевана заседали люди, для которых не существовало ничего святого. Саше было отказано в пособии.

2.

Растет революционная волна 1905 года. Всероссийская октябрьская стачка. Московское декабрьское вооруженное восстание. Алеша становится смелым и беззаветным учеником Ильича.

В 19 лет Алеша — Александр Мясникян написал реферат «Теория стоимости Карла Маркса».

А в 20 лет его арестовали. Первое испытание. По особому распоряжению жандармерии — высылка из Москвы. Политическое убежище предоставил тогда ему Баку, боевой штаб — Шаумян, Орджоникидзе, Азизбеков... Но там же, в Баку, были и противники. Они были многолики, многочис-

ленны: национальные партии, ликвидаторы, отзовисты, эсеры, сионисты...

Александр был прекрасный оратор, обладал железной логикой. В один и тот же вечер он мог выступать и по-армянски и по-русски, чтобы быть понятным всем собравшимся его послушать рабочим. Он зло высмеивал тех, кто утверждал, что сословий и классов не существует, их, дескать, выдумали, а есть армянский народ, единый духом и устремлениями...



Александр Федорович
МЯСНИКОВ
(1886—1925)

Развалившись в карете, едет по улице Манташев — король бакинской нефти. Зевающие от безделья владельцы лавок и магазинов поднимаются и склоняются в поклоне.

А по тротуару идет усталый и вымазанный в грязи рабочий. И оборванный нищий на углу просит милостыню.

— Ты видишь «национальное единство», Степанэ? — Это говорит Мясникян своему попутчику — Шаумяну.

И как последнее подтверждение «национального единства» навстречу им из-за угла выходит дашнак Хажак.

Духота. Воздух пропитан пылью. Пыль, пыль, пыль...

3.

1911 год. С дипломом первой степени Александр окончил экономическое отделение юридического факультета Московского университета. И почти тут же — воинская повинность. С тех пор никто уж больше не видел его в гражданской одежде. Ему шла военная форма. Он был выше среднего роста, крепкого сложения, широкоплечий, ладный.

Он очень любил Максима Горького. «Снова возвращается к нам желанная весна,— пишет он в 1914 году.— Ее ласточка — демократический писатель нашей страны Максим Горький вновь с нами, чтобы жить и действовать с нами».

1914 год. Грохочут первые пушки первой мировой войны. Теоретик и пропагандист, Александр стал теперь прапорщиком и командует учебным батальоном в городе Драгобыче. Теоретик-марксист занялся изучением военных карт и схем. Его любили солдаты. Они тянулись к нему, они чувствовали приближение очищающих бурь революции.

1916 год. Из Драгобыча в Смоленск едет Александр Федорович Мясников — умелый организатор, храбрый командир. Да, он командир царской армии, но в задачи его не входит укреплять расшатанные звенья царской армии. Напротив.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья...

1917 год. Февраль. Пала Романовская династия. Буржуазное Временное правительство. И впрямь временное.

1917 год. Апрель. Ленин в Петрограде. Ленин — великий вождь.

...До основанья,
А затем...

Долой войну! Вся власть Советам!

В Минске первый съезд солдатских депутатов Западного фронта и области. На нем — Фрунзе и Мясников. Через полугодие над Минском развевается Красное знамя. Советская власть! Создается Военно-революционный комитет Западной области. Во главе — Мясников.

...Мы свой, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

Ноябрь. Минск. Второй съезд Советов солдатских депутатов Западного фронта. Орджоникидзе:

— Нас подавляющее большинство! Из семисот четырнадцати делегатов нас, большевиков, четыреста семьдесят три!

Он же, Орджоникидзе:

— ...Как сегодняшний день, помню вечернее заседание солдатских депутатов Запфронта в ноябре семнадцатого года. Весь съезд стоя встречает только что выбранного им революционного командующего фронтом. На сцене появляется в старенькой шинели наш дорогой Алеша. Зал радостно его приветствовал. Это был их новый полководец, его породила Октябрьская революция, и он заменял теперь старых, царских генералов с золотыми эполетами. Съезд бурно аплодировал своему родному брату, полководцу Алеше, которого единогласно выбрали руководителем.

Газета «Звезда» № 40, первая страница:

«Второй съезд делегатов Западного фронта выбрал главнокомандующим армиями Запфронта тов. Александра

Федоровича Мясникова. Тов. Мясников является вождем революционного движения на Западном фронте. Тов. Мясников создал здесь то могучее сплочение масс, которые одержали победу. Тов. Мясников, опираясь на эти массы, становится теперь во главе армий».

Его выступление на съезде:

— Я с уверенностью принимаю главное командование, которое доверили мне, потому что знаю, что массы со мной. Я опираюсь только и только на массы солдат, рабочих и крестьян, которые осуществили Октябрьский переворот.

Вскоре приказ: Мясникова Александра Федоровича назначить временно исполняющим обязанности Верховного главнокомандующего.

— А как же командование Западным фронтом?

— По совместительству, Алеша, по совместительству.

Выдержат ли его плечи такую тяжесть? Выдержат! Еще и не такую тяжесть выдержат. Впереди большие дела, большие подвиги.

К границам подступает враг. Внутри страны — предательство, Петлюра. На обломках старой армии, в пекле жестоких боев куется новая армия.

С. М. Киров:

— Мясников... из рядового солдата вырос в наши исторические октябрьские дни. И предстал перед нами наш уже генерал от революции.

М. В. Фрунзе:

— Мясников — старый большевик-ленинец. Значительную часть своих сил отдал он строительству Красной гвардии и Красной Армии. Имя Мясникова будет служить примером революционной доблести...

4.

Весна и лето 1919 года. Рабочие по нескольку дней не получают хлеба. Многие идут в деревню.

Мясников у В. И. Ленина.

— Как дела?

— Плохи, Владимир Ильич... Хлеба нет.

— Положение серьезное. Надо идти к рабочим и терпеливо, по-товарищески растолковать им все... Рабочие нас поймут, они придадут нам еще новые силы, и мы выйдем из затруднения.

Впоследствии Мясников записал этот разговор так: «Ленин говорил нам: теперь на наших глазах совершается чудо. Это чудо заключается в том, что голодные русские рабочие в борьбе против хищников всего мира спасут Советскую Россию. Это будет чудо для нас, но это чудо будет».

Линия вражеского фронта приближается к Москве. Москва в опасности. До рассвета горит свет в окнах оперативного штаба обороны столицы. Начальник штаба — он, Александр Федорович Мясников.

Не спит, бодрствует и враг, он сулит миллион, целый миллион тому желтому полку, который первым прорвется в Москву.

25 сентября 1919 года. Московский комитет. Многолюдное собрание. Председательствует Мясников.

— Много курите, товарищи, откройте окно...

Врывается свежий воздух. И — в зал летит брошенная предательской рукой бомба. Убито 12 человек. В числе убитых секретарь Московского комитета партии Загорский, ответственный работник Моссовета Сафонов... 55 тяжело раненных. Мясникова задела только взрывная волна.

Похороны погибших. Колышется лес красных знамен с черными краями. Слово держит Александр Федорович. Он говорит, что взрыв в Московском комитете партии — это еще одно преступление буржуазии против рабочего класса... Что мы должны противопоставить врагу? Нашу организованность, нашу выносливость, нашу стойкость.

Мясникова избрали секретарем Московского комитета партии.

1920 год. Апрель. 50 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Торжественный вечер. Пришли Горький, Луначарский... Председательствует Александр Федорович. На трибуне буревестник революции — Горький. Он говорит, что надо очень ценить Ленина, любить его и помогать ему в его большой работе... Ленин — это чудо русской истории.

Русское чудо... Вот, оказывается, где ты начинаешься!

Телеграмма с Туркестанского фронта. В распоряжение Ленина послано 20 вагонов пшеницы для детей Москвы и Петрограда...

Концертная часть вечера. Мясников звонит Ильичу домой:

— Прошу пожаловать на вечер...

— Гм... Не хотелось бы выслушивать юбилейные речи.
— Речей нет, Владимир Ильич. Только концерт.
— С чьим участием?
— Шор, Крейн...
— Еду.

1 мая 1920 года. Всероссийский субботник. Вместе с Ильичем они перетаскивают бревна, орудуют лопатой, заступом. Потом вместе едут в рабочие районы, на митинги.

Поздняя ночь. Они возвращаются на машине. У Мясникова горло обмотано шарфом. Ангина.

— Отвезем сначала вас.
— Не надо, Владимир Ильич. Я пешком дойду.
— Отвезем.

Приехали. Александр Федорович сходит с машины.

— Очень болит?
— Пустяки.
— Попейте горячего чаю. Покойной ночи!

А Мясников стоит, не уходит, смотрит вслед удаляющейся машине. Улыбается. Как сказал тогда об Ильиче Горький? Чудо русской истории.

Русское чудо, русское чудо...

5.

Там, где сейчас раскинулся Ереван — столица социалистической Армении, в 1920 году под сенью Арарата, съежившись, лежал провинциальный городишко сельского типа. В нем проживало 28 тысяч человек. Большая часть этих людей — больные, бездомные, сироты, беженцы. С плоскими крышами, неблагоустроенными, кривыми улицами, тот Ереван представлял ветхий восточный городок. Его «небоскребами» были купола русской и армянской церквей да еще устремившийся ввысь минарет голубой персидской мечети.

Ереван. Армянская буржуазия облюбовала себе Тифлис, Баку, Ростов, Астрахань, Константинополь, Париж — все крупные города мира. Но не Ереван.

Западная Армения со своими уездами была стерта с лица земли султанским ятаганом и кровавой политикой русской монархии — «Армения без армян». Турки вошли в Карс, в Александрополь. Двинулись к Еревану. Здесь над зданием городского театра развевалось дашнакское трехцветное знамя. Царил голод. Эпидемия. Братские могилы. В ответ

на гибель братьев — самооборона Вана, героические бои под Каракилисой и Сардарабадом. Добровольные. Без участия поборников «национального единства» — без дашнаков.

Вот что получила Советская Армения в наследство. Так выглядела эта страна, куда собирался ехать работать Мясников-Мясникян — посланец Ленина.

1921 год. Апрель. Скромный рабочий кабинет Владимира Ильича. На письменном столе кусок черного хлеба, кусочек сахару, стакан чаю. Напротив Ильича, по другую сторону стола, сидит, подперев рукою лицо, Мясникян.

«Перед выездом из Москвы,— писал потом Александр Федорович,— я имел свидание с товарищем Лениным, во время которого мы вели обстоятельную беседу о том, как нужно работать на Кавказе, как учесть опыт русской революции, какой политики нужно придерживаться по отношению к Турции. Ленин советовал быть осторожным и щепетильным по отношению к народам Востока, которые уже просыпаются, которые нуждаются в просвещении и которые, просветившись, совершат у себя еще более грандиозный, чем в России, переворот...»

Недопитый стакан чаю.

— Дело это весьма сложное и ответственное. Желаю всяческой удачи,— напутствовал Владимир Ильич.

«...Я попросил товарища Ленина вкратце изложить свои мысли на бумаге,— пишет Мясникян,— в виде письма, дабы я это письмо доставил кавказским товарищам и они могли бы руководствоваться им в своей повседневной работе. Ленин охотно согласился на это».

Он вышел от Ленина окрыленный. Солнце сияло над Москвой. Оттепель. «В Армении сейчас весна,— подумалось ему. Улыбнулся.— Трудная весна».

Вот оно, то самое ленинское письмо, известное под названием «Товарищам-коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики»:

«Более медленный, более осторожный, более систематический переход к социализму — вот что возможно и необходимо для республик Кавказа в отличие от РСФСР. Вот что надо понять и уметь осуществить в отличие от нашей тактики».

И в заключение:

«Извиняюсь за небрежность этого письма, которое я должен был набросать наскоро, чтобы отправить с тов. Мясниковым...»

Курский вокзал. Специальный поезд. К пассажирскому вагону прикреплено 20 товарных вагонов. Зерно и продовольствие. Первая помощь Ленина Армении.

Поезд тронулся.

— До свиданья, Москва!..

6.

Баку. Эшелон растет. Атарбекян прикрепил новые вагоны: растительное масло и рис.

— Плов! Для Армении! Всего хорошего...

Ереван.

Неужто это — страна Наири,
Неужто это — сердце мое недовольное?..

Так писал в те годы поэт Егише Чаренц. Да, это была страна Наири. Страна горя и смерти, нищеты и голода.

Председатель Ревкома. Кто он? Мясникян. Очень идет ему военная форма.

Май 1921 года. Пленум ЦК КП(б) Армении. Правительство Армении, новой Армении — Совет Народных Комиссаров. Мясникян — председатель СНК. И снова он в военной форме. Потому что... его утвердили также наркомом военных дел республики.

Наркомом по иностранным делам назначается Асканаз Мравян. Александр Федорович хлопает его по плечу:

— Можешь теперь всей Европе ноту посылать!

7.

...Европа далеко, но Зангезур рядом. Зангезур — последний оплот антисоветских сил, где властвует армянский Махно — господин Нждэ. Вместе со своими «братишками» Нждэ толкает мирных жителей в пропасть, в бездонные ущелья Татева. И красные маки, выбивающиеся из-под камней, становятся еще краснее от крови людей.

Ущелья Татева, горы Гндеваза...

Полночь. Свежий ветерок, ереванская ночная прохлада. Мясникян стоит перед распахнутым окном. В лунном свете переливаются Малый и Большой Арараты, оставшиеся в плену у врага. Новое кровопролитие. Кому нужны эти бои

в горах Гндеваза? Вспомнил наказ Владимира Ильича: надо быть очень осторожным. Осторожным с народом. Но с врагами? По отношению к ним Ильич был всегда беспощаден. Значит, борьба. До победы...

13 июля 1921 года. Над Зангезуром уже реял красный флаг Советов.

8.

Молчит телефон народного комиссара военных дел, но зато день и ночь без устали трезвонит телефон председателя Совнаркома. Вот когда, оказывается, надо быть особенно осторожным.

Мясникян пишет: «...Крестьянина нельзя сделать коммунистом, крестьянин не станет коммунистом от голой агитации. Крестьянин связан с природой... он тоже любит факты, предметность и материальность. *Коммунистическая пропаганда в деревне должна быть предметной, вещественной, насыщенной фактами»*.

Новые задачи, новые проблемы...

Александр Федорович делает в своей записной книжке еще одну запись: «Железная дорога. Каналы. Хлопок. Хлеб. Виноград. Электростанции... Родная речь. Десятки журналов и газет. Сотни и сотни книг. Университет. Библиотека. Музеи. Институты. Консерватория. Комсомол. Партия. Три года, но сколько уже достигнуто! Целая эпоха. Новая жизнь. Новый мир...»

9.

Тифлис—средоточие грузин, армян, азербайджанцев. Арена насаждавшейся царизмом вражды трех народов. По дороге с армянского базара в Ортачалу на Шайтан-базаре армянина обычно подстерегала пущенная из-за угла пуля. Люди нередко выходили из дому и больше уже не приходили назад... Не заставляло ждать себя и возмездие. «Кавказское слово» на четвертой странице под рубрикой «Происшествия, события» сообщало сжатые подробности, факты, без комментариев.

Орджоникидзе, Киров, Мясникян — кузнецы дружбы между народами Закавказья.

Кавказская федерация. Кропотливая, подготовительная работа...

1922 год. Февраль. Первый съезд коммунистических организаций Закавказья. В военной форме перед трибуной стоит всегда подтянутый, скромный воин Ленина, его соратник Мясников-Мясникян. Настроение у него приподнятое. Надо идти навстречу друг другу, надо сплотиться еще теснее. Коммунистическая партия должна быть абсолютно кристальной, чистой.

Краевой комитет Закавказского РКП(б). Президиум: Орджоникидзе, Киров, Мясникян...

— Мы создадим у нас в Закавказье крепкий коммунистический бастион.— Это говорит первый секретарь Закавказского крайкома партии, всеми любимый Алеша, Мясникян — тот, кого Серго Орджоникидзе назвал «знаменосцем национального мира, душой нашей партии, другом молодежи, организатором коммунистического университета Закавказья».

10.

Снег. Вся в белом, вся зимняя дышит Москва. Дышит. Клубится дым из заводских и фабричных труб. Глухой цокот копыт проезжающих извозчиков. Мягкий перезвон трамваев. Мягкая завеса падающего снега. Горки. Здесь сейчас находится Ленин.

Дверь открыла Надежда Константиновна.

— Алеша! Входите. Он обрадуется.

Мясников снимает шинель...

«Последняя моя встреча с товарищем Лениным,— пишет Александр Федорович,— состоялась в декабре 1922 года. Тогда он жил в Горках... Был весел, смеялся. Жаловался только на то, что доктора его мучили, пичкали лекарствами...»

Спрашивал:

— Поднялась ли опустошенная Армения?.. Как обстоят там дела с хлопком, орошением, продовольствием? Достаточно ли крепка национальная Красная Армия?.. Не говорят ли о «русских штыках»?

— Необходима помощь, Владимир Ильич.

— Помощь. Гм... А кто же отказывается помогать? — Смеется.— Кто же отказывается, а?

Ильич пишет что-то, пододвигает к себе телефон.

— Тебе нельзя работать, ты же знаешь. Так ты никогда не выздоровеешь.— Это вошла Надежда Константиновна.

— Вот видите, что делается. Измучили... Ну, хорошо, хорошо, еще одну записочку напишу, и все.

Мясникян стал собираться. В последний раз он видел своего учителя, своего вождя. И уходил он от него, как всегда, окрыленный.

— Спасибо, Владимир Ильич! До свиданья!

До свиданья? О нет. Прощай...

Снег...

11.

1924 год, 21 января.

Словно черная молния в безоблачном небе. Умер Ильич. Спешить, быстрее — в Москву.

Мясников у гроба вождя. «Почему так рано ты ушел от нас, учитель?..»

Плачет Москва, плачет вся советская земля. Плачет весь земной шар. Трепещет, протянулась по всему земному шару траурная черная лента.

— Почему так рано ты оставил нас, учитель?

«О, если бы возможно было сохранить в памяти все его мысли, слова, советы, рассуждения,— писал впоследствии Александр Федорович,— одним словом, сохранить ту гениальную голову с ослепительным светом, лучи от которой не раз оказывали на меня, живого человека, свое поразительное воздействие!»

Ленина нет. Но дело его живет. И нет большего счастья, чем продолжать борьбу за дело Ильича, партии коммунистов, которую он создал вместе со своими единомышленниками, соратниками.

12.

Тифлис. Заккрайком. Киров, Орджоникидзе, Мясникян. Ленинские соратники и воины — без своего вождя. Поздняя ночь. Тифлисская весенняя ночь.

В Западной Грузии не затихает смута.

В столице Абхазии Сухуми созван съезд Советов Абхазской Автономной Республики. Главный вопрос — ликвидация бесчинствующих банд.

— Туда поедем мы.

— Кто это «мы»? — улыбается Орджоникидзе.

— Атарбекян, Могилевский и я... На «юнкерсе».

— Почему обязательно на «юнкерсе»? — выражает беспокойство Киров.

— На «юнкерсе».

«Юнкерс», «юнкерс», почему ты не сгорел в ту ночь в своем ангаре?..

22 марта 1925 года...

Ереванскому корреспонденту «Литературной газеты» журналисту Константину Багратовичу Серебрякову в детстве довелось быть очевидцем одной трагедии. Вот как он об этом рассказывает сам:

«Нас было несколько ребят-пионеров, мы играли на одной из окраин Тифлиса — Дидубе.

— Самолет! — закричал вдруг один из мальчишек.

В чистом, солнечном небе показался «юнкерс». Мы бросили играть и стали следить за ним. Мне показалось, будто самолет на секунду потерял управление и вроде бы даже задымился.

— Дым!

— Это дым от мотора,— успокоил какой-то оптимист.

Но тут весь «юнкерс» вдруг обволокло дымом и пламенем, от него отделилась какая-то темная масса, а потом стала падать и вся машина, разваливаясь на глазах. Мы помчались к тому месту, где упала машина. Догорали остатки «юнкерса», дымились человеческие останки».

Подъехали автомобили. Подошли ответственные работники. Среди них был и Ашот Мелик-Саркисян — ныне старый большевик. «Орджоникидзе и Киров плакали...» — вспоминает Мелик-Саркисян.

Так это случилось.

Незадолго до своей гибели Мясникян написал статью «Мои встречи с товарищем Лениным» и поместил эту статью в стенной газете табачной фабрики. Кончается статья так:

«Я бесконечно счастлив и до конца жизни буду гордиться, что был современником В. И. Ленина, был знаком лично, разговаривал с ним, пожимал ему руку, ходил и ездил вместе с ним, был последователем и маленьким учеником этого гиганта, гения нашего времени».

Сегодня я горд твоею гордостью, Александр Федорович. Эта гордость написала эти сжатые строчки.

Авторизованный перевод с армянского
Анаит *Баяндур*

Генрих Ленобль

«Я ШЕЛ ЗА НИМ...»

Новых песен я жду для родной стороны,
Но без горестных слов, без рыданий,
Чтоб они, пролетарского гнева полны,
Зазвучали призывом к восстанью.

М. Ольминский

Это было в марте 1904 года в Женеве. В дешевой столовой, которую содержал тогда для русских эмигрантов, главным образом большевиков, Пантелеймон Николаевич Лепешинский вместе со своей женой Ольгой Борисовной, появился новый посетитель. О нем ничего почти не было известно, кроме разве того, что он недавно из России. Однако незнакомец этот, человек уже немолодой, сразу заинтересовал Лепешинского — такое у него умное, благообразное, открытое лицо... Надо прощупать его, узнать, чем он дышит, не будет ли он «большевистского дома нашего приращением». Когда Пантелеймон Николаевич подсел к своему посетителю и стал беседовать с ним относительно последних событий в партии, связанных с расколом на втором съезде, оказалось, что собеседник осторожничает и не хочет прямо высказываться по острым вопросам внутрипартийной жизни. Мало того, к удивлению Лепешинского, он начал что-то бормотать о своем несочувствии приемам ленинцев, о своей приверженности к демократии, с которой якобы не считаются большевики. Эге, решил погрустневший Лепешинский, да ты, видать, кандидат в меньшевики.

Это было, однако, не так: просто Михаил Степанович Александров, впоследствии получивший известность в пар-

тии под своим литературным псевдонимом Ольминский, не спешил самоопределиться, пока не изучит досконально и не уяснит себе как следует, в чем причины разногласий между «большинством» и «меньшинством». Собственно, он поступал так же, как незадолго перед тем поступил и П. Н. Лепешинский и многие другие социал-демократы: читал документы, сопоставлял факты, вдумывался в их смысл...

Вскоре Лепешинский и Ольминский стали близкими друзьями.

Ольминский был не новичок в революционной борьбе. Еще на гимназической скамье его потянуло в революцию. Но к марксизму и к большевикам он пришел длинным и извилистым путем. Объяснялось это тем, что в годы юности Ольминского в русском освободительном движении безраздельно господствовали народники, и это, естественно, не могло на нем не отразиться.

Решающий перелом в миросозерцании Ольминского произошел тогда, когда он сидел в одиночной камере самой мрачной тюрьмы царской России — в знаменитых петербургских Крестах. Попал он туда без суда, в административном порядке, поскольку жандармерия и прокуратура сколько-нибудь серьезных улик против этого опытного подпольщика не добыла. Но он вел себя, с точки зрения властей, вызывающе, чуть ли не на первом допросе заявил: «От сочувствия революционному движению не отрекаюсь...», а затем отвечать на какие-либо вопросы отказался. И вот ему, после почти двухлетнего заключения, вынесли беспримерно жестокий приговор, как любезно разъяснил помощник прокурора, «не в качестве наказания, а в качестве меры предупреждения и пресечения преступлений»: три года одиночного заключения и пять лет ссылки в Восточную Сибирь. Так хотели физически и нравственно сломить непокорного революционера.

Но тюремщики не понимали, из какого добротнейшего человеческого материала был скроен М. С. Ольминский. Находясь в тюрьме, Михаил Степанович решил приняться за большую работу «для себя». Так как в тюрьме разрешали пользоваться некоторыми книгами, он взялся за изучение любимейшего своего писателя — Салтыкова-Щедрина. Щедринские произведения своей беспощадной жизненной правдой немало способствовали тому, что в представлении Ольминского рушились и теряли прежний авторитет прекраснодушные, обветшалые народнические догмы.

Впоследствии Михаил Степанович писал в своих воспоминаниях:

«Мне пришлось пробыть в тюрьме до осени 1898 года: достаточно времени, чтобы подумать... К концу срока я писал одному из товарищей по группе и по тюрьме, что для меня счастливейшим днем будет тот день, когда я психологически смогу назвать себя социал-демократом. Этот день настал по прибытии в Сибирь, когда удалось прочесть Манифест первого съезда об образовании Российской социал-демократической рабочей партии».

* * *

То, что Ольминский не спешил объявить себя большевиком, кроме всего, объяснялось еще одним, чисто личным обстоятельством — позицией, занятой к этому времени его женой, Екатериной Михайловной Александровой.

Пока Михаил Степанович сидел в Крестах, Екатерина Михайловна отбывала ссылку в Вологодской губернии. Когда же ее мужа отправили в Якутскую область, она получила разрешение оставшийся ей срок отбыть вместе с Михаилом Степановичем. Но вот в 1901 году срок ее кончился, и по обоюдному согласию супругов Екатерина Михайловна выехала на работу за границу. Здесь она вступила в организацию «Искра», стала членом Организационного комитета по созыву второго съезда РСДРП и делегатом этого съезда. Однако и на съезде, да и раньше, в ОК, эта энергичная, волевая женщина повела себя странно: она принялась плести сеть интриг против «твердых» искровцев, поддерживать антиискровские элементы, соображения кружковщины и личной амбиции ставить выше интересов общепартийного дела. Именно по адресу таких людей, как Е. М. Александрова, В. И. Ленин говорил: «Есть искровцы, стыдящиеся даже называть себя искровцами, это факт». Закономерно, что Е. М. Александрова очутилась в рядах меньшевиков.

Когда М. С. Ольминский приехал в Женеву, Екатерина Михайловна была в Париже. Ольминский через несколько недель направился туда. «О свидании в Париже с Екатериной Михайловной,— по свидетельству биографов Ольминского О. А. Лежавы и Н. В. Нелидова,— Михаил Степанович никогда подробно не рассказывал. Только в письме к Н. К. Крупской в 1930 году он коротко говорит: «Свидание с Е. М. Александровой не было для нее благоприятно». Можно предполагать, что свидание это было очень тяжелым

для обоих, так как найти общий язык они не смогли. Екатерина Михайловна твердо стояла на своих меньшевистских позициях, но ни в чем ей убедить Михаила Степановича не удалось. Отчуждение, наступившее между ними в связи с этим, в дальнейшем с обострением борьбы между большевиками и меньшевиками все более углублялось и привело к полному разрыву... М. С. Ольминский и не мог поступить иначе. И в личных отношениях он не допускал никаких компромиссов».



Михаил Степанович
ОЛЬМИНСКИЙ
(1863—1933)

В Женеву из Парижа Михаил Степанович вернулся в мае, убежденным большевиком-ленинцем. Но еще до этого он отправил В. И. Ленину письмо, с которого и началось их знакомство:

«Дорогой товарищ! Мне очень жаль, что я не мог ближе познакомиться с Вами в Женеве. Почему? Вы должны принять во внимание, что до 35 лет вся моя жизнь определялась одним миросозерцанием; коренная ломка в эти годы — вещь очень трудная... Еще труднее продумать и последовательно провести для себя новое мировоззрение во всех его разветвлениях, до предела практического применения к жизни. Вопросы дня нынешней партийной работы застигли меня совершенно неподготовленным... При таких условиях Вам не могло быть интересно знакомиться со мной... Теперь я кое в чем разбираюсь, но еще по тысяче вопросов сижу по горло в болоте. Все-таки попытаюсь написать статейку на тему предпоследнего абзаца программы партии. Чтобы не сделать при обсуждении такой щекотливой темы ложного шага, который был бы не в интересах ЦК, я пошлю прежде всего статью эту Вам лично в надежде, что Вы примете во внимание мое ученическое состояние в данный момент и что мы сообща обсудим этот мало разработанный вопрос.

Меня иногда спрашивают: в «большинстве» я или в «меньшинстве». Ехал я за границу нулем, но, чем больше здесь знакомился с «меньшинством» (по его литературе), тем больше становился для него минусом и тем сильнее тяготел к «большинству». И все-таки я не могу сказать, что примыкаю к «большинству»».

Можно представить себе, с какими чувствами читал это письмо В. И. Ленин. Он, конечно, оценил по достоинству и исключительную скромность его автора, и подкупающую внутреннюю честность этого старого народовольца, сделавшегося социал-демократом, и его стремление во что бы то ни стало ответственно решить, на чьей стороне находится правда. Были в письме и некоторые наивные положения. И, пожалуй, трудно было бы по нему предугадать, что в несколько месяцев М. С. Ольминский превратится в одного из основных публицистов и памфлетистов большевистского крыла партии.

Но так именно получилось. Уже с половины 1904 года развернулась блестящая литературная деятельность Ольминского, осыпавшего меньшевиков, включая самых именитых, вроде Плеханова, Аксельрода, Мартова, градом статей и брошюр, высмеивавших и разоблачавших нелепые их претензии на господство в партии, их оппортунизм и авантюризм, постыдные методы борьбы с Лениным и его сторонниками.

Особое негодование у Ольминского вызвало высокомерное отношение заграничных меньшевиков к российским большевикам-практикам. С чисто щедринским сарказмом отзывался он о «старичках», которые «начинают мерить достоинства революционера тем, кто раньше под стол пешком ходить начал». Он страстно призывал: «Научитесь, заграничные старички и солидные люди, уважать российскую революционную молодежь, рабочую и интеллигентскую!.. Учаее, учитесь у нее!.. При оценке деятельности российских товарищей всегда наименьше шансов ошибиться, если исходишь из предположения, что эти товарищи добросовестно делают все, что позволяют сделать внешние условия. И больше всего шансов ошибиться, если исходишь из предположения о наличности злой воли. Не нужно забывать, что субъективно деятельность российского революционера определяется чисто идеалистическими мотивами. Спокойствие, безопасность, здоровье, свобода, самая жизнь приносятся в жертву идее. Много ли места остается злой воле?»

Это строки из статьи М. С. Ольминского «Наши недоразумения», одной из первых, написанной им в качестве большевика. Полемическим задором, темпераментом бойца проникнуто и объяснение выбранного автором псевдонима: «Я окончил статью и задумался: каким псевдонимом подписаться? Мне вспомнился Мартов и его великолепное презре-

ние к галерке, которая рукоплещет Ленину... Мартов презирает галерку. Для кого же он пишет? Неужели для генералов кресел и для купчих бель-этажа?

Я люблю театр, и почему-то так случается, что всегда попадаю на галерку. Публика галерки мне по душе, я чувствую себя здесь между своими. И к вам, товарищи,— по месту в театре и по работе в партии,— к вам, рабочие, студенты, курсистки и всякого рода поднадзорные, будет мое последнее слово. Я обращаюсь к вам с просьбой извинить меня за то, что свой единоличный труд осмеливаюсь подписать нашим общим собирательным именем.

Галерка».

Остроумный, язвительный, задиристый полемист, Галерка без устали преследовал своими насмешками меньшевиков, особенно зло обрушиваясь на меньшевистских редакторов, пробравшихся благодаря измене Плеханова и вопреки воле партии в состав ЦО — «Искры». Он беспощадно клеймил самовлюбленность этих господ, он выставлял их на всеобщее посмешище. Смотрите, писал он, «до какой степени наши претенденты уверены в непререкаемости своих прав на партийный престол». А в другом месте он с издевкой говорил о том, что меньшевики пришли к культу своей собственной личности, к выделению себя из серой партийной массы в качестве «заслуженных», «старейших и лучших».

Все эти «выпады» безвестного литератора вызывали у них бешеную злобу. На дискуссиях и рефератах, собиравших нередко приверженцев обеих фракций, на голову злополучного Галерки обрушивались потоки разнузданной брани. А в это время где-то в задних рядах сидел молчаливый, скромный человек с окладистой бородой, спокойно выслушивал ораторские упражнения меньшевистских лидеров, не подавая виду, что они имеют к нему прямое отношение.

* *
*

В. И. Ленин высоко ценил большой талант Ольминского и в своих произведениях не раз с одобрением ссылался на боевые выступления Галерки.

Побыв некоторое время за границей, Михаил Степанович собрался было в Россию, но Владимир Ильич запротестовал:

— Сейчас вы нужнее всего здесь, как партийный литератор. Поймите, что ваше перо — это партийный капитал...

К концу 1904 года стала совершенно очевидной необходимость издания своей, чисто большевистской газеты. Поэтому Ленин не только задержал в Женеве Ольминского, но добился также приезда из России В. В. Воровского и А. В. Луначарского. Вчетвером они должны были составить редакцию новой газеты.

Но для выпуска газеты помимо всего прочего нужны, как известно, деньги. А их-то у большевиков и не было. Через всю переписку В. И. Ленина и Н. К. Крупской той поры проходит мечта — иначе, право, не скажешь,— мечта о капиталисте с кушем, который помог бы в столь тяжелых условиях. Однако такого капиталиста что-то не находилось.

Фонд для выпуска газеты — назвали ее по предложению Владимира Ильича хорошим, призывным словом «Вперед» — образовать пришлось женевским большевикам отчасти из личных, более чем скудных средств. М. С. Ольминский принес единственную ценную вещь, которой он располагал,— золотые часы с цепочкой.

Настоящим праздником для всего партийного большинства стал выход первых номеров газеты. Очень обрадовало редакцию письмо из Петербурга, от члена Бюро комитетов большинства Сергея Ивановича Гусева:

«Прежде всего о нашем новорожденном. Совсем ведь красавец вышел. Правда, я видел только два номера и от обоих (особенно от 2-го) буквально в восхищении: перечитал все по нескольку раз. Совсем в свою покойную мать «Искру», только несравненно глубже, шире, сильнее. Не знаю, право, что лучше: все великолепно...»

Члены редакции «Вперед» следующим образом распределили между собой обязанности. Общее руководство было, конечно, за Владимиром Ильичем. Он с утра уходил в библиотеку, много писал там и много читал разнообразного материала. Во второй половине дня он приносил в редакцию синие ученические тетрадки — статьи, свои и чужие, и небольшие заметки. Много писали и Воровский и Луначарский. Что же касается Ольминского, то, помимо собственных статей, заметок и общей редакционной работы, на его долю выпала вся организационно-техническая газетная «кухня». Он был и выпускающим, и корректором, и литературным правщиком, подготовлявшим корреспонденции из России к печати. Товарищи иногда добродушно посмеивались над его правкой, уверяли, что после нее в фразе остается только точка. Михаил Степанович отшучивался, говоря, что если

вместо длинной фразы в десять слов: «Явившаяся на место происшествия местная полиция арестовала восемь человек демонстрантов» — он оставляет только два: «Арестовано восемь», то этим сказано все, что нужно, а место, которое так дорого в нелегальной газете, освобождается для других материалов.

Большинство членов редакции «Вперед» и ее сотрудников, чтобы быть поближе к газете, поселилось в том же доме, где находилась наборная. Нередко они встречались на улице и появлялись в типографии вместе. 10 января 1905 года редакторы собрались раньше обычного. Да и как было не поспешить в такой день в редакцию! С утра мальчишки-газетчики пронеслись по уличкам тихого швейцарского городка с громкими криками: «Революсион ен Рюсси! Революсион ен Рюсси!» («Революция в России!»). Так расценила — как потом выяснилось, совершенно правильно — буржуазная печать события 9 января в Петербурге, послужившие началом первой русской революции. Трепетное возбуждение охватило русских политических эмигрантов, когда до них донеслась эта долгожданная и вместе с тем такая неожиданная волнующая весть. Люди высыпали на улицу, по три раза покупали одну и ту же газету, даже не умея толком прочитать ее французский текст, поздравляли друг друга, целовались и обнимались.

В. И. Ленин, М. С. Ольминский, В. В. Воровский сразу явились в наборную, где шла работа над третьим номером «Вперед».

— Доброе утро! — воскликнули наборщики хором.— Поздравляем с революцией на родине!

— Доброе утро! — ответил Владимир Ильич.— Это ваше приветствие надо немедленно включить в наш третий номер, без этого нельзя выпустить газету!

М. С. Ольминский тем временем направился к стене, возле которой на специальных переносных досках стоял набор. Третий номер был уж сверстан и ждал отправки в печатный цех, находившийся в другом помещении. Отвезти туда набор на тачке должен был молодой француз Жан.

По указанию Ольминского метранпаж выбросил из четвертой полосы небольшую корреспонденцию, освобождая место для заметки, которую В. И. Ленин уже держал в руках; называлась она: «Революция в России».

Пока шла переверстка, Жан нервничал, говорил, что опаздывает на другую работу. Ленин успокаивал его,

ласково убеждал, что заметка маленькая, а потом добавил:

— Во имя такого великого дела, как революция в России, вы потеряете всего каких-нибудь полчаса, а мы вот все, русские, готовы отдать жизнь, чтобы довести революцию до полного, победного конца.

В течение 15—20 минут все было готово, и номер отправили в печать. Провожая глазами тачку Жана, Ленин сказал Ольминскому:

— Лучшего подарка для партии быть не может. Надо ехать в Россию.

Однако возможность возвратиться на родину для В. И. Ленина и его соратников представилась не сразу. Много еще было дел за границей. В апреле 1905 года в Лондоне собрался третий съезд РСДРП, выработавший тактику большевиков в начавшейся революции. Вместо «Вперед» решено было выпускать газету «Пролетарий» — центральный орган РСДРП. Ответственным редактором «Пролетария» выбрали Владимира Ильича. Ольминский, Воровский, Луначарский стали его соредакторами.

Большевики славно поработали в 1905 году орудием печатного слова. Они выпустили в Женеве 18 номеров газеты «Вперед» и 26 номеров «Пролетария». Вскоре Ленин и Ольминский выехали в Россию. Здесь их кроме общепартийной работы ждала и солидная журналистская нагрузка в виде большой ежедневной большевистской газеты «Новая жизнь».

Для М. С. Ольминского, как литератора, открылось новое, неизмеримо более широкое, чем прежде, поле деятельности...

* *
*

Когда читаешь пламенные, искрометные статьи Михаила Степановича Ольминского, перед тобой рельефно вырисовывается яркая фигура непримиримого большевика-публициста. Полемичность, всегдашняя готовность вступить в драку составляют главнейшую особенность, живой нерв его натуры. Вместе с тем Ольминский не всегда четко определял свою позицию, проявлял поспешность в оценке деятельности других.

Однажды, в бытность свою в 1912 году одним из редакторов «Правды», Ольминский (писавший тогда под псевдони-

мом Витимский) упрекнул в излишней полемичности самого В. И. Ленина — человека, которого он уважал безгранично и авторитет которого в его глазах стоял необычайно высоко. Упрек Ольминского вызвал ставшее впоследствии знаменитым письмо Владимира Ильича в редакцию газеты «Правда»: «...Как понять Витимского: «вредит гневный тон»? С которых пор *гневный* тон против того, чтó дурно, вредно, неверно (а ведь редакция «принципиально» согласна!), вредит ежедневной газете?? Наоборот, коллеги, ей-богу, наоборот. Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно писать».

В. И. Ленин критиковал Ольминского так, как это умел делать лишь он один: и откровенно, без обиняков, без каких-либо недоговоренностей и в высшей степени тактично, обращаясь к тому лучшему, что есть за душой у критикуемого им человека. Для Ольминского ленинская критика, ленинская школа имела громадное, ни с чем не сравнимое значение.

С чувством большого удовлетворения и законной гордости читал Ольминский в письмах Ленина горячие слова одобрения по своему адресу: «Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Витимского (надеюсь, вас не затруднит передать это письмо ему) с замечательно удачной статьей в полученной мной сегодня «Правде» (№ 98). Чрезвычайно кстати взята тема и разработана в краткой, но ясной форме превосходно».

В другом письме, по поводу его же статьи «Кто с кем?»: «Еще особый привет Витимскому: *очень удалась* статья его о рабочей печати и рабочей демократии против либералов!!»

Вот такого рода статьи, вызывавшие особые приветы Владимира Ильича Ленина, и составили прежде всего основу литературного наследия М. С. Ольминского.

* *
*

Лето 1917 года. В Петрограде собрался шестой съезд РСДРП (большевиков). 240 тысяч членов партии представляли на нем 157 делегатов с решающим голосом и 110 делегатов с голосом совещательным. По сравнению с еще недавним прошлым шаг вперед был сделан колоссальный. Но хотя партия считалась в тот период легальной и в политической жизни страны она принимала активнейшее участие,

проводить свою работу съезду приходилось в полулегальных условиях. Впервые в истории большевизма на съезде не было ее вождя — Владимира Ильича Ленина: по решению ЦК он скрывался в это время в глубоком подполье. Под бурные аплодисменты всего зала Ленин единогласно был избран почетным председателем съезда. Открыл съезд и председательствовал на первом его заседании один из старейших большевиков, верный соратник Ленина, делегат московской партийной организации М. С. Ольминский.

В кратком вступительном слове Михаил Степанович напомнил о предыдущих съездах партии, начиная с первого, состоявшегося в Минске в 1898 году. С горькой иронией добавил он, говоря о шестом съезде, что «это второй партийный съезд, происходящий в России, в «свободной» России, которая держит в тюрьмах представителей революционной социал-демократии».

Однако тяготы борьбы, напряженное положение, которое переживала тогда страна, ничуть не пугали Ольминского. По свидетельству Ю. К. Милонова, Ольминского в эти дни «трудно было узнать. Столько бодрости и буквально молодости было в его лице и всей его фигуре». Он был всецело с теми делегатами, составлявшими монолитное большинство съезда, которые полностью поддержали ленинский путь на вооруженное восстание.

Твердая вера в грядущую победу, ленинская принципиальность и бесстрашие явились отличительной чертой деятельности М. С. Ольминского в эти решающие дни борьбы. «Помню, как за неделю до Октября,— вспоминает П. Г. Дауге,— у меня собралась группа партийных товарищей, в том числе тт. Скворцов, Ногин, Ольминский, Сольц, Яхонтов. Тов. Ольминский, находившийся в более близких сношениях с питерскими рабочими, знавший их настроение и степень революционной подготовленности, выдвинул определенный лозунг вооруженного восстания. Этот лозунг и весьма оптимистическое настроение т. Ольминского меня ошеломили... Я просто недоумевал, т. к. я считал московский пролетариат абсолютно неготовым для боя. Не помню даже, чем кончилось наше совещание, но знаю только, что т. Ольминский оказался прав».

Вслед за Питером Октябрьская социалистическая революция победила и в Москве!

...Михаил Степанович Ольминский в послеоктябрьские годы — особая, большая и поучительная тема. Пожилой че-

ловек с расшатанным здоровьем, которого болезни частенько приковывали к постели, он, казалось бы, имел все права на заслуженный отдых. Но спокойный, размеренный образ жизни, на котором настаивали врачи, не был в характере Михаила Степановича. Без работы он существовать просто не мог. И мы его видим выполняющим самые различные обязанности: члена коллегии Народного комиссариата финансов, заведующего Истпартом ЦК РКП(б), редактора журнала «Пролетарская революция», члена совета Института В. И. Ленина, председателя редакционной комиссии по изданию сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина...

Умер М. С. Ольминский 70 лет от роду. Похороны его состоялись в Москве, на Красной площади. Замечательного большевика-ленинца провожали в последний путь тысячи трудящихся. Заслуги его перед революцией и рабочим классом широко освещались в печати.

Через несколько месяцев, однако, произошел эпизод, о котором известно стало совсем недавно. Друг покойного, Григорий Иванович Петровский, вскоре после смерти М. С. Ольминского предложил на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) издать биографию Михаила Степановича. Сталин резко оборвал Г. И. Петровского, заявив, что в этом нет никакой необходимости...

Много лет назад М. С. Ольминский писал в тюремной камере в Крестах:

О Родина! Тебе принес я годы,
Тобой взлелеян и храним;
Сквозь общий мрак светил мне луч свободы,
Манил и звал. Я шел за ним...

Солнце свободы, солнце ленинской правды высоко поднялось теперь над нашей страной и над многими странами мира, и мы с благодарностью вспоминаем тех, кто, идя вслед за Лениным, всю свою жизнь посвятил упорной борьбе с миром мрака, бесправия и насилия.

Николай Микава

КЛЮЧ К СЕРДЦУ

> Седой Казбек обнимешь ты за плечи
> И океан промеришь ты до дна.
> Но, только в сердце глянув человечье,
> Увидишь, что такое глубина!
>
> *К. Орешин*

I

Есть люди, жизнь которых как песня. Она подобна незамерзающему ручью. Какие бы ни стояли лютые морозы, какая бы ни была непогода — он журчит и льется, чистый, прозрачный и вечно живой.

Поразительна эта жизнь, полная легендарных событий! Ее хватило бы на многих, она обогатила бы тысячи человеческих жизней. Но она принадлежит одному человеку. Жизнь-подвиг! Только так можно назвать ее, не иначе.

— Серго, наш Серго! — звал его народ: рабочие, молодые и старые металлурги, шахтеры, горцы...

Его любили, ему верили, потому что он понимал и знал простых людей, вникал в их душу. Он распознавал алмаз в его естественном виде. Другие не угадали бы в неотшлифованном куске драгоценный камень. А Серго умел, в этом и была его сила, сила большевика-революционера.

Воспоминания, связанные с именем Серго, у меня с далекого детства. Это было в Сухуми. Дождливое воскресенье девятнадцатого года. Дождь был каким-то унылым, капли монотонно падали на железную крышу нашего домика. Бушевало море. Разъяренные волны бешено катились на берег. Я стоял у окна и с грустью смотрел на опустевший дворик. Вдруг калитка открылась, и во дворик вошли три спешившихся всадника. На каждом черная, великолепная

бурка, лихо накинутый на голову белый башлык, в руках нагайки. Все трое молодые, плечистые, стройные. Хорошо помню их слегка суровые лица. Они вызвали в другую комнату моего отца и долго с ним о чем-то советовались.

Я очень ясно запомнил слова: «Серго в Грузии... просил... Нужно сделать для него...» Потом гости вошли в общую комнату. Один из них — высоченный дядя — подошел ко мне, дал конфетку, щелкнул по носу, улыбнулся.

— Вырастешь, будешь большевиком! — сказал он и вышел.

Отец быстро оделся и тоже ушел.

А вслед уходящим тетка Маро, стоявшая у окна, проговорила:

— Значит, это они свергли Николашку!..

...Прошло много лет. Февраль 1937 года. Сухуми. День похорон наркома тяжелой промышленности. Перед Дворцом профсоюзов митинг. Неспокойно на душе, в мыслях звучат скорбные звуки музыки Грига. Слово «смерть» никак не вяжется с именем человека, жизнь которого давно стала бессмертием...

С балкона четвертого этажа Дворца профсоюзов выступают люди, знавшие Серго. Комсомольцы города поручили мне сказать о том, с кого надо молодежи лепить свою жизнь, с кого брать пример. И я говорю об этом, напоминаю имена богатырей труда, воспитанных наркомом,— Макар Мазай, Тевосян, Павел Коробов, Случевский.

Да, Серго умел смело выдвигать молодежь, угадывал людей и направлял на правильную стезю. Ведь он и сам очень молодым нашел свою дорогу.

II

В день своего пятидесятилетия Серго находился на лечении в Кисловодске. Его окружали близкие друзья, с которыми связывала кровная дружба-братство. Здесь были Бетал Калмыков, Габо и Шакро Карсановы, Георгий Димитров. В это время принесли телеграмму, которая легла живой, неразрывной связью с его прошлым, с его учителем и мудрым другом — Лениным. Раскрыв телеграмму, он прочел вслух:

«Дорогой Серго!

50 лет Вам исполняется. Будет чествовать Вас завтра вся страна. Хочется и мне пожать Вам крепко руку. Не умею

я говорить великоторжественных слов. Вы всего себя отдаете великому делу строительства социализма, в этом все.

С 1912 года знаю Вас. Помню, как Вы к нам на Мари-Роз пришли. Консьержка меня позвала. Спускаюсь к Вам с лестницы, а Вы стоите и улыбаетесь. В Лонжюмо Вас помню. Вы крепко любили Ильича. Ну, что же тут говорить. Сил Вам желаю, здоровья, чтобы можно было побольше провернуть. Всего Вам самого наилучшего желаю.

Н. Крупская.

27 октября 1936 г.»

Телеграмму взял Георгий Димитров, потом она пошла дальше по рукам.

На дворе была осень. Тысячи цветов и оттенков причудливо переливались, создавая неповторимую гамму красок.

Шакро Карсанов разлил по бокалам янтарное цинандали. Бетал подошел к Серго:

— Большую, сложную жизнь прожил ты, Серго... Но я уверен, что, если бы сказали, что ты родишься вторично, ты снова бы избрал именно этот тяжелый, тревожный, неугомонный путь.

— Спасибо тебе, дорогой Бетал! — Серго взволновали слова горца, он обнял его.

— Вот за это мы и любим тебя,— докончил свой тост Калмыков.

Потом подошел Димитров и молча чокнулся с Серго. Это молчание выражало без слов веру, любовь, неразрывную дружбу.

Наступила пауза — и в эти минуты Серго как бы вновь пережил наиболее яркие моменты своей бурной жизни.

III

Нет, утром 24 октября 1886 года в селении Гореша, на берегу горной речки Квадаура, в Западной Грузии, в Имерети, когда в семье Константина Орджоникидзе родился мальчик, никто выстрелом из ружья не возвестил об этом мир. Котэ был из разорившихся дворян, стал рабочим марганцевых рудников. Семья с трудом сводила концы с концами, поэтому и не отметили традиционным обычаем появление на свет Григория, прозванного в детстве Серго.



Григорий Константинович
ОРДЖОНИКИДЗЕ
(1886—1937)

Горы и еще раз горы — зеленые, пышные, своими вершинами уходящие в небо. Высоченные, редкой красоты. И где-то внизу кумачово-красные пятна: дома с черепичными крышами у подножия гор на каменных сваях. Таков Имерети.

Мальчика окружала не только сказочная природа, но и бедные, живущие впроголодь крестьяне и изнуренные горняки марганцевых рудников Чиатуры, угольных шахт Тквибули.

Жестокая ирония судьбы. Нищета и горе ютились, не покидали этой красивой, богатой страны, прозванной земным раем. Не удивительно, что здесь было много людей, настроенных на революционный лад. Они жаждали перемен, свободы, конца угнетению.

Решающую роль в жизни юноши сыграла встреча и совместная учеба с Ноем Буачидзе — будущим революционером-большевиком. Ной познакомил Серго с «Утопией» Томаса Мора, с трудами Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, Чарлза Дарвина. А вскоре Буачидзе тайно передал ему отпечатанную на гектографе работу В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»

Это была первая заочная встреча Серго с Лениным, и она решила его судьбу. Он твердо стал на путь, выбранный Лениным.

Осенью 1901 года Серго поступает в Тифлисскую фельдшерскую школу. И одновременно активно работает в местной революционной организации. Через два года ему городской комитет поручил быть пропагандистом в железнодорожных мастерских, распространять прокламации, листовки.

Наступает первая русская революция. Вся Грузия бурлит. Демонстрации, баррикады. Особенно в Кутаисе, Батуме, Тифлисе. Серго по заданию партии едет пропагандистом в Абхазию. Официально он фельдшер Гудаутской сельской больницы. Молодой фельдшер, юноша. Ему всего-навсего девятнадцать лет. Но к его словам прислушиваются. Он пользуется уважением больных, которым охотно

приходит на помощь. И здоровых, которым открывает причины кабалы, учит, как от нее избавиться.

Вскоре он уже признанный руководитель гудаутской партийной организации. Революция охватывает все районы Абхазии. В октябре — ноябре 1905 года здесь власть переходит в руки народа. Создается революционно-демократическая республика.

Реакция спешит подавить ее всеми средствами. «Черная сотня» князя Маргания громит социал-демократов. Серго заточают в тюрьму. С трудом ему удается выйти из нее и спрятаться.

Через некоторое время на Бакинских промыслах Шамси Асадуллаева новый фельдшер врачует нефтяников. Это Серго.

Завязывается дружба с Алешей Джапаридзе, Суреном Спандаряном, Ваней Фиолетовым и другими. Большевики работают по указанию партии и Ленина. Серго в гуще борьбы.

Готовится празднование 1 Мая 1907 года. Первый тревожный гудок дан там, где Серго,— на промыслах Асадуллаева. Потом к его голосу присоединяется целый хор. Забастовало 22 тысячи нефтяников. Двинулись на гору Степана Разина. Митинг открыл Алеша Джапаридзе. Вслед за ним выступил Серго.

Казаки пытаются разогнать рабочих. Спровоцировано столкновение. Среди сорока семи арестованных и Серго.

Оставшиеся на свободе Спандарян, Джапаридзе, Фиолетов устроили общебакинское собрание большевиков. Но полиция выследила их, арестовала. И тоже пригнала в баиловскую тюрьму. Встреча в тюрьме вылилась в стихийный митинг. Дружно пели «Марсельезу», дали клятву верности большевистской партии.

Серго сказал товарищам:

— Вот теперь у нас начнутся генеральные бои с меньшевиками!..

Едва Серго успел выйти на волю, как шпики опять настигли его. Снова арест, высылка в Сибирь. Этапы по тюрьмам и пересыльным пунктам России — тоже своего рода университет молодого революционера. Местом поселения назначена деревня Потоскуй, Приангарского края. Рядом с Потоскуем деревушки Погорюй и Покукуй.

Товарищи, провожая его на место назначения, смеясь сказали:

— Ну вот, Орджоникидзе, будешь тосковать в Потоскуе!

Серго ответил со свойственной ему горячностью:

— Ничего! Скоро здесь будут тосковать, горевать и куковать те, кто нас сюда загнал...

Серго тепло встречен ссыльными социал-демократами, рабочими. И сразу же принимается за дело. Он, человек действия, не может сидеть сложа руки. Учреждает союз политических ссыльных. Организует молодых рабочих в артель, строит с нею кирпичный завод, ведет среди артельщиков партийную учебу. А чтобы учеба была успешной, создает нелегальную библиотеку, философский кружок.

Наступила поздняя приангарская весна 1909 года. У Серго созрел план побега, он ждал только, когда вскроется река. И вот ночью, на лодке, один пускается в путь по быстрой, бурной Ангаре...

Снова Баку. В это время в Иране поднимается революционная волна, народные массы восстают против феодалов. Нужен вожак, организатор движения. Бакинские большевики направляют Орджоникидзе.

Его провожают Мешади Азизбеков и Нариман Нариманов.

— Лучше тебя боевика не найти,— говорит Мешади.— И помни, пожалуйста, еще про одно ответственное задание: тебе, Серго, поручается устроить доставку центрального органа партии, руководящих ее директив и другой подпольной литературы из Парижа в Россию...

В городе Реште он связывается с известным иранским революционером Сардаром-Мухи. Создает вооруженный народный отряд. Иранцы зовут Серго Муштехидом (всеведущим) — наивысшая похвала в устах местных тружеников.

«Всеведущий» помогает повстанцам взять с боями основные города и... организует перевод «Коммунистического манифеста» на персидский язык, бесплатное преподавание в иранских школах русского языка, систематические военно-политические занятия с иранской молодежью. Наконец он налаживает доставку через Иран и Баку в глубь России заграничной ленинской большевистской литературы, чем оказывает партии неоценимую услугу.

В это время у Орджоникидзе завязывается деятельная переписка с Лениным. По словам Надежды Константиновны, когда Владимир Ильич в срок не получал от Серго писем, то очень волновался за его судьбу.

Ленин советовался с Серго, прислушивался к нему, спрашивал его мнение по насущным вопросам партии.

В одном из писем Орджоникидзе отвечает Владимиру Ильичу:

«Уважаемый товарищ!

Ваше письмо и протоколы получил, за что товарищеское спасибо Вам... Пока все, что выслали, получили... «Голос социал-демократа» и «Дневник социал-демократа» получили... С большим удовольствием прочел «Дневники». От души рад плехановскому повороту, но не могу не отметить, что он больше других грешен в том, в чем он обвиняет наших. Но без этого и не могло быть: нужно же было за что-либо ухватиться. Кто дипломатничал после 2-го съезда? Кто в продолжение 7 лет шел рука об руку и вдохновлял российский ревизионизм в лице меньшевиков? Конечно, Плеханов и никто другой. Но, если в настоящее время он на самом деле останется на занимаемой позиции, это будет безусловно плюсом для партии. Но я должен признаться, что по отношению к нему я уподобился «неверующему Фоме». По-моему, подкованные ноги у нас всегда должны быть готовы. Впрочем, об этом Вы больше осведомлены, и если бы поделились своим мнением, было бы приятно.

В Персии думают приступить к созданию социал-демократической организации; об этом, быть может, пришлю корреспонденцию в ЦО.

С тов. приветом Серго.

Привет редакции ЦО».

По поводу этого и других писем Серго Н. К. Крупская впоследствии писала: «...Жил он одно время в Персии, и я помню обстоятельную переписку, которая с ним велась по выяснению линии, которую занял Ильич по отношению к плехановцам, ликвидаторам и впередовцам...»

Переписка с Лениным вдохновляла Серго на многие большие подвиги.

IV

Орджоникидзе в Париже. Сюда его потянуло к Владимиру Ильичу Ленину.

Прямо с вокзала, ни слова не понимая по-французски, направляется он на поиски Ильича. Но только на второе утро находит на окраине города, на скромной улице Мари-Роз, квартиру В. И. Ленина и Н. К. Крупской.

«Я спустилась вниз,— вспоминала через много лет Н. К. Крупская,— стоит кавказского вида человек и улыбается. Оказался Серго. С тех пор он стал одним из самых близких товарищей».

Серго с Надеждой Константиновной вошли в маленькую, чистую, почти пустую квартирку и прямо на кухню.

— Вот и Серго! — смеясь, сказала Ильичу Надежда Константиновна.

— Батюшки! — всплеснув руками, поспешил навстречу Ленин.— Я несказанно рад вашему приезду, мой далекий товарищ, давно не было от вас вестей, и это не на шутку тревожило. Слава богу, теперь все выяснилось!

Они обнялись. Ленин усадил Серго напротив себя, и на кухне, где обычно принимали гостей, воцарилось молчание.

Серго любовался своим учителем, думал: «Вот он какой, учитель... В разговоре ничуть не дает чувствовать, что дело имеешь с человеком, стоящим в миллион раз выше тебя. Напротив, с первой же минуты как будто обнимает тебя всей душой...»

За обедом Владимир Ильич расспрашивал Орджоникидзе, как ему удалось найти их в огромном Париже. Серго рассказал, что со вчерашнего дня в поиске. В кафе «Ротонда», на бульваре Монпарнас, встретился с художницей Мямлиной и ее мужем, поэтом Оскаром Лещинским. У них заночевал. И от них же получил желаемый адрес.

— Ах, вы уже все достопримечательности Парижа знаете! — шутя говорит Ленин,— и «Ротонду», и Монпарнас...

Беседовали до поздней ночи. А вокруг совсем как в Кутаисе или Тифлисе... Тихо, глухо, и нисколько не чувствуется, что ты в Париже... Только не видно шпиков и полицейских.

Серго с первого же дня стал в доме у Ильича своим, близким. Он часами расхаживал с Ильичем по саду, по бульварам. Серго внимательно слушал, что говорил Ленин, и сам рассказывал о делах в Закавказье, Иране, Сибири...

Ленин оставил Серго в Париже, и он оказался активным, способным помощником Владимиру Ильичу. Занимался организацией транспорта литературы в Россию и другими важными для партии заданиями.

Однажды Ленин поделился с ним решением о создании партийной большевистской школы. Серго охотно включился

и в это дело и оказал большую помощь Ленину и Инессе Арманд.

Человек разносторонних интересов, любознательный, Орджоникидзе все свободное время отдавал знакомству с достопримечательностями французской столицы, ходил по музеям, встречался с поэтами, писателями, живописцами. У Ленина подолгу беседовал с Луначарским, Коллонтай. И все вместе, тесной компанией часто ходили в театр, на концерты. Серго очень любил музыку и сам, под аккомпанемент Инессы Арманд, неплохо пел грузинские песни...

...Это было вечером, после театра или концерта. Ленин и Серго стояли на мосту. Ленивые воды Сены медленно несли опавшие листья. Так же лениво ползли баржи, редкие речные трамваи. Владимир Ильич долго и задумчиво глядел на реку, потом взял за руку Серго и глуховатым голосом спросил:

— Вы бы выехали неотложно в Россию, если дело партии потребует этого?

Серго несколько обиженным тоном ответил:

— Как, неужели вы сомневаетесь!.. Неужели вы, Владимир Ильич, не узнали меня за это время?!.

Ленин засмеялся:

— Я так, пошутил, дорогой друг!

Серго сразу размяк: взволновали слова Ленина — впервые он его назвал «дорогим другом»!

— Если бы не верил, я бы не начал говорить с вами... Наконец я от членов ЦК добился решения о необходимости посылки уполномоченного в Россию...

— Это необходимо, Владимир Ильич! — сказал Серго.

— Значит, поедете...— И после паузы добавил: — Сформируйте Российскую организационную комиссию. С вами и под вашим руководством поедут еще двое. Энергично начните готовить партийную конференцию. Возьмитесь крепко! Конференция наконец покончит навсегда с остатком формального объединения с меньшевиками, возродит нашу революционную партию. Именно возродит!

Серго немедля выехал из Парижа.

И московское охранное отделение получило агентурное донесение, что партийная школа в Лонжюмо окончила свою работу 17 августа 1911 года и что: ««Серго», грузин или армянин по народности, ярый ленинец по убеждениям; его приметы: около 26—28 лет от роду, среднего роста и телосложения, продолговатое лицо, брюнет, усы и

борода бриты, волосы зачесаны назад; носит черный костюм, белую соломенную шляпу, штиблеты; по-видимому, интеллигент; приличная внешность... Имеются полные основания утверждать... командирован Лениным с особыми инструкциями в Россию».

А посланец Ленина уже в России. Он объезжает города Киев, Харьков, Луганск, Херсон, Одессу, Николаев. Подготавливает местные организации к Всероссийской партийной конференции. Попутно возрождает разгромленный партийный комитет в Ростове-на-Дону.

Из Ростова Серго едет в Баку. «Жизненность, бодрость и преданность — вот чем живут здесь»,— писал он о бакинских большевиках.

Серго блестяще выполнил поручения Ленина, им создана Российская организационная комиссия.

Можно поехать к Ильичу в Париж за новым заданием. На этот раз ему поручается завершить работу оргкомиссии в Праге.

V

...Злата Прага. Он уже несколько дней здесь и, несмотря на то что дел по горло, успел влюбиться в этот очаровательный славянский город. Вечерами подолгу простаивает на Карловом мосту или бродит по пустым каштановым аллеям, вокруг величественных Градчан.

Открывается шестая Всероссийская партийная конференция, отныне именуемая Пражской.

Но лучше дадим слово ее участнику — Александру Константиновичу Воронскому:

«Я приехал в Прагу делегатом от Саратова, одним из первых. Чаще всего я видел Серго озабоченным... Был мягок и благодушен с товарищами в обиходе, легко воспламенялся, возражал резко и решительно, с напором и энергией, иногда с раздражением. Это случалось, если Серго замечал, что говоривший, по его мнению, начинал кривить душой, дипломатничать, избегать прямых ответов...

Из всех нас... Орджоникидзе был к Ленину наиболее близок. Они встречались, как старые знакомые. Постоянно находились у них разные совместные дела. В памяти моей запечатлелось: уголок комнаты, где происходили заседания конференции, большое окно или арка,— уединившись

во время перерыва и понизив голоса до шепота, коренастый и плечистый Ленин с головой Сократа, приложив горсточкой руку ко рту, доверительно, именно доверительно, совещается с Серго. О чем-то расспрашивает либо слушает, поглядывая куда-то на стену, всегда настороженный, внимательный. Время от времени он наклоняется к самому уху Серго, да, теперь, в эту минуту, он наставляет его — и вдруг хохочет, приподняв плечи. Невозможно передать эту кипучую натуру, всегда в движениях и в действиях, всегда неутомимую и находящуюся в непрерывных изменениях.

Серго задумчив. Уставившись в одну точку, он трогает свой крупный нос; иногда он поглядывает на Владимира Ильича, и в этом его взгляде и гордость за человека, с которым он беседует, и преданность ему, и еще больше неподдельной к нему любви.

Следя порой за ними, улавливал на продолговатом лице Серго радостное восхищение Ильичем, готовность следовать за ним до конца. Эти чувства Ленин возбуждал и среди других делегатов, но далеко не все умели вести себя с таким тактом, с такой чуткостью, какие обнаруживал Серго.

Во всех главных решениях конференции Серго принимал самое видное участие, выступал, обсуждал проекты резолюций, вносил поправки и изменения. Поведение его в смысле большевистской последовательности было безупречно и совершенно соответствовало основной линии Ленина».

...Серго последним покинул Прагу. По приезде в Россию спешит познакомить большевиков-рабочих с резолюциями конференции. Из Москвы направляется в Тифлис, оттуда в Баку, Петербург. Встречается со Стасовой и другими большевиками.

Провокатор Малиновский сообщил охранке маршруты ленинца. Серго схватили. Но до этого он уже успел послать отчет Владимиру Ильичу.

«В наши сети наконец влетела большая птица. Этот бывший дворянин Орджоникидзе, по нашей картотеке — «Прямой», непримирим и тем более неподкупен. Пользуется неограниченным доверием Ленина. Полагаю, должен быть заключен в Шлиссельбургскую крепость», — докладывал шеф жандармов царскому министру внутренних дел.

«Полностью разделяю ваше мнение»,— отвечал министр.

И вот там, где раньше томились декабристы братья Бестужевы, Пущин, Кюхельбекер, народники Фигнер, Фроленко, Морозов, оказался большевик Серго Орджоникидзе.

Приговор большевику гласил: «За совершенные преступления... к трем годам каторжных работ с последующим поселением в Сибирь пожизненно».

Даже в каменном мешке Шлиссельбурга Серго полон веры в жизнь, вдохновенно пишет:

Друг, мужайся! День настанет!
В алом блеске солнце встанет!
Синей бурей море грянет,
Волны песни загудят!
Будет весел многоводный
Пир широкий, пир свободный.
Он сметет грозой народной
Наш гранитный каземат.

И в одиночке, при каторжном режиме Серго со всей энергией берется за изучение политической экономии, философии, всеобщей истории, естествознания. Только по русской истории он прочел двадцать пять книг! Его друзьями стали Пушкин, Грибоедов, Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Короленко, Горький, Куприн, Леонид Андреев, Бунин и другие. Но он не просто читал, так, чтобы убить время. Он работал над каждой книгой с карандашом и бумагой, как это делал и его учитель — Ленин.

В «Истории царской тюрьмы» профессор М. Н. Гернет пишет, что ветеран Шлиссельбурга — мужественный, высокообразованный Лихтенштадт, осужденный в 1908 году по процессу террористов, стал большевиком под влиянием Орджоникидзе. Сам Лихтенштадт в день отправки Серго из Шлиссельбурга занес в свой дневник: «Сегодня уехал Орджоникидзе. Это большая потеря для меня. Какой живой, открытый характер, сколько энергии и отзывчивости на все. И главное — человек все время работает над собой. Только с ним и можно было потолковать серьезно по теоретическим вопросам, побеседовать о прочитанной книге... Это был единственный, у кого можно было поучиться».

Якутия, вечное поселение... Фельдшер Орджоникидзе опять лечит ссыльных и крестьян. И вместе с Емельяном Ярославским развертывает политическую работу.

Как говорится в грузинской народной поговорке, «там, где счастье твое, приведут тебя туда ноги твои»... В селе Покровском Серго познакомился с учительницей Зинаидой Павлуцкой, которая стала его неразлучной подругой до конца жизни...

Наступил февраль 1917 года. В России — революция. Пало самодержавие.

Политкаторжане и ссыльные, не ожидая официального освобождения, двинулись в центральные районы России. В пути, на пароходе, у жены молодого слесаря Андрея Агеева — Нади начались роды. Серго очень волновался — как-никак врач! — поминутно подбегал к роженице, старался облегчить боли. И вот на свет появился новый человек. Мальчик!

Серго высоко поднял ребенка и объявил:

— Владимиром назовем! Владимиром! В честь Ленина!..

VI

Снова с Лениным. На этот раз на родной земле, навсегда. Вместе делать революцию и созидать социалистическое государство. После первого же свидания с Владимиром Ильичем Серго энергично включается в работу. Он прикреплен к рабочим Нарвской заставы. Введен по предложению Ленина в Петроградский комитет и исполком Петроградского Совета. Уходит из дому с утра и возвращается поздно ночью. Распорядок дня агитатора каждый раз меняется: то к путиловцам, то к балтийцам, то на военный Обуховский завод, или в Семеновский полк, или же на фабрику Жоржа Бормана.

Июльские события. Враги пролетариата начали охотиться за Лениным... Серго упорно настаивает на том, чтобы надежно укрыть вождя от ищеек Керенского, одним из первых участвует в организации ленинского подполья в Разливе.

В канун Октября Серго в Смольном, сюда поздним вечером прибывает Ленин. А 25 октября выстрел «Авроры» возвещает всему миру о начале новой эры — эры Великой социалистической революции.

И с этого дня Орджоникидзе по заданию Ленина на самых трудных и опасных участках борьбы.

Он очищает украинскую землю от контрреволюционеров всех мастей. В Ростове-на-Дону ведет борьбу с анархистами. На Кубани собирает хлеб для голодающего Петрограда. Едет в Дагестан и со своими друзьями горцами организует снабжение грозненской нефтью молодой республики Советов.

Потом его посылает Ленин в Северную Осетию, Азербайджан, Армению, Грузию. Вместе с Кировым они освобождают от врагов эти республики.

Каждый шаг на разных фронтах борьбы связан с опасностью, риском, на каждом углу подстерегает смерть. Но Владимир Ильич Ленин верит в способности Серго, знает, что он лучше других выполнит любое задание.

Ленин шлет ему, чрезвычайному комиссару, телеграмму за телеграммой:

«Ради бога, принимайте *самые* энергичные и революционные меры для посылки *хлеба, хлеба* и *хлеба!!!* Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради бога! *Ленин*».

«...Помните, что от вас зависит спасти Питер от голода».

«От души благодарю за энергичные меры... Продолжайте, ради бога, изо всех сил добывать продовольствие, организовывать спешно сбор и ссыпку хлеба, дабы успеть наладить снабжение до распутицы. Вся надежда на вас, иначе голод к весне неизбежен».

Ленин твердо верил в мудрость своего любимого ученика и соратника, видел его беззаветную преданность партии, знал его великий дар — находить ключ к сердцам трудящихся любой национальности, крепить дружбу между народами и поднимать людей на строительство счастливой жизни.

Зак. 2287

Николай Асанов

ШТУРМОВАТЬ!

До рассвета
осталось
не больше аршина,—
руки
лучей
с востока взмблены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Конечно...
В Смольный».

В. Маяковский

I

Год 1917-й...

Со взморья тянуло холодным предрассветным бризом, когда гости вышли от Ленина. На улице огляделись: нет ли посторонних? Какой-то длинноногий мужчина в короткой теплой куртке возился со своим велосипедом. А может, это маскировка шпика?

Антонов-Овсеенко, переложив револьвер в карман пальто, пошел дальше по улице, до угла. Невский вернулся, чтобы предупредить Владимира Ильича и хозяина квартиры. Подвойский остался в воротах. Велосипедист уехал, а через несколько минут вышел в сопровождении хозяина старенький человек с седой бородкой — учитель музыки, что ли, идущий на ранний урок. Ленин уходил на новую конспиративную квартиру. И только тогда трое руководителей «Военки» направились к Смольному.

Уходили по разным мостам. В «Военке» знали, что юнкера получили приказ правительства патрулировать мосты. Антонов-Овсеенко только что отбывал тюремное заключение в Крестах по делу о «неподчинении моряков Гельсингфорса приказам правительства», он был опасным спутником. Но через час все сошлись в Смольном — юнкера не очень тщательно выполняли свою задачу...

Смольный был по-прежнему залит светом, кругом толпились люди. Спать не хотелось, да и дел после встречи с Лениным прибавилось.

Николай Ильич Подвойский предложил вызвать агитаторов, чтобы направить их в колеблющиеся полки. Владимир Александрович Антонов-Овсеенко уезжал на запад, в латышские полки и сибирские корпуса, заслонившие Петроград от захваченной немцами Риги. Если бы удалось привести подкрепление оттуда, из Лифляндии... Владимир Иванович Невский отправился в Петроградский комитет: до начала восстания семь-восемь дней, надо торопить людей.

За окном трещали мотоциклы связных. Николай Ильич остался на какое-то время один. И сразу вспомнились слова Ленина о том, что он, Подвойский, полководец революции. Как же он стал полководцем? Когда? Где?

...Сын сельского священника, он видел перед собой один путь: в духовную семинарию — бурсу. Сначала это было Нежинское духовное училище, потом Черниговская духовная семинария. Но именно в Чернигове он прошел начальную школу революции: в 1896 году он участвует в первой маевке, а в 1898-м — восемнадцатилетним юношей — становится организатором и руководителем марксистского кружка, в котором собирались и семинаристы, и гимназисты, и ученики фельдшерской школы. Но, пожалуй, первые уроки военного дела он получил от черниговских крестьян, восставших в том же 1898-м «за землю и волю».

Это были горькие уроки. Крестьяне с вилами, косами и дробовиками не могли противостоять солдатам и казакам. Длившееся два года восстание, то вспыхивавшее, то замиравшее, было окончательно подавлено к девятисотому году. Только остовы сожженных помещичьих усадеб угрожающе темнели там и сям, предупреждая: это может повториться! А сам Подвойский, изгнанный из семинарии за участие в волнениях, был вынужден отправиться в Ярославль...

Студент Демидовского юридического лицея стал в Ярославле членом Северного комитета РСДРП, там он впервые сталкивается с рабочими кружками, создает боевые дружины из рабочих и студентов.

Может быть, именно в Ярославле Подвойский и понял, как много значат для революции вооруженные силы?

Он никогда не забудет, как 19 октября 1905 года вывел около четырех сотен рабочих железнодорожных мастерских и станции Ярославль на демонстрацию. Они шли с пением

«Марсельезы», и к ним примыкали все новые и новые ряды: студенты, гимназисты, рабочие с заводов города. Над колонной реял гордый красный флаг революции.

На углу Духовской улицы путь революционной демонстрации преградила толпа черносотенцев с портретом неудачливого царя Николая. Завидев красное знамя, черносотенцы с криком «Бей их!» ринулись на демонстрантов. Свист резиновых и бычьих хлыстов, лязг железных тростей, грохот подкованных сапог — все слилось воедино...

— Долой палачей народа! Да здравствует революция! — раздавались голоса демонстрантов.

Был миг, когда демонстранты дрогнули. Но Подвойский заранее поставил в первые ряды своих вооруженных дружинников. И стоило дружинникам дать несколько выстрелов в воздух, как черносотенцы, бросив «священный» портрет царя, разбежались в разные стороны.

Но дальше было хуже. На углу Романовской улицы демонстрацию встретили казаки и полицейские. Спешно вызванный полицмейстером губернатор Рогович потребовал от демонстрантов убрать знамя.

Ссылки на царский манифест, разрешающий «свободы», вызвали только ярость губернатора. Взбешенный сопротивлением, он приказал отобрать знамя силой. Черносотенцы, почувствовав поддержку «властей предержащих», снова ринулись на студентов и рабочих. Началось зверское избиение. Подвойский, пытаясь прекратить насилия, направился к губернатору, но окружавшие губернатора верноподданные сбили его с ног и нанесли семнадцать ран. Один из дружинников, Зезюлинский, пытался уговорить черносотенцев прекратить это избиение. Черносотенцы кинулись и на него. Тогда Зезюлинский стал стрелять. Под прикрытием его огня товарищи успели унести Подвойского. Зезюлинский, ранивший трех черносотенцев, пострадал не меньше Подвойского.

А ведь этого могло не быть, если бы Николай Ильич имел больший опыт революционной борьбы. К тому времени у него было около ста вооруженных дружинников. Поставь их всех на охрану демонстрации, тогда бы ни полицейские, ни казаки не посмели тронуть демонстрантов, не говоря уже о черносотенцах, что бросались вооруженные железными тростями толпой на прохожих-одиночек, заподозрив в них «студентов»...

Нет, тогда Николай Ильич еще не очень представлял, как организовать вооруженную борьбу пролетариата, и сам по-

платился за свое незнание глубокими ранами и ушибами, долгим пребыванием между жизнью и смертью сначала в больнице, а потом в костромской и ярославской тюрьмах... Только протесты общественности и, главное, полная уверенность жандармского управления, что Подвойский уже не оправится от увечий, спасли его от пятилетней ссылки в далекую Якутию и позволили товарищам вывезти его за границу. Но и там врачи считали, что он не выживет, а когда Николай Ильич начал неожиданно поправляться, долго еще утверждали, что он навсегда останется инвалидом.



Николай Ильич
ПОДВОЙСКИЙ
(1880—1948)

Теперь Николай Ильич мог признаться себе, что спасла его только железная решимость во что бы то ни стало остаться в строю бойцов. Помогло, несомненно, и участие товарищей, но в первую очередь дружеское письмо Владимира Ильича Ленина, ободрившего ярославских товарищей, проливших кровь за дело рабочего класса...

А через год Подвойский уже вернулся в Россию, чтобы продолжать свое партийное дело. Тогда же, в 1907 году, он встретился с Лениным. И встреча эта — на глухой рабочей окраине Питера — запомнилась Николаю Ильичу той спокойной уверенностью, с какой Ленин на вопрос: «Не опасно ли ему ходить одному в этих глухих местах, где то и дело шныряют шпики?» — ответил, что в рабочих районах он чувствует себя в полной безопасности...

Вот откуда начиналась мысль о том, что мужество рабочего класса, подкрепленное достаточным количеством оружия и умелыми командирами, способно совершить чудеса. Ведь и революция 1905 года могла окончиться иначе, будь у ее творцов и создателей достаточно оружия.

Но в те годы безвременья, после тяжкого разгрома партия, Ленин поставили перед Подвойским и всеми большевиками другую задачу — собирание сил революции. И Николай Ильич стал пропагандистом — дело знакомое — и издателем революционной литературы — дело незнакомое, но самонужнейшее.

Издательство «Зерно», созданное бывшим однокашником Подвойского, исключенным из Демидовского лицея студентом Кедровым и женатым на родной сестре жены Николая Ильича, к осени 1907 года приняло все приметы обычного торгового дела. А в тайных записях, хранившихся у «конторщика» Подвойского, значилось, что издан и распространяется первый том трехтомника Сочинений Владимира Ильича Ленина под названием «За 12 лет», выпущен «Календарь для всех на 1908 год» со статьями Ленина, Ольминского, Рожкова, Батурина. «Зерно» связало ЦК партии со всеми провинциальными организациями, вплоть до далекой Сибири, и люди, умевшие читать меж строк, понимали, что дело революции живет. Издательство просуществовало недолго. 27 апреля 1908 года оно было захвачено полицией. Подвойский арестован...

Но ведь арест не прекращает участия в революции!

Николай Ильич становится узником петербургской тюрьмы. Но в той же тюрьме заключены матросы и солдаты, участники Свеаборгского и Кронштадтского восстаний. Рядом оказались и другие участники военных организаций революции — Невский, Ярославский, Трилиссер. Все они перенесли поражение, но не сдались, и вот теперь эти люди, заключенные в тюрьму, некоторые под угрозой смертной казни, занялись изучением опыта борьбы пролетариата с царизмом, причин поражения революции.

Это был тяжелый опыт. Многие участники восстания ушли на виселицу. Иных сослали на долголетнюю каторгу. Но в тюрьме, ожидая решения своей участи, они продолжали тщательно анализировать каждый шаг революции, каждую удачу и неудачу, и перед Николаем Ильичом все шире открывались те задачи, которые встанут перед революционерами в будущем восстании.

Вот тогда-то, в тридцать лет, он и стал «юнкером революции», то есть засел за учебники военного дела, изучал сражения, происходившие в городах, анализировал опыт французской Коммуны, прикидывал возможные действия революционных масс и ударных отрядов применительно к столице Российской империи и к Москве, определял, какое количество боевых штыков должна иметь партия для захвата важнейших государственных учреждений, какова должна быть последовательность ударов в первые часы восстания.

Подвойский уже тогда готовился стать командиром вооруженных сил революции...

II

1917-й...

Утром 18 октября в непартийной газете «Новая жизнь» появилось «знаменитое» письмо Льва Каменева и Григория Зиновьева о том, что большевики готовят вооруженное восстание, а они, Каменев и Зиновьев, не согласны с Центральным Комитетом партии по этому вопросу.

Владимир Иванович Невский, прочитав статейку, гневно воскликнул:

— Какая глупость!

— Скорее подлость! — возмутился Подвойский. — Вы представляете, на что рассчитывают эти «товарищи»? Если нас разгромят, значит, прохвосты получат награду. Как же, ведь это они предупредили правительство! А если мы победим, они скажут вашими же словами: «Мы допустили глупую ошибку!»

— Надо немедля сообщить Владимиру Ильичу, — предложил Невский.

— Вероятно, ему уже передали эту газету. А наше дело — продолжать подготовку, тем более что теперь правительство точно осведомлено о наших планах.

Николай Ильич так еще и не прилег после ночной беседы с Лениным. А теперь было и вовсе не до отдыха.

Снова вспоминались слова Владимира Ильича о вооружении рабочих. Да, солдаты солдатами, но главная ударная сила — это рабочие. У них нет того страха перед начальством, какой испытывают солдаты, связанные дисциплиной, боящиеся только что принятого правительством закона о смертной казни за неподчинение. Вот рабочие и должны стать костяком восстания, комиссарами военной организации. И сама организация должна обрести иной облик, теперь это уже будет не просто организация, а Военно-революционный комитет.

Опыт массовой агитации у «Военки» уже был. Еще летом, когда солдатские массы колебались, идти ли им за большевиками, Подвойский собрал больше сотни матросов и отправил их в полки. Он помнит инструктивное совещание с молодыми агитаторами.

— Да как же мы будем агитировать, если мы и разговаривать-то не умеем? — спросил какой-то расстроенный неожиданным поручением матрос.

— О мире сказать можешь?
— Это могу.
— О земле с товарищами говорил?
— Было.
— О том, что и мир, и землю, и свободу нам никто не даст, если мы их сами не завоюем, думал?
— Еще бы!
— Ну, так ты и есть самый прирожденный агитатор!

Общий хохот поддержал эту «инструкцию». Сам агитатор хохотал громче всех. Но все-таки спросил:
— А если бить будут?
— Ну, несколько тумаков ты выдержишь ради революции. А потом те же солдаты станут тебя охранять от своих офицеров, когда увидят, что ты готов на все ради правды. Впрочем, для начала идите по два — по три человека. Всегда можно отыскать земляков в любой казарме, а уж там и другие станут слушать.

И моряки пошли к солдатам. Им и принадлежит по праву немалая заслуга в том, что армейские и даже гвардейские полки оказались распропагандированными в самое короткое время.

Наступила иная пора — в полки, в роты, в арсеналы, в отряды Красной гвардии надо было направить комиссаров ВРК, чтобы каждое отдельное звено в огромной волне восстания было под ясным контролем партии. И сделать это надо немедленно.

Весь день ушел на подготовку объединенного гарнизонного совещания. Приехали представители ста восемнадцати войсковых частей, находившихся в Питере. Приехали и представители кронштадтского, ораниенбаумского, петергофского, стрельнинского, выборгского гарнизонов. Когда Николай Ильич Подвойский увидел это разнообразие мундиров, одежды, оружия, лиц, он впервые испытал настоящее чувство облегчения: все армейские части Петрограда и его окрестностей были на стороне революции.

Владимир Иванович Невский звенящим голосом прочитал девятнадцать пунктов Устава Военно-революционного комитета Питерского Совета рабочих и солдатских депутатов. Главнейшая задача ВРК была сформулирована так: не допустить вывода революционных частей из Петрограда и взять под свой контроль деятельность штаба Петроградского военного округа.

Затем был прочитан список руководителей ВРК. В него вошли кроме большевиков меньшевик Богданов, левый эсер Лазимир. Но никто не подозревал, что в новом комитете уже действует большевистская тройка, которой ЦК партии поручил руководство вооруженным восстанием вплоть до взятия Зимнего и свержения Временного правительства. Это были Подвойский, Невский и Чудновский.

Следующие два дня Подвойский и Невский направляли в отряды Красной гвардии военных инструкторов. Владимир Ильич Ленин требовал, чтобы рабочие отряды получили хорошее оружие и успели пройти хотя бы некоторое военное обучение. Отряды красногвардейцев, ранее тренировавшиеся в пригородах Петрограда, теперь занимались на территории заводов и на городских площадях.

21 октября состоялось второе гарнизонное совещание. Резолюция совещания была краткой и ясной:

«Приветствуя образование Военно-революционного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, гарнизон Петрограда и его окрестностей обещает Военно-революционному комитету полную поддержку во всех его шагах, направленных к тому, чтобы тесно связать фронт с тылом в интересах революции».

День восстания приближался. Николай Ильич торопился мобилизовать все силы. Вечером состоялось заседание ВРК. Вопрос был один: поставить деятельность штаба военного округа под полный контроль Военно-революционного комитета.

Как ни упрямились левые эсеры и несколько меньшевиков, вошедшие в комитет от Петроградского Совета, прошла резолюция большевиков: уполномоченные Военно-революционного комитета идут в штаб. Без их визы распоряжения штаба недействительны.

В эти дни непосредственной подготовки и проведения вооруженного восстания председателем Военно-революционного комитета был избран Подвойский.

Николай Ильич предложил: для подкрепления действий уполномоченных ВРК в штабе немедленно направить во все воинские части комиссаров ВРК. Тогда армия будет сверху донизу под контролем Военно-революционного комитета.

В ночь на двадцать второе октября и утром комиссары ВРК находились на своих местах во всех частях Петроградского военного округа. А 23-го ВРК опубликовал следующее воззвание:

«К населению Петрограда.

К сведению рабочих, солдат и всех граждан Петрограда объявляем:

В интересах защиты революции и ее завоеваний от покушений со стороны контрреволюции нами назначены комиссары при воинских частях и особо важных пунктах столицы и ее окрестностей. Приказы и распоряжения, распространяющиеся на эти пункты, подлежат исполнению лишь по утверждении их уполномоченными нами комиссарами. Комиссары, как представители Совета, неприкосновенны. Противодействие комиссарам есть противодействие Совету рабочих и солдатских депутатов. Советом приняты все меры к охранению революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений. Все граждане приглашаются оказывать всемерную поддержку нашим комиссарам. В случае возникновения беспорядков им надлежит обращаться к комиссарам Военно-революционного комитета в близлежащую воинскую часть.

Военно-революционный комитет
при Петроградском Совете рабочих
и солдатских депутатов».

III

День и ночь потеряли свои очертания, они растворились в шуме движения, в грохоте подкованных сапог, в докладах, рапортах, запросах. Комната 85 в Смольном стала средоточием такого количества дел, забот, распоряжений, столько стекалось сюда людей, что одно присутствие в ней мобилизовало каждого действовать решительно, смело. Промелькнули и исчезли, как бледные тени, Чхеидзе и Дан — меньшевистские лидеры, пытавшиеся еще вызвать большевиков на переговоры.

В 85-ю зашел Рахья, улыбнулся Подвойскому, сказал:

— Прибыли благополучно. Всю дорогу Владимир Ильич удивлялся, что все патрули на улицах наши. Спросил: «А где же юнкера?» Я ответил: «Отсиживаются в Зимнем!» А он: «Не думал я, что у них все так гнило!»

— Где же он?

Подвойский вскочил, готовый немедленно броситься туда, где работал Ленин. Рахья отрицательно покачал головой:

— Сказал, что сам зайдет к вам. Просил вас от дела не отрывать. Он принимает делегатов съезда Советов...

Подвойский вздохнул, обернулся к товарищам.

Антонов-Овсеенко, привезший согласие моряков из Гельсингфорса перебросить в Петроград несколько миноносцев, и Чудновский, только что открывший арсенал при Петропавловске для вооружения рабочих отрядов, стояли у висящего на стене плана города и расставляли флажки, отмечая сосредоточение частей для штурма. Рахья осторожно вышел. Подвойский подошел к плану.

Зимний — цитадель буржуазного Временного правительства — был плотно прикрыт тремя поясами революционных отрядов. Отныне ни туда, ни оттуда никто не смог бы прорваться. Верные правительству войска находились в таком удалении от Петрограда, что Керенский уже не надеялся на перемену обстановки.

Антонов-Овсеенко и Чудновский решали сложный вопрос: о мостах. Юнкера, получив приказ правительства о разводе всех невских мостов, штыками заставили рабочих развести лишь Николаевский. Остальные мосты были еще раньше захвачены красногвардейцами. Сейчас надлежало свести и этот разведенный мост. Чудновский советовал поручить это морякам с «Авроры», а Антонов-Овсеенко порывался сам поехать туда, с отрядом красногвардейцев...

В комнату кто-то тихо вошел. Подвойский оглянулся. Ленин! Но уже без парика, без грима.

Николай Ильич направился к нему — так хотелось все рассказать, услышать слово ободрения, но Ленин только улыбнулся, взмахнул рукой: «Сами! Сами!» — и вышел. Николаю Ильичу показалось: Ленин просто хотел убедиться, что в этом штабе революции все на месте, все знают свои обязанности и работают как надо.

Но и одного появления этого человека было достаточно, чтобы все стало значительнее, важнее, чтобы все действия стали острее, устремленнее.

Антонов-Овсеенко вышел в соседнюю комнату, где собирались связные из полков, отрядов, с заводов. Приоткрыл дверь, сказал:

— Я на Николаевский!

Чудновский вызвал своего помощника, приказал:

— Направить во все части связных. Пусть передадут: Ленин в Смольном. Он руководит революцией!

И тотчас в коридоре началось стремительное движение. А когда Николай Ильич подошел к окну, то увидел: мотоциклисты, велосипедисты, пешие гонцы торопливо расходились звездными путями в ночь, чтобы донести радостную весть до тех, кто готовился биться за революцию.

IV

Восстание развивалось по предначертанному плану. К утру 25 октября телефонная станция, почтамт, государственный банк, вокзалы, штаб военного округа и многие другие учреждения были в руках революции.

Николай Ильич позвонил в Зимний.

Запершееся во дворце Временное правительство не пожелало ответить на ультиматум о сдаче. Подвойский распорядился выключить телефоны Зимнего.

Отныне дворец остался одиноким островом в ледоломе, бушующем вокруг. Небольшая группа молодых юнкеров, пробравшаяся из Зимнего кружными путями на Московский вокзал за оружием, была захвачена красногвардейцами и доставлена в Смольный. Красногвардейцы требовали расстрелять юнкеров, но Подвойский уговорил рабочих, что лучше этих юнцов отпустить в их училище, пусть только пошлют в Зимний делегацию, которая объяснила бы членам Временного правительства, что положение их безнадежно.

Юнкера выделили делегацию. А сами, сопровождаемые в училище красногвардейцами, еще не остывшие от ужаса, благодарно говорили о том, что у правительства не осталось никаких сил, что скоро все кончится...

В десять часов утра 25 октября Военно-революционный комитет обратился с воззванием к гражданам России. Воззвание, написанное Владимиром Ильичем Лениным, гласило:

«К гражданам России!

Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производ-

ством, создание Советского правительства,— это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Днем, в два часа тридцать минут в Актовом зале Смольного открылось заседание Петроградского Совета. Председательствующий объявил, что Временного правительства больше нет, власть взял в свои руки народ.

На трибуне появился Ленин.

Он был вынужден скрываться четыре месяца. И вот теперь его видели снова. Стены, казалось, качались от оглушительных аплодисментов. Ленин долго стоял безмолвно. И никогда он не был таким торжественным и взволнованным, как в тот миг, когда, дождавшись наконец тишины, произнес:

— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась...

Подвойский, перебрасывавший центр руководства восстанием в Петропавловскую крепость, поближе к Зимнему, заехал на заседание к концу. Ленин увидел его в толпе депутатов и подозвал к себе.

И опять Подвойский подумал про себя: какие пронзительные глаза у Ильича!

— Долго вы будете окружать Зимний? Через два часа начнется первое заседание съезда Советов, а во дворце попрежнему будет заседать свергнутое правительство?

— Чудновский пошел в Зимний с ультиматумом...

— А если они не захотят сдаться?

— Тогда начнем штурм.

— Смотрите, Николай Ильич, если вы к ночи не ликвидируете этот остаток контрреволюции, мы предадим вас партийному суду!

Подвойский отшатнулся. Но глаза Ленина были так строги, что ни промолчать, ни отшутиться ему, победителю, было нельзя. Он сухо произнес:

— Я сам поведу войска на штурм!

— Я говорю не о геройской смерти, а о том, что вы должны как можно быстрее и умнее выполнить поручение партии!

К Владимиру Ильичу подошли другие депутаты, и Подвойский торопливо ушел. Шел и твердил про себя: штурмовать, штурмовать, ш т у р м о в а т ь!..

* *
*

Николай Ильич Подвойский прожил долгую и полную сложного труда жизнь. Он был народным комиссаром по военным делам, и при его участии создавалась Рабоче-Крестьянская Красная Армия, разгромившая врагов революции.

В партийном билете № 199191, принадлежавшем Николаю Ильичу Подвойскому, в графе «Социальное положение» он написал: «Солдат революции».

...1941 год. Началась Великая Отечественная война. Тяжело больной, уже много лет находившийся на пенсии, Николай Ильич попросил отправить его в действующую армию. Когда ему отказали в этом, он добровольно возглавил оборонительные работы по защите Москвы в районе Красной Пресни.

Там, на Трехгорной мануфактуре, он состоял на партийном учете и там оставался до конца своей жизни — солдат и полководец.

Лидия Фоменко

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ

> Россия, любимая, с этим не шутят.
> Все боли твои — меня болью пронзили.
> Россия,
> я твой капиллярный
> сосудик,
> мне больно, когда тебе больно, Россия.
>
> *А. Вознесенский*

Это было бурное, нетерпеливое время. Революционное движение, которому Николай Гурьевич Полетаев посвятил свою жизнь, снова набирало силу. Остались позади черные месяцы реакции, наступившей после подавления революции. Большинство социал-демократической партии становилось все более сильным, оно закалялось не только в борьбе с самодержавием, но и в идейных битвах с меньшевиками и другими антинародными партиями и фракциями.

Владимир Ильич Ленин из-за границы направлял эту борьбу, был поистине душой и вдохновителем революционного движения. Он был для питерских большевиков светочем. Он уже был вождем. Ильич — это не только теория революции, не только философское учение. Ильич — это учитель, товарищ, друг. Ильич — это пример революционного горения.

...Полетаев, депутат III Государственной думы, только что вернулся от Ленина, из Копенгагена. Он привез ленинский план создания рабочей газеты. Ему вспоминались дни, проведенные в Копенгагене. Полетаев не был равнодушен ни к природе, ни к миру вещей, который его окружал. Как бы ни был он погружен в свои партийные думы и заботы, он

не мог не вглядываться в окружающее. За границу Полетаев ездил не впервые. Бывал и в Германии, и во Франции, и в Бельгии. Столица Дании в те августовские дни 1910 года казалась какой-то полусонной. Стояла тягучая, паутинная тишина. Люди ездили на велосипедах, но казалось, они делают это неохотно, потому что спешить им некуда. Темп жизни Копенгагена отличался от темпа других европейских столиц. Полетаев испытал истинное удовольствие, видя, как большевики взорвали эту полусонную европейскую тишину. Он вспоминал о заседаниях конгресса, удивлялся тому, с каким терпением и с какой уверенностью Владимир Ильич сплачивал всех революционно настроенных членов II Интернационала, вспоминал и о самом для него главном — о совещании по поводу рабочей газеты. Теперь ему предстояло серьезное сражение с «властями предержащими».

Обо всем этом думал коренастый, русоволосый человек, глядя на улицу из окна своего рабочего кабинета.

В доме на 8-й Рождественской улице Полетаевы поселились недавно, после избрания Николая Гурьевича депутатом Думы; отсюда было недалеко до Таврического дворца. Здесь, на Песках, не так давно выросло несколько новых улиц. Все они были названы Рождественскими, по имени церкви Рождества, что на углу Кирочной и Суворовского проспекта.

В удобной, четырехкомнатной квартире Полетаевых всегда было много народу. Семья была крепкая, гостеприимная, работящая. Часто здесь укрывались «нелегалы»: ведь квартира депутата была неприкосновенной. Впрочем, Полетаевы не очень надеялись на депутатскую неприкосновенность и на всякий случай поделили большую заднюю комнату на две половины, отдав самое безопасное помещение «нелегалам».

Николай Гурьевич любил свой дом, свою семью, своих друзей. Он даже успел полюбить улицу, просматривавшуюся далеко вперед. Любил наблюдать жизнь большого города. Вот и сегодня, в хмурый осенний день 1910 года, он смотрел в окно, обдумывая свои впечатления от встречи с Лениным и другими политическими деятелями.

Сначала Полетаев не заметил на улице ничего из ряда вон выходящего. Но вскоре его внимание привлекли прохожие, собиравшиеся группами. Они подходили к стене большого дома, что-то читали и затем снова кучились и, по-видимому, обсуждали прочитанное.

Полетаев быстро оделся, сбежал по лестнице все еще юношески быстро и тоже приблизился к стене с объявлением. Он почти догадывался, что за листок привлек взволнованное внимание петроградцев. «Значит, умер великий старик,— подумал он.— Взбунтовался, ушел из дому и умер». Полетаев не ошибся. Уже несколько дней вся Россия была взбудоражена событиями: уход из дома Льва Николаевича Толстого, его болезнь в маленьком станционном домике в Астапово, весть о его смерти, опровержение этой неверной вести и вот сегодня траурная рамка в газетах...



Николай Гурьевич
ПОЛЕТАЕВ
(1872—1930)

Полетаев быстро схватил всю остроту обстоятельств. Стремительность событий, народное возбуждение — все это нельзя было упустить, нужно было действовать.

Прежде всего, запрос в Думу на завтра.

Эта мысль давно сверлила его мозг. Маленькая брошюра великого писателя была для Полетаева настольной книгой. «Не могу молчать». Да, молчать было невозможно, немыслимо. Нужно было сегодня, сейчас же вновь и вновь поднимать народ на борьбу против монархистско-жандармского изуверства.

Два года назад Полетаев вместе с другими членами социал-демократической фракции в Думе подготовил законопроект об отмене смертной казни. Тогда этот проект не прошел...

Да только ли этот проект?

В памяти встал один из дней, похожих на битву. Сражения эти были его буднями.

В тот вспомнившийся ему майский день 1908 года Полетаев был очень взволнован. Ему предстояла битва на думской трибуне за права рабочих. Он не слушал монотонного голоса секретаря, читавшего официальные бумаги. Он снова и снова обдумывал начало заготовленной им речи.

«Вся соль — в начале,— думал Полетаев,— с места в карьер! Иначе не дадут говорить».

И, уже стоя на кафедре, к которой за год успел привыкнуть, Николай Гурьевич начал:

— Господа! Прежние счастливые времена, когда рабочий класс надеялся на попечительство начальства, когда ждал, что вот приедет барин, барин нас рассудит, наградит коечем, теперь эти счастливые времена для буржуазии миновали, и рабочий класс не надеется на приезжающего барина.

Речь Полетаева была горячая, убежденная.

— Правительство отнимает все завоевания, которые своей страшной борьбой получает рабочий класс.

— Ого! Как смело! — крикнули справа.

Не обращая внимания, Полетаев продолжал:

— Имея в виду, что законодательные меры, регулирующие условия труда, не могут нормировать все стороны быта рабочих...

— Чего захотели!

— Долой Полетаева!

— Вон его!

Заулюлюкали, забесновались правые депутаты.

Зазвонил колокол. Это председатель предупреждает: время истекло.

— У вас много еще там? — иронизирует председатель под хохот и рукоплескания своих сторонников.

— ...необходимо заключить,— голос Полетаева перекрикивает поднявшийся шум,— что создание условий, благоприятствующих развитию самодеятельности рабочих в отстаивании своих интересов...

— Член Государственной думы Полетаев. Много еще у вас?

— Не сбивать! — это вступились социал-демократы. Они сидят наверху слева.

— Пусть читает!

— Безобразие, не дают говорить!

В зале зашевелились жандармы. Они покрикивают на левые кресла (разумеется, шум справа они считают законным).

— Всякий раз,— в свою очередь усмехается Полетаев,— когда выступает социал-демократическая фракция, здесь со стороны правых встречаются протесты, будто мы мешаем работоспособности Думы...

— Верно!

— И мешаете!

— Вон Полетаева!

— Распоясались!

Снова звонок. Склеротический накал на лице председателя:

— Член Государственной думы Полетаев, я призываю вас к порядку!

— Совершенно верно, господа, но мы, собственно говоря, и не думаем, чтобы эта Третья дума нам дала что-нибудь. Буржуазное правительство и вы, господа, ничего, кроме нагаек и пуль, не дадите. Рабочий класс прекрасно знает, что вы не дадите нам высказываться.

Полетаев словно бы поднялся на какую-то невидимую ступеньку; он вырос над кафедрой и над всем этим залом.

— ...Он знает также, что добьется своего положения только организациями профсоюзными, а главным образом, политическими.

И эти последние слова прозвучали пророчеством. Они были как набат. Они заявляли здесь, в самом сердце «черной сотни», о грядущей революции.

Звон колокола уже не прекращался, его перекрывали восклицания. Снова задергались, зашевелились жандармы. Но что они могут поделать с де-пу-та-том Думы!

«Вот оно, еще одно завоевание партии»,— успел про себя подумать Полетаев. Как могло случиться, что его, сына деревенского плотника, бывшего крепостного, его, простого путиловского рабочего, пролетария, ломившего горб на увеличение прибылей фабрикантов и заводчиков Петрограда и Костромы, вынужденного затем жить и работать в Германии, его, неимущего и презираемого большинством присутствующих, не могут удалить ни с трибуны, ни из зала!

Кто поднял его так высоко, что речи его обязаны выслушивать даже отъявленные враги? Кто возложил на него такую ответственность? П а р т и я! Великая партия, боровшаяся и не сдававшаяся, даже в годы реакции сумевшая найти широкую общественную трибуну для революции!

...Пройдет много лет, и старый большевик Полетаев будет не раз вспоминать это удивительное, опасное и радостное время. Не раз еще он пробежит мысленным взором годы с 1907-го по 1912-й, увидит себя, громящего с думской кафедры самодержавие и его прихвостней — октябристов и кадетов, снова и снова проникнется глубокой мудростью ленинской партийной тактики.

— Да, это была дерзкая и единственно правильная политика,— скажет он своим друзьям,— нелегальная партия вела легальное наступление на царизм. И единственными

«легалами» были мы — социал-демократическая фракция Думы, — с гордостью подытожит свою мысль Полетаев.

...Сейчас, глядя в окно на беспокойную улицу, напоенную ожиданием больших событий, Полетаев явственно ощутил всю прицельную точность борьбы своей и борьбы своих товарищей. Из таких маленьких побед складывалась одна большая победа, нужная всему рабочему классу России.

Завтра он еще раз сделает запрос об отмене смертной казни.

Полетаев, правда, не надеялся, что депутаты Думы проголосуют за проект; он даже не был уверен в том, что ему позволят выступить с этим предложением. Но нужно было пытаться. Настал час для гласности, для массовых выступлений, и было бы преступно не использовать каждую, даже малейшую, возможность.

В комнату вбежал Степан Макаров, сын соседа (тоже большевика).

— Дядя Коля, дайте мне, пожалуйста, «Не могу молчать». У отца нет, а мне надо спешить на Васильевский остров...

— Да ты подожди, присядь, объясни толком.

— Некогда, дядя Коля! Наши все собираются. Уже пошли с флагами, слышите — поют «Вечную память»? Вон девушки-курсистки наизусть знают брошюру, а я только помню: «Губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими...»

Степа сказал эти слова с такой страстью разгоряченной юности, что Николай Гурьевич невольно оглянулся: не слышит ли кто? Это уже был не только Толстой. Это была Революция.

Полетаев дал в руки Степану брошюру и сам проводил его до дверей.

— Будь осторожен, Степа! — Говоря эти слова, Николай Гурьевич отчетливо представлял себе, что они не доходят до сознания юноши, который уже устремился вниз, прыгая через несколько ступенек... А внизу, у самого дома, бурлила толпа молодежи, в руках у высокого реалиста Полетаев увидел портрет Толстого.

...Швейцары, сверкающие медью пуговиц и золотом нашивок, почти такими же блестящими, как позолота и мрамор самого дворца, эти вышколенные зубры так называемых присутственных мест, уже знали Полетаева и пропускали его в зал совершенно беспрепятственно.

Сегодня Николай Гурьевич был как-то особенно наэлектризован. Шел, как всегда, уверенно, но быстрее, чем обычно. Стремительно взбежал по ступенькам к верхним креслам амфитеатра, где размещалась обычно социал-демократическая фракция.

— Ну, что вчера решили? — спросил вполголоса рабочий депутат Егоров.

До начала заседаний большевики, как всегда, быстро обменивались мнениями, приходя неизменно к полному единодушию.

— Долой смертную казнь! Долой столыпинские виселицы! — вот наш лозунг. Это будет лучший венок на могилу Толстого.

И Полетаев рассказал Егорову и другим социал-демократам о вчерашнем совещании с печатниками и металлистами.

Между тем зазвенел колокол, и председатель объявил заседание очередной сессии III Государственной думы открытым.

Полетаев уже заготовил речь. Нужно было бросить в самую гущу этого бурлящего зала, в лицо всем этим законникам, интриганам, царским прихвостням слова Льва Толстого: «Самое ужасное преступление, самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому: не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемых вами законами». Эти слова Полетаев знал наизусть. Их-то он и бросит в лицо холеного и холодного зала.

Но что это? Он не верит собственным ушам:

— ...Наше отечество,— доносится до Полетаева голос председателя,— переживает тяжелое горе. Умер граф Лев Николаевич Толстой, великий мыслитель и великий художник, составляющий гордость России, славу всего человечества.

Минута молчания. Но вот в креслах справа слышатся тихие восклицания, что-то похоже на недовольство. Оно нарастает по мере того, как председатель предлагает закрыть заседание по случаю траура.

— С какой стати!

— Продолжать!

И тогда случилось то, что нельзя считать не чем иным, как позором. Депутат от города Вильны Замысловский при

полной поддержке реакционеров стал глумиться над памятью великого старца.

— Толстой за последнее время,— тон оратора был развязным,— отрицал церковь, семью, собственность...

«А-а, вот оно что! — подумал Полетаев.— Собственность! Вот, голубчики, чего вы боитесь более всего!»

Между тем Замысловского никто не перебивал, и он продолжал свою кощунственную речь.

— Толстой отрицал все то, что мы, в качестве государственного учреждения, должны охранять и поддерживать... Толстой отрицал государство, и в частности Государственную думу.

— Верно! Верно! — раздаются голоса справа.

— Чествовать человека, который это учреждение отрицает, я считаю самоотрицанием.— Замысловский упивался собственным афоризмом.

Ему рукоплещут депутаты справа. Слышатся злобные выкрики.

Вот тут-то и нужно было предложить законопроект, но... большинством голосов заседание было прекращено.

— Видно, не у всех еще совесть пропала,— говорил, поднимаясь с места, Егоров,— не посмели поднять руку на Толстого.

Полетаев ничего не ответил. Он был удручен провалом. Теперь ему предстояли длинные переговоры с помощником председателя Думы князем Волконским для того, чтобы получить разрешение на внесение законопроекта. Но, как ни бился Полетаев, поставить этот наболевший вопрос ему не удалось.

— Провалили,— говорил с горечью Полетаев, встретившись с товарищем Андреем (партийная кличка Якова Михайловича Свердлова), который был в те дни в Петрограде посланцем Ленина, проводником политики партии.— Ах, как нелепо провалили!

— А чего вы ждали от них? Разве вы ждали, что они спасуют перед вами? Довольно уже и того, что вы не пасуете перед ними.— Свердлов подвел Полетаева к окну. Против дома Полетаевых, несмотря на ранний час, уже группировались молодые люди в форменных фуражках гимназистов, студентов, реалистов.— Видите, все равно имя Толстого стало их знаменем! Вон как бурлит! О «толстовских» событиях в Питере уже, должно быть, знает Ленин.

— А Владимир Ильич,— помолчав, продолжал Сверд-

лов,— придает событиям, вызванным кончиной Толстого, огромное значение. И вообще он очень высоко ценил Льва Толстого, отлично сознавая причину его противоречий. Думаю, Ильич еще скажет свое слово и о Толстом и обо всех событиях этих дней.

А события были и торжественные и кровавые. Забастовки и стачки начали носить откровенно политический характер. Сказывалась работа петроградской большевистской организации. Полиция свирепствовала. Разгонялись сходки и демонстрации. Тысячные толпы студентов, несшие транспаранты с огненными словами «Долой смертную казнь!», шли навстречу побоям, оскорблениям, а то и арестам. Эту лавину уже было трудно остановить. Предполагалась массовая демонстрация питерского пролетариата. Но столыпинские коршуны не дремали, они налетели на Центральное бюро профсоюзов, арестовали его в полном составе. Жандармы захватили и печатников. Арестовали и Я. М. Свердлова.

Это была большая потеря для петроградской партийной организации. Настоящая боль и живая рана для Полетаева: он горячо любил спокойного, мужественного Якова Михайловича, преклонялся перед его эрудицией. Полетаев понял, как ценит Свердлова Ленин, понял в первую же встречу с Владимиром Ильичем, тогда, в 1907 году, на даче «Ваза» в Куоккала. Как ни волновался Полетаев, он запомнил все, о чем говорил тогда Ленин. Ильич учил их, вновь избранных депутатов от рабочей курии, всемерно использовать думскую трибуну. Честь и слава будет вам, социал-демократам, говорил он, если вы поднимете знамя революции в черной Думе.

Ильич провожал Полетаева и его товарищей поздним вечером за ворота дачи. Шумели сосны. Луна освещала открытый лоб и живое лицо Ленина. Он жадно впитывал в себя вести из Питера и казался полным веры в будущую удачу большевиков и его, Полетаева.

Откуда бралась эта вера? Ведь Ленин совсем не знал ни Полетаева, ни его товарищей. Просто — понял Николай Гурьевич — они были для Ленина частицей живого, борющегося Петрограда, рабочего класса всей России. Вот почему и питерцы готовы за Ленина в огонь и в воду. Взаимная вера, взаимная любовь!

Еще много раз увидит Полетаев Владимира Ильича за границей; потом настанет апрель 1917 года, и он вместе

с другими питерскими большевиками встретит возвратившегося на родину Ленина; в июльские дни того же года, скрываясь от подосланных Временным правительством убийц, Ленин проведет ночь на квартире Полетаева; когда же пролетариат возьмет власть в свои руки, Владимир Ильич и Надежда Константиновна еще раз посетят Николая Гурьевича на его питерской квартире.

Каждая встреча будет дорога Полетаеву. Но навсегда останется в его памяти первое впечатление от встречи с Лениным на даче «Ваза».

...Типография, хозяин которой за большую сумму согласился печатать новую рабочую газету, помещалась в подвальном этаже дома на Ивановской улице. Здесь было сыро, неуютно, холодно. Но ни Полетаев, ни Еремеев не замечали этого. Они делали газету. Еженедельную, рабочую газету, которая так нужна партии. Склонившись над листами, Николай Гурьевич и Константин Степанович внимательно и в то же время как-то весело, с торжеством вчитывались в материал. Дядя Костя — старый питерский большевик и опытный газетчик — принялся читать вслух:

— «Нередко буржуазия на известное время достигает своей цели посредством «либеральной» политики... Часть рабочих, часть их представителей подчас дает себя обмануть кажущимися уступками»...

— Вот, вот! И у нас так бывает. Они болтают, а мы верим. А они все едино готовы продать весь рабочий класс с потрохами.— Дядя Костя разгорячился, снял очки, протер их и снова стал читать. Это была статья В. И. Ленина «Разногласия в европейском рабочем движении». Ее напечатали в первом номере газеты «Звезда».

Полетаев тем временем продолжал начатый, видно, давно рассказ:

— И знаешь, дядя Костя, что меня удивило в Ленине: ученый, теоретик, философ. А начал говорить о газете — все, что необходимо, учел, все подсказал: и про деньги, и про помещение, советовал, как ловчее выхлопотать официальное разрешение, подумал о шрифтах и бумаге... А я вот сразу не додумался до тех денежных источников, на которые указал Ленин.

Ленинский план создания рабочей газеты был в достойных руках. Для Полетаева действительно наступили горячие дни. Прежде чем сидеть вот так в редакции, прочитывать материал, засылать его в набор и снова вычитывать

и испытывать чувство истинного праздника, завоеванной победы, когда в твоих руках окажется свеженький, пахучий газетный лист, на котором крупными буквами будет написано: «ЗВЕЗДА»,— прежде чем испытать все это, нужно было преодолеть многое.

Полетаева товарищи называли финансовым гением неспроста. Того, что собрал за границей Ленин, хватило только на первые шаги, взносы рабочих были тоже невелики. Не спасало положения и то, что большая часть депутатского жалованья Полетаева уходила на газету. Приходилось умасливать меценатов и всяческих филантропов. И все же товарищи знали: придет Полетаев и принесет деньги. Обязательно принесет! И это было тоже важное партийное задание.

Работа в пролетарской печати была опасной для всех, даже для «неприкосновенного» Полетаева. Полиция не спускала глаз с газеты и ее деятелей. Десятки раз конфисковывали выпуски «Звезды»; штрафы душили газету, платить было нечем, приходилось кому-то из редакторов идти в тюрьму. Чаще всего отсиживали положенный срок К. С. Еремеев, М. Е. Егоров, В. А. Шелгунов. Они и назывались зитцредакторами, то есть редакторами для отсидки. Полетаев знал, как тяжко немолодым и нездоровым людям сидеть по месяцу и по два, часто вместе с уголовниками, в сырых тюремных камерах, на голодном пайке. Но для партии, для революции товарищи шли на это. И Полетаев верил: они пойдут столько раз, сколько нужно будет партии.

Пользуясь депутатской неприкосновенностью, Полетаев делал многое, даже казавшееся невозможным для спасения газеты. 20 комплектов очередного номера следовало отправлять в цензурный комитет. Полетаев и его друзья с неистощимой изобретательностью выискивали возможность сохранить газету в случае ее конфискации. Николай Гурьевич нагружался кипами оттисков и на глазах у полиции выносил их из редакции, прятал на чердаке разносчиков газет, за которыми охотилась полиция.

Старая большевистская гвардия располагала довольно большим отрядом молодых помощников. Бессменным распространителем газеты был Степан Макаров, тот самый курносенький, вихрастый студент, которого Полетаев напутствовал на демонстрацию в день похорон Льва Толстого; в 1911 году он уже был в рядах партии социал-демократов, несмотря на свою молодость. Вступала тогда на путь

революционной деятельности девятнадцатилетняя работница из Иванова — Анна Никифорова. Она была частым гостем в квартире Полетаевых, относилась ко всей семье и к Николаю Гурьевичу, как к самым дорогим и близким людям. И сейчас, много лет спустя, Анна Никифоровна Никифорова, старая большевичка-подпольщица, вспоминает с сердечным теплом о внимательном, заботливом старшем товарище:

«В Петербурге я жила с мамой одна. Жили бедно, даже не в комнате, а в углу, в основном на мой заработок. Мама была больна, ей было под 60 лет. Меня арестовали, и она фактически осталась без средств существования. По условиям конспирации мы мало знали личные адреса — их не записывали. Николай Гурьевич лично нашел мою маму, приходил к ней, утешал и не раз выслушивал горькие упреки: «Опозорили,— говорила она,— завлекли девчонку, пропадет по тюрьмам!..» Терпеливо разъяснял он ей все о моей работе, организовал ежемесячную помощь. Когда меня выпустили из тюрьмы, мама говорила: «Какой хороший человек! И другие тоже ко мне приходили. Теперь я не боюсь за тебя, узнала, что ты делаешь хорошее дело, и для себя, и для людей»».

Им не пришлось больше встретиться. С 1913-го по 1917-й Анна Никифоровна была в ссылке. Но память о таких людях, как Полетаев, осталась у нее на всю жизнь.

Подрастала на глазах и совсем молодая, зеленая поросль. В те годы рядом с Полетаевым всегда был сын.

Мише Полетаеву — старшему — шел 11-й год. Он считал себя совсем взрослым и старался как можно больше помогать отцу. Рискуя нарваться на шпиков или полицейских, Миша нырял сквозь проходные дворы и темные подъезды больших домов, выбирался на безопасное место и рысью мчался к себе домой, чтобы спрятать очередную партию оттисков газеты. Он тоже знал, что у депутата Государственной думы полиция не посмеет делать обыск.

Сколько таких отчаянных, светлых, горячих мальчишек шло навстречу революции! В квартире Полетаева жил дикий орел. Это был верный страж тех «нелегалов», которые селились у Николая Гурьевича в целях конспирации. Мишука эти мужественные люди называли орленком: чем-то напоминал он гордую птицу. Будто крылья вырастали у мальчика, когда он выполнял поручения отца.

...— Чего-то нам все-таки не хватает. Перчинки, что ли? — говорил Полетаев своему другу Василию Андреевичу

Шелгунову, когда «Звезда» уже прочно вошла в жизнь партии и завоевала себе огромный авторитет.— Хочется, чтобы рабочий человек и призадумался и посмеялся.

— Плохо, плохо с сатириками, нет еще своих, пролетарских,— сокрушался Шелгунов, старый товарищ Полетаева еще по работе на Путиловском и в первых марксистских кружках. Его горячая ненависть к врагам пролетариата, его большевистская непримиримость не утихли, а еще больше разгорелись с годами, когда жизнь больно хлестнула Шелгунова. Потеряв навсегда зрение, он оставался в рядах партии и теперь вместе с Полетаевым работал в «Звезде». Он немало привлек авторов в газету, а вот сатирики не находились.

— Приходил тут один. Прочитал я стишки. Таким черносотенным духом запахло, хоть святых выноси! — Полетаев еще не знал, что через два часа случай сведет его с человеком, которому суждено будет стать одним из ведущих пролетарских поэтов.

Ефиму Придворову порекомендовал зайти в «Звезду» Степан Макаров. С Придворовым Степан познакомился в университете. Степан знал наизусть стихи молодого поэта, но не одобрял его неразборчивости. Было очевидно, что, разделяя общедемократические взгляды, Придворов в те годы не разбирался в политической программе журналов и газет. Поэтому его удивлял каждый раз отказ «Русского богатства».

Полетаев приветливо встретил молодого человека, быстро пробежал глазами поданную страничку, потом сел за стол и уже с карандашом в руках стал читать по-редакторски.

— Ты послушай, Василий Андреевич,— обратился он к присутствовавшему при этом Шелгунову:

Строчит урядник донесение:
«Так што нееловских селян,
Ваш-бродь, на сходе в воскресение
Мутил Демьян:

Мол, не возьмем — само не свалится,—
Один конец, мол, для крестьян.
Над мужиками черт ли сжалится...»
Так, так, Демьян!..

«Мутить народ? Вперед закается!..
Связать его! Отправить в стан!..
Узнаешь там, что полагается!»
Ась, брат Демьян?

Стал барин чваниться, куражиться:
«Мужик! Хамье! Злодей! Буян!»
Буян!.. Аль не стерпеть, отважиться?
Ну ж, брат Демьян!..

— Ловко! Ах, молодец,— смеялся Шелгунов.

— Еще что есть? Показывайте, показывайте,— подбадривал Полетаев, и молодой человек прочитал «Чудных три песни» и «Праздник» и многое другое. Еще нигде его так не слушали и не понимали, и ему было так славно, как бывает хорошо человеку, когда он приходит в родной дом.

— Из крестьян небось? — спросил Шелгунов.

— Из крестьян, мы херсонские,— ответил юноша.

— Мы тоже не из господ. Я вот псковской, а Гурьич из костромских. Все из одной матери-кормилицы земли.— Голос Шелгунова был сердечным и добрым.

— Крестьянский вопрос — мудреный вопрос,— отозвался Полетаев.— Но важно, чтобы вы поняли,— он обратился к поэту,— мужицкой беде поможет только рабочий класс, только пролетарская революция. Слыхали что-нибудь об этом? «Ась, брат Демьян?» — подмигнул Полетаев.

Все засмеялись. Стали прощаться.

— Заходите, товарищ, приносите стихи. Да почаще. До свиданья...— Полетаев чуточку помедлил, улыбнулся и добавил: — до свиданья, Демьян Бедный — мужик вредный.

Так и осталось это имя за поэтом Ефимом Алексеевичем Придворовым. Отныне Демьян Бедный прочно вошел в большевистскую печать как автор стихов, басен, фельетонов...

Полетаев не получил систематического образования и высоко ценил людей образованных и одаренных. С любовью подбирал он художников, шефствовал над писателями, тянущимися к «Звезде». Истинным советчиком и наставником был для него талантливый публицист и образованный марксист М. С. Ольминский, с которым Полетаев был знаком многие годы. Прислушивался Николай Гурьевич и к В. Д. Бонч-Бруевичу. Однако настоящим редактором газеты, ее руководителем Полетаев считал В. И. Ленина, авторитет которого был для него непререкаем.

В этом не было ничего от идеализации. Это был именно авторитет, ибо каждая мысль, каждое указание Ленина проверялись и подтверждались самой жизнью, ходом револю-

ционного движения. Горько было выслушивать от Ильича проборки, но Полетаев не мог не признавать правоту и дальновидность Ильича; принципиальность Ленина была для него истинно партийной школой.

Так было с вопросом о ликвидаторах. Будучи непримиримым и грозным на думской трибуне, Полетаев, однако, счел возможным привлечь к участию в газете тех депутатов фракции, которые были настроены ликвидаторски. Это была серьезная ошибка, и Ленин издалека советовал, наставлял, требовал.

«Ваша попытка отделить ликвидаторов от ликвидаторства до последней степени неудачна,— писал он Полетаеву.— Никогда мы не одобряли этого различения. Это софисты только его проводят. Убедительно просим не верить софистам и не делать этого различия. Со всем другим можно примириться, но с ликвидаторами невозможно...»

В сложных условиях политической борьбы Полетаеву было порой нелегко разобраться в некоторых политических вопросах. Но у него был компас: Центральный Комитет, Ильич, Петроградский комитет. По делам Думы и по делам газеты Николай Гурьевич не однажды ездил за границу, к Ленину. Каждая такая поездка обогащала его, давала ему новые силы, новые знания.

Правые думские деятели остро ненавидели Полетаева. Между ними шла ежедневная, непримиримая борьба. Полетаев «дал испить водицы» думским заправилам, напечатав в «Звезде» портреты сосланных правительством на поселение депутатов II Думы. В «Звезде» же появилась гневная статья-воззвание: «Нет и не может быть спокойствия, душевного равновесия там, где каждый должен слышать ежечасно и ежеминутно этот кандальный лязг замурованных, лишенных свободы и всех гражданских и политических прав людей только потому, что эти люди имели смелость перед лицом всей страны исполнить свой долг человека и гражданина. Общественная совесть не может и не должна быть спокойна после раскрытия ужасающей правды».

Пуришкевич брызгал слюной, потрясая в воздухе ненавистной ему газетой. Он требовал «крайних мер» к «политической крамоле».

Враги действовали самыми коварными и гнусными методами. Они видели в Полетаеве большую силу и старались любыми путями парализовать ее.

...В дождливый мартовский день 1912 года, когда Полетаев приехал из Лейпцига с заданием ЦК и Ленина создавать новую, более массовую, теперь уже ежедневную рабочую газету, к нему на 8-ю Рождественскую прибежал Степан Макаров. Юноше не терпелось узнать подробности о конференции в Праге.

— Что же тебе рассказать? Опоздал я на первые заседания: шпики задержали.

— Но, дядя Коля, я знаю, вы видели Ленина! — Степан осекся, а Полетаев скосил глаза в угол кабинета, где сидел Мишук с такими же, как у Степана, вопрошающе-горячими глазами.

— Ну, раз уж выдали тебе мои секреты, расскажу.

И Полетаев, обнявши подошедшего к нему Мишука, рассказал о том великом, что свершилось.

— Словом, Ленин и партия поставили перед революционным пролетариатом три задачи: демократическая республика, восьмичасовой рабочий день...

— И конфискация помещичьей земли,— быстро подхватил Степан, и Полетаев понял, что о Пражской конференции уже знает революционный Петербург.

Когда Степан ушел, а за ним ускользнул на улицу и Мишук, Полетаев и Анастасия Степановна остались одни.

— Дай, Настенька, чайку. Да покрепче!

— И молока?

— А что же? И молока! — Он строптиво посмотрел на улыбающуюся женщину, которая за годы совместной жизни никак не могла свыкнуться со вкусом мужа — пить крепкий чай с молоком.

Наливая серовато-бордовую жидкость в блюдце, прикусывая сахар, Николай Гурьевич говорил:

— Каждый день, Настенька, вижу две силы. Одна — это думские ораторы, кадеты, черносотенцы. Красивые, гладкие, благополучные. А ведь они мертвяки, ничего в них живого. А рядом поднимаются другие...

— Ты о Степушке?

— О нем... Еще росточек, взъерошенный, хрупкий, а посмотришь — корень у него крепкий, он — будущее.

Чай остывал, а Полетаев сидел тихо, замерев на какой-то своей новой мысли, как бы вглядываясь в то будущее, которое ему рисовалось в образе Степана Макарова, петербургского студента, социал-демократа.

...Шли годы. В огне классовых боев сыны русского про-

летариата становились парламентариями, литераторами, экономистами, дипломатами, вожаками масс... Делали то, что от них требовала партия, и раскрывались их общественные и человеческие таланты, быстро осваивали они любое незнакомое дело.

Много насчитывает наша партия скромных тружеников, прошедших через тюрьмы и ссылки, испытавших суровые лишения и проявивших свои недюжинные способности. Они были воспитаны Ильичем, они закалялись в огне трех революций. И среди борцов за победу идей Ленина ярко выделяется русоволосый человек с лучистыми серыми глазами, умный, вдумчивый, энергичный, добрый к друзьям и грозный к противникам, талантливый русский человек — большевистский парламентарий Николай Гурьевич Полетаев.

Георгий Марков

ВСЕГДА С НАМИ

Величье Родины — для воина награда
За все, что вынесла его душа!

М. Голодный

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя человека, о необыкновенной, героической жизни которого я хочу рассказать,— Павел Петрович Постышев.

Но прежде, чем начать рассказ о его жизни, я не могу не сообщить моему читателю, как, при каких обстоятельствах возник мой рассказ об этом замечательном человеке. Факт, побудивший меня написать о Постышеве, до того важен и при всей своей обычности содержит такой огромный смысл, что о нем нельзя говорить без волнения...

Произошло это летом 1958 года. Стояли знойные июльские дни. Асфальт в Москве так накалялся, что местами плавился и прилипал к подошве. Ночь не приносила прохлады. Люди изнывали от жары и торопились в отпуска, за город — одни на озера и реки, другие под тень дубов и тополей.

Моя поездка в Сибирь намечалась на сентябрь, когда на берегах Енисея и Оби, Ангары и Иртыша особенно восхитительно, но зной и духота заставили поторопиться...

И вот я в Сибири.

Исколесив сотни километров по дорогам Сибири, я приехал в далекое таежное село Уварово.

Началась та хлопотливая и напряженная работа, о которой хорошо знают все писатели: встречи с людьми, беседы,

осмотр полей, животноводческих ферм, новых построек, поездки на полевые станы, а ночью — доверительный разговор с записной книжкой, которая с каждым часом распухала, пополняясь фактами, мыслями, наблюдениями... Советская действительность... Советские люди... Неисчерпаема и прекрасна большая река народной жизни, безграничны силы, созидающие ее, великолепны звуки и краски ее живого потока!

Когда я собирался уже уехать из села, председатель сельского Совета Прохор Андрианович сказал:

— Вы не побывали еще в одном примечательном месте нашего села — у братской могилы партизан.

Да, действительно, не побыв здесь, нельзя было уезжать, так как в годы гражданской войны в Сибири крестьяне этого села внесли большой вклад в разгром колчаковщины и интервентов.

Братская могила находилась в центре села, на площади, но в некотором удалении от ее проезжей части. Еще не дойдя до могилы, я увидел, что содержится она заботливо и любовно. Обнесенный оградой, сверкавшей свежей краской, могильный холмик полыхал разноцветьем трав и цветов, на какие щедра в июле сибирская земля.

За памятником, представлявшим собой огромную каменную глыбу, увенчанную пятиконечной звездой, на одной линии стояли три молодых кедра. Они были прямые, строгие, даже чуть торжественные и, может быть, поэтому напомнили мне воинов, стоящих в почетном карауле.

Отсюда, от братской могилы, открывался изумительный вид на безбрежные просторы лугов, исчерченные серебряной росписью извилистой речки и отмеченные дымками рыбацких костров.

Не спеша я прочитал имена партизан, похороненных здесь. Их было восемь.

Кто они, эти люди? Как они погибли? Каков был их жизненный и боевой путь?

Услышав мои вопросы, Прохор Андрианович сказал:

— Все известно. Книгу мы о своих героях ведем. Сейчас пройдем в клуб, посмотрим.

Мы направились в клуб — большое двухэтажное здание, построенное колхозом всего лишь два года назад.

И тут я узнал, что в селе уже несколько лет тому назад организовался историко-краеведческий кружок, который ведет интересную исследовательскую работу.

Прохор Андрианович прежде всего показал мне альбом, на обложке которого было написано: «Во славу нашей Родины». В альбоме на простой машинке были напечатаны краткие биографии партизан, погибших в боях с белоинтервентами. В биографии героев были вклеены фотографии, уже изрядно пожелтевшие и, по-видимому, снятые со стен, на которых долго висели.

Большой раздел в альбоме посвящался участникам Великой Отечественной войны с гитлеровской Германией и империалистической Японией. Вторую половину альбома его составители отвели трудовой доблести сельчан. Здесь фотографии и вырезки из газет занимали главное место. Бегло перелистав эту часть альбома, я ничего нового для себя не нашел, видел лица людей, с которыми не раз в эти дни встречался на полях и на фермах. Среди колхозников было много прославленных мастеров своего дела, награжденных за свои успехи высокими правительственными наградами.

Заключительный раздел альбома назывался: «Летопись наиболее значительных событий в истории Уварова». Летопись начиналась краткой справкой:

«1850 год, июнь. На Уваровскую гриву прибыли переселенцы из с. Нижние Лямки Тамбовской губернии. 14 семей, 57 душ. Их встретил пасечник купца Второва Изосим Уваров».

«...Декабрь 1917 года. В село возвратились фронтовики. Создан Совет. Председателем избран правнук Изосима Уварова — Демьян Уваров».

Дальше в летописи перечислялись события, связанные с гражданской войной и партизанским движением. На одной из строчек я задержал свое внимание:

«...на митинге выступал член Центросибири Постышев».

— А вы знаете, Прохор Андрианович,— сказал я,— что представитель Центросибири Постышев — это ведь не кто иной, как Павел Петрович Постышев, видный деятель Коммунистической партии Советского Союза, один из славных бойцов ленинской гвардии?

— Вполне возможно. Правда, я думал, что это какой-то другой Постышев,— сказал Прохор Андрианович.

— Он, Павел Петрович. Я хорошо знаю его биографию. К тому же я его видел...

ПИСЬМО ИЗ УВАРОВА



Павел Петрович
ПОСТЫШЕВ
(1883—1940)

После отъезда из Уварова прошло полгода. Я опубликовал в одном из центральных журналов путевые записки о поездке по Сибири. Материал, который я собрал в Уварове, очень пригодился мне в моих очерках и занял не последнее место.

И вдруг письмо из Уварова!

Не без волнения, которое понятно каждому пишущему, я разорвал конверт.

Письмо было от Петра Степановича Терехина — учителя истории и руководителя историко-краеведческого кружка.

«Записки Ваши прочитали,— писал Терехин.— Они включены в материалы по истории Уварова. Не скрою, всех нас, уваровцев, тронуло внимание к нашей жизни. Передайте благодарность редакции журнала. Но это не все. Есть к Вам просьба. Не откажите, пожалуйста!

Когда я вернулся из отпуска, то Прохор Андрианович рассказал мне, будто Вы где-то видели Павла Петровича Постышева. Напишите об этом, хотя бы кратко. Где, когда, какое впечатление он произвел на Вас? Дело в том, что мы намерены в своем сельском лектории прослушать несколько лекций по истории нашего села и нашего края. Постышев был в нашем селе в крайне важный момент.

Попутно выскажу Вам свое убеждение (не обессудьте за отступление). Нет другой такой общественной науки, как история, которая бы таким непосредственным образом влияла на современность, на воспитание нового человека. Как без почвы немыслима никакая растительность, так немыслима современность без прошлого. И важно, чтоб прошлое не оставалось мертвым капиталом, а чтоб оно входило во всю нашу живую жизнь, как входит сила корня в буйное цветение ветвей».

В постскриптуме Петр Степанович добавил: «И знайте, ни одна строчка Вашего сообщения не пропадет. Все, все будет известно людям. Исторический факт для нас — кирпич в здание, которое мы строим сегодня. Итак, ждем, ждем очень».

На такое письмо нельзя было не откликнуться. Я положил перед собой чистый лист бумаги и задумался: когда же я видел Павла Петровича Постышева?

Это было не то в 1931, не то в 1932 году. В Москве. В здании ЦК ВЛКСМ по Ипатьевскому переулку.

Это было так...

Но тут я вспомнил, что впервые с Павлом Петровичем Постышевым я познакомился гораздо раньше. И первая встреча с ним произошла у меня на улицах... Иркутска и Хабаровска.

Вначале я приехал в Иркутск. Осматривая этот старый сибирский город, я вышел на берег Ангары в том месте, где стоит так называемый Белый дом. До революции здесь жил генерал-губернатор. После революции этот великолепный особняк, скорее даже дворец, заняла научная библиотека Иркутского государственного университета.

«Что же здесь было в годы гражданской войны?» — подумал я. Но долго мне размышлять не пришлось. На стене, возле одной из массивных колонн, висела мемориальная доска, которая рассказала мне о самом важном и драматическом событии тех грозных лет. Точным и на первый взгляд бесстрастным языком доска сообщала, что в разгар боев за установление Советской власти отряд бойцов Красной Армии во главе с группой большевиков, в которой был и Павел Петрович Постышев, вел из этого дома неравный бой с превосходящими силами контрреволюции. Несколько дней этот отряд, оказавшийся в окружении юнкерских и офицерских подразделений, стойко и героически отбивал штурм Белого дома.

Происходило это в декабре. Ледяной приангарский холод пронизывал защитников дома, ставшего советской крепостью. Не было у героев и продовольствия. Благо еще, что в начале боев была убита во дворе лошадь. Ели конское мясо, и, конечно, полусырое, так как топить печи было нечем, обломков мебели и деревянной обшивки стен губернаторского дома хватило лишь на первое время осады.

Мучило всех отсутствие воды, хотя Ангара текла рядом. Каждого бойца, посланного за водой, подстерегали пули юнкеров, засевших по обе стороны Белого дома.

Ожесточение борьбы нарастало с каждым часом. Юнкера и офицеры, желая любой ценой ликвидировать советскую

крепость в центре захваченного ими города, решили подорвать стену Белого дома со стороны главной улицы Иркутска. Но защитники крепости плотным огнем рассеяли цепи атакующих.

Красное знамя революции продолжало победно развеваться на крыше губернаторского дворца.

Неслыханный героизм, беспримерная отвага незначительного по численности отряда, воодушевляемого большевиками, помогли сводному отряду красных бойцов под командованием прославленного Сергея Лазо сокрушить сопротивление контрреволюции и овладеть Иркутском...

Как появился в Сибири Постышев? Ведь он был родом из города Иваново-Вознесенска. Тогда же обширные экспозиции Иркутского краеведческого музея дали мне на этот вопрос обстоятельный ответ...

Павел Петрович Постышев родился в 1887 году в семье рабочего. Самостоятельно начал работать с 11 лет, став впоследствии электромонтером. В 1904 году Павел Петрович вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. С первых дней своей революционной деятельности он становится пламенным ленинцем, словом и делом борется за торжество рабочего дела. В разгар революции 1905 года рабочие Иваново-Вознесенска, руководимые партийной организацией, создают в своем городе Совет рабочих депутатов. Постышев удостаивается высокой чести быть депутатом этого Совета. В 1906 году он становится членом Ивановского городского комитета РСДРП, в 1907—1908 годах он работает членом окружного бюро партии. В эти годы незаурядный пропагандистский и организаторский талант Постышева выдвигает его в число самых деятельных руководителей большевистской партии, стоящих в гуще рабочих масс. Постышев прекрасно умеет пользоваться конспирацией, сами рабочие оказывают ему в этом живейшее содействие. Но слишком значительна его роль в революционной борьбе рабочих Иваново-Вознесенского края, одного из самых промышленных районов царской империи. В 1908 году Постышева арестовали, а в 1910 году его приговаривают к трехлетней каторге, которую он отбывал во Владимирском централе.

В декабре 1912 года Постышев был отправлен на вечное поселение в Иркутскую губернию, весной 1914 года он получает разрешение переехать на жительство в Иркутск. Здесь, в Иркутске, Павел Петрович ведет активную подпольную

работу, несколько позднее он входит в состав Иркутского комитета РСДРП.

Здесь, в Восточной Сибири, он встречает известие о залпах крейсера «Аврора», о первых исторических декретах Советской власти, подписанных Лениным, которому он всегда верил, которого любил и за которым неотступно следовал. Постышев становится неутомимым строителем новой Советской республики.

Враги оказывают Советской власти отчаянное сопротивление. Они поднимаются на вооруженную борьбу с ней. И Постышев, как и тысячи других большевиков, принимает их вызов. Он не щадит ни сил, ни энергии, ни самой жизни, чтобы отстоять революцию, довести ее всемирно-историческое дело до полной победы.

Постышев на самых опасных и ответственных участках борьбы. Он рыцарь революции, ее герой, ее творец... Служение делу революции приводит его на битву с врагами в Белый дом.

Так узнал я его в Иркутске...

Но, оказавшись чуть позже в Хабаровске, я еще ближе познакомился с этим выдающимся человеком, имя которого встретил и здесь на мемориальных досках и на экспозициях музея.

Постышев приехал на Дальний Восток по поручению большевистской партии в тот самый период, когда объединенные силы мировой буржуазии поставили цель: оторвать русский Дальний Восток от страны, не допустить установления там советского строя, сделать его плацдармом для будущей борьбы с Советской Россией.

Постышев оказался в крайне сложных условиях. Впоследствии он сам подробно рассказал об этом этапе борьбы в своих воспоминаниях «Первый партизанский тунгусский отряд».

«В августе 1918 года Красноярск и Иркутск были уже заняты чехословаками,— вспоминал Павел Петрович.— Красногвардейцы отступили вместе с Центральным Исполнительным Комитетом Советов Сибири в Верхнеудинск. Чехи продолжали свое наступление. Красная гвардия все время оказывала сопротивление чехам в непрерывных боях. Особенно ожесточенные бои с чехами красногвардейские отряды вели в районе озера Байкал. Под Владивостоком уссурийские и амурские рабочие держали красный фронт против белогвардейцев.

В конце августа с фронта, из-под Владивостока, стали поступать сведения о появлении первых отрядов японских войск, прикрывающих наступление белых против красных. В то же время Совет Народных Комиссаров Дальнего Востока созвал краевой съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На этом съезде был один вопрос: что делать дальше, когда от Иркутска наступают чехи, с Владивостока белогвардейцы с помощью японцев?

...Меня и еще нескольких товарищей краевой съезд отправил на фронт с задачей организованного отвода с фронта частей, с задачей предупреждения на фронте той деморализации, которая могла быть угрожающей для самих же красногвардейцев. Но было уже поздно. Наши части отступали на колесах, а по пятам их преследовали белые войска».

Не легко и не просто было большевикам в эту пору! Но не только они сами, но и события, ход жизни работали на пользу революции. Занимая города и села, белые учиняли гнуснейшие зверства. В Хабаровске они расстреляли бывших военнопленных — мадьяр, потом группу рабочих города. В деревнях они беспощадно вешали, расстреливали, топили в прорубях совдеповцев, красногвардейцев, революционно настроенных крестьян. Они не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Стон стоял по просторам Дальнего Востока. Полыхали пожары в деревнях и рабочих поселках. Белые жгли дома непокорных.

Прошло всего лишь несколько недель, и настроение в массах резко изменилось. Люди поняли: мир на Дальнем Востоке нужно завоевать, а для этого необходимо разгромить белых и интервентов.

Особенно сильное сопротивление белым было оказано, когда они объявили мобилизацию в свою армию. Рабочая и крестьянская молодежь уклонялась от призыва в белую армию, убегала в тайгу, и, конечно, с оружием, так как без оружия в тайге нечего было делать. И сам собой вставал перед каждой кучкой молодых парней вопрос: что делать, как жить дальше?

В эти трудные дни Павел Петрович Постышев, как и многие большевики, был с народом, в самой его гуще. В течение шести месяцев он жил с семьей в маленькой деревне Шаманке.

«Настроение в пользу сопротивления белым у крестьян росло не по дням, а по часам,— вспоминал Павел Петрович.— Бродившая по тайге молодежь стала быстро откли-

каться на зов, организовываться в партизанские отряды и продолжать борьбу с белогвардейцами и интервентами за власть Советов. Так стали зарождаться партизанские отряды — первоначально маленькие, плохо вооруженные. Организация партизанских отрядов, собирание сил в эти отряды происходили очень быстро. Уже в марте 1919 года во всем Приморье насчитывалось несколько десятков партизанских отрядов. Белые стали очень осторожны, не лезли в глубь тайги, боялись отдаленных деревень, а разбросанные по линиям уссурийской и амурской железных дорог японские войска вынуждены были усиливать и укреплять свои гарнизоны по железнодорожным станциям, вынуждены были прекратить движение по железной дороге ночью и продвигали свои эшелоны по железнодорожной линии днем не иначе как с дозорными паровозами впереди».

Первый партизанский тунгусский отряд был создан при самом непосредственном участии Павла Петровича Постышева. В него вошло вначале не больше тридцати человек. Была организована отрядная «флотилия», состоявшая из обыкновенных лодок. Правда, позднее отряд раздобыл пароход и превратился в серьезную боевую силу.

Но деятельность Постышева не ограничивалась одним тунгусским отрядом. Всю свою кипучую энергию он отдавал объединению партизанских отрядов, укреплял в них дисциплину и порядок, повышал политическую сознательность каждого бойца. Никогда и нигде он не уклонялся от трудностей, смело шел навстречу опасностям, которые подстерегали его на каждом шагу. Он работает комиссаром юстиции и уполномоченным Центрального Комитета РКП(б) в Хабаровском районе, в течение двух лет ведет большую политическую работу в Приамурском военном округе. Создание регулярной Красной Армии на Дальнем Востоке связано с его именем. Павел Петрович был участником знаменитых боев при взятии Волочаевки, в которых воины Красной Армии проявили чудеса героизма и отваги.

Для Постышева — большевика и руководителя этих лет — характерна та же черта, которая проявилась в нем в первые годы его революционной деятельности в Иваново-Вознесенске: он пламенный ленинец, его выступления, все его действия пронизаны духом ленинизма, горячим желанием провести ленинскую линию в каждом деле — большом и малом.

Условия, в которых работали большевики на Дальнем

Востоке в эти годы, были очень сложными. Создание в 1920 году по директиве В. И. Ленина буферного государства ДВР (Дальневосточной Республики), государства по форме буржуазно-демократического, но руководимого большевиками, было замечательным воплощением ленинской стратегии. Благодаря этому шагу Советской стране удалось избежать войны с Японией в невыгодных для Советской России обстоятельствах. Осуществление этой дальновидной ленинской политики требовало от большевиков глубокой убежденности в правоте своих действий, ясности в понимании стоящих перед ними задач, зоркости и гибкости в подходе к решению практических вопросов текущей жизни.

Павел Петрович Постышев был поистине неутомимым пропагандистом-борцом за торжество идей Ленина в жизни...

Таким я узнал Постышева в Хабаровске...

А в Москве я видел его так: в ЦК ВЛКСМ проходило совещание комсомольских работников. Оно было посвящено улучшению воспитательной работы среди рабочей молодежи. Выступавшие товарищи рассказывали о том, что делается в этом направлении, критиковали свои упущения, указывали на недостатки в работе других организаций. Я участвовал на этом совещании в качестве представителя западно-сибирской краевой комсомольской организации.

В разгар этой беседы, проходившей под председательством секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, в зал вошел Павел Петрович Постышев. В президиуме началось движение, так как товарищам, естественно, хотелось усадить Павла Петровича на самое почетное место. Но он нетерпеливо замахал рукой, указывая, что поднявшийся шум мешает оратору, прошел в крайний ряд и там сел, оказавшись несколько в отдалении от других товарищей.

В ту пору Павел Петрович был секретарем Центрального Комитета партии и очень живо интересовался работой комсомола.

Все мы, участники этого совещания, внимательно наблюдали за Постышевым. Вид у него был утомленный, лицо бледное, плечи опущенные, но живые, внимательные, как бы вбиравшие в себя весь окружающий мир глаза говорили о жизнелюбивом и деятельном характере этого человека.

Кто-то из художников слова высказал очень верное наблюдение: каждый истинно большой человек обнаруживается по своему интересу к другому, по своему умению слушать других.

Постышев не просто слушал выступления, он в этот момент как бы входил и погружался в ту жизнь, о которой рассказывали комсомольские работники с мест. Чувствовалось, что, о чем бы они ни говорили: о строительстве новых очагов культуры в рабочих поселках, о неустроенности общежитий рабочей молодежи, о растущем интересе к техническим знаниям, о фактах хулиганства среди молодежи, о нехватке книг художественной литературы в библиотеках,— все, все интересовало его, волновало, заставляло думать и переживать. Большое и щедрое в своей доброте к людям сердце этого человека было обнажено и чутко улавливало нужды и запросы людей, строящих новый мир.

Пристальное внимание и глубокая заинтересованность ко всему, о чем говорилось на совещании, как бы незримо излучавшиеся от Постышева, придавали всему этому разговору какой-то особенно доверительный и душевный тон. Каждый из выступавших подпадал под воздействие этой истинно дружеской и деловой атмосферы и в свое выступление вкладывал максимум искренности, умения и опыта жизни.

В перерыв комсомольцы окружили Павла Петровича.

— Хороший у вас разговор идет. Очень сожалею, что не могу еще побыть у вас.— Он помолчал, обвел окруживших его комсомольцев приветливым взглядом и, как бы желая, чтоб каждый из нас понял, что он действительно уходит с сожалением, сказал:

— Еду к товарищу Сталину. До свидания, ребята!

И он ушел, оставив в каждом из нас незабываемое, светлое ощущение встречи с большим человеком.

Он ушел. И разве кто-нибудь мог подумать в ту минуту, что пройдет несколько лет и в 1940 году этот замечательный большевик, несгибаемый ленинец станет жертвой произвола, сложившегося в условиях культа личности Сталина.

...Вот таким я узнал Постышева, таким его увидел собственными глазами, таким он был в жизни.

СНОВА ПИСЬМО ИЗ УВАРОВА

Прошло три года после моей первой поездки в Уварово. Много значительных событий прошумело за эти годы. Состоялся XXII съезд КПСС, на котором мне, как делегату, выпало великое счастье голосовать за программу построения коммунистического общества в нашей стране.

XXII съезд КПСС поддержал и развил дальше линию XX съезда, осудившего культ личности и наметившего меры по восстановлению ленинских норм в партийной и общественной жизни.

Десятки, сотни, тысячи честных имен бойцов ленинской партии были как бы подняты из небытия и возвращены народу, партии, истории.

Благородное имя Павла Петровича Постышева снова заняло свое достойное место в ряду рыцарей революции, в когорте выдающихся деятелей ленинской гвардии. В печати появились статьи и очерки о его самоотверженной жизни. Трудящиеся нашей страны получили возможность снова читать книжку самого Постышева «Из прошлого», объединившую его рассказы о жизни рабочих и его воспоминания о гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке.

И какой же дорогой, бесценной оказалась весточка, пришедшая в эти дни из Уварова! Она подчеркивала всю великую правоту происшедших после XX съезда КПСС перемен. Писал Петр Степанович Терехин.

«Ваше письмо о Постышеве получили. Пригодилось оно нам в нашей работе. Лекции вызвали большой интерес.

Историко-краеведческий кружок, сделав свое дело, уступил свое место новому начинанию. Мы создали на общественных началах историко-краеведческий музей. Его экспозиции заняли две комнаты и фойе Дома культуры. Музей возглавляет научный совет, в который вошли помимо учителей агрономы колхоза и многие знакомые вам по колхозу товарищи. Намечен план исследований. Возможно, возникнет книга по истории края.

На видном месте вывешен портрет П. П. Постышева. И вы знаете, кто художник? Прохор Андрианович! Портрет удачен и будет выставлен на областной выставке самодеятельных художников. П. П. Постышев изображен в момент выступления перед крестьянами Уварова в годы гражданской войны. Очень хорошо выписана фигура, выражение его лица возвышенное, торжественное, рука вскинута, и этот жест хорошо передает призыв идти в будущее. Короче сказать: удачно, как живой...»

Как живой... Именно так! Пример большевика-ленинца Постышева, отдавшего без остатка свою прекрасную жизнь делу партии, счастью народа, торжеству коммунизма, бессмертен. Постышев всегда с нами, как живой...

Александр Мельников

ХРАНИТЕЛЬ ПАРТИЙНЫХ ТАЙН

Умирая, не умрет герой —
Мужество останется в веках.
Имя прославляй свое борьбой,
Чтоб оно не молкло на устах!

М. Джалиль

В один из октябрьских дней 1905 года по перрону Ярославского вокзала Москвы шли двое приезжих. И это было необычным. Откуда они взялись? Как могли проехать по железной дороге? Ведь уже дней десять замерло движение на рельсовых путях всей страны. Транспорт парализован забастовкой. Редко-редко появляются на линии паровозы с одним-двумя вагонами. То едут по своим делам члены стачечного комитета какой-либо станции, узла или дороги. Наверное, с такой-то оказией и пробрались эти двое из Вологды в Москву.

Один из них — Степан Иванович Радченко. Это человек лет тридцати пяти. У него довольно пышная шевелюра и густые усы. Высокий лоб и внимательный, пристальный взгляд светлых глаз изобличает в нем интеллигента. А в ладной фигуре угадывается какая-то мужицкая крепость, сила. Лицо его чем-то напоминает лицо моряка, который перенес на своем веку много штормов и бурь. Видно, этого человека порядком била и трепала жизнь. Не зря ведь морщины уже перечертили его лоб и подобрались к усам.

И сейчас не шуточные дела привели его в Москву. От успеха их зависят судьбы и жизни многих людей большого северного города. Поэтому Радченко так озабочен и настороженен. Впрочем, он, пожалуй, всегда таков — собранный, подтянутый.

Вместе со своим товарищем (имя его до нас не дошло) выходит он из здания вокзала. Путников поражает несвойственная большому городу тишина. Всегда оживленная и шумная, привокзальная площадь безлюдна. На краю ее уныло маячат всего две-три пролетки. Кучера выглядят както странно, непривычно. Они одеты не как ямщики, а кто в чем придется. На промысел, значит, выехали сами хозяева, а извозчики тоже бастуют.

— Ну, вот и эти сермяжные взялись за ум,— весело сказал один из приезжих.

— Водоворот революции втянет небось еще и не таких серых,— отозвался другой.

Продолжая разговаривать, они уселись в фаэтон. Неуклюжий экипаж потащился по улицам Москвы. И они увидели: не дымятся трубы заводов и фабрик, не двигаются вагоны трамвая и конки, не горят в окнах и витринах электрические лампы. Центральные улицы пустынны, тихи. Зато на заводской окраине совсем иной ритм жизни. Всюду группы возбужденных рабочих, смятение.

Приезжие выскакивают из пролетки, подходят к столпившимся людям, прислушиваются к разговорам. Начинают понимать, что стряслось чудовищное, невероятное. Совершено злодейское убийство. Поэтому и бурлит рабочая застава.

— Кого же убили? Когда? — допытывается Степан Иванович.

— Неужто не знаете? — со слезами на глазах отвечает старая женщина.— Неужто не слышали! Нашего Баумана...— и не кончает фразы.

Но кто-то еще, рядом с ней, добавляет:

— Его ударил железякой по голове черносотенный гад...

— Да когда же это было? — вырывается у Радченко.

— Позавчера пополудни...

Степан Иванович сражен этой страшной вестью. Какая потеря! Какая невосполнимая утрата! Значит, и здесь, в Москве, орудует реакция. Его самого прислали из Вологды как раз потому, что и там черносотенцы распоясались вовсю. На другой же день после выхода манифеста 17 октября они убили нескольких рабочих, ранили человек десять, разбили стекла в здании, где проходил массовый митинг. Они задумали расправиться со всеми вологодскими революционерами. Необходима против этих бандитов надежная защита. Нужно оружие.

За оружием-то и снарядили его в Москву вологодские большевики. И мешкать нельзя. Дорог каждый день, каждый час. Его задержка в Москве может увеличить число жертв в Вологде.

Степан Иванович понимает, что на заставе ему сейчас оружия не раздобыть. Конечно, местным партийцам не до него. У них много своих забот: похороны Баумана, организация отпора новым провокациям контрреволюционеров, работа среди стачечников. И он направляется в торговые кварталы — может быть, там удастся найти винтовки. Он долго бродит по магазинам и складам и наконец достает винчестеры, наганы, смитветсоны. Все это упаковывается и отправляется в Вологду в качестве обычного груза с надписью «Не кантовать».

Так вологодские рабочие дружины получили оружие. Это лишь один из многих, заурядный эпизод боевой и трудной жизни Степана Радченко.

Детство его прошло как будто безмятежно, в обыкновенном уездном городке Черниговской губернии. Здесь несколько крохотных заводиков: пивоваренный, свечной да кирпичный. Есть и небольшие железнодорожные мастерские. Кое-кто из горожан работает на стройках.

Небольшими строительными подрядами перебивался и отец Степана. Продажа мелких партий леса позволяла ему с грехом пополам сводить концы с концами. Семья-то большущая: одиннадцать малолеток. Степа — второй по возрасту. Это паренек толковый, смышленый. Отец решает дать ему хорошее образование и посылает учиться в Киев, в реальное училище. Но вскоре молодой реалист получает из дому телеграмму: отец упал с крыши и разбился насмерть.

Семья лишилась кормильца. Степан доучивается уже на «медные деньги». Частные уроки, чертежные работы — скудные источники его существования. Часть жалкого заработка ему необходимо отправлять матери.

После окончания училища не легко удается ему проникнуть за заветные двери Петербургского технологического института. И вот он студент. Проявляет недюжинные способности. Курсовые его проекты особо отмечаются маститыми профессорами. Много оригинальных решений. Силен в математических расчетах. Не за горами блестящая карьера инженера или ученого. Что еще желать лучшего? Есть лучшее! Студенты-технологи — народ горячий, живой. Они проходят практику на промышленных предприятиях, вплотную

сталкиваются с людьми труда, узнают о положении рабочих, присматриваются к пролетарскому движению. Некоторые принимаются за политическую экономию, за изучение «Капитала» Маркса.



Степан Иванович РАДЧЕНКО (1869—1911)

Пытливая молодежь находит друг друга. Общие интересы толкают к объединению. Степан Радченко участвует в первых нелегальных студенческих кружках. Вместе с товарищами он налаживает связи на заводах и фабриках, составляет и распространяет листки. Летом 1893 года его арестовывают. Из-за отсутствия прямых улик скоро выпускают из дома предварительного заключения.

Он восстанавливает революционную группу студентов-технологов. Привлекает в нее слушательниц Высших женских бестужевских курсов Н. К. Крупскую, З. П. Невзорову... Дело начинает опять двигаться, расти. Формируются пролетарские кружки, налаживается пропаганда. А как толково действуют «бестужевки»! Особенно Крупская.

И все-таки Степан Радченко испытывает какое-то смутное чувство неудовлетворенности. Что-то сковывает внутренние силы его группы, что-то мешает слить энтузиазм юных революционеров с устремлениями самих пролетариев. Он, может быть, так бы и не раскрыл причины этого, если бы не одна знаменательная встреча. Она произошла в сентябре 1893 года.

В Петербург приехал откуда-то с берегов Волги молодой адвокат В. И. Ульянов. Он вступил в группу технологов и внес новую струю, новые веяния. По его предложению на собраниях подпольного коллектива обсуждаются теперь отчеты пропагандистов. И это сказывается на пропаганде: она становится более жизненной, действенной.

Инициативный волжанин подсказывает ценную мысль — взяться за изучение хозяйственного развития России. Этой идеей загорается и Степан Иванович. Он шлет брату на родину письмо с просьбой найти и прислать ему в Петербург статистические сборники по Черниговской и Полтавской губерниям. Он, как и другие технологи-марксисты, готовит

экономический реферат. Такие сообщения предназначаются для обсуждения на групповых собраниях.

Очередная встреча столичных социал-демократов намечена у Радченко. Он уже женился. На улице 5-я рота (ныне 5-я Красноармейская) снял квартиру. Выбирал ее тщательно. Помнил о «всевидящем глазе и всеслышащих ушах» господ в голубых жандармских мундирах.

Квартира отдельная. Совершенно отдельная! И это придало ей особую ценность в глазах всех подпольщиков. Здесь-то в один из октябрьских вечеров 1893 года Радченко и его жена Любовь Николаевна встречали гостей. Приветливо улыбаясь, они приглашали размещаться где кому нравится. Народ рассаживался за длинным чайным столом. Владимир Ильич поместился в сторонке, в тени.

Докладчик Г. Б. Красин зачитал составленный заранее текст. В нем шла речь о внутреннем рынке, о наличии в России условий для развития капитализма. Этот вопрос вызывал в те времена ожесточенные споры. Но Красин не внес в него ясности.

Тогда выступил Ульянов. Он подошел к столу, и свет лампы тотчас осветил его большой, крутой лоб и кольца чуть-чуть рыжеватых волос и энергичное, волевое лицо. Спокойно, веско, стараясь не задевать докладчика, он говорил, что реферат бьет мимо цели. Дело вовсе не в том, чтобы констатировать неизбежность капитализма в нашей стране. Важно показать, как он здесь развивается. И, главное, подходить-то к экономическим процессам следует с классовой точки зрения.

— Мы должны заботиться не о рынках,— сказал он в заключение,— а об организации рабочего движения в России, о рынках же позаботится наша буржуазия.

Неотрывно смотрит Степан Радченко на оратора-оппонента. Ясно и четко разъясняет Владимир Ильич сложнейшую проблему, точно определяет задачи. В его словах целая программа.

Да, хозяину квартиры, где происходит это собрание, особенно повезло. Он может с гордостью сказать, что на заре пролетарского движения в России стал верным помощником замечательного, выдающегося марксиста. Видно, Ульянов сразу распознал в нем истинного революционера.

Владимир Ильич доверяет ему самые сокровенные тайны. Знакомит со своей еще незавершенной книгой «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-де-

мократов?» Затем передает ее окончательный текст. Это рукопись. Ее надо напечатать. Но как? Где? Подпольной типографии у питерских марксистов нет.

Степан Радченко вспоминает: газеты сообщают о новом изобретении — мимеографе. Но — какая досада! — ни в магазинах, ни на складах нет пока еще этого множительного аппарата. Как же быть? Существует еще такое приспособление — гектограф. Человек с высшим техническим образованием знает, конечно, что греческое «гекто» означает сто. Значит, решает Степан Радченко, надо наладить это приспособление и получить сто копий. Это ведь не так мало.

Дипломированный инженер становится плотником и слесарем. Мастерит гектограф. Затем он химик. Погружается в мир формул и рецептов, варит клеевую массу и особые чернила — из метилвиолета, спирта и глицерина. Этими стойкими чернилами переписывается вся рукопись Ульянова наново. Теперь Степан Радченко превращается в печатника. На клеевое желе, заполнившее приземистый и широкий ящик, он помещает аккуратно переписанную страницу, немного придавливает ее, и строчки четко отпечатываются на эластичной поверхности. На эту поверхность он помещает чистую бумагу. Легкий нажим, и на белоснежной странице остается оттиск.

Первый оттиск готов. Но это всего лишь одна сторона одного листа. А таких листов в книге Ульянова не один десяток. И с каждым нужно возиться так же кропотливо и скрупулезно. Четверо студентов-технологов помогают ему.

— Осторожней, друзья,— поминутно напоминает он,— сильно не давите!

— Мы и так чуть-чуть!

— А вы еще легче, мягче. Помните: буквы на гектографической массе стираются.

Горка отпечатанных листов растет. А высокий, сутулый юноша, молчаливый, как утюг, относит их пачками на Троицкий проспект (ныне улица Москвиной), где в доме номер 3 живут М. А. Сильвин и А. А. Ванеев. Они складывают страницы по порядку номеров и сброшюровывают их. «Утюг» и его напарник все время курсируют между квартирой Радченко и Троицким проспектом.

Но примитивный стереотип постепенно утрачивает нанесенные на него буквенные изображения. Удается оттиснуть лишь пятьдесят копий. Но и это победа. С гордостью держит

в своих руках Степан Радченко готовую книжку. О чем он думает сейчас? Наверное, о том, как нужна эта небольшая брошюра российским социал-демократам, какой ей предстоит большой путь.

А Владимир Ильич уже вовлекает его в новое серьезное дело. Созрела мысль выпустить совместно с «легальными марксистами» сборник статей против народников. В редакцию этого сборника он вводит Радченко. На инженера-технолога опять ложатся обязанности, отнюдь не связанные с его инженерной специальностью. Это — литературные и издательские хлопоты. А их тьма-тьмущая. Сложны переговоры с «легальными марксистами». Много серьезных расхождений. Часто разгораются споры. Порой они длятся по нескольку дней.

Ульянов разит противника «тяжелой артиллерией» фактов и цифр, статистических выкладок и живых примеров. Жадно вслушивается Степан Радченко в его речи. Он поражается, как глубоко этот человек проник в самое существо марксистской теории, как искусно применяет ее к российской действительности. Вот у кого надо учиться! И он учится. Общение с Ульяновым — это целый университет, высшая школа научного коммунизма.

Ильич видит, как идейно растет вдумчивый революционер, как развертывается его организаторский талант. Он вверяет ему еще одну свою тайную мысль:

— Не подошло ли время слить все марксистские силы столицы, создать единую политическую организацию?

— Да, конечно, пора! — радостно соглашается Радченко.

По поручению Владимира Ильича он берется за созыв социал-демократической братии столицы.

Степан Радченко приглашает к себе на квартиру представителей революционных групп Петербурга. Он недавно перебрался с улицы 5-я рота на Симбирскую, в дом номер 12. И нет, пожалуй, в городе лучшего места для тайного собрания. Высокий по тем временам служебный пост съемщика квартиры — инженер Николаевской железной дороги — играет роль своеобразного громоотвода от непрошенных визитеров из охранного отделения.

В назначенный час в новом жилище супругов Радченко появляется коренастый, белокурый А. А. Ванеев вместе со своим неизменным другом — нервным и подвижным М. А. Сильвиным. За ними приходит широкоплечий, кудластый П. К. Запорожец. Спустя несколько минут зво-

нит З. П. Невзорова, сопровождаемая своим верным рыцарем Г. М. Кржижановским. Все шумней и людней становится в квартире. Вот показывается в дверях изящный брюнет А. Л. Малченко. За ним входит миловидная и несколько бледная Н. К. Крупская.

— А где же Ильич?

Оказывается, он уже в комнатах. Ухитрился как-то незаметно проскользнуть.

— Ну, кажется, все?

— Пора начинать!

— Начинаем!

И опять, как уже было не раз, собравшихся покоряет выступление Ульянова. Как всегда, он говорит ярко, живо, убедительно. Он всматривается в хорошо знакомые лица. Он улавливает в них отблеск своих слов и идей. Напряженный, как стрела, сидит на краешке стула Г. М. Кржижановский. Затих «вечный двигатель» М. А. Сильвин. Замерли на своих местах Н. К. Крупская и П. К. Запорожец, З. П. Невзорова и другие. А хозяин дома преисполнен забот. В деловой суете он, возможно, сразу и не ощутил величие того, что происходит в его комнатах. А ведь принято историческое решение — образовать общегородскую социал-демократическую организацию. Определены обязанности всех ее членов.

На долю Степана Радченко выпадает роль хранителя тайн. Он должен оберегать, поддерживать и расширять связи с революционными группами других городов. В его ведении также все хозяйство «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (так стала позже называться новая организация питерских марксистов): финансы и техника, печать и архив. Круг его обязанностей широк и разнообразен. Ему надлежит наладить подпольную типографию и регулярный выпуск листовок. На его попечении пополнение партийной кассы и переписка с заграницей. Он также полномочный представитель «Союза борьбы» в «дипломатических сношениях» с различными обществами студентов, литераторов, культурных деятелей.

Его квартира на Симбирской улице по-прежнему место важных встреч и совещаний. Здесь нередко бывает Ульянов. Общение с Владимиром Ильичем безгранично обогащает ветерана-подпольщика, помогает ему в совершенстве овладеть искусством конспирации. Поэтому примитивная техника в руках Радченко творит чудеса: поток листовок

«Союза борьбы» непрестанно идет на питерские окраины, на заводы, фабрики, в мастерские.

Но в самый разгар этой кипучей деятельности полиция схватывает (в ночь с 8 на 9 декабря 1895 года) Ульянова и многих его соратников. Печальная весть быстро доходит до столичных рабочих. Питомец Крупской по воскресной школе И. В. Бабушкин составляет вместе с товарищами листовку о злодейском аресте. Он просит передать этот пролетарский протест в «технику» для напечатания. И Надежда Константиновна приносит странички, дышащие болью и гневом, Степану Радченко. В его квартире собираются все, кто уцелел от полицейского разгрома. Обидно и горько — торжествуют царские власти, не известна судьба арестованных, но мнение у всех одно: листовку, что написали рабочие, надо размножить! Революционную работу надо во что бы то ни стало продолжать!

И она продолжается. Руководит ею Степан Радченко — самый опытный и авторитетный ветеран среди питерских социал-демократов. «Союз борьбы» по-прежнему держит крепкий контакт с крупнейшими заводами и фабриками, снабжает их листовками, посылает на них пропагандистов. Ульянов из тюремного каземата передает своим соратникам указания, советы. Он пересылает написанные им в камере прокламации. Степан Радченко издает их в подпольной типографии.

Ленинские листовки попадают в предместья столицы. Начинаются забастовки текстильщиков. Они охватывают двадцать четыре предприятия. Чиновничий Петербург напуган, потрясен.

А Степан Радченко и его товарищи торжествуют: растет революционная активность масс, многие рабочие заявляют о своем желании вступить в «Союз борьбы», более близко участвовать в его деятельности.

Столичная полиция усиливает слежку за революционерами, оставшимися на свободе. Аресты следуют один за другим. Все более и более сужается руководящее ядро «Союза борьбы». Под прицелом охранки и Радченко. Жандармы стремятся не выпускать его из поля зрения. В «листках негласного надзора» отмечаются результаты наблюдения за ним филеров. Я видел эти «листки» в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Они разного цвета, заполнены в разное время и разными почерками. В одном лишь они удивительно схожи. В графе «Сведения, получен-

ные при наблюдении» записана одна и та же фраза: «В образе жизни ничего предосудительного в политическом отношении не замечено».

А ведь писали сыщики тогда, когда Радченко был в самом центре работы питерских социал-демократов. Вокруг него все кипело, пенилось. Кое о чем догадывались филеры Но придраться им было не к чему. Обыски в квартире Радченко не давали оснований для ареста. И все-таки 23 августа 1896 года за Степаном Ивановичем приехали жандармы. Его отвезли в дом предварительного заключения. Здесь уже около девяти месяцев находился Владимир Ильич. С помощью тайнописи он ухитрялся иметь связь с узниками других камер. Очень скоро узнал он поэтому и о новом арестанте, и о том, где его поместили. Во время прогулки по двору «предварилки» Владимир Ильич «ручным телеграфом» — пальцами по тюремной азбуке — передал Г. М. Кржижановскому:

— Под тобой Хохол!

Хохол — это одна из кличек Радченко. Кржижановский понял, кто находится под его одиночкой. Через трубу отопления он начал разговаривать со Степаном Ивановичем. Так новый заключенный получил полное представление о показаниях ранее арестованных товарищей. Когда его вызывали на допросы, он держался тех же версий, что и другие, отрицал свою принадлежность к «преступному сообществу».

Прошло три месяца. Данных для обвинения Радченко так и не нашлось Он получил свободу. Однако слежка не прекращалась. Обыски на его квартире проводились чуть ли не ежемесячно. Чтобы сохранить все связи с другими городами и с заграницей, он еще глубже ушел в подполье. Ему приходится тяжело. Надо держаться на отшибе от тех, кто в самой гуще масс, в водовороте рабочих сходок, протестов, стачек. В жизни такого человека все должно быть безукоризненно, через какой бы полицейский «телескоп» она ни просматривалась. Все должно быть тихо, спокойно.

И вдруг в эту тишь буйно врывается нежданно-негаданно радость. Степан Радченко опять встречается с Ульяновым. Владимир Ильич после четырнадцати месяцев тюремного заключения бледен и худ. Но глаза задорны. Он по-прежнему энергичен, деятелен. Сейчас ему разрешено пробыть в Петербурге несколько дней. А затем три года ссылки в Восточную Сибирь. Но впереди не только ссылка. Впереди целая

жизнь, классовые бои, революции. К ним надо готовиться уже сейчас.

Ильич считает, что столичным социал-демократам следует немедля собраться. А где? Разумеется, у Радченко. Его квартира теперь на Выборгской стороне по Большому Сампсониевскому проспекту в доме номер 16. Сюда-то и приходят товарищи.

Владимир Ильич требует упрочить «Союз борьбы», рисует картину боевой организации революционеров. Его речь дышит каким-то неистребимым, неиссякаемым, могучим оптимизмом. Не в первый раз слушает Степан Радченко этого необыкновенного человека.

Кажется, поэт Батюшков сказал:

О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной!

Именно «памятью сердца» вбирал в себя Степан Радченко слова и мысли Ильича. Но встреча очень коротка. 17 февраля 1897 года Ленин отправился в ссылку. У хранителя партийных тайн опять пошли будни. Клубок связей, который он тщательно оберегал, приводит к нему людей из разных городов. Начинается серьезный разговор о созыве съезда партии. А от разговора до практического шага у истинных революционеров дистанция невелика. И вот уже питерские социал-демократы избирают его своим делегатом на съезд.

Филеры неустанно следят за его квартирой, за каждым его перемещением в столице. Но недаром пройдена ленинская школа конспирации. Он ускользает от наблюдения. Приезжает в Минск. С небольшим опозданием открывает двери комнаты, где проводится первый съезд РСДРП. Его обступают, расспрашивают. Еще бы! Представитель петербургского «Союза борьбы».

Степану Ивановичу поручают позаботиться о выработке «Манифеста». Этот программный документ должен провозгласить образование партии. И Радченко находит кого можно привлечь к составлению «Манифеста». Он сам диктует отдельные его положения, вносит исправления и дополнения в важнейшие формулировки.

Через короткое время задание съезда выполнено. Но партия все же еще не создана. Тотчас после съезда полиция схватила почти всех его участников, разгромила местные организации в двадцати семи городах. Хранитель партийных тайн от ареста уцелел, но, чтобы сохранить все подпольные связи и явки, документы и «технику», он вынужден свер-

нуть свою работу, уйти в тень. Это его гнетет, давит. Он мечтает о новых революционных боях, об открытой борьбе с самодержавием и капиталом. Но пока что приходится терпеливо выжидать.

Ульянов возвращается из ссылки. По всей стране собирает он кадры революционеров-профессионалов для «Искры». И конечно, своего испытанного соратника и ученика Степана Радченко он приглашает в Псков на совещание, где обсуждается организация этой нелегальной газеты. Затем хранитель партийных тайн занимается транспортировкой нового издания, распространением его по Петербургу и провинции.

Основатель «Искры» еще раз видит, как предан революции этот скромный человек, как хорошо он умеет расставить людей, наладить дело. В апреле 1901 года пишет Степану Ивановичу из Мюнхена в Петербург: «Получил Ваше письмо. Ваш способ распространения литературы вполне одобряем и советуем строго держаться его, не слушая ничьих советов и наветов». Ульянов добавляет: действуйте по вашему усмотрению.

В искровской работе опять во всю ширь развертывается организаторский талант Степана Ивановича. Только тюрьма отрывает его от любимого дела. В декабре 1901 года он попадает в дом предварительного заключения. Оттуда — в московскую Бутырку. Из Бутырки — в киевскую Лукьяновку. Однако и на сей раз нет против него прямых улик. Через пять месяцев после ареста его освобождают из-под стражи. Над ним устанавливается гласный надзор полиции. Значит, опять приходится свернуть свою революционную деятельность.

Царские власти не оставляют его в покое. Вскоре он получает приговор — высылка на жительство в Вологду на пять лет. И в ссылке Радченко все тот же. Нет уема этому горячему сердцу. Он выступает перед ссыльными с докладами, организует боевые дружины. А когда грянула буря 1905 года, привозит из Москвы оружие. Банды вологодских черносотенцев получают от рабочих решительный отпор.

Революция приносит Степану Радченко, как и другим политическим ссыльным, амнистию. Он свободен. Но какая-то пружина в его организме уже перетерта, надломлена. Болезни схватывают его, цепко держат, подолгу мучают. В августе 1911 года от острого суставного ревматизма и общего заражения крови погиб ленинский хранитель тайн.

Лев Кассиль

СЫН ЛАТЫШСКОГО БАТРАКА

Вот я победителем стою
У подножия тысячелетий.
Э. Межелайтис

Для нас, бывших в первые послеоктябрьские годы волжскими мальчишками, шумливой береговой вольницей, пролетарская революция явилась с красным флагом на пароходной мачте. Революция пришла к нам на Волгу с пулеметной лентой на бушлате молодого речника, с алым бантом на скромной тужурке старого капитана, с новыми волнующими названиями, начертанными на колесных кожухах и бортах давно нам знакомых пароходов и теплоходов. И со всем этим вошло в звучание Октябрьской революции на родной мне Волге имя Рудзутака.

Кончилась голодная и студеная зима 1918/19 года. Линиями фронтов гражданской войны были пересечены многие железные дороги, а на волжских пристанях лежали без движения запасы хлеба, топлива. Сам Владимир Ильич Ленин занимался вопросом о срочном использовании Волги, по которой нужные грузы могли бы следовать к терпевшим лютую нужду Москве и Петрограду. Но пока эти грузы не шли. Волгари с горечью смотрели на заржавевшие, обкорябанные и подчас беспомощные и неподвижные суда. Не хватало топлива...

И вот заговорили о Главводе. Тогда и услышали мы впервые о Рудзутаке, Яне Эрнестовиче, председателе Верховной коллегии Главного управления водного транспорта.

— К нам главвод прибывает! — раздавались возгласы речников, старых волгарей и водницкой молодежи.— Сам главвод — Рудзутак. От Ленина!

Он приплыл к нам на обычном рейсовом пароходе. И его видели всюду: на пристанях, на буксирах, на старых нефтянках, на сухогрузных баржах. Поблескивая стеклами пенсне, которое, как нам тогда казалось, было необычным для главного ленинского комиссара над всеми реками и судами страны, Рудзутак негромким и спокойным голосом расспрашивал капитанов, матросов, механиков, грузчиков об их жизни, нуждах, заботах. Он интересовался всеми подробностями, настойчиво, но без начальнического нажима, взыскательно и в то же время участливо разузнавал о всех делах волжского транспорта. И мы, тогдашние подростки, с благоговением смотрели на этого спокойного, точного в словах и в каждом движении своем человека. Ведь это революция, Ленин направили его наводить нужный порядок на Волге, смешавшей свои вольные струи с кровью людей.

От знакомых водников, мужественно гнавших грузы, необходимые революции, с Нижней Волги и Каспия вверх по реке, мы слышали рассказы о том, как Рудзутак приплыл в Астрахань, пришел к речникам и сказал:

— Товарищи! Владимир Ильич возлагает на вас огромные надежды. Рабочие Москвы, Питера и других промышленных центров голодают, многие железные дороги бездействуют. В ваших руках судьба революции.

Рассказывали, что от имени речников председателю Главвода отвечал капитан парохода «Стрежень»:

— Передайте Владимиру Ильичу, передайте товарищу Ленину, что волгари не подведут. Верно я говорю, товарищи?

И волгари не подвели. Хотя им иной раз приходилось вести свои суда и под обстрелом белогвардейцев.

Передавали потом, что Рудзутак тяжело заболел, что злая чахотка, которую он когда-то заимел в царской тюрьме, снова дала знать о себе. Но Рудзутак старался скрывать от всех свою болезнь. Он отправился обратно в Москву лишь тогда, когда дело наладилось и пошли по Волге пароходы с котлами на дровах, транспорты с грузами, которых так жаждала Москва, которых так ждал Петроград.

Некоторым моим сверстникам посчастливилось еще раз увидеть ленинского главвода, когда он, больной, исхудавший, с трудом удерживал себя в плетеном кресле, специ-

ально поставленном для него на палубе парохода... Сидел и смотрел внимательно на берега, на обгоняемые буксиры, которые, хлопая разбитыми плитцами по воде, волокли перегруженные баржи.

Ян Эрнестович выполнил большое дело, доверенное ему революцией.

Мы тогда еще не знали биографии Рудзутака. Лишь много лет спустя, когда его давно уже не было в живых, когда в наших журналах, газетах и отдельных брошюрах, посвященных ему, восстановили правду о прекрасной жизни этого революционера, стали нам известны все подробности ее.

* *
*

Он родился в семье латышского батрака, на хуторе Цауни, в Курляндии, недалеко от Риги. Всего лишь два класса начальной школы довелось пройти ему, а потом нужда послала его, как и отца, батрачить у местного кулака. Маленький Ян стал свинопасом. Хозяин попался грубый, жестокий. За малейшую провинность, за любой, самый пустяковый недосмотр на мальчишку сыпались оплеухи. Год от года все горше жилось мальчугану, все нестерпимее и обиднее становились хозяйские расправы. Мальчик рос, и муки, которые раньше казались лишь физическими, теперь уже терзали душу, созревавшее сознание юноши. Он больше не мог мириться с такой жизнью.

Яну было шестнадцать лет, когда он убежал в Ригу. Сначала мостил улицы, потом помогал садовнику.

А затем подвернулась временная работа грузчика в театре...

Нет, дело это не освещали заманчивые огни театральной рампы и не венчали аплодисменты признательных зрителей. Но все же здесь, совсем рядом, жило искусство, полное страстей и манящих к себе высоких человеческих мыслей. И русоголовый юноша с хутора Цауни полюбил его на всю жизнь.

Конечно, одно искусство в те годы не могло открыть юноше путь к справедливой жизни. О борьбе за такую желанную жизнь, о тех, кто ведет отважно тайную битву против угнетения народа, Ян услышал позднее. Он работал тогда на инструментальном заводе акционерного общества «Отто Эрбе». Труд и здесь был столь же изнурителен и без-

радостен, как у кулака на хуторе, но люди не хотели смиряться со своим рабским положением.

От товарищей по работе Ян впервые услышал о каких-то социал-демократах. Говорили, что они-то и ведут борьбу за лучшую долю трудящихся, призывают рабочих сплотиться, организованно выступать против хозяев-капиталистов. Что же это были за люди?



Ян Эрнестович
РУДЗУТАК
(1887—1938)

Ян и не подозревал, что работавший с ним Мартын Крипен, оказывается, состоит в подпольной социал-демократической организации. От него он узнал о дружных и неустрашимых братьях Чоке — Яне и Адаме, а также об Антоне Томсоне, тоже тайном революционере.

Как-то пришел Ян на завод, заглянул в свой инструментальный ящик и увидел свернутую бумажку. На ней было написано: «Товарищ! Готовься к стачке. Так больше жить нельзя!» И подпись: «Организация Латышской социал-демократической рабочей партии». Подобные же листовки Ян видел и у других товарищей.

Впервые в жизни молодой рабочий почувствовал волнующую и таинственную связь с теми, кто не хотел мириться со злом и несправедливостью, кто звал людей встать на защиту своих прав. Но только тогда, когда вспыхнула забастовка на заводе и рабочие сумели настоять на своем, вынудили владельца завода прибавить заработную плату, только тогда понял по-настоящему Рудзутак: сила — в сплоченности.

Ему шел восемнадцатый год. Он считал себя уже взрослым, способным участвовать в борьбе за справедливое дело.

А на календаре значился 1905 год. И едва наступил он, как по всей стране прокатилась, сея горе и гнев, весть о зверском расстреле петербургских рабочих. С негодованием встретила это сообщение и рабочая Рига. 13 января рабочие вышли на мирную демонстрацию. Но рижские власти не захотели отстать от петербургских. Демонстрацию встретили залпы из винтовок. 70 человек убитых и почти 200 раненых — таков был итог кровавой расправы.

Все это было уже куда больней и страшей, чем оплеухи, полученные когда-то от хозяина-кулака, мучительней и нестерпимей, чем изнурительный труд на заводе и произвол мастера. Ян не мог больше оставаться в бездействии. Он включается в политическую борьбу, выполняет партийные поручения, вскоре завоевывает доверие смелых и непокорных людей, о которых еще недавно знал лишь понаслышке.

В том же 1905 году Ян Эрнестович Рудзутак становится большевиком-подпольщиком.

Старательный, всегда собранный и точный в каждом деле, он руководит нелегальными рабочими кружками, энергично участвует в движении стачечников и очень много времени отдает самообразованию. Ведь революционер должен много знать, четко различать все грани социального мира, владеть научной теорией борьбы за утверждение новой жизни. Рудзутак увлеченно штудирует «Манифест Коммунистической партии», ленинские труды «Что делать?» и «Развитие капитализма в России». Встречается в Риге с такими видными революционерами, как М. М. Литвинов, П. А. Кобозев, Н. А. Скрыпник.

В 1906 году, когда Латышская социал-демократическая рабочая партия объединилась с РСДРП, вошла в нее как составная часть и стала называться СДЛК (Социал-демократией Латышского края), Рудзутака избрали в Рижский комитет и в Центральную пропагандистскую коллегию. На многих фабриках и заводах рабочие с доверием и вниманием слушали речи молодого большевика-агитатора Либиха. Под этой партийной кличкой выступал и работал Ян Эрнестович.

Вскоре он стал уже настоящим революционером-профессионалом. Налаживает нелегальные связи, затем, покинув Ригу, едет в Виндаву (ныне Вентспилс) и восстанавливает там разгромленную организацию.

Во главе Виндавского комитета — товарищ Пумпур. Это новая подпольная кличка Яна Рудзутака.

...На имя местного владельца лавки Расса, сочувствующего революционерам, шли торговые грузы, а в них газеты «Циня» и «Штык», брошюры, книги. Но были тут и иные «товары»: револьверы, охотничьи ружья, винтовки. Оружие, быстро распределявшееся среди подпольщиков, накапливалось день ото дня для решительной схватки с царизмом.

Центральный Комитет СДЛК из Риги шлет виндавцам советы, указания. Конверты с пометкой «Е.В.П.» передаются нераспечатанными Рудзутаку. Да если бы они и были

вскрыты полицией, вряд ли царские ищейки поняли бы истинный смысл, скажем, такого письма: «Пумпуру. Здравствуйте! Что с кассовыми отчетами за март, апрель и май, готовы ли они? Пришлите с каждого 10 экземпляров. Что нового, почему не были 3 июня? Следующая встреча — 3 июля. Временно можно обращаться к Адитайс. Адреса те же — старые: Престолонаследник и Лилин. Скоро к вам приедет наш представитель».

И все же как-то ночью в дверь тихого домика, где квартировал Рудзутак под видом моряка-практиканта, бухнули тяжелые полицейские кулаки. Ян кинулся было к столу, в котором хранились письма, отчет об уплате членских взносов, нелегальные книги, брошюры, газеты... Нет, не успел! Ворвавшаяся полиция схватила девятнадцатилетнего революционера.

Тогда же арестовали и остальных членов организации. У многих из них была обнаружена не только запрещенная литература, но и оружие.

Два с половиной года тянулось мучительное следствие. И вот обвинительное заключение. Рижский военный суд. На скамье подсудимых — 80 человек!

Революционеры и на суде проявили необыкновенную стойкость, дружно отрицая все предъявленные им обвинения. Как ни старался суд, пришлось ему за неимением достаточных улик оправдать 55 человек.

Не оправдали Яна Рудзутака. Напротив, его, как большевистского руководителя, было решено в назидание другим жестоко наказать: пятнадцать лет каторги! Однако срок был сокращен на одну треть, поскольку подсудимый к моменту ареста не достиг совершеннолетия.

* * *

Сначала Рудзутак за решетками рижского Централа, потом его перевезли в Москву. Как политически опасного, заключили в Бутырки.

Режим в тюрьме лютый. Паек голодный: вода и хлеб. Тяжелые кандалы не снимали даже во время работы... За любое нарушение тюремных правил — карцер, запрещение передач и свиданий. Несколько раз Рудзутак объявлял голодовку...

Ян Эрнестович не хочет отдавать врагам годы, которые пытается отнять у него из жизни царская охранка.

И в тюрьме, несмотря на свирепый режим, он изучает марксистскую литературу — книги и брошюры ему тайно доставляют товарищи, они же сообщают о забастовках, волнениях в стране. Рудзутак познакомился с гениальным ленинским творением «Материализм и эмпириокритицизм». Светлый, всепроникающий ум Ленина сиял для молодого революционера и в тюремных потемках.

Как хотелось Рудзутаку встретиться с Лениным! Он старался себе представить, каков же в жизни этот человек — основатель боевой партии российского пролетариата, вдохновитель передовых революционеров-демократов...

Рудзутак в тюрьме не только изучает марксизм, но и настойчиво овладевает иностранными языками: немецким, который отчасти знал (в Прибалтике многие говорили по-немецки), и еще французским и английским. Мог ли он тогда предполагать, что знание языков чрезвычайно пригодится ему в будущем при выполнении одного из весьма ответственных дипломатических поручений партии?..

Шли годы. В 1914-м сквозь толщу стен в сырые, холодные камеры проникло сообщение: Россия вступила в империалистическую войну. В тюремной бане (где и могли только встречаться друг с другом узники из одиночных камер) разгорались обычно споры между меньшевиками, эсерами и большевиками. Последние трезво расценивали положение и предвидели крах царской монархии в войне.

Однажды большевичка Людмила Сталь прислала узникам посылку. В ней была обыкновенная, казалось, безобидная книга. К чему бы она? Заключенный Бреслав, разбирающийся в тонкостях конспирации, вскрыл переплет книги и обнаружил газету «Социал-демократ» с манифестом «Война и российская социал-демократия», написанным Лениным. Тут же постучал в стенку соседа... И полетели незримо по камерам слова и фразы драгоценного документа.

На другой день Рудзутак улучил момент и сунул в руку надзирателя записочку. Он знал, что надзиратель этот сочувственно относился к большевикам. В записочке, адресованной Бреславу, говорилось: «Я испытал величайшее чувство гордости за то, что именно наша партия заняла правильную позицию в этот исключительный исторический момент. Я уже давно не испытывал такого чувства внутреннего удовлетворения, такой радости, как при чтении этого манифеста нашей партии».

А менее чем через год из обрывочных сведений, тайно

проникавших в тюрьму, заключенные поняли, что в стране назревают грозные события. И 1 марта 1917 года вдруг послышалось с улицы:

— Открывайте ворота! Николашку прогнали!..

Революция стучалась в тюремные ворота, сотрясала камни темницы. С улицы ворвалась толпа. Рудзутак увидел, что люди, окружив изможденного человека, пожимают ему руки, обнимают. То был Феликс Эдмундович Дзержинский, тоже томившийся до этого дня в Бутырках. Радостно и приветливо Рудзутак помахал ему рукой. Пробиться к Дзержинскому уже не удалось. Толпа вынесла освобожденных узников на тюремный двор. Отсюда их повезли к зданию городской думы, где ныне находится Музей В. И. Ленина. Там, на втором этаже, уже собрались депутаты Московского Совета. Всеобщее ликование... На трибуне, в арестантском халате, появился Дзержинский. Он приветствовал народ, сделавший первый решительный шаг к своему освобождению.

На улице — стихийный митинг. Откуда-то притащили канцелярский стол, на который был поднят людской массой Рудзутак. Все взволнованно внимали его простым и в то же время важным словам:

— Царское самодержавие, веками угнетавшее трудящиеся массы, наконец свергнуто. Недаром пролита кровь тысяч отважных борцов, отдавших свою жизнь ради великой цели...

Но не все, слышавшие это, знали, что стоящий на импровизированной трибуне, посреди улицы, прямой, болезненно истощенный человек в арестантском халате имел за своими плечами уже десять лет каторжной тюрьмы. В этот памятный день народ открыл для него, как и для многих других, тюремные ворота, за которыми пролегал новый путь к окончательной победе трудового народа, путь, указанный партией Ленина.

* *
*

Сперва Рудзутак работал инструктором в Московском Совете, потом в Московском областном бюро Советов. Яну Эрнестовичу поручили организацию профсоюзов текстильщиков в Центральном промышленном районе.

Дело было новое и нелегкое. С кем бы посоветоваться? Зашел к Виктору Павловичу Ногину, опытному партийному

работнику. Поговорили и пришли к выводу: надо начинать с объединения широких кругов рабочих, всячески раскрывая перед ними роль Советов. Рудзутак знал, что работа эта требовала огромной отдачи сил и энергии, заставляла быть в самой гуще трудовых масс. Но большевику не пристало бояться трудностей. И Ян Эрнестович ради общего дела не жалел себя, не считался с усталостью.

Как-то ночью ему пришлось пройти пешком пятнадцать верст: надо было успеть к утру в Лосиное, где его ждали депутаты от текстильщиков. Успел. Стал разъяснять:

— Временное правительство вам говорит: ждите декретов, иными словами — милости, а работайте по-прежнему, до седьмого пота. Большевики говорят: хватит ждать. Восьмичасовой рабочий день — это законное требование рабочих, в том числе и ваше. Хозяева не хотят, так мы сами, явочным порядком, установим восьмичасовой рабочий день! Таково решение Московского Совета.

И пошли по цехам фабрики депутаты, разнося во все уголки ее слова большевистской правды...

А Рудзутак был уже в Щелкове, где его слушали на собрании фабрично-заводских комитетов района. Шагая от фабрики к фабрике, с собрания на собрание, он помогал, как того требовала партия, укреплять молодые профсоюзы. Вскоре он избирается секретарем правления профсоюза текстильщиков Московской области. В небольшую рабочую комнату Рудзутака то и дело приходили люди за разъяснениями, советами, литературой.

Предстояла профсоюзная конференция. Готовясь к ней, Рудзутак перечитывал ленинские слова: «...меньшевики «доверяют» капиталистам и учат народ этому губительному доверию... Разруха грозит. Катастрофа идет. Капиталисты привели и приводят все страны к гибели. Спасение одно: революционная дисциплина, революционные меры *революционного класса*, пролетариев и полупролетариев, переход всей государственной власти в руки этого класса, который сможет на деле ввести именно такой контроль, на деле провести победоносно «борьбу с тунеядством»».

И, ощущая себя словно бы напутствуемым этими ленинскими словами, Рудзутак поднялся на трибуну конференции.

— Наша промышленность катится в пропасть! — говорил он. — Господа рябушинские цинично заявляют, что костлявая рука голода должна схватить революцию за горло и за-

душить ее. Мы погибнем, если не примем решительных мер против буржуазии. Нам нужен как воздух свой, рабочий контролирующий аппарат! Но буржуазия не отдает без боя свои позиции. Теперь начинается борьба не на жизнь, а на смерть с классом имущих!

Громовой овацией отвечал на эти слова переполненный зал. Рудзутак от имени правления профсоюзов внес резолюцию об установлении рабочего контроля. Проголосовали за нее единогласно.

Недоверие к буржуазному Временному правительству росло. Некоторые предлагали тотчас же взяться за оружие. Но большевики предостерегали слишком нетерпеливых, разъясняли массам, что вооруженное выступление сейчас было бы преждевременным, оно не сулило решающего успеха.

Час расплаты с буржуазией, однако, стремительно приближался. Готовились к выступлению текстильщики Московской губернии. Заявляли о своей готовности костромичи...

И однажды Рудзутак, уже секретарь Всероссийского центрального совета профсоюза текстильщиков, выслушав обстоятельно доклады с мест, сказал, не очень громко, но с непреклонной убежденностью:

— Стачка назрела. Она неизбежна.. Теперь надо переходить в наступление.

Замерли предприятия Иваново-Вознесенска, Костромы, Шуи, Кинешмы, Коврова... Бастовало триста тысяч рабочих! Это было 21 октября 1917 года.

А через несколько дней телефонный провод принес из Петрограда в Москву ошеломляющую весть: на берегах Невы началась пролетарская революция и народ под руководством большевиков ведет победный бой за установление Советской власти во всей нашей стране.

Началось вооруженное восстание и в Москве. Был создан партийный боевой центр. На объединенном заседании Московского Совета рабочих и Совета солдатских депутатов избрали Военно-революционный комитет. По заданию комитета вместе с другими руководителями профсоюзов деятельно включился в борьбу против контрреволюции и Ян Эрнестович Рудзутак.

День 3 ноября озарился победой революционных отрядов: сломив яростное сопротивление юнкеров, они заняли Кремль.

* *
*

Сбылась и заветная мечта Яна Эрнестовича: он увидел Ленина...

Это произошло 23 мая 1918 года, в Кремле, на заседании президиума ВСНХ. Председательствовал Владимир Ильич. Выступали докладчики. Время от времени Ленин задавал им вопросы, уточнял сказанное, а в конце заседания предложил централизовать руководство национализированными предприятиями.

Рудзутак внимательно рассматривал Ильича, вслушивался в каждое его слово. На Яна Эрнестовича произвело неизгладимое впечатление и то, как Ленин руководил совещанием, и то, как тонко разбирался он в хозяйственных вопросах.

Вскоре состоялся I съезд совнархозов. И Рудзутаку снова довелось увидеть Ленина, слушать его выступление, посвященное налаживанию народного хозяйства.

Несколько позже члены президиума ВСНХ подписали постановление о национализации заводов группы Сормово — Коломна. Под этим постановлением стояла подпись и Рудзутака.

Идейную ясность, твердость своих позиций, высокое политическое чутье и глубокое понимание обстановки, столь сложной в ту пору, Ян Эрнестович проявил на V Всероссийской конференции профсоюзов, состоявшейся в 1920 году. Он выступил с тезисами доклада о производственных задачах профсоюзов, о роли самих трудящихся. Говорил, как всегда, просто, сдержанно, избегая малейших попыток показаться красноречивым. Но правота и своевременность предложений Рудзутака, проникнутых ленинскими идеями, были отлично поняты большинством делегатов. Смысл этих предложений заключался в том, чтобы настойчиво, изо дня в день добиваться активного вовлечения трудящихся, а значит, и профсоюзов в социалистическое строительство, чтобы «каждый участник производства понял необходимость и целесообразность выполняемых им производственных задач».

С возражениями против этого выступил Троцкий, который призывал «завинтить гайки», «перетряхнуть» профсоюзы, стремился развить «теорию» огосударствления профессиональных союзов. Троцкий, как известно, был эффектным оратором, и Рудзутак вначале даже с некоторой зави-

стью прислушивался к его красивым выражениям, звучным и бравирующим интонациям. «Но,— подумал Ян Эрнестович,— как был чужим, так и остался, лозунги его явно идут вразрез с линией партии».

Рудзутак понимал, что предложение Троцкого о «перетряхивании» профсоюзов идет наперекор всем разумным доводам. И как было не сообщить о позиции Троцкого в Политбюро, В. И. Ленину! Ян Эрнестович неуклонно отстаивал тезисы своего доклада.

Конференция утвердила эти тезисы. А Владимир Ильич по достоинству оценил стойкость Рудзутака: «Нам всем, цекистам, не работавшим многие годы в профдвижении, надо бы поучиться у т. Рудзутака...»

Противники пытались всячески подорвать авторитет Рудзутака, иногда не отказываясь и от прямых наветов на этого несгибаемого большевика. Они пошли даже на то, что в специальном письме к Ленину обвиняли Рудзутака в бюрократизме и что он-де не способен работать из-за «физической изношенности». Но Ленин все понял: «Рудзутак? Чем он не работник? «Физически изношен»? Найдите-ка у нас неизношенных».

Доверие и поддержка Ленина, конечно, были самым лучшим подспорьем для Яна Эрнестовича. Однако недомогание Рудзутака усиливалось. Не прошли бесследно годы, проведенные им в холодном сумраке царских тюрем. Нужно было серьезно лечиться или по крайней мере хорошо отдохнуть. А Рудзутак лишь иногда позволял себе отправиться на охоту в подмосковные леса. Ему посчастливилось охотиться вместе с Владимиром Ильичем. Гораздо позже Ян Эрнестович рассказал о таком случае:

«...Выскочил из загона заяц, которого Ильич уложил метким выстрелом. Ильич, не дождавшись окончания загона, заторопился к убитому зайцу. В это время, совсем рядом, выскочил другой заяц и благополучно скрылся в кустах. Я не выдержал:

— Эх вы, за убитым погнались, а живого упустили.

Ильич сконфузился:

— Да, действительно нехорошо я сделал.

И прибавил примирительно:

— В следующий раз не буду».

В этой чудесной сценке очень наглядно проявились и требовательная, прямодушная точность Рудзутака, и обаятельная скромность Ильича.

Но редко, очень редко выпадал короткий досуг. По двенадцать — четырнадцать часов в сутки работал обычно Ян Эрнестович. И здоровье его заметно ухудшалось.

* *
*

А ему предстояло выполнить одно из ответственнейших поручений партии, и выполнить это далеко от дома.

Осенью 1921 года Советское правительство, последовательно проводя политику мира, обратилось к правительствам Англии, Франции, Италии, Японии и США с предложением созвать международную конференцию и обсудить насущно-назревшие вопросы, касающиеся мирного экономического сотрудничества.

Заинтересованные предложением Советской России, представители держав Антанты согласились созвать в Генуе конференцию европейских стран, включая и Страну Советов. Соединенные Штаты Америки не приняли официального участия в Генуэзской конференции, ограничившись наблюдателем.

Возглавить советскую делегацию должен был Ленин, но он не смог выехать. В Геную послали народного комиссара иностранных дел Г. В. Чичерина (заместитель председателя), Л. Б. Красина, М. М. Литвинова, В. В. Воровского, Я. Э. Рудзутака, Н. Н. Нариманова и других. Ян Эрнестович в то время был генеральным секретарем ВЦСПС и членом президиума ВЦИК.

Среди многих, требовавших безотлагательного решения вопросов один вызывал особенно ревнивое внимание со стороны представителей Западной Европы — уплата довоенных царских долгов. Советское правительство в своей ноте заявило о согласии их уплатить, если платежи будут отсрочены и нам предоставят широкие кредиты на восстановление народного хозяйства, а также при условии, что Советское правительство признают капиталистические державы.

После выступлений представителей Италии, Франции, Англии и Германии на трибуну конференции поднялся Чичерин. С новой силой прозвучали на всю Европу слова, в которых выражалось стремление Советской страны к мирному сотрудничеству с другими государствами.

Но империалисты продолжали настаивать на своих грабительских требованиях. Глава английской делегации Ллойд Джордж дал ясно понять: если Советская страна останется

на своих позициях в вопросе о царских долгах, то конференция окажется под угрозой срыва.

Создалось крайнее напряжение. Чичерин письменно пообещал Ллойд Джорджу при выполнении известных условий предоставить бывшим собственникам в России право пользоваться предприятиями или получить вознаграждение за них, если предприятия невозможно будет использовать. Это было, несомненно, отступлением от установок, которые дал ЦК партии нашей делегации.

Рудзутак тотчас же направил в Москву на имя Ленина телеграмму с протестом. Ответ не заставил себя долго ждать. Владимир Ильич написал в Политбюро: «Считаю мнение Рудзутака, выраженное в его телеграмме от 22 апреля, вполне правильным». Политбюро еще раз указало советской делегации, чтобы она твердо придерживалась данных ей установок.

Вскоре ВЦИК вызвал Яна Эрнестовича из Генуи для отчета о ходе конференции. И вот Рудзутак в Москве. Когда он вышел на трибуну, раздались приветливые и дружные аплодисменты. А кто-то в шутку крикнул из зала:

— Почему же без фрака, как положено дипломату?

Рудзутак блеснул стеклами пенсне. В том же тоне ответил:

— Фраки все заложены в погашение довоенных долгов.

Дружный и одобрительный хохот был ответом на шутку.

Ян Эрнестович подробно рассказал о том, как назойливо и напористо империалисты старались выспросить у наших делегатов, что же в конце концов можно получить от Советов?.. Бельгийский делегат, например, требовал ответа на такой вопрос:

— У нас в Бельгийском банке хранятся ваши золотые деньги, а в России наши подданные имеют заводы и фабрики. Как, мы должны ваши деньги вернуть?

— Должны вернуть,— ответил советский представитель.

— А вы нам фабрики вернете?

— Нет, не вернем.

— А заплатите?

— Нет, не заплатим.

— Мы должны деньги вернуть, а вы не заплатите? Как же это так?

— А так... Вы должны соблюдать ваши законы в Бельгии, а у вас такого закона нет, чтобы вы могли присвоить наши деньги. По вашим законам это будет просто грабеж.

А у нас существует такой закон, по которому все фабрики и дома объявлены собственностью государства, и всякий, кто требует, чтобы уплатили или возвратили их, поступает против закона. У нас на основании закона все национализировано.

Докладывая об этом в Москве, Ян Эрнестович сказал, что в Генуе после такого ответа все участники конференции прямо повалились на скамьях от хохота. Только французы и бельгийцы недовольно морщились. Понятно, им было не до смеха!

Тем временем конференция в Генуе продолжалась. И Рудзутак был прав, когда говорил, что на Западе убедились в реальной силе Советской России, в умении молодого рабоче-крестьянского правительства разрешать важнейшие государственные дела и, если надо, постоять за себя.

Спустя несколько дней Ян Эрнестович докладывал Пленуму ЦК РКП(б) о Генуэзской конференции. В резолюции, предложенной Политбюро, говорилось: «Заслушав доклад т. Рудзутака, Политбюро признает, что Генуэзская делегация до настоящего времени правильно выполняла свою задачу».

* *
*

Куда бы ни направляла партия Рудзутака, какие бы ответственные посты он ни занимал, люди знали: на этого человека можно положиться, он выполнит самое трудное дело. Сложилась тяжелая обстановка в Средней Азии, и Рудзутак по поручению партии отправился туда председателем Средазбюро ЦК РКП(б).

За его деятельностью внимательно следил В. И. Ленин. Уже будучи больным, несмотря на предостережения врачей, Владимир Ильич принял Рудзутака и, лежа в постели, просил его:

— Расскажите, как идут дела в Средней Азии? Это без преувеличения мировой вопрос.

В последнее время Ян Эрнестович был заместителем председателя Совета Народных Комиссаров. И, несмотря на огромную государственную и партийную работу, он находил время, чтобы принять участие в том или ином общественном мероприятии.

Однажды в Кремле собрались пионеры из черноморского лагеря «Артек». И Рудзутак пришел. Он расспрашивал ребят

о летней лагерной жизни, хорошо ли они отдыхают, просил показать фотоснимки, внимательно смотрел их и говорил, что он тоже умеет фотографировать...

Будучи в тот день среди артековцев, в Кремле, я видел, с каким уважительным восхищением глядели на Рудзутака пионеры. Вспомнил, как когда-то мы, волжские мальчишки, с таким же вот затаенным обожанием взирали на ленинского главвода... Кто бы мог подумать тогда, что этот замечательный большевик, человек, отдавший себя целиком революции, станет жертвой злобной клеветы и последующей за ней беззаконной расправы!..

Настал год 1937-й. Среди тяжких вестей того времени, рождавших горькое недоумение и вселявших ужас в сердца людей, одной из самых ошеломляющих и невероятных была весть об аресте Рудзутака.

Ян Эрнестович любил искусство и в один из майских вечеров вел в своем кабинете, как это не раз бывало, дружескую беседу с художниками В. Н. Мешковым, А. М. Герасимовым, П. М. Шухминым. В тот роковой час за ним и приехали...

Художники наблюдали потом из окна, как он вышел из подъезда к машине, сел в нее. Машина ушла. И больше уж Ян Эрнестович не возвращался.

Светлая память о нем, ничем не запятнанная, озаренная победившей истиной, осталась жить в миллионах сердец...

«Рудзутак был замечательным большевиком, бойцом ленинской гвардии. И биография его была типичной для профессионала-партийца» — эти слова, сказанные старой коммунисткой Анной Самойловной Шуцкевер, как нельзя лучше характеризуют весь жизненный путь Яна Эрнестовича.

Александр Волков

ДЕПУТАТ РАБОЧЕЙ КУРИИ

А мы
проверяли себя
правотой Революции!

Р. Рождественский

Собираясь в дальнюю дорогу, этот смуглый, темноволосый человек, лет тридцати, с суровым, худощавым лицом и тонкими, висячими усами необыкновенно волновался. Нет, не из-за опасного пути. Его волновало другое. Предстоит встреча с Лениным...

Как это получилось, что он, Федор Самойлов, крестьянский сын, никогда не переступавший порога школы, едет к Ленину, к самому Ленину, которого все большевики считали вождем русского рабочего класса. Да, все надо передумать, все вспомнить. Ведь Владимир Ильич, наверно, очень строг и требователен к людям, он заставит отчитаться члена Государственной думы Самойлова не только за думскую деятельность, но и за все годы, отданные служению народу.

И вот встали в памяти далекие девяностые годы прошлого века. Федька Самойлов, десятилетний мальчуган, обучился грамоте от дяди — солдата и жадно читает лубочные сказки про Еруслана Лазаревича и Францыля Венециана, про прекрасную магометанку на гробе мужа...

Копеечные книжки приносит старшему сыну отец, возвращаясь в субботу вечером из соседней деревни после тяж-

кого недельного труда на кустарной текстильной фабричонке. Не один Никита Никанорович ходит на заработки. Почти в каждой семье взрослые мужики и бабы с понедельника до субботы надрываются на работе по семнадцать-восемнадцать часов в сутки: хлеба, собираемого с нищенских наделов, не хватало и до рождества.

Новые картины встают в голове. Отец, не выдержав двойной тяготы крестьянского и фабричного труда, подался за счастьем в Иваново, благо до города от его родной деревни Гомыленок было всего двадцать верст. Двенадцатилетний Федя Самойлов служит мальчиком сначала в гостинице, потом в магазине, где отдувается за троих: выполняет все домашние работы, зазывает покупателей, продает товар. Тяжелая, изнурительная работа. И так изо дня в день, из месяца в месяц, кроме самых больших праздников...

Пятнадцати лет Федор Самойлов поступает работать в Иванове на ткацкую фабрику мерильщиком миткаля. Условия труда, как, впрочем, и везде, были отвратительны. Туберкулез был профессиональной болезнью текстильщиков. Не избежал его и юный Самойлов: с первых лет работы легочная болезнь подтачивала его силы. Единственным утешением Федора были книги. Он брал их в бесплатной библиотеке и читал каждую свободную минуту.

Проходили годы. Круг чтения Федора Самойлова расширился. Он читал Пушкина, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. В рабочей казарме Федор по вечерам рассказывал прочитанное, и товарищи относились к нему с уважением.

— Молод парень, а с головой,— говорили они.— Не нам, обломам, чета.

Администрация смотрела на грамотного, начитанного рабочего подозрительно: с темными, забитыми людьми управляться легче.

Но хотя кругозор Федора намного расширился, в области политики он оставался таким же несведущим, как и его безграмотные товарищи. Подбор книг для народных библиотек делался искусно, их читателям не могли прийти в голову «зловредные» мысли.

Однажды Самойлов познакомился с молодым социал-демократом Красильниковым. Красильникову понравился паренек, жадно искавший в книгах правду о жизни. Он подолгу беседовал с ним.

— Есть в России такая партия, ну, союз, что ли, товарищество,— объяснял он Федору.— Это большевики.

Новый друг дал Самойлову несколько книг Писарева и других прогрессивных авторов. Они во многом просветили сознание Самойлова. Потом Красильников исчез: его арестовали.

Однако наставления Красильникова крепко запали в душу Федора. И когда в один из дней 1903 года он получил приглашение на нелегальное собрание в лесу, за речкой Талкой, то пошел на него с радостью. На этом собрании было всего семь-восемь человек из числа самых надежных, и оно приняло важное решение: восстановить ивановскую социал-демократическую организацию, разгромленную за несколько месяцев перед тем.

И с этого времени Федор Никитич Самойлов, молодой текстильщик, становится убежденным членом большевистской партии.

...Шли горячие, трудные, страшные и радостные месяцы русской революции. Федор Самойлов весь отдается борьбе. Он организатор фабричной партячейки, член горкома партии, возглавляемого Михаилом Васильевичем Фрунзе. Он один из руководителей знаменитой Иваново-Вознесенской стачки 1905 года, всколыхнувшей всю рабочую Россию. Член одного из первых в стране Совета рабочих депутатов, избранного для руководства забастовкой... Да, пожалуй, об этом времени можно рассказать Владимиру Ильичу с гордостью.

Но и за последующую деятельность краснеть не придется. В годы реакции случалось и посидеть в тюрьме, и с трудом устраиваться на работу, и одергивать не в меру ретивых «царьков» из фабричной администрации, когда они мешали Самойлову проводить агитацию среди рабочих. И его прямота, его большевистская неуступчивость в принципиальных вопросах, его всегдашняя защита ленинской линии создали Федору Никитичу широкую популярность в рабочей среде.

Эти качества сделали Самойлова председателем первого профессионального союза ситцепечатников в Иванове, а потом вывели его на всероссийскую арену деятельности. Федор Никитич вместе с пятью другими кандидатами от рабочих, выдвинутыми большевистской партией, становится членом IV Государственной думы. Это произошло 18 октября 1912 года.

Трудным путем пришел Самойлов к этому знаменательному для него дню. Каторжная работа в ужасных, антиги-

гиенических условиях, частые болезни, допросы в участках, двукратное тюремное заключение, гласный и негласный надзор полиции — и, невзирая на все это, постоянная партийная и общественная работа, всегдашняя учеба, сделавшая темного рабочего видным марксистом, политическим деятелем всероссийского масштаба.



Федор Никитич САМОЙЛОВ (1882—1952)

Его избранию в Думу пытались помешать провокаторы. На него возводили клеветнические обвинения в растрате профсоюзных денег, копались в его прошлом, заявляли, что он будто виновен в грабежах и поджогах во время забастовки 1905 года. Все обвинения рухнули, и в ноябре 1912 года член Государственной думы Федор Никитич Самойлов выехал в Петербург после торжественных проводов, устроенных земляками-рабочими.

Началась напряженная думская деятельность. Федор Никитич с самых первых дней своего пребывания в партии считал себя учеником и последователем Ленина, но черпал указания вождя только из его книг и брошюр, из партийных газет, проникавших в Россию сложными тайными путями. Теперь наступило иное время. Ленин придавал огромное значение работе думской фракции социал-демократов большевиков. Думская фракция была тем легальным рупором, через который партия имела возможность (правда, не легко осуществляемую) говорить народу правду о положении в стране, высказывать свое отношение к войне, к монархии.

Федор Никитич вспомнил свое первое выступление в Думе. Это было 1 марта 1913 года. Больше десяти месяцев прошло с тех пор, а он ярко помнит свое волнение, когда поднимался на трибуну, держа в руке листки с тезисами речи, подготовленными Лениным и для конспирации переписанными другим почерком.

Самойлов выступал от имени фракции с запросом о незаконных действиях петербургской фабричной инспекции в связи с локаутом на столичных текстильных фабриках. Оратору мешали говорить крики и презрительный смех правых, окрики председателя, запрещавшего касаться тех

или иных вопросов. И все же он довел речь до конца, гордо бросив в лицо врагам заключительные слова:

— Конечно, господа, я понимаю, что вас трудно пробить какими бы то ни было доводами, трудно заставить признать спешность настоящего запроса, но, господа, имейте в виду, что к нашим голосам, к голосам социал-демократов, прислушиваются рабочие всей России, в особенности теперь, господа, когда они вновь проснулись и собирают свои силы для новой решительной борьбы за свои попранные человеческие права, и они по этому поводу сделают свои выводы.

Товарищи по фракции нашли, что Федор Никитич держался на трибуне хорошо и что дебюту рабочего-парламентария могли бы позавидовать и более опытные политические деятели.

А дальше... дальше одно из самых горьких переживаний, о котором и теперь вспоминать тоскливо.

Проклятый туберкулез! Он вывел Федора Никитича из строя и уложил в больницу как раз перед тем, когда Ленин и ЦК партии решили устроить для депутатов-большевиков курсы в местечке Поронин, под Краковом, где летом 1913 года проживал Владимир Ильич. Пять депутатов уехали к Ленину, а он, Самойлов, после лечения в финляндском санатории вынужден был все лето и начало осени прожить в деревне.

Но вот он наконец собрался к Ильичу.

...Мерно стучат колеса поезда. За окном завиднелся пригород Кракова. Федор Никитич понял, почему Ленин поселился именно здесь. Ведь Краков так близко от границы, что нелегальную связь с родиной установить здесь гораздо проще, чем в других местах. «А я счастливый,— думал Самойлов.— В Поронин не попал, а все-таки увижу Владимира Ильича. В прошлом году мне помешала болезнь, а теперь я еду к Ленину из-за той же болезни».

Это случилось в январе 1914 года. Вернувшись в Питер из Иванова после рождественских каникул, Самойлов опять почувствовал себя плохо. Лечиться и одновременно заседать в Думе было невозможно, и вот тогда-то Владимир Ильич, особенно внимательно следивший за здоровьем Самойлова, вызвал его в Краков — лечиться.

— Станция Краков! — громко объявил кондуктор.

Поезд замедлил ход и остановился. Смешавшись с толпой пассажиров, Федор Никитич вышел на перрон, огляделся. Все торопятся по своим делам...

Расплатившись с извозчиком, Самойлов с сильно бьющимся сердцем поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь открыла Надежда Константиновна. Улыбнувшись смущенному гостю, она сразу догадалась:

— Товарищ Самойлов? Федор Никитич? Очень, очень рада вас видеть! Владимир Ильич ждал вас с нетерпением. Как доехали? Как здоровье?

— Владимир Ильич дома? — невпопад спросил Самойлов, не отвечая на вопросы, и еще больше сконфузился.

— Я должна вас огорчить,— сказала Крупская.— Владимиру Ильичу пришлось выехать по неотложным делам в Лейпциг.— Глядя на затуманившееся лицо гостя, Надежда Константиновна утешила его: — Да вы не очень расстраивайтесь: Владимир Ильич вернется через два-три дня.

Заставив растерянного Самойлова поставить чемодан, Крупская захлопотала. Она показала ему, где снять пальто, умыться, и скоро Федор Никитич уже пил чай и говорил о том, как обстоят дела в Питере и Иванове.

Надежда Константиновна слушала с большим вниманием, но часто прерывала речь гостя:

— Не торопитесь все сразу рассказывать, будет у вас время, вам вредно говорить так много.

Крупская устроила приезжего на квартиру, и там Самойлов дождался приезда Владимира Ильича.

Первые же минуты свидания рассеяли страх Федора Никитича перед Лениным. Встреча была самая простая и душевная. Ленин радушно пожал гостю руку, усадил на стул, а сам начал ходить по комнате и задавать вопрос за вопросом. Впрочем, он тут же спохватился.

— Экий я нескладный! — весело воскликнул он.— Совсем позабыл, что передо мной больной человек! Как ваше здоровье? Как легкие?..

— Да уж ничего, Владимир Ильич...— начал было Самойлов.

— Какое там «ничего»! — перебил Ленин.— Нет, нет, не хитрите, батенька, по лицу вашему вижу, что больны, что вам серьезно надо лечиться. Ну, да ладно, мы вас поставим на ноги, такими кадрами бросаться не приходится! Ведь вы — партийное имущество, а партийное имущество полагается беречь!

Ленин рассмеялся своей шутке, а Самойлов почувствовал себя так легко и свободно, как будто был знаком и дружен с Владимиром Ильичем много лет.

Беседы рабочего депутата с вождем партии все же состоялись, но они отняли не один день и проходили с частыми перерывами.

— Вам вредно говорить много подряд,— то и дело напоминал Самойлову Владимир Ильич.

Федор Никитич подробно доложил Ленину о думских делах, о борьбе с ликвидаторами, о настроениях рабочих и крестьян, с которыми ему, как депутату, часто приходилось встречаться.

Но, конечно, Ленин не забыл о том главном, ради чего он вызвал к себе Самойлова. На другой же день после их встречи Федора Никитича осмотрел специалист и нашел, что у него задеты верхушки легких и ему надо лечиться в Швейцарии.

— Ну, что же,— сказал Владимир Ильич,— надо, так надо. Какие языки вы знаете?

— Только русский,— краснея, признался Самойлов.

— Это не очень хорошо, но мы направим вас по цепочке.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна проводили гостя на вокзал, усадили в вагон. Прощаясь, Ленин сказал:

— Вы хоть несколько слов затвердите по-немецки. Запомните, что ваша первая пересадка в Вене, а Вена по-немецки Wien. И не забудьте, батенька, перед тем как выйти из вагона, положить в карман газету, это очень важно!

Самойлов всю дорогу думал над тем, почему это важно, но тайна открылась ему только в Вене. Товарищ, которому было поручено встретить Федора Никитича на вокзале и отправить его дальше, опоздал и узнал растерянно бродившего по перрону Самойлова только по высокой шапке и по газете, торчавшей из кармана пальто: об этих приметах телеграфировал ему Ленин.

В Мюнхене Самойлову опять помогли предупрежденные Лениным русские товарищи, и так он благополучно добрался до Берна, где ему предстояло проходить курс лечения.

Живя в Швейцарии, Федор Никитич поддерживал с Лениным деятельную переписку. Почти все письма Владимира Ильича к Самойлову впоследствии пропали, но вот одно из сохранившихся.

«Дорогой Федор Никитич! — писал Ленин в феврале 1914 года.— Получил Ваше письмо и очень рад, что Вы устроились.

Теперь — покой, солнце, сон, *еда*. Следите за всем этим. Сытно ли кормят?

Надо пить молока побольше. Пьете ли?

Надо взвешиваться раз в неделю и записывать каждый раз, сколько Вы весите.

Надо ходить к местному доктору хоть раз в 10 дней, чтобы он следил за ходом лечения. Имеете ли адрес доктора? Если нет, пишите, я разыщу.

Но главное сон *(сколько [часов] спите?)* — солнце и [еда], особенно *молоко*.

Пишите *подробно* обо всем этом.

Надя кланяется! Жму руку и желаю отдыхать хорошо.

Ваш *Ленин*

P. S. Не очень ли скучаете? Если да, могу устроить Вам визиты знакомых из Женевы и Лозанны. Но не утомят ли Вас визиты? Пишите!

Есть ли ванна в вашем пансионе?»

Легочные болезни коварны. За временным улучшением в здоровье Самойлова последовало ухудшение. Как внимательно Владимир Ильич следил за здоровьем своего молодого друга, показывает также его письмо члену Комитета заграничных организаций большевиков Г. Л. Шкловскому: «...Вчера получил тревожное письмо от Самойлова. Ему хуже. Не спит. *Скучает*.

Членов посоветовал холодные (!?) ванны. После четырех ванн Самойлов почувствовал себя *еще хуже*...

Ужасно это неприятно, ибо мы взялись, так сказать, его вылечить... Не стесняйтесь расходами... Видимо, тут нужен *нервный* врач. Надеюсь, разыщете *лучшего* в Швейцарии и свозите Самойлова...

Говорят, скука очень вредна неврастеникам. Но как тут быть? Взять Самойлова в *Поронин* (мы едем туда 1 мая) или *Закопане*? Можно, но *там дожди все лето*...»

Какая отеческая заботливость и сердечность в строках этих писем! Так вел себя Ленин по отношению ко всем, кто был близок и дорог ему по совместной партийной работе.

Заботясь о здоровье Самойлова, Владимир Ильич в то же время думал о том, как использовать его организаторские способности на пользу партии. В мае 1914 года произошло

неожиданное и неприятное событие. Член думской шестерки Малиновский сложил с себя депутатские полномочия и уехал за границу. Смутные подозрения о его истинной роли были уже и тогда, но только впоследствии обнаружилось, что Малиновский — провокатор, исполнявший директивы полиции, он выдал многих видных деятелей большевистской партии.

Вместо выбывшего члена Думы по закону полагалось избрать нового, и опять же от рабочих Московской области. По этому поводу Владимир Ильич письменно запрашивал Г. Л. Шкловского о том, нельзя ли послать Самойлова из-за границы в Москву в связи с выбором нового депутата в Думу.

Это поручение Самойлову не пришлось взять на себя: разразилась мировая война. Из всех социал-демократических партий мира только большевики сохранили верность принципам раволюционного марксизма и призывали народы к борьбе с империалистической войной. Как сожалел Самойлов о том, что он не в Думе, что он не может присоединить свой голос к голосам боевых товарищей против военных кредитов.

А в это время Ленин намечал для Самойлова другую очень важную роль. Он хотел послать его на международный конгресс социалистов, который должен был собраться в августе в Париже, о чем Владимир Ильич писал 18 июля Шкловскому. Характерно, что Ленин тут же заботливо добавил, что Самойлову и в Париже надо предоставить возможность лечиться.

Однако и эта поездка Самойлова не состоялась, потому что пора было возвращаться на родину, принять участие в думских битвах. Военные действия закрыли все границы. Прямое сообщение между Швейцарией и Россией прекратилось, пришлось искать обходные пути.

Когда Самойлов проживал в местечке Лайзиген, он получил от Владимира Ильича из Австрии телеграмму с просьбой выслать немного денег, если можно. Вот когда пригодилось Федору Никитичу думское жалованье. Из своих сбережений он тотчас послал Ленину 500 франков, но австрийцы не выдали этих денег адресату, как подданному враждебной державы.

Позднее Самойлов встретился в Берне с Владимиром Ильичем, которому удалось вырваться из Австрии. В конце августа Ленин выступил перед местными большевиками с

докладом об отношении партии к войне. Перед Самойловым встала трудная задача — доставить в Петроград тезисы ЦК партии о войне.

Денег было мало, а дорога предстояла кружная, далекая — через Италию и Балканы. Все же важнейшие директивы Ленина были доставлены им благополучно.

Недолго пробыл Самойлов на воле после возвращения из-за границы. В начале ноября в Озерках, под Петроградом, большевики-депутаты собрались на нелегальную конференцию с представителями нескольких партийных организаций. Обсуждались тезисы Ленина о войне.

На третий день конференции в дом вломилась полиция. Депутатов схватили и арестовали, невзирая на их парламентскую неприкосновенность. Оказалось, что конференцию выдал провокатор Шурканов, бывший член III Думы, он же и подыскал подходящую квартиру для заседаний.

...Далеко сибирская тундра от Швейцарии, но Ленин не забывал о сосланных товарищах. В своих работах и публичных выступлениях того периода Владимир Ильич неоднократно упоминал о депутатах-большевиках, с которыми расправилось царское правительство.

Так, на интернациональном митинге в Берне в феврале 1916 года Ленин говорил: «...У нас в России с самого начала войны *рабочие депутаты* в Думе вели решительную революционную борьбу против войны и царской монархии. Пять рабочих депутатов: Петровский, Бадаев, Муранов, Шагов и Самойлов, распространяли революционные воззвания против войны и энергично вели революционную агитацию. Царизм приказал арестовать этих 5 депутатов, предал суду и приговорил к пожизненному поселению в Сибири. Уже месяцы вожди рабочего класса томятся в Сибири, но дело их не разрушено, их работа в том же направлении продолжается сознательными рабочими всей России».

Ленин писал о сосланных товарищах в «Приветствии съезду Итальянской социалистической партии», в «Открытом письме Борису Суварину», в статье «Проделки республиканских шовинистов»...

Ссыльных депутатов вернула Февральская революция.

В Петрограде Самойлов и другие большевистские депутаты сразу деятельно включились в работу. Начала вновь выходить «Правда», большевики вели борьбу с соглашателями всех мастей, заявлявших, что революция закончена и остается лишь воевать до победного конца.

Как недоставало партии человека, который ее основал,— Владимира Ильича Ленина, рвавшегося в Россию из далекого швейцарского захолустья! И вот разнеслась радостная весть: Ильич едет, Ильич близко, надо его встречать... 3 апреля 1917 года Ленин приехал в Петроград, и ему была устроена торжественная встреча. Революция обрела своего подлинного вождя.

Самойлов снова встретился с Лениным. Это произошло на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Увидев Самойлова на лестнице, Владимир Ильич сразу узнал его, забросал вопросами: как перенес ссылку, как здоровье, лечится ли?..

— Вам, батенька, надо, надо лечиться,— сказал Ленин, озабоченно глядя на Самойлова.

Вскоре Самойлов по совету Владимира Ильича уехал в Иваново, куда его призывали многочисленные письма и телеграммы земляков.

После Октября Федор Никитич Самойлов стал одним из строителей Советского государства. В 1917—1918 годах он вел ответственную советскую и партийную работу в родном Иванове, позднее был заместителем наркома труда на Украине, а с 1922 года переключился на научно-литературную работу.

Крестьянский сын, не имевший в детстве возможности посещать школу, бывший ткач, профсоюзник, политический деятель, стал научным сотрудником Истпарта ЦК ВКП(б), заместителем заведующего, а затем возглавил Истпарт МК ВКП(б). Перу Самойлова принадлежит ряд трудов по истории партии. Из них главное место занимает замечательная книга мемуаров «По следам минувшего», переиздававшаяся несколько раз.

В тяжелом для партии и страны 1937 году, когда культ личности Сталина вырвал особенно много жертв из среды старых большевиков, был арестован и погиб директор Музея революции СССР Я. С. Ганецкий. Его преемником назначили Ф. Н. Самойлова. На этом посту Федор Никитич сумел сделать много для того, чтобы сохранить память о тех, кого когда-то незаслуженно вычеркнули из жизни и из истории.

Кирилл Левин

НАРКОМ ЗДОРОВЬЯ

Слава борцам, что за правду
вставали,
Знамя свободы высоко несли.
Партию нашу они создавали,
К цели заветной вели.

С. Михалков

Это было в Москве в начале тридцатых годов, на вечере памяти Владимира Ильича Ленина. Выступал Николай Александрович Семашко — седой, немного огрузневший. Опираясь руками на спинку стоящего перед ним стула, он говорил негромко и медленно. Иногда замолкал, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Вот он поднял голову (глаза его зажглись мягким светом), сказал очень просто, с какой-то проникновенной нежностью, с печалью и восторгом — так говорят о любимом учителе, единственном друге и, может быть, раз в жизни:

— Тут не скажешь никакими словами — не найдешь их. Ведь другого такого человека, возможно, и на свете не было. Владимир Ильич все совмещал в себе — и душу живую, и гений необъятный,— бесстрашен он был в своих решениях, был великим вождем, видел далеко и вместе с тем был самым простым человеком, чудесным человеком.

Семашко постоял немного, склонив голову, и, не сказав больше ни слова, повернулся и ушел с трибуны. Долгой минутой тишины ответил зал на его последние слова...

Много еще мог рассказать Николай Александрович о Ленине, который прошел через всю его жизнь.

Первая встреча с ним состоялась в 1895 году в Москве. Но близкое знакомство, глубокая и верная дружба

с Владимиром Ильичем завязалась тринадцать лет спустя. Как рассказывал впоследствии сам Семашко, в те грозные для него дни Ленин крепко поддержал и выручил его. «...Только благодаря Ленину я не повис тогда на виселице».

Как же все это было?

В 1908 году Николай Александрович жил в эмиграции, в Женеве, состоял там членом большевистской группы. Однажды его арестовали и посадили в тюрьму, в одну камеру с уголовными преступниками. Царские жандармы потребовали от швейцарских властей выдачи Семашко, обвиняя его в ограблении государственного банка в Тифлисе. Семашко, конечно, не имел никакого отношения к этому делу. Тем не менее грозила выдача Николая Александровича царскому правительству и далее — все это знали — смертная казнь.

И тогда на защиту Семашко выступил Ленин, никогда не бросавший в беде своих товарищей-единомышленников. Он пригласил по делу Николая Александровича крупного адвоката, кандидата в президенты Швейцарии. А сам, как представитель РСДРП в Международном социалистическом бюро, опубликовал в газете «Бернский часовой» официальный протест о незаконном аресте Семашко. Владимир Ильич использовал все возможные средства для его спасения. Написал Горькому, просил его повлиять со своей стороны.

«Во-1-х, по делу Семашко,— сообщил Ленин Алексею Максимовичу.— Если Вы *не* знаете его лично, то Вам не стоит вмешиваться по нижеследующему поводу. Если знаете, стоит.

Л. Мартов поместил в бернской с.-д. газете «заявление», где говорит, что Семашко не был делегатом на Штутгартском конгрессе, а просто *журналистом*. Ни слова о его принадлежности к с.-д. партии. Это — подлая выходка меньшевика против большевика, попавшего в тюрьму. Я уже послал свое официальное заявление, как представитель РСДРП в Международном бюро. Если Вы знаете Семашко лично или знали в Нижнем, то *непременно* напишите тоже в эту газету, что Вас возмущает заявление Мартова, что Вы лично знаете Семашко, как с.-д., что Вы убеждены в его непричастности к делам, раздуваемым международной полицией».

Меры, принятые Лениным, оказались действенными, и швейцарская полиция была вынуждена освободить Семашко из тюрьмы, где он подвергался надругательствам и побоям.

В день выхода из тюрьмы Николай Александрович узнал, что женевская группа большевиков проводит совещание,


Николай Александрович
СЕМАШКО
(1874—1949)

и немедленно отправился туда. Изнуренный, с ввалившимися щеками, задыхаясь от радости, от быстрой ходьбы, с сияющими глазами, он вошел в комнату, где шло заседание. Увидел Ленина... Для всех появление Семашко было неожиданным. А Владимир Ильич уже спешил ему навстречу с протянутыми руками:

— Поздравляю, поздравляю...

Ленин и вся группа большевиков дружно зааплодировали.

Дома жена рассказала Николаю Александровичу о том, как заботился об их семье Ленин, как приходил к ним на квартиру, рассказывал о принятых мерах, всячески успокаивал, шутил и играл с ребятишками...

Вспомнились Семашко и те отдаленные годы, когда он, ученик захолустной елецкой гимназии, где господствовала тупая муштра и за каждым шагом гимназистов следили «педеля», организовал нелегальный кружок... Маленькая комната в доме на окраине Ельца, несколько товарищей, тесно сидящих вокруг стола и слушающих его рассказ о Чернышевском, Добролюбове и других запрещенных писателях.

А потом медицинский факультет Московского университета, товарищи в смятых фуражках и стоптанных башмаках, студенческая марксистская группа. И тут в его жизни происходит важное событие. Под величайшим секретом ему удается достать гектографированный экземпляр ленинской книги, побывавшей уже во многих руках, «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Пришел домой взволнованный, заперся и читал всю ночь. Перед рассветом лег в постель, но не мог уснуть. Голова точно горела. Встал, опять читал. Делал записи и от души жалел, что нет с ним в эту минуту никого из товарищей, с кем можно было поделиться обуревавшими его чувствами... «Все стало ясно и понятно. «Друзья народа» Ленина сделали меня марксистом-ленинцем навсегда»,— вспоминал он.

Полиция взяла на заметку Семашко. Ночью — резкий звонок. Догадавшись, кто эти незваные гости, Николай Александрович успел сжевать и проглотить листок с конс-

пиративными адресами. И все же — тюрьма, одиночная камера полицейского участка Пречистенской части. В зарешеченное оконце виден уголок двора с двумя дряхлыми деревцами и пожарной каланчой.

Непрерывными протестами Николай Александрович добился права получать книги. Изучал «Капитал», французский язык.

Через три месяца его выпустили и отправили в Елец под гласный надзор. Что ж, и в Ельце он нашел что делать. Пробирался на окраину города, в железнодорожные мастерские. Разговаривал здесь с рабочими, а потом проводил с ними беседы в воскресных рабочих школах. Число учащихся в этих школах росло так быстро, что это встревожило известного тогда мракобеса, министра внутренних дел Дурново. С возмущением министр писал прокурору святейшего синода Победоносцеву об опасном стремлении елецких рабочих к учебе. Это письмо стало известно Ленину, который заклеймил мракобеса: «Министр смотрит на рабочих как на порох, а на знание и образование как на искру; министр уверен, что если искра попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство».

Ссылка окончена. Семашко поступает в Казанский университет, где за несколько лет до него учился Владимир Ульянов. Когда после студенческих демонстраций в Петербурге такие же демонстрации начались и в Казани, Семашко в самой гуще событий. Шагает в первых рядах демонстрантов, распространяет прокламации, распевает вместе со всеми «Варшавянку».

Опять арест, тюрьма, высылка из Казани без права жить в университетских городах. А предстояла сдача государственных экзаменов. Как быть? Искушенный в борьбе с жандармами, Семашко находит лазейку: в постановлении не указано, что ему запрещается жить вблизи университетских городов. И он поселяется под Казанью. Пользуясь хорошим к нему отношением прогрессивных профессоров, успешно сдает экзамены и получает диплом врача.

Человек одной идеи, одной цели, Николай Александрович считает свою профессию врача не только средством медицинской помощи, но и революционной агитации в народе. Не прошло, однако, двух месяцев, как за врачом явился урядник.

— Вы господин Семашко? Распишитесь.

Бумага предписывала лекарю Николаю Семашко ввиду политической его наблагонадежности и вредного влияния на жителей оставить означенный уезд. Срок — сорок восемь часов.

Так и пошло. Ему не давали заживаться на одном месте, гоняли из одной губернии в другую. А очень хотелось работать! Считая университетский курс слишком узким, Семашко долгими вечерами просиживал в медицинской библиотеке, практиковал в больницах. Был и хирургом, и терапевтом, и гинекологом.

В деревне Александрии Самарской губернии вдруг началась эпидемия. Распространился слух, что это чума. Поднялась невероятная паника. Врачи отказывались туда ехать. Невежественный представитель властей приказал людей выселить, а деревню сжечь. В дело вмешался Семашко. По некоторым признакам он полагал, что это не чума. Спокойно и обстоятельно обследовал больных, местность деревни. Выяснил: Александрия окружена гнилыми болотами, а условия жизни в ней, как, впрочем, и в тысячах других русских деревень, невыносимо тяжелы и способствуют распространению всяких болезней. Потребовал у перепуганного губернского начальства лекарств, фельдшеров и продовольственной помощи населению пострадавшей деревни. Два месяца его самоотверженной работы — и эпидемия ликвидирована. Едва успев вернуться, получил «награду»: уволили с должности уездного врача, как политически неблагонадежного.

После долгих скитаний и мытарств устроился в Мценском уезде Орловской губернии. Но был опять уволен. Переехал в Нижний Новгород. Повезло: теперь он земский врач. Надолго ли? Устанавливает связь с губернским комитетом партии. 1905 год. Семашко там, где и должен быть: в центре бурно нарастающих событий. Уже известно, что революционные матросы захватили броненосец «Потемкин». Началось вооруженное восстание в Москве. Рабочие сражаются на баррикадах Красной Пресни.

Старенький одноэтажный домик с дверью, обитой торчащими клочьями войлока. Здесь штаб-квартира Семашко. В тесной комнате круглые сутки толпятся рабочие. Приходят на перевязки раненые, члены боевых дружин, сообщают о ходе восстания, требуют инструкций. Вбежал пожилой рабочий с рукой, замотанной окровавленной тряпкой. Семашко хотел перевязать его, но тот отмахнулся:

— Некогда, Николай Александрович. Не за этим пришел. Подмогу дайте, да скорее! Наседают на нас.— И, объяснив, куда надо отправить подмогу, убежал, прижимая к груди раненую руку.

Восстание было подавлено. Начались повальные аресты. Одним из первых схватили Семашко. Сырая камера со стенами, покрытыми зеленой плесенью, полумрак, затхлый воздух, скудная, отвратительная пища. Николая Александровича по ночам изводил кашель. Начался туберкулез. Девять месяцев провел Семашко в тюрьме, пока после долгих хлопот товарищам удалось освободить его под залог до суда.

А суд не сулил ничего хорошего, надо было скрыться. И с помощью друзей Николай Александрович эмигрировал в Женеву. Здесь жил и Плеханов, его родной дядя по матери. Николай Александрович навестил его. Хорошо одетый, с подстриженной бородкой, Плеханов напоминал преуспевающего профессора. Он встретил племянника с суховатой приветливостью, но настороженно: ему были известны большевистские убеждения молодого врача. Николай Александрович понял, что они люди разные, и перестал бывать у дяди.

Жилось эмигрантам трудно. Ложишься спать, вспоминал Семашко, и не знаешь, что будешь есть завтра. Как всегда, помогал Ленин. Беспощадный к противникам партии, Владимир Ильич был необычайно внимателен и отзывчив к товарищам. Его никогда не надо было просить о помощи, он часто предлагал ее, даже тогда, когда сам в ней нуждался. Измученный тяжелой, непрерывной работой, Владимир Ильич все же как-то выкраивал время для выступления с платными докладами в пользу большевистской кассы взаимопомощи, отыскивал работу наиболее нуждающимся товарищам.

Семашко сблизился с Лениным. Это направило и определило его жизнь. Владимир Ильич ценил Семашко за его непоколебимую преданность рабочему делу. И когда в 1908 году Большевистский центр перебрался в Париж, Николай Александрович по предложению Ленина стал секретарем Заграничного бюро ЦК.

Дела партии постоянно были в центре внимания Ленина. Однажды он пригласил к себе Семашко.

— Вы, вероятно, уже слышали,— сказал он, быстро шагая по комнате, сердито взмахивая правой рукой — левая

была в кармане брюк,— что господа отзовисты изволили устроить две своих школы — в Болонье и на Капри, куда заманивают приезжающих из России рабочих и обрабатывают их в меньшевистском своем духе. Так вот, батенька, вы ведь член школьной комиссии, и все это прямо касается вас. Поезжайте в Болонью и поговорите по-настоящему с рабочими. Мы не можем отдать ни одного человека, ни одного. Вот я набросал на этой бумажке несколько тезисов. Возьмите, может быть, пригодятся.

Владимир Ильич взял Семашко за руку, добавил:

— Они хоть и хитрые, эти отзовисты, но у них нет ничего за душой, и если сказать рабочим всю правду, только правду, рабочие отшвырнут их, как негодяев и обманщиков. Вот вы им и скажете эту правду. Они поймут.

Семашко поехал в Болонью с некоторым страхом: справится ли с ленинским поручением? Побывал в школе, услышал, каким фарисейством и ложью стараются отзовисты одурачить своих слушателей. А затем повстречался с рабочими. Он увидел перед собой простые русские лица, сосредоточенные глаза, плохую одежду — сколько таких рабочих знал он за годы своей революционной работы в Москве, Ельце, Нижнем, Сормове! Видел их на баррикадах в пятом году. Они поймут его, непременно поймут! Семашко подсел вплотную к ним, говорил горячо и просто, все, что знал, обо всем, что пережил за годы борьбы, чему научился у Ленина. Ему задавали вопросы, и он отвечал. Некоторые возражали. Сидели допоздна, никто не хотел расходиться. Потом договорились встретиться назавтра. Один из рабочих, стиснув, как клещами, руку Семашко, сказал:

— Это ты правильно говорил, товарищ. А вот как бы нам Ленина повидать? Надо бы... Очень надо.

Через несколько дней большинство слушателей отзовистской школы вместе с Николаем Александровичем потянулись в предместье Парижа, в Лонжюмо. Там Ленин уже готовил новую школу. Ведать организацией всего дела и читать лекции о государственном страховании рабочих Владимир Ильич поручил Николаю Александровичу.

Шли годы, близились большие события. Вспыхнула война на Балканах — в тот самый 1912 год, когда проходила Пражская конференция, на которой был и Семашко. Он выступил с докладом о государственном страховании рабочих. Доклад, отредактированный Лениным, был принят конференцией.

— Кто мог тогда знать,— вспоминал потом Николай Александрович,— что всего несколько лет спустя в первой в истории человечества социалистической стране будет осуществлена эта большевистская программа государственного страхования рабочих?

Семашко уехал в Сербию. Во время Балканской войны он работал военным врачом, не прекращая революционной пропаганды: рассказывал раненым солдатам всю правду о войне. Однажды один из них шепнул на ухо Семашко:

— Про твои разговоры начальство знает. Беречься надо. Арест.

Николай Александрович и сам знал, что ему грозит. Вероятно, разведали, что он слал статьи в большевистские газеты, следили за ним. Тихо собрался и с помощью друзей перебрался в Болгарию. Там его и застала Февральская революция в России.

Семашко спешит домой. Но на русской границе его задержали агенты Временного правительства. И только в сентябре 1917 года Николай Александрович прорвался на родину.

Москва. На улицах манифестации. Бушевала народная масса, на заводах и фабриках создавались рабочие дружины, готовилось вооруженное восстание. Семашко выбрали председателем Пятницкой районной управы. Дела навалились на него со всех сторон, а ему все казалось, что он мало работает. В старой солдатской шинели, небритый, часто голодный, он, бывало, не спал по нескольку ночей и не замечал усталости. Пришли наконец вести из Петрограда: началось то, чего он ждал всю свою жизнь.

В Кремле засели офицеры с немногими обманутыми ими солдатами. Юнкера отчаянно защищали Александровское военное училище у Арбатских ворот. Стрельба, грохот орудий раздавались на улицах Москвы. Николаю Александровичу хотелось ринуться в бой, а приходилось организовывать помощь раненым: он ведал медико-санитарным отделом. Большая часть врачей разбежалась, больницы и поликлиники почти не работали, не было лекарств и перевязочных средств. И все же никогда еще Семашко не жил такой полной, счастливой жизнью, как в эти бурные дни...

Октябрь победил.

В июле 1918 года по предложению Ленина создается Народный комиссариат здравоохранения. Во главе его — Семашко. В Москву прибывали тысячи раненых с фронтов

гражданской войны, в больницы привозили сыпнотифозных, и надо было лечить их, находить врачей, фельдшеров, сестер и санитарок и все это делать неотложно каждый день, каждый час. Со всех сторон к Николаю Александровичу приходили люди, звонили, слали телеграммы — всего не хватает, все требуют помощи...

Он не терял мужества, но, когда стало слишком тяжело, пришел к Ленину. Владимир Ильич посмотрел на него зорко и внимательно, точно прожег его острым взглядом и, ни о чем не спрашивая, не дав Семашко заговорить, вдруг стал рассказывать, какие чудеса совершает Свердлов:

— Все лежит на нем, все идут к нему, все жалуются: плохо, этого нет, другого нет, ничего нет. Беда! А Яков Михайлович спокоен. И всем помогает. Находит там, где другой ничего не найдет, помнит наизусть тысячи вещей, все видит, все знает. Он, батенька, один заменяет многих, и ему, по-моему,— Ленин остановился и в упор посмотрел на Семашко,— труднее нас всех. Да, вот еще что, Николай Александрович: Свердлов выглядит совсем плохо. Зашли бы вы к нему, будто по делу, да посмотрели его, может быть, полечить его надо...— И сразу перешел к другому: — Я там кое-что наметил для вас. Нужно вам самому, понимаете — самому по душам поговорить с профессорами, врачами — со всеми. Есть среди них, несомненно, настоящие люди, их надо привлечь, расшевелить, заставить работать. И главное — довести до народа идею нашего советского здравоохранения, надо строить больницы, особенно в деревнях: там ужасные условия. Мы вам, чем можем, окажем помощь. И еще. Вот тут на бумажке несколько пунктиков относительно вашей работы — посмотрите...

— Без Ленина мы сделали бы гораздо меньше,— вспоминал Семашко,— сейчас трудно представить, как страшно было в те годы и как много помог нам Ленин в развитии советского здравоохранения.

Немало начинаний советской медицины связаны с именем Семашко: создание кафедры социальной гигиены, руководимой им, выращивание кадров квалифицированных врачей, строительство больниц и санаториев,— всего не перечислишь в кратком очерке. Он оставил более двухсот печатных трудов, и среди них «Основы советской медицины», «Карл Маркс и социальная гигиена», «Вопросы гигиены и

санитарии в труде В. И. Ленина «Развитие капитализма в России»».

Он был первым председателем Высшего совета физкультуры, инициатором создания Института физкультуры, давшего Советской стране многотысячную армию первоклассных мастеров, прославивших советский спорт.

...Конец тридцатых годов. Я работаю над сценарием документального фильма «Музей Ленина». Часто бываю в музее в часы, когда нет посетителей. Зашел и в траурный зал, овеянный торжественной, величественной печалью. Перед посмертной маской Ленина одиноко стоял человек. Склонив седую голову, он долго смотрел на маску, и большое горе выражалось во всем его облике, в лице, в как бы затуманенных глазах. Я тихо отошел, не желая мешать ему.

Через несколько минут я увидел Семашко в другом зале. Он был весь погружен в свою печаль. Стоял у стеклянной витрины, где висело пальто Ленина, в котором он выступал на заводе Михельсона и был ранен. Старенькое демисезонное пальто, с узеньким, сильно вытертым бархатным воротником. Места, пробитые пулями, обшиты красными нитками. Семашко долго стоял, почти касаясь лицом стекла витрины, потом провел рукой по глазам и тяжелой походкой направился к выходу.

Тут мне почему-то вспомнились крылатые слова Михаила Кольцова в статье, посвященной смерти Ленина. Кольцов писал о «великом племени большевиков». И как же подходило это определение наркому народного здоровья Николаю Александровичу Семашко — верному сыну этого племени!

Виктор Полторацкий

ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Он был из тех, чья пламенная сила
Рабочий класс на битву подняла.
Их ленинская правда окрылила,
Она им цель высокую открыла
И твердость в испытаниях дала.

1.

В начале марта 1906 года в Москву из Петербурга приехал Владимир Ильич Ленин. Цель этой поездки состояла в том, чтобы обсудить с московскими товарищами тактическую платформу большевиков на предстоящем IV Объединительном съезде РСДРП.

Объединения расколовшейся партии требовали рабочие социал-демократы. Владимир Ильич поддерживал это требование, но, остро чувствуя настроение рабочих, подчеркивал, что объединение с меньшевиками возможно только на идейной и организационной основе революционного марксизма.

Ленин отчетливо представлял, что на съезде придется вести решительную борьбу с лидерами меньшевистского крыла социал-демократии, среди которых звездой первой величины считался Плеханов. Следовательно, большевики, готовясь к Объединительному съезду, должны были иметь совершенно четкую платформу по всем вопросам, подлежавшим обсуждению, и твердо держаться ее принципов. Разработку практической платформы Ленин взял на себя и теперь хотел познакомить с ней членов Московского комитета.

Прямо с Николаевского вокзала Владимир Ильич направился в Большой Козихинский переулок, где жил один

из московских сотрудников издававшейся в Петербурге газеты «Новая жизнь» — Степанов. Лично со Степановым Ленин еще не встречался, но уже давно и внимательно следил за его выступлениями в печати, отмечая их глубину и основательность. Ему особенно понравилась одна из последних статей Степанова — «Издалека», напечатанная в полулегальном московском сборнике «Текущий момент». Эта статья, как и другие материалы сборника, была посвящена Декабрьскому вооруженному восстанию в Москве. Степанов горячо поддерживал ленинскую мысль о решающей и руководящей роли пролетариата в русской буржуазно-демократической революции, а главное, он давал верную и очень меткую оценку предательской позиции Плеханова в вопросе о Государственной думе.

— Замечательно верно,— отметил Владимир Ильич, еще в Петербурге ознакомившись со статьей Степанова.

Степанов была не настоящая фамилия, а литературный псевдоним Ивана Ивановича Скворцова, члена литературно-лекторской группы Московского комитета РСДРП.

Сын скромного конторского служащего И. И. Скворцов в 1890 году получил аттестат учителя и был зачислен преподавателем одного из городских училищ в Москве, на Арбате. Молодой педагог с жаром принялся за работу. Строгий и даже угрюмоватый с виду, он был человеком светлой души, одним из тех настоящих наставников молодежи, добрая память о которых навсегда сохраняется в сердцах благодарных учеников.

Он видел свое призвание в том, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. И не только в классах училища. Дело народного просвещения рисовалось ему в более широких масштабах, и этому делу он мечтал посвятить свою жизнь.

Еще в студенческие годы Скворцов сблизился с товарищами из подпольных революционных кружков, жадно читал нелегальную литературу, участвовал в горячих спорах, часто возникавших на сходках, серьезно увлекся самообразованием и среди знакомых слыл книжником, но не в смысле человека, ушедшего только в книги и оторванного от практической жизни, а в смысле человека образованного, начитанного. По складу характера, по самой натуре своей он был скорее пропагандистом-массовиком, умеющим ясно и убедительно растолковывать самые сложные теоретические положения, связывая их с примерами, взятыми из

жизни. Особенно увлекся Степанов вопросами марксистской политической экономии.

В начале 1896 года московская полиция была озабочена тем, чтобы очистить Белокаменную от крамолы перед торжественным приездом царя. В мае здесь должна была состояться церемония коронации Николая II. Охранка широко растянула по городу сеть сыска. Тюрьмы были переполнены неблагонадежными. В числе арестованных оказался и Скворцов. За принадлежность к революционному подполью его сослали под надзор полиции в Тулу.



Иван Иванович СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ (1870—1928)

Но ссылка не охладила пыл молодого учителя. Наоборот, она стала для него своеобразным университетом революционной борьбы. Здесь он сближается с некоторыми подпольщиками-марксистами, также высланными из Москвы, становится пропагандистом одного из рабочих кружков, а кроме того, вместе с А. А. Богдановым работает над составлением «Краткого курса экономической науки».

В 1900 году по отбытии срока ссылки Скворцов переехал из Тулы в Калугу. Конечно, более охотно он возвратился бы снова в Москву, но проживать там ему было запрещено. Однако вскоре он покидает Калугу, чтобы поселиться в Подольске, устанавливает связи с московской организацией РСДРП и изредка, тайно от полиции, наезжает в Москву, принимает участие в распространении прокламаций и нелегальной литературы.

Начало века было отмечено новыми репрессиями, новыми арестами. В конце 1901 года, приехав в Москву на совещание, которое проходило на квартире у члена Московского комитета Л. Никифорова, Скворцов снова был арестован и, обвиненный в принадлежности к Российской социал-демократической партии, сослан в Сибирь.

Оттуда он возвратился накануне бурного 1905 года убежденным большевиком и сразу включился в работу литературно-лекторской группы, организованной одним из руководителей большевистского подполья Москвы, врачом по профессии, С. И. Мицкевичем.

Степанов, как теперь называли Скворцова в подпольных кругах, выступал на митингах, в рабочих революционных кружках, на фабриках и заводах. Его выступления пользовались огромным успехом. Высокообразованный человек, отличный оратор и полемист, он со всей силой страсти и твердой убежденности обрушивался на либералов, эсеров, меньшевиков, подвергая их сокрушительной критике.

По поручению Московского комитета он вместе с Покровским, Лунцем, Рожковым организует выпуск «Библиотеки марксистских изданий». Популярным становится литературное имя Степанова. В. И. Ленин, возглавивший большевистскую газету «Новая жизнь», включает его в число постоянных сотрудников.

В пламенные дни Декабрьского вооруженного восстания Скворцов-Степанов находится в самом горниле борьбы. Он выступает на Пресне, его высокую характерную фигуру можно было встретить среди рабочих-дружинников. Уверенность в победе рабочего класса не покидала его даже после кровавого разгрома восстания. Впоследствии, вспоминая об этих днях, В. Д. Бонч-Бруевич писал: «...Иван Иванович, обвеянный еще пафосом московской трагедии, был так тверд, был так бодр и так уверен в громадности значения совершившегося революционного выступления восставшего пролетариата, что эта уверенность, эта бодрость совершенно уничтожала всякий пессимизм, всякую упадочность...»

Вот в это-то время и произошла первая встреча И. И. Скворцова-Степанова с приехавшим в Москву Владимиром Ильичем.

2.

С вокзала попав к Скворцову-Степанову, Владимир Ильич попросил немедленно связать его с Московским комитетом РСДРП. Иван Иванович тут же проводил Ленина к Мицкевичу, устроил встречи с другими руководителями большевистского подполья Москвы. Ленин провел здесь несколько совещаний, на которых обсуждались важнейшие вопросы большевистской тактики в условиях того времени.

В один из дней своего недолгого пребывания в Москве Владимир Ильич еще раз заглянул в Большой Козихинский переулок, к Скворцову-Степанову. Ленин расспрашивал

Ивана Ивановича о Декабрьском вооруженном восстании, живо интересовался подробностями.

Потом много лет спустя И. И. Скворцов-Степанов писал об этом свидании:

«С жгучим вниманием относился Владимир Ильич ко всему, связанному с московским восстанием. Мне кажется, я еще вижу, как сияли его глаза и все лицо освещалось радостной улыбкой, когда я рассказывал ему, что в Москве ни у кого, и прежде всего у рабочих, нет чувства подавленности, а скорее наоборот...

Владимир Ильич заставлял меня рассказывать, а сам говорил мало и только требовал новых и новых сведений...»

Личное знакомство, живое общение с Лениным произвели на Скворцова-Степанова неизгладимое впечатление. Он испытывал такое чувство, будто прикоснулся к кристально-светлому источнику, полному живительной силы. По возрасту Скворцов-Степанов был ровесником Ильича, но по революционному опыту, глубине мышления и ясности взглядов Ленин и для него был учителем жизни...

В конце апреля 1906 года вместе с другими делегатами от московской организации Скворцов-Степанов выехал в Стокгольм и принимал участие в работе IV Объединительного съезда РСДРП. На съезде, как и полагал Ленин, развернулась острейшая борьба между большевиками и меньшевиками. Владимир Ильич беспощадно критиковал оппортунистическую тактику меньшевиков, их отрицательное отношение к гегемонии пролетариата и вооруженному восстанию, к царской Думе, которую они пытались изображать «центром революционных сил страны...»

По всем этим вопросам Скворцов-Степанов твердо держался ленинской точки зрения. Со съезда он вернулся охваченный жаждой деятельности.

Он опять неутомимо выступает в печати как публицист, пропагандируя и отстаивая большевистскую линию. Тогда же принимается за огромный ответственный труд, решив перевести на русский язык «Капитал» Карла Маркса. Труд этот потребовал много времени, тем более что Иван Иванович не отключался и от текущей партийной работы. Но когда дело перевода было завершено, Ленин с похвалой отозвался о нем и говорил, что новое издание «Капитала» является лучшим из всех имевшихся, самым близким к оригиналу. Этот труд — огромная заслуга ученого-марксиста перед русским революционным движением.

В 1907 году московские большевики выдвинули Ивана Ивановича своим кандидатом в III Государственную думу...

Известно, что именно с этой поры в России начались черные, «адски трудные», по выражению Ленина, годы. Реакция размахнула свои совиные крылья. Либеральная интеллигенция переживала период депрессии, упадка и безнадежности. В литературе махровым цветом распустился чертополох декадентства.

Но большевики не падали духом, не поддавались пессимизму.

В воспоминаниях писателя В. В. Вересаева есть примечательный штришок, рисующий Скворцова-Степанова. Однажды Вересаев пригласил Ивана Ивановича на вечер, где собирался цвет декадентской литературы.

На этот раз на эстраде восседали приехавшие из Петербурга модернист Философов, Мережковский, Гиппиус, Андрей Белый. Говорили о всеобщей беспочвенности, о глубоком моральном падении современной литературы, о мрачных общественных перспективах.

— Литература сплошь продалась! — восклицал Белый.— Осталась небольшая группа писателей, которая еще честно держит свое знамя. Но мы изнемогаем в непосильной борьбе, наши силы слабеют, нас захлестывает волна всеобщей продажности... Помогите нам, поддержите нас!

Иван Иванович слушал, слушал эти панихидные вопли и наконец не выдержал, поднялся, высокий, громовоголосый, стал говорить. Сначала немного волновался, потом овладел собой, стал едким, насмешливым. Он недоумевал, почему так безнадежно смотрят выступавшие ораторы на будущее, говорил о могучих «общественных силах», временно побежденных, но неудержимо вновь поднимающихся и растущих. Растленной декадентской литературе он противопоставил настоящих писателей земли русской — Л. Н. Толстого, В. Короленко, М. Горького.

— Господин Андрей Белый докладывает вам, что осталась в литературе только ихняя кучка, что она еще не продалась, но ужасно боится, что ее кто-нибудь купит. И умоляет публику поддержать ее,— насмешливо говорил Скворцов.— Мне припоминается старое изречение: «Добродетель, которую нужно стеречь, не стоит того, чтобы ее стеречь!» Так и с вами: боитесь соблазниться, боитесь не устоять — и не надо! Продавайтесь! Не заплачем! Но русскую литературу оставьте в покое: она тут ни при чем.

Демократическая публика горячо аплодировала оратору-большевику. «Как будто в душную залу, полную тонко ядовитых, расслабляющих испарений, ворвался бурный сквозняк...» — рассказывает В. В. Вересаев.

Это только один штришок, одна из многих подробностей жизни и общественной деятельности И. И. Скворцова-Степанова в тот мрачный период, но известны и десятки других примеров того, как горячо и решительно выступал он против настроений безысходности и упадка. Однако было бы неправильно умолчать о том, что в годы столыпинской реакции Скворцов-Степанов не всегда отчетливо оценивал и понимал обстановку. В. И. Ленину приходилось критиковать его за неверные взгляды по вопросам аграрной политики и за примиренческое отношение к фракционной группе «Вперед», возглавлявшейся старым знакомым Скворцова-Степанова экономистом А. Богдановым.

В начале декабря 1909 года, будучи в Париже, Владимир Ильич послал Скворцову-Степанову письмо, в котором прямо указывал на его ошибки и заблуждения. Письмо начиналось словами: «Дорогой друг!» — и в целях конспирации подписано: «Весь Ваш *Старик*». Но то была критика ради того, чтобы поправить заблудившегося товарища, спасти его от дальнейших ошибок. Тут очень ярко проявился характер Владимира Ильича, беспощадного к врагам, нежного и внимательного к товарищам...

Иван Иванович правильно понял дружескую критику Ленина и сделал для себя верные выводы.

При довыборах в Государственную думу И. И. Скворцов по рекомендации ЦК партии снова был выдвинут кандидатом от московских рабочих. Правда, особенной надежды на то, что он пройдет в Думу, у Центрального Комитета не было, но, будучи выдвинут кандидатом, Скворцов-Степанов получал права выступать на предвыборных собраниях и митингах, вести открытую борьбу с кадетами, а это в тех условиях было самое главное.

Однако московская буржуазия, хорошо знавшая Ивана Ивановича еще по 1905 году и боявшаяся такого противника приняла надлежащие меры. Полиция внезапно произвела обыск на квартире Ивана Ивановича, у него нашли запрещенные книги, он был опять арестован и выслан в Астраханскую губернию.

Из астраханской ссылки Скворцов-Степанов вернулся накануне первой мировой войны. Он сразу же включился

в работу московской партийной организации. Пишет и печатает прокламации, публикует статьи против оборонцев, выступает с докладами о необходимости подготовки к решительному революционному штурму.

Уже в разгаре войны вышел большевистский сборник «Под старым знаменем». В нем участвовали видные партийные публицисты. В их числе — Скворцов-Степанов. Его статья «О парламентском блоке» разоблачала думский сговор меньшевиков и эсеров с буржуазией. Участники сговора обрушились на автора статьи с яростными нападками.

3.

В январе 1917 года В. И. Ленин, будучи в Швейцарии, выступил в Цюрихе на собрании рабочей молодежи и произнес пророческие слова: «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией».

Прошло немногим больше месяца, и в России произошла Февральская революция. С первых дней ее И. И. Скворцов-Степанов стал членом Московского комитета партии и редактором начавшей выходить газеты «Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов». Газета громила и разоблачала политику соглашателей, пропагандировала ленинские принципы революции. Но в Московском Совете тогда главенствовали меньшевики. Им удалось выпихнуть большевистского агитатора из редакции. Тогда по поручению партии Иван Иванович приступил к работе в редакции газеты «Социал-демократ», которая стала боевым органом московских большевиков и пользовалась особенной популярностью среди рабочих.

В сентябре большевики завоевали в Московском Совете большинство голосов. И Скворцов-Степанов снова редактирует «Известия». Его литературно-публицистическая работа в этот период приобрела необыкновенный размах: за несколько месяцев около сотни статей и брошюр по самым жгучим вопросам жизни.

В канун Октября И. И. Скворцов-Степанов становится членом Военно-революционного комитета Москвы, одним из руководителей вооруженной борьбы московских рабочих за власть Советов. Здесь он не только глашатай революционного слова, но и человек революционного действия.

Известен, например, такой факт. В ночь на 28 октября по старому стилю, когда в Петрограде уже был взят Зимний и провозглашена власть Советов, в Москве шло экстренное заседание Военно-революционного комитета. Кремль был еще в руках ставленника Керенского полковника Рябцева. С ним связались по телефону и потребовали немедленной сдачи. Рябцев ответил наглым отказом. На заседании Военно-революционного комитета возник вопрос: что делать? Был единственный выход — борьба не на жизнь, а на смерть. Поднялся Скворцов-Степанов и сказал:

— Кто боится смерти, пусть покинет это здание...

По призыву большевиков отряды рабочих и революционных солдат повели решительное наступление, заговорили языком пушек. Рябцев был вынужден сдаться. Власть Советов окончательно утвердилась в Москве.

Вскоре Иван Иванович с группой московских большевиков выехал в Питер. Там он выступил в Таврическом дворце на заседании Учредительного собрания, не признававшего декреты Советской власти, и в своей речи заявил, что только Советы во главе с Лениным являются единственными и полными выразителями воли большинства трудового народа.

— Да здравствует власть Советов! — воскликнул он в заключение речи, сошел с трибуны и вместе с другими большевиками, демонстративно покинув Таврический дворец, направился в Смольный к Ленину.

Еще на втором Всероссийском съезде Советов по предложению В. И. Ленина Скворцов-Степанов был назначен народным комиссаром финансов. Но он отказался от этого дела, заявив:

— Не гожусь.

— Иван Иванович,— говорили ему,— вы же написали труд о финансовом капитале.

— Нет, нет,— упорствовал он,— ведь я преимущественно теоретик и могу быть полезен как таковой.

Да, он был теоретиком, ученым, всесторонне образованным человеком, но его ученость органически соединялась с практикой революционера-массовика. Необычайно широк был круг близких друзей Ивана Ивановича. Среди них писатели Максим Горький, В. В. Вересаев, А. С. Серафимович, Демьян Бедный, ученые-революционеры Г. М. Кржижановский, М. Н. Покровский, А. В. Луначарский и сотни простых рабочих.

Необычайная скромность в личной жизни, в быту — одна из характернейших черт этого замечательного человека. Они сочетались в нем с щедростью сердца, с огромной добротой и внимательным отношением к людям.

Ростом он был высок, лицо в бороде и длинных усах, брови сдвинуты угрюмовато. Но из-под этих строгих бровей удивительно живо и ясно сияли глаза. Низкий, слегка глуховатый басок менялся, когда Иван Иванович поднимался на трибуну. Тут басок его приобретал юношескую звучность и остроту. Говорил он ясно, доходчиво, просто, умел вызывать у слушателей улыбку и сам смеялся заразительно весело.

Царские тюрьмы и ссылки сказались на здоровье Скворцова-Степанова. Удушливый кашель часто мучил его. В трудное время гражданской войны и разрухи, в пору голода и холода болезнь осложнилась. Но Иван Иванович попрежнему неутомимо работал, много писал, налаживал издательские дела, выступал с докладами и лекциями на рабочих собраниях, продолжал совершенствовать свой перевод «Капитала». Бодрость духа не покидала его.

Жил он тогда в небольшой, очень скромно обставленной квартирке на Большой Калужской, и весной 1918 года здесь навещал его Владимир Ильич. Встречи с Лениным воодушевляли Ивана Ивановича, а Владимир Ильич, как о том вспоминает В. Д. Бонч-Бруевич, не раз говорил о превосходных душевных качествах Скворцова-Степанова: «Вот что значит сила величайшей убежденности, сам кашляет, температурит, задыхается, худой, желтый, а всегда весел, жизнерадостен... Это замечательное качество... Это очень хорошо... Смотрите, как он на всех прекрасно влияет...»

Ленин высоко ценил образованность, эрудированность Скворцова-Степанова, называл его профессором. Захваченный идеей электрификации страны, Владимир Ильич говорил о необходимости создать увлекательную, популярную книгу, пропагандирующую план ГОЭЛРО. И написать ее поручил Скворцову-Степанову, всячески помогая ему, снабжая необходимой литературой, заботясь о том, чтобы автора не отвлекали от важного дела. Когда же работа была закончена, Скворцов-Степанов познакомил Владимира Ильича с рукописью. Ленин написал к ней свое предисловие.

«От всей души рекомендую настоящую работу тов. Степанова вниманию всех коммунистов,— писал Владимир

Ильич.— Автору удалось дать замечательно удачное изложение труднейших и важнейших вопросов. Автор прекрасно сделал, что решил писать книгу не для интеллигентов (как у нас принято писать книги, подражая худшим манерам буржуазных писателей), а для трудящихся, для настоящей массы народа, для рядовых рабочих и крестьян».

Книгу Степанова «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства» с дарственной надписью автора настоящему вдохновителю этого труда можно и сейчас увидеть на рабочем столе в кремлевской квартире Ленина.

Эпиграф к очерку «Для трудящихся» взят из стихотворения Виктора Полторацкого, которое посвящено памяти *Ивана Ивановича Скворцова-Степанова.*

Рудольф Бершадский

ОН ЗНАЛ ОДНОЙ ЛИШЬ ДУМЫ ВЛАСТЬ...

Правнукам,
Праправнукам запомнится,
Вечно будут люди вспоминать,
Как за волей вольной вышла вольница
Кандалы и цепи рабства рвать!

В. Боков

Пожалуй, не найти еще ни одного знамени на свете, на полотнище которого было бы вышито: «Ленин». Еще охранники, донося по начальству, ставят это имя в кавычки: они ведь точно установили, что оно только партийная кличка помощника присяжного поверенного Ульянова, ничего больше. Еще во всех городах Российской империи чуть ли не на каждом перекрестке торчат нерушимыми столпами мордастые городовые на слоновьих ногах, а агонизирующий человек на больничной койке в глухом сибирском городе Красноярске в бреду, натужно выхаркивая остатки кровоточащих легких, все равно упрямо хрипит: «Все... все под знамена Ленина!» — и силится подняться на ноги, и взмахивает рукой, словно призывает кого-то вперед, за собой...

Но ему уже не выбраться из матрацной могилы. Ему уже не дожить до разлива этих знамен. Всего полгода остается до свержения самодержавия, до возвращения в Россию человека, которого нет для него дороже,— Ильича. А он, тридцати трех лет от роду, загнанный в лютую сибирскую ссылку, умирает от недоедания, чахотки, ревматизма, водянки, от того, что износившееся сердце больше не в со-

стоянии биться ровно и размеренно. За тридевять земель жена — ей не на что добраться сюда через всю Россию. За тридевять земель дети, в которых он души не чает. А он умирает и никогда больше их не увидит...

Нет, не умирают такие люди! Они бессмертны, эти тридцатилетние ветераны нашей партии. И не только потому, что никогда не умрут в памяти поколений, но и потому, что знали сами: бессмертно дело, в котором они без остатка растворили всю свою жизнь. И это давало им веру и силы смотреть на любые преследовавшие их тяготы из такого сияющего далека счастливого будущего, из которого даже собственная смерть виделась им не более чем мелкой частностью. Ну и что, что смерть! А дело-то все-таки победит!

Вот какой человек агонизировал на больничной койке в Красноярске 11 сентября 1916 года. Лицемерным указом царя ровно за месяц до этого он был «милостиво» освобожден от дальнейшего отбытия пожизненной ссылки — когда стало ясно, что ему все равно больше не протянуть.

Друзьям не удалось накрыть его гроб красным знаменем. Он был опасен правительству, и после смерти усиленный наряд жандармов сопровождал его прах до самой могилы...

Как же звали этого человека, о котором трогательно заботились Ленин и Крупская, которому по копейкам собирали деньги питерские рабочие, чтобы хоть как-нибудь облегчить его ссылку, а он писал на волю: «Настроение бодрое, веселое, хорошее. Да здравствует жизнь! И мы еще повстанем, нечего унывать. Бывает похуже. А по сравнению с другими мои неприятности сущие пустяки...»

Охранка не спускала с него глаз. Он проходил по ее донесениям Овражным, Кавказским. Охранка никогда не выпускала его из поля зрения. Товарищи знали его как Тимофея, Локтина, Нерусова, Яшвили, читатели — под псевдонимами Ольгин, Изгой, Тим. Большевику-подпольщику требовалось много имен, на все случаи жизни. И еще — дисциплинированная и тренированная память, чтобы всегда была начеку и никогда не подвела, чтобы и спросонья подсказывала мгновенно: кто ты сегодня — Тимофей или Локтин, Нерусов или Яшвили.

Но лишь в редчайших случаях он мог себе позволить откликнуться на свое настоящее имя: Сурен, Сурен Спандарян.

Он был сыном известного армянского общественного деятеля и публициста Спандара Спандаряна, основателя и

редактора тифлисской газеты «Нор дар», что в переводе с армянского означает «Новый век».

Отец был уверен, что новый век его любимого и родного армянского народа — единственного, для которого он жил,— начнется лишь тогда, когда армяне сплотятся, как один, вокруг своей церкви и ее главы — католикоса, и этим победят. Это была заветная мечта и единственная цель его жизни, то, с чем он вставал и ложился. Он был образованным человеком, Спандар Спандарян, знал несколько языков, кончил курс юридических наук в Германии...

— Но как же, как же, дорогой отец, вы не видите, что совсем не братья между собой все армяне, как не братья и все русские, все грузины, все тюрки? Что купец-армянин дерет три шкуры со своего «брата»-армянина не хуже, чем со всех остальных? Что армянин-фабрикант тоже ни гроша не прибавит армянину-рабочему лишь за то, что тот — армянин? Да и, скажите, чем лучше остальных людей армяне, чтобы биться за лучшую долю только для них? Неужели, отец, вы не понимаете, что главное различие между людьми не в том, что одни — армяне, а другие — грузины или русские, а в ином: одни — богачи, другие — нищие; у одних в руках все: земля, фабрики, магазины, а у других единственное богатство — лишь их собственные, но всегда пустые руки?

Сын восстал против отца с юных лет. Он любил отца, но не бездумно. Он ценил его бескорыстие и влюбленную преданность своей цели. Понимал, что отцом движут самые благие побуждения, что он желал добра всем, но просто не нашел иного выхода, как противостоять тяжкому чужеземному угнетению, которому уже столько веков подвергается его многострадальный народ. Сын видел на каждом шагу, что отцу не нужно от жизни совершенно ничего лично для себя: ни почета, ни денег, ни покоя; но сын не мог — уж таков был спандаряновский характер! — никому не мог уступить ни пяди своих убеждений!

А они сложились рано. Недаром страстность воззрений отца невольно воодушевила и его с детских лет на то, чтобы стать опорой отцу. Но, чем больше он старался найти в окружающей действительности подтверждение отцовских мыслей, тем чаще, наоборот, сталкивался с прямо противоположным: с тем, что все факты жизни как раз шли вразрез с положениями отца. Семья жила в Тифлисе, городе многонациональном; здесь с равным успехом к тебе могли обра-

титься и по-грузински, и по-армянски, и по-русски, и по-тюркски. Как же не видел отец, что купцу-армянину живется так же вольготно, как грузинскому помещику или русскому чиновнику, а рабочему человеку — все равно, русскому ли железнодорожнику или грузчику-азербайджанцу,— так же трудно и тяжко, как безземельному бедняку-грузину и безработному армянину?



Сурен Спандарович СПАНДАРЯН (1882—1916)

В редакции «Нор дара» всегда было оживленно, люди сюда приходили самые разные, разговорам и спорам не было конца. Но сторонники отца охотнее всего поддерживали один разговор: какой чудесной могла бы стать жизнь, если бы... да кабы...

Сурена очень скоро привлекли к себе другие посетители редакции: те передовые армянские писатели и журналисты, которые своими братьями по духу считали Герцена и Чернышевского, Белинского и Добролюбова, а ловчилу и мошенника, какого-нибудь купчину Мовсесяна, не намерены были считать братом по духу лишь из-за того, что он — Мовсесян.

Они заметили — не могли не заметить! — с каким жадным интересом прислушивается ко всему, о чем спорят в редакции, младший сын старика Спандаряна — Сурен, как он неразлучен с книгами, причем всегда с серьезными, какой острой жизненной наблюдательности полна каждая его реплика, когда он порой позволяет себе вмешаться в спор взрослых.

Нередко ссылки этого пяти- или шестиклассника на высказывания крупнейших историков, скажем, о французской революции или Парижской коммуне ставили втупик его собеседников: когда юноша только успел все это узнать!

И как-то само собой получилось, что когда в конце девяностых годов Закавказье, и в частности Тифлис, по воле царского правительства стали местом ссылки многих русских революционеров-марксистов, вслед за чем, естественно, в Тифлисе один за другим начали возникать марксистские кружки, к одному из них тотчас нашел дорогу Сурен Спандарян.

Четверть века спустя славный поэт советского народа скажет о себе:

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Так же и для Сурена Спандаряна не было не только любви, но и самой жизни без того, чтобы не найти наконец ясного и бескомпромиссного ответа на все мучившие его вопросы, без того, чтобы не вырешить: как же, наконец, одолеть всю социальную несправедливость, на которой покоится окружающее его общество?

Жизнь громоздила до небес горы и горы фактов социальной несправедливости перед каждым чутким умом, и вот с этих-то «небес» и «бросился в коммунизм» Сурен Спандарян. Марксизм, партия дали страстному, пытливому уму юноши все, чего ему не хватало, прежде всего ответ, что делать. Даже и книга так прямо называлась, будто по его личному заказу!

С первых дней вступления в РСДРП Сурен Спандарян находит в Ленине вернейшего друга и наставника, хотя пройдет еще десять лет, прежде чем они встретятся очно.

В 1902 году Сурен переезжает из Тифлиса в Москву: учиться в университете, приобретать знания, которые теперь становятся нужны ему вдвойне — уже не только для того, чтобы насытить собственную любознательность, но и для партии: партии нужны люди образованные. Чтобы привлекать на ее сторону новых товарищей, чтобы завоевывать массы рабочего класса, кладя на обе лопатки экономистов, легальных марксистов, социалистов-революционеров, надо уметь находить неотразимо убедительные ответы на любые возникающие в народе вопросы. А как научиться этому без знаний? Как научиться видеть жизнь широко и анализировать ее глубоко — без образования, без того, чтобы не пополнять свой политический багаж постоянно, непрерывно?

Спандарян поступает на историко-филологический факультет, но уже скорее, чем через два семестра, меняет его на юридический: здесь больше возможностей изучать, и притом открыто, те науки, которые сегодня партии нужнее всего,— социальные. Филология до поры до времени может обождать...

Однако чернявого, легко зябнущего, никак не привыкнущего к московским морозам молодого студента-юриста можно было видеть в те поры не только в «читалке» университета или «Румянцевки», но и у табачников «Дуката», и в другом конце города — на рабочей окраине Симоновке.

Что он делает там? А то же, что и другие его товарищи — участники марксистского кружка профессора Московского университета социал-демократа Н. А. Рожкова: по поручению Московского комитета партии сколачивает в кружки наиболее активных и недовольных рабочих, разбирает с ними хитрую механику того, как эксплуатируют рабочего человека хозяева: и штрафами, и расценками, и платой втридорога за койку в общежитии и в фабричной лавке; и как налажена еще более хитрая механика защиты хозяйских интересов фабричными инспекторами, полицией, самим батюшкой-царем; и что надо делать, чтобы бороться с этим и чтобы борьба всех отрядов рабочего класса во всей необъятной России сливалась воедино. Сурен рассказывает на Симоновке, что творится на «Дукате» и какова картина в Тифлисе,— всюду одно и то же...

Но как ни была горяча кровь молодого кавказца, как быстро ни приходится шагать, если пальтецо подбито только ветром — все равно от «Дуката» до университета не так уж близко, от Симоновки же — и говорить не приходится. А на трамвай денег нет...

На лето, на каникулы он возвращается домой, в Тифлис. Но это кратковременный отдых только от постоянного нудного недоедания в Москве да от ее холодов. От партийной же работы для Сурена каникул не существует. С таким же жаром он ведет агитационную и пропагандистскую работу и в Тифлисе. Агитатор он замечательный. Язык его прост, факты, на которых он строит свою агитацию, у всех перед глазами. Он свободно говорит по-русски, по-армянски, по-грузински. Если слушатель или собеседник не понял чего-нибудь, он тут же переведет все, что сказал, на родной тому язык. Социал-демократические кружки в Закавказье с самого своего возникновения проявили себя как

организации интернациональные во всем, и прежде всего, конечно, в том, что сплачивали передовую часть пролетариата края без какого бы то ни было различия национальностей.

Но каникулы кончаются, Сурен снова в Москве.

А события в России тем временем нарастают бурно.

Русско-японская война, которая должна была, по мнению правительства, отвлечь внимание народа от безысходной нужды и одурманить его военными победами, на деле приносила царизму одни поражения, возбуждала недовольство народа. Пар в котле бурлил все грознее, вот-вот он вырвет — с болтами вместе! — все клапаны и заглушки. Передовое студенчество — с народом.

В декабре 1904 года студенты устраивают грандиозную по тем временам демонстрацию в Москве. Каким восторгом дышит письмо Сурена об этом! Он делится с отцом: «Вы, вероятно, читали уже о московской демонстрации?.. Это было нечто грозное, грандиозное!.. Правительство было до того перепугано, что оно вызвало артиллерию, а зверства полиции и казаков перешли всякие границы. Демонстрация произошла одновременно,— упоенно продолжает он,— на Тверской, Кузнецком, Дмитровке, Лубянке, Воздвиженке, Арбате, Никитской. Не скрою, что участвовал и я, но благополучно выкрутился, хотя фуражка моя осталась на поле брани и меня малость поколотили. Но во имя справедливости нужно сказать, что и я своей дубинкой изрядно прошелся по спинам и головам полицейских...»

Спандарян не только готов к бою — он рвется в бой. И не только с дубинкой в руках! Вся его пламенная натура жаждет еще более решительной схватки с самодержавием, этим первейшим тогда врагом всего трудящегося люда России.

И он не в силах усидеть в Германии, куда уговорил его поехать продолжать образование отец, после того как «гнездо заразы» — Московский университет закрыли на неопределенный срок. Через несколько месяцев Сурен снова в России. Сентябрь и октябрь 1905 года он не менее активно, чем в Москве, участвует в проведении рабочих демонстраций в Тифлисе, громит на собраниях меньшевиков, дашнаков и эсеров, у себя на квартире проводит конспиративные совещания членов Кавказского областного бюро большевиков, трудится над изданием и распространением большевистских газет, листовок, прокламаций. Как расходится во

все стороны волнами жар от раскаленной печки, так от Спандаряна исходит обжигающая революционная энергия, заражающая десятки и сотни людей.

Это ведь только сказать просто: трудится над изданием и распространением большевистской литературы. А ведь это значило поспеть на ряд конспиративных встреч за день, да так, чтобы ни на одну не притащить за собою «хвоста»; подобрать места, где можно было бы с наименьшей вероятностью провала печатать эти издания; откуда-то раздобыть шрифты, краску, станки, литографские принадлежности, пишущую машинку, причем ни одно из этих приобретений не должно зародить ни в ком ни малейших подозрений; а до этого где-то еще раздобыть деньги, чтобы закупить все это... А доставить потом на место купленное? А обеспечить тексты: либо самому написать их, либо подсказать другим авторам, что им писать? А найти время отредактировать написанное? А организовать вынос готовой продукции? А не ошибиться в выборе людей: кому и что можно доверить? Конечно, людям надо доверять — только человеконенавистники не верят никому! — но легко ли брать на себя ответственность за каждого, кому ты что-то поручил, что он не предаст, не выдаст, может быть, даже невольно, по неопытности? А ведь каждый провал — это каторга, а то и виселица другим доверившимся тебе товарищам!

Неизвестно, когда Сурен спит и спит ли он вообще. Во всяком случае, охранка, установившая за ним в это время неослабное наблюдение, получает от шпиков до восьми донесений в день! И все-таки каждый раз он умудряется ускользнуть из их поля зрения...

В октябре Сурен возвращается в Москву: почва в Тифлисе накалена настолько, что арест может не заставить себя ждать. А Сурен должен оставаться на свободе, ему никак нельзя выходить сейчас из строя!

22 октября 1905 года общегородская конференция большевиков Москвы решает приступить к подготовке вооруженного восстания в городе. Сурен, продолжая агитационную и пропагандистскую работу, принимается также за новую деятельность: организацию вооруженных дружин на Пресне. Он и сам учится владеть оружием. Одновременно изучает во всех подробностях план Пресни: все проходные дворы, тупики, мосты, переулки, заборы, подходы к магистральным улицам. Восстание — это наука, это искусство, а не фейерверк!

И когда оно в декабре наконец вспыхивает, Сурен — в числе первых, кто поднимает красное знамя над Пресней.

Судьба этого восстания известна: оно было разгромлено. «Не надо было браться за оружие!» — менторски изрек Плеханов, подтвердив этим свою трусливую позицию.

Сурен Спандарян, дравшийся с царскими карателями на пресненских баррикадах до конца и потерявший на них самого близкого друга — рабочего-большевика Тимофея, берет себе после этого партийной кличкой имя Тимофей. Не гибнут герои, павшие за дело народа, как бы говорит его поступок, видите — они продолжают свой священный бой!

Вспомним статьи Ленина о Декабрьском восстании, пламенную ленинскую оценку им этого бессмертного подвига пролетариев Москвы. Как точно совпадает с нею романтический поступок Спандаряна!

Московская охранка не располагала точными сведениями об участии студента Спандаряна в декабрьском «бунте»: двадцатидвухлетний студент был уже стреляным волком и не давал в руки врага никаких лишних улик против себя. Конечно, располагай полиция такими сведениями, Спандаряну пришлось бы оставить Москву не пассажирским поездом, а арестантским вагоном. Но хватало и того, что были известны его настроения. И поэтому сразу после восстания Сурена исключают из университета под другим предлогом: невзнос платы за право учения.

Ему не оставалось ничего, кроме как вернуться в Тифлис: жить в Москве на средства отца и не учиться было невозможно...

Последующие шесть лет — годы расцвета публицистического таланта Спандаряна. В ответ на разгул реакции после разгрома революции пятого года большевики призывали к еще более тесному сплочению всех передовых сил страны, к укреплению партии и максимальной гибкости в ее работе, как легальной, так и подпольной, к еще более решительному разоблачению оппортунизма, в каком бы обличье он ни выступал.

И вновь Сурен Спандарян на переднем крае борьбы.

Депрессия в промышленности резко увеличила количество безработных. Отчаянное положение делает их наиболее озлобленными врагами существующего строя, обрекающего каждого выгнанного на улицу рабочего и его семью просто-таки на голодную смерть. Спандарян активно участвует в

работе советов безработных, руководит забастовкой рабочих медных рудников в Алаверди. Он организует сбор средств для бастующих среди крестьян окрестных сел, помогает горнякам выработать их требования к хозяевам. Затем проводит в Елизаветполе ряд дискуссий против националистической партии дашнакцутюн и меньшевиков, налаживает в Елизаветполе подпольную типографию.

В январе 1907 года ему приходится перейти на нелегальное положение. Партия перебрасывает его в Баку. Он готовит здесь политическую забастовку нефтяников, одновременно сотрудничает в легальной большевистской газете «Гудок».

Его арестовывают, но вынуждены выпустить за отсутствием достаточных улик: снова Спандарян-конспиратор на высоте!

Спустя два года — в 1909-м — к нему применяют административную высылку из пределов Бакинской губернии: опять полиция не располагает данными для более серьезных мер. Сурен снова в Тифлисе.

Семья его почти голодает (а у него уже есть семья: жена Ольга Вячеславовна — такая же беззаветная революционерка, как он сам, дети), он непрерывно тяжело болеет, полиция придирается к административно высланному на каждом шагу и ведет за ним непрерывную слежку. Но что может остановить Спандаряна?! Кирпич к кирпичу восстанавливает он нелегальную партийную организацию большевиков Тифлиса. И одновременно пишет, пишет, пишет. Откликается на злобу дня, дает большевистскую оценку всем важнейшим событиям, которые волнуют его читателя — читателя большевистских газет. У него достаточно и знаний, и жизненного опыта, и четкости мировоззрения, чтобы не оказаться поставленным в тупик никаким политическим вопросом, требующим партийного ответа. А умения говорить с народом ему тем более не занимать стать!

Статьи Спандаряна на редкость лаконичны, и вместе с тем они охватывают все главное — это великое искусство именно народного трибуна. В них нет места никаким завитушкам, никаким «красотам штиля» — только то, что нужно. В их основе постоянно конкретные факты, взятые из действительности, они известны и потому доступны для обсуждения каждому читателю. И всегда же Спандарян переходит от единичных фактов к крупным обобщениям. Он никогда не забывает, что главная цель публициста-большевика —

29 Зак. 2287

формирование мировоззрения читателя и конкретный ответ: а как он, читатель, может и должен поступать сегодня, чтобы, столкнувшись с приведенными фактами, приблизить осуществление своих идеалов?

По каким только вопросам не пишет Спандарян за эти годы! Серия статей «Наша роль в деревне», формулирующая тактику социал-демократов в отношении пролетарских и полупролетарских масс деревни — батраков, безземельной бедноты. Задача социал-демократов, суммирует Спандарян точку зрения большевиков,— пробудить в этих слоях дремлющее классовое самосознание, помочь вовлечению их в активную классовую борьбу и возглавить руководство ею, устанавливая наивозможно тесную связь между ними и городскими рабочими.

Серия статей «Школьный вопрос и социал-демократия», посвященная проблемам воспитания молодого поколения и демократизации школы. Школа нужна такая, пишет Спандарян, которая была бы доступна всему народу, а для этого обучение в ней должно быть бесплатным, питание школьников — тоже. И учебники и школьные принадлежности должны быть также бесплатные. Мальчикам и девочкам надлежит обучаться вместе, обучение следует вести на родном языке. Школа должна быть непременно светской, ни под каким видом не духовной! Если Спандарян берется освещать какую-нибудь проблему, он ее освещает всесторонне!

И большое количество статей по национальному вопросу. Он пишет о том, кто должен представлять нацию: рабочий класс и крестьянство, никто другой! И о партийной жизни. И о точке зрения партии на выборы в Государственную думу и местные органы самоуправления. И на темы международного рабочего движения. И по религиозным вопросам. И о причинах роста самоубийств среди молодежи. И об аграрном законе Столыпина. И о литературе и искусстве. И по всяким другим вопросам.

Газеты, в которых сотрудничал Спандарян, власти предержащие закрывали одну за другой: он ведь сотрудничал в изданиях только большевистских или по крайней мере очень прогрессивных. Но на смену только что закрытой газете в ближайшее же время возникала новая. И хотя и ей давали просуществовать не более чем считанное число номеров, все равно она успевала за это время донести до читателя живое большевистское слово.

В 1906 году Сурен Спандарян совместно со Степаном Шаумяном по поручению Кавказского центра РСДРП в Тифлисе приступил к изданию легальной большевистской газеты на армянском языке под хорошо уже известным читателю названием «Кайц», ибо по-русски это значило «Искра». Однако после выпуска сорок седьмого номера «Кайц» ее в том же году закрывают.

Ей на смену приходит «Нор хоск» («Новое слово»). В редакционной коллегии все те же соратники и друзья: Спандарян, Шаумян. «Нор хоск» выходит в свет меньше двух месяцев.

С переездом в Баку Сурен работает в газете «Гудок» — легальном органе Бакинского союза нефтепромышленных рабочих, затем в легальной большевистской газете на армянском языке «Орер» («Дни»), которую запрещают после восьмого номера.

С июня 1907 года начал выходить «Бакинский пролетарий» — орган Бакинского комитета РСДРП. Спандарян — член редколлегии газеты. Он систематически разоблачает на ее страницах кадетов, меньшевиков, буржуазную прессу, разъясняет экономическое учение Маркса.

Но запрещают, конечно, и «Бакинский пролетарий».

Тогда начинает выходить большевистский журнал «Волна». Редактор — Шаумян, член редколлегии — по-прежнему Спандарян.

Однако и «Волна» вскоре прекращает существование, и тоже, понятно, не по своей воле.

С переездом в Тифлис Сурен сотрудничает в либеральной газете «Новая речь». Цензурные преследования вынуждают его перестать в ней писать и перейти в газету «Курьер-копейка». «Курьер-копейку» закрывают — появляется «Листок-копейка». Ее постигает участь предыдущих изданий. Газетчики начинают выкрикивать на улицах:

— А вот новая газета — «Трудовая копейка»...

И так без конца, без конца...

Старая соратница Спандаряна Ф. М. Кнунянц-Ризель вспоминает один эпизод, относящийся к пребыванию Сурена в Баку:

«Ярко запомнился мне один вечер, когда мы, группа делегатов июльской конференции 1907 года (в Баку), после конференции направились к Баилову, где у нас было облюбованное место для отдыха на берегу моря. Ночь была лунная, тихая. Нас было семеро: товарищи Степан (Шаумян),

Коба (Сталин), Сурен (Спандарян), Ваня (Фиолетов; впоследствии бакинский комиссар), Семен (Жгенти) и я с Настей (Клавдия Григорьевна Завьялова).

Очарованные тишиной лунной ночи, мы долго сидели молча, а потом стали вслух мечтать о том, чем бы каждый из нас занялся после свержения самодержавия и победы пролетарской революции. Помнится, первым заговорил Ваня Фиолетов, влюбленный в науку, особенно в математику. Он выпалил под общий хохот, что он постарается окончить университет и заняться... астрономией!

Обстановка была такая дружеская и непринужденная, что каждое высказывание товарища, несмотря на его искренность и серьезность, сопровождались бурным одобрением и смехом. Товарищ Сурен молчал долго — он что-то был не в духе,— но все же, видимо, и его заразила дружеская болтовня, и он сказал, что его мечта — редактировать большой общерусский литературно-художественный и общественно-политический журнал... или, еще лучше, быть редактором большой, общерусского масштаба, газеты, субсидируемой рабочим правительством, с обширным кругом корреспондентов, связанных со всем миром...

— Эх, тогда только и живешь, когда под рукой газеты, когда можно писать о чем хочешь и когда хочешь. Придет ли скоро время, когда можно будет писать вволю?

Это была мечта истинного публициста, влюбленного в свое дело, истинного трибуна...»

Но как не дожил мечтатель Фиолетов до того, чтобы свободно заниматься астрономией: последнее небо, которое он видел над головой, было беспощадное небо Закаспия, под которым его вместе со Степаном Шаумяном и остальными бакинскими комиссарами расстреляли английские оккупанты и эсеровская сволочь,— так и Сурен Спандарян не дожил до того, чтобы иметь возможность писать «вволю» в газете, «субсидируемой рабочим правительством»... Все меньше и меньше оставалось ему жить, пока туруханская тундра не доконала его окончательно.

Впрочем, разве он когда-нибудь думал о своем здоровье, о своих недомоганиях, о своем благополучии?

Ф. М. Кнунянц-Ризель говорит:

«Помнится, когда в 1908 году, собрав по промыслам некоторую сумму денег для партийной печати, мы решили небольшую часть этих денег ассигновать на одежду и обувь двум активнейшим работникам нашей печати, которые так

обносились, что им уже неприлично было выходить на улицу (это были Сурен и Касьян), то надо было видеть их возмущение, когда они узнали о нашем решении!»

Год, предшествовавший суду над Спандаряном, приговорившему его к пожизненной ссылке, из которой он так и не вырвался, был вершиной его революционной деятельности. То был год подготовки Пражской конференции, которая подвела итоги работы партии в тяжелые годы реакции и окончательно изгнала из партии капитулянтов-меньшевиков. Подымалась новая, еще более мощная, чем все предыдущие, волна революционного движения в России, и партия большевиков под руководством Ленина проводила генеральную проверку своих сил в предвидении новых боев. На Пражской конференции были представлены партийные организации крупнейших пролетарских центров России, и это придало ей значение съезда. Одним из тех, кто наиболее энергично готовил этот фактический съезд партии, был Спандарян.

Решение о созыве конференции члены ЦК приняли еще в июне 1911 года. Была сконструирована Заграничная организационная комиссия по созыву конференции, причем по предложению Ленина она подобрала на месте, в России, российскую коллегию по созыву конференции. В нее по рекомендации Серго (Орджоникидзе) представителем от Тифлиса вошел Спандарян.

Он проводит кипучую работу в организациях Закавказья по разъяснению смысла созыва конференции, по разоблачению предательской, ликвидаторской роли закавказских меньшевиков и их областного комитета.

Как на праздник, едет он наконец в Прагу и сам — представителем большевиков Баку.

Здесь же, в Праге, он впервые видит Владимира Ильича.

О том, как тесно сблизились между собой во время этой первой — и, к сожалению, единственной в их жизни! — встречи Ленин и Спандарян, лучше всего говорят факты. Владимир Ильич высоко оценивает мужественный, деловой, горячий доклад Спандаряна о работе закавказских организаций партии, привлекает его к выработке основных решений конференции, поддерживает его кандидатуру в качестве члена Центрального Комитета.

Сурен ни на шаг, когда это только возможно, не отходит от Владимира Ильича. Конференция закончена, и он вместе с Ильичем едет в Лейпциг на совещание с членами социал-

демократической фракции III Государственной думы (Ленин делает там доклад о прошедшей конференции, а Спандарян — о работе, проведенной Российской организационной комиссией по ее созыву и по сплочению рядов партии в России). Затем Спандарян с Полетаевым отправляются в Берлин, вести переговоры с так называемыми «держателями» — Каутским, Мерингом и Цеткин, в руках которых находились на хранении кое-какие денежные суммы, принадлежавшие русской социал-демократии, и на которые претендовали большевики и меньшевики.

Как негодует Спандарян, когда не удается убедить «держателей» передать большевикам хотя бы небольшую сумму этих денег!

Но время и расставаться ему с Лениным. Владимир Ильич напутствует его в трудный и дальний путь — в Россию, разъяснять в большевистских организациях боевые решения конференции.

Спандарян с энтузиазмом выполняет это. За кратчайший срок он объезжает с докладами латышские организации большевиков, Петербург, Москву. Его доклады всюду встречают с большим подъемом.

Наконец родное Закавказье, Тифлис, оттуда в Баку.

Но по дороге его арестовывают.

Данных, по которым его можно было бы основательно упечь, полиция по-прежнему суду предъявить не может: оригиналы листовок «За партию» и «Первое Мая», обнаруженные у крупнейшего деятеля тифлисской большевистской организации Е. Д. Стасовой и авторство которых следствие приписывает Спандаряну, на самом деле принадлежат не его перу. Но у полиции есть другие сведения, еще более важные — она получила их от провокатора Малиновского и потому ссылаться на них не в состоянии без того, чтобы не разоблачить Малиновского,— сведения о том, что Спандарян избран в ЦК большевиков, что он вернейший соратник Ленина. И этого достаточно. В этом случае сойдут и не принадлежащие Спандаряну оригиналы листовок!

Наивный отец Сурена Спандаровича думает, что если на суде будет выступать защитник поискуснее, то дело сына еще удастся повернуть в лучшую сторону. Он настаивает, чтобы Сурена защищал не присяжный поверенный Бродский, а более известный юрист — Кланк.

Руками, закованными в кандалы, Сурен с грустной, но вместе с тем ласковой усмешкой пишет жене:

«Мне крайне тяжело будет отказать в этой просьбе отцу, которого, быть может, мне не придется уже больше видеть.

Пусть старик успокоится, пусть увидит, что и с Кланком я получу каторгу».

На суд Спандарян, как и все его сопроцессники, приходит с красной гвоздикой в петлице: так они демонстрируют и здесь, под конвоем. Недаром суд, назначив слушание дела на 1 мая 1913 года, затем испугался этой знаменательной даты и перенес начало процесса на 2 мая.

Приговор был предрешен — Сурен не ошибся. Особое присутствие Тифлисской судебной палаты приговорило Спандаряна и его друзей Е. Д. Стасову, М. П. Вохмину, В. Л. Швейцер, А. С. Оввян, В. А. Хачатуряна к тягчайшему наказанию — пожизненной ссылке в Сибирь.

Трогательно заботятся о Спандаряне и его семье находящиеся за тридевять земель от него «Ильичи»: Владимир Ильич и Надежда Константиновна. Владимир Ильич, узнав об аресте товарища Тимофея, пишет в Берлин из Парижа (где, кстати, находится и престарелый отец Сурена) приятельнице Сурена В. А. Тер-Иоанисиан:

«Не знаю, известна ли Вам печальная новость про нашего общего друга, который познакомил меня с Вами в Берлине,— Сурена Спандаряна. Он арестован в Баку. Жена его пишет отцу, что некому о нем позаботиться, нет-де у него ни постели, ничего. Некому принести ему молока и т. д...

Отец Спандаряна живет здесь... Смотрит он очень больным и старым. Сын обещал ему все сделать, чтобы выслать денег ему из Баку — из-за ареста не мог. Отец без денег, с квартиры его гонят. Положение его самое печальное, даже отчаянное. Мы ему помогли небольшим займом...»

Надежда Константиновна, когда Спандарян уже был доставлен по этапу в Красноярскую губернию и «водворен», как это именовалось, на место отбытия ссылки, обращается к Г. Л. Шкловскому:

«Вы писали, что имеется 100 франков для каторжан и поселенцев. Если возможно, пошлите их поселенцу Спандаряну... Он страшно нуждается... Лучше, впрочем, послать деньги на адрес его жены...

Положение семьи безвыходное прямо. Если возможно, пошлите деньги и извещайте, пожалуйста, послано ли».

Но и этим не исчерпывается помощь «Ильичей». Они предпринимают меры, чтобы помочь бежать из ссылки трем находящимся в ней членам ЦК: Спандаряну, Свердлову,

Сталину. Полиция пронюхивает об этом и загоняет эту тройку еще дальше, в Туруханский край, откуда три года скачи — никуда не доскачешь.

Но и здесь не сдается Спандарян. В селе Монастырском, где летом 1915 года состоялась встреча ссыльных большевиков с попавшими туда большевиками — депутатами IV Государственной думы, он клеймит позором Каменева, называет его речь на судебном процессе большевистской фракции Думы «речью либерального адвоката». Когда же до Сибири доходят тезисы Ленина о войне, Спандарян — самый горячий их защитник. Он многозначительно пишет Владимиру Ильичу:

«Мы чувствуем себя бодро и настроены оптимистически. Мы, вообще, оптимисты. Полагаем, что и Вы не особенно скучаете и думаете скоро вернуться домой».

Иносказание было достаточно ясным!

И только редко, очень редко прорвутся такие строчки, как эти, в письме старшей дочери от 10 июля (27 июня) 1916 года:

«Я, Манечка, едва хожу, все время задыхаюсь, ноги распухли, на лице отеки и кашляю с кровью. Местный врач с фельдшерами, чем могут, помогают, но сами сознаются, что мало понимают в моей болезни.

Теперь они что-то болтают насчет почек, водянки и т. п. Тяжело очень, но все же я бодрюсь и надеюсь прожить еще некоторое время. Особенно плохо бывает ночью, когда я совершенно один и начинаются сердечные припадки и удушия.. Иногда у меня ночуют товарищи, друзья и, чем могут, помогают. Очень тревожит меня слабость в ногах, совсем еле-еле передвигаю ими.

Смешно даже смотреть. Как столетний старик».

А «старику» было тридцать три года. Правительство палачей добилось своего: через три месяца Спандаряна не стало. Но еще через полгода не стало самого этого правительства, а через год пришли к власти в России трудящиеся — рабочие и крестьяне, за счастье которых отдал свою кристальную жизнь Сурен Спандарян.

Ирина Гуро

ВЕРНОСТЬ ЗНАМЕНИ

Пускай, как стрелки в полдень,
будут вместе
Веленья нашей совести
и чести!

С. Маршак

1.

Секретарь распахнул тяжелую дубовую дверь кабинета, и Василий Васильевич увидел часть приемной с массивными кожаными креслами и нелепым шестиугольным столом, похожим на могильную плиту. «Ужасная безвкусица досталась нам от царского посольства»,— мельком подумал Старков и спросил, кто там еще дожидается.

Секретарь доложил, что ждет прокурист одного из влиятельнейших германских концернов.

Старков сказал, что примет. Секретарь посторонился, и в кабинет вступил — именно вступил, а не вошел, так торжественно он выглядел,— маленький толстяк с совершенно лысой головой. Отвешивая поклоны, он приближался к столу, за которым сидел заместитель торгпреда. Василий Васильевич поднялся и пошел навстречу гостю. Посреди кабинета они встретились, обменялись рукопожатиями... Ритуал приветствия был закончен.

— Прошу садиться! — предложил Старков по-немецки.

Посетитель сделал отстраняющий жест:

— Я говорю по-русски, господин директор, я отлично говорю по-русски.

В этом не приходилось сомневаться: гость говорил чисто и, возможно, был обрусевшим немцем, может быть, даже вырос и жил в России...

Василий Васильевич насторожился: он предпочитал не вести торговые дела с белоэмигрантами. Вошедший улыбнулся не фамильярно, но и не искательно, словно угадал мысли Старкова.

— Я живу в Германии с одна тысяча девятьсот второго года, господин директор...

Это «одна тысяча девятьсот» подтверждало слова гостя: так мог сказать только человек, давно покинувший Россию.

Василий Васильевич, краешком глаза поглядев на визитную карточку, написанную по-немецки и положенную на стол секретарем, прочел: «Вальтер — Георг Завацки, доктор фюр националь-экономи»... Отлично! Чего хочет «доктор Завацки», живущий в Германии с «одна тысяча девятьсот второго года»?..

Шел обычный в этих стенах деловой разговор. Совсем недавно Советское государство было признано рядом правительств капиталистических стран. Но даже те, которые не обменялись еще дипломатическими представителями со страной Советов, были не прочь торговать с богатым внутренними ресурсами государством.

С Германией торговые отношения развивались нормально. Здравомыслящие коммерсанты жаждали заказов и получали их. Василий Васильевич Старков, один из первых внешторговых советских работников, уже в 1921 году приехавший на работу в Берлин, убеждался в этом воочию.

Рапальский договор открыл между Советской страной и Германией путь нормальных дипломатических отношений, и острым взглядом Старков видел в них начало новой эры: мирного сосуществования.

То, о чем говорил доктор Завацкий, было ему понятно: заведующий русским отделом фирмы — да, такой отдел был создан в чаянии заказов советского торгпредства — заверял, что фирма может осуществить поставки оборудования, нужного Советам...

— Герр Старков должен быть уверен в добропорядочности моей фирмы... О, политика — не наше дело, не правда ли? Мы есть торгующие стороны, мы торгуем честно, с выгодой для обеих сторон, и это все, нихт вар?.. [1]

[1] Не правда ли? (нем.)

Человек был любезен, слова звучали самые обычные. И выглядел он обычно: визитка, белые гетры, только что вошедшие в моду окуляры в роговой оправе. Ну, а знание русского?.. Да мало ли какие обстоятельства привели Завацкого в Германию задолго до революции? И все же что-то было необычным. Нет, не в поведении гостя, не в его словах, не в наружности. Он как-то повернулся в кресле, свет упал на его лицо, и Василий Васильевич внезапно понял, что его смущало в Завацком: где-то он видел этого человека. Сквозь толщи десятилетий пробивалось воспоминание, смутное, невнятное, как отражение в темной воде...



Василий Васильевич
СТАРКОВ
(1869—1925)

Завацкий закончил свои «пропозиции», положил перед замторгпреда письменные предложения, красиво напечатанные на фирменном бланке с золотым обрезом. Однако он медлил с уходом.

— Господин директор, разрешите один приватный вопрос. О! Это есть совсем не обязательно ответить... Вы учились в Петербургском технологическом институте?

И тут Василий Васильевич вспомнил Завацкого. Исчез голый череп и мятое, с желтизной и мешками под глазами лицо. И как бы сквозь него проступили черты молодого студента-технолога, белобрысого, розовощекого, несколько флегматичного, то, что называлось тогда просто: размазня...

2.

В личных бумагах в сейфе хранится пожелтевшая фотография, с которой Василий Васильевич никогда не расставался. Она сделана в феврале 1897 года. Да, именно тогда, когда им всем дали «передохнуть» перед ссылкой. Три дня свободы! И — что значит молодость! — едва вырвавшись из тюремных стен, тут же отправились в фотографию. Какие-то смешные тумбы красного дерева, бархатный занавес и традиционный столик с гнутыми ножками. Лица без улыбки,

фигуры солидные — никто, глядя на них, не заподозрит, что вся компания только что из тюрьмы. Посредине Владимир Ильич Ленин, похудевший после «отсидки», лицо удлиняет острая бородка. Он, Старков, тоже не блещет здоровьем: щеки ввалились. Рядом с ним Глеб Кржижановский, как всегда, держится естественно, спокойно. Стоящий позади Малченко, наоборот, в напряжении, верно, от присущей ему стеснительности. Запорожец, заросший густой темной бородой, выглядит старшим среди них. Ванеев прячет в бороде добродушную усмешку. Мартов в небрежной позе положил красивую тонкую руку на край стола... Давно ли связывали их всех, казалось, нерушимые узы дружбы? И вот Мартов в стане противника... И нет на свете Ванеева. И многие другие ушли навсегда, сохранившись в памяти светлым своим обликом первых рыцарей революции.

Фотография эта как бы подводила итог целому этапу жизни. Василий Васильевич определил бы его как этап «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» — так назвала себя в конце XIX века маленькая группа молодых людей, написавшая на своем знамени: «Пролетариат — гегемон в революции!» Острые, непримиримые схватки с народниками, бурные встречи на Васильевском острове, встречи, в которых уже четко наметились разногласия. Разногласия коренные, непримиримые, разводившие навеки вчерашних друзей, соратников по «Союзу борьбы»...

Василий Васильевич видит себя таким, каким был в ту пору: застенчивым, чуть угрюмым, медвежатистым... Рядом с блестящим собеседником, поэтом-импровизатором Глебом Кржижановским, со сдержанным, спокойным Степаном Радченко, с широкоплечим, кудрявым, напористым Запорожцем, тонким, ироничным Ванеевым и по-юношески открытым Сильвиным он, скромный юноша из саратовской глуши, чувствовал себя в этой стае опытных революционеров еще не оперившимся птенцом. Все они молчаливо, без лишних выражений чувств, без словесных фейерверков признавали бесспорное старшинство Владимира Ильича. Нет, конечно, они не были пророками и не могли полной мерой оценить талант своего молодого вожака, но они чувствовали размах его крыльев, могучую силу его мысли. И хотя он был среди них, их товарищ, ровесник, человек одной с ними судьбы, они отличали его. Казалось, свет будущего, который падал на них всех, озарял его сильнее других, и он уже сам нес этот свет, освещая дорогу вслед идущим.

Ощущение того, что в их колонне идет человек недюжинный, что в нем воплощена энергия восходящего класса, его устремление вперед, его несокрушимая воля,— это ощущение объединяло товарищей, входивших сначала в кружки, потом в «Союз борьбы».

У Старкова это чувство родилось впервые, когда он слушал Владимира Ильича, выступавшего против народников (это было осенью 1893 года на собрании марксистского кружка). Необычные мысли рождало его выступление. Мысли, которые, с одной стороны, текли в русле поднимаемых оратором вопросов: о развитии капитализма в России, о тактике индивидуального террора, о перспективах крестьянской общины. Владимир Ильич вел методический, убийственный огонь по каждой из цитаделей народничества. Его доводы не оставляли лазейки для противника, они сокрушали, они оставляли от логических построений народников лишь пепел прекраснодушных мечтаний.

Но было еще нечто в выступлении Владимира Ильича. Нечто, обращенное к себе и своим соратникам. Какая-то высокая требовательность, как бы веление совести: быть смелее, чище, последовательнее, выверять свой путь, сплотиться крепче, идти вперед без оглядки.

В политических выступлениях Владимира Ильича крылась огромная нравственная сила.

Много позже Старков глубже понял дух этих выступлений, когда прочел в «Что делать?» слова о тесной кучке единомышленников, идущих по обрывистому и трудному пути под огнем врага. Да, это было с самого начала: чувство крепкой связанности их всех, товарищей по борьбе, и сознание опасности выбранного пути, и гордость за выбор его. Выбор Старков сделал с первых дней своей студенческой жизни в Петербурге. Вся его трудная юность, жизнь юноши, рано лишившегося родителей, необеспеченного, обязанного образованием лишь своим способностям, подготовила его для борьбы.

Очень решительно, без оглядки Василий Васильевич Старков вступил в ряды молодых марксистов. Как и многие его ровесники и единомышленники, он должен был преодолеть инерцию укоренившихся в интеллигентских кругах народнических иллюзий: о том, что Россия будет развиваться, минуя капиталистический этап, о «народе-богоносце», о значении героической личности, о «естественной» революционности крестьянства...

Старков был человеком, трезво глядевшим на мир. Можно ли сомневаться в том, что Россия уже вступила на путь капиталистического развития? Стоит только оглянуться вокруг...

Вот вы въезжаете в обычный большой русский город... Прежде всего взгляд ваш встречает броскую и монументальную рекламу братьев Нобель, без которых, кажется, не то что машину запустить, но и простую лампу на столе не зажечь! И многие другие фирмы — иностранные... Бросьте взгляд на вывески, по всем правилам русской орфографии, с «ятями» и «фитами», приглашающие покупать: парфюмерию — у Брокара и К°, коньяки — у Жерара и К°, кондитерские изделия — у Сиу и К°, бриллианты и золото — у Фаберже, сигары — у Лео Виссара и даже шляпы — у Германа Шлее. А сталь, шайбы, наковальни, подъемные аппараты, железнодорожное и рудничное оборудование, осветительные аппараты и станки поставляет фирма Отто Густав Гильгер, без которой, как говорится, и гвоздя в стенку не вобьешь.

Иностранный капитал проник во все поры промышленности России. И его, Старкова, человека, готовящегося стать инженером, убеждал именно взгляд на экономику страны, взгляд без предвзятости народников.

Василий Васильевич и в ту пору, в молодые свои годы, не был многословен и отличался тем, что дело шло у него тотчас вслед за мыслью. От убеждения в том, что капитализм уже развивается в России, Старков пришел к мысли о рабочем классе как гегемоне революции. Эта мысль претворилась в действие: он вступил в самый передовой, самый энергичный и боевой отряд интеллигентов — тех, кто нес рабочим идеи Маркса и учил проводить их в жизнь.

3.

Василий Васильевич ясно видит себя в студенческой комнате, которую снимал вместе с коллегой и земляком Кржижановским. Не потому ли так запомнилась эта комната, что именно здесь группа студентов-технологов впервые встретилась с прибывшим в Петербург Владимиром Ильичем?

Это было начало целой полосы совместного труда, кропотливой, повседневной работы в массах. И какой это был труд! Какое вдохновенное содружество! Уже тогда Владимир Ильич снимал с легальных марксистов личину защитников рабочего класса, показывал либерально-буржуазную их

сущность. Но легальные марксисты выступали против народников, на каком-то отрезке дороги они были попутчиками. И Владимир Ильич дает уроки тактики, обращая на пользу дела все силы, могущие противостоять главному врагу.

Зима. Летит, косой под ветром, мокрый снег. Все реже фонари, все уже улицы. На окраине, в квартире путиловца Николая Рядова, уже ждут Старкова. Он попадает в круг знакомых лиц, освещенных керосиновой лампой, стоящей на столе. Разъяснять основные положения теории Маркса здесь и трудно, и легко. Трудно потому, что надо простыми словами рассказать о научной теории, показать на примерах законы развития общества. Легко потому, что положения марксистской теории не плод абстрактных умозаключений, их питает могучий поток самой жизни.

Создание «Союза борьбы» — какой-то водораздел. Это остро чувствует Старков, вошедший в состав центрального кружка «Союза». Больше самостоятельности и больше ответственности. Полезно собрать на квартире несколько — пять-шесть — рабочих и разъяснять им теорию Маркса, слушать их рассказы, делать выводы, учить — и самому учиться! — связывать повседневные дела с борьбой за конечные цели. Но много серьезнее, эффективнее, ответственнее — вести агитацию среди массы рабочих.

В кружках были люди уже знакомые, и руководитель знал, чего от них ждать. Агитация велась среди людей разных. Надо было завладеть их вниманием, заставить их задуматься над вопросами простыми и значительными: на кого я работаю? Почему нет мне жизни на заводе, в городе, в России?

Василий Васильевич присматривался к методу работы Владимира Ильича. Так случилось, что они работали плечо к плечу.

В ноябре 1895 года, во время стачки на фабрике Торнтона, контакт их был особенно тесным. Листовка, написанная Владимиром Ильичем к торнтоновцам, показала Василию Васильевичу, как наблюдения за жизнью рабочих воплощаются в страстные слова призыва. Владимир Ильич строил доводы листовки на незыблемом фундаменте экономических обобщений, он разоблачал хитрую механику эксплуатации, указывал путь к освобождению, взывал: «Товарищи, не будьте слепы, не попадайтесь в хозяйскую ловушку, крепче стойте друг за друга...»

И сразу, в связи именно с этой торнтоновской листовкой, вспомнилось: Надежда Константиновна, повязанная платочком по самые брови, в какой-то кацавейке. В чуть выпуклых глазах притушенный задор. Это они вдвоем с Аполлинарией Якубовой, замаскировавшись, отправляются в общежитие фабрики Торнтона. Вылазка их имела тогда огромное значение: из листовки видно, какую точную картину эксплуатации получили ее составители.

За Нарвской заставой, в квартире путиловца Бориса Зиновьева, обосновался штаб партийной работы. Старков был агитатором и организатором, пропагандистом и автором листовок. Теперь он общался не только с передовыми рабочими, не только с теми, кто приходил его слушать по велению сердца, пренебрегая опасностью, кто шел на свет правды... Он нес эту правду в будни рабочей жизни. На заросшем бурьяном фабричном дворе, в дальнем углу, где собирались молчаливые, насупленные мужчины, молодой марксист ленинской школы разъяснял, как торнтоны выжимают прибыль из ткача. Слова были короткими и емкими: вся беседа держалась на волоске, каждую минуту готовая перейти в безобидный разговор с перекуром в случае опасности.

Были встречи и в извозчичьем трактире, где за «парой чаю», в табачном дыму, в плаче гармошки, в пьяном гомоне Старков раздавал листовки, ронял слова, пробегающие как искра по лицам окруживших его. И он научился находить в этих лицах, отупевших от работы, от нужды, от беспросветности, отблеск надежды, вспышку гнева, протеста, решимости...

Декабрьским вечером 1895 года наступил тот неизбежный конец, которого, собственно, всегда почти неощутимо ждали,— арест. Тюремная ночь в одиночке: звон ключей, отдаленный окрик и снова мертвая тишина... И вдруг — нет, ты не бездеятелен, не одинок, не беспомощен!.. С тобою — товарищи! Старкову «везет»: рядом с ним в такой же камере Владимир Ильич Ленин. Нехитрой азбукой перестукивания можно сказать многое. Школа конспирации пройдена немалая, удается наладить переписку, вкладывая записки в книги из тюремной библиотеки. И прежде всего выработать общую линию поведения!

Следствие идет медленно, арестованные отказываются от показаний, ничто не может поколебать их стойкость. Более года проходит до того момента, когда Старкову объявляют

решение: три года ссылки в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции.

Органы власти правильно оценили всю опасность нового направления революционной деятельности. Болтовня либералов, трескучая фраза народников — все это было блошиными укусами. Конкретная, действенная пропаганда в рабочих массах, которую вел «Союз борьбы», угрожала не только спокойствию предпринимателей — в ней таилась угроза для государства.

Прокурор Петербургской судебной палаты Дейтрих в своем заключении по делу «Союза борьбы» не только определял меру вины каждого из подсудимых, но характеризовал общую деятельность организации. Прокурор делал акцент на тех сторонах этой деятельности, которые отчетливо показывали особую опасность ее для режима: «Социал-демократы вели преступную пропаганду исключительно среди фабричных и заводских рабочих»... Рабочим «внушалась ненависть к... хозяевам» и убеждение, что «правительство будто бы главный их враг». Ставилась цель «создать из рабочих организованную массу». Среди «главных деятелей преступного социал-демократического сообщества» документ прокурорского надзора называл студента-технолога Старкова.

4.

Три дня свободы до краев наполнены общением с близкими, прощанием со всем, что мило в ставшем родным городе, и главное — работой. Под носом у охранки удается провести встречи, дать наказ преемникам, учинить разгром оппортунистам из «молодых».

«Старики» идут в ссылку... «Самый старый старик» — Владимир Ильич Ленин. Конечно, все они молоды по годам, но опыт революционной борьбы делает это прозвище неожиданно точным. «Старики» — это те, кто зовет к высоким идеалам и в каждый протест рабочих привносит политические требования, кто не идет на соглашения, на уступку, не унижается до мелких стычек «за копейку».

Идут в ссылку деятели «Союза борьбы»...

Ранней весной 1897 года первый пароход доставляет ссыльных в Минусинск. Туманное утро. Убогий городок с неуклюжей, приземистой церковью на высотке. Тишина.

Глушь. Сонное существование. Еле-еле бьется пульс жизни.

Старков и Кржижановский прощаются с Владимиром Ильичем. Им дорога дальше, в Тесинское. Ленивой рысцой тянутся казенные лошади, жандарм клюет носом, зажав шашку между колен. Пустынна дорога. Скучен ландшафт: ни лесов, ни реки. Скучно и село Тесинское.

Единственная отрада — переписка с Лениным. Переписка, скованная полицейским надзором, но все же живая, полная мыслей, планов, дающая силы и питающая надежды.

Наступил июль. Долгие грозы бушевали в степи, зарницы освещали убогую избу ссыльного с ружьем на стене, с книгами на самодельной полке. Монотонное течение дней озарилось радостью: отпраздновали «ссыльную свадьбу». Василий Васильевич женился на сестре своего друга Глеба Кржижановского. Узнал он свою будущую жену в бурные дни работы «Союза борьбы», именно эта работа сроднила молодых людей.

В ссылке жили уже семьей: молодые Старковы, Кржижановский со своей матерью, позже приехала жена Глеба Максимилиановича, Зинаида Невзорова, красивая, жизнерадостная, энергичная...

Здесь были иные, чем в России, представления о расстоянии, и, если не вмешивался жандармский надзор, ссыльные совершали многоверстные поездки, чтобы провести день-другой в обществе друзей. Поэтому Старковы и Кржижановские часто общались с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной. Ссыльная колония жила напряженной духовной жизнью. В этой жизни были свои приливы и отливы: периоды наибольшего накала событий в России отзывались здесь спорами, острым, боевым протестом. Грозно прозвучали гневные строки протеста ссыльных против «Кредо» — документа «экономистов». И были дни глубокой скорби: похоронили друга — не вынес тяжелых условий Ванеев.

Новый век нес новые веяния, новые мысли. Яснее определялись перспективы — шла подготовка первой русской революции...

5.

Василий Васильевич Старков прожил как бы несколько жизней. Была жизнь боевая, вся как один день боя, как одна схватка. Но были годы затишья, когда он на время от-

ходил от активной партийной работы, увлекался производством, руководил крупными современными предприятиями.

Революция 1917 года призвала своего старого солдата вновь на боевой пост. Молодая Советская республика нуждалась в опытном, талантливом, преданном революции специалисте. Старков едет в Данию в составе делегации как представитель ВСНХ, потом налаживает внешнюю торговлю.

И все эти разные жизни прошли перед глазами Василия Васильевича, пока он стоял у окна своего кабинета в Берлинском торгпредстве. Уже темнело. Над входом в кафе зажглись матовые шары. Чужой город жил обычной жизнью: плескалась толпа в неширокой улице, сновали машины, уже вытеснившие здесь фиакры и ландо.

Старков вернулся к незначительному эпизоду, вызвавшему столько воспоминаний. Георг Завацкий был его сокурсником. Обрусевший немец, сын видного коммерсанта. Молодой человек тянулся к революционно настроенным студентам. Читал Маркса, участвовал в кружках. Потом... испугался. Как многие, недолгие, ненадежные попутчики.

Родители Георга уезжали тогда в Германию.

— Я решил ехать тоже,— сказал он Старкову.— В России тяжело пробиться, сделать карьеру, не подличая...

— Так не делайте карьеру,— хмуро проронил Старков.

Георг долго молчал. Потом поднял на товарища голубые глаза:

— Я не герой. Не гожусь на эти роли. А вы?.. Вы, вероятно, да...

Больше они не виделись. Георг Завацкий сделал карьеру. И вряд ли не подличая.

Судьба вновь свела их — прокуриста германской фирмы и представителя молодой Советской республики. Два потока, вышедшие из одного устья и разливавшиеся все дальше один от другого.

Близость к Владимиру Ильичу Ленину отметила молодость и окрасила весь жизненный путь Старкова огромной радостью совместной борьбы за счастье народное. Василий Васильевич пережил своего друга, соратника, учителя — Владимира Ильича лишь на год. Старков умер в своем кабинете, на революционном посту, на котором он достойно, с честью стоял всегда.

Янис Ниедре

ВЕТЕРАН

Родной страны
живое сердце — ты!
Ты — сердце неумолчное народа.

Я. Судрабкалн

Наконец-то из цензуры доставили газетные полосы. Редактор вглядывается в испещренные пометками цензора столбцы, и лицо его мрачнеет.

Редактор газеты «Диенас лапа» Петр Стучка уже привык к безжалостным вычеркам царского цензора, но на этот раз тот разгулялся особенно. Вычеркнуты слова «рабочий», «капитал», «класс»... Статья «Идеи и их источники» — сплошной красный карандаш.

И Петр Стучка посылает за приготовленными для «особых случаев» нейтральными статейками, которыми можно заткнуть цензурные пробелы. А сам подумал: «Почему же цензура так свирепствует, по какой причине?..» Поговаривают, будто после ареста рабочего железнодорожных мастерских Яниса Озола и провала перевозчика нелегальной литературы Пуце началась всеобщая слежка за членами нелегальных кружков. У Озола якобы нашли записную книжку с именами представителей кружков, встречавшихся на объединенном совещании, а Пуце якобы сознался в противогосударственной деятельности.

Последнее время в квартиры многих «новотеченцев» стали часто наведываться довольно странные нищие — дюжие мужчины в старых солдатских шинелях. Вот и вокруг редакции «Диенас лапа» крутятся такие же субъекты. Изда-

тель газеты П. Бисениек в одном из них будто бы опознал жандармского офицера.

Да, судя по всему, приближается гроза.

Редактор отсылает в типографию исправленный газетный материал, и тут ему напоминают, что в соседней комнате его ждет какой-то крестьянин — по личному делу.

Посетитель — батрак Лукис из Кокнесской волости, родных мест Стучки. Он уже дважды бывал здесь. Все судится. В волости знают: сын покойного Стучки бедному человеку и даром совет даст. Не то что другие адвокаты — лихоимцы.

Лукис — женатый, семейный, таких хозяева берут неохотно. Чтобы дать семье жилье, Лукис взял в аренду две пурвиеты вырубки, которую еще надо было корчевать, построил избушку, разбил усадьбу. И вот хозяин гонит его с обработанной земли, чтобы присоединить ее к своим полям. Взамен дает кусок болота — на, обрабатывай!.. «За несчастную эту вырубку и жена и дети пять лет даром на хозяина ворочали,— сокрушался Лукис.— А теперь — проваливай! Гонит с земли — ступай, мужик, корчуй новое поле. Ну, чем этот наш Ратницен лучше помещика-немца?»

«И правда, чем латышский кулак лучше ненавистного народу немецкого барона?..» Петр Стучка их знает.

Но ведь батраков-то в латышской деревне огромное большинство. Из 1,3 миллиона жителей Курземе и Видземе хозяев всего около 65 тысяч. Остальные — деревенские пролетарии и полупролетарии, из которых одинаково безжалостно сосут соки немецкие помещики в своих имениях и латышские кулаки в арендуемых и выкупленных усадьбах. По сути дела, латышские хозяева — живодеры еще почище. Ведь только благодаря труду батраков они скапливают золотые рубли и бумажные ассигнации, которые ежегодно вносят баронам и банкам.

А батраки доведены до полного бесправия. «Мошкара», «одна десятая человека» — так называют в Латвии батраков.

Недавно умерший отец Петра Стучки был народным учителем, но женился на дочери состоятельного хозяина и сам стал хозяином имения «Вецбирзниеки». Мечтая увидеть сына таким же респектабельным человеком, как немецкие господа и немногочисленные латышские адвокаты и врачи, хозяин «Вецбирзниеков» посылает Петра в гимназию, а затем в столичный университет. Только сына этого либерального хозяина не вдохновляют идеалы состоятельных латышских

крутов. Петру претит этот дух наживы, прикрытый патриотическими фразами об угнетении крестьян. Он любознателен. Хочет быть ученым и общественным деятелем, борцом против средневековья, все еще царящего в Прибалтике.

В Петербургском университете Петр Стучка изучает право вместе с однокашником по гимназии Яном Плиекшаном (впоследствии латышским народным поэтом Райнисом). Оба они ищут ответа на мучительный, проклятый вопрос: как помочь маленькой изнемогающей родине, которая страдает под двойным — немецко-феодальным и российско-самодержавным — игом? И вместе посещают студенческие кружки, читают Белинского, Толстого, Гончарова, Щедрина. Увлекаются дарвинизмом, трудами французских энциклопедистов — Руссо и Дидро.

Русские революционно настроенные студенты снабжают Петра Стучку нелегальной литературой, пробуждают в нем интерес к марксизму. Правда, еще не в такой мере, чтобы будущий юрист полностью овладел научно-материалистическим мировоззрением. В 1887 году, по окончании университета, молодой адвокат выглядит всего лишь мятущимся демократом, или, как он потом, через много лет, определил сам, человеком «с неясными мелкобуржуазными и националистическими взглядами на политику и общество».

Все же студент Петр Стучка проявил незаурядные литературные способности. Совместно с Райнисом он издает направленный против латышской крупной буржуазии сатирический сборник «Мелкие оводы». Затем становится редактором выходящей в Риге оппозиционно-демократической латышской газеты «Диенас лапа». После двух лет работы он уступает место редактора другу и единомышленнику Я. Плиекшану, а сам занимается адвокатской практикой.

Теперь у Стучки есть возможность поближе познакомиться с западноевропейской социалистической литературой. Он пропагандирует в Латвии учение социализма, ищет и устанавливает связи со стихийно возникающими в различных углах страны кружками по самообразованию. Начинает устанавливать связи с латышскими студентами Дерпта и Москвы, с гимназистами-старшеклассниками, с фабричными рабочими, не желающими мириться со своим бесправием,— и вот «новое течение» хлынуло широким потоком.

Подобно другим неуемным скитальцам, Петр Стучка посещает организуемые легальными просветительными обще-

ствами вечера вопросов, где объясняет, что помимо зимы в природе существует и духовная зима в человеческом обществе, которую нужно одолеть во имя лучшего будущего.



Петр Иванович
СТУЧКА
(1865—1932)

Вечера вопросов в легальных просветительных обществах в 1891—1895 годах становятся могучим средством пробуждения общественного сознания в самых широких слоях. То и дело подобные вечера заканчивались декламацией: молодежь с увлечением читала собравшимся переводы стихов Некрасова и Гейне, стихи рано умершего латышского поэта Эдуарда Вейденбаума: «Восстань, восстань, о свободный дух!»

Когда в 1896 году Петра Стучку вновь приглашают занять место редактора «Диенас лапа», так как Плиекшан из-за административных преследований не может вести газету, он в основном уже решил для себя тот самый проклятый вопрос: как помочь трудовому народу Латвии обрести свободу? Он уже становится на марксистские позиции, хотя со скромностью, свойственной его характеру, называет себя «интеллигентом, одним боком потершимся об Маркса».

В первой половине девяностых годов, когда в Латвии возникают и разрастаются марксистские пропагандистские кружки, когда идеи социализма популяризируются уже самыми разнообразными легальными средствами, «Диенас лапа» становится центром этой легальной пропаганды. Газета анонимно помещает статьи К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля или отрывки из их трудов, печатает статьи о рабочем движении в Западной Европе, о забастовках, о материалистическом понимании общественных явлений. Редакция «Диенас лапа» — это то место, куда приходят за советом труженики — сельский батрак и городской пролетарий. Вот и теперь этот Лукис из Кокнесской волости.

— Здравствуй, Лукис! Ну, чего добился в схватке со своим хозяином?

— А чего там добьешься? — Батрак мнет корявыми пальцами порыжелую шапку с облупившимся козырьком.— Судился, вот и...

— Проиграл?

— Это вы, господин адвокат, в точности. Земля, говорят, хозяйская.

— По существующим узаконениям земля принадлежит им. Думаете обжаловать?

— Обжаловать? — Батрак глухо смеется.— Это кому же дальше жаловаться? Тем же хозяевам да баронам, что в судейских креслах сидят? Не бывало еще, чтобы ворон ворону глаз выклевал.

— Да, такого не слыхано было. И что же в таком случае вы хотели бы узнать, Лукис?

— Пояснения бы. Уж будто на свете справедливости для бедняка так и нет?

— А вы-то, Лукис, как об этом думаете?

— Должна вроде быть. Так летом заезжий студент сказывал. Носил с собой «Диенас лапа» и еще какую-то книжку. Всем, говорит, угнетенным заодно надо быть и вместе себя отстаивать. Верно это?

— Верно.— Стучка отыскивает среди лежащих на письменном столе бумаг небольшую брошюру и подает ее батраку.— Прочитай сам и передай дальше, тем, кто думает так же, как и ты. Здесь написано, откуда берутся богачи, почему на свете так много бедняков и как одолеть несправедливость. Смотри только, чтобы книжица не попала в руки господам!

— А как же! — И Лукис спрятал брошюру за пазуху.— Спасибо. Спасибо вам. Вы прямо как свой человек. Совсем не такой, как другие ученые из хозяйских сыновей...

Вечером кружок рижских «новотеченцев» собирается на взморье на даче у одного из сотрудников «Диенас лапа». Так уж повелось: один вечер проводят у одного, другой — у другого... Спорят о прочитанном, обсуждают политические события, иногда поют, и тогда Петр Стучка аккомпанирует на рояле.

Теплый майский вечер, один из первых по-настоящему весенних вечеров, когда морская свежесть не может заглушить аромата распускающихся цветов и сосновой смолы. В саду тепло и легко дышится, но здесь, в комнате, Стучку все не покидает какое-то гнетущее чувство. Тут и тревога, и опасение...

«Завтрашнего дня я, что ли, боюсь? Так ведь нет же...» И Стучка снова думает о загадочных нищих, об аресте железнодорожного рабочего Озола и об угрожающих вестях из

Лиепаи. Поэтому он так рассеянно и следит за словами доктора Крумберга. Похоже, что Крумберг опять отстаивает анархистски-интеллигентское понимание свободы. Снова рассуждает о самобытном характере латышского народа.

— Свобода — это осознанная необходимость, пишет Энгельс,— прогрохотал вдруг голос лучшего оратора «новотеченцев» Янсона Брауна.— Пролетариату нужны не те песни, которые и буржуа распевают о конях резвых да молодцах статных, ему нужна новая, лучшая песня.

— Прав, сынок! — Это реплика Стучки. Он и жена зовут Янсона сыном.— Ты прав. Марксистов не могут разделять национальные перегородки...

Петр вспоминает батрака, который был у него сегодня, его жажду найти правду. В латвийской деревне происходит резкое классовое расслоение. Сельский пролетарий — так ведь это он.

— Недавно,— говорит Стучка,— мне попалась любопытная книга — «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Автор считает крестьянство союзником рабочего класса в революционной борьбе, которую ведет русский пролетариат...

Стучка не закончил фразы. Открылась дверь, в комнате появился московский зубной врач Пауль Дауге. Вид у него был весьма взволнованный.

— Друзья!— Дауге перевел дыхание.— Жандармы... В Лиепае наши арестованы...

* *
*

Зима в Вятской губернии начинается рано и внезапно. На календаре еще первые числа октября, еще не пожелтели листья — и вдруг зима, да еще какая! Снегу столько, что люди, живущие вдали от больших дорог и главных городских улиц, могут выбираться из своих жилищ только на широких лыжах, какие в ходу у вятичей.

Вот и Петр Стучка часто так делает, когда с утра провожает жену и товарища по ссылке Дору на частные уроки французского языка. И по субботним вечерам лыжи кстати. Стучка с женой прокладывают лыжню к кому-нибудь из ссыльных революционеров на очередное собрание колонии политических. Прячась от полицейских глаз, они идут сначала в лес, а уж оттуда, сделав круг, по условленному адресу. Лыжи остаются дома только по воскресеньям, когда

Стучки открыто навещают дом ссыльного социалиста, аристократа по происхождению, Кугушева, где есть хороший рояль, на котором Стучка несколько часов подряд играет Бетховена, Шопена, Чайковского и Вагнера. (В молодости в Риге Стучка брал уроки у одного профессора и вполне свободно исполняет даже сложные вещи.)

В слободской ссылке Петр Стучка почти все время проводит за книгами. Изучает труды К. Маркса и Ф. Энгельса, книги Ф. Лассаля, В. Либкнехта, А. Бебеля, К. Каутского. В рижской губернской тюрьме, куда Стучку заключили в июле 1897 года после ареста «новотеченцев», он до дня административной высылки полтора года прилежно изучал английский и французский языки и теперь может свободно читать любую книгу на этих языках. С характерным для латышей упорством он хочет полностью овладеть первоисточниками марксизма.

Страстная увлеченность Петра Стучки книгами бросается в глаза слободскому исправнику и прочим надзирателям за государственными преступниками. Ведь большинство политических поселенцев летом много бродит по полям и лесам, удит рыбу и охотится, а рижский адвокат все сидит дома, обложившись книгами и газетами. Полицейским уже начинает казаться, что этот сосланный в административном порядке на пять лет инородец взялся за ум. И они пишут губернатору, что, очевидно, «дальнейшее пребывание П. Стучки в ссылке окажет благоприятное влияние на его политические убеждения». Так как «образ жизни ссыльного безупречен», слободской исправник считает возможным выказать на грош благосклонности, разрешив ему бывать в губернском городе.

Поездки в Вятку помогают Петру Стучке найти работу в губернском статистическом управлении и, что самое существенное, установить связь с товарищами на родине, в ссылке и за границей. Особенно важны зарубежные связи. В начале зимы 1900 года семья Стучки получила из Лондона, где находились несколько эмигрировавших «новотеченцев», любопытную посылку — толстый том с драмами Шекспира. Вслед за книгой последовало письмо с вопросом: «Как вам понравился переплет?» Втайне от посторонних глаз сочинения Шекспира подверглись операции — и Петр с Дорой с волнением держат в руках номер нелегального латышского журнала «Социал-демократ». Разумеется, все статьи в журнале без подписей или же отмечены ничего не говорящим

псевдонимом, но бывший редактор «Диенас лапа» хорошо знает стиль своих единомышленников и соратников. Статьи Фрица Розиня, обоих Ковалевских и других «новотеченцев» Стучка сразу узнает. В присланном из далекого Лондона издании, предназначенном для трудящихся Латвии, товарищи пропагандируют политическую борьбу пролетариата, говорят об организованном руководстве этой борьбой. Сообщают подробности стихийно происшедшего в 1899 году так называемого рижского бунта — город три дня находился во власти рабочих!

В конце декабря для Доры из Лондона пришел журнал мод. Среди его страниц был искусно укрыт первый номер «Искры». Перепечатанная на тончайшей бумаге, газета обошла всю колонию и уже зачитана так, что превратилась во что-то мятое и неразборчивое.

Всех взбудоражила «Искра». Она ратует за единую всероссийскую партию.

«Объединенная партия...— думает Стучка.— А каким образом всероссийская партия объединит национальные организации? Ведь у каждой из них, в том числе и у будущей латышской партии, кроме общих целей есть и свои особые задачи. Как же латышским социалистам лучше всего организационно объединиться с российской организацией? Может быть, на федеральных основах?»

Этот вопрос он неоднократно пытается обсудить с другим сосланным в Вятскую губернию «новотеченцем» — братом Доры Янисом Плиекшаном, который в этой унылой северной обстановке большую часть времени отдает художественной литературе.

— Не знаю...— И Плиекшан вновь устремляет взгляд на одну из покрытых торопливыми карандашными строчками полосок бумаги, которыми уже устлан весь его стол и книги на этажерке.

«Переводы...» — Стучка понимающе вздыхает. Скрываясь под псевдонимом Райнис, друг Плиекшан занимается переводами для латышских журналов произведений Пушкина, Гёте и других классиков. Пишет цикл своих стихов «Далекие отзвуки синего вечера». Это настоящая революционная поэзия. Стучка чувствует, что талант Райниса мужает и крепнет. Но Петру хочется, чтобы поэт уделял больше внимания и партийным проблемам.

Сам Стучка не один день проводит за тем, что сравнивает программы различных социалистических партий, раз-

бирая их пункт за пунктом, как юрист, рассматривая каждый подраздел и параграф. Параграф первый, параграф второй... седьмой... Это настолько въелось, что, видимо, не случайно спустя несколько лет, когда Стучка особенно активно сотрудничает в латышской нелегальной печати, он начинает подписывать свои статьи одним графическим знаком — §. Под этим псевдонимом Стучка печатает наиболее важные теоретические статьи и брошюры. И Параграф становится популярен не только в латышских, но и в русских ленинских изданиях.

* *
*

На послеобеденном заседании съезда председательствует Пауль Дауге. Погода стоит жаркая и душная, как обычно во второй половине июля, когда горячий южный ветер угоняет все облака за море, в Скандинавию, и тогда не только солнце, но и само бледно-голубое небо льет невыносимый зной. Окна на даче распахнуты настежь, и все же дышать нечем, душно. Большинство делегатов сидит без пиджаков, в одних рубашках с расстегнутыми воротничками, женщины обмахиваются платками.

Дача, где в 1906 году проходит III съезд Социал-демократической рабочей партии Латвии, находится в глухом месте — в Майори, на тихой улочке, в стороне от людных магистралей. Здесь всего несколько домов. Здание, подысканное для съезда, прячется в густой листве деревьев, с улицы через забор его даже трудно разглядеть.

Когда Пауль Дауге начинает переводить на латышский язык выступление русского социал-демократа Кобозева (на III съезде, решавшем вопрос об объединении латвийской социал-демократии с Российской социал-демократической рабочей партией, присутствовали также русские товарищи, представители местной организации Бунд и эстонской группы), Петр Стучка отходит к дверям веранды, откуда хорошо видна калитка, ведущая на улицу, и где не так чувствуется жара. Он-то пиджак так и не снял. Правда, жарко здесь не только от летнего зноя, но и от пыла страстных спорщиков-делегатов, среди которых есть товарищи, на чьих спинах еще не зажили рубцы от рук царских палачей. Среди делегатов вырванный недавно друзьями из рижского полицейского управления Лютер-Бобис, легендарный боевик Гринись-Бурлак, а также предводители отрядов латышских

лесных братьев-партизан Я. Гавенис, В. Знотынь, В. Барбан. Эти люди остро воспринимали любую примиренческую фразу, даже если она ненамеренно ревизионистская. Стоит им услышать меньшевистские разглагольствования, как председателю становится трудно добиться того, чтобы прения проходили в рамках строго установленного регламента: кратко, выдержанно и вполголоса. Недавно произошла схватка между одним из организаторов съезда, Озолом-Заром, и бундовцем Акимовым. Озол не мог вынести политического крохоборства бундовца, а вместе с ним вскипели и остальные — люди нервные, истерзанные полицией, жандармерией и карательными экспедициями.

III съезд... На вечные времена войдет он в историю рабочего класса Латвии как объединительный. На нем необходимо обсудить важнейшие тактические вопросы: аграрный, о вооруженном восстании, о временном революционном правительстве, партизанской борьбе, профсоюзах, Государственной думе. Прибыло тридцать семь делегатов. Они представляют революционную рабочую организацию Латвии, в которой около 11 тысяч членов. А ведь еще недавно было меньше ста участников нелегальных политических кружков «нового течения».

Социал-демократы Латвии руководили революционным движением крестьян в 1905 году, когда трудящиеся деревни устанавливали в волостях свою власть, избирая «комитеты действия», сходные с русскими Советами. «Наши батраки — истинные пролетарии, и их место под красным знаменем, куда они уже становятся с честью и по праву» — так резюмировал Стучка-Параграф. И теперь, по мере развития революционных событий, он мог чувствовать удовлетворение, видя, как сотни тысяч таких, как Лукис из Кокнесе, по зову партии становятся в боевые ряды вместе с городскими пролетариями.

«Именем социал-демократической партии» батраки занимали баронские имения, волостные правления и суды, обезоруживали прислужников самодержавия, вооружались сами и вели бои с царскими войсками.

А с наступлением всеобщей реакции, когда повсюду свирепствуют карательные отряды, в рядах вооруженных сил партии — в отрядах партизан-боевиков действует много батраков. Партийные работники достают для них оружие, снабжают их революционным печатным словом, идейно закаляют их.

Да, основанная в начале июня 1904 года Латышская социал-демократическая рабочая партия за короткий срок стала основной направляющей силой революционного движения во всей Латвии. Просуществовав неполный год, она сумела взять на себя руководство революцией, развернувшейся столь ярко, живо и драматично.

Когда он, Петр Стучка, недавно в Петербурге впервые лично встретился с организатором и теоретиком партии российского пролетариата Лениным, то убедился в том, что кое-что из ленинских положений еще не понято им до конца. Оказывается, он не читал некоторых важных работ Владимира Ильича и поэтому неверно понял отдельные выдвигаемые им тезисы по вопросам партийной тактики.

А Ленин, оказывается, хорошо знаком с обстановкой в Латвии, со взглядами большинства и меньшинства латышских социал-демократов. Из рассказов Я. Зиемелиса-Берзиня, работавшего в петербургской организации РСДРП, Владимир Ильич знал и об успехах латышских социал-демократов в политическом руководстве трудящимися деревни, и об организации отрядов боевиков-партизан, и о взглядах Стучки на аграрный вопрос. Слыхал Ленин и о том, что Петр Стучка, этот самый непримиримый борец с буржуазным национализмом, с национальным обособлением, отстаивает национальный федерализм.

Беседуя с Лениным, Стучка все больше и больше убеждался в том, какую дальнюю перспективу видит Владимир Ильич по всем актуальным проблемам марксистской теории и партийной тактики. И тогда Стучке стало совершенно ясно, почему творчески мыслящие марксисты и революционные деятели России после встречи с этим человеком, у которого такие живые умные глаза и железная логика в словах, становятся его единомышленниками и соратниками. Да, именно таким должен быть продолжатель дела Маркса и Энгельса — руководитель рабочих армий многонациональной России.

Во время своего разговора с Лениным Петр Стучка пригласил Владимира Ильича принять участие в съезде социал-демократов Латвии в Риге.

— Постараюсь приехать. Рига и рижский пролетариат близки мне. Если только вдруг не возникнут непредвиденные обстоятельства,— ответил Ленин. И вновь вернулся к вопросу о борьбе, проводимой революционными боевиками Латвии, отметив, что деятельность боевиков-партизан Кав-

каза, Польши и Латвии далеко превзошла деятельность чисто русских центров.

Значит, «непредвиденные обстоятельства» все же возникли: Владимир Ильич не приехал. Делегаты заслушали письменное приветствие Ленина, документ, который пришелся не по вкусу латышским меньшевикам, бундовцам и русской меньшевистской группе.

Перевод ленинского приветствия окончен. Съезд переходит к обсуждению вопроса о вооруженной борьбе. Сразу же после доклада начинает свое оппортунистическое выступление представитель меньшевиков.

— Ошибка! Допущена огромная политическая ошибка! Не следовало браться за оружие! — патетически повторяет он известные слова Плеханова.

— Ах вот как, ошибка, говорите, допущена? — раздался голос Стучки.— Да, ошибка, только не та, о которой твердите вы, проводники мелкобуржуазной идеологии. С марксистской точки зрения самой большой ошибкой в революционной борьбе Латвии было то, что еще не существовало объединенной социал-демократии России и Латвии. Но эта ошибка уже принадлежит истории, и мы не можем сейчас фантазировать, что было бы, если бы так не было... Признавая ошибки, мы признаем их только во имя будущего, а не во имя прошлого. На ошибках революции мы учимся быть настоящими революционерами.

Громя оппортунистов, Петр Стучка вспоминает разговор с Лениным. Как высоко Владимир Ильич оценил латышских боевиков-партизан! «Партизанская борьба в Латышском крае развита наиболее сильно»,— сказал Ленин, и вот Стучка со всей силой логики фактов развеивает в пыль взгляды, враждебные революции.

Пока переводится речь Ветерана (Стучка известен и под этой кличкой), он снова выходит на веранду. И вдруг товарищи, сидящие возле окон на улицу, вскакивают:

— Полиция! У ворот...

Так и есть: среди зелени деревьев и кустов мелькают полицейские фуражки. Стучка быстро оглядывает помещение, где проходит съезд, и видит, что некоторые делегаты, уже побывавшие в свое время в лапах жандармов, лихорадочно хватают с вешалки одежду, бегут к выходу, распахивают окна во двор. За ними следуют и остальные.

«Надо задержать полицию. Возможно, оцеплен не весь район...» Стучка берет шляпу (ни один порядочный риж-

ский обыватель никогда не выйдет из дому с непокрытой головой!), спускается с крыльца навстречу затянутым в мундиры стражам самодержавия. Их всего двое, и выглядят они отнюдь не угрожающе, даже кобуры застегнуты. У усача, похожего на прусского фельдфебеля, в руках папка с документами.

— Добрый день, господа! — Стучка приподнимает шляпу.— Что вам угодно?

— Проверяем, все ли дачники уплатили купальный налог. Вы будете хозяин этой дачи?

— Нет, просто живу здесь купальный сезон. А что касается налога, то он у меня своевременно уплачен. Господа могут в этом удостовериться. Квитанция при мне.

Стучка намеренно разговаривает громко, чтобы товарищи услышали и поняли, в чем дело. Но похоже, что им не до этого: они убегают с дачи в разные стороны.

— Почему эти господа так суетятся? — Полицейские уже заметили разбегающихся.— Что здесь происходит?

— Обычные дачные развлечения. Эти господа играют в... как это называется,— к счастью, Стучке приходит на память название игры,— да, в горелки! В этой игре нельзя не бегать...

Но у полицейских, видимо, все же возникли подозрения. Они бросаются на улицу и, созывая свистками подмогу, спешат преградить путь женщине и пожилому мужчине, перебирающимся через забор.

Стучка понял: оставаться здесь нельзя. И он быстро огибает дачу и по лесной тропинке направляется в сторону станции Дубулты. Возле этой станции он сталкивается с организатором работы съезда Озолом и еще некоторыми делегатами. А на перроне все выглядит, как обычно перед приходом поезда... Ни полицейских, ни подозрительных типов в котелках. «Работу съезда надо продолжать в другом месте. Следует избрать руководство...» И Стучка подходит к Озолу.

— Запасная квартира в Риге на одну ночь у тебя есть?

— В доме священника, прислуга которого член партии. Его преподобие летние ночи обычно проводит где-то на лоне природы.

— Значит, перебираемся туда. Встречаемся, как условлено, в Верманском парке за кружкой пива. В поезде я набросаю новый проект Манифеста. На случай, если старый пропал.

Петр Стучка едет в отдельном купе первого класса. Вырвав из записной книжки несколько листков, он пытается

восстановить по памяти текст Манифеста. Конечно, он не совсем совпадает с первоначальным. Но это же естественно. Сам ход съезда, резкие споры внесли коррективы в принятые ранее положения.

Когда колеса поезда стучат на мосту через Даугаву, Петр Стучка дает оценку работе, проделанной за это время СДРП Латвии: партия «весьма ясно показала, что ей были чужды какие-либо националистические стремления. Она с честью завершила свою многолетнюю работу по объединению всего сознательного пролетариата России в единую Российскую социал-демократическую рабочую партию».

Ночью в самом центре Риги, в квартире священника Таубе, собравшиеся делегаты съезда избирают первый Центральный Комитет Социал-демократии Латышского края. Помимо основателя латышской партии Ветерана — Петра Стучки в состав ЦК входит его многолетний единомышленник и соратник Фриц Розинь и еще семь товарищей.

* *
*

В июне 1907 года жандармы вместе с отрядом вооруженных солдат неоднократно обыскивают квартиру Стучки и его адвокатскую контору. Стучка арестован и выслан из Риги. В июле он с Дорой едет в Териоки, в Финляндию, где часто встречается с Лениным. Переехав на жительство в Петербург, он работает в столичной социал-демократической организации вместе с другими ленинцами. При поддержке русских большевиков, следуя указаниям Владимира Ильича, Стучка издает в Петербурге сборники статей латышских марксистов. В них он дает решительный отпор врагам революционного марксизма, рассказывает о международном рабочем движении. Регулярно сотрудничает Стучка в латышской и русской революционной печати, становится членом редколлегии «Правды».

В 1917 году, после свержения царизма, он — в составе Петербургского комитета партии большевиков и исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Но не порывает ни на минуту живой связи с родиной и руководит революционной работой в латышских стрелковых полках.

Когда победила Октябрьская революция, Стучка — делегат II Всероссийского съезда Советов и его избирают членом ЦИК. В Советском правительстве, возглавляемом Лениным, он является народным комиссаром юстиции.

Наступил и долгожданный день: Латвия освобождена от немецкой оккупации. И Петр Стучка — глава правительства первого рабоче-крестьянского латвийского государства — Советской социалистической Латвии.

До конца своей боевой и кипучей жизни он остается верным ленинцем, которым гордится латышский и все народы-братья великого Советского Союза.

Возле Мавзолея В. И. Ленина, в Кремлевской стене, где покоятся останки самых прославленных ветеранов большевистского движения, замурована и урна с прахом Петра Стучки.

Авторизованный перевод с латышского
Ю. Абызова

Рафаил Хигеров

МЛАДШИЙ БРАТ

...Братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.

Любимая в семье Ульяновых студенческая песня на слова поэта-петрашевца *А. Н. Плещеева*

Летом 1938 года студия «Союздетфильм» готовилась к съемкам фильма о молодом Ленине. Небольшая группа работников детского кино встретилась с Н. К. Крупской.

— Смогу ли я вам помочь? — сказала Надежда Константиновна.— О детстве Владимира Ильича я знаю главным образом то, что слышала от него самого за время нашей совместной жизни. Сестры знали гораздо больше. Немного не застали вы Маняшу... Марию Ильиничну.— Крупская отвернулась, чтобы мы не заметили ее расстроенного лица; видно, еще свежа была боль по недавно ушедшему другу.— А с младшим братом, Дмитрием Ильичом, вам надо встретиться обязательно. Замечательно интересно он рассказывает, как играл с ним в детстве Владимир Ильич. Приезжайте в воскресенье в Горки, мы предупредим Дмитрия Ильича...

Перед поездкой я попытался ознакомиться с литературой о Дмитрии Ильиче, но, кроме статьи в Большой Советской Энциклопедии (том 56), ничего не нашел, да и не мог найти: таких работ просто не существовало. Из статьи видно, что вся жизнь Дмитрия Ильича была связана с большевистской партией. Но мне показалось, об этом написано как-то уж очень сдержанно, в чем я мысленно обвинил редакцию Энциклопедии. При работе над этим очерком выяснилось,

что статья в БСЭ написана по просьбе редакции... самим Д. И. Ульяновым.

...Дмитрий Ильич ждал нас на застекленной террасе, полулежа в специальном кресле. Он был давно и тяжко болен. Но поздоровался с нами громко и весело. Помнится, я удивился, не услышав характерных интонаций Владимира Ильича; почему-то думалось, что голоса у братьев должны быть схожи.

А затем Дмитрий Ильич начал рассказывать. Надежда Константиновна была права: рассказывал он «замечательно интересно». Сейчас воспоминания Дмитрия Ульянова о детстве Владимира Ильича можно прочитать. Да и тогда частично они были напечатаны в пятом номере журнала «Красная новь» за 1938 год. Но книга, к сожалению, не может заменить живую речь соучастника событий, речь, удивительно непритязательную и вместе с тем поражающую точными наблюдениями и множеством ярких деталей. Мы увидели молодого Ленина глазами его брата и соратника.

С нежностью вспоминал Дмитрий Ильич об отце и матери, называя их «папа» и «мама». Как-то особенно трогательно звучали эти слова из далекого детства в устах пожилого человека (об этом в разговоре со мной вспоминала и М. С. Шагинян, не раз встречавшаяся с Дмитрием Ильичом).

Вопросы о его личной деятельности Дмитрий Ильич решительно отвел:

— Наша тема — Ильич, очень сложная и глубокая тема. Не будем отвлекаться. Может быть, в другой раз...

Другого раза, к сожалению, не было. И сейчас я пошел дорогой поиска материалов о младшем брате Владимира Ильича. Поднял дела департамента полиции, переписку между братьями и другими членами семьи, просмотрел литературные и научные работы самого Дмитрия Ильича. Постепенно вырисовывался образ незаурядного революционера, обаятельного и богатого духовно человека. Строгая канва биографической справки (фактически — автобиографии) начала расцвечиваться яркими красками.

Попытаюсь рассказать здесь лишь о двух эпизодах большой жизни Дмитрия Ильича Ульянова. Первому из них в автобиографии посвящены полторы строки: «После съезда работал при большевистском ЦК в Киеве. В январе 1904 был арестован...»; второму — и того меньше. И хочется надеяться, что я не отвлекусь от темы памятной беседы с Дмитрием Ильичом.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ



Дмитрий Ильич
УЛЬЯНОВ
(1874—1943)

Киев готовился встретить новый, 1904 год. День 31 декабря выдался морозным и ясным. Над крышами стояли столбы белого дыма. Холодное солнце искрилось на заснеженных деревьях и потолстевших от инея телеграфных проводах. Нагруженные свертками и кульками, подгоняемые морозом, торопились прохожие. У круглой афишной тумбы на углу Владимирской и Фундуклеевской остановился мужчина с черными усами и густой черной бородкой. Казалось, что в этот суматошный предновогодний день он один никуда не спешит. Взглянул на анонс цирка: «Экстраординарное представление! Букет артистического искусства! Грандиозное шествие — проводы старого и встреча нового года в 30 картинах!» Передвинулся к театральной афише: «Губернская Клеопатра». И особенно заинтересовался новогодней программой Киевского русского купеческого собрания: «Бал-маскарад. Мужчин просят быть в вечерних костюмах!» Неторопливо обогнул тумбу.

На противоположном углу, у ресторана, два заиндевевших господина изучали меню. Заметив это, мужчина с бородкой окликнул извозчика, быстро уселся в санки и запахнул медвежью полость:

— На вокзал.

Застоявшаяся лошадь взяла с ходу. Двое у ресторана бросились к ближайшим санкам.

— За этим... Живо!

— Рази догонишь. Рысак энтот...— бормотал извозчик смерзшимися губами.

— Зряшное дело. Ушел Темный,— сердито сказал один из седоков.

Извозчик вздохнул и задергал вожжами.

...Пассажирский прибыл без опоздания, в 4 часа 10 минут дня. Она не приехала. Следующий поезд, скорый, в 6.30. Дмитрий Ильич (именовавшийся в донесениях агентов полиции Темный, за черноту волос, усов и бороды) решил

ждать: так было безопаснее. От филеров, кажется, удалось оторваться.

Последние месяцы он постоянно чувствовал на себе чужие глаза. Чутьем конспиратора угадывал: готовятся. Поэтому и приехал на вокзал. Нельзя допустить, чтобы Зверька (она же по паспорту — Зинаида Дешина, временно — Лидия Гобби, а истинная — Мария Эссен) была схвачена с материалами объезда комитетов. Более десятка городов объехала Эссен за последние месяцы. Завоевание комитетов — важнейшая задача русской части ЦК РСДРП. На этом настаивает Ленин... Надо продумать тактику завтрашнего совещания с членами Киевского комитета.

Где же подождать? Лучше всего в буфете третьего класса.

— Пожалуйста, чайник и заварку.

Чайник полуведерный. Интересно, сколько чаю может выпить человек, когда ему вовсе не хочется пить?..

Многоголосо гудит станционный буфет. Мутной пеленой висит табачный дым. В окне промелькнула фигура станционного жандарма.

Всюду шпики, жандармы. Круг явно смыкается. Скверно. Пришлось уничтожить адреса явок, шифры. Списки только в памяти. Туда полиция еще не научилась заглядывать. Много, очень много надо держать в памяти. В Киев прибывают товарищи со всей России. Каждого нужно обеспечить явкой, снабдить паспортом и деньгами — «презренным металлом», как выражается Кржижановский. Ох, как нужен этот «презренный металл» партии — одной типографии в Женеве 2 тысячи франков ежемесячно. Вспомнились недавние встречи с Максимом Горьким, глуховатый окающий голос: «Берите, берите, на доброе дело не жалко». Владимир Ильич высоко ценил деятельность брата по сбору денег, в письмах «Искры» не раз благодарили Андрея. А еще — Герц, Андреевский, Юноша. Нелегко запомнить набор собственных конспиративных кличек. Разъезды пришлось прекратить и принять у Зинаиды Кржижановской все партийное хозяйство: адреса, транспорты с литературой и прочее. Не совсем по призванию, да что поделаешь. Надо.

...Безостановочно хлопают входные двери. Шум сгущается и, кажется, висит в помещении как пелена дыма. Шум — это ничего. Вроде безопаснее. Вот и у Кржижановского в лаборатории чего-чего, а шума — сколько душе угодно. Отличное место для конспиративных встреч — ла-

боратория испытания строительных материалов управления железной дороги. Здание огромное, сотни людей входят и выходят... Читали там письмо Ленина. Это было месяца два назад. Кржижановский включил мотор, металлический барабан завертелся, внутри загрохотало. Так, оказывается, испытывают образцы. Глеб Максимилианович читал вслух суровую ленинскую отповедь: «...Комитеты остаются без призора: в Киеве глупят...» Эссен (она тогда недавно приехала из Одессы) за шумом не расслышала или сделала вид — кто ее знает, озорную неунывающую Зверьку? — переспросила: «Что в Киеве?» Кржижановский подозрительно покосился на нее и продолжал читать: «Чем распределять функции, не важнее ли занять агентами местечки в каждом комитете...»

Затем Кржижановский ездил в Женеву, вернулся оттуда с новым зарядом энергии... и иллюзиями о возможности мира с меньшевиками. Скоро, очень скоро иллюзии эти потерпели полный крах. И вот совсем на днях опять гневное письмо Ленина: «...Бросьте наивную надежду мирно работать в такой невозможной атмосфере. Направьте все *главные* силы на объезды... *обеспечьте* тотчас окончательно свои комитеты, двиньте затем атаку на чужие и... съезд, съезд не позже января!» «Свои» — это Петербургский, Московский, Нижегородский, Одесский... 14 комитетов. «Чужие» — это прежде всего, как ни странно, находящийся под боком Киевский.

«Завтра «двинем атаку», как этого требует Ленин»,— невольно подумал Дмитрий Ильич и улыбнулся: даже в мыслях назвал брата Лениным. Ленин! В письмах к родным он для него по-прежнему Володя — чудесный друг детства и юности. В политической борьбе — Ленин, вождь партии.

Густеет табачный дым, звенит посуда, бегают потные половые. Завтра новый год. Не до веселья. Все же ради мамы решено отпраздновать. В кои веки собрались вместе, кроме Володи. Третьего дня написали в Женеву, поздравили, пожелали счастья... Что-то делает сейчас Володя? Трудно ему. Меньшевики губят только что сложившуюся партию. Завтра будет большой разговор с киевлянами. Поставим вопросы пролетарской организованности и дисциплины. Потребуем выполнения программы партии, принятой съездом. Может быть, разумнее отменить совещание?.. Нет. Ни в коем случае. Вот Кржижановскому туда ходить не следует.

Он — член ЦК. Нельзя, и все. Должен понять. Положение обязывает, гласит поговорка. В буквальном переводе с французского: благородство обязывает. Подлинное благородство члена партии — в подчинении всех своих чувств и поступков интересам дела. Попытаемся убедить в этом рыцарственного Глеба Максимилиановича.

Кто это подходит к столику? «Нет, не занято, пожалуйста». На шпика вроде не похож... Вот так весной подсел один в буфете небольшой австрийской станции, когда нелегально пробирался на II съезд РСДРП (пограничную речку перешел вброд, ну и холодюга была, бр-р!). Оказался русским врачом, коллегой, милейшим человеком. До утра говорили о Чехове... С этим о Чехове не поговоришь. Ну и аппетит у господина. Пожалуй, шпик не будет так натурально чревоугодничать... Четверть седьмого. Через 15 минут поезд. Похоже — слежки нет. Можно выйти на дебаркадер.

Тяжело отфыркивается обледеневший паровоз. Окутанные облаками пара торопятся пассажиры к своим новогодним делам. Обратил внимание на странную компанию: четверо, разные и вместе с тем чем-то схожие. Всмотрелся — знакомое лицо: лошадиная челюсть, расплющенный нос. Сразу вспомнил: Москва, завод Гужона, после занятий кружка шел с рабочими. И эта фигура сзади. «Проучить, что ли?» — хмуро сказал один из рабочих. Словно почувствовала фигура, свернула в переулок. И здесь, на Киевском вокзале, все тот же расплющенный нос. Значит, местной охранке прибыла подмога.

Последние пассажиры. Эссен не приехала. Надо незаметно уходить, посоветоваться с товарищами. Скоро 7, до нового года осталось не так уж много.

* *
*

Ровно в 7 вечера начальник киевского охранного отделения подполковник Спиридович вышел из своего кабинета и спустился в подвальный этаж. Там, в гимнастическом, так называемом сокольском зале, его уже ждали филеры отделения.

Начальник охранки обвел глазами собравшихся. В сокольском зале было особенно многолюдно. Для успешного проведения операции прибыли агенты из многих охранных отделений: московского, гомельского, екатеринославского и других. Операция необычная: арест всех делегатов

III съезда РСДРП. По версии подполковника Спиридовича съезд должен был собраться в Киеве. Ежедневно в течение ноября Спиридович телеграфно доносил в Петербург директору департамента полиции о ходе подготовки к съезду. Подполковник ждал прибытия самого Ленина, которого он в официальных документах называл душой партийного съезда.

За проживающими в Киеве членами семьи Ульяновых была установлена тщательная слежка. В течение двух месяцев несколько сот записей в журналах наблюдений.

Но съезд почему-то не собирался. Операция затягивалась. 29 декабря киевское охранное отделение представило в Петербург «список лиц, предназначенных к безусловным арестам». 30 декабря последовала секретная телеграмма департамента полиции: «Не выжидая съезда, ликвидировать Центральный и местный комитеты, предъявив требования об отсутствующих».

Ликвидация была назначена на 1 января 1904 года. В канун нового года филеры заняли свои посты.

В обширном списке значились: Дмитрий Ильич Ульянов, его жена Антонина Ивановна Нещеретова-Ульянова, проживающие по Пушкинской улице, 32, кв. 4; Анна Ильинична Ульянова-Елизарова и Мария Ильинична Ульянова, проживающие по Лабораторной улице, 12, кв. 14.

...Окна трехкомнатной квартирки во флигеле дома 12 по Лабораторной светились сегодня допоздна. Чья-то рука отворила изнутри форточку. И тогда в морозную мглу ночного Киева вырвалась песня древних киевлян, славящих усладов день — день радости. Мария Александровна играла «Аскольдову могилу» Верстовского, свою любимую оперу. Удивительно хорошо было сегодня Марии Александровне! Впервые за долгие годы почти все дети собрались вместе. Не было только Володи с женой, за их здоровье был поднят первый тост.

Жаль, что дети так озабочены. Митя пристроился у подоконника и переписывает что-то из тетради, тревожно поглядывая на двор. В детстве, еще до гимназии, он тоже любил заниматься на подоконнике. Положит букварь и старательно выводит по-печатному: «зи-ма», «са-ни»... Митя, милый, да ты и сейчас переписываешь из тетради печатными буквами. Но слова другие, не детские: «диктатура пролетариата»... «необходимость отдельной политической партии...» Не спрашиваю, ничего не спрашиваю. Понимаю, так надо... Маняша

прячет несколько документов в шахматный столик. Остальное — в печку. Туда же Митя бросает тетрадку. А потом просит сыграть из «Травиаты» и сам пытается спеть арию Альфреда. Пора расходиться, но расходиться не хочется. И Тоня чудесно поет украинские песни, а Мария Александровна ей аккомпанирует. И все-таки надо разойтись, потому что Митя говорит, что завтра, то есть не завтра — уже сегодня, много дел.

1 января 1904 года в 5 часов в доме 17 по Караваевской улице Дмитрий Ульянов «двинул атаку» на Киевский комитет. Легко возникали нужные слова. Образно передал атмосферу II съезда. Рассказал, как удалось смести кружковщину, заменить ее великой партийной связью. В этом — главное. Создана партия. Она еще молода, еще не окрепла, и враг партии, враг рабочего класса — тот, кто тратит ее силы зря, в пустых спорах, когда в воздухе носится дыхание революции!

Совещание окончилось. Кажется, удалось вбить клин в меньшевистский комитет.

Расходились поодиночке...

Около 8 часов вечера Дмитрий Ульянов был арестован (вместе с З. П. Кржижановской) на Бибиковском бульваре. Доставлен в старокиевский участок, где на него заполнили допросный лист. К великому огорчению жандармов, у арестованного удалось обнаружить лишь писанный печатными буквами лист почтовой бумаги: «Конспект к изучению партийной программы». И больше ничего. Ни адресов, ни записной книжки, ни писем. После обыска на квартире по Пушкинской улице была арестована А. И. Нещеретова-Ульянова.

...Позволю себе небольшое отступление. Мы сидим в квартире Антонины Ивановны по улице Алабяна. На стене фотографии: молодой Дмитрий Ильич, милое старческое лицо Марии Александровны, сестры Ульяновы, Кржижановские... За окном — первый московский снег.

— Как же это было, Антонина Ивановна?

60 лет прошло! Память сохранила лишь некоторые детали. Вот одна из них. Утром 1 января 1904 года Дмитрий Ильич написал какой-то документ. В течение дня Антонина Ивановна должна была передать его в надежные руки, из-за слежки не смогла и хранила до последней минуты. Когда жандармы вломились в комнату, Антонина Ивановна бросила документ в топившуюся печку...

Обыск окончился безрезультатно — был найден лишь листик бумаги со стихами, записанными рукой Дмитрия Ильича:

Лес рубят — молодой,
нежно-зеленый лес,
А сосны старые нахмурились угрюмо...

Навеянные недавними правительственными репрессиями против студентов, стихи эти сочтены были «тенденциозными» и приобщены к делу их «автора», который честно отпирался от незаслуженного поэтического венка.

Улик для возбуждения судебного дела против Дмитрия Ульянова, «привлеченного к настоящему дознанию на основании сведений киевского охранного отделения о принадлежности Ульянова к членам Центрального Комитета Российской демократической рабочей партии», оказалось недостаточно.

В 10 часов вечера начался обыск на квартире Ульяновых по Лабораторной улице, продолжался он до 1 часа 45 минут ночи. Сестер Ульяновых арестовали и под конвоем увели в Лукьяновскую тюрьму.

Мария Александровна осталась одна. Глубоко вздохнула и начала неторопливо наводить порядок после жандармского погрома.

Заходили друзья, несколько раз забегала Эссен, которая прибыла в город уже после полицейской акции и счастливо избежала ареста. Мария Александровна выдвинула из шахматного столика плоский потайной ящик и передала Эссен документы, предназначенные для отправки в Женеву. Эссен уехала. Мария Александровна отказалась покинуть город, где в тюрьме томятся ее дети.

Наутро она уже стояла с передачей у ворот Лукьяновской тюрьмы.

Что мог сделать Дмитрий Ильич, чем помочь матери? Из тюремной камеры он пишет прокурору Киевской судебной палаты. Нет, заключенному Дмитрию Ульянову ничего не нужно. Единственная просьба — мать! «...Полное одиночество, которое создано для моей матери после ареста меня с женой и обеих моих сестер, действует на нее, особенно в последнее время, когда у нее появились признаки старой болезни, прямо убийственным образом...» Письмо передано через надзирателя. Ответа нет. Жалость сжимает сердце, когда в помещении для свиданий видит он через решетку

измученное лицо матери, слышит ее слабый голос, теряющийся в общем шуме. Снова требует заключенный, на этот раз от начальника киевского жандармского управления, «вместо свиданий за решеткой личные свидания по одному в неделю». Ведь старой, больной женщине «крайне затруднительны свидания за решеткой как вследствие того, что среди шума и разговоров со всех сторон она плохо слышит и сама не может говорить достаточно громко, так и потому, что ей тяжело подолгу стоять...» Казенные, по необходимости, обороты официальной бумаги дышат болью и гневом.

Было тяжело, очень тяжело. Но будущее не казалось мрачным. Охранному отделению не удалось арестовать ни одного из членов ЦК, агентом которого Дмитрий Ильич был в Киеве. Русская часть ЦК продолжала жить. А главное, в Женеве, в недосягаемости от царской полиции, работал Владимир Ильич Ленин. За Лениным шло подавляющее большинство комитетов. III съезд РСДРП был уже не за горами.

...Вышла из тюрьмы Мария Ильинична, затем Анна Ильинична, а Дмитрий Ильич все продолжал томиться. И только 22 ноября 1904 года он был выпущен под особый надзор полиции.

Постоянно чувствовал чужие глаза. Ощущение стало даже привычным. Но работать в таких условиях было опасно для дела. Нужно было переменить место жительства и на какое-то время уйти от недреманого полицейского ока.

БУДЕТ СОЛНЦЕ!..

«Предъявитель сего санитарный врач Симбирского уезда Дмитрий Ильич Ульянов имеет право на взимание трех лошадей для разъездов по делам службы...

Секретарь земской управы...»

Не раз уже вынимал эту бумажку на земских станциях, требовал, просил, настаивал, а затем — сугробы, одинокие стога, ветряки, хмурые силуэты церквей. Понурив головы, бегут тощие, разбитые на ноги почтовые лошади. И снова сугробы, сугробы, наметаемые злыми приволжскими ветрами. Вот она, Симбирская губерния, земля без конца и края, а крестьянские наделы — нищие. Нету крестьянам земли. Потому что сотни тысяч десятин лучшей пашни,

лугов, лесов принадлежат удельному ведомству и крупным помещикам — один граф Орлов-Давыдов владеет в губернии сотней тысяч десятин. А еще есть граф Рибопьер, графиня Зубова и иже с ними.

По данным земской статистики, 85,3 процента населения губернии неграмотны.

...Заночевал у фельдшера в Ногаткине. Небольшой, но чистый приемный покой, аптечка. И уже немолодой фельдшер: интеллигентное, исхудалое лицо, лихорадочно блестят глаза.

— Нездоровится, коллега?

— Нет, устал. Понимаете, до следующего фельдшерского пункта шестьдесят две версты. Волость огромная... Впрочем, всюду так?

— Всюду. Один врач на сто — сто пятьдесят тысяч жителей.

— Ужасно. Вот и крутимся. А тут эпидемии. Дифтерит, оспа, тиф, кое-где влежку, дворов по двадцать в ряд.

— Сыпной тиф?

— И сыпной, и брюшной, а то уж не разберешь какой. Слава богу, холеру остановили. Собственно, слава не богу, а вам, Дмитрий Ильич, и доктору Соловьеву. Не отпирайтесь, мы в глуши, а наслышаны о недавних губернских баталиях.

Баталии были. Начались они, собственно, еще до приезда Дмитрия Ильича в Симбирск. При чудовищной нехватке медицинского персонала опытному врачу пришлось добиваться права принять участие в борьбе с эпидемией. Просил о командировании в Семипалатинскую область, предположительный очаг холеры. Три месяца переписки между ведомствами. Дело состоящего под особым надзором полиции доктора Ульянова украсилось автографами многих чиновных лиц, в том числе помощника министра внутренних дел сенатора Дурново, а конца переписке не видно. Дмитрий Ильич начал терять терпение, когда под угрозой эпидемии срочно потребовалось заместить вакансию санитарного врача в Симбирской губернии.

— Поздравляю с назначением. По русской пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло. Об одном прошу: будьте благоразумны, господин Ульянов, будьте благоразумны,— напутствовал Дмитрия Ильича один из чинов земства, благоволивший к «неблагонадежному доктору» в память о его отце.

Но как быть «благоразумным», если холера уже стучится в двери?..

При поддержке городского санитарного врача, тоже большевика, Зиновия Соловьева, Дмитрий Ильич яростно требует от земства открытия новых фельдшерских пунктов. Заставляет земство раскошелиться на медикаменты: сулему, карболку, гидропульты для дезинфекции и, главное, на спасительную противохолерную сыворотку Хавкина — вакцину, созданную в далекой Индии великим бактериологом, сыном бердянского учителя, много лет находившимся под надзором русской полиции.

Борьба с эпидемией — давняя мечта Дмитрия Ильича. Еще в студенческие годы вызвался поехать на чуму. Взволнованная Мария Александровна даже написала об этом Владимиру Ильичу, в шушенскую ссылку.

Вместо поездки — арест, Таганская тюрьма, особый надзор полиции. И упорная борьба за право окончить университет (было что-то общее в судьбах «неблагоразумных» талантливых людей в царской России!).

Но как стать «благоразумным», если симбирские заводчики загрязняют реки гниющими отбросами картофельно-терочного производства? Ведь именно по этим водным путям двигалась холера в страшный 1892 год. Заводчики грозят стереть в порошок неугомонного санитарного врача. Ничего, не сотрут. И санитарный врач идет дальше. Анализируя карту предыдущей эпидемии, он на страницах легального «Врачебно-санитарного листка Симбирской губернии» статистически устанавливает, что холера «по преимуществу захватывает тех, кто живет в худших санитарных условиях, кто хуже питается и, особенно, кто хронически недоедает». Вывод: «На первое место следовало бы поставить вопрос о материальном благосостоянии населения... вопрос о необходимости изменения в общих условиях народной жизни».

Об этих-то баталиях и упоминал ногаткинский фельдшер. Вряд ли предполагал он, что его собеседник — один из руководителей симбирской группы РСДРП и вот уже десять лет ведет куда более грозные и опасные баталии против царского самодержавия.

Наутро, прощаясь на морозе, фельдшер сказал:

— А я вашего батюшку Илью Николаевича знавал. Он мне и напутствие дал — в фельдшерское училище. И письмо рекомендательное вручил.

— Что же вы раньше-то молчали?

— Неловко как-то было. Ничего, авось еще встретимся... Вот бутыль с сулемой, карболка неочищенная. В Елшанке поберегитесь, Дмитрий Ильич, гиблое место.

В Елшанку ехал растроганный, вспоминая об отце. Наверное, когда-то Илья Николаевич ездил по этим же местам и церквушку эту древнюю, наверное, видел, и старый ветряк. И так же вился за ним санный след по свежему пушистому снегу... Через минуту заметет этот след поземкой, а след в человеческих судьбах вечен. И радостно было Дмитрию Ильичу встречать в медвежьих углах губернии скромных интеллигентов — учителей, фельдшеров — питомцев Ильи Николаевича.

Когда Дмитрий Ильич въехал в Елшанку, он сразу помрачнел. Глиняные мазанки с вздыбленными соломенными крышами. В мазанках крошечные оконца над землей. Внутри избы земляные полы и стены, покрытые слоем сажи: топили по-черному... Осмотр больных превратился в муку: казалось, что хронический голод показывает свои язвы, сочащиеся кровью десны, гниющие кости. До вечера работал Дмитрий Ильич, обходил мазанки, давал лекарства, растолковывал, как делать дезинфекцию теми препаратами, которые он оставлял деревенскому старосте... Все это казалось ничтожным по сравнению с тем, что надо было сделать!

Когда садился уже в сани (ямщик торопил: в степи волки), подбежала плачущая женщина:

— Сын, сыночек... Ванюшка...

Пошел за женщиной. Ямщик укоризненно покачал головой. Трехлетний мальчик. Желтовато-серый налет, темнокрасная бархатистая припухлость слизистой оболочки, пульс — сто, апатия и состояние оглушения... Дифтерия... Открыл походную аптечку, достал пузырек с раствором полуторахлористого железа, кисточку для смазывания горла, флакон с противодифтерийной сывороткой Беринга и Ру, шприц...

Всю ночь шла борьба за жизнь ребенка. Утром вышел на улицу. После темной мазанки нестерпимо ярко светило солнце, искрящееся мириадами белых кристаллов. За оконцем силуэт женщины с ребенком на руках. Повернулся к оконцу:

— Будь здоров, Ванюша! Придет время — все будет твое: и солнце, и снежные степи, и горячее южное море...

— Чудной доктор,— ухмыльнулся ямщик и весело гаркнул: — Нно, сердешные!..

* *
*

Прошло четырнадцать лет. Земский врач Д. И. Ульянов стал заместителем председателя Совнаркома Крыма, благодатной земли, омываемой горячим, южным морем.

«...О своем плане по курортному делу пишу Зиновию Соловьеву, на завтра созываю совещание товарищей и специалистов врачей...— сообщает он сестре Марии Ильиничне, упоминая и З. П. Соловьева — своего давнего друга, заместителя наркома здравоохранения РСФСР,— у меня самочувствие великолепное, работа бодрит. При вашей поддержке будем налаживать курортную работу, после нескольких лет разгрома и хищений находящуюся в жалком состоянии. И устроим настоящую пролетарскую здравницу для всей Советской России, использовав все лечебные ресурсы Крыма.

Крепко целую тебя, Аню и Володю, привет и пожелания здоровья Н(адежде) К(онстантиновне) и всем вам...

Тв(ой) *Дмитрий.*

P. S. Передай Володе, что в Евпатории в лучшей санатории у самого берега моря я приготовлю ему помещение, чтобы он, хоть 2—3 недели, мог отдохнуть, покупаться и окрепнуть. Там есть у нас все приборы... и можно полечить ему руку. Тем более, что он никогда не видел нашего Черного моря...»

Я читаю этот постскриптум, и снова передо мной полулежащий в кресле Дмитрий Ильич, с доброй улыбкой рассказывающий о детстве и юности Ленина...

Дмитрий Ильич был моложе брата на четыре года. В детстве старшие братья всегда пример для подражания. В этом нет ничего удивительного. Но с возрастом обычно разрыв в несколько лет стирается и отношения между братьями меняются. В семье Ульяновых было иначе. В глазах Дмитрия Ильича брат вырастал год от года.

Прошли детство, юность. Дмитрий Ильич уже студент пятого курса Московского университета, но важнее всех дел для него — обязанность обеспечить находящегося в ссылке брата научной литературой, которую он добывает в фундаментальной библиотеке университета и в других московских книгохранилищах. Он жадно и внимательно прочитывает все научные труды Владимира Ильича. «Ошибку в на-

чале II § IV главы (стр. 346) ты отметил совершенно верно, спасибо за это,— пишет Ленин Дмитрию Ильичу по поводу рукописи «Развитие капитализма в России».— Надо 41,3 миллиона четвертей, а не 14,3. У меня в 1-ом черновике было верно... *Пожалуйста, пошли эту поправку тотчас же»*.

Заканчивается срок ссылки Ленина. Дмитрий Ильич встречает брата в 50 километрах от Москвы, торжественно везет «к своим», он счастлив и горд тем, что встретил брата на полтора часа раньше других.

Проходит еще несколько лет. Дмитрий Ильич — в самой гуще партийной работы. В Лондоне, в Женеве он повидал чуть ли не всех лидеров русской и зарубежной социал-демократии, среди которых немало ярких людей. Но никакие звезды не могут затмить в его глазах Ленина, вера в которого безгранична. Безгранична настолько, что вызвала даже однажды сердитое замечание Владимира Ильича: «И полагаться на речи Андреевского о влиянии имени Ленина — ребячество».

Но таких конфликтов между братьями почти не было. На протяжении всей жизни Ленин относился к Дмитрию Ильичу с неизменной нежностью, любовью и уважением. Обращения к брату или вопросы о нем встречаются чуть ли не во всех письмах Ленина к родным. Высоко ценил Владимир Ильич медицинскую деятельность брата. Дмитрий Ильич был хорошим врачом, с широким кругом научных интересов. Он участник многих съездов Пироговского общества врачей, регулярно следит за новыми идеями в медицине и смежных областях науки. «Особенно интересуют меня теория электронов и радиоактивность»,— писал он в 1912 году Марии Ильиничне.

В медицинской деятельности Дмитрия Ульянова были и другие стороны. Находясь на легальном положении, он мог оказывать партии большие услуги. Земский врач, работающий в гуще народа, Дмитрий Ульянов был для Владимира Ильича источником ценнейшей информации о России.

Отношения между Лениным и его младшим братом — это одна из граней «очень сложной и глубокой темы Ильича», о которой так проникновенно говорил Дмитрий Ульянов летом 1938 года.

Зак. 2287

Зоя Воскресенская

СЕСТРЫ

Ну, руку в руку, шар земной
Мы цепью обовьем живой,
Направим к одному все мысли и
желанья,
Туда все души напряжем.
Земля, содвинься с основанья,
На новые пути тебя мы поведем.

А. Мицкевич

В тот июньский вечер 1900 года в маленьком бревенчатом доме на окраине Подольска собралась вся семья Ульяновых. Не было только Надежды Константиновны: она отбывала в Уфе свою ссылку.

Владимир Ильич снова в кругу родных. Позади четырнадцать месяцев тюрьмы и три года ссылки. По возвращении из Сибири едва не случилось большой беды. Владимир Ильич поехал без разрешения из Пскова в Петербург и был там арестован. Но закончилось все благополучно. Выручила предусмотрительность конспиратора. Полиция не обратила внимания на отобранные при обыске счета, рекламные листки из книжных магазинов, не проверила их на тайнопись. Поэтому не было обнаружено письмо к Плеханову с планом создания общерусской газеты, не были раскрыты пароли, адреса.

Мария Александровна сидит в кресле напротив сына, светится материнской радостью: все дети на свободе, все рядóм, и сердце матери отдыхает.

Владимир Ильич, деятельный, счастливый, делится с сестрами, братом, Марком Тимофеевичем Елизаровым своими сокровенными планами. Перед ним не просто родственники, а единомышленники, связанные между собой большой идеей.

Еще в сибирской ссылке продумал Владимир Ильич план создания партии рабочего класса. Прологом к этому великому делу должна явиться общерусская революционная газета. План продуман до мельчайших подробностей. В России издавать газету невозможно из-за полицейских преследований. Она будет издаваться за границей, в Германии, и тайными путями переправляться в Россию. И сейчас идет разговор об организации транспортировки, создании опорных пунктов, корреспондентской сети, явочных квартир.

Дмитрий Ильич смотрит влюбленными, восторженными глазами на старшего брата. Эх, если бы не проклятый полицейский надзор, не прикованность к месту, поехал бы вместе с братом в Германию, в огонь и в воду пошел бы за ним.

Анна Ильинична старше Владимира Ильича на шесть лет, но младший брат для нее теперь непререкаемый авторитет, она понимает: задуман грандиозный план создания марксистской партии и газета должна сыграть роль лесов в этом строительстве. Слушая Владимира Ильича, она определяет и свое место в осуществлении этого плана.

Ее муж Марк Тимофеевич Елизаров невольно сравнивает Владимира Ильича со старшим братом — Александром. Будь жив Саша, он бы тоже пошел сейчас за своим меньшим братом.

Подперев лицо ладонями, Мария Ильинична не отрывает от Владимира Ильича ярких глаз. В памяти возник тот страшный вечер, когда пришла весть о казни Саши и когда кончилось ее счастливое детство. Навсегда запомнилось бледное, взволнованное лицо Володи, ставшего вдруг много старше, и его слова: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». Подрастая, Маняша часто задумывалась над этими словами. Никогда ей не забыть картины отъезда семнадцатилетнего Володи в ссылку в село Кокушкино, когда они с матерью ехали вместе с ним из Казани. Рядом с их кибиткой скакал грузный жандарм, и девочка понимала, что это и ее враг.

Когда Владимир Ильич был арестован в 1895 году в Петербурге по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», юная гимназистка Мария Ульянова с самого начала приняла деятельное участие в организации передач в тюрьму литературы, в налаживании связей Владимира Ильича с оставшимися на свободе членами «Союза борьбы», помогала старшей сестре проявлять тайнопись в книгах,



Мария Ильинична
УЛЬЯНОВА
(1878—1937)

полученных от брата, училась искусству конспирации. Ей тогда было семнадцать лет.

Вернувшись из сибирской ссылки, Владимир Ильич встретил не застенчивого, любознательного Медвежонка, Маняшу, как ласково звали в семье Марию Ильиничну, а убежденного революционера, много читавшего, успевшего выказать свои недюжинные организаторские таланты, познакомиться с тюрьмой и теперь находившегося под неослабным надзором полиции. Ее учеба в Брюссельском университете была прервана, заграничный паспорт у нее отобрали.

Царская охранка не спускала глаз с семьи Ульяновых и в одном из донесений отмечала: «Мария Ульянова несомненно поддерживает революционные традиции своей семьи, все члены которой отличаются крайне вредным направлением. Так, брат ее, Александр, казнен в 1887 году за участие в террористическом заговоре, Владимир сослан в Сибирь за государственное преступление, и Дмитрий недавно подчинен гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и муж ее Марк Тимофеевич Елизаров, под гласным надзором полиции, ведет постоянные сношения с заграничными деятелями».

...Анна, Мария и Дмитрий, Марк Тимофеевич слушали Владимира Ильича и видели перед собой опытного зодчего, вдохновенного, как поэт, расчетливого, как математик, и необычайно трудолюбивого. Каждый из них понимал, что отныне целью их жизни будет: способствовать осуществлению его замыслов, помогать, поддерживать его дело всеми силами.

В те дни маленький желтый домик на берегу Пахры походил на штаб. Прибыли вызванные Владимиром Ильичем с Тамбовщины муж и жена Шестернины, приехал товарищ по сибирской ссылке П. Н. Лепешинский. Стены дома были свидетелями страстных споров, дерзновенных мечтаний, задушевных песен.

Хозяйка Кедрова, жившая в доме рядом, наблюдала азартные игры молодых людей в крокет, прислушивалась к

их заразительному смеху и не подозревала, что в ее маленьком саду решаются судьбы мира.

По вечерам на берегу подмосковной Пахры загорался костер, и искры, высоко взлетая вверх, вместе со звездами отражались в тихой глади реки.

Далеко за полночь продолжалась жизнь в маленьком доме. Марк Тимофеевич, забравшись с Владимиром Ильичем в комнатушку на антресолях, трудился над чертежами хитрого шахматного столика с потайным хранилищем, которому было суждено надежно хранить до самого дня победы важнейшие партийные документы.



Анна Ильинична
УЛЬЯНОВА
(1864—1935)

Мария Ильинична и Дмитрий Ильич вписывали молочными чернилами между строчек проект первой программы социал-демократической партии. Вписывали ее в пятом номере толстого журнала «Научное обозрение», обессмертив статью С. Чугунова «Шейное ребро у человека с точки зрения теории эволюции».

Газете «Искра» нужны были опытные работники. Владимир Ильич испытующе посматривал на старшую сестру.

Анна Ильинична прошла тяжелую жизненную школу. В 1887 году она была арестована по делу о покушении на царя Александра III. Курсистка Бестужевских курсов Анна Ульянова не участвовала в заговоре. В ее адрес была лишь послана условная телеграмма одним из заговорщиков. Но, как сестра Александра Ульянова, она поплатилась двухмесячным тюремным заключением и пятилетней ссылкой в Сибирь, замененной по ходатайству матери, Марии Александровны, высылкой в село Кокушкино, а затем в Алакаевку и Самару.

Вынужденное пребывание в деревне было использовано Анной Ильиничной для марксистского самообразования. Подготовленный марксист, она по переезде в Москву в 1893 году стала участником социал-демократических кружков. В 1896 году, после ареста Владимира Ильича, работала в «Союзе борьбы», распространяла листовки среди рабочих.

Литератор по призванию, опытный редактор, писательница, она была неоценимым помощником в деле создания газеты.

Владея пятью иностранными языками, Анна Ильинична много лет занималась переводами с итальянского, французского, английского, болгарского. Перевела с немецкого пьесу Гауптмана «Ткачи». Отредактированный Владимиром Ильичем перевод этой пьесы был размножен на гектографе и распространялся по нелегальным рабочим кружкам, знакомил русских рабочих с положением пролетариев на Западе, пробуждением их классового сознания.

Анна Ильинична с увлечением писала для детей стихи, басни, сказки, выпустила книгу собственных рассказов «Дружба в мире животных».

Вступив на революционный путь, Анна Ильинична всегда тянулась к пропагандистской работе.

— Как бы пригодились твои литературные таланты в «Искре»,— все взвесив и обдумав, сказал как-то вечером Владимир Ильич и с опаской посмотрел на ее мужа.

Марк Тимофеевич пожал плечами, засмеялся.

— Понимаю, понимаю, возражать не могу.

Владимир Ильич угадал заветную мечту старшей сестры.

Было решено, что вслед за Владимиром Ильичем Анна Ильинична выедет в Германию, чтобы работать в «Искре».

Вспомнили здесь и о семейном журнале «Субботник», который «издавали» в единственном экземпляре в далекие детские годы. «Редактором» журнала был Саша. Володя и Оля — «постоянные корреспонденты», Аня — «литературный критик». То был семейный журнал. Сейчас речь шла о газете, которая должна была сплотить вокруг себя миллионы.

— А что я могла бы делать для «Искры»? — спрашивает брата Мария Ильинична.

Владимир Ильич рассмотрел уже в младшей сестре организатора.

— Ты будешь агентом «Искры»,— сказал он.

И рано утром, забравшись в беседку, они обсуждали, как лучше организовать распространение «Искры», снабжать газету информацией, вербовать корреспондентов среди рабочих.

Подготовительная организационная работа в России подходила к концу. Владимир Ильич создал опорные пункты для «Искры» в Москве, Петербурге, Пскове, Смоленске, Риге. Через Шестерниных будет создана база на Тамбовщине.

— Что можно сделать в самом Подольске? — интересуется Владимир Ильич.

— Я рекомендую корреспондентом «Искры» нашего милейшего доктора Левицкого Вячеслава Александровича,— отзывается Дмитрий Ильич.

Санитарный врач Левицкий приютил у себя в качестве своего помощника Дмитрия Ильича, который после освобождения из тюрьмы нигде не мог найти работу. Доктор интересуется условиями труда рабочих, организовал борьбу против местных фабрикантов — владельцев фабрик по производству фетровых шляп. Применяя ртуть при изготовлении фетра, фабриканты наносили большой ущерб здоровью рабочих.

Владимир Ильич знакомится с Левицким, приглядывается к нему, уезжает с ним на лодке, играет в крокет и наконец говорит Дмитрию Ильичу:

— Он очень дельный. Ты его расшевеливай, заставляй писать корреспонденции в «Искру»... Как бы надо наведаться на Волгу,— вздыхает Владимир Ильич,— проехаться в Нижний, в Самару, встретиться с товарищами, разложить бы там костры для нашей «Искры», побывать в Сызрани у Ерамасова, он может крепко материально поддержать газету. И еще проехаться к Надюше в Уфу.

— Соскучился? — спрашивает участливо мать.

— Очень,— признается он,— это ведь первая наша разлука.— И людей Надюша нашла там хороших, связалась с социал-демократами из железнодорожных мастерских, завела интересные для нас знакомства.

Но ехать туда невозможно. Владимир Ильич уже подавал прошение в департамент полиции и получил категорический отказ.

И тут на помощь приходит шестидесятипятилетняя мать.

— Я, кажется, придумала, как тебе повидаться с Надюшей, заложить твои костры на Волге,— говорит Мария Александровна.— Департаменту полиции известно, что вы поженились в ссылке и что я не знакома с твоей женой. Но я стара, чтобы предпринимать одной такое путешествие. А кто же должен представить мне мою невестку? Конечно, ее муж, ты, Володюшка. Это — мое материнское право, и мне в этом отказать не могут.

Владимир Ильич без слов обнял мать.

Мария Александровна едет в Петербург и, к величайшей радости и удивлению своих детей, добивается для

Владимира Ильича разрешения сопровождать в поездке мать. Вместе с ними едет и Анна Ильинична.

Семья Ульяновых работала как единый коллектив, спаянный любовью и дружбой, большим доверием, высокой целью.

Самую трудную, невидную, черновую, лишенную всякого внешнего блеска работу вели все члены семьи Ульяновых, всеми силами поддерживая, помогая Владимиру Ильичу в его великом деле, и никогда между ними не возникало не только идейных разногласий, но и простых размолвок.

После отъезда Владимира Ильича, а затем и Анны Ильиничны за границу Мария Ильинична осенью 1900 года включается в работу московской искровской организации, выполняет многочисленные поручения Владимира Ильича по сбору информации, связи с товарищами, пересылке литературы, получению и распространению газеты «Искра».

Почти в каждом письме Владимир Ильич подтверждал получение от Марии Ильиничны какой-то важной корреспонденции и с благодарностью подчеркивал: «...очень желал бы почаще получать такие подарки».

1 марта 1901 года Мария Ильинична и Марк Тимофеевич были арестованы по делу московской организации РСДРП, и оба заключены в одиночные камеры.

Какой сыновней нежностью дышат письма Владимира Ильича к матери, оставшейся в одиночестве! Он оберегает старшую сестру, которая тяжело переживала участь мужа, и сестры, и матери. Пишет письма в тюрьму Марии Ильиничне и Марку Тимофеевичу, старается ободрить их, дает советы, как организовать правильный режим в тюрьме.

В октябре 1901 года оба были освобождены из тюрьмы и Мария Ильинична выслана под гласный надзор полиции в Самару.

Но и в этих условиях Мария Ильинична не прекращает работы. Организует распространение «Искры» по приволжским городам и деревням, работает в Бюро русской организации «Искры» и по-прежнему снабжает Владимира Ильича необходимой информацией, литературой.

Анна Ильинична после двухлетней работы в газете приезжает в Томск, к мужу, где включается в работу местных искровцев.

После II съезда партии Мария Ильинична переезжает в

Киев для работы в комитете. Туда же приезжает Дмитрий Ильич в качестве агента большевистского центра и его жена Антонина Ивановна. Для укрепления большевистского ядра киевской партийной организации, где засели меньшевики, в Киев направляется и Анна Ильинична.

А там, где дети, там и мать.

Энергичная работа большевиков по реализации решений II съезда партии была нарушена массовыми арестами. В ночь с 1 на 2 января 1904 года в Киеве было произведено шестьсот обысков, арестовано сто шестьдесят семь человек.

Нагрянула полиция и на квартиру по Лабораторной улице, где жили Анна Ильинична, Мария Ильинична и их мать. В квартире была перевернута вся мебель, выдвинуты все ящики из шахматного столика, полицейские опрокинули его, но столик надежно сохранил запрятанные в его тайнике документы партийного съезда, переписку с Владимиром Ильичем, спас сестер от каторги.

Обеих дочерей увели. Мария Александровна на рассвете пошла к Дмитрию Ильичу, чтобы предупредить его об аресте сестер, но уже возле дверей квартиры увидела обрывки бумаг — следы обыска, а на двери — сургучную печать. Дмитрий Ильич с женой тоже были арестованы.

Мать остается одна в чужом, незнакомом городе. Но сила духа не изменяет ей. Садится и пишет прошение, пишет, как принято тогда было писать: «Милостивый государь, честь имею покорнейше просить...» Просит начальника киевского жандармского управления освободить дочерей Анну и Марию ей на поруки под денежный залог, «на который представлю все сбережения, которые имеются в семье нашей».

В этой просьбе матери отказывают и вместо еженедельного свидания дают одно свидание в месяц.

О том, как проходили эти свидания и чего они стоили матери, видно из прошения Анны Ильиничны начальнику киевского губернского жандармского управления.

«...свидания за решеткой для нее (М. А. Ульяновой.— *Ред.*) невозможны,— пишет Анна Ильинична.— На этих свиданиях, где в тесном, сплошь набитом народом пространстве идет невообразимый гвалт и крик, могут еще понять и услышать друг друга молодые люди, с крепкими легкими и хорошим слухом; для человека же пожилого, со слабым здоровьем они являются одной мукой. Мать моя приходила несколько раз на эти свидания, но после них у нее начинались всегда грудные спазмы...»

Каждый день, увязав четыре узелка, четыре передачи детям, мать отправлялась в Лукьяновскую тюрьму. А по вечерам отбирала в библиотеке книги, предварительно прочитывала их, чтобы книга не навела тоску в тюрьме, а поддержала дух, и каждому старалась написать спокойное, ласковое письмо, напомнить, чтобы не засиживались, маршировали по камере и не забывали делать утреннюю зарядку.

Невозможно переоценить роль Марии Александровны в революционной работе ее детей, ее гражданский и материнский подвиг.

На склоне лет, в пятьдесят два года, мать пошла за своими детьми и тридцать лет шла их трудным путем. Сохранились далеко не все письма Марии Александровны своим детям. Они вызывают глубочайшее уважение к этой замечательной русской женщине, поражают тем, чего в них нет. В них нет ни слова упрека, ни следа паники, нет жалоб на свое недомогание и одиночество. Мария Александровна разделяла революционные взгляды своих детей, гордилась ими, всячески помогала им, умела улыбнуться и сказать бодрое слово даже в горький час.

Пятнадцать арестов своих детей пережила Мария Александровна, и каждый раз, когда полиция уводила кого-то из ее детей, открывалась и кровоточила старая рана — перед глазами матери вставал образ погибшего старшего сына, Александра.

Многочисленные прошения матери в департамент полиции, в жандармские управления, генерал-губернаторам, в министерство просвещения об освобождении детей из тюрьмы, о замене ссылки высылкой, о разрешении детям учиться в университете, о свиданиях в тюрьмах потрясают своей строгой лаконичностью, убедительностью, материнской отвагой и человеческим достоинством.

Летом 1904 года Анна и Мария освобождаются из тюрьмы и переезжают в поселок Саблино, под Петербургом, чтобы быть ближе к пролетарскому центру. Обе включаются в работу рабочих кружков, организуют «чистые» адреса для пересылки В. И. Лениным в Петербург большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий», рассылают их по другим городам России.

Осенью 1904 года Мария Ильинична уезжает в Женеву к Владимиру Ильичу. Ведет там большую переписку с большевистскими комитетами, изыскивает пути и средства для переправки в Россию нелегальных партийных изданий.

С началом революции 1905 года в России Мария Ильинична возвращается в Петербург, в августе месяце становится секретарем Петербургского комитета и ведает конспиративными квартирами партии. Владимир Ильич в связи с начавшейся за ним полицейской слежкой должен был перейти на нелегальное положение, поэтому надежные конспиративные квартиры для встреч с товарищами, для проведения совещаний играли большую роль.

В ноябре 1905 года Владимир Ильич взял руководство газетой «Новая жизнь» в свои руки, и Мария Ильинична участвует в ее работе. Кроме того, она возглавляет Василеостровский райком партии, создает пропагандистские кружки на Невской бумагопрядильной мануфактуре, выступает на рабочих митингах.

Анна Ильинична тем временем организует издательскую работу партии, работает членом редакции большевистской газеты «Вперед».

Революция потерпела поражение. Владимир Ильич в декабре 1907 года с риском для жизни уходит во вторую эмиграцию, чтобы вести борьбу за партию, готовить рабочий класс России к новому приступу революции.

Остальные члены семьи Ульяновых продолжают работу в России в новых условиях, организуют связь с Владимиром Ильичем, выполняют его задания.

С первых дней пребывания в эмиграции Владимир Ильич начал работать над философской книгой, задачей которой было теоретически доказать неизбежность наступления новой революции в России, научно обосновать политику партии рабочего класса.

Мария Ильинична и Анна Ильинична понимали огромное значение этой работы для судеб революции, и в этот период от сестер из России в Женеву непрерывным потоком идут книги, газеты, статистические сборники, протоколы Государственной думы, материалы, без которых была бы немыслима огромная теоретическая работа В. И. Ленина.

По выполнении всех этих заданий Мария Ильинична осенью 1908 года уезжает в Женеву, а затем в Париж готовиться к экзаменам на звание учительницы французского языка. Необходимо было обеспечить средства к существованию. Пребывание в Париже, у Владимира Ильича, было вместе с тем и большой школой партийной работы.

Анна Ильинична получает важное партийное задание: подыскать издательство для опубликования философской книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», обеспечить сохранность рукописи, корректорскую работу, ее распространение.

Владимир Ильич спешил с изданием этой книги. «...Мне *дьявольски* важно, чтобы книга вышла скорее. У меня связаны с ее выходом не только литературные, но и серьезные политические обязательства». В. И. Ленин имел в виду предстоящий бой с Богдановым и его сторонниками, который должен был произойти на совещании Большевистского центра в июне 1909 года.

Наконец издатель был найден. Но возникли затруднения с переправкой рукописи в Россию. Объемистая рукопись в четыреста страниц, написанная от руки, в единственном экземпляре, плод многолетних обдумываний, огромной исследовательской работы, результат многомесячного интенсивного труда по ее написанию, архиважное оружие с извратителями марксизма, должна быть переслана в период разгула черной реакции в Россию, там отпечатана и распространена. Нужен был надежный адрес. И Владимир Ильич останавливает свой выбор на Вячеславе Александровиче Левицком, том самом докторе, с которым он познакомился в Подольске в 1900 году и который с тех пор стал неизменным другом семьи Ульяновых.

Рукопись отправлена. Проходят дни... Подтверждения в получении нет. О том, как беспокоился за судьбу рукописи Владимир Ильич, свидетельствует его письмо Анне Ильиничне от 26 ноября 1908 года: «...я смертельно боюсь пропажи большущей, многомесячной работы... Если нет издателя, посылай прямо и тотчас Бончу: пусть только никому не дает читать и бережет сугубо от провала!»

И вот однажды вечером на квартиру к Анне Ильиничне, проживавшей тогда в Хамовниках, явился доктор Левицкий. Забинтовав на себе по всем правилам медицины рукопись, он шел пешком по темным улицам Москвы с осторожностью бомбиста, отказавшись ехать на трамвае из опасения, что какой-нибудь благовоспитанный молодой человек уступит ему место, а он боялся помять рукопись.

...И еще полгода больших волнений за сохранность рукописи, полгода кропотливого труда по выверке корректур, пересылке их Владимиру Ильичу на просмотр.

«Книгу твою читаю (прочла около половины),— пишет

Владимиру Ильичу Анна Ильинична.— Чем дальше, тем все интереснее... Многие нападки на философов, их тарабарщину и т. п., хотя крайне резки и тебе за них достанется наверное, но с твоей точки зрения последовательны и понятны».

Печатание книги совпало с тяжелой болезнью Марии Александровны. Волнения за жизнь матери, беспокойство за судьбу рукописи. Владимир Ильич телеграфом запрашивает о состоянии здоровья матери и в письме сестре пишет, что он может только удивляться, как могла сестра совмещать работу по корректуре с уходом за матерью и «...каким образом последние корректуры могли выходить при подобных условиях работы такими образцовыми». А тут еще забастовка французских почтовиков, и корректурные листы неделями не доставлялись автору, и «хорошее пролетарское дело здорово мешало в литературных наших делах»,— отмечает Владимир Ильич в письме Анне Ильиничне.

Но вот наконец работа по изданию книги закончена. Анна Ильинична едет в Саратов и снова включается в активную нелегальную партийную работу, которую по условиям конспирации на период издания книги она должна была временно оставить.

Мария Ильинична осенью 1909 года возвращается в Москву. Вместе с Виктором Павловичем Ногиным и другими большевиками восстанавливает большевистскую организацию, с тщательностью ювелира и искусством конспиратора протягивает нити связей московской организации к В. И. Ленину. Нужно подумать и о заработке. И на серых афишных тумбах на Тверской, на воротах дома Сувирова в Воротниковском переулке, где жила в начале 1910 года Мария Ильинична с матерью, появляются белые листки с объявлением о том, что «мадемуазель Ульянова недорого дает уроки французского языка, имеет диплом учительницы Сорбоннского университета».

В апреле 1910 года московская охранка предприняла операцию по ликвидации московской организации РСДРП. Марию Ильиничну безрезультатно обыскивают, устраивают в доме полицейскую засаду. Мария Ильинична с матерью три дня дежурят у окна своей комнаты, знаками предупреждают приходивших к ним товарищей о грозящей опасности. Засада охранке тоже ничего не дала, но Мария Ильинична вынуждена уехать в Финляндию, приняв предложение работать домашней учительницей, чтобы некоторое время «отсидеться».

В августе 1910 года она сопровождает мать в Стокгольм для свидания с Владимиром Ильичем, везет ему информацию о положении дел в партии.

Владимир Ильич жаждал свидания с матерью и специально для этой цели приехал в Стокгольм, чтобы не утомлять семидесятипятилетнюю мать длинной дорогой в Париж.

С какой любовью и вниманием готовился он к этой встрече! Выбрал квартиру близко к морю и к парку и чтобы было невысоко подниматься, позаботился и о пианино для матери.

В шведском Народном доме он читал реферат о положении дел в партии для местных русских социал-демократов большевиков. Мария Александровна никогда не слушала выступления своих детей. Не могла. Двадцать три года до этого слушала последнее слово на суде своего старшего сына, Александра. И не дослушала. Сердце разрывалось от боли. Ушла... А теперь не могла устоять против желания послушать своего второго сына. Но можно ли? Удобно ли ей присутствовать на партийном собрании, быть среди его единомышленников?

И то, что она была на этом собрании, показывает, что Владимир Ильич, как и все другие ее дети, считал мать своим верным и стойким единомышленником.

Здесь, на этом реферате, мать впервые встретилась с сыном — вождем грядущей революции, поняла его огромную силу воздействия, увидела, что он способен увлечь, повести за собою миллионы, поняла мудрость и глубокий смысл его слов, сказанных двадцать три года назад: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти».

Слушая Владимира Ильича, Мария Александровна вспоминала другую речь, своего старшего сына, и Мария Ильинична, поглядывая на мать, на ее изменившееся лицо, понимала, какие мысли волновали в этот момент их мать.

Свидание с Владимиром Ильичем воодушевило Марию Ильиничну на большие дела.

Явственно намечался подъем рабочего движения. Летом 1910 года в Московской губернии произошли экономические стачки. Пролетариат начал переходить в наступление. В связи со смертью председателя I Государственной думы либерала Муромцева в Петербурге произошли студенческие

манифестации, и уже настоящие уличные демонстрации были вызваны смертью Л. Н. Толстого, в которых принимали участие помимо студентов и рабочие.

Приходит восемнадцатый номер «Социал-демократа» с тремя статьями В. И. Ленина. Мария Ильинична жадно вникает в их смысл.

Владимир Ильич оценивает манифестации по поводу смерти Муромцева как «выражение *протеста* против самодержавия», а не как дань почитания заслуг покойного.

Владимир Ильич в заключение статьи пишет: «Фарисеи буржуазии любят изречение: de mortuis aut bene aut nihil (о мертвых либо молчать, либо говорить хорошее). Пролетариату нужна *правда* и о живых политических деятелях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть. Говорить условную ложь о Муромцеве — значит вредить делу пролетариата и делу демократии, развращать сознание масс».

«Не начало ли переворота?» — озаглавил В. И. Ленин свою вторую статью по поводу газетных сообщений о студенческих сходках, манифестациях с протестом против смертной казни, с речами против правительства.

В статье «Л. Н. Толстой» Марию Ильиничну зажигают ленинские слова о том, что российский пролетариат научит массы «сплачиваться в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком».

Мария Ильинична рвется к работе, но она понимает, что дальше оставаться в Москве невозможно: охранка обставила ее тучей шпиков. В конце 1910 года Мария Ильинична вместе с матерью переезжает в Саратов, где жили тогда Анна Ильинична и Марк Тимофеевич.

В Саратове она собирает разбитые полицией силы большевистской организации, учит товарищей ленинскому искусству сочетать нелегальные формы работы с легальными, учит конспирации революционера. Мария Ильинична встает во главе саратовских большевиков, укрепляет их связи с рабочими, умело в течение двух лет оберегает организацию от провала.

Анна Ильинична деятельно помогает младшей сестре. Работает в демократической «Приволжской газете» и входит в большевистское ядро при газете. Но в организацию

проникает провокатор, и в мае 1912 года полиция арестовывает обеих сестер. Марк Тимофеевич случайно избежал ареста, выехав к брату в Сызрань.

Вот как описывает Мария Александровна в письме к брату Марка Тимофеевича картину этого ареста:

«...В ночь с 7 на 8 мая нагрянула к нам полиция, предъявила бумагу из охранного отделения с требованием арестовать Марка, Аню и Марусю, даже если ничего предосудительного найдено не будет... У Маруси нашли один номер газеты «Звезда». Нагрянули 15 человек, обыскивали с 12 часов до 6 утра, перерыли все, снимали чехлы с мебели, развинчивали печки, искали на кухне, на чердаке. Аню забрали. Предупредите Марка...»

Семидесятисемилетняя мать, оставшись снова одна, прежде всего заботится о безопасности члена семьи, которому угрожает арест.

Шахматный столик и на этот раз сохранил партийные документы.

Владимир Ильич беспокоится о матери, оставшейся в одиночестве. «Пожалуйста, черкни мне несколько слов, моя дорогая, чтобы знать, здорова ли ты и как себя чувствуешь,— есть ли какие новости; есть ли знакомые у тебя в Саратове. Может быть, при более частой переписке ты будешь чувствовать себя все же несколько менее тоскливо»,— пишет он.

Анну Ильиничну за недостатком улик вскоре освобождают. Марию Ильиничну, в которой охранка распознала руководителя саратовских большевиков, держат в тюрьме.

Старшая сестра понимает, как мучительно переносит Мария Ильинична тюремное заключение. В одном из писем Анна Ильинична пишет: «По сравнению с тобой я прямо миллиардерша какая-то относительно воздуха. Да нет, еще много богаче». Мария Александровна сообщает дочери о домашних новостях, о прогулке: «Набрали по большому букету полевых цветов — хотелось бы мне очень отвезти свой тебе, но, к сожалению, там не берут цветов». И от этих писем раздвигаются стены камеры, становится легче дышать, на тюремном столе незримо присутствует букет полевых цветов, собранный руками матери.

Марию Ильиничну ссылают в Вологду на три года. Вскоре к ней переезжает мать, чтобы облегчить судьбу дочери.

Ссылка для Марии Ильиничны означала новое место работы. Сестра Ленина сплачивает вокруг себя вологодских

большевиков, лично руководит кружком рабочих-железнодорожников, устраивает сборы денег для большевистской печати, через старшую сестру налаживает получение «Правды», держит постоянную связь с Владимиром Ильичем.

Анна Ильинична работает в «Правде». В 1914 году по решению Центрального Комитета участвует в создании журнала «Работница», становится первым его редактором. Перед выходом первого номера журнала была арестована почти вся редакция. Анна Ильинична случайно избежала ареста. Оставшись одна, она организует выход журнала к 8 марта 1914 года; находит типографию, издателей, которые согласились нести уголовную ответственность, сплотила вокруг журнала актив работниц и старательно его воспитывала. Мария Ильинична поздравила Анну Ильиничну с выходом младшей сестры «Правды» — журнала «Работница». Анна Ильинична была также сотрудником легального большевистского журнала «Просвещение».

Владимир Ильич нежно любил сестер, заботился о них, ценил их большую помощь, но в вопросах принципиальных спрашивал с них, как и со всех других товарищей.

Так, в письме к Анне Ильиничне от 11 февраля 1914 года Владимир Ильич пишет: «Слышал, что вы там что-то противоликвидаторское вычеркнули из статьи о деле X и злился страшно за это неуместное и вредное примиренчество: помогаете только ликвидаторской гнусной клевете, задерживаете неизбежный процесс выкидывания мерзавцев а ля Галина, Мартов, Дан и К^0 из рабочего движения. Не задержите, а только себя осрамите. Меня подлый шантаж Мартова и К^0 в деле X бесит страшно: ну, и раздавим же мы мало-помалу эту банду шантажистов».

Но это был, пожалуй, единственный случай такой сердитой отповеди В. И. Ленина. Анна Ильинична, Мария Ильинична и другие члены семьи были всегда и во всем настоящими ленинцами.

Летом, после начала первой мировой войны, когда были закрыты журналы «Работница» и «Просвещение», Анна Ильинична поехала навестить младшую сестру и мать в Вологде.

По вечерам собирались тесным кружком, слушали игру на пианино Марии Александровны.

Однажды в августовский вечер мелодию «Лунной сонаты» прервал грубый стук в дверь. Как хорошо был знаком этот стук в ночи! Он не предвещал ничего хорошего.

Свои, товарищи стучали тихо, условно. «Полиция»,— поняли сестры и поспешили в другую комнату, чтобы почистить стол — уничтожить важнейшие документы. Дверь полицейским открыла Мария Александровна.

— Нам Марию Ульянову,— потребовал пристав.

— Это я,— спокойно ответила Мария Александровна.

Пристав, взглянув на старушку с белой головой, потребовал предъявить паспорт и убедился, что перед ним действительно Мария Ульянова.

— Возиться нам с вами некогда,— заявил пристав,— покажите, где прячете нелегальщину.

— Нет у меня никакой нелегальной литературы,— твердо сказала Мария Александровна.

— Давайте большевистскую газету «Правду».

— Я такой газеты не выписываю.

Мария Александровна, сколько могла, держала пристава в заблуждении, стараясь выиграть время, дать возможность дочерям уничтожить документы.

Пристав, потеряв терпение, предложил ей следовать в тюрьму и предъявил предписание вологодского генерал-губернатора на арест.

Анна Ильинична вышла из комнаты.

— Разве вы не видите, что перед вами глубокая старушка? — гневно спросила она полицейских.

Пристав снова сверил паспорт с предписанием на арест. А пока все выяснялось, Мария Ильинична закончила чистку своего стола.

Всю литературу, разумеется, уничтожить не удалось, и Мария Ильинична снова заключается на месяц в вологодскую тюрьму...

По окончании срока ссылки Мария Ильинична переезжает к сестре в Петербург. Анна Ильинична работала тогда членом Северного областного ЦК РСДРП. Вместе с сестрой они ведут сложную в условиях военного времени работу по налаживанию связей социал-демократических организаций с заграничным Большевистским центром, распространяют ленинские тезисы о несправедливом, империалистическом характере начавшейся войны.

В июле 1916 года Анна Ильинична вместе с другими активными большевиками арестовывается и ссылается в Астраханскую губернию. Арестовали ее через несколько дней после смерти Марии Александровны, не дожившей года с небольшим до торжества дела, за которое боролся Влади-

мир Ильич Ленин, боролись все ее дети, ради которого она совершила свой жизненный подвиг.

Февральская революция освободила Анну Ильиничну из ссылки.

Партия большевиков вышла из подполья.

Центральный Комитет РСДРП на своем заседании 8 марта 1917 года кооптировал славных большевичек Марию Ильиничну Ульянову и Анну Ильиничну Ульянову-Елизарову в состав Бюро Центрального Комитета.

13 марта Бюро ЦК ввело Марию Ильиничну в состав редакции «Правды», которая с 5 марта стала выходить открыто как орган Центрального и Петербургского комитетов партии большевиков.

Ночью 2 апреля 1917 года сестры Ульяновы получают из шведского города Торнео историческую телеграмму:

«Приезжаем понедельник ночью 11. Сообщите «Правде».

Ульянов».

Владимир Ильич вернулся в Россию.

Вместе с Надеждой Константиновной Крупской он поселился на квартире Анны Ильиничны, где жила и Мария Ильинична.

Так же, как и на заре создания большевистской партии, и во время борьбы партии за социалистическую революцию, сестры Ульяновы все свои силы, умение и огромный партийный опыт отдавали делу революции, делу Ленина.

И в завоеваниях Октября, и в каждой нашей новой стройке есть вклад замечательных русских женщин — сестер и соратников Владимира Ильича Ленина Марии Ильиничны Ульяновой и Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой.

Николай Панов

ПОЛКОВОДЕЦ

На митингах в Иванове и Шуе
Не в такт ли этому большому сердцу
Вокруг гремели тысячи сердец?
И в одиночках каторжных централов,
В гнилых застенках
Пересыльных тюрем,
Среди фронтов, разорванных и смятых,
Как пламя, просверкала эта жизнь...

Когда товарищ Арсений приехал в Стокгольм, его разговор с Лениным состоялся не сразу.

Разумеется, он давно мечтал о возможности такого разговора. Еще в те, уже кажущиеся такими далекими дни, когда девятнадцатилетним юношей, с золотой медалью окончив гимназию в Верном, приехал из Средней Азии в Петербург поступать на экономическое отделение Политехнического института.

«Ты спрашиваешь: почему на экономическое отделение? — писал он тогда брату, избравшему профессией медицину по примеру отца, всю жизнь проработавшему фельдшером в Семиречье.— Милый Костя, экономика — это основа всего! Мы будем с тобой лечить больного, а через год или месяц он погибнет от голода, от грязи, от холода в своем убогом жилье! Лечить надо глубже — изменить всю жизнь, чтобы не было бедности и лишений ни у кого, никогда... Я не ищу в жизни легкого. Я не хочу сказать себе на склоне лет: «Вот и прожита жизнь, а к чему? Что стало лучше в мире в результате моей жизни? Ничего? Или почти ничего?»... Нет, глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в действительность, слиться с самым передовым классом современного общества — с ра-

бочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в корне переделать все — такова цель моей жизни...»

Как давно писались эти строки! Почти два года назад — осенью девятьсот четвертого года. И вот Михаил Фрунзе (он же Трифоныч, он же Арсений, Арсеньев) — не только студент Политехнического института. Он — гонимый правительством агитатор-подпольщик, раненный на Дворцовой площади в трагический день Кровавого воскресенья... Он — один из руководителей знаменитой всеобщей забастовки иваново-вознесенских рабочих. Он — командир рабочей дружины, три месяца назад ведшей баррикадные бои в охваченной пожарами, восставшей против царского правительства Москве.

И вот Стокгольм — город-порт на берегу Балтийского моря, весь пересеченный каналами, закованными в тесаный камень. В зелени парков, в самодовольном сиянии магазинных роскошных витрин рядом с хмурыми окраинами нищих рабочих жилищ. И по людным улицам шведской столицы идет русоволосый сероглазый юноша в новом костюме, специально приобретенном для этой поездки,— один из делегатов IV (Объединительного) съезда РСДРП.

Он входит в подъезд четырехэтажного, увенчанного готическими башенками и шпилями, опоясанного балкончиками здания на площади Остерьмальмдорг, проходит в уставленный рядами венских стульев зал. Зал стокгольмского Народного дома кажется с первого взгляда почти пустым: он рассчитан на многолюдные собрания, а собралось здесь всего сто с лишним делегатов из таинственной, далекой России. Но какие страсти бушуют в этом почти пустом зале!

На невысокой трибуне — два кумира недавней юности Арсения, ставшие в последние годы непримиримыми идейными врагами. Глава меньшевистской фракции Плеханов — как всегда сдержанно-вежливый, чуть ироничный, затянутый в поношенный строгий сюртук. И рядом с ним Ленин — властелин дум большевистской фракции съезда. И случается так, что товарищ Арсений во время первого же голосования по вопросу, нужно ли утверждать новую аграрную программу или достаточно ограничиться тактической резолюцией, подает свой голос против голоса Ленина!

Это происходит перед голосованием обсуждавшихся на съезде проектов аграрной программы: проекта меньшевиков Джона (Маслова), Кострова, Плеханова и Дана и проекта Ленина, поддержанного большевиками. «Съезд был

меньшевистским,— скажет потом Ленин в своем «Докладе об Объединительном съезде РСДРП (Письме к петербургским рабочим)».— Меньшевики имели прочное и обеспеченное преобладание, позволявшее даже им заранее сговариваться и предрешать таким образом постановления съезда».

Каким укоризненным взглядом обжег Арсения председательствовавший на этом заседании большелобый, стремительный в движениях человек, проголосовавший за необходимость выбора и утверждения той или иной программы! Скоро, в дальнейшем ходе прений, в спорах, продолжавшихся и вне стен Народного дома, молодой большевик понял: разумеется, прав был Ленин, утверждение программы необходимо, чтобы в дискуссиях и поправках до конца выяснить и уточнить позиции сторон.

И вот новое выступление Арсения на Объединительном съезде — в виде подписи под коллективным заявлением нескольких делегатов. Делегат Артамонов, Артем (после победы Октябрьской революции он станет одним из виднейших деятелей Советского правительства) вносит поправку в меньшевистский проект резолюции. Неопределенное понятие «демократическое государство» предлагается заменить словами «демократическая республика, обеспечивающая полностью самодержавие народа».

Под этой поправкой стоит и подпись товарища Арсения, боевика-делегата иваново-вознесенских рабочих, одного из самых молодых участников съезда. И опять сероглазый, горящий возбуждением юноша в новом, ладно сидящем на его мускулистой фигуре костюме ловит на себе взгляд Ленина — теперь это одобрительный, ласковый взгляд. И хотя предложение отклоняется тридцатью восемью голосами против тридцати пяти, делегат Фрунзе видит, что на этот раз не зря поставил свою подпись.

— Товарищ Арсений,— слышит он вскоре, в перерыве между заседаниями, знакомый уже ему чуть картавый голос.— Вы хромаете? Ранены на баррикадах?

— Нет, Владимир Ильич...— Вдруг вспомнил, что действительно сегодня утром торопился на заседание, неловко ступил, и ногу пронизала острая боль...

Знает ли Владимир Ильич об избиении, которому подвергли молодого большевика осенью прошлого, девятьсот пятого года в пригородном иваново-вознесенском лесу? Там, в сторожке, печатал Арсений вместе с двумя товарищами написанные им листовки против вылазок черносотенцев, столь

участвившихся в те дни. Верховые стражники задержали его по дороге в город, нашли листовки. Заарканив пленника, казачий урядник рысью пустил коня. А при въезде в город приказал измученному Фрунзе влезть на изгородь, чтобы якобы подсадить на лошадь, но пустил лошадь в галоп. Заарканенный Арсений грохнулся на землю, очнулся с изуродованным коленом уже в полицейском участке. Нет, не об этом хотел говорить с Лениным Михаил Фрунзе...



Михаил Васильевич
ФРУНЗЕ
(1885—1925)

— Но ведь вы были участником баррикадных боев в Москве? И очень активным участником? — полуспросил-полуконстатировал Ленин.

— Да, Ивановский комитет большевиков решил послать в Москву отряд боевой дружины, как только у нас узнали о начале баррикадных боев. В отряд входили боевики из Иванова и Шуи.

— И командиром отряда назначили вас?

— Да, меня удостоили этой чести.

Он смотрел на Владимира Ильича ясными, широко расставленными глазами. Ленин присел на подоконник, пододвинулся, будто приглашая Арсения сесть рядом.

— А это очень интересно... Героизм вышел на площадь; истинными героями нашего времени стали те революционеры, которые идут во главе народной массы, восстающей против своих угнетателей. Не поделитесь ли мыслями, которые возникли у вас в результате опыта этих боев?

— У дружинников, Владимир Ильич, да и у руководителей рабочих дружин мало было военного опыта, знаний. Было много энтузиазма, но не хватало умения вести бой. Конечно, царские офицеры в этом отношении превосходили нас, умели правильнее тактически располагать силы.

— А из этого вывод? — Ленин потер руки, ответил сам себе: — Социал-демократическая печать давно уже указывала на то, что беспощадное истребление гражданских и военных начальников есть наш долг во время восстания... Но кроме того, большевикам нужно самим знать военное дело, иметь своих офицеров, которые военными знаниями превосходили бы слуг царизма. Революции нужны свои

офицеры. Вот вы, руководитель боевой дружины, наверное, учились стрелять и стреляете неплохо?

— Стараюсь бить без промаха,— улыбнулся Арсений.

— Это хорошо. Но недостаточно для командира. Нужно учиться руководить другими, принимать тактические решения, овладевать умением побеждать врага. Но военная тактика зависит от уровня военной техники — эту истину разжевал и положил в рот марксистам еще Энгельс. Расскажите подробнее об участии в баррикадных боях.

— Мы, Владимир Ильич, почти что с поезда вышли сразу на баррикады. До Москвы не доехали: вы же знаете, поезда тогда ходили только по нарядам забастовочных комитетов. Сошли в Перове. Но защищать баррикады было трудно, когда по ним вели огонь из пушек и пробивали пулеметными пулями насквозь.— Арсений, волнуясь, хмурился, запали и потемнели глаза.

Ленин коротко кивнул, слушал, склонившись вперед, весь — внимание.

— Да, это еще один великий урок, который дала вам Москва. Теперь уже нельзя действовать против артиллерии толпой или защищать баррикады с револьверами...

И много лет спустя напомнил нам товарищ Арсений в своем докладе «Ленин и Красная Армия» еще одну мысль Владимира Ильича, высказанную впервые, может быть, как раз в той, стокгольмской беседе:

«Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое и забытое оппортунистами положение Маркса, писавшего, что восстание есть искусство и что главное правило этого искусства — отчаянно-смелое, бесповоротно-решительное н а с т у п л е н и е. Мы недостаточно усвоили себе эту истину. Мы недостаточно учились сами и учили массы этому искусству, этому правилу наступления во что бы то ни стало...»

Закончился Стокгольмский съезд. Арсений возвращается на родину, выступает с докладами, ведет пропаганду в рабочих районах. Он распространяет среди слушателей написанную им самим прокламацию: «Буря грянет скоро! В народных низах идет беспрерывная работа накопления революционных сил. Новый взрыв приближается. Решительный бой неизбежен».

И он каждодневно подготовляет этот решительный бой, это наступление во что бы то ни стало. Большевики решили принять участие в выборах II Государственной думы — местный рабочий большевик Н. А. Жиделев выдвинут кандида-

том в члены Думы по рабочей курии Владимирской губернии.

За кандидата нужно вести предвыборную агитацию. Но типографиям запрещено правительством принимать заказы на листовки, призывающие голосовать за большевистских кандидатов. А подпольные типографии в Иваново-Вознесенске и Шуе к тому времени провалились.

И вот вооруженные боевики во главе с Арсением временно захватывают частную типографию на центральной площади Шуи. Под охраной револьверов рабочих-боевиков там отпечатаны две тысячи большевистских избирательных листовок. Жиделев избирается в Государственную думу.

Арсений не устает действовать, выполняя партийные задания. На центральной площади Шуи он проводит большой рабочий митинг — против повышения цен на хлеб. А в Петербурге, в Политехническом институте, студент Михаил Фрунзе продолжает своевременно являться на экзаменационные сессии, сдает один предмет за другим... И затем снова появляется в Шуе и в Иваново-Вознесенске — неуловимый, таинственный, завоевывающий все большую народную любовь.

Но сыщики в конце концов выследили его. Когда он проводил собрание пропагандистов на квартире врача сельской больницы, его подстерег во дворе урядник коннополицейской стражи. Завязалась перестрелка. В сумерках зимнего дня Арсению с товарищами удалось отбиться, спастись.

Надвигался очередной, V Лондонский партийный съезд. С нарастающим нетерпением думал Арсений о поездке за рубеж, о возможности новой встречи с Лениным: ведь партконференция ивановских и шуйских большевиков снова избрала его своим делегатом. Но накануне отъезда из Шуи в Иваново-Вознесенск, а затем за границу дом, в котором он ночевал, оказался оцеплен полицией, молодой боевик и агитатор был схвачен, зверски избит до потери сознания.

В монографиях — жизнеописаниях товарища Фрунзе опубликована телеграмма, посланная тогда уездным исправником владимирскому губернатору:

«В Шуе арестован окружной агитатор Арсений. Все фабрики встали, требуют освобождения. Ожидаю столкновений. Необходимо немедленное подкрепление в составе не менее двух рот...»

Толпа за толпой шли рабочие и работницы забастовавших фабрик на площадь, к воротам городской тюрьмы.

Перед тюрьмой были построены полицейские, солдаты, казаки. Они, смятенные, оробевшие, ждали сигнала «Огонь!», когда начальник тюрьмы выбежал к народу с запиской в руке. Прочел ее вслух:

«Товарищи рабочие, я понимаю вас, что вы хотите меня освободить, но учтите одно: если вы пустите в ход оружие, все равно вам не удастся меня освободить, так как жандармерия покончит со мной. Вы же понесете много жертв. Я вам советую поберечь свою энергию для дальнейших боев с капиталом, а теперь разойдитесь».

Так, по рассказу одного из биографов Фрунзе, написал полумертвый от побоев Арсений, лежа на каменном тюремном полу...

Его перевезли в зловещей памяти Владимирский каторжный централ. Месяц за месяцем тянулось следствие, Фрунзе-Арсений томился в темной, сырой одиночке. Ему не позволяли ни писать, ни читать, но, объявив голодовку, он добился высшего для себя в тех условиях блага — получения книг по составленному им списку: учебники французского и английского языка, исторические материалы о походах Чингис-Хана, Тамерлана, Суворова, Кутузова, Наполеона, учебники политической экономии и права.

Арсений знал, что по предъявленному ему обвинению (покушение на убийство полицейского) ему угрожает смертная казнь, но дни его проходили в неустанной работе. С раннего утра гимнастика, потом уроки иностранных языков, потом чтение. Он не только изучал полученные путем голодовки книги. Он воскрешал в памяти страница за страницей труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса, В. И. Ленина. И, как рассказывают знавшие его в те дни люди, цитировал вслух — афоризм за афоризмом — суворовскую «Науку побеждать».

Вот шагает по темной, осклизлой одиночке исхудавший, обросший русой бородой юноша — тот самый, кто всего год с лишним тому назад спешил по стокгольмским улицам, мечтая встретить Владимира Ильича. На нем засаленная арестантская одежда, но как уверенно, почти весело смотрит он в лицо вызывающему его на допрос прокурору, с каким неуемным задором затягивает, вернувшись в камеру, свою любимую «Варшавянку»:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами...

В январе 1909 года Михаила Фрунзе и его боевого соратника и друга Павла Гусева военный суд приговорил к смертной казни через повешение. Их заковали в кандалы и водворили в камеру смертников. «Только не подавать прошение о помиловании на имя царя!» — предупредил Михаил хлопотавшую за него сестру. Два с половиной месяца ежечасного ожидания вызова для казни на тюремный двор — и наконец извещение, что дело назначено к пересмотру. И новое заседание суда — почти через год.

В феврале 1910 года Фрунзе приговорен к долгим годам каторги.

Уже находясь в каторжной тюрьме, изучает он новую специальность — столярное дело, в частности вынужден делать гробы для товарищей по заключению, вымирающих от цинги и туберкулеза. И в то же время его заставляют выполнять непосильно тяжелый труд: таскать с места на место восьмипудовые свертки вырабатываемого в тюрьме пенькового каната.

Но по-прежнему не сломлен дух Арсения. Трудно представить себе, что именно в эти месяцы огромных моральных и физических испытаний молодой ленинец задумывает невероятное по смелости предприятие — бегство из каторжной тюрьмы с помощью подкопа. Пять осужденных на каторгу матросов — участников свеаборгского восстания — становятся его соучастниками в этом деле... Велся подкоп под тюремным двором к наружной стене. Матросы вынимали небывалой твердости грунт, один за другим спускаясь с пятого этажа по вентиляционной трубе. Но в последний момент дерзкий план провалился...

Второй военный суд. И снова смертный приговор, опять отмененный под давлением общественного мнения. Смертная казнь заменена для Фрунзе десятью годами каторги — совокупно по обоим процессам.

На каторге тюремщики придумали для несгибаемого узника новую пытку — переноску семипудовых кип полотна со двора на верхний этаж и обратно. Подвернулась поврежденная некогда в колене нога — Михаил Васильевич рухнул под тяжестью непосильного груза. А очнувшись от обморока, опять стал думать о возможности побега. Он почти претворил его в жизнь, этот новый побег, и снова в последние часы счастье изменило ему. Почти восемь лет пробыл Арсений-Фрунзе на каторге, в кандалах, пока не дождался приговора — на вечное поселение, в Сибирь...

Но о ком же в конце концов идет здесь рассказ? — может спросить читатель. Неужели и вправду о Михаиле Васильевиче Фрунзе, о военачальнике и гениальном стратеге, о советском полководце, разбившем отборные колчаковские армии, о полководце, который очистил от интервентов Туркестанский край, о герое Перекопа, сбросившем Врангеля в Черное море? Как мог человек, столько перенесший в годы царского режима, потерявший здоровье на каторге, человек без специального военного образования проделать столь блистательный воинский путь?

Да, это тот самый Фрунзе! Ученик и соратник Ленина, закаленный на каторге и в ссылке, претворивший в жизнь марксистскую науку о войне. Уже на поселении, в сибирской деревне, организовал он, как рассказывают очевидцы, кружок по изучению военного дела. Наладив в селе Манзурке столярную мастерскую, в стенах этой мастерской вел Михаил Васильевич занятия по военному делу — разбирал сводки с фронтов первой мировой войны, анализировал знаменитые сражения прошлых войн, нанося схемы оперативных планов на свежевыструганные доски...

— Да ты просто генерал, Михаил! — шутливо говорили слушатели этих занятий.

— Нет, я не генерал,— строго возражал товарищ Арсений.— Генералом от революции называли Энгельса, так тот был действительно знатоком военного дела, а я просто любитель...

А потом бегство из Сибири в Центральную Россию — измученную, обескровленную длящейся уже два года империалистической бойней. И не товарищ Арсений, а вольноопределяющийся Михаил Александрович Михайлов появился в Белоруссии, на Западном фронте, где томилась в окопах полуторамиллионная солдатская масса. Старые друзья большевика, бежавшего из ссылки, сумели раздобыть для него паспорт.

Военный статистик Михаил Михайлов, подтянутый, приветливо-добродушный, не по обычному разговорчивый с нижними чинами, ведет смелую партийную агитацию на линии фронта, а попутно пристально знакомится с жизнью штабов и тыловых частей. Это, по его собственным словам, очень помогло ему в будущей военной работе.

А затем Февральская революция, первый восторг свободных митингов и демонстраций, избрание товарища Михайлова членом Минского исполкома рабочих и солдатских де-

путатов, назначение начальником минской городской милиции, избрание членом фронтового комитета.

Как представитель белорусского крестьянства, едет он в полный брожения Петроград — на I Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Здесь, после одиннадцатилетнего перерыва, встречается он с Лениным, как председатель предоставляет своему великому учителю внеочередное слово на съезде...

В январе девятнадцатого года Михаил Фрунзе вступил в командование 4-й армией, сдерживавшей напор Колчака.

Под руководством Фрунзе сражается и побеждает легендарный Чапаев. Войска нового командарма наносят Колчаку удар за ударом. Полководец разрабатывает блестящие оперативные планы, и он же в нужный момент с винтовкой в руках появляется среди заколебавшихся красноармейцев, увлекая их в бой.

Это он в труднейшие дни борьбы с белыми армиями, в июле 1919 года, был назначен командующим всем Восточным фронтом. Незадолго перед этим Ленин телеграфировал Реввоенсовету фронта: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной...»

И войска под водительством Фрунзе завоевали Урал до зимы. Еще ранее командуя Южной группой армий фронта, Фрунзе с блеском провел знаменитую Уфимскую операцию, которой навеки прославились Чапаевская дивизия и рабочий Иваново-Вознесенский полк.

А потом Туркестанский фронт, преследование опрокинутых белых армий, разгром басмачества, освобождение Хивы и Бухары...

Сергей Аркадьевич Сиротинский, бессменный адъютант товарища Фрунзе во всех его боевых походах, образно рассказал в своей книге «Путь Арсения», как состоялась перед туркестанским походом новая встреча Михаила Васильевича с Владимиром Ильичем.

Осенью 1919 года пришла в штаб Фрунзе телеграмма: «Если обстановка на фронте позволяет вам отлучиться, выезжайте ненадолго в Москву. Ленин». На следующий же день командующий Туркестанским фронтом выехал в Москву... А хмурым дождливым утром уже входил в ленинский кабинет в Кремле.

«Владимир Ильич сидел за столом, склонившись над бумагами. Он поднял голову, улыбнулся:

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Фрунзе,— сказал он, выходя из-за стола и обеими руками пожимая руку Фрунзе.— А ведь я больше помню вас как Арсения, как Михайлова, наконец.

Фрунзе стоял смущенный, взволнованный.

— А я сейчас иногда подписываюсь «Фрунзе-Михайлов»,— сказал он.

— Ну, что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста! За победителем можно и поухаживать. Вот сюда, здесь вам будет удобнее.— Владимир Ильич усадил Фрунзе в глубокое кожаное кресло, но сам не сел. Продолжая стоять рядом, он с улыбкой смотрел на Фрунзе.

— Первую нашу встречу в Стокгольме помните? Мы говорили о военной работе... Вы к ней отлично подготовились, преотлично,— с явным удовольствием проговорил Ленин...»

Да, он подготовился преотлично! Венец полководческого искусства Михаила Фрунзе — штурм Перекопа и Чонгара. Уже подходила к концу гражданская война. Только в Крыму под прикрытием морского флота интервентов, за явно неприступной линией обороны над илистым, «гнилым» Сивашом засели армии Врангеля.

«Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым»,— телеграфировал Ленин Фрунзе 16 октября 1920 года.

В это время барон Врангель, осматривая укрепления Крымского перешейка, говорил:

— Многое сделано, много еще нужно сделать, но Крым и ныне для врага неприступен.

«Начатые постройкой еще в период Добровольческой армии Деникина,— писал об этих укреплениях Михаил Васильевич Фрунзе,— позиции эти были с особенным вниманием и заботой усовершенствованы Врангелем. В сооружении их принимали участие как русские, так, по данным нашей разведки, и французские военные инженеры, использовавшие при постройках весь опыт империалистической войны. Бетонированные орудийные позиции, заграждения в несколько рядов, фланкирующие постройки и окопы, расположенные в тесной огневой связи,— все это в одной общей системе создало укрепленную полосу, недоступную, казалось бы, для атаки открытой силой».

И вот столкнулись ужасающая мощь передовой военной техники тех дней и героический натиск советских войск, направленный мастерством полководца и окрыленный ленин-

ским заветом: «Главное правило этого искусства — отчаянно-смелое, бесповоротно-решительное наступление». 12 ноября полководец телеграфировал Ленину и Центральному Комитету партии: «Свидетельствую о высочайшей доблести, проявленной геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнем на проволоку противника... Последнее гнездо российской контрреволюции разорено, и Крым вновь станет советским».

Председатель Совета труда и обороны В. Ульянов-Ленин ответил: «Беззаветной храбростью войск Южного фронта РСФСР освобождена от последнего оплота российской контрреволюции — их героическими усилиями освобожден Крым, сброшен в море Врангель и силы его окончательно рассеяны. Страна, наконец, может отдохнуть от навязанной ей белогвардейцами трехлетней войны...»

...В Центральном музее Советской Армии среди овеянных славой фронтовых алых знамен блестит чистым золотом оправа ножен почетного революционного оружия, которым был награжден за эту операцию Михаил Фрунзе. В металл впаян боевой орден Красного Знамени, с другой стороны оправы — гравированная надпись: «Народному герою Михаилу Васильевичу Фрунзе от ВЦИК РСФСР». А неподалеку вытянулась под стеклом потрепанная походная шинель народного героя, с матерчатыми ромбами на углах воротника. Здесь же его остроконечный суконный шлем, солдатский котелок, выщербленные ложка, вилка и нож, сопровождавшие полководца во всех воинских странствиях.

Вот несколько строк из «Личного листка» Михаила Васильевича Фрунзе, народного комиссара по военным и морским делам, заполненного им в последние годы жизни:

«Единый партийный билет № 828033.

Социальное положение — *интеллигент.*

Основное занятие до войны 1914 года — *был на каторге.*

Профессия — *военная.*

Партийная работа с 1917 года — *член ЦК РКП(б).* Лектор по вопросам военного и общеполитического характера.

На каких съездах участвовал — *на Стокгольмском (1906 г.).*

Военная подготовка — *практическая.*

Какие знает специальности — *столярное дело и военное.*

Сколько времени провел в тюрьме — *11 месяцев.* На каторге — *7 лет 9 месяцев.* В ссылке — *1 год*».

Заканчиваю строками стихов, эпиграфом из которых был начат этот очерк,— из стихов, написанных мной в 1925 году, в дни всенародной скорби о смерти великого полководца:

Над ним склонили красные знамена,
Его покрыли крепом и венками,
Над головами тысяч демонстрантов
Коричневые, жилистые руки
Красноармейский закачали гроб.
И медленные, траурные марши,
Вздымаясь над осенними домами,
Проводят тело Михаила Фрунзе
Туда, откуда нет пути назад.
Не яд наркоза стиснул это сердце.
Нет, это сердце билось слишком сильно,
Когда в громах боев у Перекопа
Он вел на штурм геройские полки.
И разве может отзвенеть бесследно
Безумный бег кавалерийских рейдов,
Когда при кликах: «Ленин и Коммуна!»
Сминались неприступные каре.
От этой жизни наши жизни целы,
От этой жизни в нас горит свобода!
И я вошел в шеренги проходящих
За гробом опочившего вождя.

Эпиграф и стихотворная концовка очерка «Полководец» написаны *Николаем Пановым.*

Арсений Рутько

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

Люди — зажженные свечи!
Даже в кромешной ночи
Ваши поступки и речи
Светят, как пламя свечи.

М. Алигер

Окна палаты, где умирал Николай Шагов, выходили в маленький, чахлый больничный сад. Яростно, во всю силу, жгло землю июньское солнце, чирикали воробьи на ветках не то бузины, не то сирени — он уже не мог рассмотреть. С Волги звали куда-то гудки пароходов...

Звали?.. Нет, в редкие минуты просветления, когда отступала болезнь и возвращалось то и дело гаснущее сознание, Николай Романович с горечью думал, что, пожалуй, никуда ему больше не придется ехать... «Отшагал ты, Шагов, свое по земле...»

Врач сидит у постели Шагова. Он задумчиво смотрит в полуоткрытое окно, где вместо одного из стекол — полопавшаяся фанерная дощечка с овальным фабричным клеймом: «Текстильная фабрика братьев Красильщиковых». Иногда Николаю хотелось попросить, чтобы убрали эту фанерку или перевели его в другую палату, но он стыдился просить о таком пустяке: коммунист, большевик, каторжанин — и вот на̀ тебе, ему мешает вырванная из прошлого доска...

Он, Николай Шагов, с той предельной отчетливостью, какая дается либо большой любовью, либо смертельной ненавистью, помнил этих упитанных братьев Красильщиковых, их накрахмаленные манишки и золотые цепочки через весь жилет, помнил сверкающий черным лаком фаэтон и их фабрику, где его отец проработал целых полвека и где он сам,

Николай, с мальчишеских лет — поначалу за восемь копеек в день! — простоял у ткацкого станка не один год. Да, хорошо знакомо было ему ненавистное клеймо...

Врач уходил, поблескивая очками в железной оправе, а Шагова снова окружали воспоминания... Толпились, толпились кругом, пока очередной приступ болезни не гасил их или не одевал в кошмарные, уродливые одежды...

Жизнь снова проходила мимо, до обидного коротенькая — не стукнуло и тридцати шести — и в то же время туго, «под завязку», как говорили в его родной Клинцовке, набитая событиями. Иногда Николаю страстно хотелось уйти, убежать из этой белой палаты, снова встать плечом к плечу со старыми товарищами, с Бадаевым и Самойловым, с Петровским и Мурановым. С ними он сидел в тюрьмах, был на каторге, сражался с наемниками Антанты, гасил страшные костры контрреволюционных и кулацких мятежей, заботился о хлебе для разрушенной войной страны, заготовлял дрова для школ и детдомов, спасал от смерти беспризорную детвору, которую осиротила война... И он несколько раз пытался уйти, убежать из больницы. Тогда его перевели в отдельную палату и стали на ночь запирать дверь на ключ...

Гас, тускнел за окнами еще один день, хрипло и бессильно звучали над городом гудки двух или трех восстановленных фабрик. Белый, с облупившейся краской подоконник окрашивался красным и становился похожим на залитую кровью булыжную мостовую, по которой Шагов полз, зажимая ладонями рану, в 1905 году...

Иногда забегал кто-нибудь из губкома и губисполкома — там теперь заправляли делами те, кого он знал по встречам на костромских мануфактурах Красильщиковых и Зотовых, по фабрике Бельгийского анонимного общества и по бумажной мануфактуре «Гратри, Жерар и Михина», по маевкам и сходкам в березовых рощах под Родниками, по боям в 1905-м... Приезжали земляки из Клинцовки, из Родников, привозили кто лепешку, кто пару печеных картошек, кто яблоко.

— Ешь, ешь, Миколай Романыч,— говорил кто-нибудь.— Да вставай ты скорее, чертяка, твоего еще много на земле осталось. Дел-то невпроворот!

Скрипели под уходящими шагами пересохшие половицы в коридоре, и Николай снова оставался один. И снова память перебирала дорогие воспоминания...

А когда ночью, сквозь полусон, полубред, он приоткрывал глаза — то ли виделось это, то ли на самом деле было,— склонялось над ним женское лицо — когда-то носила ему передачки в тюрьму и поехала за ним в Туруханский край. Давно-давно, когда были совсем молодыми и как-то ночью купались в озере в Родниках, он называл ее Лодочкой: хорошо плавала! Эта кличка осталась за ней на всю жизнь, хотя на людях он никогда не называл ее так...



Николай Романович
ШАГОВ
(1882—1918)

В томительных ночных видениях, которые вызывались его душевной болезнью, Николая больше всего донимали воспоминания о тюрьме,— может быть, только потому, что именно там, в одиночной камере дома предварительного заключения на Шпалерной улице Питера, еще до осуждения, его начали мучить головные боли, какие-то внезапно налетавшие кошмары: так, должно быть, отрыгалось ему нищее, голодное детство, работа по двенадцать и четырнадцать часов в день с ранних лет, подзатыльники и оплеухи мастеров, долгие дни голодовок и стачек...

Он принадлежал к тем, кто с самой колыбели знал горький вкус рабочего хлеба, кто затирал пылью и паутиной кровоточащие мозоли на еще детских ладошках, кто учился до скрипа стискивать зубы, когда становилось невмоготу, привыкал не плакать, когда засыпали землей родные гробы...

...Это было в 1914 году. Он ходил по камере, пока не подкашивались ноги, останавливался у окна — за решеткой, высоко вверху, голубел лоскуток неба... За окном шумела и шумела то едва различимым, то громким прибоем жизнь, трезвонили в церквах колокола — все служили и служили молебны! В полдень стреляла в Петропавловской крепости пушка. На улице часто топотали солдатские сапоги, и тогда врывалась в камеру песня:

Бельгия, Бельгия, жаль мне тебя,
Проклятые немцы разграбили тебя...

Шагов догадывался, что в эти дни черносотенные сборища без конца ходили и ходят по улицам с хоругвями и

портретами «обожаемого монарха», но он не знал, что несколько раз оголтелая толпа собиралась у «предварилки» и требовала выдать им «врагов отечества», «немецких и ленинских шпионов», «голодраных депутатов» IV Государственной думы... Да, как ни странно, это его, Николая Шагова, объявляли врагом народа, его, не нажившего за всю свою жизнь второй пары сапог и раздававшего всю свою думскую депутатскую получку голодающим детишкам, бастующим рабочим семьям.

А бастовало в те годы много! Рабочие Питера и Москвы, Варшавы и Лодзи, Одессы и Юзовки, Выборга и Кишинева массовыми стачками отвечали на смертные приговоры матросам с броненосца «Иоанн Златоуст», на приговор в Севастополе ста двадцати трем матросам — к смерти и каторге, на расстрел демонстрации в Баку и на расстрел митинга на Путиловском, на локаут семидесяти тысяч в том же Питере, на расстрел рабочей демонстрации в родной Шагову Костроме. И было до жжения в груди обидно, что именно сейчас, когда революционная буря приближалась, он, Николай Шагов, оказался за решеткой. Но он все же сделал свое дело!

Шагов останавливался, смотрел в зарешеченное ржавыми прутьями узенькое окно. После десяти последних лет, когда каждый день был днем боя, тюремное безделье непереносимо томило. Да, ведь с тех пор, как в 1905-м он вступил в партию, он ни на один день не уходил от видимых и невидимых баррикад.

Он еще не знал, чем закончится затеянное царским правительством судилище над депутатами-большевиками, но был готов ко всему, даже к смерти, хотя обидно было погибать, не дожив до революции. Он снова принимался шагать по камере... Интересно, сколько таких жизней, как его, прошло через этот каменный гроб, сколько здесь передумано последних дум?

Он рассматривал стены, всматривался в едва различимые буквы и цифры, выцарапанные кем-то в камне и потом старательно затертые тюремщиками. Может быть, как раз в этой камере семнадцать лет назад сидел Ильич, может быть, именно здесь ткач Петр Алексеев обдумывал свои знаменитые слова: «И ярмо деспотизма, окруженное солдатскими штыками, разлетится в прах»? Может, на этой вбетонированной в пол койке сидел Максим Горький?

Стены молчали, стены не выдавали трагедий, свидетелями которых их сделало время...

«А правильно ли я вел себя в Думе? — в сотый раз спрашивал себя Николай. И каждый раз отвечал: — Да, правильно! Если бы Ильич услышал, наверно, сказал бы: — Молодец, товарищ Николай!»

Они, депутаты-большевики, единственные во всей Думе осмелились подняться против захлестнувшего Россию и всю Европу шовинистического ажиотажа, против империалистической войны. Тогда еще не были написаны замечательные строки Маяковского: «Единственный человечий средь воя, средь визга голос подъемлю днесь! А там расстреливайте, вяжите к столбу»... Голос большевистской пятерки в IV Государственной думе и был в августе 1914 года единственным человеческим голосом, который пытались утопить в верноподданническом холуйском вое черносотенных демонстраций и молебнов о даровании победы православному воинству. Но... один за другим поднимались на думскую трибуну Петровский, Бадаев, Шагов, Самойлов, Муранов, и сказанное ими находило отклик в миллионах сердец за стенами Таврического дворца.

Нет, позиция Николая и его друзей, их отношение к войне были определены задолго до убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда, задолго до царского манифеста о начале войны. Вот что крикнул в лицо царской Думе Шагов почти за год до сараевского убийства:

— Господа члены Государственной думы, вы одну часть лишаете представительства в комиссии по военным и морским делам, но я спросил бы господ членов: что скажут они тогда, когда случится какая-нибудь военная авантюра? Скажут: «Пожалуйте сюда, теперь вы нам нужны, вставайте на передние позиции, подставляйтесь под пули, кладите свою жизнь за нас...»

Да, большинство «господ членов» Государственной думы прекрасно понимало, что в момент, когда в воздухе с каждым днем все ощутимее дыхание приближающейся военной катастрофы, большевиков никоим образом нельзя допускать к военным и морским делам: они будут против военных ассигнований, против того, чтобы сотни тысяч человеческих жизней были похоронены в чужой земле, против баснословных барышей, которыми с первого часа войны обернется для заводчиков и фабрикантов бессмысленно пролитая кровь.

Недаром же каждый раз враги пытались согнать Шагова с трибуны бесноватыми криками: «Вон! Вон!»; не зря же

хохотали и радовались: «Так и надо! Так и следует!», когда он, с трудом сдерживаясь, рассказывал, как засекают нагайками городовые и полицейские бастующих текстильщиков и металлистов, топчут лошадьми женщин, давят детей. Нужно было иметь величайшую выдержку, чтобы разговаривать с этими «господами».

Злобно пыхтел Гучков; сверкал побелевшими глазами Марков-второй; тучный Родзянко, нервничая, крутил на груди серебряную звезду и кричал:

— Депутат Шагов!.. Я лишаю вас слова!

Штатные и нештатные «гороховые пальто», филеры и шпики всех мастей, караулили большевиков в подъездах и кулуарах Думы, в подворотнях домов, на всех улицах и площадях. Так называемое «наружное наблюдение» не спускало глаз со своих «подопечных», боясь потерять те иудины гроши, которые швыряли ему власть имущие за его подлое ремесло.

Не зря же Шагов, объезжавший летом, в дни думских каникул, костромские фабрики и заводы, телеграфировал в «Правду»: «...за мной ездят конные, послал жалобу министру. Шагов».

На станции Горкино, куда Шагов приехал, чтобы выступить перед рабочими Юдинского завода, жившими в нечеловеческих условиях, его буквально полонила толпа полицейских и городовых.

— ...За мной следят агенты тайной полиции, а вас я прошу удалиться! Я защищаю интересы моих избирателей и буду защищать их и впредь! — заявил Шагов уряднику, начальнику этой безобразнейшей «охраны», продержавшей его взаперти шесть часов и не давшей ему выступить на рабочем собрании, где его с нетерпением ждали. А ведь он только недавно вернулся из Кракова, где встречался с Владимиром Ильичем, в памяти его горели ленинские слова, которые он обязан был передать рабочим.

А в Родниках, где начинал свой рабочий путь сам Шагов и откуда рабочие послали его в Думу, полицейские и шпики не давали ему свободно ступить и шагу. Даже когда он, вспомнив мальчишеские привычки или желая повидать кого-то из давних дружков, купался после знойного дня в Родниковском озере, дежурный полицейский, деланно позевывая, сидел и ждал его на берегу. Шагов иногда шутил, что он может быть совершенно спокоен за свою одежонку: не украдут, не унесут!

Именно в это время костромской губернатор писал в министерство внутренних дел:

«Мне отлично известно, что Шагов принадлежит к числу решительнейших революционеров и, следовательно, его задачи только и могут быть революционными».

И немного позже:

«Когда забастовки в течение нескольких дней охватывают целый район, когда рабочие по трафарету предъявляют одинаковые требования, совершенно очевидно, что рабочим движением руководит чья-то невидимая и пока недосягаемая рука. Овладев рабочим движением, рука эта в свое время направит пролетариат туда, куда она захочет, и, очевидно, к выполнению социальной революции».

Как показывает это любопытное послание, в канун первой мировой войны даже царские чиновники, славившиеся своей тупостью и нежеланием рассуждать «сверх дозволенного», начинали понимать неизбежность надвигающейся революции. А «невидимая и недосягаемая» для костромского губернатора рука продолжала направлять не только Шагова, но и тысячи рабочих, пославших большевиков в Думу. Какую слепую и страшную ярость вызывали на скамьях правых листочки, исписанные летящим ленинским почерком! По ним иногда читали свои думские речи и Шагов, и Бадаев, и Петровский.

— Все читает... Хорошо читает, не по складам! — издевательски кричали в зале.

· И Родзянко сердито звонил:

— Депутат Шагов! Напоминаю... Читать речи нельзя...

А Шагов, читая написанное Ильичем, думал прежде всего об интересах своих избирателей! Да и мог ли такой человек, как он, кровь от крови и плоть от плоти рабочего класса, забыть о нищей и голодной жизни товарищей, пославших его в царскую Думу воевать за человеческие условия жизни для них, за хлеб и крышу, за буквари для детишек, за то, чтобы рабочий после двенадцати, а то и четырнадцати часов каторжного труда не спал на охапке грязной соломы на полу барака, где зимой волосы и одежда примерзали к полу? Мог он позабыть об этом?

В одной из своих первых думских речей Николай сказал:

— Я сам рабочий, я сам испытал всю тяжесть жизни ткача. Я знаю, как ему нелегко живется в самое лучшее время, когда он работает. Заработная плата в текстильной промышленности ниже, чем где бы то ни было. И чтобы

как-нибудь прожить, ткач должен напрягать все свои силы. Только при такой интенсивной работе он может выработать те гроши, которые ему нужны для того, чтобы не терпеть голода. Положение работающих женщин еще тяжелее: жалованье их меньше, притеснений и издевательств еще больше. Как часто я был свидетелем женских слез, женских горестей и обид! Если необходим заработок в нормальное время, то выброшенный на улицу рабочий обрекается на голод. Ни о каких сбережениях не может быть и речи. Первый день безработицы является первым днем голодовки!

Он не обольщался, ткач Николай Шагов, он не думал, не надеялся, что его слова о горькой доле рабочего дойдут до ушей и сердец сидевших в Думе чиновников и генералов, попов и дворян, фабрикантов и заводчиков, всех этих милюковых и гучковых. Кто-кто, а уж он-то хорошо знал их повадки, он видел их и у себя, на костромской земле, он помнил кровь пятого года, помнил виселицы, «дело 193-х» и «дело 50-ти», он краем уха слыхал, о чем беседуют «господа депутаты» в перерывах между думскими заседаниями, видел, как они в думском буфете жрут осетрину и паюсную икру, вкуса которых никто в Клинцовке никогда не знал. Шагов понимал, что этим сытым бесполезно рассказывать о судьбе работниц, рожающих полумертвых, а то и мертвых детишек у ткацких станков, у прядильных машин. Нет, речь шла вовсе не о том, чтобы «набиться на жалость», не о выпрашивании милостыни у разъевшихся на народной крови, речь шла о беспощадной борьбе с ними! Шагов всегда носил в сердце и памяти долетевшие сквозь все пограничные кордоны ленинские слова:

— ...На славном посту будет этот избранник. Он должен выступать и действовать от имени миллионов, должен развертывать великое знамя, он должен выражать взгляды, которые формально, определенно, точно, годами выражали ответственные представители марксизма и рабочей демократии.

Шагов несколько раз встречался с Владимиром Ильичем. Он вспомнил, как однажды пришел в Поронин пешком. Шел медленно, неторопливо, помахивал тросточкой и старался не привести за собой «хвоста». Солнце уже садилось за недальние горы, тень от них медленно наползала на Поронин, на его домики и сады, ложилась тревожным отблеском в оконные стекла. И, уже подойдя вплотную к окраине Поронина, Шагов увидел знакомую фигуру.

Ильич сидел на бревнышке, чуть в стороне от дороги, и рядом с ним сидела худенькая, беловолосая девчушка лет шести-семи, в дешевеньком пальтишке, в разбитых матерчатых туфельках. Шагов подошел сзади, еще не решившись окликнуть Владимира Ильича, подошел и остановился. Что-то поразило его в детской фигурке, какая-то неестественная напряженность, что ли.

— Дядя Володя,— сказала девочка, повернувшись к Ленину всем корпусом, всем лицом,— а какое оно бывает, облако?

И только тогда Николай понял, что девочка слепая. Ее большие, синевато-прозрачные глаза смотрели в упор на Ленина и не видели его, но все ее худенькое, большеглазое личико выражало такое беспредельное доверие, такое внимание, что Шагов невольно остановился. Рука Ленина осторожно и нежно поглаживала белокурую голову девочки, и Шагов отчетливо видел, как она едва заметно подрагивала от жалости и нежности.

— Облако? — переспросил Ильич и, прищурившись, посмотрел на небо.— А вот скоро, очень скоро, Наташенька, будет революция, и тогда тебе вылечат глазки и ты сама все увидишь...

Ленин оглянулся, увидел Шагова и узнал:

— А, товарищ Николай! Наконец-то! Садитесь-ка, садитесь с нами, рассказывайте... Или хотя подождите-ка... Вы же, наверно, голодны?.. Пойдемте, пойдемте, Надя сейчас нас покормит... И Наташеньку тоже. Так что же там происходит, дорогой вы мой депутат? А?..

Вот эта встреча почему-то и врезалась в память острее, чем многое другое... Девочка, Наташенька, оказалась дочерью расстрелянного севастопольского матроса, матери ее удалось вырваться из России, и уже несколько месяцев они жили в Поронине. Владимир Ильич эту девочку очень любил...

Что было особенного в этой встрече, в этом мимолетном эпизоде, почему это врезалось в память на всю жизнь? Ответить на этот вопрос Николай не мог. Но он всегда помнил подрагивающую руку Ильича и его с необыкновенной болью прищуренные глаза, и звук его голоса, и голос девочки: — Дядя Володя.— Ее нервные ищущие пальчики прикасались к плечу Владимира Ильича, и это прикосновение тоже невозможно было забыть...

Любовь Жак

ТОВАРИЩ СЕМЕН

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н. Заболоцкий

Товарищ Семен... Так с молодости называли этого человека славной жизни и по-своему драматической судьбы все, кому довелось с ним встречаться на партийной работе. Так называли его в годы подполья и эмиграции Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская, Инесса Арманд и Серго Орджоникидзе, Артем (Сергеев) и ныне здравствующие старые большевики-ленинцы Елена Дмитриевна Стасова, Серафима Ильинична Гопнер и многие другие. Партийная кличка закрепилась за ним навсегда. И постепенно забылось, что когда-то по паспорту звали его Исаак Израилевич Шварц.

До обидного мало известно об этом талантливом организаторе, отважном, удивительно скромном и отзывчивом человеке. Если ты задумал восстановить в памяти потомков его образ — превращайся в следопыта, ищи концы, разворачивай клубок, иди по следу и только тогда наконец найдешь материал, который поможет тебе.

Я знаю, что в Екатеринославе Семен работал с С. И. Гопнер, на Урале — с Лядовым, Артемом, братьями Дмитрием и Константином Бассалыго, с Н. Н. Накоряковым. В Тифлисе он встречался с Е. Д. Стасовой и С. С. Спандаряном, а за границей — со всеми находившимися в эмиграции крупными

работниками партии. Перелистываю страницы различных мемуаров. Несколько теплых слов о Семене нахожу в воспоминаниях Н. К. Крупской, вскользь его имя упоминается в книгах М. Н. Лядова, О. А. Пятницкого и других. Именно только упоминается. Тогда решаю начать со встреч с последними из оставшихся в живых друзьями и товарищами Шварца.

Я в скромной квартирке старого друга Семена Н. Н. Накорякова. Он рассказал мне многое о Шварце. Он же связал меня с той самой сестрой Семена — Полиной Израилевной, на квартире которой были явки. На ее адрес — С.-Петербург, Бабурин пер., 5 — писала Надежда Константиновна Крупская; ей был передан паспорт для Серго Орджоникидзе, когда тот приехал из Парижа в Россию по заданию Ленина в 1911 году. Она работала «повивальной бабкой» при городском родильном приюте. В связи с подготовкой Пражской конференции петербургское охранное отделение взяло ее под особое наблюдение под кличкой Повивальная и 20 декабря 1911 года произвело у нее обыск. Полина Израилевна помнит почти все. Она тщательно хранит все документы, связанные с деятельностью ее брата. От нее я узнала и о том, что пришлось пережить ему в тяжелые годы культа личности Сталина.

Клубок разматывается все больше и больше. После Полины Израилевны Шварц я беседую с одной из соратниц Ленина — С. И. Гопнер. Она порассказала мне много интересного о товарище Семене. Она же в какой-то степени пролила свет на то странное обстоятельство, что в мемуарах о большевистском подполье имя Семена упоминается, но о работе его почти ничего не рассказано.

— Дело в том,— говорит Серафима Ильинична,— что в руках Шварца, как мы тогда говорили, была «Т», т. е. «техника». Это название относилось ко всему, что касалось типографий и других сугубо конспиративных дел. Семен был замечательным конспиратором. Знали его многие партийцы, но почти никто не был осведомлен о конкретной его работе. Чаще всего он выполнял самые секретные поручения центра, переданные ему Надеждой Константиновной Крупской. После революции Семен также не очень распространялся о своем боевом прошлом. Но это уже потому, что скромен он был до чрезвычайности...

И наконец я у старейшей большевички Елены Дмитриевны Стасовой. Она хорошо знала Семена, высоко ценит

его и очень тепло о нем отзывается. Мне особенно запомнились точные слова, которыми Елена Дмитриевна охарактеризовала долголетнее самоотверженное служение партии этого человека.

— Что я могу сказать вам о нем,— тихим голосом говорит моя собеседница.— Он был настоящим тружеником революции...

* *
*

Одесса и Николаев — два города, родных юноше Шварцу. В Николаеве он родился, в семье рабочего-портного. В Одессе он получил профессию. С тринадцати лет будущий товарищ Семен стал литейщиком. В Николаеве же, работая на арматурном заводе, в конце прошлого века он вступил в партию. В Одессе и Николаеве юноша Шварц вел революционную работу и сидел в тюрьмах. Из Николаева его отправили в первую ссылку.

— ...Встретились мы с Семеном впервые весной 1902 года в Одессе,— неторопливо рассказывает мне Н. Н. Накоряков,— оба тогда еще совсем молодыми были. Ему только недавно двадцать три года сравнялось, а он уже большой опыт политической работы имел, три года в партии социал-демократов состоял, арестовывался, восемь месяцев в одесской тюрьме просидел, дважды в течение одного месяца там голодовки объявлял. Но обо всем этом я узнал много позднее. А тогда, в девятьсот втором году, встреча наша была устроена на квартире одного из одесских товарищей. Я в то время юнгой плавал на пароходе «Одесса». Пароход наш через Александрию ходил, а Семен искал, кто бы взялся за перевозку нелегальной литературы из-за границы.

Ожидал я встретиться с человеком солидным, почему-то думалось — пожилым, и робел изрядно, а увидел худощавого юношу, черноволосого, смуглого, похожего на цыгана. Но ясно было, что в деле перевозки литературы он не новичок и нити связей у него в руках. Я согласился на его предложение и затем по поручению Семена несколько раз привозил из-за границы различную нелегальщину.

...Молодой Шварц пробыл на свободе недолго. В августе девятьсот второго года в Николаеве его арестовали второй раз. Держали в тюрьме почти год, а затем определили меру наказания — по совокупности, по одесскому и по николаев-

скому делу, пять лет ссылки в далекую Якутию, в Вилюйский округ...

Была уже назначена отправка приговоренных к ссылке. Их решили увезти попозже — ночью. Высылались девять человек. А днем каждый из них получил последнее свидание с родными. Прощаясь, передавали записочку: «Нас решили увезти ночью, чтобы не провожали рабочие. Сообщите товарищам». Родные сумели сообщить. Не прошло и несколько часов, как две тысячи рабочих Брянского и Французского заводов столпились вокруг николаевской тюрьмы.



Исаак Израилевич ШВАРЦ (1879—1951)

— Не дадим увезти тайком! — раздавались возгласы рабочих.

Начальник тюрьмы не выходил из кабинета. Он только что послал нарочного в казармы, просил солдат для подкрепления. Но, казалось ему, нарочный поскакал уже давно и почему-то не возвращается. И мерещилось начальнику: вот-вот рабочие нападут на тюрьму и разнесут ее стены.

Рота солдат подошла только утром. Намерение тихо отправить ссылаемых рухнуло. Открылись ворота тюрьмы.

— Р-р-р-а-з-ойдись! — раздался окрик толпе, так и не расходившейся всю ночь.

Но на него никто не обратил внимания.

— С-т-ройся! — на высоких нотах отдал приказ солдатам молоденький офицерик.

Рота по команде выстроилась. Затем вывели девять человек. Следом за ними построили конных казаков.

— Смотри, на девять человек стражи-то сколько! — послышался молодой насмешливый голос.

— Замолчи, истово проводить товарищей надо,— остановил говорившего пожилой рабочий.— Не дразни гусей.

Колонна двинулась. Рабочие шли по бокам ее и замыкали шествие. Она медленно двигалась по улицам города, направляясь к вокзалу. Вдруг казаки проскакали вперед и стали в каре.

— Товарищи! — зашептал один из политических.— Смотрите, полиция что-то придумала, чтобы не допустить рабочих на перрон.

Намерение казаков поняли и рабочие. Они стали ближе друг к другу и начали напирать на казаков. Свалка казалась неминуемой. Откуда-то появился полицмейстер.

Неожиданно для всех из девятки отправляемых в ссылку выскочил черный, как цыган, молодой парень. Глаза его горели. Он бросился к полицмейстеру. Размахивая кулаками перед его носом, парень закричал:

— Убери своих башибузуков, а то морду разобью!

Это кричал Шварц. И так решителен был его вид, что полицмейстер растерялся и неожиданно для себя, скомандовав казакам: «Отставить!», приказал пропустить рабочих на вокзал.

...Поезд медленно отходил от перрона. Провожающие рядами выстроились на расстоянии пяти верст по линии железной дороги. В нескольких местах они выкинули красные флаги. Стояли сомкнутым строем и торжественно пели:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

А Шварц и его друзья смотрели на них из окон вагона и думали: «Поднимается сила, которую никто уже не сможет остановить».

* *
*

Шли последние дни декабря 1904 года. На женевской эмигрантской квартире, где обычно селились революционеры-рабочие, приехавшие из России, шел спор: кому идти просить Ленина принять участие в обсуждении доклада Мартова об отношении партии к буржуазии?

Шварц мечтал познакомиться с Владимиром Ильичем:

— Мне бы хотелось пойти,— неожиданно для себя сказал он вслух.

Сказал и покраснел да так выразительно посмотрел на товарищей, что всем стало ясно, как хочется ему пойти к Ленину с поручением.

Кто-то поддержал Семена:

— Кому же идти, как не ему? Рабочий, две тюрьмы, бегство из Якутки. Только что из России. Сколько свежих новостей принесет Ильичу!

Возражавших не оказалось. Семен отправился к Ленину. Вот и дом под тем номером, который он ищет. Дернул звонок. Открыл дверь Владимир Ильич:

— Вы ко мне?

Ленин был в пальто, в руках держал кепку. Он собирался куда-то идти.

Семен вдруг испугался, что разговор не состоится. Торопливо, чуть не взахлеб, выпалил:

— Я николаевский рабочий-литейщик Шварц. Партийная кличка — Семен. Совсем недавно приехал из России. Из Якутки бежал...

Ленин посмотрел на взволнованного посетителя, чуть-чуть улыбнулся и сказал, внимательно вглядываясь в него:

— Так, так. Слышал уже о вас, товарищ Семен. Хотелось бы побеседовать с вами. Да вот надо в типографию, узнать, вышла ли газета, а затем в редакцию «Вперед».

Неожиданно для себя Семен предложил:

— Может быть, я могу справиться в типографии о газете? У вас и так дел полно. А я сбегаю, мигом.

И так просительно посмотрел молодой человек на Ленина, что тот, продолжая улыбаться, повесил на гвоздь пальто и кепку и, как своему человеку, сказал:

— Ну что ж, пожалуй, сходите. А я тут тем временем статью еще раз просмотрю. Потом пойдем в редакцию вместе.

Семен вернулся очень скоро. Выложил с ходу:

— Газету начали печатать. Но принести номер не смог. Там что-то не так. Отпечатаны...— Семен замялся, ища какое-то слово,— брачные номера...

И вдруг глаза Ленина сузились. Он постарался погасить улыбку, но не мог справиться с собой. Прошла секунда, и Ленин уже трясся от смеха:

— Как вы сказали, товарищ Семен? Б-р-а-чные номера. Вы не сердитесь на меня, мой дорогой, но так смешно мне показалось. «Брачные» номера вместо «бракованные». Надя, Надя, иди-ка сюда, что он говорит! — позвал Владимир Ильич.

Дверь открылась, и на пороге комнаты появилась улыбающаяся женщина. Семен понял: жена Владимира Ильича, Крупская. Она все слышала. Семен тоже засмеялся. И ему стало сразу легко с Ильичами.

В руках Ленин держал несколько листочков — рукопись статьи, предназначенной для очередного номера «Вперед». Немного успокоившись, он обратился к Шварцу:

— Вы извините меня, дорогой, за разговор на ходу, по пути в редакцию. Но очень спешу. В этой статье,—

и Владимир Ильич показал Семену рукопись,— опять отвечаю меньшевикам.

Шварц смотрел на Ленина. Он видел в нем не только вождя партии. Сердце его привлекал к себе этот веселый, такой подвижной, деятельный человек. И ему радостно было идти с ним в ногу, чувствовать его руку возле своего локтя.

Ленин расспрашивал Семена о настроениях рабочих Николаева и Одессы, об их отношении к партии, о том, как сам товарищ Семен относится к внутрипартийной борьбе. Как и всегда, при таких встречах с революционерами, приехавшими из России, Ильич забрасывал своего собеседника вопросами, и видно было, что ответы пришлись ему по душе.

Они уже подходили к помещению редакции, когда Ленин спохватился:

— Вот я вас все расспрашиваю, но вы ведь ко мне не за этим пришли? Правда? — спросил он Шварца и лукаво посмотрел на него.

— Вроде и не за этим шел, Владимир Ильич, но, пожалуй, и за этим. Я на ваши вопросы отвечал, а оказывается, для себя многое прояснил. Вообще-то, по правде говоря, с поручением от товарищей я к вам. Просят они вас выступить по очередному реферату Мартова. Многое еще рабочим-партийцам не совсем ясно. Некоторые говорят: кто победит, за тем и пойдем.

Ленин бросил быстрый взгляд на своего собеседника. Тот почувствовал и во взгляде его, и в выражении лица недовольство. Немного замедлив шаг, придерживая молодого николаевского рабочего за локоть, Владимир Ильич сказал:

— Передайте своим товарищам, батенька. Так определяться нельзя. Нужно много читать, думать, нужно знакомиться с протоколами съезда, с литературой о расколе. Только все переварив, можно выбрать верный путь. А выступать на этот раз я не буду. На доклад Мартова придут Лядов и Луначарский. В случае надобности они сумеют защитить наши позиции. А меня, прошу очень, не невольте. Да, поверьте, и необходимости, как чувствую, в моем выступлении по сему докладу нет.

Семен смотрел на Ленина и думал: ведь только час тому назад, когда он подходил к дому, где живет Владимир Ильич, ему казалось, что ленинское участие в прениях по докладу Мартова абсолютно необходимо, а сейчас он уже верит Ленину и убедился в том, что его участие в прениях не обязательно.

Так случилось, что первая встреча Шварца с Владимиром Ильичем определила характер будущих отношений вождя партии и одного из ее солдат. Семен полюбил Ленина. Ленин почувствовал симпатию к молодому николаевскому рабочему, которая с годами все более и более крепла.

* * *

Эмигрантская женевская колония была очень взволнована. Сюда дошли сведения о событиях 9 января 1905 года. Ощущалось дыхание скорой революции, все стремились в Россию. Собрался в путь-дорогу и Семен. Ехал он с благословения Ленина как профессионал-революционер. Путь его лежал через Берлин. Здесь ему предстояло встретиться с И. А. Пятницким, который должен был одеть Семена в «панцирь» — так назывался специальный, хитро устроенный жилет с заложенной в него нелегальной литературой, и переправить его в Россию через немецкую границу.

...Тихо отчаливает от одного из причалов одесского порта пароход. Среди пассажиров III класса товарищ Семен. Уже позади переход границы, приезд в Одессу, встреча с товарищами из комитета. Его направили на работу в Екатеринослав. Что-то он найдет там?

В Екатеринославе его ждала тяжелая, полная опасностей жизнь. Все активные члены большевистской части Екатеринославского комитета были арестованы. Предстояло возродить руководящий орган местной подпольной организации. И Семен наладил связи. Он помог екатеринославцам создать новый комитет.

А было это очень нелегко. Мешали не только власти, но и меньшевики. Они воспользовались арестами, захватили руководство партийной организацией и решили послать делегатом на III съезд РСДРП своего кандидата. Семен разобрался в местных делах и, когда ему уже удалось немного их наладить, в марте месяце написал Ленину. Свое письмо он подписал именем Федя. Сообщал Ильичу о том, что вопреки стараниям меньшевиков ему удалось установить прочные связи с рабочими, и семь-восемь организаторов-рабочих занимаются в центральном кружке. Этим кружком руководит сам Семен.

Письмо пришло в Женеву 31 марта 1905 года. Ленин ответил Феде-Семену, наметив для екатеринославской

организации программу действий в связи с предстоящим III съездом РСДРП.

«Дорогой товарищ! Подробно ответим Вам на Ваше письмо на днях,— писал Владимир Ильич.— Сейчас спешно сообщаем лишь следующее: если есть на стороне б(ольшинст)ва организаторы, то *немедленно* сделайте одно из двух: 1) пошлите от *их* имени *письмо* к съезду с выражением протеста против комитета и желания участвовать в съезде; 2) если найдете 50 руб. и человека, то пошлите делегата к нам (наш адрес в Женеве) тотчас же, написав ему мандат нашим ключом.

Пока до свидания. На днях пишем еще. Смотрите же, не медлите и постарайтесь исполнить тотчас нашу просьбу, лучше вторую, чем первую».

— ...Я познакомилась с товарищем Семеном в 1905 году в Екатеринославе,— рассказывает С. И. Гопнер,— после того, как 11 марта меня и других товарищей освободили из тюрьмы. Мы застали на воле новый партийный комитет, состоявший частично из приезжих работников. Среди них был и Шварц. Тонкий и быстрый в движениях, кудрявый, с глазами, блестевшими, как огоньки, он привлекал к себе сразу сердца. Казалось, что этот человек не может не только спокойно сидеть, но и хотя бы несколько минут молчать, такой заряд энергии ощущался во всей его фигуре. Мы уже знали о большой роли, которую Семен сыграл в восстановлении Екатеринославского комитета. Но вот проходит одно заседание, второе, третье... Во время обсуждения вопросов он чаще всего молчит. Только изредка вставляет что-нибудь, иногда насмешливое, вроде: «Ну, это Петрушка» — в смысле чепуха. Но наш молчальник Семен держал в своих руках всю «технику» комитета, умел, как никто, находить и сохранять явки, устанавливать связи. Трудно представить себе лучшего организатора подпольной работы, чем он. И хотя долго проработать в Екатеринославе Семену на этот раз не удалось, он оставил значительный след в жизни организации.

После событий на броненосце «Потемкин», когда особенно большие аресты шли в южных городах России, в ночь на четвертое июля девятьсот пятого года были арестованы почти все члены уже нового Екатеринославского комитета. Явилась полиция и на квартиру Шварца. Как только раздался резкий, настойчивый стук в дверь, Семен понял, в чем дело. Не прошло и минуты, он открыл окно, тихонько выбрался

на крышу и побежал. Ругаясь и отдуваясь, жандармы полезли за ним. Семен перескочил на крышу соседнего дома и попытался спрятаться за трубой. Но на этот раз ему не повезло. Жандармы схватили его и препроводили в местную тюрьму. Сидеть бы ему в ссылке, на Крайнем Севере, в Мезени, если бы не нежданная амнистия в связи с «дарованным» царем манифестом семнадцатого октября.

Новая встреча моя с Семеном произошла только через несколько лет, в эмиграции, в Париже,— говорит Серафима Ильинична.

* *
*

...Прошла первая половина 1906 года. Всего шесть месяцев. А за это время Семен успел, как солдат партии, поработать в родном Николаеве, Екатеринославе, Луганске, опять побывать в тюрьме, получить новую ссылку, на сей раз в Тобольскую губернию, совершить исключительно дерзкий побег, очутиться на юге России с тем, чтобы подобрать работников для Урала, и приехать в Екатеринбург.

На «досуге», в Пермской тюрьме, уже в 1908 году, Семен рассказывал о том, как он удрал из тобольской ссылки. Об этом Н. Н. Накоряков вспоминает так:

— Попал я в девятьсот восьмом году в пермскую тюрьму. Смотрю, и Семен там. Как, говорю, какими судьбами? Семен смеется. Разговорились. И тут-то узнал я, что не по своей воле он побывал в родных моих местах. А ведь когда на свободе были и ежедневно встречались, он мне об этом не рассказывал. «В девятьсот шестом году, после ареста в Луганске,— говорил мне Семен,— выслали меня в Тобольскую губернию, попал я в твое родное село Демьянское. Встал на квартиру к крестьянину Петру Степановичу Доронину, а он твоим дружком оказался. С Петром Степановичем мы сразу общий язык нашли. Ну, думаю, раз такого человека встретил, то и мешкать нечего. Бежать надо, думаю. Говорю своему хозяину: удрать хочу. Чем скорее, тем лучше. Не поможешь ли мне? Он согласился. Дело уже к вечеру двигалось. Решили выехать, когда совсем будет темно. Петр Степанович пошел все к отъезду готовить, а я пока с обедом разделывался. Поел, отдохнул немного, хозяев поблагодарил, и мы, ночью уже, с Петром Степановичем выехали. За несколько станций он меня отвез, до большого села Увата, а дальше я сам пробирался. Спасибо, что полицейский

урядник демьяновский, по старости, что ли, за мной гнаться не стал. Вот так-то: съел я у тебя на родине, у знакомого твоего, уху, а в Демьяновском не задержался»,— разводя руками, со смехом закончил свой рассказ Семен. Но и на воле он, как показала наша встреча, недолго оставался: снова в тюрьму попал.

* *
*

После ареста Я. М. Свердлова в июне 1906 года Артем стал руководителем уральской организации большевиков, а Семен был членом ее областного комитета. Ленин дал наказ — послать от Урала на V съезд не менее десяти делегатов. Но для этого нужно было, чтобы на рабочем Урале победили большевики. Немало потрудились Артем, Семен, Лядов и другие товарищи, выполняя наказ Ленина. К концу 1906 года количество членов партии и число большевистских партийных организаций возросло на Урале вдвое. Далось это, конечно, нелегко. Да, кроме того, одновременно с подготовкой к партийному съезду нужно было участвовать в кампании по выборам во II Государственную думу. Артем пользовался на Урале репутацией лучшего партийного оратора, Семен — прекрасного организатора. Он возглавлял местных боевиков. О его бесстрашии, быстрой сообразительности, изобретательности среди партийцев ходили легенды. Семена побаивались в полиции и охранке.

...В Екатеринбургском городском театре идет предвыборное собрание приказчиков. Среди выступающих ораторов одетый приказчиком Артем. Охрана его организована Семеном. Он напряженно следит за всем, что происходит в зале.

Слушатели Артема взволнованы. Им пришлось по душе все, что он говорит о положении приказчиков. По тому, как на его слова реагирует зал, Семен чувствует: сердца слушателей Артем завоевал. Оратор переходит к общеполитическим вопросам. Слова большевистской правды несутся с трибуны, и Семен напрягается, как струна. Нельзя допустить, чтобы Артема арестовали. Расставленные им посты сообщают: охранка организовала у главного входа в театр засаду. В дверях торчит шпик. Полицейские и жандармы окружили здание. Семен учел все. Для спасения Артема от ареста он решил использовать симпатию к нему слушателей. Одному, другому, третьему сообщается о том, что выступающего «приказчика», который защищает общие интересы, хотят

арестовать. На ходу вырабатывается план действий. Конечно, полностью в курсе дела присутствующие в зале большевики. Собрание окончено. Весь подобравшись, впереди идет Семен. За ним, не отрываясь, Артем. За Артемом, сократив расстояние так, чтобы никто не мог втиснуться, несколько товарищей боевиков. Участников собрания искусственно задерживают с тем, чтобы дать им возможность чуть-чуть позднее в проходе дверей ринуться лавой и смять шпика и полицейских.

Произошло все так, как и рассчитывал Семен. В тот момент, когда толпа нажала, шпика отбросило в сторону. В это время Артем вырвался вперед и скрылся за дверью. Толпа валила. Кругом началась неразбериха. Артем благополучно скрылся. Без последствий эта история прошла и для Семена.

* *
*

«В сентябре 1910 года я бежал из якутской ссылки и направился в Париж...» — писал впоследствии Шварц.

Здесь он вновь встретился с Владимиром Ильичем.

...Теплая, ласковая улыбка на лице Серафимы Ильиничны. Старая большевичка вспоминает о том времени, когда и она, и Серго, и Семен были молоды, общались с Лениным, были счастливы и своей молодостью, и активным участием в героической борьбе.

— После приезда Семена в Париж,— говорит Серафима Ильинична,— мы встречались с ним то на заседаниях парижской партийной секции, то у меня на квартире, то на различного рода вечеринках, устраивавшихся с целью собрать средства на издание газеты. На вечеринках этих Семен всегда был занят. Чаще всего выполнял какие-нибудь поручения Владимира Ильича. Он принадлежал к числу тех товарищей, которые запросто бывали на квартире у Ленина и пользовались его большим расположением. Помню такой случай. Партийные деньги, невзирая на полную обособленность работы, еще находились в это время в совместном пользовании большевиков и меньшевиков. В каждом отдельном случае по финансовым вопросам нам нужно было добиваться соглашения с ними. На этот раз условием соглашения меньшевики выдвинули обещание большевиков вступить в новую дискуссию по вопросу о положении в партии. При этом они настаивали на личном участии в этой дискуссии Ленина. Представители большевиков во имя соглашения

такое обещание дали, не обсудив этого вопроса с Владимиром Ильичем. Назначили собрание парижской группы большевиков. Ленин внимательно выслушал тех, кто дал согласие на дискуссию. Сам он высказался резко против нее и лично участвовать в дискуссии отказался, считая какие бы то ни было новые словопрения с меньшевиками бесполезными. Высказав свою точку зрения, Ленин ушел с собрания. Мы были очень смущены и категоричностью ленинского отказа, и уходом с собрания Владимира Ильича. Кое-кто тоже ушел. Остальные остались и, взволнованно обсуждая происшедшее, решили для улаживания дела отправить к Ленину кого-то для переговоров. Выбор пал на Семена и еще одного товарища, фамилии которого не помню. Долго разговаривали они с Владимиром Ильичем. Потом сообщили нам ленинские аргументы, рассеившие наши последние сомнения.

— Возвращаясь мыслями к прошлому,— заканчивает свой рассказ Серафима Ильинична,— я вспоминаю, как все мы тепло относились к Семену, как любили его за беспредельную преданность партии, Ленину, за большое личное мужество и скромность, за удивительно чуткое отношение к друзьям. Настоящим большевиком был товарищ Семен.

* *
*

В середине 1911 года ленинцы приняли решение: созвать общепартийную конференцию. Она впоследствии вошла в историю под названием Пражской. Началась подготовка. Нужно было провести большую предварительную работу в России. Ее не могла организовать Заграничная организационная комиссия (ЗОК) только своими силами. Необходимо было создать еще и Российскую организационную комиссию (РОК). Возник вопрос: кого послать в Россию, на кого возложить ответственные поручения по подготовке конференции? У Ленина не было сомнений в том, кому под силу выполнение такого ответственного задания. Выбор его пал на троих вольнослушателей партийной школы в Лонжюмо. «В августе поехали в Россию — Бреслав (Захар) в Питер и Москву, Семен Шварц на Урал и в Екатеринослав, Серго на юг»,— написала в своих воспоминаниях о Ленине Н. К. Крупская.

Семен объехал ряд городов. В Екатеринбурге его застало письмо Надежды Константиновны, предлагавшее к 15 сен-

тября товарищам, выбранным от Екатеринбурга, быть в Петербурге. В письме Семен не все разобрал, и это его очень тревожило. 6 сентября 1911 года он писал в Париж:

«Дорогая Н. К.! Письмо я получил, а также предыдущие письма. Шифр же не разобрал, удалось точно это одно число 15, а все остальное — так-таки и не разобрал. Догадываюсь, что в Питере надо быть к этому числу. Явку же, повторяю, так-таки и не разобрал. Буду стараться, может, что и получится. Вы же со своей стороны вот что сделайте. Повторите по адресу: Петербург, Выборгская сторона, Бабурин пер., 5 (городской родильный приют), акушерка П. И. Шварц. Это на тот случай, если я не ошибаюсь в том, что мне ехать в Питер. Если нет, то поступите так: дайте телеграмму в Екатеринбург — слово «НОН» и только, и тогда буду здесь ждать вторичного указания. Теперь вот что. Если я верно понял, что нужно (быть) 15 сентября, то торопите ОК, чтобы выслали деньги. Ведь нам троим тогда и до Питера не добраться. Я им адрес давал, но не то что деньги, а письма ни разу не получал. Дела же вот в каком положении: Екатеринбург, Тюмень обеспечены, из Уфы пока еще ничего не знаю. Отправил человека туда и надеюсь, что все сделает как следует. Лично не мог, так как пришлось улетучиться. Получили ли резолюции от Екатеринбургского комитета? Еще раз прошу — поговорите, чтобы сейчас слали деньги и лучше через банк телеграфом в Екатеринбург. Ну, да я им дал адрес. Ну, закончу и жду с нетерпением. Жму крепко руку. Привет всем».

Никаких денег от ЗОК Семен в сентябре так и не получил. Но средства изыскал и в Питере был вовремя.

...Октябрьским вечером по нелюдной Андреевской улице, в Тифлисе, быстрым шагом шел худощавый молодой человек. Он немного сутулился. На вид ему было лет тридцать. Вот и дом № 13. Раздается звонок. Дверь открыла женщина. У нее тонкое, интеллигентное лицо. Судя по всему, она предупреждена о своем госте.

Обменялись паролями.

— Входите, товарищ Семен. Ночлег вам обеспечен,— говорит Елена Дмитриевна Стасова.

Это к ней пришел молодой человек, уже объехавший с ленинским поручением ряд организаций, только что побывавший в Баку и теперь прибывший в Тифлис, куда перенесено совещание по организации РОК. Первая ночь в Тифлисе. Стасова приготовила Семену ночевку у своих соседей.

Ему не спится. Он продумывает свое выступление. Оно состоится завтра на квартире Елены Дмитриевны.

...Деятельность Семена по подготовке Пражской конференции привлекла к себе недремлющее око жандармов. Начальник московского охранного отделения полковник Заварзин в донесении на имя директора департамента полиции писал о Семене Шварце так: «...старый и весьма опытный эсдек, работавший ранее в Одессе, на Урале, в Екатеринбурге и Уфе. Около 30 лет от роду, среднего роста, худощав, брюнет, с вьющимися волосами, небольшие усы, борода брита, карие глаза, немного сутуловат и сильно горбится при движении. Он объехал, пользуясь старыми своими связями, знакомый ему Урал, Екатеринбург, Уфу, Екатеринослав, Баку, Тифлис, организовывал собрания, делал доклады о положении дел в партии, популяризировал платформу предстоящей конференции и всюду предлагал выбирать представителей в Российскую организационную комиссию».

Для жандармского полковника, пользовавшегося точной информацией провокаторов, Семен был «делегатом Ленина». Полковник и его коллеги тщательно следили за ним. Арестовали отважного большевика уже в Питере, куда он приехал с Кавказа.

— Семен предполагал быть в Питере десятого ноября,— рассказывает Полина Израилевна Шварц.— Я жила тогда на Ямской улице, и брат часто в прошлый свой приезд меня навещал. Хозяин квартиры к его посещениям относился подозрительно. Однажды он зашел в мою комнату без стука в тот момент, когда Семен сжигал какие-то документы. Этот случай меня насторожил. Естественно, я очень заволновалась, когда десятого ноября брат не появился. К этому времени я уже съехала со старой квартиры и сняла комнату на Лиговке. Прошло несколько дней после срока, назначенного для возвращения Семена, а его все не было. Вдруг ко мне пришел юноша, студент. Оказывается, его только что выпустили из тюрьмы, куда на днях доставили арестованного брата. Молодой человек передал мне письмо и устную просьбу Семена — постараться предать гласности через печать факт его ареста. С большим трудом такую заметку мне удалось организовать в газете «Речь». Когда она появилась, с газетой в руках я отправилась в полицейский участок и стала просить о свидании с братом. Начальник испытующе посмотрел на меня и спросил: «Откуда вы знаете, что он арестован?» Я молча протянула ему газету. Начальник внима-

тельно прочитал заметку и разрешение на свидание мне дал. В первое же воскресенье мы встретились с Семеном в тюрьме. Он рассказал мне, как с момента выезда из Тифлиса за ним по пятам следовал шпик. Чувствуя, что от филера не уйти, брат сумел незаметно уничтожить компрометирующие его документы. Арестовали его на Ямской, в тот момент, когда он сошел со ступеньки конки.

Семена отправили в Екатеринбург. Здесь его судили по процессу «14-ти». Ссылка — последняя. Освободила его на этот раз Февральская революция.

...Пока Семен ехал из Тифлиса и сидел в тюрьме в Петербурге, в Париж вернулся Серго Орджоникидзе. И он, и Надежда Константиновна знали, что у Семена нет денег и без них вырваться из России ему не удастся. Не было денег и у парижских большевиков. Средства партии ввиду раскола контролировали немецкие социал-демократы, в частности Каутский. А в ЗОКе, имевшем тоже большие средства, командовали примиренцы. Последнее письмо от Семена Серго получил 18 ноября 1911 года. Оно шло довольно долго. В этом письме друг просил о помощи: «Убедительно прошу тебя не задерживать меня деньгами, надо сейчас выехать, переведи телеграфом. Внешняя обстановка резко изменилась, и без «хвоста» ни на шаг. Торопись».

Куда ни обращался Серго, но денег достать не мог. Каутский отказал, отказали и зоковцы. Орджоникидзе метался по Парижу. По его инициативе один из товарищей в кафе «Ротонда», где собирались художники, поэты и русские эмигранты, пустил даже шапку по кругу. Владимир Ильич и Надежда Константиновна отдали все, что у них было,— немного денег, отложенных для короткого зимнего отдыха. Но выручить Семена уже было нельзя: пришла телеграмма, сообщавшая о его аресте.

* *
*

Жаркий московский июльский день 1918 года. Один из руководителей подпольной работы на Украине, товарищ Семен, очень взволнован. В Юзовско-Макеевский район Донбасса, оккупированный немцами, надо отправить десять человек. Их уже отобрали. Семен думает: «Хорошо бы всем отъезжающим получить напутствие Ильича». Он у телефона. На другом конце провода голос секретаря. Семен быстро объясняет, в чем дело. И вот в телефон уже слышен другой

голос — голос Ленина. Он с готовностью согласился встретиться с будущими подпольщиками.

— Но, товарищ Семен, прошу вас прибыть ровно в одиннадцать часов утра,— говорит Владимир Ильич.

Семен Шварц пришел в Кремль раньше намеченного времени. К одиннадцати часам все десять человек уже были в сборе.

Ровно в назначенный час Владимир Ильич появился на пороге своего кабинета:

— Входите, товарищи.

Ленин расспрашивал Шварца о том, что делается на Украине, интересовался, многие ли шахтеры ушли в Красную Армию, объяснял всем присутствующим, как важно сохранить угольную базу Донбасса, и охарактеризовал значение подпольной работы в угольных районах сейчас, в условиях немецкой оккупации.

Владимир Ильич вышел из-за стола. Он ходил по кабинету и, рассказывая, как бы проверял себя, обращаясь то к Шварцу, то к другим своим собеседникам. А они, среди них были и молодые коммунисты, буквально впились в Ильича...

Затаив дыхание, они слушали его и, впитывая каждое слово, уже любили Ленина так, как когда-то, на всю жизнь, полюбил Владимира Ильича впервые увидевший его в Женеве товарищ Семен.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Выпущено в свет два сборника из осуществляемой Политиздатом совместно с Союзом писателей пятитомной Ленинианы в прозе, составленной из рассказов о соратниках В. И. Ленина.

Первый сборник **«У истоков партии»** появился в прошлом году. Ныне мы предлагаем вашему вниманию второй — **«Партия шагает в революцию»**. Они охватывают период от зарождения партии большевиков вплоть до Великой Октябрьской революции.

Создан коллективный портрет Ильича, где вождь народа показан, главным образом, как политик, философ, великий организатор и строитель партии коммунистов и первого в мире государства рабочих и крестьян.

Каково же содержание последующих томов Ленинианы?

Уже готовится к печати третий сборник — **«Светом ленинских идей»**. В нем вы познакомитесь с друзьями В. И. Ленина — деятелями социалистической культуры нашей страны.

Ярко, образно, правдиво будет показана постоянная забота Владимира Ильича о развитии и процветании литературы, искусства, науки. Его взаимоотношения с выдающимися советскими писателями, актерами, художниками, скульпторами, архитекторами, учеными.

Художественные очерки о том или ином деятеле культуры не излагают биографии этих людей, а раскрывают пути, которыми они пришли к Ленину, как сблизились с ним, о чем

вели беседы с Владимиром Ильичем, переписку, в чем отразилось ленинское партийное влияние на их творчество, какой вклад ими внесен в растущую социалистическую культуру.

Четвертый сборник — **«Ленинская гвардия планеты»** отразит дружбу и взаимные связи Владимира Ильича с виднейшими борцами международного коммунистического движения.

Пятый, заключительный том — **«Мы наш, мы новый мир построим»** расскажет о победе Октября и первых шагах Советской власти под водительством В. И. Ленина. О связях вождя с народом, о растущем единстве и сплоченности народа вокруг родной партии и готовности советских людей напрячь волю, энергию, отдать все силы ради осуществления ленинского плана построения коммунистического общества — царства свободы, равенства и братства.

Пятитомная Лениниана в прозе — наш подарок читателям к пятидесятилетию Советской власти — будет завершена изданием в начале юбилейного 1967 года.

Ждем ваших писем с отзывами, пожеланиями и советами по каждому сборнику.

ПАРТИЯ ШАГАЕТ В РЕВОЛЮЦИЮ. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. М., Политиздат, 1964.

557 с. с илл.

На обороте тит. л. сост.: Л. Давыдов

3КП1(092)

На суперобложке фрагмент
с картины художника *Н. Бабасюка*
«Октябрь»

Технический редактор Т. *Климова*

Сдано в набор 29 мая 1964 г. Подписано в печать 31 августа 1964 г. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Физ. печ. л. $35+\frac{1}{4}$ (вклейка). Условн. печ. л. 32,08. Учетно-изд. л. 30,85. Тираж 75 тыс. экз. А 09224. Заказ № 2287. Цена 1 руб.

Работа объявлена в Т. п. 1964 г., № 55.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.